

ВСЕВОЛОД
ВИШНЕВСКИЙ

***Печатается по постановлению
Совета Министров СССР
от 17 марта 1951 года***

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ВОЙНА

Эпопея

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Составление тома и подготовка текстов
С. К. Вишневецкой

Под редакцией
*П. П. Вершигоры, С. К. Вишневецкой,
К. М. Симонова, А. К. Тарасенкова,
А. П. Штейна*



ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ
(1930 год)

ВОЙНА

Эпопея

ГОД 1912-й

Глава первая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

I

Ночь опускалась на город капиталистической эпохи... Санкт-Петербург засыпал...

Лечь спать это значило: закрыть окна шторами, портьерами, занавесками, ставнями... Затем в тишине настороженно ощупать, осмотреть, проверить скобы, крюки, задвижки, засовы, запоры, щеколды, цепочки, замки — шкатулочные, врезные, трехповоротные, сундучные со звоном, кольцевые буквенные, подвесные, немецкие, шведские, французские, американские, запирающиеся секретными шифрами и тому подобные, и тому подобные. Гасился свет. Само небо, как настороженное ухо, склонялось к земле.

Заборы, ограды, решетки, ворота, калитки, тыны, стены, двери, ставни — сомкнутыми массивами камня, железа, дерева, образуя первый закон: «моего не укради», — стерегли захваченную, отнятую, унаследованную собственность. Изредка тишину ночи нарушал выстрел самоубийцы...

На фасаде одного из домов на эмали архитектурного медальона коротко, по-хозяйски подчиняюще, было начертано имя владельца «Языгов» и дата постройки «1855». Хозяйский бельэтаж оттеснил соседние квартиры, загнал во тьму двора подвальных жильцов.

Окна в подвалах, без форточек, под самым потолком, были забраны железными прутьями. Окна не открывались, потому что с помойной ямы ударял кислый запах гнили.

В подвалах было темно. На полу одной из подвальных трущоб сидели трое — серые, тихие, рахитичные карапузики. Их головы казались несоразмерно большими по сравнению с худенькими, истощенными тельцами. Они вслушивались в какие-то шорохи, пугаясь их. Это сырость отдирала обои пластами. Головастики, не понимая, жались друг к другу и чего-то ждали...

На подоконнике в горшочке проросло воткнутое семечко. Головастики шептались, ласкательно звали росток «семечко» и гладили своими пальчиками усыхающий, побелевший, сникший побег. Головастики еще не спали, так как не имели представления о дне. У них всегда были сумерки, шорохи. Мир головастиков беден. Самое интересное в нем — керосинка. Керосинка — это свет, огонь, тепло... Это их мир... Он кончался у двери, — за нею, дальше была неизвестность: двор. Туда нельзя, потому что шалости и голоса детей раздражали хозяина дома. Он запретил детям жильцов играть и бегать во дворе.

В квартире хозяина дома, для красоты и прочности, полы были устланы паркетом из хорошо высушенного ясеня, дуба, клена; были и красное дерево, и черное дерево, и пальмовое, и розовое, и перламутр, и слоновая кость; дубовый пол украшали жилками и плитками из черного дерева. Квартира хозяина была обставлена роскошно и пестро: столовая в «русском стиле», кабинет в стиле «модерн» (господин Языгов любил современность), гостиная — «Louis XV»¹, спальня — в «мавританском стиле». Днем комнаты были залиты солнцем. Великолепная вентиляция обеспечивала свежайший воздух.

А три рахитичных малыша ежедневно дышали грязью и ничтожным количеством кислорода, проникшим в щели вместе с холодком. Мать, уходя на

¹ «Людовик XV» (франц.).

завод, запирала их, хотя в подвале не было ничего, кроме рваных прокисших тряпок, табурета и ржавого ведра... Дверь запирали система, обычай, закон — «МОЕ», даже если это «мое» — вонючий, пустой подвал.

Сквозь камни, дерево, железо, цемент, ограждавшие человека от человека, головастики иногда слышали отдаленный, нарушавший тишину вой. Это где-то в подвальном коридоре перед сном дрались женщины. Разбухшими от стирок пальцами и мягкими, разъеденными щелоком ногтями они то молча, то визжа царапали друг другу щеки. Женщинам в доме было тесно, душно; они мучились и раздражались, когда затрагивали их «мое». Спорили по первому случайному поводу. Потом начиналась драка.

Приходил заспанный дворник, вздыхал, бил баб по костям, устало ругался:

— Халявы...

И разнимал их...

Двор и улица были безобразны. Они не приносили дохода, и поэтому о них не заботились: все, что не приносило дохода, было бесполезно или вредно. С квадратной сажени подвала шло восемь-десять рублей прибыли, а двор и улица требовали только расходов на уборку. Расходы надлежало убавлять до предела.

Город затихал. Последние из тридцати тысяч легковых и двадцати тысяч ломовых извозчиков столицы, бранясь, дребезжа и грохоча по булыжным мостовым, разбрызгивая незасыхавшую жижу рытвин, спешили восвояси.

Город засыпал...

В подвалах и на чердаках засыпали люди, расплачивавшиеся своей жизнью за то, что в мировых пространствах существует земля, на которой наименьшая часть человечества захватила все, что поддавалось захвату в трех измерениях, — в полное, исключительное, бессрочное, как им казалось, владение. Из миллиона жителей столицы умирало от тридцати одной

тысячи четырехсот до тридцати девяти тысяч ста человек против десяти тысяч привилегированных. Двадцать девять тысяч лишних смертей в одном городе были узаконены властвовавшим классом.

Полиция бодрствовала, охраняя столицу и империю.

У ночного города была своя жизнь.

В околodке пристав, седой, с грубо нафабренными усами, допрашивал задержанного:

— Ты кто?

— Православным числюсь.

— Что понимаешь подэтим? (Пристав пальцем вывел на пыльном столе две буквы — С Д.)

— Не зна... Я занапрасно взятый. (Городовой устращающе посмотрел на задержанного и всеготовно на пристава.) Иду,— народ у трактира собравши. Погляжу, думаю. Темно, не понять... Слышу, поют такое, что не могу повторить... Вроде «вставай, подымайся». Я стою... А ты, говорят, почему не поешь? Я рот стал раскрывать, но безо всего. Тут вот они меня и взяли. Занапрасно. Я рубль плачу в союз архангела Михаила.

В каком-то салоне какой-то господин перелистывал календарь и красиво-рассеянно мыслил вслух: «Что будет через десять лет, через двадцать — в 1922-м, в 1932-м, в 1942-м? Есть только одна категория несомненных проникновений в будущее: подсчет будущих юбилеев. Вот один из них: в 1925 году исполнится двадцать лет наследнику Алексею. Он будет рано или поздно Алексеем Вторым...» Дамы слушали интересного господина, сочувственно повторяя неожиданные для них слова.

Телеграфист принимал последние строки частной шифрованной телеграммы императора Вильгельма II императору Николаю II:

«...Два дня тому назад моя дочь подтвердилась в фриденскирхе так приятно было видеть так каким молодцом она выдержала испытание так ей нужно было прочесть вслух свое исповедание веры перед всей общиной так стоит дивное лето так розы в полном цвету так прошу так милый Ники так считать меня навсегда твоим преданным кузеном и другом так Вилли»

Телеграфист выстукивал сообщение, сосредоточенно впиваясь в знаки шифра.

В убогой комнате в ночной тишине человек атаковал биосферу. Он, в мечтах своих, менял для блага человечества ландшафты равнин и плоскогорий, завоевывая и подчиняя вселенную.

* * *

Утро. Рассветало, то есть в силу сочетания сложных движений становилась видимой средних размеров звезда Млечного Пути — Солнце. Даже удаленное на сто сорок девять миллионов километров от земли, оно оказывалось чьей-то собственностью. Тепло и свет распределялись в столице неравномерно: солнце продавалось тем, кто мог дорого платить за выходящие на юг солнечные квартиры. Брели, таким образом, деньги не только за то, что существует земля и на ней отстроенные собственниками дома и квартиры, но и за то, что существует освещающее их солнце. Большинство дешевых квартир в Санкт-Петербурге выходило окнами во двор. Когда в темные дворы многоэтажных доходных домов проникали лучи солнца и скользили по стенам, люди, прильнув к окнам, тоскливо провожали их отраженный, убегающий свет.

По мере того как становилось светлее, отчетливее вскрывался изуродованный быт столицы.

В деревянном доме, на окраине города, жильцы еще

спали по своим углам. Начинало светать. У печки валялись ссохшиеся опорки и портянки. На столе лежали неубранные объедки.

За ситцевым пологом тяжело зевнули, показалась голая мужская рука. Полог всколыхнулся, потом слышался скрипучий голос женщины:

— Не балуй.

— Чево?

— Вставать надо.

За пологом опять тяжело зевнули.

Лампадка едва светила. Тикали часы. Рядом висела гитара. Под ней картинки «Гибель «Варяга», вид Пирея (хозяин был из отставных матросов) и пасхальные открытки.

— Поди, Петра, за водой.

— Иди-ка сама. Чего ты?

— Ломит.

— Ланно, иди.

Мужчина, отбросив полог, свесил ноги с койки. Он скучно и привычно разглядывал распаханных по углам жильцов. Воздух от них шел тяжелый.

— Эй, «вставай-подымайся»! И с чего от человека дух такой?..

Часы-ходики длинно зашипели и пробили шесть.

— Вставай, ну?

Серые и рыжие тряпки зашевелились.

— Ставай, оболью-у.

Хозяин покрикивал просто так, оттого что проснулся.

Из-под тряпья, наконец, отозвался кто-то горласто и неожиданно:

— «Пасле-е-едний, нонечный диннеччик...»

— Чумовой, чего ты?

— «Гуляю сс вамми я, друззя-а!..» «Прощайте, товарищи, все на местах...»

Тряпье зашевелилось. Певец встал, одергивая рубаху. Василий парень здоровый, ломтики гнет.

— Почот хозяину.

— Чего ты пасть ни свет ни заря разеваешь?

— Призываюсь седни.

— У-у... новобранец, серая ты, Васька, душа.

Василий опустился на корточки перед печкой, разводя огонь. Стали шевелиться другие жильцы, кряхтя и охая. Вошла хозяйка. Нагнувшись, опустила ведро с коромысла.

Отметим тот факт, что вода на окраинах была нефильтрованная, почвенная, загрязненная и заразная.

Хозяйка мыла и вытирала посуду, молча, мрачно, ненавидя всех. Щепы и береста горели, потрескивая в печке. Сучья куста скреблись в окошко при порывах ветра с моря.

— Ва-ась, форсишь — колечко надел?

— Котись-ко.

— Ва-ась, с тебя отвальную.

Второй поддержал:

— Тебя в гвардею возьмут.

Хозяин с порога, сбрасывая опорки, захихикал:

— Это его-то в гвардию? Таких архаровцев и мимо-то не пускают.

— Ладно, хозяин.

Парни одевались под тряпьем, вытаскивая мятую одежду из-под изголовий. Хозяин полез в пиджак за папиросами, потом раздумал и спросил:

— Ну, у кого курить есть?

Парни не отвечали, скупясь, зная повадку хозяина. Когда он требовательно спросил одного уже по имени, тот нехотя достал папиросу.

Стучал носик рукомойника. Вода струйкой сбегала в лоханку. Парни торопясь, без мыла, ополаскивали руки и щеки. Хозяин сказал:

— Ты, Василий, отвальную — отвальной, а за угол сегодня мне сполна давай. Где тебя, рекрута, потом искать! Пропьешь — вещи возьму.

— Ладно. Денег хватит. Получка. Подработали ноне.

Сося маленькие кусочки сахара, парни, ошпаривая язык и нёбо, пили белесо-желтую воду. Хозяин считал:

за угол у окна — пятишник, и у печки — пятишник, у двери — трешка... У него была своя рента.

— Пошли.

Дверь глухо и сыро стукнула. Литейщики пошли на завод. От слободы версты две; как раз к семи, к гудку, и поспеть.

Хозяйка закутала чайник в теплый платок и загасила огонь в печке.

Оставшиеся в комнате зло молчали. Дверь стукнула снова. Вошло четверо.

— Хозяину. Хозяйке.

Вошедшие опустили на лавку. Вторая смена жильцов — газовщики — пришла с ночной работы. Они сидели молча, понуро, слабо реагируя на посторонние звуки. Тягостная усталость делала их безразличными. Платье их было мокро и грязно. Хозяйка налила им чаю. Люди пошевелились. Один стал пить, грея обе руки о кружку. Другие поднялись, пошли в угол и повалились на тряпье.

— Разделись бы.

Люди не ответили. Они уже засыпали.

Хозяин сдавал только бессемейным. Так по углам жили семьдесят процентов холостых и сорок три процента семейных рабочих Санкт-Петербурга.

Над позеленевшими от болотной сырости, кривыми и старыми домами шел дым из полуразвалившихся труб.

Просыпался рабочий огромный Петербург: Волинкино, Тентелево, Вологодское-Ямское, Высково, Большая и Малая Охта, Выборгская, Полюстрово, Писаревка, Новая и Старая Деревня, Голодай; с трудом находимые на плане города улицы Болотные, Красножабицкие, Крапивинские, Заставские, Задворные, Прогонные, Глухие, Дребезговые, Тобольские и Камчатские.

Рев заводских гудков обрушивался в рабочих слободах на «низы», подымая людей, и был еле слышен в центре города — «верхам».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

		Иждивенцы	Всего
Хозяева с наемными рабочими	4 528	8 222	12 750
Хозяева, работающие с членами семьи и помогающие членам семьи	20 688	17 489	38 177
Хозяева-одиночки . .	47 620	56 324	103 944
Лица свободных профессий	12 371	3 000	15 371
Иждивенцы государственных и общественных учреждений . .	94 580	18 135	112 715
Деклассированное население и лица неопределенных профессий .	57 035	20 836	77 871
Служащие	168 288	199 263	367 551
Прислуга	72 937	50 251	123 188
Рабочие	287 326	312 306	599 632
Безработные	112 553	53 032	165 585

Рабочие привычно шагали к заводу по черно-рыжему месиву. На шоссе было посуше. На своих местах стояли городовые — в плотных черных пальто, толстые, «непромокаемые».

Люди шли продавать свою рабочую силу — свое единственное имущество,— для того чтобы жить. Это был вынужденный, тяжкий, гибельный труд... Производимое ими не являлось целью их жизни и работы. Оно не было им нужно. Более того: то, что они производили,— обогащало враждебный им класс.

Каждый брел туда, где он «свободно» нанимался. Туда, откуда он мог «свободно» уйти. «Свободные» рабочие шли «свободно» продавать двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов своей жизни в сутки собственникам сырья и машин.

Рабочие могли не продавать свой труд собственникам и этим обречь себя на голодную смерть. Собствен-

ники могли не нанимать рабочих и этим приостановить нарастание своих прибылей. И то и другое было невозможно при наличии капиталистических производственных отношений, поддерживавшихся царем, законом, всей системой власти в империи Российской.

* * *

На металлургическом заводе работали тысячи людей. Заводская усадьба занимала тридцать десятин. Она была огорожена с трех сторон; четвертой — выходила к взморью, к устью Невы сырым, болотным выступом.

У ворот тянулись мелочные лавки, торговавшие холодными и клейкими пирогами, грибами, кислой капустой, солеными огурцами, клюквой...

В глубине подходных каналов стояли суда и баржи. Сплошные завалы ржавеющего железа и лома тянулись вдоль забора. Травой зарастали какие-то тихие тропинки и забытые узкоколейки. Брошенные машины начала прошлого века, с едва различимыми британскими клеймами, покрывались рыжей корой.

Ветер нес черный дым с Морского канала и из порта. В лесной и угольной гавани мачты выстрелены в небо. Они темны, как горелый лес.

Беззвучно шли пароходы на запад — за границу — в порты Старого и Нового Света и каботажем в Устье, Усть-Лугу, в ближние порты Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и великого княжества Финляндского.

Мимо Кронштадта шел из России лесной товар, пенька и веревки, кожа, поташ, масло коровье, яйца, сало скотское, смола, рыба сушеная и соленая, лен и пряжа, зерно, мука ржаная, пшеничная, крупчатая, ячмень, овес, бобы, горох, холст, щетина, меха, мануфактура, сахар, спирт, изделия из одного и другие товары.

Из-за границы же и из портов великого княжества Финляндского, а также из Эстляндии, Курляндии и Лифляндии шли в Россию, в Санкт-Петербург: уголь каменный, кокс, химические продукты, масла расти-

тельные, глицерин, вещества дубильные, краски и вещества красильные, машины, чугун, железо, сталь, свинец, бумажная масса, целлюлоза, хлопок-сырец, шерстяные и полушерстяные изделия, шелковые изделия, рис, кофе, чай, табак и прочее, и прочее.

К заводу вели каналы застойные и черные. Сюда подвозили английский уголь. В годы 1854—1855-й, когда Англия вела с Россией войну, уголь шел точно так же, ибо и во время войны «business as usual»¹. Был изменен только флаг зафрахтованных под уголь судов.

Каналы были свидетелями двух столетий. Некоторые баржи были так же ветхи, как брошенные британские машины. Вода прогрызла палубы и люки, сломала трапы, изъязвила переборки. Искалеченные сходни как бы судорожно впились в берег.

Разрушались следы первой поры фабричной России. А рядом гремело гигантское предприятие: оно лило, формовало, сверлило, точило и шлифовало металл. Кирпичные цеха почти вековой давности, сарайчики и деревянные срубы чередовались с новыми колоссальными светлыми строениями. Птицы взвивались среди лопухов, подорожников, лютиков и крапивы при появлении вагонеток на пустырях, постепенно всасываемых предприятием...

Все это, отображенное в литературе как «пейзаж» и называемое только своими именами: «завод», «барак», «склад», «лавка», «лом», «гавань», «пароход», «груз», «узкоколейка» и т. д., с прибавлением к ним художественных эпитетов, — являлось *«капиталом»*. Все это — сырье, средства производства и средства существования — было инвентаризировано и принадлежало определенным немногочисленным лицам. Они, используя рабочую силу многих, употребляли все эти предметы для нового производства товаров, их обмена и извлечения прибыли для себя.

¹ «Дела прежде всего» (англ.).

Владелец завода господин Языгов вставал по гудку — согласно фамильной традиции. Роста он был среднего, волосы имел русые, лицо чистое, года рождения был 1880-го, особых примет за ним не значилось, если не считать:

- I. Завода из многочисленных старых и новых корпусов, кирпичных, крытых железом, частью деревянных, частью бетонных, со станками, моторами и прочим оборудованием.

Оценка Р. 27 500 000

- II. Жилого дома, 2-х этажного, частью 3-х этажного, каменного, стиля ренессанс, крытого железом. Стены снаружи и внутри оштукатурены. Потолки частью лепные. Полы паркетные. Отопление паро-водяное. Стены частью оклеены обоями, частью окрашены масляной краской. Внутренние лестницы каменные. Под домом устроено подвальное помещение под сводами.

Оценка Р. 286 200

- III. Конюшни и служб одноэтажных. Передний фасад частью 2-х этажный. Строение каменное, крытое железом. Полы в жилых помещениях дощатые, крашенные, в конюшне ребристые плитки, в стойлах бетонные полы и сфагнум¹. Стойловые заграждения дубовые с верхними железными решетками и латунными шарами. Стены внутри оштукатурены, панели облицованы глазированными (стеклянными) плитками. Потолок бетонный, с верхним светом. Отопление паро-водяное.

Оценка Р. 60 000

¹ Подстилка для скота из мха.

IV. Каретного сарая и прачечной. Сарай одноэтажный и прачечная 2-х этажная. Строение каменное, крытое железом. Стены внутри оштукатурены. Потолки в прачечной оштукатурены, полы бетонные. Вторым этаж занят сушилкой. Внутренняя лестница каменная.

Оценка Р. 30 000

V. Сарая деревянного, крашенного масляной краской, крытого железом. Занят под кладовую служащих.

Оценка Р. 1 000

VI. Сада и площадок: крокетной и для лаун-тенниса; зимой — катка.

Оценка Р. 500

VII. Оранжереи частью каменной, частью остекленной, крытой железом. Печи железные.

Оценка Р. 28 000

VIII. Дворницкой. Строение каменное, одноэтажное, крытое железом. Стены внутри оштукатурены и побелены. Полы дощатые. Потолки оштукатурены. Печи железные, круглые.

Оценка Р. 4 000

IX. Амбара типа № XVII.

Оценка Р. 4 000

X. Навесов деревянных (6 штук), крытых толем.

Оценка Р. 9 000

XI. Жилого 2-х этажного деревянного барака, крытого толем.

Оценка Р. 18 000

XII. Помойной ямы, каменной, крытой железом.

Оценка Р. 500

И разных ценных бумаг — на сумму Р. 5 000 000

Итого Р. 32 941 200

До семи часов утра Языгов успел сделать гимнастику, принять душ и выпить молоко. В семь часов он выехал на своем «Бенце» на завод.

В пути он думал, видел, ощущал:

В САСШ бесполезно тратят тридцать процентов рабочей силы, во Франции сорок процентов, в России восемьдесят процентов. Это надо проверить, но сейчас ни о чем не думать. Гигиена мозга,— избавиться от навязчивых идей, фантазировать. Мои «скромные» желания... Ну?... Из книг я бы хотел иметь национальные библиотеки Старого и Нового Света... Крупнее!.. В качестве чернильницы — Тихий океан, пресс-папье — Гауризанкар¹, в любовницы — деву Марию... Если Балканы успокоятся, можно рассчитывать на хорошие дела в 1913-м. Не слишком ли быстро я еду? Как взлетели полы пальто пешеходов, юбки дам. Вихрь! Великолепие мира обогатилось новой... ага, угол Невского и Садовой, гудок, педаль, меньше газа, городской... обогатилось новой красотой скорости... Гоголь кое-что понимал в Невском проспекте... «Невский проспект»!. Как будто дома бросаются на мое авто... Теперь прямо... Скорость... Пажеский корпус... *Сигнал!*.. Торжествующий человек — совершеннейшая машина!

Автомобиль мчался сквозь город. Город начинал жить: дворники мели улицы; волокли бидоны молочницы; мороженщики катили голубые и зеленые тележки с мороженым, сделанным из больничных опивков; на Фонтанке свистели и дымили финляндские пароходики; на Сенной закипал пот на лицах торговцев; с вокзалов Николаевской, Варшавской и Виндавской железных дорог шли с котомками, берестяными коробами, сундучками безземельные мужики... Ломовые извозчики приводили в движение грузы. Опухшие босяки покидали ночлежки.

Каждый по-своему включался в жизнь, вооруженный, как дубиной, правилом: «каждый сам за себя».

¹ Горная вершина в Гималаях, одна из высочайших в мире.

Включался в жизнь, которая обрекала большинство на гибель.

Господин в автомобиле продолжал беседу с самим собой:

Омерзительная страна... Ах, да, подготовить: господа члены Государственной думы, та группа законопроектов, которая подлежит вашему обсуждению, имеет первостепенное, экономическое, общественное, государственное, скажу более, — мировое значение. Введением их в жизнь, признанием тех правовых норм, которые предлагаются вашему вниманию (короче!), мы предпрещаем ход развития российской государственности (лучше — государственности российской), нашего будущего гражданского строя (браво, кадеты переглянутся). Значение и объем внесенных на ваше усмотрение проектов заключается в улучшении положения фабричных и заводских рабочих и разрешает кардинально вопрос бытия и область взаимных отношений работодателей и представителей наемного труда (потом о Западе — Германии). В конце концов эти идиоты даже в департаменте полиции, кажется, поняли, что теперь с этим законом о страховании можно обнадежить и успокоить миллион восемьсот тысяч человек. Не проповедь междоусобиц, а идея общественного сплочения. Тут, конечно, слева будут орать, колотить по пюпитрам: почему миллион восемьсот тысяч, тогда как насчитывается наемных — тринадцать миллионов. Будут кричать: полицейские реформы! Как будто каждый из тринадцати миллионов поручил этим крикунам свою судьбу... Направо Маринский театр, Гвардейский экипаж, консерватория... Бетховен считал, что музыка не его призвание, что ему следовало заниматься юриспруденцией... *Сигнал!*.. Может быть, великие говорят это так, для потомства — парадоксы, шутки. Например, у Флобера: «Я кончил роман, мне остался месяц работы; обдумать глагол и эпитет последней фразы...» Почему я об этом думаю, с чего я начал? Да,

Бетховен... Почему вдруг о Бетховене? Бетховен, Бетховен — ну, ну? Да! Музыка — консерватория — Мариинский... Лев Толстой первый раз ребенком в опере глядел на ложи, а не на сцену; думал: театр — это где красиво, ложи — красиво... А потом как описал оперу упрямый старик, воевавший в одиночку с богом... Да... *Сигнал!*.. Какие тупые пешеходы, лезут прямо под авто! Происшествие: «Пешеход под автомобилем заводчика Языгова...» Положим, струсят, поставят инициалы, даже не инициалы, а — N.N.... Что тут надо этому англичанину, чего он лезет к морскому министру? Ну, ладно — я обставляю его. Англичанин, вероятно, зондирует почву для получения заказов при расширенной судостроительной программе, но мы обойдемся и без европейцев... Быстрые и веские разрешения проблем — за Россией. В сущности они понимают, что рано или поздно мы их отодвинем... Калинин мост... *Сигнал!*.. Калининская больница... Однако я не опоздал? Семь сорок семь... Завтра в двенадцать — в Адмиралтейство. Ваше высокопревосходительство, борюсь не за узкие интересы свои или промышленности, но за крупную государственную идею. — «Да-с. Ну-с?» — Надо доказать способность России стать на ноги... Обеспечить Морское ведомство... Да! — этому его капитану первого ранга надо дать две тысячи из «специальных»... Как удивительно коммифотно они берут, гениально, изящно, непринужденно, — порода, бары, бары, нельзя отказать!.. Ваше высокопревосходительство, мудрость и справедливость вашего высокопревосходительства известны всей России, мой завод (или «наш завод», или «я и мои сотрудники», или «отечественная промышленность») смело вверяет свою судьбу и всю будущую судьбу русской металлургии в руки вашего высокопревосходительства. Я кончил... — «Ну-с?» — Порода надушенных и перенагражденных собственных его величества склеротиков!.. Мы — промышленники — фактические хозяева, а судьбы России вершат вот

эти склеротики Да они не знают, как чугуны от железа отличить! Господа? Голубая кровь? Чепуха!.. Мои заводы, мои капиталы, я хозяин, я, Я! А эти только «прикасаются»... Когда же окончательно будут развязаны руки?..

Автомобиль покрыл расстояние до завода — по любимому ежеутреннему маршруту — в двадцать минут. Автомобилем управлял скромно одетый господин, рядом с которым сидел богато одетый шофер.

* * *

На завод сквозь строй сторожей проходили тысячи наемных рабочих... Сторожа высились у входов, полные внушенного им сознания, что они являются первыми должностными лицами, с которыми сталкивается всякий, приходящий извне. Поэтому они должны были быть представительны, — их хорошо одевали, и лица их выражали безусловную и воинственную преданность своему хозяину и существующему порядку.

Сторожа стояли у табельных досок, впиваясь глазами в пришедших и сдававших свои номерки рабочих. Бывших на подозрении, «неблагонадежных», они тут же обшаривали.

Завод изготовлял орудия, броневые плиты, башенные установки, станки и лафеты, учебные стволы, стальные пружины, снаряды всех калибров, торпеды, приборы Обри, оптические прицелы, трубы.

Наука совершала открытия — и первые ее мировые успехи в металлографии были отданы производству орудий.

Процесс изготовления дальнобойного орудия весьма интересен: изготовленная в мартенах сталь разных сортов льется в изложницы и застывает в виде колоссальных болванок — до тысячи пятисот пудов весом. Краны подхватывают их и несут к прессам. Пресс, весом в три тысячи тонн, начинает изготовление орудия. Из болванок должно выйти дальнобойное орудие для линейного корабля, называемого по-английски «дредноут», что

означает — неустрашимый. В конечном счете нужно орудие, которое выдержало бы сто — сто пятьдесят выстрелов, то есть час боя.

Станки в движении... На громадных токарных станках между бабками и патронами вращаются длинные бревнообразные, обжатые прессами болванки. Станки обтачивают миллиметр за миллиметром части будущего орудия: внутреннюю *трубу* из особой стали, *цилиндры*, *кожухи*, *казенники*... Станок въедается в крепчайшую сталь, растачивая в трубе канал с винтовыми, идущими под углом, нарезами, сообщающими впоследствии снаряду правильное поступательное движение.

Станки в движении...

Детали орудий идут в обточку и шлифовку...

Шеренги людей сгибаются над точильными камнями, вращающимися со скоростью трех тысяч оборотов в минуту. Камни различных диаметров, в зависимости от размеров деталей, непрестанно, с равномерным шипением под нажимом обтачиваемых изделий отделяют песчаниковую и металлическую пыль.

Смачивание водой, предохраняющее от пыли, не практиковалось, так как процесс точки и шлифовки от этого стал бы длительнее и поэтому дороже и, таким образом, приносил бы лишний убыток господину Языгову. Шлифовальная пыль представляла собой смесь мельчайших, большей частью острых металлических и минеральных частей; за отсутствием вентиляции она поглощалась легкими рабочими. В легких образовывались мелкие черные узелки. Шлифовальная пыль вызывала одышку, кашель, эмфизему легких, расширение бронхов, кровохарканье, гнойное кровохарканье, хронический катар гортани у сорока трех процентов рабочих и атрофию слизистых оболочек носа у двадцати трех и четырех десятых процента. Средняя продолжительность жизни рабочих сокращалась. Некоторые работали, обвязав рот платком,

и поэтому их дыхание было затруднено. Большинство работало, дыша носом, сомкнув челюсти. При найме на эту работу брали только здоровых и крепких. Таким образом, металлическая пыль убивала здоровых мужчин.

Завод в движении...

Краны подают, для закалки и одеваья, к печам и огромным масляным ваннам обточенные серо-блестящие стальные тела: трубу, цилиндры, кожухи, казенники. На трубу, измеряя доли миллиметра, медленно надевают первый цилиндр, на него второй и затем третий. Тело орудия становится массивнее. Наконец подают верхнее покрытие — кожух с кольцевыми выступами, которые лягут на салазки орудийной установки (лафета). В заднюю часть тела орудия ввинчивают казенник. Казенник первым выдерживает мгновенный удар трех тысяч атмосфер давления на свои стенки. Ход за ходом многопудовый массивный казенник, в «горло» которого может нырнуть человек, плотно завинчивается, так чтобы не было ни малейших, даже волосных зазоров (щелей). Затем на казенник надевают горячее кольцо. Его обжимают. Затем другое. Обжимают снова. Когда идет обжим, в месте соединения казенника с телом орудия (до обжима) кладут прокладку и медное обтюрирующее кольцо¹. Стенки орудия герметически непроницаемы... Затем следует сборка — замок, станок... Орудие готово!

Учитывая наш лаконизм и умолчания, легко понять, что процесс был неизмеримо сложнее и шире.

Человеческий мозг, изучая строение металла и самую массу зерен металла, открыл их природу (открытие Чернова²). От открытия к открытию перебрасывались мостки, возникали теории и законы, но рабочего вы-

¹ Предохраняющее от прорыва пороховых газов.

² Чернов Д. К. (1839—1921) — выдающийся русский ученый-металлург, основоположник современных методов тепловой обработки стали; производил на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге исследования по строению и кристаллизации стали.

ключали из мыслительного творческого процесса производства. Его учили только механическим движениям, действиям. Однообразие и всяческие ограничения искусственно уменьшали его восприимчивость. Рабочих лишали инициативы и творчества в труде. Все делалось для создания «человека-машины» с необходимым для капиталистической системы наличием мускульной силы. Творилась оргия капиталистического принуждения.

Особо, специально внедрялись понятия — «бог», «родина», «долг», «монарх».

Шла давняя борьба с конкурирующими фирмами, например «Виккерс и К°». Чтобы победить конкурентов, владельцу завода нужно было давать продукцию еще дешевле. Для того чтобы это было осуществимо без убытка, нужно было давать все больше и больше продукции, экономя на рабочей силе.

Металлургия мира содрогалась в пароксизме безудержного производства. Машины повышали производительность. Машины упрощали труд, сокращали издержки на рабочую силу.

Станки в движении...

Станки токарные, сверлильные, расточные, нарезочные, клепальные, фрезерные, шлифовальные и прочие. Они равномерно жужжат, стучат, воют, свистят, шелестят. Станки сверкают, они красивы... Пыль, влага, ржавчина понижают производительность. Станок делает восемь сложных движений — ать-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь! Ать-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь! Ритм точен, интервал в полсекунды после пяти движений. Глаза и руки рабочих подчинены этим движениям. «Номер» стоит, ритмично взбрасывая одну руку к готовым частям, другую — к пусковой рукоятке.

«Номер» стоит весь день, исполняя обязанности придатка станка, придатка, который пока еще не заменен механизмом. Равномерный ритм восьми движений в четыре секунды — заполняет мозг, слух, нервы... Десять — двенадцать часов в сутки. Десять — двенадцать часов в сутки... Ритм беспощаден и неизменен. Он преследует «номер» даже во сне.

Машины неистово гнали людей, бездушно подчиняя их себе. Ритмично сверкали исполинские валы, шатуны, шпиндели, молоты. Люди были прикованы к машинам, как неотъемлемая часть, и напрягали все силы, чтобы соответствовать их сверхчеловеческим скоростям и сверхчеловеческой точности. Изредка вырывался чей-то вопль ярости.

Не сообразный ни с чем порядок вгонял миллионы людей в нищету и рабство.

Эксплуатация человека человеком была вопиюще жестока. Капиталисты, присваивая себе чужой, не оплаченный ими труд, извлекали из него грандиозные прибыли. Рабочим же эта прибыль обходилась, в зависимости от рода производства, в четырнадцать, тридцать пять и семьдесят пять чахоточных на сотню и от пятидесяти до трехсот увечных на тысячу человек.

В сраженьях, веденных Российской империей в XIX веке, на тысячу солдат выбывало от шестидесяти до ста тридцати человек.

Таким образом, промышленность была войной, она представляла вся облитая кровью и грязью.

Какое надо было иметь упорство, волю, силу, чтобы противостоять этой системе и в конечном счете победить!

Предприятие грохотало. Дым нависал над цехами... Уголь с эстакады ссыпался в бункера высокого четырехэтажного кирпичного здания и порциями проваливался в газогенератор. Это был импортный английский уголь по двадцать четыре копейки франко-склад. Пробки в полу в газогенераторной были открыты для шуровки. Газы (химически обозначенные — CO), вырывающиеся из-под пола, где топка, окутывали все помещение. Газовщик разбивал спекшиеся массы угля. Газ выходил все сильнее.

Это был угарный газ — от неполного сгорания угля, — газ, которым отравлялись самоубийцы. Необыкновенно ядовитое действие его объясняется тем, что окись газа при вдыхании химически соединяется с гемоглобином крови, вытесняя кислород,

вследствие чего кровь перестает питать организм. Газовщики были подвержены хроническому отравлению. Начальные стадии не характеризуются специфическими признаками. Поступавшие рабочие не подозревали об опасности, которой они подвергались. Постепенно появлялись симптомы отравления: тяжесть в голове, головокружение, общая слабость. У подверженных хроническому отравлению начинались расстройство пищеварения, душевная подавленность, иногда доходившая до тупости, необыкновенная бледность кожи, общая слабость, переходившая в губительную анемию.

Газовщики, тщетно стараясь не вдыхать газ, разбивали спекшуюся корку угля. Физические усилия, торопливость и нервирующее сознание опасности вызывали учащенное глубокое дыхание. Люди бледнели, задыхались, но прерывать работу воспрещалось, так как шуровка и загрузка не ждали: газ должен был поступать к мартенам точно, в определенных количествах и определенных качеств. Подступала тошнота, учащался пульс.

— Давай, давай, ребята!

Гнали «экстру»: заказ для Балтийского флота.

Упавших без сознания выволакивали во двор.

Единственной мерой предосторожности было бы удаление газа путем усовершенствованной вентиляции, но это не входило в расчеты дирекции, к сведению не принималось, и посему в железоделательной и сталелитейной промышленности империи десять процентов всех повреждений, травм и смертей рабочих относились к отравлению газами.

Функции рабочих были хозяином определены так: «Давать мне наибольшее количество металла, наивысшего качества, в наименьший срок, за наименьшую цену». Это внушалось, внедрялось, вбивалось безостановочно всей той практикой и теорией, которые были в то время законом на всех широтах и долготах земли.

Узкоколейка гнала к мартенам мутьды¹ с ломью (скрапом) — обсечками рельсов, железной и стальной листовой мелочью, полосовой, фасонной, бракованными литниками, чугуном и известью. Вагонетки летели со свистом сквозь пар и дым.

Паровичок водил машинист. От него шел острый запах иодоформа: машинист болел, от худосочия все тело его покрылось чирьями. Для экономии он лечился сам: осторожно на ходу, в определенные часы, разматывал бинты и присыпал язвы желтым порошком. Он часто гонял кочегара за сороковкой или полбутылкой к заводскому спиртоносу. Когда паровичок стоял, машинист и кочегар, выпив и подбодрясь, пели романсы о любви... Кочегар мечтал «нечаянно» налететь на кого-нибудь из администрации и посмотреть на его «требуху». Паровичок мчался, качаясь и трясясь, поливая заросшее травой полотно жидкими теплыми струйками, пробивавшимися из краников и флянцев.

Паровичок мотался, свистел, грохотал, влетая в грандиозные коридоры закопченных строений, подскакивал на стыках и стрелках, уносился от матерщины шагавших по шпалам и шарахавшихся в сторону рабочих и, повинуясь порядку вещей, неустанно гнал мутьды. В грохоте кочегар, подкинув угля, орал машинисту:

— Знаешь, как дьяк и поп с богом в очко играли? А? В очко-о! Играли, играли, дьяк и говорит попу на ухо, попу говори-ит (Эй, давай свисток!..): «А как же он, всемогущий, ежели я пойду козырным тузом, а? Чем покроет?» А поп дьяку и шепчет: «Дура, ужли он тебе хошь одного туза сдаст?» А? Охо-хо-ха-ха! Вот дья-вол, а?

Оба смеялись, а паровичок мчался вперед, и у машиниста от тряски болталась на тощем животе потемневшая медная часовая цепочка, которую он носил так же, как носят машинисты царских и курьерских поездов на Николаевской дороге.

Когда паровичок ходил в дальний край завода — к пустырю и к взморью, — это называлось «поездка на дачу». Там были запахи моря, трав и цветов. Там хоте-

¹ Вагонетки.

лось двигаться и шутить. Там рождалось ощущение того, что действительно есть трава, вода, воздух и вообще жизнь.

— Давай трогай, отец благочинный!

Кочегар с яростью рванул дверку топки.

— Гони лом! Мечтаешь? Не полагается.

Один раз в паровичке они нашли листок. На листке мелким шрифтом, в середине, было напечатано:

«..все средства для развития производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации производителя, уродуют рабочего, делая из него неполного человека, принижают его до роли придатка машины... все время его жизни превращают в рабочее время, бросают его жену и детей под Джаггернаутову колесницу капитала»¹.

И добавлено, что это сказал «основоположник ученья Маркс».

Прочитали с опаской, каждый про себя, успокаиваясь на том, что читали оба. Этот листок они, прочтя, кинули в топку. Листок несколько секунд висел там в воздухе, потом, вспыхнув, растворился, исчез, погиб, но мысли о прочитанном — остались.

— А ведь верно пишут?

— Верно, только Джернаутова — это что?

— Не знаю. Валяй трогай!

* * *

Языгов осматривал цеха своего завода, проверял все фазы производства и констатировал в сотый раз поразительное несовершенство процесса — и на своем предприятии и на всех им изученных в России и на Западе. Он рассматривал процесс с точки зрения будущих прибылей и возмущался его недостаточной продуктивностью... Владелец представил себе идеальное агрегированное оборудование, работающее непрерывно, от пер-

¹ Текст листовки заимствован из «Капитала» К. Маркса. (См. К. Маркс, «Капитал», том 1, Госполитиздат, 1953, стр. 651.)

вой до последней стадии автоматически: от момента за- сыпки угля и шихты до выпуска собранного и готового для полигона орудия. В сущности, полагал он, это воз- можно. Человек, прошедший путь от каменного топора до заводов «Steel Corporation» и Krupp'a, сможет доду- маться и до комбинированного завода-автомата.

Языгов вновь и вновь продумывал переустройства, особо необходимые в свете сложившихся за последнее время отношений с работополучателями. Статистика, за которой он пристально наблюдал, давала следующие показатели¹:

1905 г.—	13 995 забастовок с	2 863 173 участниками;
1906 г.—	6 114 забастовок с	1 108 406 участниками;
1907 г.—	3 573 забастовки с	740 074 участниками;
1908 г.—	892 забастовки с	176 101 участником;
1909 г.—	340 забастовок с	64 166 участниками;
1910 г.—	222 забастовки с	46 623 участниками;
1911 г.—	466 забастовок с	105 110 участниками

и по предварительным данным — 1912 год уже давал до 2000 забастовок с 700 000 — 800 000 участ-ников.

Предстояли огромной важности решения. Языгов предвидел враждебную инертность бюрократов в мини-стерстве торговли и промышленности, в морском мини-стерстве; он предвидел напор рабочих, учитывал их возраставшую силу. Но он опирался на опыт Запада, его финансовое содействие и на «великолепные» результаты последних лет, показавшие, что русская промышлен-ность за десятилетие с немногим, несмотря на удары 1905 года, подняла доходы на шестьдесят процентов и по концентрации живой наемной силы уже превосхо-дила Запад, уступая ему, однако, в абсолютных пока-зателях.

Началась жестокая война за изгнание или сокраще-ние людей опасных, требовательных и политически не-благонадежных... Система работодателей выступала

¹ Таблица стачечной статистики в России с 1905 по 1911 год заимствована из статьи В. И. Ленина «Стачки в России». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 19, стр. 484.)

против всех рабочих и каждого из них в отдельности, за производство автоматизированное, менее зависимое от живой рабочей силы, предельно ускоренное и предельно прибыльное.

А пока вся жизнь рабочих заключалась для Языгова и ему подобных в краткой формуле: «Они мне стоят четыре процента себестоимости стали». Сталь же производилась ими значительно выше себестоимости.

Владелец покинул цеха и находился сейчас в своем рабочем кабинете, откуда были без огласки, но непочтительно вынесены все фамильные предметы убранства (фирма была основана в 1803 году) — кожаные, бронзовые, красного дерева и тому подобные. Их заменила шведская и американская мебель. По стенам висели снимки всех крупных металлургических предприятий мира, географические карты издания Главного штаба, светописные схемы, планировочные картоны. На особом столе стояли модели — «Мой завод в 1803 г.», «Мой завод в 1853 г.», «Мой завод в 1912 г.» и «Мой завод в 1935 г.». Модели были рельефны, точного масштаба и давали наглядное представление об эволюции завода — от площади в полторы десятины к тридцати десятинам и т. д. На видном месте под стеклом красовалась справка:

ПЕРВОБЫТНЫЙ СЫРОДУТНЫЙ СПОСОБ ПЛАВКИ

На каких основах зиждется производство мадрасских кузнецов-металлургов, сохранивших первобытный способ?

В их горне за 24 часа можно сплавить 200 кг руды и при расходе 200 кг угля можно получить сырой болванки около 80 кг.

Таким образом, потери металла в производстве, на что прежде всего надо обратить внимание, составляют около 150% от всего веса годного металла. Не менее чудовищен и расход топлива, равный 250% по весу годного металла. При этой операции занято рабочих вместе с мастером — пять человек, что дает затрату около *1500 трудочасов на тонну* выплавленного металла.

По данным инженера Ritter von Schwarz'a при производстве этого количества металла они зарабатывают только 83 копейки, что дает немного меньше 0,7 копейки за рабочий час.

Для дальнейшего производства из этой сырой болванки подков, скоб и прочих мелочей элементарного хозяйства потребуется, по тем же данным, труд шести рабочих и четырех мальчиков, которые все вместе заработают 1 р. 29 к. в сутки. За это время из 80 кг полупродукта они получают около 42 кг всяких готовых изделий, с затратой 120 кг угля, то есть эта поделочная работа потребовала расхода топлива в 350% по весу готового продукта.

Всего, таким образом, потребуется на производство этих изделий 320 кг угля на 42 кг изделий, что даст одиннадцати взрослым рабочим и четырем подросткам заработок в сумме 2 р. 21 к.

Несмотря на такую расценку труда, оплата рабочей силы ложится на себестоимость продукта в размере около 37%.

Мы производим сталь, тратя почти в 50 раз меньше труда, и оплата труда ложится на себестоимость от трех до четырех процентов.

Снизу, синими чернилами острым почерком Языгова, было приписано:

*Стремиться в идеале к нолю затрат
при максимуме производительности.*

Технический персонал завода знал эту любимую хозяином справку о мадрасских плавильщиках и кузнецах... Она была неотразима, так как являла прогресс системы воочию и блестяще парировала недовольство людей малосведущих.

В некоторых предприятиях письма сортируются служащими и рассылаются по отделам; в этом случае директора не просматривают всей почты, а ограничиваются лишь просмотром адресованных непосредственно

им писем. Но Языгов считал это нерациональным. «Директорам не стоит большого труда просмотреть всю почту,— говорил он,— зато они получают полную картину работы всего предприятия. Главным же здесь является то, что от них не может быть скрыта никакая переписка, вследствие которой предприятие могло бы потерпеть хотя бы и незначительные убытки».

Почта доставляла владельцу английскую, американскую, германскую и французскую корреспонденцию.

Языгов отложил немецкий глянцеви́тый проспект и попросил вызвать директора. Они совещались с девяти часов десяти минут до девяти часов двадцати четырех минут. Директора раздражала необходимость изображать американского businessman'a¹, но он подчинялся, так как получал тысячу триста рублей в месяц и премиальные.

В результате четырнадцатиминутного разговора, одной телефонной справки и личных подсчетов Языгов записал в блокнот:

«Снестись с Düsseldorf'ом². У них на тонну продукции была оплата живой силы в переводе на наши деньги — 63 копейки. Введение новых механизмов уменьшило оплату до 19 копеек. С амортизацией — 27 копеек. Осуществить у нас! Послать в Düsseldorf ознакомиться...»

«Прогрессивное» мероприятие будет осуществлено. Часть рабочих окажется лишней, ненужной, обесцененной, но себестоимость продукции будет снижена. Пропорционально увеличится доход господина Языгова.

* * *

О прогрессивности процессов в металлургии думал и молодой инженер выпуска 1911 года Санкт-Петербургского Технологического института, наблюдая за

¹ Дельпа (англ.).

² Дюссельдорф (нем.) — город в Германии.

посадкой лома в мартен. Мастер Прохор Андреевич, приглядевшись к инженеру, полагал, что хорошо бы снять штаны с этакого хлюста и выпороть его, а пока что тайком просматривал газетку.

Прохор Андреевич обожал чтение, преимущественно объявлений, находя в них особый вкус и разнообразие жизни. Например: «Приданое готовое и на заказ — «Магазин Шварц» — блузы, капоты, матинэ, жабо, постельное белье, английское столовое белье, чистка и штопка настоящих кружев, приданое для новорожденных». Живут же люди! «С этого дня у вас не будет неудачных снимков! Покупайте Келерские пластинки «Электра-экспресс!». «Швейные машины Зингер продаются исключительно в собственных магазинах, рассрочка платежа от одного рубля. Остерегайтесь подделок! Магазины во всех городах империи». «Требуйте журнал «Геркулес», гл. редактор И. В. Лебедев». «Мол. массажистка приходит на дом...» Хе-хе...

Инженер присел на штабелек дйнасовых кирпичей, взял один в руки и пощелкал указательным пальцем. Это должно было означать, что он, молодой инженер, даже машинально проверяя качество, хочет услышать обязательный полуметаллический звук кирпича... Инженер волновался. Ужаснее всего было то, что его могли спросить, какой это кирпич, русский или импортный, а он не ответил бы на такой простой вопрос... «Держать кирпич или положить его? Вдруг этот мастер-плавильщик спросит меня?» Инженер ковырял ребро кирпича ногтем и почему-то вспомнил последнюю лекцию в Соляном городке:

«Милостивые государи, металлургия — «тво-
рай ангелы своя и слуги своя пламень огнен-
ный» — завладела тайнами египетских жрецов, ал-
химиков, потомков Прометея. (Любил профессор
красиво говорить!) Сталь, милостивые государь,
совершеннейший металл. Пойдите, милостивые
государи, в Эрмитаж, это лучше, чем итти к
«Медведю», или «Донону», или куда там вы ходите,
и посмотрите клинок толедской шпаги, поднесен-
ной населением Толедо государю Александру II

в бытность его наследником. Клинок этот лежит с 1849 года в малой шкатулке, и умещается он там потому, что свернут в виде восьмерки! Вот какова сталь! Более полувека лежит. И клинок изумителен: стоит его вынуть — он идеально прям, пружинит, звенит...»

- Можно начинать, Аркадий Робертович?
- Гм... Начинайте, мастер... Как вас величать?
- Прохор Андреевич.
- Начинайте, Прохор Андреевич.

Инженер вновь предавался размышлениям, забыв о посадке лома:

Как делают карьеру? Что я должен сделать? Вот Чернов сидел, ждал, смотрел, изучал и открыл тайну металлургии, познал разное строение кристаллов при разной температуре — это гениальное открытие, переворот! Весь мир использовал его открытие... Может быть, и я что-нибудь открою — нечто удивительное! Вот здесь, рядом, есть все возможности. Нужен такой металл, который бы противостоял химико-механическим разрушениям при выстреле, вот и все... «Святое беспокойство!» — сказал молодой инженер, то есть я...

— Я был бы рад, Аркадий Робертович, если б вы внимательнее относились к вашим обязанностям...

Начальник цеха был встревожен: невнимание и неопытность нового инженера (близкий родственник Языгова — ох, эти родственные связи!) могли быть чреваты последствиями... Сталь требует знаний, опыта...

Сталь самых совершенных качеств можно испортить случайной малейшей оплошностью. Формы отливок могут быть испорчены малейшей примесью посторонних веществ, неудачной высотой струи; металл может, захватив воздух, забурлить, образовать массу раковин, пузырей — и принести убыток владельцу...

Но еще больший убыток может принести нарушение

заводских порядков совокупными действиями наемных рабочих. Это пострашнее неопытных инженеров. Начальник цеха знал, чуял настроения в цехах и боялся их.

* * *

Колоссальное, остро ощущаемое, то скрытое, то явное влияние приобретала на заводе Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). Гневные, гениальные слова Ленина передавались рабочими из уст в уста, читались ими на страницах большевистской газеты «Правда». Новые раскрывшиеся перспективы воодушевляли рабочих, и тут происходили явления, опрокидывавшие нормы, доселе известные науке. С точки зрения физиологии, рабочие в массе были предельно истощены работой по десять, двенадцать, четырнадцать, а в некоторых отраслях и по пятнадцать — шестнадцать часов в сутки. Находить в себе силы для борьбы, требовавшей добавочного крайнего напряжения, могло казаться немыслимым. Но беспримерное движение, питаемое самыми значительными и высокими целями в мировой истории, попирало обычные нормы. Истощенные люди шли на борьбу во имя наконец найденных, подлинных и осуществимых идеалов человечества, шли на борьбу за коллектив, за класс. Они развивали эту борьбу с необычайной энергией, постепенно расшатывая, казавшиеся незыблемыми, законы и порядки.

В связи с этим за заводскими заборами, оградами, проволочными сетями, решетками, кованными железными воротами, за стенами — «надзидала и бдела» заводская полиция и заводская охрана... Люди работали, вынуждены были работать, под надзором полиции, охраны и частных шпионов...

* * *

Старичок, из отставных, просунул носик в цех, сощурился и, подобрав полы сюртука, шагнул вперед, к мастеру.

— Здравья желаю, Прохор Андреевич.

Старичок поздоровался с мастером по-воински, а потом за ручку, и попроще, отечески кивнул рабочим. Те, снимая шапки, кланялись.

— Почет.

— Почтение.

— Аристарху Матвейчу...

Старичку не поклониться — беду сделает. Рабочие знали, что старичок следит за цехами, за отхожими местами: чтобы не засиживались, не курили, не болтали зря, чтоб листков и «Правду» не подбрасывали.

По должности старичок должен был интересоваться всем: не шабашат ли ранее гудка, нет ли где распития вина или иных неуказанных деяний. Во время обхода он должен был убедиться, что заводу не грозит опасность пожара из-за брошенной тлеющей спички или окурка, самовозгорания угля, прямого замыкания проводов и т. п. Все недочеты должны были им заноситься в журнал, с доведением до сведения владельца. Далее он должен был выяснить, все ли огнетушители находятся в порядке на своих местах, а также находятся ли на своих местах пожарные рукава. Зимой он должен был следить за тем, чтобы во всех нетопленых помещениях был выключен водопровод и спущена вода. Но все это делалось для отвода глаз. На самом деле Аристарх Матвеевич был надзирателем над надзирателями, сторожем над сторожами, главным осведомителем Языгова.

Старичок побеседовал с мастером о том о сем — о здравии, погоде, прочитанном и наблюденном. Мастер с огорчением сообщил, что недосчитались большого количества болтов.

Эти беседы доставляли как бы питание для положенных рапортов владельцу, и, поскольку была суббота, рапорт уже надлежало представить. Беседуя, старичок мысленно нанизывал строки рапорта, писавшегося всегда рыжеватыми чернилами, посыпаемого песком, ибо клякс-папиров старичок не признавал:

«Его Высокоблагородию: имею честь донести, что в рассуждении состояния мастеровых литейной за истекшую неделю можно сказать, что оно достаточно, и оные ведут себя тихо, и даже заметил

роскошь. Так, у мастерового Василия Белова замечено кольцо, чего ранее не было. О нравственности начальство имеет попечение, но молодые уклоняются. Однако их умеренное число и им предстоит военная служба. Мастер попрежнему является добронравным и отличается поведением, искусством и усердием, с каковыми делает казенные заказы. Отхожее побелили, на что израсходовал сумму, каковая в прилагаемом счете приведена, ибо на стенах этого помещения были начертаны возмущающие слова. В одном из подсобных помещений был наклеен лист с подписью «РСДРП(б)», мною изъятый (прилагаю его при сем) с некоторым повреждением ввиду крепости употребленного неизвестными клея».

Старичок огорченно покачал головой: «Маловато», — и тут же обрадовался, вспомнив о пропавших болтах. Аристарх Матвеевич, дыша в платочек, внимательнейше присматривался к каждому из проходивших рабочих и, наконец, подозвал к себе молодого парня, недавно поступившего на завод.

— Строгин, тебе сколько болтов дано было?

— Двести.

— Так. А почему недочет?

— Как недочет?

— Так недочет. Поди, друг ситный, да поищи, а то...

В цехе не оказалось недостающих болтов. Причины их пропажи неизвестны: болты либо попали в стружку, в обрезки, в лом, либо отнесены в другой цех. Строгин сообщает старичку:

— Нет. Не найти.

— Гм... Не найти? Сегодня у тебя не найти, завтра у другого. Глядишь, и у завода нехватка будет.

— Сделайте вычет.

— А ты меня не учи. Я — человек ученый. Зачем я тебя обижать буду? Ты мне болты верни и получку получай сполна. А не вернешь, иди на все четыре стороны, сокол... И пометку тебе сделаю: «За воровство».

— Я...

— А ты помолчи.

Строгин остается один. Вор. Вор. Вор! «А ты помолчи...» Расчет. Волчий билет, безработица.

Строгин понимает: он ни за что ни про что приговорен к голодной смерти. Строгин просит позволения остаться в ночную смену. Он поищет, он постарается... Аристарх Матвеевич разрешает.

Утром охрана и полиция обшаривают труп. Аристарх Матвеевич привычно прощупывает подкладку пиджака, перебирает горсточку найденных в карманах вещей: шесть гривен мелочью, карандашик, немножко карманной пыли, состоящей из хлебных крошек, остатков махорки, комочков свалявшейся и истертой материи, и клочок белой бумажки, на которой наспех нацарапано несколько слов.

— Экая скотина. Нашел где повеситься.

Пальцы старикашки теребят застывшие веки, пытаясь закрыть мертвые глаза, но веки не поддаются. Старичок ищет в своей книжечке, где по алфавиту записаны все рабочие.

— Строгин — он из тихих.

— Удивили, папаша. Громкие — они не вешаются. Они сами до чужой глотки добираются. Веревку, папаша, вы оставьте. Вам достатка хватает, а мы люди бедные.

— Торговать веревочкой будете?

— Как бог даст.

По двору уже шли в цех рабочие. Старичок, городской и охранник не успели унести покойника и быстро подались в сторону.

Увидев распростертое тело, мастеровые бросились к товарищу. Старикашка стоял, сняв шапку, иногда всхлипывал, крестился и бормотал:

— Сыночек... Прямо, как живой... У меня такой был. Тоже пропал. Владыко, один ты, боже, знаешь горе и грехи человечьи. Девушку он любил. Любовь его засушила. Это бывает. Бабы, они такие...

Старичок говорил тихо, потрясенно.

— А что при нем было?

— Шесть гривен оставил покойник.

— Капита-ал!

Рабочие вздыхали:

— Эх, дура-парень, из-за бабы.

— Куда его теперь? В участок?

— А что при нем было все-таки? Кто его нашел? Старичок глядел на покойника, не отвечая, пока его не дернул кто-то за плечо.

— Выкладывай его имущество!

Старичок метнулся, поглядев на городского и охранника. Те посмотрели на толпу и отвели взгляд от старичка. Старичка еще раз толкнули. Сказывалось вечное недоверие, питаемое ненавистью. Покойника мало кто знал, парень он был молодой, из другого цеха, но что-то в горести надзирателя вызывало подозрения. Личность эта была рабочим хорошо известна.

Старичок полез в карман, долго ковырялся, укоризненно качал головой:

— Эх, господа, господа...

Он вынул деньги, сочувственно вздыхая о бедности людской. Один из рабочих подставил руки, и медяки тяжело падали под общий счет: «Пять, восемь, двенадцать, двадцать...»

Старичок покопался еще и сказал, не вынимая руку из кармана:

— Все.

Товарищи в упор глядели на надзирателя. Один встряхнул его:

— Не верти вола! Отвечай, чего зажимаешь?

Старик удивленно расширил глазки и переспросил:

— Что зажимаю?

Спрашивавший вытащил руку Аристарха Матвеевича из кармана и стиснул ее до боли. Старикашка пискнул и выронил бумажку. Казалось, что белый листок на прокопченном полу — как крик — взывал о мщении.

Бумажку подняли, расправили и прочли:

— «Старик меня обвиняет в воровстве. Я невинен, но доказать не могу. Разве голосу рабочего верят? Решаю обратить внимание на положение рабочего и кончаю себя. Прощайте».

— Товарищи, снимите шапки!

Молчание наступило... Тишина...

Самоубийцу подняли и понесли...

Растерявшиеся охранники испуганно, снимая шапки, давали мастеровым дорогу... Пусть уносят подальше от завода...

Покойник лежал на двух составленных столах, ногами к двери. Голова была чуть откинута назад. Руки беспомощно свисали, усталые от работы руки с натертыми мозолями, с резко обозначившимися царапинами от металла.

Люди вглядывались в мертвое лицо, в открытые глаза, которые, казалось, приказывали помнить просьбу — обратить внимание на положение рабочего. Посовещавшись, товарищи пошли обратно на завод. В комнате остались женщины: хозяйка, соседки.

На шее покойника темнел след от веревки. Женщины прикрыли его. Они твердо блюли похоронный ритуал: отыскивали вещи покойника, вынули белье, почистили и отряхнули его праздничный пиджак, обмыли и одели покойника.

Женщины, наконец, распахнули дверь. Окно было завешено одеялом, и в комнате поэтому было полутемно. Покойник был прибран. От нескольких зажженных свечей шел восковой теплый дух... В ногах стояла одна из женщин в черном платке и монотонно читала псалтырь...

Комната наполнялась людьми... Кто-то подходил и целовал покойника, кто-то тайком отрывал кусочки его пиджака — на счастье. Перекрестясь, вошел и замер в стойке околodочный надзиратель, придав себе осуждающий, но в то же время скорбный вид.

Огоньки тонких свечек дрожали, воск стекал... Чтица, застыв, бормотала какие-то молитвы. Подходили с ночной смены рабочие — весть о самоубийстве облетела весь завод.

Присутствие покойника, полутьма, шопот, свечи, молитвы, с детства устрашавшие «законы» и незнание того, что именно следовало бы делать, — держали людей в оцепенении.

В комнату вошел человек и громко спросил:

— Товарищи, что же это?

Он сорвал с окна одеяло, и в комнату ворвался солнечный свет. Стало сразу спокойнее, проще... Человек вынул из рук мертвеца вложенный женщинами образок и задул свечу.

— Гаси остальные, товарищи. Покойник не об этом нас просил.

Свечки погасили. Женщины стояли, пораженные ужасом. Околодочный, поддерживая шашку, шагнул вперед:

— Незаконно самоуправствуете и кто вы такой?

— Действую я именно законно, извольте заметить.

По законам империи (товарищ произнес это слово медленно, веско), самоубийцы лишаются церковного погребенья и отлучаются от церкви. Знать бы надо.

Околодочный шагнул назад, но продолжал соображать — кто же именно этот человек.

— Но, виноват, все-таки кто, пожалуйста, вы будете?

Товарищ ответил четко:

— Член Государственной думы. От рабочих. Мартынов — моя фамилия.

— Виноват.

Околодочный соображал, как ему надлежит поступить, и припоминал инструкции, вменявшиеся в подобных случаях. Вмешательство непредвиденного обстоятельства, а именно — законоположение об отлучении от церкви самоубийц, вносило неясность в вышеупомянутые инструкции, и посему околодочный побежал докладывать о происходящем по начальству.

К шести часам, после работы, пришли заводские.

— Наши в «Правду» объявление дали.

— Гроб покупают.

— О покойнике есть кому позаботиться.

К дому подходил народ и с других заводов и фабрик. Некоторые несли железные крашеные венки с белыми и красными лентами.

Женщины собирались на лестнице, выбегали на улицу. Предчувствуя, что придут «усмирять», они загоняли детей в квартиры и снова, сгорая от страха и любопытства, бежали во двор.

Околодочный скоро вернулся с нарядом городских. Он задерживал в подворотне рабочих, отбирал венки, читал написанные черной краской на лентах слова: «Ты жертвою пал в борьбе роковой», «Спи, товарищ, месть за тебя будет», «Вечная память страдальцу». Околодочный, оторвав первые две ленты, аккуратно сложил их и спрятал в боковой карман, оставил третью, отрезав ножом — «страдальцу»...

— Виноват, служба. А теперь пожалуйста, но без лишнего шума...

Комната, где лежал покойник, уже не вмещала пришедших. Двор, подворотня, улица заполнились людьми.

На лестнице рыдала женщина. В толпе спрашивали: «Жена?» — и старались рассмотреть. Потом узнали, что не жена, а так — от чувства плачет резинщица с «Треугольника». От нее пахло бензином и резиной — неистребимым запахом производства... Она иногда шептала: «За семьдесят пять копеек жизнь травишь». (Работницы «Треугольника» получали за десять — двенадцать часов самоотравления — семьдесят пять копеек.)

К дому шли и шли рабочие, побуждаемые чувствами возмущения, тоски и гнева... Они видели полицию — появилась уже и конная, — но со злой решимостью не обращали на это внимания.

На стене дома появились надписи, повторявшие надписи на срезанных околодочным лентах: «Спи, товарищ, месть за тебя будет», «Ты жертвою пал в борьбе роковой»...

Конные полицейские нажимали на людей, бросая короткие «осседи!».

Наконец показался гроб. На крышке гроба алели ленты венка. Он двигался медленно, плыл, колыхаясь, над головами. Толпа сняла шапки.

Конные разом двинулись вслед. Один, шпоря коня, поровнялся с гробом и, перегнувшись к нему всем телом, рванул алую ленту. Венок упал, оцарапав острыми железными листьями лицо Мартынова, несшего гроб. По лицу побежала кровь... Товарищ осторожно утер лицо рукавом и сказал: «Пошли дальше...»

Толпа двигалась плотной колонной, окруженная конной и пешей полицией, вливаясь в общий поток улицы, нарушая движение ломовых подвод, извозчичьих пролеток, оттесняя пешеходов. Окрики городских заглушались ременными ударами по спинам битюгов, матерщиной извозчиков, дребезжанием трактирных органчиков, гомоном торговцев, лотошников и барахольщиков.

У кладбища процессию поджидал новый наряд полиции. Гроб опустили у вырытой заблаговременно ямы.

Распоряжавшийся всем Мартынов встал у гроба. Люди тихо стояли, обнажив головы, ощущая всю тяжесть своей жизни.

Мартынов взял слово.

— Выполним волю покойного — обратим внимание на положение рабочего класса. За десяти, а то и двенадцатичасовой рабочий день мы получаем по шестьдесят пять — семьдесят пять копеек. Промышленники заставляют нас подымать выработку так, что выходит у нас по пятьдесят дней вместо месяца. Люди не видят жизни, не видят даже своих убогих углов... Мы начали, товарищи, объединяться! Сообща легче добиваться своего...

Каждый из присутствующих знал все это, но точность фраз, громко произнесенных, выразительность слов и убежденность оратора вызывали в людях жажду активности, протеста и чувство солидарности.

Мартынов продолжал говорить:

— Прощай, товарищ Строгин, смерть твоя — последний урок нам, живым...

Полицейский пристав стоял, заложив руку за борт шинели, и напряженно кивал головой, как бы подтверждая слова оратора. Но этот странный жест выражал удовлетворение пристава тем, что Мартынов не касался политики и говорил только о материальных нуждах, тем, что пока все благополучно и речь подходит к концу. Но он ошибался... Мартынов заговорил еще горячее:

— Погибший просил обратить внимание! Мы видим, что управы на зажавшихся хозяев нет. У них круговая

порука против нас, рабочих! Терпеть, как безгласный скот, мы больше не будем! Ясно, что нам делать надо: веточки не общиплешь,— по корню рубить надо!

Пристав встрепенулся и гаркнул:

— Не давай говорить! Держи его! Конных — сюда!

Конные рванули на кладбище, топча могилы и осенние цветы, высекая искры из могильных плит.

Конные врзались в толпу, хлеща нагайками направо и налево.

Рабочие пытались вырвать могильные кресты, выломать прутья решеток, чтобы защищаться. Кто-то крикнул:

— Партийных не выдавать!

Прижатый к чьему-то памятнику, стоял Мартынов. Его схватили, но он продолжал говорить. Тогда пристав засунул ему в рот свою перчатку. Один из мастеровых подхватывал тяжелые цветочные горшки с соседней могилы и, повторяя беспрестанно: «Вас, сукины сыны, на Дальнем воевать не было, а тут вы есть!» — швырял их в полицейских...

Два городских скрутили ремнем руки мастеровому... Он ударил одного головой, тот упал; другой городской — тяжелый, грузный — вскочил на гроб, чтобы схватить мастерового сзади. Крышка гроба треснула, и нога городского наступила на мертвеца.

Рабочих разогнали... Мартынова, мастерового и еще человек пятнадцать — шестнадцать увели городские.

Растоптанный и изувеченный труп скинули в разбитом гробу в могилу. По дорожкам валялись какие-то обрывки одежды, втоптанные в грязь шапки... В наступивших сумерках могильщики, торопясь, забрасывали могилу землей.

* * *

Упрямо, систематически, вооруженная ни с чем не сравнимым умением познавать действительность, ее законы и корни жизненных явлений, в предвидении широких исторических перспектив — действовала Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шеви́ков). Бесстрашно попирая законы империи, обращались большевики к рабочим, настойчиво и терпеливо направляя и подготавливая народ ко второй революции. Не сгибаясь в тюрьмах и на каторге — они являли примеры небывалого мужества. Они упорно сохраняли силы, чтобы бросить их при первой возможности на службу народу, готовые отдать всю свою жизнь борьбе за революцию. Они шли, как командиры, в первых рядах, когда заводской народ, измученный и доведенный до предела человеческого терпения, — поднимался на борьбу за свои права.

* * *

В час дня Языгов вышел из Адмиралтейства. Он только что произнес в кабинете министра обдуманную вчера в автомобиле речь об интересах отечественной промышленности, опередив на тридцать минут представителя английской фирмы «Виккерс и К°», которому он успел передать приглашение пожаловать к нему на завод. Он имел в виду сегодня же использовать, под видом беседы, этого англичанина как бесплатного консультанта с европейской репутацией и, может быть, наметить с ним некие пути соглашения.

Чтобы не терять времени и дважды не гонять машину, он нанес визит в Главный штаб — через площадь, пробыв там ровно столько, сколько требовалось, чтобы вернуться к подъезду Адмиралтейства именно в ту минуту, когда оттуда выходил англичанин. Последний несколько удивился, увидя Языгова, но был гостеприимно, по-русски — *wonderful manners*¹ — увлечен в автомобиль. В последнюю минуту Языгов объяснил англичанину, что по рассеянности забыл трость, извинился и вернулся в вестибюль, где его, как было условлено, уже поджидал сияющий, выбритый, румяный капитан первого ранга. За полученные им две тысячи рублей он дал Языгову всю необходимую информацию и негромко сообщил про представителя фирмы «Виккерс и К°»: «У него не выгорело». Сообщение это, в переводе

¹ Прекрасные манеры (англ.).

на одну задуманную Языговым финансовую операцию — *coup de bourse*, — могло дать пятьдесят тысяч рублей.

Языгов вернулся к ожидавшему его англичанину и, попросив прощения за «невольное отсутствие», любезно заинтересовался успехами высокочтимой фирмы «Виккерс и К°». Разговор шел по-английски, так как англичанин разделял взгляд Теккереев на то, что при встрече двух лиц, принадлежащих к разным национальностям, поневоле один играет роль дурака, говоря на чужом языке...

Автомобиль пересекал Дворцовую площадь. Англичанин смотрел на дворец, занимаемый одним из акционеров «Виккерс и К°», крупнейшим мировым капиталистом, вкладчиком Bank of England¹, русским джентльменом, который очень тонко вел свои дела. Так, например, он во время русско-японской войны получал доход от быстро выросших дивидендов «Виккерс и К°», поставлявшей вооружение Японии. То обстоятельство, что джентльмен был *русским царем*, никак не влияло на аккуратность расчетов и платежей, тем более что они, благодаря заказам Японии, повысились: дивиденд в 1901, 1902, 1903 и 1904 годах определялся в 15%, а в 1905 — в 20% и курсовая цена бумаг дошла до четырех с половиной фунтов стерлингов, то есть каждая акция в один фунт стерлингов нарицательной цены представляла стоимость в четыре фунта десять шиллингов. Это было финансовым выражением войны, за время которой было убито и утоплено 53 000, искалечено 57 000 и ранено 148 000 русских.

Англичанин, отведя взгляд от Зимнего дворца, вспоминал отправленное им сегодня утром в Англию письмо:

«Dearest! Your name woke me this morning. Oh, how are you? Awake? Up? Have you breakfasted? I ask you a thousand things. You are thinking of me, my beloved? But what are you thinking,

¹ Английский банк (англ.).

my beloved? Your dear letter is with me while I write... Your never satisfied... Oh, no, no! shocking...»¹

Он был спокоен и лыс, новобрачный 'господин от «Виккерс и К°». Он лишь десять дней тому назад вернулся из свадебной поездки в Шанхай и Индию. Он думал о ней, о своей прелестной маленькой, самой дорогой...

Машина шла по Невскому проспекту. От Михайловской до Караванной двигалась толпа в солнечно-голубом свете петербургского полдня. Феноменальные женщины прогуливались, наслаждаясь собой, поджидая знакомых, разглядывая витрины. Английские блузы, присланные из Германии, ценою по десять, тринадцать и пятнадцать рублей, просились с витрин на их роскошные бюсты. Обувь у Вейса была пленительна. Изгибы нежно окрашенных корсетов в витринах магазина «Modes» волновали гимназистов. Из Пассажа неслись одуряюще сладкие запахи духов и пудры. Оптика Урлауба сверкала, как Голконды². Львы «Сан-Галли»³ стерегли несгораемые шкафы банкиров.

Невский проспект сверкал...

Языгов продолжал беседу с англичанином уже в своем заводском кабинете. Англичанин делал свои замечания, сося трубку «Брайар», и после каждой фразы, будто глотая собственный язык, произносил: «I beg your pardon»⁴.

— У нас не знают этих выпуклых камней...

— Булыжник.

¹ «Дорогая! Ваше имя разбудило меня утром. О, как вы живете? Вы проснулись? Встали? Вы завтракали? Я спрашиваю вас о тысяче вещей. Надеюсь, вы думаете обо мне, любимая? И что Вы думаете, моя любимая? Ваше письмо здесь, рядом со мной. Ваш, вечно неудовлетворенный... О нет нет, это неприлично...» (англ.)

² Алмазы Голконды. Голконда — местность в Индии, славившаяся тлифовкой алмазов.

³ Фабричная марка фирмы «Сан-Галли».

⁴ Прошу прощения (англ.).

— Б'юлиджник, уес ...¹ увеличивает расход на транспорт. Мы не так богаты, и мы делаем гладкие улицы и дороги. Потом я видел, I beg your pardon, у вас пиленные куски ценных деревьев.

— Дрова.

— С какой целью они содержатся на металлургическом заводе?

— Мы ими отапливаем служебные помещения. В России избыток леса...

— Значит, дерево у вас сгорает? I beg your pardon, нужно всегда и везде тушить горящее дерево. Оно имеет большую промышленную ценность. Употребляйте лучше английский уголь... Вы можете из дерева делать винтовочные ложа, стеллажи для снарядов, зарядные ящики и много других предметов, которые могут сейчас же найти спрос на Балканах...

Англичанин говорил, как лектор. Языгов слушал его, испытывая острое чувство зависти. Мысли одна за другой сверлили мозг:

Вот, вот он, английский делец! Вот собранные воедино City, Bank of England, King, British Empire, Parliament, Army and Navy, Nelson and Trafalgar, Rudyard Kipling².

Вот один из джентльменов, насилловавших крохотных китайнок и посылавших домой своим sweethearts³ нежные письма; один из сторонников трезвости, напивающихся «случайно» каждое воскресенье; потомок купцов-завоевателей, проткнувших поочередно в холодной торгашеской злобе кишки Испании в XVI веке, Голландии в XVII веке, Франции в XVIII и в начале XIX века и увеличивших колонии Британии в девять раз против размеров метрополии; один из «географов», рассматривающих океаны

¹ Да (англ.).

² Сити, Английский банк, король, Британская империя, парламент, армия и флот, Нельсон и Трафальгар, Редьярд Киплинг (англ.).

³ Возлюбленным (англ.).

мира как свои территориальные воды; один из представителей колониальных компаний и компаний метрополии, знающий наизусть — сколько будет заплачено им за каждый «полезный» шаг.

Языгова жгла зависть. Он видел отсталую царскую Россию, зависимую от этих джентльменов, от их кредитов и поставок, и он, в мечтах, превращал ее в «просвещенное» единое блестящее европейское предприятие:

Династия, двор... Это лишь *faux frais* — накладные расходы... Устарелые конституции эти следует модернизировать, «*und der König ist absolut, wenn er unseren Willen tut...*»¹ Государь может заняться единственным полезным делом — вложить свои средства... Дворянам нужно превратить свои тухлые «гнезда» в рациональные предприятия либо убрать и очистить место хорошим хозяевам. Им бы поучиться у фермеров, хотя бы в Дании. Убрать Синод, и пусть они конкурируют — деловые люди различных типов, занятые производством и распространением религиозных идей через свои деловые аппараты. Каждый в конце концов волен оплачивать своего бога, как этот бог того заслуживает...

В раскрытые окна кабинета врывается шум железнодорожных составов. На шестиосные американские платформы грузили готовые изделия: орудия, броневые плиты, башенные установки, станки и лафеты, учебные стволы, стальные пружины, снаряды всех калибров, торпеды, приборы Обри, оптические прицелы, трубы.

Отправляемые машины и части были упакованы в сплошные или брусковые ящики. Упаковка была не только тщательной, но и прочной.

Языгов сказал англичанину:

¹ «И король абсолютен, когда он выполняет нашу волю...» (нем.).

— Наши заводы в движении всюду: Путиловский, Обуховский, Охтенский, Адмиралтейский, Франко-Русский, Балтийский, Невский, Николаевский, Пермский, Тульский, Ижевский, Шлиссельбургский... Военная и судостроительная промышленности указывают путь империи Российской. Наши заводы в движении и множат славу Российского оружейного производства: Grand Prix¹ — российским орудиям на Всемирной выставке в Вене в 1873 году! Grand Prix — российским орудиям на Всемирной выставке в Париже в 1900 году! И в будущем Grand Prix — в битве народов!.. Российские оружейные заводы льют особую сталь. Обуховский льет два миллиона пятьсот тысяч пудов в год и к июлю 1912 года выпустил тринадцать тысяч двести третье орудие со дня начала работы завода...

Беседа коснулась исключительного значения металлургии. Англичанин перелистал свою записную книжку:

«Тонна брони стоит	2650	марок.	Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1894 г.
»	»	»	1750 марок. Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1895 г.
»	»	»	1700 марок. Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1898—1899 гг.
»	»	»	1530 марок. Завод Карпеджи, САСШ, 1905 г.
»	»	»	1575 марок. Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1905 г.
»	»	»	1430 марок. Завод Мидвэйл, САСШ, 1903—1905 гг.
»	»	»	1265—1360 марок на всех трех заводах, 1908 г.»

— Итак, I beg your pardon, сталелитейная промышленность за четырнадцать лет борьбы конкурирующих фирм снизила цены на броню на пятьдесят процентов — с двух тысяч шестисот пятидесяти марок до тысячи двухсот шестидесяти пяти — тысячи трехсот шестидесяти марок. Вам известно, что этот процесс продол-

¹ Первый приз (франц.).

жается по сей день. Чтобы устоять, I beg your pardon, российское производство также должно снижать и снижать цены, повышая производительность труда и снижая оплату рабочим...

Металлургия, военная и судостроительная промышленность Старого и Нового Света состязались:

«Заводы Шихау принимают к исполнению броненосцы, минные крейсера и миноносцы со скоростью хода от 21 до 35 узлов. Германия, Данциг, Эльбинг». «Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» в С.-Петербурге prepares всякого рода предметы из наичистейших сортов резины, отвечающих техническим условиям Военного и Морского ведомств: накидки для гг. офицеров, шланги, шины, рукавицы, прокладки, фланцы и т. д. и т. д.». «Акционерное о-во «Вулкан» в Штеттине и Гамбурге. Десять тысяч рабочих и служащих; изготовляет броненосцы, крейсера, минные крейсера, миноносцы всевозможных величин и скоростей хода. Представитель — С.-Петербург, Троицкая 20». «Вифлеемский завод, Соединенные Штаты. Лучшая броня, броневые установки, станки, отливки...». «Фабрика гнутых буковых изделий, Братия Тонет из Вены. Специальная мебель типа «Флот», прием заказов на полные омеблировки кают-компаний, офицерских собраний, казенных учреждений. Иллюстрированные каталоги, планы и сметы бесплатно. В Санкт-Петербурге: Невский 16 и улица Гоголя 9». «Завод масел А. Эльрик и К°, Рига. Специально для флота: масло для динамомашин, моторное масло для подводных лодок». «Товарищество Тентелевского химического завода. Краски для надводных частей судов, специальные краски для подводных частей судов, краски «Дельта» против ржавчины». «Карл Цейсс. Бинокли. Большое поле зрения. Высокая светосила. Для гг. офицеров умеренные цены». «Вильям

Крейтон, Або. Быстроходные крейсера, миноносцы...». «Григорий Иосифович Рабинович, Невский 24. Продажа натуральной нефти, нефтяных остатков, керосина, бензина, машинного масла». «Торговый дом А. А. Добрынин, Апраксин двор, Инструментальная линия 14, телефон 23—11. Специальное производство корабельно-каютных работ».

Ежедневно, ежечасно капиталистический мир хрипел, скрежетал, вопил в погоне за прибылью, за дешевыми ценами.

— Дайте сбыт!

— Больше покупайте!

— Массовый сбыт необходим. Это главное условие жизни! Это воздух, кислород!

День и ночь, настойчиво, всюду конкуренты преследовали, душили, давили, топтали друг друга... Остервенелые капиталисты ускоряли и удешевляли производство, не останавливаясь ни перед чем: мужчина производит за рубль меньше, чем две женщины или трое детей, — мужчину выгнать, взять за рубль двух женщин или трех детей. Хаотический поток товаров был подобен потоку лавы. В начале XX века за выгодную коммерческую сделку шел смертный бой... Взлеты и кризисы, взлеты и неизбежные кризисы, вызванные отсутствием сбыта продукции, банкротствами и прочим.

Каждая фаза этого чудовищного процесса имела глубочайшие социальные и исторические корни и, следовательно, была закономерна. Капитализм, разбухая, попираал все. Но, создавая грандиозную частную промышленность, он породил новый класс рабочих-пролетариев — класс победителей!

— I beg your pardon, позвольте поделиться еще некоторыми моими взглядами. В наступающем 1913 году мы израсходуем на армию и флот восемьдесят миллионов фунтов стерлингов. Сообщения об этом встречаются неприятными для слуха восклицаниями на левых скамьях парламентов, в частности и у вас. (Англичанин польстил русской Государственной думе.) Я наблюдаю за этой

полемикой... Я останавлиюсь непосредственно на интересах, касающихся России. Это факт, что Россия дает уже двадцать пять процентов всего мирового урожая пшеницы — 27 миллионов тонн из 110 миллионов тонн, пятьдесят процентов мирового урожая ржи — 25 миллионов из 50 миллионов тонн, и более трети мирового урожая ячменя — 13 миллионов тонн из 35 миллионов тонн. В ближайшее трехлетие, к 1916 году, Россия имеет шансы по продукции хлеба перегнуть янки. Экспорт же стоит в катастрофической зависимости от до сих пор неразрешенного вопроса о проливах. Проливы пропускают до пятидесяти процентов всего экспорта России. Стоимость русского экспорта — я говорю о зерне — в прошлом, I beg your pardon (англичанин снова раскрыл свою записную книжечку), нет, в позапрошлом 1910 году была равна, если я не ошибаюсь, семистам тридцати пяти и трем десяткам миллиона рублей. I beg your pardon, я никоим образом не думаю, что я сообщаю лично вам что-либо новое. Вопрос идет о степени вреда, причиняемого нам Германией, стремящейся утвердиться на Балканах, на проливах. Речь идет о роли морской торговли и о роли российского военного флота, судостроения, о пользе дружественных сношений с британскими организациями, имеющими известный опыт и вес в данной области.

При упоминании о Германии у Языгова возникла острая ассоциация: он представил себе сразу хорошо знакомый ему Мюнхенский музей естествознания и техники — идеальный парад машин. Это — немецкий музей сокровищ немецкой техники; демонстрация немецкой энергии, немецкого упорства и немецких материалов... Этот музей являл миру, какие творения созданы немцами, начиная от детских сосок до артиллерии Круппа. В почетном зале высилась статуя Вильгельма II, и Языгову почудилось, что он слышит слова немецкого гимна: «Deutschland, Deutschland über alles!»¹

¹ «Германия, Германия превыше всего!» (нем.)

Джентельмен продолжал говорить, оперируя абсолютно точными данными. Их без труда можно было найти в «Statesman Year Book»¹ за 1912 год, но манера подачи этих фактов импонировала. Англичанин располагал их так, как это было нужно для того, чтобы прийти к двум выводам: 1) размер прибыли России будет больше, чем стоимость войны, ценой которой будет получена эта прибыль, и 2) в данном предприятии наибольшую роль может сыграть представляемая им Англия, в частности фирма «Виккерс и К°», сотрудничество с которой оказало бы прекрасное влияние на укрепление давних братских связей металлургических заводов России и Британии. Последний вывод пришлось сделать потому, что попытка обойти Языгова, предпринятая англичанином час тому назад в Адмиралтействе, не удалась. Оба прекрасно все это понимали, но не показывали и вида... Языгов знал, что ему делают вынужденное предложение, не лишенное выгод для него. Он понимал, что за беседой о проливах (с английской точки зрения это была лишь подсобная деталь — конкуренция Британии с Германией) стоит гораздо более важный вопрос об Азии, и в перспективе времен Языгов видел Левант², Монголию, Тибет, Китай, Индию, Персию, морские пути, на пространствах которых должны были решаться англо-русские споры. Русский учитывал жадность династии, двора, дворянства. Он брезгливо представил себе потного, в чесуче исправника Константинопольской губернии... «Ну что ж — не без того...»

Англичанин понимал, что рекомендуемые им деловые сношения приведут к росту русских сил, которые уже были намечены новым стратегическим планом (известным английской разведке) к передислоцировке на борьбу с Англией, после разрешения вопроса о Германии и о проливах. Но тем не менее дела есть дела: в ответ на русские «приготовления» немедленно последуют английские, что повысит доходы фирмы «Виккерс и К°».

¹ «Ежегодник государственного деятеля» (англ.).

² В то время этот термин употреблялся для обозначения стран Ближнего Востока.

Собеседники оперировали грандиозными политическими категориями, гарантиями и прогнозами.

Со стороны могло показаться, что правительства являлись для них лишь агентствами для поощрения международной торговли металлическими «изделиями»... Оба умышленно обходили молчанием вопрос о неотвратимо нараставшем революционном движении, так как оно было вне их прогнозов и гарантий.

* * *

Расставшись с представителем фирмы «Виккерс и К^о», Языгов обдумывал основные положения только что состоявшейся беседы. Механически перелистывая подготовленные ему отчеты, он заметил донесение Аристарха Матвеевича и внимательно прочитал исписанные витиеватым почерком старика страницы.

— Гм... Самоубийство! Перестарался старикан!

Языгов расправил смятую листовку, приложенную к донесению.

«...пролетариат,— говорят Маркс и Энгельс,— в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс... путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения...»

«...вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата...»¹

— Руки коротки, но... проповедь этих преступных взглядов все усиливается. Видимо, мне придется на заводе принимать особые меры.

Языгов еще раз перечел листовку и сделал на донесении Аристарха Матвеевича следующую надпись:

Действовать осмотрительнее! Сообщать ежедневно!

¹ Текст листовки заимствован из «Манифеста Коммунистической партии». (См. К. Маркс и Ф. Энгельс, «Манифест Коммунистической партии», Госполитиздат, 1948, стр. 80 и стр. 78.)

В отдельном кирпичном здании, напоминавшем казармы, помещались контора и управление завода: коммерческий отдел, главная бухгалтерия и касса; отделы корреспонденций, продажи, внешних сношений, рекламы; представительский и технический отделы, конструкторское бюро, учетный отдел, расчетная бухгалтерия.

В узких длинных комнатах, заставленных столами и конторками, среди которых, как форты, возвышались огромные дубовые шкафы, склонившись над конторскими книгами, от юности до старости, в вечной повторности одних и тех же служебных обязанностей, сидели в панихидной тишине люди обоего пола, одетые в костюмы, похожие покроем и цветом на костюмы «привилегированных».

Эти костюмы были необходимы их обладателям, чтобы подчеркнуть разницу между собой и заводскими рабочими, чтобы неустанно уважать себя хотя бы за это, не имея на то других оснований.

За небольшой дверью с окошечком, над которым была надпись: «Вход воспрещен. Вызывать звонком» — действовал секретный отдел. Отдел следил за несколькими тысячами технических и научных изданий и за всеми конкурирующими металлургическими предприятиями. Он изучал все материалы мировой патентной литературы, систематизировал четыреста тысяч справок и донесений. Он составлял сводный отчет о состоянии техники и науки. Отдел фиксировал всякое открытие и изобретение, используя его, если оно было выгодно господину Языгову. Отдел проверял, не нарушаются ли где-либо и в чем-либо монопольные права их хозяина. Отдел следил за малейшим движением научной мысли, немедленно пресекая на заводе практическое осуществление целесообразных, но почему-либо невыгодных Языгову опытов.

При регистрации поступающих печатных произведений различали: печатные проспекты, каталоги и деловые бумаги фирм-поставщиков; фирм, которые могут быть привлечены к поставке; и, наконец, печатные бро-

шюры и каталоги фирм-конкурентов. Последние часто оказывались весьма ценными, но получение их было связано в большинстве случаев с трудностями. Иногда приходилось доставать их окольными путями.

Здесь же регистрировались и учитывались донесения заводской и полицейской агентуры. В секретной регистратуре документы систематизировались по их содержанию. Папки хранились в шкафах. Между папками ставились заглавные карточки, на выступающих частях которых имелись надписи. За карточками с надписью «рабочие» ставились папки, в которых хранились все материалы, относящиеся к рабочим: справки полиции, внутренней охраны, биографии, фотографии, договоры и т. п.

Переводчики обоего пола годами, в молчании, видя только белые полосы воротничков и спины впереди сидящих, шелестели страницами огромных, похожих на библии, технических словарей.

Требовалось невероятное усилие воли, чтобы представить себе всех этих людей возбужденными, радостными, веселыми, болтающими. Почти невозможно было представить себе их в домашней интимной обстановке.

Запах бумаги, графита, чернил, резины, сургуча, клеенки был какой-то специальной средой для одновременного массового «консервирования», которому подвергались служащие по двадцать, тридцать и более лет подряд. Это давало поразительные результаты в соединении со следующей волшебной рецептурой:

«Терпение и труд все перетрут». «Стремись жить в согласии со всеми, но извлекай пользу из всего». «Не всякий родится богатым — стремись к богатству». «Богатый бедному не товарищ». «Послушание и терпение — залог успеха». «Просыпаясь утром, спрашивай себя: «Что я сегодня сделаю, чтобы заслужить благодарность начальства?» — и ретиво приступай к работе». «Каждый кузнец своего счастья».

Результатом являлось то, что служащие работали со всем напряжением сил, со слепой преданностью

чужому делу, в тщетном ожидании наград и повышений.

В этой среде (мелкой буржуазии и обнищавших дворян) высоко ценилось «воспитание». Главной и неиссякаемой темой были разговоры о погоде, ибо они их ни к чему не обязывали. В постоянной заботе о корректности эти люди исключали непосредственность и воодушевление. Даже их веселость была печальной.

Крупнейшей фигурой среди них, несомненно, был главный бухгалтер, который презирал американскую бухгалтерию и веровал в то, что, несомненно, лучшим видом бухгалтерии является двойная. Главное ее преимущество заключалось в том, что бухгалтер в процессе работы немедленно замечает ошибку и избавляет предприятие от убытков; кроме того, при двойной бухгалтерии получается точная картина состояния предприятия и каждого его отдела в любой момент. Главный бухгалтер вел следующие книги:

1. Инвентарные книги и книги балансов.
2. Книги закупок для всех закупаемых товаров.
3. Книги продаж всех продаваемых товаров.

В эти книги закупок и продаж заносились все суммы, которые позже переносились в контокоррентную книгу.

4. Кассовые книги для записей всех выплат и полученных наличными деньгами.

5. Мемориал для всех вексельных операций, продаж и покупок акций.

Далее бухгалтер вел ресконтро по векселям, акцептам и ценным бумагам, в которых записывались поступления и выдача векселей, акцептов и акций. В товарном ресконтро регистрировался приход и расход товаров. Кроме того, были еще различные вспомогательные книги, как-то: для выплаты заработной платы рабочим и служащим, для удержаний из таковой и т. д.

В расчетной конторе все стены были увешаны пожелтевшими наклеенными на картон мелкопечатными правилами и инструкциями, полными слов: «воспрещается», «вменяется», «карается» — и объявлениями об особых богослужениях в мастерских. Большие желтые

шкафы хранили под замками дела завода. Тайны коммерции охранялись законом. По углам у икон с темными, строгими ликами горели лампы. В зеленых сюртуках с начищенными пуговицами и медалями стояли у дверей курьеры, ничего не оставляя без наблюдения. Внизу, в подъезде, всегда дежурили полицейские.

Дни выплаты рабочим их жалкого заработка были ненавистны всем служащим. В эти дни в затхлую тишину конторы врывались шум толпы, чужие запахи, чужие, враждебные им нравы — «плебс!..»

Снимая шапки, входили за получкой мастеровые. Они толпились у перегородок, в коридорах и на лестницах. Не глядя на вошедших, чувствуя их в полной зависимости от себя, конторщики неспешно шелестели списками.

Считалось профессиональным позором присчитать хотя бы лишнюю копейку, и поэтому сведения проверялись с необычайной точностью. Цех, фамилия заведующего цехом, текущий номер, имя и фамилия рабочего, квалификация рабочего, заводской номер рабочего, число рабочих дней, дни недели с соответствующими графами для проставления числа рабочих часов (для почасных, сдельных и премиальных часов отдельно), сумма проработанных часов, плата за час, недельный заработок, аванс, графы отчислений (последние были весьма различны для различных фабрик), сумма отчислений, сумма причитающаяся к выплате — все было учтено. Имелись и следующие надписи: «составлено» — здесь бухгалтер вписывал день составления ведомости и свою фамилию; «подсчитано» — здесь ставилась фамилия служащего, проверявшего ведомость; «просмотрено» — здесь подписывался заведующий данным цехом и ставил число, когда им просмотрена ведомость; «выплачено» — здесь подписывался и ставил число дня выплаты кассир, выдававший деньги.

Дубовые перегородки разделяли людей разных социальных категорий, и, хотя уровень платы у рабочих часто был выше, чем у конторщиков, самым фактом своей чистой работы и наличием воротничка (дюжина два рубля тридцать копеек) последние приобщали себя

к «приличному» обществу и принимали все меры к тому; чтобы дать это почувствовать мастеровым.

Конторщики шелкали на счетах и небрежно-значительно помешивали ложечками чай. Он был выдан им ввиду работы в сверхурочное время, но производил на рабочих впечатление барственной независимости конторщиков.

Ожидавшие в конторе переминались, вздыхали, и только на лестницах шли разговоры в открытую.

— Задержечка, говоришь?

— Ага.

— Она — денежная. За июль тебе в августе дадут, ты поклонись. А им прекрасно. Нас, гавриков, тут сколько тысяч? Деньги наши в банке, процент бежит. Они неделю, полторы оттянут — на молочишко и набежит. С рыла даже если по рублю — сколько им выйдет?

— Мало им всего...

Курьеры слушали, молча, осуждающе, подчеркивая свою суровость.

— Чего ждут?

— Артельщиков нету.

Люди ждали. На оклеенных зелеными кантами картонках плотным шрифтом были выписаны правила внутреннего распорядка. В ожидании полочки каждый мог читать и вникать в свою судьбу.

ПРАВИЛА

- § 1. Урочным временем на заводе считается для всех рабочих непрерывно продолжающаяся работа — 12 часов днем и 12 часов ночью, для ночной смены.
- § 2. Рабочие обязаны оставаться на работе и по окончании урочного времени, если по техническим причинам работа должна быть закончена без перерыва.
- § 3. Ремонтные рабочие обязаны выходить как ночью, так и в праздничные дни, а также оставаться по окончании обычных работ по требованию мастера.
- § 4. Все рабочие без изъятия обязаны выходить в часы непредусмотренные: в случае внезап-

ной порчи котлов, проводов, двигателей и тому подобное.

- § 5. Перед началом работ даются гудки и ворота закрываются. Опоздавшему засчитывается прогул, накладывается штраф в размере половины дневного заработка, и к работе в первую половину дня означенный опоздавший не допускается. Опоздавший на 15 минут штрафуются в двойном размере. Отработка производится в сверхурочные часы по номинальной оплате.
- § 6. Вход в мастерские неработающим воспрещается и штрафуются.
- § 7 Из мастерских без письменного разрешения мастера отлучаться воспрещается.
- § 8. За оставление работ до прихода смены, за выход без разрешения, за неотметку, за нахождение в мастерской после смены и за неподчинение мастеру накладывается штраф в размере тройной часовой оплаты.
- § 9. Недоработанные часы — пропуск по болезни — отрабатываются по нормальной плате.
- § 10. За выполнение работ с опозданием против указанных норм рабочие переводятся в низшие разряды и при повторении увольняются.
- § 11. Заработная плата выдается только в рублях; оставшиеся копейки присчитываются к следующим выдачам, причем заявления о неправильности расчетов принимаются лишь в течение трех дней, после чего расчет считается правильным и никаких уплат за прежнее время не производится.
- § 12. Больные обязаны накануне испрашивать особое разрешение на явку в больницу и представлять его в контору.

Люди ждали...

Артельщики с кожаными сумками и мешками, наконец, приехали. Толпа колыхнулась. Конторщики и кассиры приступили к выплате, пропуская каждый по

шестьдесят человек в час. Рабочим не позволялось спрашивать, спорить, жаловаться. Некоторые задавали вопросы и получали отрывистые ответы, отсылавшие их к другим инстанциям.

Василий, послунив пальцы, пересчитал получку — двадцать семь с полтиной за месяц — всего! Хотел спросить, но его оттерли:

— Не задерживай!

Парень был возмущен и убит:

— Эх, наградные огреб! Напоследок... Ведь призываюсь я...

После долгих переговоров и категорических требований токари по металлу получили прибавку.

Об этом им было сообщено с праздничным оттенком, и в ответ слышались ожидаемые:

— Покорнейше благодарим.

Один из токарей, значительно улыбнувшись, сказал:

— Так-то оно лучше, без шума быстрее дело делается.

Смысл этой фразы был таков: экономический нажим дает свои результаты, а политическая стачка, кроме локаута, арестов и неприятностей, не дала бы ничего. Меншевистский яд этих слов сбивал многих, не разбившихся в сложных расчетах Языгова, согласившегося на прибавку. На людей действовал непосредственный факт: прибавка — в руках были лишние деньги. Не вникая в фактический смысл прибавки, они не рассматривали ее с единственно правильной точки зрения, а именно — с точки зрения разницы между ничтожным ростом оплаты их труда и ростом дивидендов Языгова.

Дивиденды господина Языгова росли. Выделив прибавку одной части рабочих, владелец выиграл, внося элемент зависти и подхлестнув к повышению производительности остальных.

«Да и самый факт возможности этой незначительной

прибавки мирным путем,— говорил Языгов,— поможет на некоторое время оттянуть стачки, волнения, особенно учитывая то, что на заводе с некоторых пор, с моего благословения, работает с десятков меньшевиков. Пусть нам помогают»

Господа Языговы начинали кое в чем разбираться!

В конторе ругался седой мастеровой.

— Это за что штраф? Прибавка у меня боком? У-у, стервецы, в закон ваш...

— В церковь ходишь, хоругви носишь, а закон ругаешь? Нехорошо, отец.

— Самсона стригли, он слабел, а нас стригут — сильнеть надо. Прорывайся! Требуй!

— Товарищи, не продавай совесть за прибавку! Требуй неурезанно!

— Ну, ты! Поехал, сосал-макал!

— Социал, безусловно. Мы кланяться не будем. Своего добьемся.

— Расчет схватите.

— Мы уж пуганные.

Около социал-демократа (большевика) собрались рабочие, слушали.

— Разворотить им лавочку...

Подоспевший околодочный, придерживая пашку жестом, перенятым у офицеров, укоризненно произнес:

— Что, господа, опять безобразить хотите? Похороны, видать, забыли?

Василий не уходил. Он еще на что-то надеялся и все продолжал пересчитывать свою получку.

— Да как же так?.. За целый месяц двадцать семь с полтиной? Хозяину за угол — пять, харч — пятнадцать, одёжа-обужа, табак, баня... Не выйдет... Хозяину за угол пять, харч пятнадцать... Так — выходит двадцать... Сколько же это остается?.. Семь, семь... Семь с полтиной. А сапоги взять! Ну, на Александровском — трояк, а то и более клади. А не брать — ходи в штиблетках, а в них не погуляешь. А тут призывают... Без про-

водов нельзя — что ж я хуже всех?.. Хозяину — пять, харч — пятнадцать, сапоги, скажем, три, рубаха и шапка новые — полтора... Долги три... Как же быть-то? — Что стоишь, как столб?

Парня отодвинули в сторону.

В глазах Василия можно было прочесть все его торопливые, горячие, гневные, обличительные, уничтожающие мысли и чувства. Но не было у Василия слов, которые надо было сказать. Пригвоздить ими виновных, и тогда все стало бы правильнее, лучше, — так казалось Василию. Смысл этих слов должен был быть, не мог не быть, неопровержимым и значительным... Надо было только суметь, поймать, найти эти слова... Где-то они рядом, вот-вот, тут... Василию кажется, что слова пойманы... Оставалось лишь выкрикнуть их так, чтобы вылетели стекла, швырнуть в лицо владельцу свой гнев, всю горечь своей обиды... Оставалось... Но нужных слов не было...

Все сковывало и устрашало. Комната, где стояли рабочие, ожидая платы, в каждой мелочи своей была чужой и угрожающей. Запах, окраска, назначение вещей — все было враждебным. Перила не пускали и ограждали. Двери не пускали и ограждали. Надписи останавливали. Стрелки и указательные знаки на стенах — черные указующие персты — повелевали. Строгие, чужие люди, казалось, никого не замечали.

Василий вновь и вновь вспоминал прочитанное им на листке, подброшенном в цех: «Существует такое слово: «благородство». Его захватили себе дворяне. На их языке это значит — «хорошо рожденный», хотя, как известно, все рождаются одним и тем же путем...» Вот они сидят... Вот они «благородные» сидят...

«Благо. Что есть благо? Всякое благо рождается трудом людей. Значит действительно благородными являются люди труда, производящие блага жизни».

Прочитанное врезалось в память, в мозг, в душу. Значит что-то на этом свете не так... Но все трудные, горькие мысли Василия выразились лишь тремя словами:

— Обсчитывают! Что ж это?

Околодочный, как бы сочувствуя, посоветовал:
— Если против закона поступлено, ищите. Закон — это, господа, первое, первое...

Выдачу денег прервали.

Особо доверенные служащие оформляли (для отправки на дом в конвертах) жалованье членам правления, высшему техническому персоналу и взятки лицам, готовым защищать интересы предприятия при малейшей в том надобности. В ведомостях по графам заносилось: «квартирные», «разъездные», «консультация», «стипендия», — каковые термины облагораживали отсылаемые взятки.

Во дворе столпились не получившие денег рабочие. Их сдерживали городовые, не пускали в контору. В толпе стояла женщина с измученным серым лицом... Она, не мигая, смотрела на городских, встом рванулась вперед.

— Пропустите, дяденьки! Дети у меня голодные... Ждут...

Городовой грубо оттолкнул ее. Женщина сделала какое-то безнадежно-печальное движение рукой и вдруг, неожиданно для самой себя, плюнула в лицо городовому... Городовой схватил ее за жидкий пучок волос, собранный несколькими шпильками на затылке... Голова женщины дернулась назад, глаза закатились. Городовой поволок женщину к выходу. Отскочили пуговицы кофточки... Грязный шнурок, на котором висел нательный крестик и крошечный медный образок с богородицей, вывалился наружу. Женщина рыдала...

Наступила злая тишина, и в тишине раздался хорошо знакомый, властный голос Мартынова:

— Товарищи! Вот до чего людей доводят!

У многих отлегло от сердца — партийного освободили! Говорившего не видели, — плотной стеной, своими телами мастеровые закрыли его от глаз городских.

Голос товарища гремел:

— Машину и ту больше нас падят. Испортится — хозяину убытки, хлопоты. А мы, люди, гораздо дешевле стоим — работаем по сорок пять, а то и по пятьдесят дней в месяц, если сосчитать сверхурочные. Машине в точку нужное подбросят, а нам бросают, что господам негоже, — падалину. Ешь, чтобы не помереть, а не хочешь — не ешь, работай голодный, а не поработаешь — совсем помирай... Других вот липовой прибавкой покупают... А вы, токари, меньшевикам не доверяйте. Сумели они к вам в цеха пробраться, мозги вам мутят... Товарищи, пользуюсь случаем и напоминаю вам: сейчас мы, как вы знаете, накануне выборов в четвертую Думу. Заявим свой голос! Выбирайте верных членов РСДРП (большевиков). Они единственные будут защищать ваши нужды, а меньшевики нам в Думе не нужны...

Городовые и курьеры расталкивали рабочих, стараясь обнаружить говорившего. Но это им не удалось... Товарищ исчез...

* * *

В особом помещении старичок Аристарх Матвеевич и два окологочных допрашивали женщину:

— Волосенки повыдерем — кто научил?

Мысли о том, что женщина могла сама на это решиться, они не допускали. Они задрали ей юбку и щупали, нет ли где листовок — в чулках или в белье. Худые дрожащие колени подгибались... Мужские стертые сапоги сползали с ног.

— Прикончить с вами пора... Кто научил?

Женщину таскали за волосы по деревянному полу и спрашивали:

— Кто, кто, кто?..

Женщина была в полубеспамятстве. Она вскрикнула только один раз, когда в тело впилась большая заноза.

Один из охранников, — певчий заводской церкви, наклонился, наконец, над ней и сказал:

— Да бога побойся, расчет получишь, дура... Мощи свои пожалей...

Женщина очнулась, приподнялась с пола и ответила:

— Покажу, всё...

Городовые и Аристарх Матвеевич переглянулись. Один из них помог ей одеться. Женщину повел Аристарх Матвеевич, за ними на расстоянии шел околодочный. Аристарх Матвеевич иногда спрашивал:

— Адрес знаешь, или как?

Женщина отвечала:

— Покажу.

Они долго шли, и, наконец, старик с удивлением узнал дом Языгова. Пройдя двор, женщина ввела его в подвал и, пропустив вперед по коридору, указала на дверь, с которой свисали ключья клеенки:

— Вот...

Аристарх Матвеевич пошарил в кармане, потом осторожно приоткрыл дверь и заглянул в подвал. В сумраке были видны темные пятна сырости... Раздался плач:

— Ма-ам, хлеба-а...

Один из трех рахитичных, серых карапузиков, бедный, маленький головастик, ковылял на своих кривых ножках навстречу матери... Он кричал о хлебе...

Мокрые бумажные лохмотья на стенах, грязное тряпье в углу, опрокинутый порожний чугунок, трое полумертвых ребят — все кричало о чудовищной нищете...

Женщина молчала, бессильно прислонясь к стене...

Околодочный потянул за рукав старичка, и они, пятясь, ушли.

* * *

Рабочие расходились по грязи и разбитым мосткам, некоторые заворачивали по пути в трактиры.

Нельзя сказать, что малоимущее население было лишено попечений. Для означенного населения содержались: сто домов терпимости, тридцать ночлежных «приютов» и десять народных читален с религиозной и квасной «патриотической» литературой.

Означенное население могло также в неограниченных размерах получать водку: в пятистах винных лавках,

в портерных, на постоянных дворах, в чайных, закусочных, в трактирах без права продажи крепких напитков, где водка именовалась «холодным кипятком», в банях. Водка имелась всюду...

Толпа разливалась на четыре версты в оба конца: до Нарвских ворот и до Автова.

По Обводному каналу уже шли рабочие на вечерние смены... Над ними в закатном солнце, блестя и сверкая лаком, по насыпи пронесся поезд в Павловск... В парк! На музыку!

ПАВЛОВСК

II

Город мелькал за зеркальными окнами вагонов.

Он загорался вечерними огнями, он искрился, был полон обещаний, эффектов, событий, он бурлил, шумел, кипел, кружил голову — несравненный Санкт-Петербург!

Жизнь была прекрасна! Империя праздновала столетие Отечественной войны — победу над Наполеоном. Праздновала и свои кровавые победы над «врагом внутренним». А над столицей, славя сущее и всевышнего, на целые версты покрывая другие шумы, растекался тяжелый звон соборов, монастырей, часовен — Исаакия, Казанского, Преображенского, Владимирского, Троицкого...

Поезд мчался, блестя сине-голубым и желто-коричневым лаком вагонов первого и второго класса.

Они летели к осенней прелести резиденций («Уж небо осенью дышало...») — рантье, банкиры, промышленники, «прогрессивные» социологи, талантливые адвокаты, властные инженеры, модные поэты, бородатые славянские деятели, владельцы газет, небеременеющие дамы, популярные депутаты, проповедники смелой морали, образованные филистеры, благородные рахитики, непонятые натуры, идеалисты с брюшком. Они

летели, чтобы испытать радость, подъем, чтобы развлечься и послушать один из последних в сезоне концертов — в Павловск...

Полнокровные, все более входящие во вкус деловой жизни, увлекаемые примерами Запада, давно избавившего себя от примитивности феодального строя, представители третьего сословия империи Российской — буржуазии — вкушали радости капиталистической эпохи. Функционировали промышленность, торговля, банки. Показатели — биржевые курсы, дивиденды — головокружительно возрастали... Стремительно развивалось промышленное производство России. Взлетали цены на землю, на русскую пшеницу. Текли через банки иностранные кредиты, ибо *порядок* в России, казалось, был «незыблем». Росли новые и новые предприятия: «Двигатель», «Капитал», «Прогресс», «Рекорд», «Универсаль», «Экспресс», «Энергия». Названия звучали уверенно и вызывающе. Концентрация сил порождала у буржуазии притязания на прямое соучастие в управлении империей. Внутри общества возникали необычайные противоречия.

На различных участках конкуренты то дружно шли вместе, то расходились, то схватывались насмерть. Кровь бурлила, страсти накалялись.

Сплетенные тысячью кровных, правовых, финансовых и психологических нитей с деловым миром, выступали на арену деятели интеллигенции новой формации. Шли сложные процессы брожения, распада старых и кристаллизация новых групп в искусстве. На глазах рушились и истлевали старые теории, корнями уходившие в дворянскую культуру XIX века. Становившаяся на ноги новая промышленная аристократия выдвигала своих учителей и идеологов.

Создавались своя литература, свой театр, своя философия, отвечавшие определенным потребностям и вкусам буржуазии.

Некоторые промышленники влюблялись в старину, — их пленяли серо-голубые просторы Петербурга, белые колонны, золото Исаакия и Адмиралтейской иглы... Но большинство новых магнатов увлекалось пышностью безвкусных особняков с их вычурными формами, обна-

руживавшими величайшее безобразие, вопиющую убогость и вульгарность вкуса их творцов.

В Петербурге вырастали палаццо деловой знати — каменные громады с фасадами поддельного ренессанса, напыщенная имитация старых дворцов...

Презрительно кривя губы, дворянство оценивало это «наглое» вторжение примерно так: «Некультурные, безродные, фабричные воротилы хотят перешеголять старый барокко и русский ампир... Вандализм вкуса...»

Павловск!

Господа петербуржцы наслаждались красотой вечернего северного неба, переливами опаловых, сиреневых, серо-голубых, бледножелтых тонов, шелестом добела просвечиваемой фонарями листвы, шуршанием гравия, запахами ресторанов, цветов, травы, табака, — напоминавших о путешествиях, о пространствах, о морях, о пристанях и вокзалах Кисловодска, Ялты, Биаррица, Довиля, Трувиля, Лидо... Этим господам приходили на ум то мысли о природе, ее благости и чистоте, то нежно-раскаянные мысли о собственной бренности, то мысли о собственных делах.

Вокруг все двигалось, пульсировало... В темных аллеях возникали неизвестные, слабо различимые силуэты; приближаясь и попадая в боковые, падающие сверху лучи электрического света, они превращались в живых, влюбленных мужчин и женщин. Непрекращающийся поток новизны таил в себе невыразимый интерес и неисчерпаемое разнообразие, содержал в себе ошеломляющие возможности. Но они оставались нераскрытыми, недоступными, утаенными, так как господа не разрешали себе больше того, что позволяли расчеты и приличия.

В поощряемой империей войне каждого против каждого, каждого против всех и всех против каждого, что укладывалось в невинную формулу: «каждый кузнец своего счастья», — эти люди наглухо замкнулись друг от друга. Господа чинно передвигались по парку, подчиняясь законам, охранявшим порядок империи...

Среди жадно-любопытных, незамечающе-равнодушных, светлооко-наивных и просто безразличных взглядов, среди шопотов и приглушенных восклицаний — злых, глупых, остроумных, бретерских — прокладывала себе путь группа молодых людей, старавшихся не походить на всех. «Они» шли, разглядывая всех в упор, манерами и костюмами своими раздавая пощечины общественному вкусу и вместе с тем забавляя господ. «Они» перебрасывались словами:

— Зеледело!

— Веселёж!

— Грехож!

Это было похоже и непохоже на русский язык. Казалось, что Даль утонул в безднах «их» словесных «открытий».

«Они» хотели производить впечатление особых, ни с кем не связанных существ. «Они» хотели быть предтечами новой фантастической «будетлянской» жизни. «Они» хотели доказать, что все органические восприятия жизни, все рефлексy — у них иные, что «они» поправили все традиции, что «они» постигли четвертое измерение и раздавили жалкую планиметрию. Так хотелось «им».

Но в действительности все это сводилось к одному: «*Épater les bourgeois*»¹.

Господа разглядывали их по-разному: с улыбкой, с любопытством, с участием, с недоверием, с презрением: «они» не дрались, не кусались, от них пахло знакомыми духами; «они» были даже интересны и не походили на этих, ну, как их... рэволюсьенеров...

Господа, приглядевшись, амнистировали их. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Господа своим безошибочным классовым чутьем сразу определили их безвредность. «Они», эти экстравагантные молодые люди, рассчитывали на это, знали это. понимали это, но делали вид, что не замечают амнистии, что непримиримое отношение к ним бесспорно. Ведь «они» — бунтари! Но непримиримости не было... Ее и не могло быть, ибо в движениях молодых людей,

¹ «Поражать буржуа» (франц.).

в их внешнем виде, а главное, в их образе действий не было опасности, которая чувствуется мгновенно, той опасности, которую ощущают господа при встрече с молчаливыми, невзрачно одетыми рабочими...

Молодые люди, презиравшие медленно шествовавших по гравию господ, все-таки тянулись к ним. Одна почва взрастила их. «Они» жили ненавистью и притяжением к этим людям, рожденные этими людьми. «Они» буйствовали, придумывая какие-то «пространства = гласным». «Они» тщетно пытались силами маленькой кучки людей (а еще лучше — в одиночку!) опрокинуть все законы эстетики. «Они» были гибридами загнивающих западной и русской буржуазных культур, зараженными их тлением. «Они» были плотью от плоти тех, кто вызывал их протест.

И никто из наблюдавших за порядком в империи не схватил бы этих молодых людей за шиворот, и никто, в ответ на их «бунтарство», не стрелял бы в них.

Господа глядели им вслед... О них говорили:

— Что за экземпляры?

— Кажется, сим-воль-исты...

— Mais non! ¹ Фу-у-исты...

— Ах нет, вообще — исты...

Внезапно, подчиняя все своим ритмам, поплыли первые фразы симфонии. Тема была пронизана бряцанием доспехов, звоном металла. Она взлетала со стремительностью боевых колесниц, устремляясь ввысь — к звездам.

Музыка овладевала людьми.

Музыка совершеннейшей чистоты и прозрачности сложными ходами, озаряющими взлетами и сокрушающими падениями постепенно доводила даже этих пресыщенных людей до смиряющей тишины молитвенного экстаза. Слезы — действующие как-то очистительно и в то же время служащие почтенным доказательством тонкости натуры и наличия музыкального понимания — дрожали на ресницах дам...

¹ Но нет! (франц.)

— До слез...

— Как волнительно...

— А дирижёр? Какая страсть!..

Господа радовались «приобщению» к тайнам искусства, особенно потому, что все совершилось сравнительно быстро и со всеми удобствами...

Штраусовский вальс первыми тактами, казалось, усилил благоухание цветов... Нежный и мечтательный, он беспечно и сладостно кружил головы, вызывая прозрачные ночные образы Дуная, сладко-щемящие воспоминания о бальных залах, красивых женщинах конца минувшего века — пышных и элегантных, о помпезной Второй империи, о Вене, о Париже — «этих упоительных далеких источниках очарования и изящества».

Желудки свершали благотворный процесс переваривания принятых в шесть часов, до поездки в Павловск, изысканных обедов...

Вальс убаюкивал и нежил...

Свисток очередного поезда заставил всех вздрогнуть. Произошло несколько сот мгновенных, свирепых и молчаливых бурь в оскорбленных этим кощунством господских душах, и только пять-шесть тактов вальса, во вновь наступившей тишине, вернули им то блаженное состояние, которое должны были уважать все.

Мингрельского полка поручик под звуки вальса нашептывал соседу:

— Недавно успокаивал на Кавказе стервецов, из тех, кои, так сказать, вознесены ныне в Государственную думу... Был и в Персии на усмирении. Отправились мы из Баку по каспийским водам в Энзели и «справа по отделень-ям!» по Персии. Курите, пожалуйста, я с Кавказа привез... Ля-ля-ля, как чудесно, слышите? Инструкция была — «учинить серьезное возмездие бунтовщикам по своему усмотрению ввиду бессилия персидского правительства». Инструкцию выполнили с блеском! Эффект колоссальный! Даже в Англии забеспокоились, насколько передавали... Ну, как табак? Ля-ля-ля... Прелестный вальс... Да... Тихо все стало в Персии — поверите ли, необычайно тихо. На базарах

даже галдеть перестали. Идешь, расступаются. Все консулы приглашают. Вот, так сказать, значение силы... Я раньше как-то не задумывался над этим. У нас, в юнкерском, не до этого было... Но тут, знаете, ночи, Персия, «все пред тобой трепещет» — и именно тут я осознал, так сказать, мощь России... Трепет...

Мингрельского полка поручик был взволнован...

Большинство слушавших вальс не хотело ощущать того, что с ними происходит, произойдет, а между тем за каждой житейской мелочью вставляли противоречия, которые неотвратимо вели к столкновению двух мировых групп контрбалансирующих империалистических держав. Быстро и интенсивно разворачивались поиски рынков. Биржевики скупали бумаги и акции, раздували цены, устраняя нормальные критерии, разжигая в людях ненасытность, ведя беззастенчивую спекуляцию... Акции распространялись с поразительной легкостью, судя необычайный рост доходов участникам сотен азиатских, африканских, ближневосточных, дальневосточных, трансокеанских и прочих безгранично рискованных предприятий.

Все указывало на приближение бурь...

Шли непрерывно столкновения интересов. Вдруг, сразу, внезапно все останавливалось и сотрясалось...

...Агадир! «Пантера»...¹ Осложнения! Франция потребовала у Германии обратно все краткосрочные кредиты. Отлив денег вызвал панику, бумаги упали и обесценились на десятки процентов в день. За одну неделю сентября 1911 года держатели бумаг в Германии потеряли больше, чем за весь ошеломляющий американский кризис 1907 года. Нормальные европейские расчеты остановились, и в четыре грандиозных

¹ Порт в Марокко Агадир стал известен из-за так называемого агадирского инцидента летом 1911 г. между Францией и Германией, оспаривавшей особые права Франции в Марокко. Чтобы оказать давление на Францию, в Агадир было послано германское военное судно «Пантера». Это вызвало обострение отношений Германии не только с Францией, но и с Англией. Некоторое время война казалась неизбежной.

главных банка Франции полился поток баснословных капиталов. В полнейшей зависимости от них было все население Европы, имевшее хотя бы малейшее касательство к деньгам. Иммобилизация обескровила все. Изымались вклады, лопались мелкие фирмы... Банкротства, крахи, драмы, самоубийства, беды прокатились по тысячекилометровым пространствам, властно вторгаясь даже в сибирские деревни пониженными ценами на русское масло. Армии и флоты приводились в движение.

Гроза рассеялась в последнюю минуту... Инцидент был исчерпан лишь потому, что не все державы были готовы к войне. Лицемерные обозреватели «Temps», «Times»¹ и «Нового времени» писали: «Таким образом, материальные интересы, служившие прежде яблоком раздора, благодаря прогрессирующей связанности цивилизованных стран, начинают функционировать в роли миротворцев».

Успокоенные мнимым международным затишьем, верхи русской буржуазии старались взять от жизни все, вплоть до штраусовских вальсов на последнем концерте сезона в Павловске...

* * *

В багрец и золото одетые леса Павловска, Царского Села, Петергофа — окрестностей Санкт-Петербурга — источали нежный, горьковатый осенний запах.

По подсохшей пригородной лесной дороге шагали рабочие с металлургического завода. Печаль людей как бы отражала печаль стынувшего дня, болотных пространств, оголенных сизых перелесков и безразличия природы — грандиозной и унылой в своем осеннем превращении...

Издали доносились жалобные переливы русской гармоник — плачущие, нежные, растворяющиеся в беззвучии, распростертом до горизонта.

Белка стремительно слетела с ели, и все на секунду оцепенели. Глухо на слой хвойных игл упала шишка.

¹ «Тан» и «Таймс» — французская и английская буржуазные газеты.

Далекая гармоника агонизировала. Она всхлипнула несколько раз и умолкла...

Рабочие шли на сходку. Они торопились, боясь, что их настигнет полицейский наряд...

Российский пролетариат начинал избирательную кампанию в IV Государственную думу.

Рабочие вступили в чащу леса. Каждое дерево, лист, шорох внушали опасения. Лес казался западней, лабиринтом. Красота леса — баgreц и золото — являлась его недостатком, ибо поредевшая осенняя листва легче выдает присутствие людей. Но — вперед!

Товарищи круто свернули в лес и, ускоряя шаг, пошли, углубляясь в чащу, обходя болотца и замедляя движение у мест, казавшихся подозрительными. Люди хмелели от воздуха, чистого и совершенно непривычного, — им ведь редко приходилось бывать вне завода и своих углов. Стараясь идти бесшумно, сдерживая дыхание, они, наконец, пришли к условленному месту. Их уже поджидали товарищи с судоремонтного и Мартынов. На траве была разложена скромная закуска — колбаса, хлеб, несколько бутылок пива. Пришедшие, присев на пеньки и корневища, закурили, переговариваясь с остальными:

— Оратор, значит, придет?

— Придет.

— Мартынов, а ты говорить будешь?

— Смотря по тому — кого пришлют.

В сторонке, в ожидании оратора, пожилой рабочий рассказывал молодым о делах 1905 года:

—...Раньше я на земле был, да земли-то не было. Я избу бросил и пошел скитаться с женой и с дитём неизвестно где по России, — куски собирали... Нашел, наконец, работу — карьер, разработка песчаная. Дитё под вагон садим, а сами с женой грузим и грузим, тысячу пудов к ночи нагрузим, валимся тогда с ног, зато хлеб покупаем. К жене свои же из золоторотцев лезть стали, хотели ее телом попользоваться. Уйти пришлось. Всего не описать скитанья... И на Волге был, и у малороссийцев. Наконец до Москвы добрались. Тут, верно помните, дело недавнее, японскую войну проиграли... Народ беспокоился... А партийные товарищи-больше-

вики предлагали нам отречься от старого мира. Говорили — «время пришло». О восстании народ заговорил... Готовились... Записался и я в дружину красной гвардии. Населенье, которое к рабочим не относится, частная публика шипела: «Жулики, проходимцы». Ну, мы дождались дня девятого декабря. Дали нам условный знак. Пресня нам знак гудком дала, привычнее так рабочим. Народ в дружину — кто с кольтом, кто шест волокёт, кто флаг, кто с рогачом, с крюками, с другим холодным оружием, кто с чем. Просто порешили, соединившись воедино, защищать восьмичасовой рабочий день. Неученые мы были, только один был солдат-позиционер — с Манчжурии приехал, подсоблял. Позиционер этот объяснял на спичках: «направо», «налево», «ряды вдвой», «в цепь», — как воюют, он нагляделся на Дальнем. Учили, сколько нас... По Москве, по России кругом движенье... Дратся надо. У кого дух падает — не надо, но члены партии держались, и мы с ними. Друг у меня в этой партии социал-демократов был, большевик он, а я еще не был. Ребята некоторые в ноги от страху падали. А друг мой кричал: «Гордись! Нас царь проклял! Завоюем склады, форму наденем с красными розеточками, сами стеречь фабрику будем!..» А чем драться? У солдат трехлинейные ружья, а у нас что?.. Нагнали их, карательщиков, властелины из Питера: Семеновский полк, гвардию. Демократы столбы валили, заборы. Один, старый, тряс бородой: «Не отступать, пролетария! Раз и навсегда. Я приказываю. Или смерть получить, или что хорошее сделать!» Делали, поперек улиц баррикад понастроили. Народ с нами действительно. Бой приняли. Одного крюком поймали, карателя. Нагнали они артиллерии против нас шесть штук, поставили все шесть — чтоб разбить Пресню. Ахнули, — кто молиться кинулся. Мой друг молчал-молчал, да как заорет: «Какой бог у рабочего! Нет рабочего бога, не работает бог, брось!» И стал понемногу покрикивать, команду давать. Тут одного повредило. Смотрят все, для знакомства: что есть рана, не знали до тех пор. Почувствовали! Духу нахватались понемногу... То нас загоняли, то мы загоним... Горело все, улицы были по-карябаны, окна побиты, подушками, чем попало за-

ткнуты... Они, то есть гвардия, не наша красная, а ихняя, как пешки злые, как пешки в ряд, в ногу шли, а мы соображали: из-под ворот, с окон, с чердака лупили. Водой поливали улицы, чтобы они поскользнулись... Холод. Из пищи кое-что варили, да мало. Организмом приходилось держаться. А старик все нас поддерживал. Наши в худых пальтах, корчились, изнужены, а старик ходил, говорил: «Не холодно, не существует нам холода, вот я вам клянусь, а я большевик!» — и ходил, будто и всамделе не холодно... Жгли на улице что подвернется, но теплом не удовлетворялись, а только выедало глаза дымом... Народу все меньше. Один магомеданин пропал: угодила ему пуля в сердце, другому череп снесло, мозги выпали. Сильное напряжение нам эти семеновцы сделали. Мы удалились несколько, попятись. Кто попал под драгунов, тем настегаи: на спинах до трех золотников куски мяса болтались. Жолобы выбиты на спинах были! Старика нашего убило. Тут друг мой его заступил, мало-мальски на нас покривал: «Держись!» Набросали планчик в голову и этих драгунов с тылу побили, но не всех. Один попался офицер, обутий хорошо. «Вас карал, говорит, теперь вы меня можете карать, но отдал бы все, чтобы вас еще карать», — и кровь у него из глаза перла от злобы... Понятное дело. У их по сорок тысяч рубашек графини носят... Тут с успешно держались. Слухи дают: «Будет помилование». Ну, друг мой дал толпе слово: «Не верь!» Тогда казенку стали указывать, с целью или не с целью — соблазн. Один был алкоголик у нас — боевой, котельщик, чахотку имел, пошел в казенку, все перебил: мерзавчиков, соток, полубутылок, бутылок, четвертей набил. «Жизнь всю пил, а сейчас бросай!» Он запрещенный припев знал и нас научил: «Царь Николашка, жена у него Сашка, с крови суп варили, бедных не любили, богатых дарили...» Пели мы и стреляли, держались; у ружей — накладки называются — дымили, почернели... И все ж таки разбили они, каратели, всё. Своих фабрик не пожалели, лишь бы не допустить туда нас, рабочих. Всё выжгли, пожаром кругом всё занялось, крови полно. Потом солдаты пограбили фабричных, можно сказать, у нищего кусок отняли. Громадная нена-

висть к нам — зачем мы роптали... Разбили в конце концов нас... Но сколько царство ни крепко, а мы его распилим... Вот семь лет прошло, мы тут живем и, други мои, не теряем время... А что про это я вам рассказывал — молчи. Кто выдаст — тому несдобровать.

Раздался хруст ветвей. Рабочие насторожились. С противоположной стороны, сквозь чашу, пробирался человек. Он нащупывал палкой почву, часто останавливался, вглядываясь в лес. Заметив вдалеке группу рабочих, он, как было условлено, три раза тихо свистнул.

— Оратор?

— Он.

Ему ответили. Человек зашагал быстрее, потерял галошу, поднял ее, застеснявшись, подошел и всем поочередно молча пожал руки.

Потом зябко потер ладони, поправил пенсне, мельком поглядел на разложенную на траве закуску и шутливо сказал:

— Ну что ж, благословясь, начнем?

— Давайте.

Люди зашевелились — от сырости было холодно, — запахнулись поплотнее, оглянулись во все стороны, поерзали и уселись поближе.

Оратор сразу приступил к делу:

— Дума, как вам известно, послушное орудие в руках господствующего класса, и социал-демократическая фракция в ней не может играть решающую роль. Но, как вам известно, социал-демократия не отказывается от участия в выборах. Мы развернем там свои требования. И это будет иметь значение для всей России.

Оратор говорил осторожно, делая паузы для усвоения рабочими каждого раздела хорошо подготовленной им речи, подмечая и сейчас же используя знаки сочувствия. Он развивал удручающие картины положения рабочих; он пользовался самыми простыми, взятыми из жизни сталелитейного завода примерами. Он знал сумму их заработка, заводской распорядок, знал о штрафах, о самоубийстве, об увечьях — обо всем.

Оратор вызвал, наконец, несколько улыбок, используя ходовые народные словечки. Когда внутренняя настороженность рабочих и недоверие к «постороннему» были отчасти преодолены, оратор несколькими короткими фразами закрепил свои положения. Затем он перешел к обрисовке задач, начав с главного для него аргумента, из-за которого он и решился на эту встречу.

— Прежде всего нам необходимо сохранять единство социал-демократов. Вы сами понимаете, что это значит. Достаточно нам, социалистам, начать между собой раздоры, и мы проиграем.

Слушали очень внимательно.

— Исходя из этого, мы должны наметить кандидатами от себя в Думу — честных, известных рабочим товарищей, наиболее стойких, достойных и качественно подходящих. Принадлежность к меньшевикам или к большевикам — в данном случае не имеет решающего значения.

Оратор выжидающе помолчал. Слушавшие переглянулись.

Один из рабочих с судоремонтного спросил:

— Товарищ дорогой, а сообщите нам: за восьмичасовой и за конфискацию земли вы стоите? За демократическую республику вы стоите?

Оратор насторожился:

— Признаем. Стоим. Будто вы не знаете!

Вмешался литейщик:

— А как признаете? «Борьба за законодательство...» А земля? Опять «пересмотр (чуть запнулся) аграрного законодательства», Христа ради... А республика? «Полновластие народа». Раз за полновластие — выговаривай по-нашему: демократическая республика!

Оратор улыбнулся:

— Выговорим со временем...

Его перебил Мартынов:

— Говорить мы будем в открытую, стесняться нам нечего. Они (жест в сторону оратора) обрисовали свою точку зрения, а я обрисую нашу. Какое именно они единство предлагают? Единство, а сами в меньшинстве! Выбирать каких-то «стойких», «подходящих»? Это что за партия «стойких»? А мы говорим: выбирайте уполно-

моченных — стойких социал-демократов большевиков... Вы с кадетами на союз идете. Пора выводить вас всех на чистую воду!

Оратор вскочил:

— Вы, товарищи, свидетели! Кто начинает в наших рядах раздоры?

Рабочие зашумели:

— Проваливай!

— Нечего больше время терять...

— Вопрос ясен...

Уже темнело, когда взбешенный оратор подходил к своему дому, к своей квартире, к своей библиотеке, к ожидавшим его друзьям, среди которых были и Дан и Потресов¹.

— Что я им скажу?

Рабочие не спеша возвращались к своим углам. Один из них проворчал:

— Меньшевики... Кой чорт к нам этого оратора послал? Слов у них, что у дяди Якова — товару всякого...

* * *

Переступив через испуганных «социалистов», пролетариат продолжал свою борьбу, предпочитая ясные большевистские лозунги:

«Долой самодержавие!»

«Демократическая республика!»

«Восьмичасовой рабочий день!»

«Земля крестьянам!»

И никакие угрожающие «так было — так будет» господ Макаровых² — уже не могли остановить ход истории.

¹ Лидеры меньшевиков-ликвидаторов.

² Царский министр Макаров ответил в Думе на запрос о Ленском расстреле: «Так было — так будет».

Парки, старые парки усадеб! Есть парки — в них версты аллей, дорожек, тропинок. Сверкают водопады, фонтаны; бегут по всем направлениям ручьи. Среди лип, каштанов, лиственниц, дубов, кустов жасмина, персидской сирени и роз разбросаны беседки, скамейки и гроты — творенья мастеров галантного века. Белеют галлерей и колоннады. Роскошь вытесняет чистоту стиля.

Есть парки, где все прямолинейно, строго и симметрично — деревья, кусты, цветы. Спокойное холодное великолепие даже в июле. В других — буйство вычурных насаждений, завезенных с Востока и Юга; оранжереи, как горы из стекла. Есть лабиринты, кущи, рощицы, возрождающие в русских губерниях — руинами, мрамором статуй и жертвенниками — Элладу.

Здесь, в усадьбах и парках, прошла вся история российского дворянства. Здесь провальсировали александровскую эпоху — эпоху поражений и побед... Здесь сплетались семейные хроники с историей империи.

* * *

Зеркало отражало золото рам, гравюры, акварели, пастели, полотна лучших живописцев... Изысканно нежные гаммы акварелей, прозрачные лиловые, лимонные и голубые тона рождали живопись воздушную и свежую. Скачут генералы с плюмажами; недвижны одноликие шеренги перехваченных накрест белыми ремнями солдат; стелется дым орудий и в дыму фальконетовский Петр...

Со стен глядят: фельдмаршалы, губернаторы, предводители дворянства, посланники, гофмейстеры, камергеры, генералы, полковники, дамы в платьях «ампир» и в необъятных кринолинах.

В шкатулках — почти истлевшие связки писем («Я к вам пишу, чего же боле?..»); дневники с вырван-

ными страницами; таинственные броши, в которых сплетены русые и темные волосы (любовь!); старинные медали — «Не нам, не нам, а имени Твоему»¹; портрет-миниатюра первой исполнительницы гимна «Боже, царя храни».

За стеклами библиотечных шкафов — книги в светлокоричневых кожаных переплетах с золотым тиснением, выпцветшими автографами, закладками и засохшими цветами, первые издания «Евгения Онегина», «Nouvelle Eloise»...²

В старинных бюро хранились пистолеты, простреливавшие дерзких штафиров³, сургучные печати, древние фамильные документы и среди них забытые, пожелтевшие от времени записки: «Вчера продали трех девок, крепостных российской породы, по шестнадцать лет от роду, за цену ходячей российской монетой 30 рублей...» «Купил музыкантов оркестр с женами, детьми и мелочью за 500 рублей». Реликвии затхлые, тлеющие и печальные...

Сундуки хранили тщательнейше оберегаемые платья бабок и прабабок: подвенечные рубашки, за вышивкой которых девки сидели по году; волшебные, воздушные, блистающие гладью пенюары — их вышивали по два года двенадцать девок, из которых трое ослепли.

На жанровых картинах, написанных крепостными художниками в угоду господам, все мужики, бабы, дворня изображались тихими и послушными: они встречают господ, провожают рекрутов, сеют, косят, жнут — они все на одно лицо.

В гостиных стояли покрытые чехлами клавикорды, фортепиано красного дерева с бронзой, и рядом новейший блютнеровский рояль с неубранными нотами нежных романсов Глинки, Брамса, Шуберта, Чайковского...

Анфилады комнат были полны тишины. Люстры закутаны в марлю. Господа уезжали на лето в Ниццу,

¹ Надпись на медали, выбитой в честь победы над войсками Наполеона в Отечественную войну 1812 года.

² «Новая Элоиза» — роман в письмах Жан Жака Руссо.

³ Штатских.

Остенде, Виши, Наугейм, Карлсбад, Монте-Карло, на Лидо... На цыпочках ходили, смахивая пыль, старые лакеи, вспоминая, как семьдесят тысяч свечей были сожжены, когда «батюшка покойный князь бал давали»...

В барских конторах занимались господскими делами управляющие, бухгалтеры, письмоводители, писцы, выполняя одну волю, один закон — помещичий. Скрипели десятилетиями перья...

Господа повелели собирать арендную плату и продавать имущество тех, кто оные платежи просрочил (телеграфные переводы летели в Санкт-Петербург)...

В людские, размещенные в подвалах, был затиснут штат дворни.

Господа приезжали, и у парадных подъездов появлялись бородачи с булавами, в ливреях и треуголках. Навытяжку, ожидая приказаний, вставляли тишайшие слуги. Гладко выбритые дворецкие, подражавшие господам, открывали шествия лакеев в белых перчатках...

Бело-желтый амбир победоносно захватил семьдесят миллионов десятин русской земли. На фронтонах парили екатерининские, александровские и николаевские орлы. Тридцать тысяч дворян-помещиков владели этой землей, а вокруг и около бродили угрюмые, обутые в лапти мужики — среднестатейные, недостаточные и попросту нищие...

* * *

Как дно древнего моря, иссякшего от зноя и суши, был распростерт Юго-Восток России.

Крестьяне — казанские, симбирские, саратовские, оренбургские и уральские — кляли жаркое лето и отчаянно молили дождя. Ветры Юго-Востока несли бурую горячую пыль среднеазиатских пустынь. Ветры шли истребительным валом. Колосья сжимались, никли, усыхали и погибали на растрескавшейся от суши земле. Как встарь, когда на Руси свирепствовал голод (в XVIII веке — тридцать четыре раза, а в XIX — сорок раз), на Поволжье и в Заволжье гото-

вились есть иссушенные травы, солому, корье и глину, резать скотину, бросать избы, итти по миру и умирать. Поколение, замученное тринадцатью недородами и тремя голодовками, похоронившее у Волги на погостах сотни тысяч родичей, уstraшенное последней голодовкой 1906 года (в России голодали тогда двадцать девять губерний с двадцатью пятью миллионами населения), в отчаянии било лбами раскаленную землю и поливало ее слезами. Мужики молились, не видя иного средства.

Мелкое, жалкое, раздробленное, вечно оглушаемое ударами со всех сторон, крестьянское хозяйство окончательно гибло. Крестьянам внушали, что голод — господнее наказание. Крестьянство «фаталистически» покорялось. Крестьяне видели, что помощи ждать нечего, неоткуда... Чудовищные запасы влаги — осенние и зимние осадки, весенние разливы Волги, Узенья, Большого и Малого Кутума, Иргиза, несущие в Каспий миллиарды кубических саженей воды, бесцельно размывающей берега, — пропадали. Водоемы высыхали и испарялись в безлесных пространствах.

* * *

С капельками воды, оставшимися от купанья на локонках, девушка в мохнатом халате писала среди флаконов, коробочек и июльских цветов:

«Моя дорогая, стоит чудное жаркое лето, и прежде, чем ехать, — рара¹ нужно в Nauheim², — мы «вволю», как выражается нянюшка, наслаждаемся здесь. К брату (дед разрешил) приехал его друг — поэт. Он вечно что-нибудь придумывает... У меня гостит Верочка, она пишет стихи, чудно — о Наполеоне! Ты не можешь себе представить, как дивно вечерами на Волге, она совершенно похожа на море...

Мы устраиваем до отъезда в Nauheim небольшую прогулку по деревням. Там так чудно —

¹ Папе (франц.).

² Наугейм (нем.) — курорт.

парное молоко, ржаной хлеб. Надо поближе узнать народ, любить его — так учит нас наш поэт. Я побывала в маленькой деревенской церквушке. Это совершенно особенное ощущение: тихо-тихо, крашеный пол, солнечные лучи, запах ладана и крестьянский хор. Они поют удивительно... Такая сила, проникновенность, что я и передать не могу. У нас в институте ничего подобного я не слыхала, хотя регент и уверял, что наш хор «хрустальный»... Пиши мне, дорогая. Я очень, очень рада, что это лето и у тебя веселое. Запасайся сил и здоровья. Поцелуй tante...¹»

В усадьбе гостила молодежь из Петербурга. Поэт, весь трепещущий, с разлетающимися волосами, порывисто хватал за руки девушек и говорил им: «Мы пойдем, мы пойдем!.. С чистым сердцем, открыто, отдавая себя... Мы оденемся, как в праздник, и пойдем — дарить себя народу... Мы приблизим их к красоте искусства. Мы утрем их слезы... Мы будем декламировать и будем играть для них под открытым небом. Мы споем им песнь песней. Мы ведь так умеем любить!.. О, разве это не лучше, чем ненавидеть?!»

Девушки, загораясь, смотрели на необычайного поэта... Они подчинялись ему все больше и больше и уже, в мечтах, шли за ним в атаку на обыденность.

Владелица усадьбы, от безделья, записывала в альбом с золотым обрезаом, переплетенный в лиловый бархат, все происшествия дня:

«Июль. 1912 год. Вчера вечером плакала от скуки. Муж ездил в деревню смотреть умирающих. С ним что-то странное в эти дни. Приехал в гости поэт. Девочки говорят, что он «декадент». У него с девочками какая-то затея, о чем-то шушукуются. Пора им замуж. Отказала гувернантке и выписала гувернера, чтобы исправить Мишу.

¹ Тетку (франц.).

Приезжали мальчики от соседей и привезли десять рублей для мужиков.

Молилась, чтобы господь помог мужикам от бескормицы. Были ходоки из деревни, но не можем же мы их всех кормить. Думала о загробной жизни: страх перед мученьями в аду. Мне еще нет пятидесяти, а дают гораздо больше. Нужно массироваться. Вчера кто-то бродил около дома, лаяли собаки. Муж занимается развитием мускулов. Пришла посылка от фирмы «Сан-Галли» — мужу семифунтовые гири и мальчикам трехфунтовые для гимнастики. Только бы не делали дурного! У одной из девочек болела голова. Вероятно, от купанья, нужно следить. Жалуются, что кто-то подглядывал в купальне. Господи, спаси, сохрани и помилуй!

Застала девочек за разглядываньем старого альбома, выбирали женихов и хохотали. Муж что-то рассказывал о войне. Как это ужасно! Обварился кипятком сын кучера, собрали семь рублей. У мужа опять был тот господин, и говорили о просвещении мужиков: печатать о крушении поездов, об абиссинских и других гостях, о погоде, о царской фамилии, праздниках, из стихов что-нибудь («Нива», «Дядя Влас»). Дед (мой отец) пьет соду, объевшись пирогами. Как бы не заболел...

Видела во сне паука...

В один из дней, оставив лаконичную записку, господская молодежь тайно, в порыве лучших чувств, устремилась за пределы родной усадьбы, в степной простор — навстречу неизвестности.

Тихо в усадьбе... По старым, до блеска натертым паркетам расхаживает глава помещичьей семьи, душа дома — Дед. Он умело совмещал в обращении с родными и знакомыми светскость манер с мнимой душевностью и патриархальной простотой.

Вечером, в определенный час, вся семья собралась за круглым столом. Дед, выкушав чай со сливками,

перешел на кресло. По обыкновению приступили к чтению вслух, которое так любил дед.

На этот раз слушали «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева. Читал, как всегда, гувернер... У него был приятный, богатый оттенками, выразительный голос. Дед слушал, и нервы его слабели от неотразимого натиска проникновенных слов писателя. Дед сидел как живое воплощение мудрости, и присутствующие, глядя на него, затихали, чувствуя, как их обступает со всех сторон тепло родного гнезда, как каждый взгляд деда говорит о том, что он, дед, все понимает, изведав все, что предстоит еще узнать его потомству.

История Лизы и Лаврецкого волновала вновь и вновь... У деда медленно катились слезы. Когда чтение кончилось, все молчали, боясь лишним словом спугнуть тишину.

Дед откинулся на спинку кресла, удивленно повел глазами и спросил:

— Хотел бы я знать, а где же молодежь?

Все переглянулись, и кто-то, наконец, решился ответить:

— Они ушли в деревню, кажется просвещать...

Дед подался вперед. Лицо его медленно багровело. Забыв все внушаемые им же приличия, он заорал:

— Вернуть!..

Все ужаснулись. Дед в ярости стучал палкой об пол...

— Мерзавцы! К мужикам!.. Вернуть немедленно!

* * *

Беглецы, покинув усадьбу, шли на восток. Все было ново... Впереди шел «необыкновенный» поэт и взволнованно читал балладу о всепобеждающем духе. Он шел и шел вперед с неутомимостью и страстью, увлекая остальных за собой.

Раскалившиеся за день верстовые столбы отдавали тепло... Азиатская горячая пыль проникала всюду и убивала жизнь. Местами жгучие ветры выдули целые полосы посевов. На горизонте, во мгле, сверкали зар-

ницы. Молодежь делала неожиданные для них открытия:

— У нас не так душно...

— Это потому, что у нас лес и сад.

— И пруд, и плотина...

Впереди тяжело взмолился чей-то человеческий голос. По дороге кто-то двигался. Это были переселенцы... Во тьме были едва различимы их рубища и наваленные на подводы убогие пожитки... В ночном зное шли крестьяне в Сибирь.

Девушка спросила:

— Что это?—И, удивленная, остановилась, ожидая ответа.

Поэт вздохнул:

— Погоня за счастьем...

Они заснули в поле под звездным небом, окруженные мертвыми колосьями.

Утром, с первыми лучами солнца, тронулись дальше.

— Деревня!

Крик прозвучал, как «земля!»

Вот она — старая русская деревня: чересполосица, знойное небо и высоко в нем ястреба. Тучи оводов, высохший прудик... Ветер крутит по дороге солому; мертвы крылья мельниц; покосились плетни у околицы; бегают тощие псы; зреет рябина; по обочинам дороги посеревшая крапива, лопухи, грядки пожелтевших огурцов. В затхлых пустых амбарах — сбруя, ржавое железо. Неоконченные срубы, капли смолы на бревнах, брошенные стружки и надо всем — кривые купола сельской церкви.

Барчуки встревожились, вступив в деревню... Шли, не веря ее тишине. Им казалось, что они лишились слуха... Девушки остановились и попятились в испуге, когда из-за угла показались двое мужиков, тянувших телегу. Мужики надрывались, навалившись на ляжки

— Где ваша лошадь?

Мужик поднял голову и прохрипел:

— Ско-тина... пала...

Они пошли дальше. У церкви встретили священника, который пригласил их в свой дом. По пути он соображал, кто бы это мог быть, как с ними беседовать и как их принять: если господа — дело одно, если городские, из общественных — дело другое, тогда надо предупредить старосту.

К молодым людям в доме священника постепенно возвращалось привычное равновесие... Занавески, крашенный пол, половички, просфоры на окне, журнал «Нива», этажерка с фарфоровыми безделушками, часы с двумя гирьками — все действовало успокаивающе.

— Зачем в наши края? — обратился священник к гостям.

Он внимательно слушал сбивчивую речь поэта о жажде подвига, о красоте, о стихах, но не мог уяснить себе причину появления барчуков.

Вдруг без стука отворилась дверь и на пороге показался тощий крестьянин. Священник, как бы прося извинения, пояснил гостям:

— Должно быть, он пришел за причастием для отходящего, но бывает, что и меня обманут. Мужики лишь бы глотнуть... Господи, и на этом ловчат!.. Чего тебе?

— Благословите, батюшка, коня резать.

— Христос с тобой, не татарин ведь... Иди, иди...

В деревнях Поволжья иссякали запасы. Валился захиревший скот. Мужики начинали разбирать соломенные крыши изб на корм скотине. На тройках и на двуконных тарантасах, взметая пыль, проносились господа из земств. Мужики снимали шапки, а господа, почти не отличавшие рожь от пшеницы, говорили мужикам:

— Братцы, надо нынешней зимой снег на поля свозить.

И уносились дальше, в губернский город, откуда сообщали в Санкт-Петербург о «недороде хлебных злаков», ибо слово «голод» не допускалось.

В Самаре дамские комитеты устраивали благотворительные вечера в пользу пострадавших...

— Mon général¹, выпейте этот бокал — и дайте для бедняков quelques roubles!²

— Сударыня, я был бы счастлив выпить из ваших ручек — целое море!..

Было мило, шумно и «приподнято», все как-то облагораживалось «высокой целью».

В столице тайные и действительные тайные советники от науки готовили издания (ограниченный тираж, сто страниц) «О влиянии юго-восточных ветров на хлебные злаки», «О недородах в Самарской губернии» и т. д., в коих трудах констатировался веками известный факт: юго-восточные ветры вызывают засухи. Математически предсказывались периоды неизбежных бедствий: «Так было — так будет».

Но наиболее простое решение: объединенными усилиями помещиков и крестьян искусственно орошать землю, избавить край от засух,— не принималось, ибо самое понятие «объединение» уже содержало в себе некое «опасное» начало, а всякое «новшество» пугало излишним риском, издержками, усилиями.

Биржей все суммировалось так:

«В начале года колебания хлебных цен были непродолжительны и невелики. В русских портах оживленно, на внутренних рынках общее настроение спокойное, устойчивое. Вывоз хлеба из России идет усиленно. Неутешительные сведения — из Приволжских районов в июне — не отразятся на экспорте».

Экспорт не терпел ущерба. Фирмы Одессы, Николаева, Херсона, Феодосии, Ростова не уступали мест фирмам САСШ, Канады и Аргентины. Государственный банк выдал ссуд на 101 735 000 рублей золотом под хлебные операции против 87 854 000 рублей прошлого урожайного года; он форсировал экспорт за счет голодных крестьян Приволжья. Судьбы двадцати пяти мил-

¹ Генерал (франц.).

² Несколько рублей! (франц.)

лионов русских крестьян голодающей полосы никого не тревожили.

Зерновой ливень хлестал из элеваторов и портов России. Он шел по проливам — на Запад, в европейские порты, и по рельсам уносился в города Греции, Германии и Франции.

* * *

Земский начальник постучал тростью в шестистенную избу. Здесь жил староста. Семья была неделемая, скромная, постоянно работала, помогала людям. Староста учил сыновей: «Надо жить общей жизнью» — и ладил со всеми, обходя злобу и свары. Он принял земского, сдержанно поклонившись, и строго сказал:

— Поспешить надо, васкородье, пора народ удовлетворить... Есть ведь такие, что на полдесятине существуют. Об них и бог думать велит. Зерна совсем не собрали...

Земский начальник слушал и, по вкоренившейся привычке, недоверчиво поглядывал на старосту. Старик почтительно сообщал:

— Крестьяне лист подали: «Жить нельзя — привязаны, надо оторваться». А есть которые их учат — «оторвемся»...

— А кто именно, братец?

— Не могу знать.

Старик непроницаемо глядел в глаза земскому — враждебный и недоступный.

Слушая старосту, земский все время вспоминал 1905 год: набат, толпы крестьян, разгром усадеб... и свое яростное донесение: «Бунты, к сожалению, не подавлены, что наносит удар престижу власти; полагаю необходимыми карательные меры...» Земский помнил свое безграничное удивление: неужели вот эти русские мужики, Платоны Каратаевы, так внезапно могут меняться?.. Какие действуют причины? Земский глядел на старосту и думал: «А что кроется в душе этого старика?»

Староста продолжал говорить:

— О книжках допытывают: скажи да скажи... Не книжка, барин, страшна, а то, что есть нечего ни нам, ни скоту... Земли нет, хлеба нет, сенокосу нет, выпасу нет... Не посердитесь, васкородье,— могу к вам привести одного, у коего надел семь квадратных сажон... Из петли вынутый...

Земский слушал старосту и думал: «Вот они—причины... Когда я вел в 1905 году дознание, крестьяне были что стена непроницаемая: «Знать не знаю...», «воля царская...» Одичалые, сосредоточенные, испуганные, но упрямые в самой сути, в поиске их «правды».

Земский, закусив (у него были с собой в плетенке закуска и баклага с портвейном), приказал позвать крестьян-домохозяев. Их было трудно собрать — мужики были измучены голодом, озлоблены.

Староста встречал каждого в сенях и повелительно шептал:

— Требуй!

Мужики теребили дремучие бороды и просили самого старого из них «сказать за всех».

Старик подошел поближе к земскому:

— Ваше высокоблагородие, раз вы нас позвали, то извольте выслушать. Кони падают, ваше высокоблагородие, явите добродетель. Барин родной, не оставь, милостивый!

Старик несколько раз перекрестился. Один из мужиков, стриженный, средних лет, подошел к земскому и со злобой швырнул на стол кусок сухой глины. Земский испытующе посмотрел на мужика. Старик объяснил:

— Глина... С белой глиной на деревне хлеб пекут... Хлеб этот народ ест... Где же нам помощь?

Земский оборвал его:

— Отнюдь не должно поддерживать у кого-то родившуюся мысль об обязанности властей приходить вам на помощь и о даровом характере этой помощи... Достаточно, если вам будет предоставлена возможность работы на некоторых участках.

— Ваше высокоблагородье, помилуйте, скотина падает! У самих мочи нет...

У мужиков темнело в глазах, иные плохо соображали, иные впадали в дремоту. Как тоненькие вибрирующие ниточки, слабо бились пульсы под высохшей кожей... У одного старика вместо лица была какая-то отекая маска, и земский, заметив это, невольно вздрогнул.

Мужики ждали.

Земский велел переписать особо нуждающихся, кроме тех, которым уже несомненно грозит смерть. (К чему лишние издержки?) На перепись должны были выйти те, кто покрепче, посытнее и из грамотных.

Земский собрался уходить и, прощаясь, приказал старосте:

— Действуй, братец! Завтра, так и быть, пособие привезут.

Староста, услышав добрую весть, помчался к священнику. Сняв шапку, деловито и ясно он рассказал ему все подробности беседы. Молодые господа, уже обжившиеся в уютной комнатке священника, воспалились, услышав о переписи.

— Мы поможем!

Но староста решил, что легкомысленные барчуки во время переписи будут лишь помехой, и с настойчивой мягкостью отклонил всякое их участие:

— У крестьян разные болезни, это опасно, не пущу я вас, господа. И рад бы, дело-то хорошее, а не пущу. Сами управимся.

Люди тревожились, ждали пособия. Всю ночь до зари староста переписывал крестьян. Наутро под охраной стражников прибыло несколько подвод муки, крупы и картошки.

Не включенные в перепись больные крестьяне тащились к казенному складу просить хоть пятаку муки, хоть на язык. Они ползали на коленях перед урядником, ловя его руки. Он стоял среди стражников, властный отменить любое постановление крестьянского «мира», властный любого подвергнуть наказанию.

Голодные молили стражников: «Брат-цы-ы... брат-цы-ы...» Просьбы не действовали. Тогда крестьяне из последних сил подползли вплотную к складу... Урядник чество просил отойти и пошевелил ножнами пинаги. Люди ничего не хотели знать: они чуяли запах муки, видели ее следы на пороге, теряли рассудок... Стражники переглянулись... Урядник крикнул:

— Постреляю, наз-зад!

Но ничто не могло остановить изголодавшихся людей. Урядник выстрелил. Один из крестьян упал, вытекло ничтожное количество крови — он был предельно истощен. Самый старый поднялся и, пошатываясь, подошел к стражникам:

— Убейте и меня, Христа ради, все одно помирать...

Поэту и его спутникам надоело бездействие. Они пошли наугад по деревне. Услышав шум и выстрелы, побежали к складу и сразу увидели, поняли все... Они были подавлены. Все иллюзии окончательно рухнули, прогулка не удалась. Урядник, увидя господских, незаметно убрал стражников...

Все на деревне, не отрываясь, смотрели, как задымила печь у старосты: у него варили общественный суп.

У церкви, на площади, поставили столы, покрытые холстами. Староста вызывал по списку. Каждый был обязан принести с собой ложку. Крестьяне стояли тощие, воспаленные, не сводя голодных глаз от столов. Вызванные подходили к столам, крестясь, подносили миски ко рту, убирая ложки, чтобы не пролить ни капли. Они глотали суп, закрыв глаза, и прятали хлеб для родных...

Пришедшие из усадьбы молодые люди стояли поодаль. Девушка спросила поэта:

— Что же нам делать? До концерта ли тут?

К ним подошел крупный, средних лет мужчина — отставной солдат. Лицо у него было темное, как земля. Он зашептал:

— Барин, барышня, я грамотный... Позвольте рассказать вам, как мы живем. У меня отец и жена умерли.

шесть малолетков. Жить надо, а усадьба в три десятины и полевой земли четверть десятины. За пастьбу коровы платить двенадцать рублей, а за десятину под хлеб отработай помещику три, да с возкой, да на своих харчах... И все мои две руки... Ну, что ж тут поде-лаешь, господи? В петлю... А я служил, на Дальнем был... Обращался к земскому, всюду, а к старому барину — и обращаться нечего: трет и гнет он нашего брата-крестьянина...

Девушка из усадьбы покраснела от досады, когда поняла, что «старый барин» — это ее добрейший дед, и, прервав разговор, отошла от мужика.

Запасной солдат безнадежно махнул рукой и умолк. Давняя, отчаянная мечта о земле всегда была с ним. Она, эта мечта, была вместе с тем потрясающе реальна. Семьдесят миллионов десятин, принадлежавших тридцати тысячам российских дворян, могли увеличить надел каждого крестьянина в полтора и в два раза. Это была земля, перепаханная для господ, но, несмотря ни на что, знакомая, родная, обороненная в войнах и недоступная, как небо.

Больные крестьяне окружили поэта и спрашивали его:

— Вы доктор будете?

Они протягивали к нему руки с распухшими суставами, обнажали перед ним свои язвы. Один раскрыл рот и показал ему кровоточащие десны. Поэт растерянно молчал. Сквозь толпу к нему пробиралась женщина с полумертвым младенцем на руках. Он брезгливо и грубо оттолкнул ее. Женщина упала, уронила ребенка.

Грубость сытых, любопытствующих барчуков обозлила крестьян. Понеслись угрозы, проклятья, просветел брошенный кем-то камень.

В паническом страхе барчуки бежали, расталкивая толпу. Они спрятались на окраине деревни за каким-то сараем, прислушивались к чьим-то шагам, к приглушенным шорохам...

Время шло. Уже стемнело... Поэту хотелось курить... Он зажег спичку, она погасла на ветру, зажег вторую, третью... За плетнем вскрикнули:

— Дяржы-ы!.. Жгут!..

— Жгу-ут!..

Крик мгновенно облетел деревню. Обезумевшие от голода, тощие, разъяренные мужики и бабы с батогами, кольями и цепами шли из последних сил, чтобы расправиться с «покусителями» — барчуками. Мужики загонем окружали убежавших «господских»...

— Мало им нашего голода!

— Деревню спалить, избавиться от нас барчуки порешили!

— Бей их!

Схватили поэта, поволокли его за длинные волосы, били палками. Он кричал и царапался, еще больше озлобляя этим мужиков. Девушки визжали, почти потеряв рассудок.

В деревню влетели экипаж и линейка. «Старый барин!» Народ шарахнулся. Из дома священника уже бежали на помощь пострадавшим с марлей и лекарствами. Светили фонарями... Запахло иодом, коллодием, валерьяновыми каплями. Девушки рыдали.

Старый барин сверкал глазами.

— Запорю!

В экипаж втаскивали избитых, стонавших беглецов.

— Трогай!

Кони тронули и пошли крупной рысью. Дед молчал, сдерживая гнев. Вскоре показались знакомые белые башенки у ворот усадьбы. Глаза сквозь слезы различали родное гнездо. Вырвался радостный крик:

— Дóма!

* * *

Как дно древнего моря, иссякшего и высохшего от ужасающего зноя, был распростерт Юго-Восток России. Но оазисы-усадьбы, казалось, ласкали небо кронами старинных высочайших лип и отражали его в искусственных озерах, прудах и ручьях. В парках каждое дерево и каждый куст нагнетали кислород и озон, давали прохладой.

Утром в доме распахнули окна, раздернули кисею занавесок. Все захлебнулось в солнечном потоке. Молодежь, забыв все свои злключения, уже бежала к пруду. На солнце блестели розовые тела купальщиц...

С капельками воды, оставшимися на локонах после купанья, девушка писала, отдыхая в постели:

«Дорогая, если бы ты знала, что мы перенесли! Это ужасно! Крестьяне, оказывается, звери!»

* * *

В своей усадьбе встречал день и первый землевладелец империи — царь со своей семьей. И вместе с ними встречали день:

Министр императорского двора, восемь его помощников и девяносто восемь чиновников;
шесть обергофмейстеров, один обергофмаршал, один обершенк, один обершталмейстер;
девяносто восемь гофмаршалов, сорок пять шталмейстеров, двадцать егермейстеров;
триста шестьдесят восемь камергеров и четыреста двадцать камер-юнкеров;
сто восемьдесят восемь чинов, наблюдающих за управлением земельными уделами его величества;
сто семьдесят чинов, ведающих управлением дворцами;
сто пятьдесят чинов личной его величества канцелярии;
сто шестнадцать чинов, ведающих придворным хором и оркестром;
тридцать три чина, ведающих раздачей орденов, пятнадцать чинов, ведающих охотами его величества;
сто двенадцать чинов личной его величества канцелярии по приему прошений;

семьдесят восемь чпнов, ведающих личным его
величества кабинетом;
шестьдесят три чина, ведающих церемониями,
пятьдесят три чина, ведающих управлением
дворцовыми кладовыми;
сто шестьдесят лекарей, ведающих здоровьем их
величеств;
пятьдесят три чина, ведающих их величеств
лошадьми.

Встречали день в царской усадьбе и обслуживаю-
щие царскую жену:

Одна гофмейстерша;
четыренадцать статс-дам;
двести шестьдесят три камерфрейлины и фрей-
лины;
двадцать два чина личной ея величества канце-
лarii и одна гофлектриса.

В этот штат входили с прилежанием и обожанием
лишь особы из благородных княжеских и графских
фамилий, как-то: Нарышкины, Воронцовы-Дашковы,
Трубецкие, Толстые, Шереметевы, Репнины, Голицы-
ны, Бобринские, Гагарины, Куракины, Орловы-Дени-
совы, Орловы-Давыдовы, Мещерские, Апраксины.

Вокруг одной «семьи» бездельничали, суетились,
жрали и напивались сотни и сотни людей, содержа-
ние которых стоило бешеных денег и ничем не окупа-
лось.

Еда и питье в царской усадьбе занимали одно из
первенствующих мест, что свидетельствуется тем, что
для изготовления и хранения еды и питья существо-
вали:

Кухни их величеств: собственная его величества
кухня с очагом, печью для выпечки блинов и
рошпором для жарения шашлыков; кухня госте-
вая, кухня лакейская и кухня собачья для соб-
ственных его величества собак; собственный его
величества буфет с отделениями чайной варки,

кофейной варки, сливочной и молочной варки, варки какао; буфет свиты, буфет гостевой, буфет лакейский; кондитерские, заготовочные; аквариум для рыб; ледники; кладовые разные; собственный его величества винный погреб, где хранились водки, настойки, коньяки, вина сухие, сладкие, шипучие — всех стран и всех марок.

За приготовлением пищи наблюдали: супмейстеры, старшие повара, дежурные повара, повара первого и второго разрядов. Им в помощь — поварские ученики и кухонные мужики.

Из дворцовых кухонь по пять и более раз в день подавалась пища:

Тончайшие закуски: икра разных сортов, устрицы, лангусты, омары, раковые шейки, севрюга, балыки, угри, миноги, лососи, семги; паштеты из гусиных, налимьих, куриных и телячьих печенок; заливные; супы разные; пироги сдобные и слоенные, расстегаи и кулебяки; нежные рыбы: осетры, белуги, стерляди, караси, форели — жареные, заливные и в соусах; мясные блюда холодные: колбасы тридцати сортов; окорока, ростбифы и прочее; горячие: колбасы в кипящем масле, филе в мадере, шашлыки на вертелах, бифштексы по-гамбургски, по-пейзански, по-татарски; лангеты, рагу, фрикассе, рулеты в барбарисовом соусе; румяные птицы: фазаны, пулярды, каплуны, рябчики, тетерки, куропатки с подливкой — гвоздичной, мускатной, индейки, фаршированные каштанами, гуси с начинкой из орехов и яблок; пломбиры, мороженое, кремы, зефиры, суфле, пудинги, пирожные, торты; нуга, шербеты и прочие восточные сласти, бананы, персики, ананасы и прочие и прочие фрукты и ягоды, присылавшиеся из южных стран в любое время года.

Все поглощалось, проглатывалось, запивалось.

Еде придавалось первостепеннейшее значение. Вкус к еде воспитывали, развивали, культивировали. Аппе-

тит поддерживали и вызывали острыми, горькими, пряными веществами: экстрактами, маринадами, винами и прочим. Вкусы приучали и приспособляли к редким видам пищи, избегая пресыщения и однородных ощущений. Пище придавали волнующие и странные запахи — благовонные, одуряющие, опьяняющие, — подмешивая корицу, гвоздику, шафран, ваниль, кардамон, мускат и прочее.

Придворная российская кухня сочетала опыт древней кулинарии Греции, Рима и Востока с новой — французской, английской и немецкой.

Дворец неустомимо поглощал тонны пищи, вбирая немислимоу глоткою своею все лучшее в империи.

«Порядок сей» в «Памятках истории России» объяснялся учредившими этот порядок следующим образом:

«Ныне благополучно царствующий помазанник Божий Государь Император Николай Александрович миролюбиво правит Россиею по провидению Божию и по заветам дедов и отцов своих, и да воздадутся за это царю все блага мирские. И ныне и в будущем вся Россия возблагодарит Бога за великие труды ее императора».

«Порядок сей» был обречен: империя Российская скрипела и расшатывалась под напором все возрастающего народного гнева. Он нарастал постепенно, — вспыхивая в крестьянских бунтах, в бурных схватках, в опалаяющих стачках, руководимых Российской социал-демократической рабочей партией (большевиков). Денно и ночью, скрыто и явно — в империи шла внутренняя ожесточенная война.

ГОД 1913-й

Глава вторая

НОВОБРАНЦЫ

I

Тоскливо прекрасна площадь у Зимнего. Северные сумерки пурпуровым безмолвием окутывают дворец. Медлительные облака движутся над сине-багровой Невой.

У дворца на каменном низком постаменте стоит не шелохнувшись гигантский часовой. Он дюж, сложен прекрасно, тело струной, у него светлая борода, расчесанная надвое. Он дополняет пленительный город, этот пленительный колосс.

Черная суконная, отсвечивающая на солнце фуражка на часовом — со сверкающей кокардой и лентой георгиевских цветов, черным и желтым. Мерцает золото надписи «Гвардейский экипаж». Часовой — в мундире, схваченном тугим блестящим белым поясом с сияющим орлом на бляхе. На груди его две бронзовые медали: одна на черно-красной ленте в память столетия Отечественной войны, другая на бело-желто-черной в память трехсотлетия дома Романовых. Черные шаровары охватывают подобные колоннам ноги часового. Сапоги начищены до блеска, и кажется, что в них отражается медлительное движение высоко идущих облаков.

Часовой стоит недвижно. Он так могуч и тяжел, что под ним невидимо оседает каменная кладка. Он держит, едва касаясь пальцами, свое тяжелое ружье. Гигант, скидывая ружье на караул при появлении высоких особ, не ощущает его веса.

Площадь безмолвна. Ничто не тревожит покой дворца, и легкий ветерок разворачивает над ним штандарт — шелковое желто-золотое полотнище с двуглавым орлом.

Издали слышен тяжелый медлительный военный шаг. Российская императорская армия ходит — сто шагов в минуту, на двадцать пять более каданса времен императора Александра Благословенного, коим кадансом входили в Париж в 1814 году.

Часовой весь внимание. Еще шире кажутся его плечи с алыми погонами. Голубые глаза источают в пространство послушание, строгость и «незыблемое» величие двух веков службы императорской гвардии.

Четыре гвардейских матроса, похожие, как близнецы, на часового, потому что по велению государя-императора для частей гвардии отбираются по призыву красивейшие и схожие, — подходят к дворцу, держа на плече ружья со штыками, устремленными косо ввысь.

Смена подходит на два шага к часовому, и по всей площади стелется зычная и повелительная команда разводящего — старшего из четырех, отмеченного эфрейторской нашивкой:

— Смена, стой!

Однообразно щелкают каблуки блестящих сапог. Винтовки срываются вниз, свершая путь от плеча к ноге. Разводящий сильно выбрасывает левую ногу, делает шаг вперед и поворачивается направо вдоль шеренги, давая новую команду, которая опять зычно стелется на сотни шагов:

— Сме-на, вперед, шаго-ом арш!

Сменяемый часовой чуть приподнимает винтовку и делает шаг вправо. Щелкают каблуки, и снова все не шелохнутя. Пять гигантов-бородачей знают строгость ритуала. Они священнодействуют.

Правофланговый из шеренги становится рядом со сменяемым часовым.

Сумерки сгущаются, и даль площади уже совсем темносиняя. В сумерках мерцает золото караула.

Сменяемый, голосом зычным и торжественным, стелющимся на сотни шагов, вещает сменяющему о том, что вверяется ему на посту его императорского

величества. Недвижно внимает сменяющий и также зычно и торжественно повторяет то, что знает годами, но что надлежит ему повторить. Тогда сменяемый, чуть приподняв винтовку и сильно выбрасывая левую ногу, движется к шеренге. Он занимает место на левом ее фланге и делает почти неуловимый поворот, сливающийся с таким же поворотом сменившего его часового.

И у дворца опять стоит не шелохнувшись гигантский часовой. Он дюж, сложен прекрасно, тело струной, у него светлая борода, расчесанная надвое.

— На пли-чо!

И по команде предварительной — «на-пли...» чуть приподнимают четыре гвардейца свои ружья так легко, будто ничего не весят они, и по команде исполнительной — «чо!» вскидывают их, неуловимо переворачивая в воздухе, на левые плечи.

— Шаго-ом арш!

И вновь слышен тяжелый, медлительный военный шаг. Уходят четыре гвардейца. Стоит часовой у дворца. Невидимо оседает каменная кладка под ним от того, что грузен и огромен этот страж, источающий в пространство из голубых глаз своих послушание, строгость и «незыблемое» величие двух веков службы императорской гвардии.

Дворец окутан глубокой синевой. Блестят, как золото на черном лаке, отражения огней на Неве. Великий покой и безмолвие у дворца.

* * *

Безмерны владения империи. Ослепительные, стоят эскадры на рейдах империи: Кронштадтском, Ревельском, Гельсингфорсском, Либавском, Севастопольском и Тендровском, Бакинском, Владивостокском и Хабаровском — в лето царствования трехсотпервое дома Романовых. Над эскадрами вьется российский андреевский флаг.

Безмерны владения империи. В лучах заходящего солнца охрой горят приморские казармы и флигеля императорских флотских экипажей.

Безмерна государева щедрость к народу:

«Положено во флигелях адмиралам по 52¹/₂ квадратных сажени на персону, штаб-офицерам по 37¹/₂ квадратных сажени и обер-офицерам по 22¹/₂ квадратных сажени на персону, а за излишне занимаемое по желанию помещение казна берет доплату по три рубля в год, согласно приложения к статье 343 раздела III книги XIII Свода морских постановлений».

А в казармах: на двадцати двух с половиной квадратных саженьях размещают партии прибывающих матросов.

В лучах заходящего солнца охрой горят Санкт-Петербургские казармы для проходящих команд.

В вечернюю столицу пригнали эшелоны новобранцев — красивейших и схожих — со всей империи. Громадную толпу ведут унтер-офицеры по темным боковым улицам, чтобы не нарушать обычный порядок на Невском.

На Лиговской народ останавливается, не различая в темноте, кого ведут. Толпа гигантов!

— Господи, и где таких набрали!

— Какі борцы или что?

— Новобранцы это. В гвардию.

Идут с Лиговской по Колокольной и Загородному ошалевшие от шума и света громадные тихие деревенские парни. Отбирали их из далеких местностей.

Унтер-офицеры косятся, посмеиваются, идут плавно вдоль панели, печатая шаг... Красуются... Они знают себе цену: в Америку на Филадельфийскую выставку и в Париж на Всемирную ездили представлять Россию. С ума от них сошел Париж. Жужжащие толпы окружали матросов — *les marins du tzar*¹, — разглядывавших французов с высоты своих саженей.

Гвардейский экипаж... Под сводами тяжелых арок проходит толпа неуклюжих гигантов в казармы.

¹ Царских матросов (*франц.*).

Ворота запираются. Керосиновые лампы рыжим светом освещают вонючие помещения и нары экипажа. На партию положено двадцать две с половиной сажени! Новобранцы в молчании располагаются. Тишина нарушается окриком вошедшего унтера:

— Ну, серые, вещички ставь...

Раскрыты все сундучки и корзинки. Унтер переворачивает портки, рубашки, портянки, полотенца, иконки.

— Это что? Кол-ба-са? На царской службе под суд сразу попасть хочешь? Смотри!

— Ды-к...

— Не дыкай... Стань как полагается. Собственный товар оставь. Колбаса! Ты что думаешь, на службе голодом мoryт?! Сгноят тебя за такие штуки. Тут все казенное. Эй, серье,— слушай все. Клади в ухо! Нестеров, переписать всех — кто допускает нарушение, у кого собственный харч.

— Есть!

Тишина, растерянная тишина. Господи!..

Второй унтер идет и лениво, но тщательно в свою очередь проверяет корзинки, мешки, сундучки, кошелки... Новобранцы несчастны и в темном углу, в страхе, выбрасывают сало куда-то в запечную грязь.

Второй унтер видит отчаяние послушных верзил и, оглянувшись, тихо командует:

— Ладно, серье... Выручу... Складай все в одно место. Хорони. Спрячу.

Обрадованные парни суют в кучу баранки, кольца колбас, сало, ватрушки...

— Беда с вами, каждый год... Строгость на службе.

— Покорнейше благодарим, дядинька.

Счастливые новобранцы мнут картузы, шапки.

— Ланно. Из-за вас еще и сам пострадаешь.

И, пряча улыбку, идет с докладом к старшему.

Заберут у серых их харч — и будет знатное флотское пьянство. Серых сразу пугануть надо.

Новобранцы коротают вечер, тая печаль и страх беззащитности. Рыжий свет скуп... Слышно только копошение больших тел. Покорное, понурое ожидание...

В неистребимой тоске чего-то ждут эти люди. Мужики замирают — вся партия, — когда где-то по плитам стучат размеренные шаги. Начальство! Незнание окружает людей со всех сторон. За окнами черная река — и страшная неизвестность пугает людей... Людям мерещится черная вода, где топят... Отсюда ведь по Неве и на море! Утопят, утопят... Никола Морской, заступник... Сказывали, сколько топили... в японскую войну. Людям мерещатся грозные, со всех сторон наступающие, сверкающие зубами и пуговицами унтера... Унтера, унтера... От страха хочется зажмурить глаза, а они не зажмуриваются...

Копоть покрывает стекло лампы и летает по каморе. Двадцать две с половиной квадратные сажени, отведенные для новобранцев, едва вмещают их... За окнами стоят, как стража, тяжелые бурые флигеля казарм.

Душно... Новобранцы постепенно погружаются в тяжелый сон...

Распахнуты окна на рассвете. С реки тянет холодком. Знобит. Тихо переговариваются неумытые люди:

— Сполоснуться бы где, а?

— Не зна. Потом объявят.

Входят унтер-офицеры и быстро, привычно расставляют мужиков. Придают им на ходу должный вид.

— Подтянуть животы!

— Выпрямляй спины!

Новобранцы стоят не шевелясь, затаив дыхание, не отрывая глаз от унтеров.

Вдоль шеренги идет писарь и со строгостью опрашивает парней:

— Чем занимался?

— Мы землепашцы.

— Сколько земли?

— Двенадцать десятин...

Писарь пишет на груди мужика мелком, завернутым в бумажку, чтобы не пачкаться: ГЭ¹, и идет дальше.

— Ты?

¹ Гвардейский экипаж.

— Хрестьянством.

ГЭ.

— Ты?

— Костромской губернии, Ветлужского уезда, Николошангской волости, деревни Красный Холм.

И стоит ухарь с чубом — справный, чистый.

ГЭ.

— Ты?

— Из дворян.

— Как так?

— Так точно. Только неграмотный.

— Как «только»?

— Так точно. Я роду путно-панцырных бояр. Есть таии. Костылев я.

ГЭ.

— Выяснить. Дальше. Ты?

— С Руссуд-Наваля.

Мастеровщина. Прочь. Метка БФЭ ¹.

Писарь метит быстро, пронизывая глазами новобранцев.

— Ты?

— Из крестьян. Был у господ в услуженье.

— У кого?

Кудрявый, курносый парень рявкает сладко и подобо-
бострастно:

— Ево превосходительства генерал-майора Крото-
нова.

ГЭ.

Потом выводят мелом рост: вершки — по мерке. Унтера пристукивают, подсмеиваясь, шкалой по те-
мени подходящих, оголенных по пояс мужиков. Кричат
отметчику:

— Восемь. Восемь. Восемь с половиной. Восемь.
Десять! Восемь с половиной ².

— Эй ты, дуболом, десять!

— Я-у.

— Не «я-у», а «есть» во флоте говорят. Отвечай!

— Есь.

¹ Балтийского флота экипаж.

² Рост обозначался сверх двух аршин.

— Ты кто такой?
— Иван Петров Смирнов.
— Отвечай: «Молодой матрос Иван Петров Смирнов».

— Молодой матрос Иван Петров Смирнов.
— Громче!
— Молодой матрос Иван Петров Смирно-ов!
— Так, запоминай, серый.

В каморе зык стоит. Как скот на товарной станции, метят людей. Парни стоят, моргая глазами... Иногда они вздрагивают, оглушенные рыком унтеров. Те неожиданно кричат им в лицо:

— Здорово, один серый! Ну, кричи громче: «Здравья желаю, господин унтер-офицер!» Еще раз — здорово, один серый!

— Здрав-желаю, господин унтерпер.
— Разевай, разевай пасть. Не бойсь!

Торжественный день. Сегодня в Михайловском манеже будут отбирать пятьдесят самых высоких новобранцев империи для роты ее величества государыни императрицы — в Гвардейский экипаж. Попутно командир Гвардейского корпуса, командиры гвардейских дивизий и полков со свитами будут отбирать «схожих» для своих частей: курносых в лейб-гвардии Павловский полк (император Павел был курносый), высоких ловких брюнетов в лейб-гвардии Конный полк и так, соответственно традициям, по всем полкам.

Завтра в части Гвардейского экипажа в свою очередь отберут «схожих» из призванных в Гвардейские корпуса.

Перепуганные насмерть новобранцы стоят в манеже. Они дрожат и трепетно косят глазом на свои груди — не стерлись ли за ночь меловые метки. Кары и несчастья мерещатся новобранцам.

Офицеры их жадно разглядывают, надеясь заполучить редкие и красивые «экземпляры».

— Поглядите! Третий слева — статуя!

Сегодня приемщики всех частей — господа адмиралы, генералы, штабные, обер-офицеры и нижние

чины — по традиции в полной парадной форме на предмет внушения новобранцам великолепия службы. В касках, в золотых латах с чудовищными орлами, распростершими крылья на ширину мужского торса, стоят, опершись на палаши, монументальные кирасиры и кавалергарды — тяжелая кавалерия, — позволяя рассматривать себя всем. С тайным завистливым любованием рассматривают их офицеры гвардейской пехоты и даже легкой кавалерии — драгуны, гусары, конно-гренадеры.

Смешиваются запахи пота и грязи с офицерскими запахами: табака, одеколона, вежеталия, бриолина...

Новобранцы испуганы, ослеплены и потрясены игрой красок и видом начальства. Начальство пребывает в рассеянном-возбужденном состоянии от ожидания приезда высоких особ, от присутствия приятных им, равных им по кругу, одинаковых по воспитанию, вкусам и привычкам людей — представителей Санкт-Петербургского света.

В одной из групп офицеры держат пари, глядя на детину, возвышающегося над всей толпой новобранцев. Дитина стоит неподвижно, точно никого не видя. Он обут в онучи и берестяные лапти, посконные порты и холщовую рубаху, подхваченную тесьмой, с которой свисает деревянный гребень и ключ от сундучка. На голове дитины высокая валяная из шерсти шляпа. Ворот расстегнут, на темной груди — медный крест.

Офицеры-преображенцы держат пари — сколько вершков в детине, так как метка на его груди закрыта стоящими перед ним. Сомнений нет — он самый высокий новобранец этого года и пойдет в Гвардейский экипаж. В ожидании острого и редкого зрелища, зрелища, которое должно начаться с минуты на минуту, офицеры забавляются. Они подзывают самого рослого унтер-офицера-преображенца, и тот вращается в землю, поддавшись всем корпусом вперед, дабы изъясняемая им готовность все понять и немедленно двинуться куда угодно — была ясна всем.

— Кузьмищев, пойдя, гоубчик, к этому самому бойшому. Посмотри, гоубчик, скойко вегшков.

— Слушаю, васокродь! Сею минуту, васокродь!

Десятивершковый усач пересекает манеж. На него глядят со всех сторон. Стена новобранцев расступается перед ним. Усач приближается к детине; усач досадует — детина явно выше его вершка на три. Точно: на груди пометка — «13». Усач возвращается и рявкает, остановившись за три шага от своих офицеров:

— Тринадцать вершков, васокродь!

— Ага!.. Выиггал!.. Спасибо, Кузьмищев. Можешь итти.

— Ррад-страть-васокродь!

Приемщики убивают время в передаче последних новостей света...

— Гс-да, чудесный случай... И не анекдот... С командиром корпуса. Слыхали?

— Ну-те?

— Он приезжает во дворец. В карауле — измайловцы. Чудесно все показали. Молодцы. Корпусной благодарит и говорит измайловцам: «Я, господа, всегда считал, что лучший полк гвардейской пехоты — Павловский», Tableau! ¹ Перепутал петлицы! Адъютант шепчет: «Ваше высокопревосходительство, тут измайловцы». Корпусной, ничуть не смущаясь: «Сказанное выше о лейб-гвардии Павловском полку считать относящимся и к лейб-гвардии Измайловскому».

Наконец гул стихает. Начинается разбивка новобранцев.

Ослепительные приемщики медленно движутся к толпе и, покрикивая, с помощью унтеров превращают ее в стройные массивы каре. Мужики застывают. Внезапно раздается команда:

— Смирно, равнение на пра-о!

— Га-спада офицеры!

В здание манежа вошел корпусной командир — грузный человек, сопровождаемый свитой. Он поздоровался с собравшимися, и стены манежа сотряслись от рыка ответных приветствий. Корпусной приблизился к каре новобранцев, с пугающей строгостью

¹ Картина! (франц.)

оглядел их и, тяжело сопя, подошел вплотную к правофланговому, ведя за собой более сотни притихших офицеров. Корпусной искал глазами заранее посланного им сюда вестового. Он увидел за шеренгой новобранцев ответный взгляд черных тяжелых глаз. Черная борода, лопатой, лежала на алой груди. Вестовой выжидал знака, чтобы начать «действие». Корпусной еще раз поглядел на бородача: писать, писать с него Репину, — и чуть заметно кивнул своему любимцу. Затем указал на правофлангового:

— В Преображенский!

Черная борода шевельнулась на алой груди. Все офицеры умолкли. В манеже стало совершенно тихо. Бородач, неслышно ступая по песку, смешанному с опилками, подошел сзади к новобранцу. Тот по тишине, по напряженным взглядам массы людей и непонятному пугающему шороху позади него всем существом почуял приближение чего-то недоброго, но не смел оглянуться и стоял, выжидая... Бородач вытянул огромные руки и стиснул новобранца, схватив его чуть выше локтей. Новобранец тихо охнул. Бородач заорал: «В Преображенский!» — и новобранец, поднятый бородачом на воздух, завертелся и тяжело упал на песок к ногам приемщика. Офицеры, увидев улыбку корпусного, в свою очередь захохотали громко и беспощадно. Старинная традиция «швыряния» новобранцев это поощряла и разрешала.

Бородач-преображенец, так легко и яростно швырнувший новобранца, вызвал всеобщее восхищение. Корпусной, сопровождаемый свитой, двинулся дальше; он указал на следующего новобранца и произнес:

— Оставить в Гвардейском экипаже.

Второй парень был схвачен бородачом и брошен к барьеру, где его поджидали писаря. Он упал, стукнувшись головой о доски. С минуту пролежав на песке, новобранец встал с искаженным лицом и глотнул воздух. Последовало новое приказание корпусного, и полетел к барьеру третий... Хохот провожал и его.

Вскоре приемщикам надоело однообразие происходящего. Они жаждали новых развлечений. Уставший бородач швырял людей все озлобленнее, уже с натугой.

Но корпусной продолжал отбор. Он указал на кудрявого курносого парня.

— В Павловский!

Курносый озорно улыбался. Бородач подошел к парню, схватил и рванул его. Парень покачнулся, но с места не сдвинулся, в свою очередь зажав руки бородача локтями... Бородач побагровел и рванул еще раз. Парень хмыкнул, сказал: «Чево ж», — но не шелохнулся, все сильнее прижимая руки бородача к своим ребрам. Офицеры наблюдали за ними. Курносый торжествовал, зная цену своей жуткой силе и уверенный, по опыту прежней службы у господ, в том, что они любят позабавиться борьбой. Он неожиданно резко развернулся всем корпусом, со всей силой стукнул зажатого им бородача о спину стоявшего рядом новобранца и выпустил его. Бородач упал. Курносый искательно улыбнулся господам и, тяжело ступая, зашагал к барьеру. Бородач, ни на кого не глядя, ждал очередного приказания, багровый, злой, темный. Корпусной, помедлив, указал на следующего. Один из офицеров окликнул бородача и предупреждающе погрозил ему пальцем. Он знал, что сейчас этот озлобленный и осмеянный человек может насмерть изувечить рыжевато-высоколобого парня, покорно ждавшего своей участи. Офицер вступился за него, но не по доброте душевной, а потому, что он подбирал в свой эскадрон «рыжеватых».

Писаря поддразнивали новобранцев, презрительно называя тверских — «козлами», костромских — «точильщиками», новгородских — «гусями» и т. д.

Собираемые в полковые партии парни стояли у стен, стряхивали с себя песок и сокрушенно осматривали дыры на своей одежде.

* * *

Первыми повели из манежа пятьдесят человек в Гвардейский экипаж. Когда партия вышла из манежа, зазвенела и загудела медь оркестра и строже стали подсчитывать ногу унтера: «Ать, два, три, четыре».

Партию вели по Садовой улице. С Садовой свернули к Экипажу и вошли во двор, замкнутый со всех сторон флигелями казарм.

Служба молодых матросов призыва 1913 года началась.

С момента вступления новобранцев на камни казарменного плаца пускается в ход веками испытанная система. Перед людьми стремительно, давяще — возникает новый мир. Этот мир разрушает, истребляет привычный ход мыслей и почти мгновенным, неодолимым напором заменяет мысли людей — «уставом». Военный же устав империи Российской предписывает: «Не рассуждать, а повиноваться». Все направлено к тому, чтоб добиться одинаковости и бездумности. Все истребляется бездушной муштрой:

— Ать, два, три, четыре!.. Ать, два, три, четыре!..

Настойчиво внедряются противоестественные движения и слова, которые в конце концов и вовсе лишаются смысла и вызывают лишь механическую реакцию.

— Намлитв, ша-апкдолой!

И люди срывают с голов фуражки.

— Млитвзапе-вай!

И люди, замерев, поют в унисон:

— Отченаш, ижеесинанебеси...

Живой обмен мыслями, независимость, свободу движения, жеста при малейшем их проявлении преследуют, искореняют и заменяют — неподвижностью и смирением...

— Смирна! Отвечать как полагаит-ца!

— Шевелений ни-ка-ких!

Однообразие обстановки, в соединении с безостановочной муштрой, действует на людей.

— Ать-два-три-четыре...

— Ать-два-три-четыре...

Новобранцев ведут в баню. Цирюльники быстро срезают им кудри, и, по холодку, голые остриженные парни бегут трусцой к крамам. После бани выдают флотскую одежду. Она лежит грудой — прежних сроков службы бракованная рвань, шинели образца 1868 года с четырьмя складками сзади, застиранные форменки — «в целях экономии средств».

Одетых по форме новобранцев разводят по ротам.

Унтера дают новобранцам первое наставление:

— Помните, куда попали! Гвардейский экипаж от личных его величества государя императора Петра Великого гребцов происходит и существует третий век. Особо вас жалует ныне здравствующий государь император, в отличие от прочих, независимо от содержания по табели первой и второй, именными деньгами в размере девяносто копеек в год, согласно книге двенадцатой Свода морских постановлений. В носу не ковыряй, эй, лапоть... Стой прямо, живот убери... Ну!.. Довольствие в девяносто копеек производится до тех пор, пока нижний чин не будет замечен в дурном поведении... Понятно? Ну, чего молчите? Отвечайте: «Так точно, господин унтер-офицер...» Ну?

Заголосили вразнобой...

— Отставить. Еще раз. Так. Еще раз! Еще раз!

Десять раз рявкает партия ответ.

— Ладно... Есть, допустим, среди вас Петры и Павлы?

— Должно, есть... Которые... Эй!

— Я те дам «эй». Отвечай: «Так точно, господин унтер-офицер». А если нету: «Никак нет, господин унтер-офицер».

Испугались... Стоят...

— Ну вот, ко дню святых Петра и Павла все Петры и Павлы от государя императора, например, получают именные деньги в размере девяносто копеек в год... Кто Петры и Павлы, ну? Два шага вперед. Шагом-арш!

Шагнуло шесть человек.

— Подравняйся! Куды вылез, дерево!.. Вот — Петры и Павлы, не шевели рукой. Замри!.. Если не будете дисциплину исполнять — ни жизни вам не будет, ни этого довольствия. Девяносто копеек не видать вам во век. Понятно?

— Понятно.

— Стой смирно. Говори все: «Так точно, господин унтер-офицер». Ну, разом!

Рявкнули.

Раздается мерный шаг... Это идут наисправнейшие, строжайшие и всепреданнейшие «обучающие». Один из них, черный с золотом монумент, рычит:

— Вста-ать!.. Име-отчество мое Никанор Флегонтович, по фамилии Садовников, ваш обучающий. Титул мой: Гвардейского флотского экипажа роты ея величества матрос первой статьи. Ты, повтори.

— Никанор Флегонтович.

— Это ты дядю в деревне так называй, а я тебе не дядя! Повторяй: вы, господин обучающий...

— Вы, господин обучающий...

— Изволите быть Гвардейского...

— Гвардейского...

— Изволите быть, полено!

— Изволите быть Гвардейского...

Обучил одного, потом все хором рывкают по разделениям:

— Вы, господин обучающий. Изволите быть. Гвардейского флотского экипажа. Роты ея величества. Матрос первой статьи.

— Ну, гляди все на меня. Первый урок. Что есть стойка и воинская выправка? Если человек желает стать напоказ — стоит, как показывает природа, то есть пятки вместе, носки разведены на ширину приклада. Вот так... промеж колен просвету нету. Коленки не подгибай, ну, ты! Икры не оттягивай, не перегибайся. Голова ни опущена, ни вздернута, но держится прямо на своей высоте над землей...

Унтер постоял, подумал, медленно пошел вдоль шеренги и, скучно поглядев, ударил по скуле левофлангового, — на всякий случай, чтоб службу знал. После чего снова забубнил:

— Будете вы у меня в руках на полном подчинении полгода — до восьмого марта — и эти полгода отсюда никуда. Только на занятия. Гулянка вам не полагается до присяги. Понятно?.. Служить вам — как медной посуде — долго. Сначала со стараньем обязаны пройти строй и словесность, пока допустят до принятия присяги и высочайшего смотра... Во флоте все приказанья бегом делаются: не ползи, а бегай! Шевелись! Руки где? Согни в локотках, когда бежишь, не мотай ими...

Вдруг унтер вскочил и замер: вошел старший обучающий и, выдержав паузу, захохотал:

— Я есть ваш старший обучающий, Запоминай: Николай Ефремович Щетинкин. Полностью — Гвардейского флотского экипажа роты ея величества унтер-офицер. Чтоб к вечеру — наизусть. Садовников, обучишь.

Никанор Флегонтович тянется, каблуками щелкает.

— Есть, господин старший обучающий.

Старший обучающий Щетинкин обозрел новобранцев и погрозил пальцем. Жест этот означал: «Вы у меня смотрите!», «Выбейте дурь из головы», «Молчать!», «Не рассуждать!»

Полный курс «О религии и нравственности» унтер-офицер, за неумением связно излагать мысли (что и не предусматривалось уставом), преподать новобранцам не мог, но знал, что курс должен быть усвоен, а ежели не будет усвоен, то будет им, Щетинкиным, незамедлительно «внедрен». Новобранцы должны были развиваться и приближаться к представшему пред ними узаконенному образцу — Николаю Ефремовичу Щетинкину. Им надлежало в законной последовательности совершенствоваться — церкви и отечеству на пользу, родителям на утешенье.

Щетинкин начальственно откашлялся и приступил к изложению:

— Ну, серье, вникайте! В небе имеется как бы небесный государь император — господь бог, каковой имеет штат и свиту, в каковой состоят архангелы, ангелы, серафимы и херувимы и протчая. По образу и подобию своему сотворены господом в шесть дней мир, люди, первым из коих был Адам, изгнанный из рая по случаю нарушения тамошнего порядка, что выразилось в краже им райского яблока по наущению змия и жены Евы. В России же высшая власть поручена господом государю императору Николаю Александровичу, кой посему является божьим помазанником. Вам, серые, надлежит защищать веру, царя и отечество, не щадя живота своего. Вера у нас православная, лучшая и истинная.

Незыблемость, отчетливость и удобная простота сих истин повсеместно внедрялись попечением начальства

и святой церкви. Унтер-офицер Щетинкин не допускал отклонений от этого раз навсегда усвоенного им образа мышления, подобно тому как не допускал отклонений и несоответствий в строевом деле. Жизнь для Щетинкина была не чем иным, как установленным порядком, коему подчинены, как зрит каждый, и солнце, и луна, и звезды, несущие им свыше предписанную службу, и ина слава солнцу, ина слава луне и ина звездам — согласно табелю рангов. Бог отец, бог дух и бог сын были Щетинкину ясны: сидит на облаке в одеждах строгий старец, затем голубь, затем сын... Поскольку, по глубокому убеждению Щетинкина, баба не человек и у бабы ум короток, то богородица, естественно, помещалась пониже и порядок ничем не нарушался. Значительность бога-отца явствовалась из изображений его, из святого писания и подкреплялась благолепием и пышностью церковных служб. Собор Исаакия! А на земле действительно был государь-император.

— Слушай меня! К монарху нашему долженствует питать обожание.

Новобранцы покорно внимали с детства знакомым, пугающим словам: бог, царь, церковь!.. Как быстро — спустя пять лет — ушли они из памяти матросской...

— Садись... Урок третий. Каблуки вместе, носки врозь... Руки на коленки... Гляди в глаза... Не сутулься... Ну! Гляди отдавание чести... И чтоб честь как молния, чтоб рука как на пружинке летала. Ладони как досточки — вот (рука обучающего замелькала). Виды отдания чести бывают разные: честь знамени и погребальной процессии, честь на ходу стоящему начальнику, честь на ходу идущему начальнику, честь на бегу стоящему начальнику, честь на бегу идущему начальнику. Честь есть полный твой вид и смысл. Как честь отдаешь — видно, какой ты матрос. Годный, с выправкой или какой. Встать!

Обучающий разомкнул шеренгу, поставил людей на шаг друг от друга. Десятки рук взбрасывались и опускались, взбрасывались и опускались...

Прошлогодние новобранцы с приходом более молодых вступали в свои права и первый раз вкушали сладость начальствования.

- Ну, стой, стой! Говори, с кем дело имеешь?
- Со старослужащим...
- С господином старослужащим!
- С господином старослужащим.
- Тебе старшим!
- Мне старшим, господин старослужащий.
- То-то...

Вечер. Чадят керосиновые лампочки под потолком в каморах роты. Мерцают лампы. В полутьме тихо, почти шопотом перебрасываются словами новобранцы, сбиваясь в кучки, ожидая окриков, команд и неожиданных действий начальства. Старослужащие умело вызывают серых на расспросы и как бы нехотя начинают бесконечные флотские истории, выбирая такие, которые в полутьме больших камор заставляют цепенеть и ужасаться. Год тому назад старослужащие были сами новобранцы, сами цепенели и ужасались — теперь пришел их черед быть старшими, и, наслаждаясь этим новым ощущением, старослужащие следуют традиции...

Шопотом, оглядываясь, потому что не все можно говорить вслух, один из них рассказывает новобранцам о либавском корабле... Среди мертвой тишины шепчет матрос:

— И там смерть даже принимают. Никому не пожелаю попасть туда...

* * *

Либавский корабль! До гроба памятный. Не могу и я не вспомнить историю твою.

Год 1912-й. Либава. Ослепительны, на рейде, стоят корабли. Ослепительнее всех один — с острым тараном. Этот корабль, в отличие от всех — молчалив и в отличие от всех — неподвижен. С этого корабля доносятся только бой склянок и редкая команда. Ослепительная окраска корабля обладает странным свойством: ежедневно с раннего утра она исчезает, а днем к две-

надцати часам опять сияет на солнце. Только одна шлюпка ходит между кораблем и берегом. Не видно на шлюпке матросов — там офицеры. Название корабля — «Грозящий».

Согласно расписанию для умеренного климата, в пять часов утра, а летом в четыре тридцать — побудка. Ревет горн, и рычат унтера: «А н-ну, вставай, не валяйсь!»

Без единого слова встают матросы. В безмолвии вяжут койки. Положено всем нижним чинам российского императорского флота постоянное место на все долгие годы службы — на ночь подвесная койка в три четверти человеческого роста. И люди, скорчившись, спят в ней. В тишине выносят койки наверх, умываются, и никто никого не шлепнет от веселой силы по голой спине. В тишине босые матросы выходят на палубу, где стоят, как мертвые, часовые. Матросы медленно опускаются на колени. Из плангов бьет вода. Кирпичом трут палубу, белую, как офицерская кость. Трут, сдирая кожу с суставов, трут рядами, и над кораблем только тяжкое дыхание. В семь сорок пять горнист играет повестку, в семь пятьдесят пять выходит караул. Появляются вооруженные господа офицеры и строятся на шканцах. Наконец выходит командир и принимает отрывистые рапорты. В семь пятьдесят девять звучит команда:

— На флаг и гюйс — смирно!

Замирают все. Штилевое, бесцветное море отражает бесцветное небо. В восемь часов на всех судах перезвон: бьют склянки четыре двойных удара.

— Флаг и гюйс поднять!

— Слу-шай, на кра-улл!

Барабанщик бьет поход, и разом все головы, коротко остриженные, обнажены. День начался... Очередной день из положенных — по приговору каждому матросу — лет. За политику! «Грозящий» — пловучая каторжная тюрьма Балтийского флота. Каждый идет на свое место, отскребывает краску и красит вновь. На корабле только красят и отскребывают — в молчании, годами... Беспощадное шкурье — унтера с нага-нами и дудками стоят повсюду. И каждый день, годами,

бопман — кривой и рябой, женщины его не любят — гнут «политикам» одно и то же:

— Вот, братцы, вы обучаетесь сегодня полезному малярному делу. Что есть малярное дело? Малярное дело есть умение класть на корпус корабля и вообще на всякие предметы олифу или краску. Гляди мне в глаза, сволочь! Н-ну!.. Окраску же вы производите для сохранения дорогого и любезного вам корабля от гниения, сырости и вредного действия воздуха, а равно и поддержания его в подобающем виде. Глазом не моргай, ты! Усатый! Первое правило: для малярного дела надо иметь кисти и краску. Вот это называется кисть, средний размер. А это называется краска. А то вы за десять лет не знаете?.. Хе-хе. Вам, братцы, надо научиться красить для вашей же пользы. Видите, стараюсь. Пользуйтесь, пока я жив. Железо красят со шпаклевкой и без нее, удаляя старую, истлевшую краску, что вы, сволочи, делаете с утра, пемзой, кирпичом, песком. Крыть надо ровно, не спеша — время у вас есть, посажены крепко... На ноги не капать, обувь и одежда казенная... Н-ну, с богом...

Отодрана вчера положенная краска. И красят вновь... Кисти идут с замечательной ровностью, краска ложится тончайшим слоем. В молчании годами красят матросы. Только иногда скрипнут у кого-нибудь зубы. В молчании годами красят матросы... Изредка скупая, мужская слеза капнет в краску и исчезнет в ней. Раз в день после работы, дозволяется говорить. На разговоры положено законом, высочайше и всемилостивейше государем императором одобренным, тридцать минут. Говорят по дозволению матросы, выйдя на бак, к фитилю. Говорят тихо-тихо:

— Денек выдался сегодня, Михайла...

— Да...

— Штиль...

— Штиль...

— Парит, душно...

— Да...

И всё. И всё, товарищ мой милый, дорогой. Начальство стоит рядом. Шкурьи глаза и уши. С тоской смотрят матросы на воду — не чувствовать им вольно этой

воды долгие годы. Придумали им пытку на корабле: «Не дотрагиваться до морской воды». Корабль проклят начальством. Он загнан в дальний угол гавани. Однажды корабль был послан к острову Макилото, дать «политиков» для тяжелой погрузки камня. Камни по десять, и двадцать, и тридцать пудов. И когда «Грозящий» показался на виду эскадры, понялись офицеры, как от чумы, и взвился сигнал адмирала: «Немедленно прочь».

По палубе ходит командир. В семнадцатом — хорошие дружки отрубили ему голову и спустили ее в отхожее. Когда он видит мрачных и молчаливых матросов, он доволен и улыбается. Когда он видит улыбку, он встревожен и зол: значит, матросу отчего-то хоть на минуту хорошо. «А...» Командир вызывает тогда людей. «Горнист! Сбор!» Строй замер и не шелохнется... Глаза стекленеют... Мертво... Командир начинает гонять людей на мачту:

— К облакам и обратно. Бе-гом арш! Ать-ва... и... три...

Люди мчатся вверх и вниз, вверх и вниз, давят пальцы отстающим тяжелыми сапогами. Иные срываются с мачты и лежат окровавленные...

—Хо-дом!.. Летай!.. Сыпься!

Люди распалены, сердца бьются отчаянно. Кожа стерта с ладоней.

Потом происходит то, что неизвестно ни одному флоту. Молча спускают шлюпку при полном безветрии. Командир приказывает убрать весла, а парус поднять. Парус поднят. И тут, под взглядами офицеров, наблюдающих с борта корабля, каторжники делают так: они толчками своего тела двигают шлюпку, повинувшись приказу. Ветра нет, но шлюпка минутами и часами бесцельно движется по воде. Когда молчаливая шлюпка отходит подальше, «политики» глядят повелительно и угрожающе на старшину-шкуру. Шесть пар глаз, как двенадцать штыков, вонзаются в него. Каторжники вынимают доску и гребут подальше, чтобы немного вздохнуть, впервые за годы. Старшина сидит молча и покорно. Иначе убьют. Каторжники, трясаясь от возбуждения, снимают обувь и, закрыв глаза, погружают руки и ноги в воду, в воду Балтийского моря. Шлюпка вернулась,

и старшина докладывает командиру, что «все в порядке, ваш-скородь». Иначе убьют. «Политики» стоят сумрачные и тяжелые. Они никогда не отдают чести никому из офицеров. Офицеры терпят эту неслыханную дерзость потому, что «политики» могут передуть всех, взорвать корабль и себя, если начальство посмеет посягнуть на их неизменную традицию. А традиции этой они держатся годами — молчаливые, упорные, вместе, — парни по двадцать два, по двадцать три, по двадцать пять лет, взятые по делу РСДРП (большевиков). Они стоят, как вросшие в палубу, у них не поднимаются руки к бескозыркам, потому что партия большевиков ни перед кем не гнется и никогда, нигде врагу своему чести не отдает.

* * *

В молчании, преследуемые со всех сторон наваждениями, новобранцы ложатся спать. Мерцает лампада перед темным ликом старшего обучающего Николай Ефремыча Щетинкина... «Тьфу, господи, наваждение — да это ж лик Николы Морского. Тоже с бородой, строгий». Все строго здесь, в этих казармах!

Оглядывая массивы арок, выводящие из камер в темный длинный коридор, стараясь не стукнуть сапогами, стоит в первый раз поставленный дневальный и тихо шепчет:

— Господин обучающий, Никанор Флегонтович Садовников... Гвардейсково экипажу, флотсково, Гвардейсково флотсково экипажу роты ея величества матрос первой статьи господин старший обучающий, старший обучающий Николай... Николай Ефремыч Щетинкин... Полностью Гвардейсково... флотсково экипажу...

С койки Садовникова доносится шипение:

— Тиш-ше. Не бубни! Не бубни-и.

Тихо. Час идет за часом. По коридорам мерно проходят дежурные и заглядывают всюду. Дребезжа, бьют старинные часы в ротной канцелярии.

За окнами тьма и неведомый матросам Санкт-Петербург. В типину влетает вдруг яростный оглушающий рев. Новобранцы вскакивают и испуганно озираются.

— Чево?

— Пожар?

Обучающий обозленно обрывает пз-пол одеяла:

— Не шуметь, серые! Один ко мне, на нос-ках!

Один босиком подбегает к обучающему и стоит руки по швам, как вчера научили.

— Сапоги вычистишь... Еще один ко мне, на носках. Бежит другой.

— Одежду почистишь, выколотишь, пуговички протрешь.

Обучающий медленно педит:

— Слушайте все... Это горнист побудку играет: «Вставать». А как вставать? Вставать так: тотчас, как устав определяет, каждый матрос убирает свою койку и выметает из-под нее сор... Чтоб, сволочи, сору не было... Дальнейшую приборку производят особо назначенные, я скажу какие... Им обтереть пыль... Пыли в роте ея величества быть не может... Понятно? Теперь тихо! Одевайсь, иди мыться.

Новобранцы натягивают заношенные вещи, пахнущие затхлостью склада, и бегут к умывальникам. Ударяя снизу ладонями по медным рожкам, они набирают воду и трут лицо.

Обучающий кричит:

— Как моесси? Как моесси? Кошка так моетси! Бери воду всей лапой. Лей ее на себя... А ну, нагибайсь... (Сгибает парня.) Во... Во... Так... Поливайсь... Шею три... А уши к празднику мыть будешь? Я вот тебя! Три, три, дьявол!... У-у, серье... Учить вас...

Новобранцы обливают себя холодной водой, глядя на обучающего, который, фыркая, растирает обнаженное до пояса тело.

— Глядите, глядите, серые, чтобы все запоминали... Чтоб все чистые были... ну! Счас осмотр будет, беда — грязь найду!

Новобранцы глядят на обучающего, внимая его словам, зачарованные синими разводами на груди и руках его. Разводы искусные — драконы, якоря, флаги, буквы, русалки — тончайшая татуировка.

— Ну-ну, загляделись? Живее!

В коридоре выстраиваются к утреннему осмотру. Унтера оглядывают со всех сторон.

— А ну, повернись. Кру-гом!

— Ать-два-три-четыре...

По расписанию, сегодня словесность. Обучающий оглядывает сидящих. У них руки на коленях и сжаты ноги. Все неподвижны.

— Ну, вникай, все... Про обязанности матроса... Для чего служите? Какая есть главная обязанность матроса? Главная обязанность матроса есть выполнить присягу... Матрос должен во всем слушать своего начальника, оказывая ему уважение и почести... Говоря с ним, должен стоять смирно, глядеть в глаза, а если в фуражке — приложивши руку к ей... Отвечай начальнику всегда громко, смело, всегда правду... Каких виды уважения бывают? Входит начальник — дверь открой перед им. Пальто начальник одевает — помоги, подай. Входя к ему, проверь себя, застегнись... Медведем не лезь — ноги вытри, постучись, согнувши палец... Вошел — фуражку снял, за три шага — стой... Еремин, повтори. Какие виды бывают?

— Бывают виды пальто подать, постучать согнутым пальцем.

— Когда постучать?

— Как в дверь иттить.

— Какую?

— Ихню... начальства.

— Садись. Отчетливей надо... Ну, дальше. Что есть воинская дисциплина? Она есть книга семнадцатая. Воинская дисциплина состоит в строгом чинопочтении и точном исполнении, что прикажет начальник. Вот я тебе приказываю — и что? Ну? Ты!

— Так точно сполнить, господин обучающий.

— Все сполнить?

— Так точно, господин обучающий.

Тут обучающий впивается глазами в людей и спрашивает грозно, пугая их и пугаясь сам:

— А если против государя императора или начальника?

Новобранцы молчат, постигая смысл закона, впервые раскрывающегося.

— Есть, братцы, люди — враги внутренние, которые хотят перебить нас. Они против православных. Вот, например, в Семеновском полку злоумышленники бомбу бросили. Убили часового. Разорвало человека! Братцы, неужели мы бы не заступились за своего?

Загудели:

— Так точно, ва-ско-родь!

— Ну вот! Кто бунтовщики? Студенты и мастеровщина тоже, они — враги внутренние. После высочайшего смотра вы в город ходить будете. Смотрите в оба! Подойдет к тебе кто-нибудь и листок сунет. Он листки дает для отвода глаз, а потом убьет тебя, как часового убили. Хватай такого!

У унтера побагровело лицо, надулись желваки.

— Ну, что ты сделаешь, если тебе против начальства говорить будут или листок сунут?

— Хватать ево буду, ва-ско-родь!

— Кого его?

— Студента, мастеровщину тоже!

— Молодец!

— Рад стараться, ва-ско-родь!

Беседа велась согласно приказа от 1912 года:

«Разъяснять логикой и убеждением, построенным на истинных данных и здравых основаниях».

— Если приказывают делать против государя или начальника — не делать, не то — в тюрьму... А там — спелелят и фамилию не спросят. Понятно?

— Так точно, господин взводный.

— Нижний чин, забывший бога и послушавший бунтовщиков, — враг отечества!

Новобранцы смутно чувствуют какие-то грехи и тайны, к которым нельзя прикасаться; грехи и тайны эти как-то неясны, но они огромны и страшны — похожи на либавский корабль...

День за днем с темного утра до ночи в каморах слышны команды и монотонные речи обучающихся — о дисциплине, о знамени, о присяге, о титулах и табели

рангов. Из камор никуда не выпускают. Обучающие твердят каждый день одно и то же, одно и то же:

— Направо равняйся! Головы направо поворачивай... Гляди грудь четвертого человека, считая себе первым... Не закидывай ухо!

— Смирно, головы прямо! Ну, повторим, что есть строй? Строй есть святое место и порядок размещения людей, установленный для их совместного расположения, движения и действия... Равняйся! Смирно! Не шевелись!.. Замри!

И день за днем с темного утра до ночи в каморах Экипажа — как и во всех войсках гвардии и армии — слышны команды и монотонные речи обучающихся... Законы империи формируются в непреложные истины: «Сполный присягу», «Стой, как мертвый», «Отвечай, как полагается»...

Во всех ротах, эскадронах, батареях и командах обучается призыв срока службы 1913 года.

Приходит день вывода молодых матросов во двор — на строевые занятия...

Новобранцы сбегают по лестнице, боязливо задерживаясь на непривычных скользких плитах. Унтера подгоняют оробевших парней.

— Шагай смелей — быстрее! Лететь, чтоб наша рота повсегда первая была. К завтраму все ступеньки сосчитать и повороты. Знать наизусть! Точка.

Роты выходят на снежный плац, наглухо закрытый флигелями.

Тяжел шаг российский, знаменит. Земля гудит от этого шага, камни выворочены этим шагом, леса повалены.

Старший обучающий объясняет:

— Движения в строю могут сполняться шагом и бегом. Проходим шаг. Командуют, эт вы знайти, перво — «шагом». Потом, после краткой выдержки, громчее «арш». По этой команде начинай движение, подавая тело чуть вперед, не сгибая ногу много в колене и несколько ее отделяя от земли. Опуская ногу, ставь ее коротко и во весь след. Рукам дай свободное движение

коло тела, причем кисть не подымай выше пояса. Гляди все!

Унтер рывкнул сам себе команду и как бы исчез — двигался не он, а блестящее и пугающее существо. Под зимним петербургским солнцем, среди старинных стен флигелей, по утопанному за век плацу Гвардейского экипажа шагало «нечто» — сверкающее, черно-ало-золотое... Сияла кокарда, сияло золото на цветистой черно-оранжевой Георгиевской ленточке, сияла бритая кожа отсутствующего лица, сияло золото пуговиц, сияли алые погоны, сияли и поясной ремень, и сапоги.

Быстрыми, оглушительными шагами «нечто» двигалось по фронту новобранцев, выбрасывая ногу, и издавало какой-то внутренний грудной звук, какой издают лесорубы при рубке, и при каждом ударе ноги из-под сапог взлетали комья снега, а иногда и искры, так как отлично кованые сапоги прошибали снег до камня.

Руки «его», сгибаясь и разгибаясь, ходили по неизменно одинаковой линии — назад до отказа, вперед до приклада, — рассекая воздух.

В какой-то момент «нечто» неуловимо изменило движение на обратное. Как это произошло — никто не заметил. Внезапно все затихло... Унтер остановился, треснув каблуком о каблук.

С полминуты он, чуть играя глазом, глядел на затаившую дыхание шеренгу. Подошел младший обучающий, искательно улыбнулся:

— Вы, Николай Ефремыч, опыламили их.

Отдышавшись, унтер загудел:

— Слушай команду! Ша-гом...

Чуть шевельнулись новобранцы...

— Арш!

Пошли...

— Ногу-и! Рравнение!

Унтер шел перед строем, оборотясь к нему, плывя на носках, командуя и властвуя над всеми.

— Ать-ва-и-пре! Так, так... Ногу-и! Тверже ставь, не рассыпешься!

Дрожат стекла флигелей и бьют барабаны. Пар поднимается над безостановочно бьющими землю людьми.

Ррах, рра-х, ррах...

— Ноги не слышу! Глухим не мог стать! Ногу-п!

Руки унтера в такт рассекали воздух.

— Руки, руки! Маши ими! Плавность дай! Бери науку, пользуйся, пока я есть. Главное в этой науке вид дать, силу!

Ррах, рра-х, ррах...

* * *

Мрачен сегодня ротный... Его высокоблагородие с похмелья... В собрании вчера засиделся. Ходит по канцелярии тощий, безбородый, волосы ежиком.

— Ну, вечером устрою им представление и сам развлекаюсь.

Барабан бьет на вечернюю справку. Рота подравнялась. Дневальный шаги слушает, дверь распахнул и в сторону... Замер... Вошел ротный.

Обучающий рывкнул:

— Ир-рна!

— Здорово, ребяташки.

— Здра-жла-васокродь!

Ротный прислонился к стенке, скрестив руки на груди. Светят керосиновые лампы. Стоят, вытянувшись, матросы. Лица у всех серо-красные.

— Ну!

Молчат. По уставу на такое — ответа не полагается. Ротный загнусавил:

— Фофьянствовали?

Молчат. Действительно, по случаю получки сполоснули, с благословения обучающего и вместе с ним.

— Фьяные были?

— Так что, васокродь... Оно... если кто... самую малость... казенную чарку...

Показывает обучающий пальцами, — вот, мол, чу-тпньку.

— Руки по швам!

— Виноват... Чтoб в доску пьяных — не было, васокродь.

Ротный гнусавит:

— Ну, два шага вперед — кто фриклядывался к вину. Стоят.

— А-о... Ну, будем рыбку улить...
 Тащит бумажку из кармана.

— Я все знаю... Знаю, кто на карачках ходил, кто стекло давил... Горшков!

— Есть.

— Фьян был, наакался. Маму не выговаривал. Куклин!

— Есть.

— На белых медведей охотился на дворе, травил. Один прыснул.

— Молча-аты! Ир-рна! Фромотал, наверное, все? Меньков!

— Есть.

— Ага... Морда в синяках. Честь не отдал, грубил. Штрафовать, фороть буду. Кашку березовую любишь? Вот дотошный командир, где он, сукин сын, все узнал?

Обучающий моргает, но вид делает строгий — у, сволочи, пьяницы, сосуны проклятые. Ротный гнусит:

— Еще один есть. Матерый. Унтер — шаг вперед... Обучающий шагнул.

— Дежурным будешь неделю! Эх ты, фьянчушка, не фролей кафельку.

И вдруг запел:

— Отрубили кошке хво-о-ост... Ну, это какой сигнал? Сомов!

— Становись в карэй, ва-сок-родь.

— Дурак. Ну, а ты?

— В цепь ложись, ва-сок-родь.

— Так. А это: тятенька у маменьки просил кусок говядинки, дай, дай, да-а-ай!.. Не знаете? Меньков!

— Есть.

— Фолучи фятнадпять. Дать три табуретки! Поставили табуретки.

— Ломакин!

— Есть!

— Исполнить.

Стоит матрос. Глаза опустил.

— Не фонимаешь? Ну!

Шагнул Ломакин к табуреткам...

Гнусит ротный:

— Меньков, ложись. Раздевайсь...

Стоит человек, пояс снял. Брюки расстегивает, подштанники расстегивает, спускает — стыдно. Рота глаза опустила.

Гнусит ротный:

— Вот, братцы, фрастуфки не взысканы быть не могут. Фомните. Ложись, Меньков. Ломакин, бери фрут!..

Парень на табуретки лег, ноги вытянул, каблуки вместе. Руки по швам.

Гнусит ротный:

— Начинай, Ломакин, как следует.

Ломакин стоит испуганный.

Меньков вздрагивает.

Кричит ротный:

— Пу!

Ударил матрос матроса, а сам закрыл глаза. Ротный кричит:

— Зачем глаза закрываешь, бей в открытую...

Меньков ладонью тело сверху прикрыл. По ладони ударило, отнял — ожгло. Сует ладонь туда, сюда.

Гнусит ротный строю:

— Фачему головы офущены? Какой вид? Гляди как следует! Ну, фатит...

Встал Меньков. Пояс уронил, руки не слушаются, — пуговицы застегнуть не может.

— Меньков, одной пуговицы нет. Флохо, флохо. Ну, становись на место.

Обошел роту.

— Фрощайте, ребятушки.

— Счастлив-оставаться-васокродь.

Ушел. Сегодня у командира экипажа прием, торопится.

Загудела рота. Обучающий кричит:

— Не разевай рты! Тихо! Эх, дела... Разойдись!

Меньков один стоит. На него не глядят... Стыдно...

Порасползлись все по нарам... Тьма собачья...

Сел Меньков на нару, локти на колени, голову обнял, завыл. Окрикнул его дневальный:

— Не шабарши. Ложись...

Затих парень... Шепчет:

— Эх ты, доля моя, доля матросская...

Март... Тосклива петербургская весна. Позади шесть месяцев лютой муштры. Готовят матросов, ах как готовят к весеннему смотру...

День за днем, с рассвета до ночи, роты Гвардейского экипажа на казарменном плацу вгоняют глубже и глубже старинный каменный настил.

Недвижно стоят у темных дворцов гиганты-часовые. Недвижен ангел на Александровской колонне. Недвижен седой дворцовый гренадер на посту у колонн. Недвижны деревья за гранитно-чугунной дворцовой решеткой.

Тишина. Издалека, в утреннем сумраке, слышен тяжелый, медлительный военный шаг...

Роты Гвардейского экипажа, как и прочие роты гвардии, флота и армии, выводятся впервые на открытые плацы Санкт-Петербурга.

— Пра, пра, пра-х.

Исаакиевская площадь пустынна. Темны окна Мариинского дворца и германского посольства. Роты движутся черными прямоугольниками... Движение едино...

Императорский мариинский балет частенько хаживал на плац поглядеть на учения гвардии матросов, стремясь перенять у них точность движений.

Роты движутся черными прямоугольниками... В весенней мгле белеют пояса. Роты движутся в совершенном молчании. Офицеры и унтера берегут голоса на ветру и не тревожат своим рыком спящие дворцы и посольства.

На повороте у Мойки роты видят в утренней мгле бронзового всадника — Николай I. Роты, не отрывая глаз от бронзовой статуи императора, проходят шагом, не изменившимся за век. Шинели на ротах Гвардейского экипажа того же покроя, что были век назад. Белые пояса плывут — как гребень волны.

Левофланговые задерживают шаг. Роты заходят правым плечом. Шеренги выровнены, как по линейке; люди словно припаяны друг к другу. Перед ними выра-

стает невиданная, уходящая из мглы в небеса каменная громада, полная подавляющего великолепия. Унтера командуют:

— Стой!..

Черные прямоугольники замерли.

— Прямо на курсе — главный храм России. Навыается Исаакиевский собор. Он есть высшая точка. Главный колокол тыща восемьсот пудов, из медных монет, сверх того прибавлено для благодати звука двадцать фунтов золота и пять пудов серебра.

Рослые гвардейцы кажутся себе все меньше и меньше. Собор все ближе и ближе, Он надвигается — рра, рра, рра-х — шеренгой своих шестнадцати серо-розовых гранитных восьмисаженных, семитысячепудовых колонн. Из мглы вырастают стены, на стенах — недвижные крылатые фигуры. И надо всем сверкает золотом грандиозный купол. Роты подавлены мощью собора. Роты дают шаг на месте, — на плацу, где век обучается Гвардейский экипаж.

Рра, рра, рра-х...

Офицеры и унтера полны строгих чувств и глубокого довольства от близости к собору, один вид которого помогает им подчинять и покорять уже запуганных людей.

Великолепна громада Исаакия... Безмерно могущество империи... Матросы Гвардейского экипажа печатают шаг!

Рра-рра-рра-х...

Близится высочайший смотр.

* * *

Ночью горят лампы во всех ротах, эскадронах, батареях и командах гвардии. Завтра высочайший смотр. По сводчатым коридорам, нагоняя трепет, ускоренными шагами ходят фельдфебеля, унтера и унтер-офицеры. В желтой керосиновой мгле стоит шелест суконки и тяжелое дыханье.

— Не слыш-шу! Тери крепче.

— Н-не слыш-шу!

В эту ночь загорелись, натертые суконками до

блеска, пуговицы, бляхи, кокарды, знаки, пряжки, эфесы тесаков, медали всей гвардии.

— Тери, тери... Раньше и потолки терли...

Унтера любят пересказывать легенды петровских, елисаветинских, екатерининских, павловских, александровских и николаевских времен. Покуривая и наблюдая за матросами, они рассказывают друг другу заученные на память истории прежних лет:

«У лейб-гренадер генерал-адъютант Желтухин, вручая рекрутов господам ротным командирам, приказывал: вот вам три человека, сделайте мне из них одного grenадера».

«Требовалось, чтобы волосяные султаны на киверах во время шага не шевелились...»

«Государь Николай Первый вышел к полку. По недосмотру одна пуговица на обшлага оказалась незастегнутой, о чем адъютант доложил, намереваясь помочь. Государь сказал голосом, который был слышен всему полку: «Я одет по форме. Это полк одет не по форме». И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлага, и так осталось по сей день».

«Лейб-гвардии grenадерского полка солдат на плашкоуте ¹ снял с себя кивер, амуницию и все казенное, оставив лишь нательный крест, после чего перекрестился и бросился в Неву, лишив себя жизни. Боялся grenадер, что за пропажу казенного имущества он и на том свете будет экзекуциям подвергаться».

Такие истории существовали везде, в каждом полку. Сохранялись даты, имена, фамилии...

Весна принесла дуновение тепла и необычайную прозрачность воздуха.

¹ Плоскостное судно-баржа, служащее для настилки временных мостов.

Марсово поле мели метельщики. Они шли, на заре, сплошным рядом. Как вешки вставляли линейные от полков.

Взошло солнце...

Город начинал жить, готовясь к параду. Появилась полиция. Приближалась гвардия. Офицеры и унтера вели свои батальоны и роты.

На улицах мужчины, женщины и дети подпадали под власть зрелища, повторяемого более чем в двухсотый раз за время существования столицы. Рев колоссальных серебряных труб—оглушал! Блеск проходивших гвардейцев—ошеломлял! Действо было рассчитано безошибочно! Марсово поле сверкало золотом погон, кирас и касок. Музыкальный Вавилон разрастался до чудовищных размеров. Играли ликующе и устрашающе все оркестры. Войска грозили ходом своим обрушить мосты...

На Дворцовой площади полки замирали в уставных строях, пышные и неподвижные. По внутренним ходам, среди шеренг, как по просекам лесов, шли со щетками и метелками чистильщики. Они смахивали с каждого пылинки, натягивали шнуры вдоль шеренг и создавали невообразимую точность равнения.

— Равняйся!

— Равняйся!

Команда повелительна. Вдрагивали черные кивера и замирали вновь.

Кареты с гербами подкатывали по желтому песку. Подъезжали послы их величеств королей: английского, австро-венгерского, итальянского, испанского, нидерландского, бельгийского, сербского, черногорского... Бдительно и преданнейше бросались навстречу каретам городовые. Они же мяли и давили любопытствующую толпу.

— Ас-сади!

— Ас-ссади назад!

По площади стелются последние команды, подхватываемые и повторяемые десятки раз, как необычайное эхо. Потом прокатился рев, преисполненный благоговением...

Приближался дарь. Тысячи расширенных солдат-

ских глаз устремились к нему и... мгновенная, крамольная мысль *неужели вот этот?..*

Прямоугольники тронулись, неся недвижные, устремленные ввысь штыки...

Марш воскрешал собравшимся военные события последнего века. Живая история плыла в мерном гвардейском шаге. Свой мир, свои дела, свои родословные, свои желания вспоминали династия и аристократия России. Древние старички неподвижно глядели полуслепыми глазами на проходившие войска и мысленно превращали их в былых сверстников молодости — однополчан... Согнутые тяжестью парадных одеяний, они вспоминали свои походы, они вспоминали войны последних десятилетий Европы, вскормившие и вспоившие их:

- 1870. Франция ведет войну с Пруссией.
- 1870. Россия занимает Ургу.
- 1871. Россия занимает Кульджу.
- 1873. Голландия ведет войну на Суматре.
- 1876. Россия приобретает Фергану.
- 1877—1878. Балканская война.
- 1879. Англия ведет войну против зулусов.
- 1879. Английские армии в Афганистане.
- 1883. Франция ведет войну с Китаем.
- 1885. Сербско-Болгарская война.
- 1893. Франция покоряет Дагомею.
- 1894. Япония ведет войну с Кореей.
- 1895. Испания ведет войну с Кубой.
- 1896. Италия ведет войну с Абиссинией.
- 1897. Турция ведет войну с Грецией.
- 1898. Америка ведет войну с Испанией.
- 1899. Англия ведет войну с бурами.
- 1900. Европейские державы усмиряют Китай.
- 1904. Англия ведет войну с Тибетом.
- 1904—1905. Япония ведет войну с Россией.
- 1911. Италия ведет войну с Турцией.
- 1912. Балканская война.

Первая шеренга первого прямоугольника — матросы Гвардейского экипажа роты ее величества импе-

ратрицы встречались установленным особым приветствием — для любимейших:

— Здорово, братцы!

Шеренга проходила за шеренгой, затаив дух в совершенном молчании, рота за ротой, — и мерно вздрагивала земля от хода гигантов.

Раздавались восхищенные возгласы:

— Ага — Гвардейский экипаж...

— Великолепно...

— Как идут, как идут...

...Площадь, столица, империя вызывала у особ, присутствовавших на параде, сложные чувства. Благоговейно, радостно и преданно поворачивали они свои чувства к «его» стопам, подавляя тайное чувство неудовольствия тем, что «он» в общем так ничтожен.

Солнце играло на орденах Европы. Представители иностранных династий, дворов, армий вели легкие, приличествующие торжеству беседы, воскрешая домашние дела, радости и ссоры Европы.

Наименования полков, в которых звучала слава былых побед России, создавали для послов Европы удивительную атмосферу, полную возбуждающих воспоминаний. Еще неосуществленные, но уже назревающие войны их тревожили и увлекали: конфликт между Англией и Россией, замазанный персидским соглашением; давние счеты Франции и Германии; Эльзас-Лотарингия; спор из-за Марокко; инциденты Кабабланкский и Агидирский; аннексия Боснии и Герцеговины; Триест и Триент. Балканский узел. Польша. Проливы и Россия...

Санкт-Петербург в сочетаниях голубого, белого и золотого был прекрасен. В этих сочетаниях было и напоминание о море, и об эскадрах, на кои вновь (после 1905 года) обращалось внимание.

Прямоугольники войск все шли и шли. Неисчерпаемость масс утомляла.

В толпе стоял, наблюдал и размышлял человек.

Он принадлежал к Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков): «Действительно, солдаты каких мало! Надо суметь повернуть армию так, чтобы она стреляла по этой золоченой шайке. Трудно? Да, но возможно. В десять лет надо постараться, достичь...»

Шла дивизия тяжелой кавалерии: кавалергарды, конный полк и кирасиры. Металл поглотил людей.

В изумленных детских глазах отражались всадники с крылатыми золотыми плечами.

— Мабочка, мабочка! Памятники!

Меняя темпы, заиграли оркестры лейб-гусарские, лейб-уланские, лейб-драгунские и конно-гренадерские. Облака пыли взметнулись в стороны и вверх. Пики, сверканье, грохот...

Неровный гул, крики, ржанье распространялись с необычайной быстротой. Толпа, увлеченная зрелищем, подавалась вперед. Начиналась давка...

В финале парада ждали появления казаков... Они уже в отдалении поджидали сигнала. Кони их ржали, перебирали ногами, пряли ушами. Отдельные всадники крутились на месте, стараясь успокоить животных, но этим еще больше нервировали их.

Наконец сигнал был дан. В толпе закричали: «Казаки!»

Казаки летели, все ускоряя темп, земля дрожала и, измельченная в пыль, уносилась потоками воздуха. Кривые ряды сабель сверкали. Строгая прозрачная линейность парада нарушалась. Дамы вскакивали с мест... Мелкие капли пота выступали на обычно белых, матовых лицах.

Пространство наполнилось воем и гиком сотен бородатых и чубатых всадников, чуть наклонивших прямые торсы над седлами. Кони взвивались, неслись чудовищными прыжками, стлались по воздуху, трепеща, как бы стараясь обогнать самих себя.

Клокочущая лава пронеслась мимо «него», свиты и света и в распаленном упоении летела на столпив-

шийся за Марсовым полем народ... Пики свистели. Все дрогнули — в памяти народа встали страшные картины усмирения рабочих казаками в 1905 и 1912 годах.

В буйном, безнаказанном разгуле, чувствуя, как приходит азарт, как появляется желание удара, лава стремительно приближалась к испуганным людям.

Песок из-под копыт брызнул в глаза толпы, и взвившиеся на дыбы кони, храпя, осели назад. Потные, разгоряченные казаки хлестали коней, жалея о том, что нельзя, как обычно, врезаться и отхлестать людей.

Смотр кончился. Казалось, что «великолепие» империи не подлежало сомнению.

Войска расходились, недоуменно вспоминая облик тщедушного человечка, именуемого — Государем Императором.

КРОНШТАДТ — ЭСКАДРА

II

Кронштадт.

Белая ночь. Солнце заходит, а заря не темнеет с вечера до утра и небо — серо-розового цвета.

Штиль. Вода на взморье, как на реке в затоне. И ноют над взморьем комары с окрестных болот Ингерманландии. Каждые полчаса на эскадре бьют склянки: ушло из жизни полчаса. Третий век на судах у острова Котлина склянки бьют одинаково, и недвижны в крепости часовые, и уходит, уходит в печали жизнь этой крепости, названной матросами царского флота — Сахалин.

«Великий государь с ближними людьми в седьмой день мая тысяча семьсот четвертого от рожdestва Христова года и с митрополитом Новгородским и прочими властями из Санкт-Петербурга водою в судах на взморье ходил к Котлину острову в новую крепость, которая построена против того

острова на самом проходе корабельном зимой, когда лед был. Деревянная и нагруженная камнем опущена в воду и несколько пушек поставлено, мимо которой невозможно без препятствий ни единому кораблю в устье Невы к Санкт-Петербургу пройти, и наречена она крепость Кроншлот, сиречь коронный замок, и торжество в ней было трехдневное....»

Пусты трехъярусные амбразуры закопченного старинного форта «Меньшиков» против Кроншлота. Стены его, невиданной толщины, стоят нерушимо. На утопленных грядах камней, едва возвышающихся над морем, — сереют новые форты.

Эскадра стоит на большом рейде, мористее Кроншлота. Едва курится дым из труб кораблей. По палубам шагают вахтенные — пятьдесят шагов туда, пятьдесят обратно. Уходит минута... Счет, мерянный песочными часами задолго до Колумба.

Стоят броненосцы: «Цесаревич», «Слава», «Император Павел» и «Андрей Первозванный»; на первом — семьсот сорок пять нижних чинов и двадцать девять офицеров, на втором — семьсот двадцать девять нижних чинов и двадцать девять офицеров, на третьем и четвертом — по девятьсот нижних чинов и тридцать три офицера.

Стоят броненосные крейсера: «Рюрик», «Громобой» и «Россия». На первом — восемьсот семьдесят нижних чинов и двадцать девять офицеров, на втором — восемьсот сорок нижних чинов и двадцать восемь офицеров, на третьем — восемьсот пять нижних чинов и двадцать восемь офицеров.

Стоят крейсера: «Адмирал Макаров», «Паллада», «Баян», «Богатырь», «Олег», «Аврора» и «Диана». На первом — пятьсот семьдесят нижних чинов и двадцать три офицера. На остальных — по пятьсот пятьдесят нижних чинов и двадцать три офицера.

Стоят суда минных дивизий. Всем своим видом они подтверждают красоту и стремительность своих назва-

ний: «Страшный», «Стерегуший», «Буря», «Боевой», «Выносливый», «Ловкий», «Крещкий», «Меткий», «Разящий»...

Склянки бьют восемь ударов — четыре часа утра. На пятом ударе по трапу взлетает вахтенный начальник, на восьмом он уже на палубе (как и на всех кораблях эскадры). Этим офицеры свидетельствуют свое уважение к службе.

Вахтенный начальник одет без излишнего, не свойственного воинскому званию фатовства, но изящно и элегантно.

Сменяющиеся вахтенные начальники приветствуют друг друга формулами сдачи вахты и держатся собранно и корректно. Отдавая друг другу честь, они любят собственным изяществом, знанием и умением. Особенно отчетливы и парадны их жесты и движения потому, что поблизости стоят нижние чины вахты, глядящие на них.

Новый вахтенный начальник высок и пластичен. Он эстет, он знает — морская служба полна своеобразной увлекательности и красоты. Красота корабля должна быть возведена в культ, ибо красота внешняя есть, безусловно, признак налаженности внутреннего порядка на корабле и во флоте. Так завещали деды... Он навсегда запомнил заветы старых флотоводцев:

«...В большой доле красота корабля зависит от вкуса тех офицеров, коим он вверен. Военный корабль должен быть порядочным кораблем с истинно морским видом. Предмет убранства хотя и не составляет особой писаной науки, но не есть мелочь или прихоть. Выказать неопрятный вид — немисливо...»

Вахтенные начальники — лейтенанты — приучены к систематике: они последовательно осматривают корабль, принимая вахту. Они твердо помнят в каких бы условиях ни протекала вахта, днем или ночью, на якоре или на ходу, необходимы действия продуманные, быстрые и красивые, обличающие точное знание дела и известную

флотскую манеру, именно манеру, нести службу. Надлежит с должной экономией сил физических и психических осуществлять все действия — спокойно, уверенно...

Размеренность действия приступившего к осмотру корабля вахтенного начальника нарушает вкус комара, — он больно жалит. Старший лейтенант на виду у нижних чинов, вытянувшихся при его появлении, неспешно почесывает левое ухо. Он делает это совершенно особенно: медленно, плавно поднимая левую руку, он кончиком ногтя мизинца легкими, нежными движениями касается поверхности ушной раковины. В то же время он внимательно рассматривает рангоут, мачты, стеньги, реи и такелаж.

Потом вахтенный начальник, чуть махнув рукой, что означает: «Вахтенный унтер-офицер, я иду осматривать корабль с носа», — пружиня шаг и чувствуя на спине взгляды нижних чинов, взгляды почти всегда необъяснимо ему неприятные, идет на бак. Он осматривает небо, воду, металл и людей, ибо нельзя пренебрегать ни одной мелочью. Не из суммы ли мелочей складывается порядок, которым гордится российский императорский флот? Горька была бы доля вахтенного начальника, который из-за какой-нибудь мелочи потерял бы свою репутацию, репутацию, приобретенную с таким трудом. И глаза лейтенанта поочередно впиваются во все видимые предметы.

Вахтенный начальник останавливается и голосом, каким надлежит говорить, то есть голосом бодрым и четким, приказывает:

— Убрать это бревно.

Бесшумно, на носках подлетает вахтенный и, треснув каблуками, глядя на осьмую дюйма мимо глаз офицера, молча замирает. Раз и навсегда сказано: приказание не повторять. Представьте себе, что получится, если каждое приказание командиры кораблей и офицеры всех рангов будут по несколько раз повторять? Говорильня, кабак-с получится! Ясно, что такой метод ни с чем не сообразен... И, памятуя сие, вахтенный начальник молчит. Нижний чин стоит, «въедаясь глазами» в лицо старшего лейтенанта. Вахтенный начальник повторяет приказание легким движением руки.

Нижний чин следит за направлением руки начальника и бросается поднять отщепленный кусочек палубного настила.

— Прикажете в мусорный рукав, васкородь?

Утвердительный кивок головы. При безукоризненной налаженности корабля на все уходит три секунды.

Вахтенный начальник ласкает взглядом эскадру. Опаловое небо... Море — цвета *gris-perle*¹. Какая красота!.. Математическая эстетика... Воплощение силы империи!

Вахтенный начальник идет по палубе, пружиня шаг под взглядами неотрывно наблюдающих за ним нижних чинов. Походка у него бывает разная, сообразно обстоятельствам и необходимости. Будучи гардемаринном, он, с опущенным в палаш для звона при ударе об ногу гривенником, прогуливался по Невскому мужественным, широким, медленным шагом, который позволял прохожим получше его разглядеть. В летней белой форме, напоминающей о теннисе, он предпочитал шаг «сокольский»², легкий и прямой. На берегу, в обществе, где особенно интересуются морской жизнью, он щеголял походкой старого морского волка, чуть раскатываясь и несколько подгибая свободно опущенные руки, чтобы казаться грузнее. Среди своих он обычно ходил по-строевому, вот как сейчас. Походка весьма важна и входит неотъемлемо в общие правила несения флотской службы.

Лейтенант идет, отражаясь в отливающей гляncем окраске орудийных башен и надстроек. Рецепт краски на каждом корабле — собственный, хранимый от других кораблей секрет. Он заключается в особенных пропорциях примешиваемых лаков, которые и дают глянец, а также способствуют быстрому высыханию свежескрашенной поверхности. Это позволяет красить корабль часто и быстро, что способствует его красоте внешней, которая является главным истинным признаком налаженности и внутреннего порядка. «Истина» эта внушалась офицерам флота годами. То обстоятель-

¹ Серо-жемчужного (*франц.*).

² Шаг, который практиковался в спортивной организации «Сокол».

ство, что лак легко воспламеняется и поэтому корабль в бою может вспыхнуть, как факел (так было у Цусимы), никем во внимание не принималось.

Обход командных помещений — обязанность дежурных по низам.

Дежурный идет к носовой части мимо лазарета, откуда остро пахнет медикаментами и слышны чьи-то стоны. Дежурный входит в лазарет:

— Что происходит?

— Не могу я. Спать не могу...

— Почему?

— Больно ушам.

— Отчего?

— На стрельбе повлияло.

— Спи, спи, братец, накройся одеялом.

У матроса вата в ушах, но жужжание вентиляторов и прочие корабельные шумы проникают, доходят до слуха и терзают нервы. У больного серьезно поврежден слух — его избил фельдфебель, но об этом говорить не положено.

Дежурный появляется всюду — неслышно и внезапно. В кубрике команды он сразу вынимает носовой платок, прижимает его к носу и через минуту уже вытирает им лицо и шею: в кубрике тяжелый запах, влажно и душно. Вокруг синих угольных лампочек — тусклые круги света.

Матросы спят скученно, в подвесных сетках, касаясь друг друга. Скопище липких, потных, полуголых людей. Рты жадно ловят слабо поступающий кислород. (Кораблестроителям запретили усилить вентиляцию в кубриках, так как это связано с увеличением прорезей в броне, что ослабило бы бронирование корабля.) По переборкам и по столу ползают тараканы. Их бесчисленное множество, слышен их шелест.

Дежурный, равнодушно осмотрев кубрик, спешит на палубу, чтобы подышать свежим воздухом.

Грязно жили царские матросы! Но ведь кубрики не портили внешний вид корабля.

Мерно шагает по палубам вахта... На кораблях эскадры стоят часовые. Стоят у корабельных трапов, на ютах, у флагштоков и на баках, бдительно охраняя свои посты и наблюдая за всем, порученным их надзору. А именно: за проходящими мимо корабля чужими шлюпками, за своими шлюпками, за входами на корабль. Никто, кроме офицеров, не может и не должен сойти или войти на корабль без разрешения. Никто, кроме офицеров, не может ничего увезти или привезти на корабль без разрешения...

Тихий всплеск. Часовой кричит:

— Кто гребет?

— Мимо.

Проходит шлюпка с соседнего корабля. За ней наблюдают вахтенные сигнальщики всей эскадры. За ней наблюдают часовые всей эскадры... Никакая шлюпка не может пройти незамеченной мимо корабля!

Часовые стоят... стерегут...

Склянки бьют два удара... Пять часов утра.

Мгновенно несется над морем пронзительный рев горнов и дудок: «Побудка». Горнисты и унтер-офицеры беспощадно трубят и свистят... Этот сигнал всегда перекрывает любой шум.

Корабль грохочет командами:

— А ну, вставай — не валяйсь!

Сигнал подымает людей. Унтер-офицеры самозабвенно свистят. От натуги у них вздуваются шеи, вспухают вены и наливаются кровью глаза...

— Койки вяза-ать, умываться!

Матросы торопливо скатывают и вяжут койки, ополаскиваются и бегут по трапам на верхнюю палубу в рассветный холод. Горнист уже играет «Малый сбор», и они летят наверх на молитву. Когда матросы, теснясь на трапах, на секунду останавливаются, шкуры-унтера бьют их снизу цепочками дудок, приговаривая:

— Ходом!

— А ну, веселей!

— Не копайсь!

— Шевелись!

Дрожа от холода, матросы — все восемь рот — выстраиваются на верхней палубе.

Из дверей кормовой надстройки выходит седой, прокуренный корабельный священник, застегивая на ходу рясу и поправляя немытыми пальцами наперсный крест.

Фельдфебель обходит роту и шепчет:

— Опять какая-то сука накурила в кубрике! Поймаю — искалечу!

Вахтенный начальник командует:

— На молитву, шапки долой! — и сотни матросов — хором, в унисон — уныло просят о «хлебе насущном».

После молитвы пьют чай. Из яро начищенных огромных красномедных чайников льют в кружки кипятки и приготавливают немыслимое пойло: крошево из черных сухарей, чая и топленого масла.

— Приятного аппетита.

— Целуй Никиту, а коль нету его — козла моего.

С запада надвигается серая мгла. Начинает лить дождь. Горн ревет: «Движение вперед», вызывая людей на работу.

Унтера свистят:

— Ходи на приборку!

Выходят босые, лабы сбереечь обувь. Рабочие парусиновые брюки подвернуты дюймов на пять, рукава голанок тоже — приказано беречь одежду. На палубы, заливаемые дождем, низвергается вода... из шлангов!

Вода льется со всех концов сильными струями, обдавая людей. Дождь превращается в ливень, и все парусиновые чехлы, навесы, одежды становятся сырыми и темными. Но люди безостановочно льют воду из шлангов по верхней палубе и разгоняют ее по линолеуму жилых помещений. Она проникает во все щели, и таким образом разводится сырость. Настилы палуб набухают. Матросы долго, яростно и послушно трут их кирпичами, посыпав предварительно песком. Они сидят, мокрые, на корточках и, наваливаясь на кирпичи, — трут, трут, трут, медленно подвигаясь вперед. Боцман покрикивает свое вечное:

— Тери, терп, ребята! Штоб как чортов глаз все блестело!

А дождь все льет, и вода бежит и бежит. Но приборка идет по расписанию и дождь дела не меняет.

Корабли блестят множеством медных частей, и у каждой с тряпками, порошком и мазью сидят люди и трут, трут, трут... Блеск меди особо ценится начальством, и на чистку ее, сверх отпускаемых средств, выдаются деньги из сумм, положенных на окраску корабля, по благоусмотрению командиров. Пусть корабли блестят всегда, как в воскресенье!

Ветер уносит тучи, и дождь прекращается. Приборка окончена. Палуба на корабле подсохла. Она бела и блещет чистотой.

За пятнадцать минут до подъема флага — «Повестка». Двадцать четыре человека грохочут по трапу, и на левых шканцах стеной выстраивается караул. Шканцы есть святое и почетное место на корабле. Здесь оглашаются высочайшие приказы. На шканцах нельзя громко говорить. На шканцах, когда выходит командир корабля, офицеры отходят на левый борт, оставляя его на почетном правом...

В семь часов пятьдесят пять минут горнист играет «Большой сбор». Из люков снова вылетают один за другим матросы — все восемь рот — и быстро выстраиваются по обоим бортам. Офицеры, ежась, заspanные, несвежие, еще небритые, спешат к своим ротам.

Старший офицер здоровается с матросами. Он ненадолго задерживается перед присланными новобранцами:

- Как тебя зовут?
- Камешков, васокродь.
- Сидел в карпере?
- Никак нет, васокродь.
- Что за матрос — не сидел! Посадить на трое суток! А кто из вас сидел, ну?
- Я сидел, васокродь...
- Плохо, плохо, братец... Только начинаешь

службу и уже сидел. Плохой матрос. Посадить на трое суток!

И старший офицер, посмеиваясь, идет дальше. Он сегодня — все это видят — в прекрасном настроении. День будет легкий, тьфу, тьфу, не сглазить!

На палубу подымается командир корабля. Ему докладывают о подъеме флага. Воцаряется неживая тишина.

— Смирр-на.

Офицеры докладывают командиру о том, что во введенных им частях все в исправности, даже если это и не соответствует действительности. Но того требует ритуал, устанавливавшийся веками. Командир, приняв рапорты, подходит к офицерам, выстроенным по старшинству, и здоровается с ними. Старшие лейтенанты, лейтенанты и мичманы подобострастно и осторожно пожимают его руку.

Изредка командир сует руку старшему бодману, и тот нежно на несколько секунд облаптит ее шершавыми пальцами и, счастливый, рывкнет: «Здрав-жлай!»

Потом командир здоровается с матросами и медленно идет к своему месту — на правый борт, на шканцы.

Наконец вахтенный начальник дает команду:

— На фла-аг и гюйс!..

В эту минуту на всей эскадре горнисты ревут «Подъем».

Все цепенеют.

Корабли украшаются флагами: белыми с синими андреевскими крестами, почитавшимися как знамена, когда они подняты, и гюйсами — красными флагами с синими андреевскими крестами, окаймленными белыми полосами поверх белых тонких крестов. Эти флаги поднимают на крепостях и носовых флагштоках судов первого и второго рангов, когда они стоят на якорях. Караулы берут винтовки на-караул. Все команды и все офицеры одним движением снимают фуражки и бескозырки... Флаги медленно поднимаются вверх под рев горнистов и грохот барабанов...

— На-кройсь!

День начался — один из многих дней положенных матросам лет тяжелой царской службы...

Старший офицер подходит к командиру корабля для того, чтобы выслушать обычное:

— Пожалуйста, по расписанию.

Старший офицер отходит для того, чтобы сказать обычное:

— Гс-да офицеры, прошу быть свободными.

Затем следует разрешение выйти из строя матросам, но через минуту они уже слышат команды, горны, дудки...

— На работы, на занятия!..

Прибывшие вчера новобранцы, запутавшиеся в непонятных ходах корабля, оглушенные горнами, шипениями, шумами, свистом, жужжаниями, истомленные бессонной, жаркой, лишенной тишины ночью, понуро бредут на занятия, стараясь держаться поближе друг к другу.

Как всегда, с новобранцами занимаются унтер-офицеры:

— Ну вот, вы попали на корабль. Это вам, конечно, не казарма в экипаже. Вот вы, конечно, видите воду. Вот — вокруг вода и есть море. Что есть море? Ну, кто скажет?

Молчат.

— Слушай! Море есть движущая опора корабля! Повтори!

— Море движущее корабля.

— Не балдей, не балдей. Рукам не сучи, не сучи. Плохо, конечно, вас в экипаже обучали! Гляди прямо. Опора, тебе сказано! Запомнить всем! Корабль, конечно, наш есть линейный. Корабль имеет, конечно, броню и орудия; между прочим, запас угля. Состоит корабль, конечно, из форштевня, ахтерштевня, киля, основания, шпангоутов, бимсов и пиллерсов. Все вместе есть набор корабля. Вот. Будете теперь, конечно, получать морское довольствие по шесть гривен в месяц сверх жалования (новобранцы пошевелились). Вам, значит, положено семьдесят пять копеек, итого рубль тридцать пять. Будете вина получать чарку. Кто дурак не пьет, за непитое по восемь копеек получает. Вот.

Новобранцы сидят тихие, тихие, глядят на обучающего. Унтер озлился.

— Пешки. Бодрости не вижу. Какие вы есть матросы?! У матроса огонь с носа! Морду бьет кому надо. А ты сидишь, как баба! Ну, делай живой вид!

Новобранцы подтягиваются, гонят сон и часто мигают глазами.

— Ты знаешь, что есть русский матрос? Он есть орел! Он есть атлет... Матрос близко, кланяйся низко — вот как надо себя ставить. Я с вас кислую шерсть выбью. Вы у меня упражнятка будете на полный ход! Понятно?

— Так точно, господин обучающий.

Склянки отбивают время — получас за получасом.

— Окончить занятия!

* * *

С пяти часов утра на ногах кают-компанейская господ офицеров прислуга. Чистит, моет, скребет, трет, ковры выбивает, пыль вытирает, и сами чистятся, моются, бреются. Боже упаси щетину запустить, или руки грязные, или изо рта пахнет. Чай, кофе, булочки господам подали, все опять привели в порядок и к обеду, или считай его завтраком, готовятся. Велено: прислуживая за столом, не стоять безучастно позади господ офицеров и ожидать, что они чего-либо попросят, но зорко самим за всем смотреть и предупреждать желания господ офицеров; во-время подавать им такие вещи, как судочек с горчицей, уксус, соль, масло, перец и прочее; без надобности не отлучаться от стола и все время прислуживать.

Вино также надо точно поставить — какое кто требует. Приборы расположить по порядку и по вкусу — одному требуются две вилочки, другому — ставить пепельницу слева, третьему — вазочку с цветами напротив. Не перепутать личные вещи и все разместить. Спичечницы проверить; нарезать хлеб ломтиками в три толщины для всех вкусов; булки — косыми ломтиками. Сухарики на десертной тарелочке для батюшки. Не забыть бы чего?.. Да, в вазочки для цветов соли бросить...

Хлопочет прислуга.

На камбузе кок докладывает дежурному по камбузу унтеру:

— Господин дежурный, проба готова.

Дежурный посылает к ведающему хозяйством баталеру:

— Господин баталер, проба готова.

Баталер приходит. Посылает к ревизору:

— Васокродь, проба готова.

Ревизор выходит. Все — кок, дежурный, баталер и ревизор — идут процессией на шканцы. Впереди кок. Он несет на подносе пробу: густейше начерпанный борщ с лучшими кусками мяса. Матросам такого мяса не видать! Процессия останавливается, и ревизор, козыряя, просит вахтенного начальника доложить старшему офицеру, что проба подана. Старший офицер выходит и посылает доложить командиру корабля, что проба подана. Посланный возвращается бегом, на носках:

— Васокродь, их высокродь капитан первого ранга ждут.

Процессия направляется к каюте командира. Старший офицер стучит легко-легко в дверь. Командир корабля, чуть выждав, выходит и видит людей и пробу. Он видит это больше двадцати пяти лет ежедневно, но ему рапортуют:

— Господин капитан первого ранга, проба подана.

Господин капитан первого ранга, которому запрещено все жирное, берет ложку, еле касается ее губами, чуть-чуть прижимает и говорит: «Перцу как будто маловато», или: «Подсолить следует, я полагаю». Кладет ложку на поднос, берет с него салфетку, утирает губы и обращается к старшему офицеру:

— Благодарю вас.

Старший офицер скромно сгибается. Капитан первого ранга возвращается в свою каюту. Тогда старший офицер приказывает:

— Отнесите пробу в кают-компанию.

И спешит туда, пригласив вахтенного начальника.

Проба ставится на отдельный столик. Вестовые вносят водку. Старший офицер и вахтенный началь-

ник весело охотятся за жирным мясом. Они едят, нагибаясь, стараясь не закапать тужурки, одетые к обеду.

— Хо-хо-хо, грехи наши... Говядинки поесть, што ли?

Называется это «делать рюмку под пробу» — перед обедом. Офицеры глосодны и уничтожают пробу быстро.

Кают-компания в батарейной палубе быстро заполняется.

Офицеры идут в нее, как к себе домой. Кают-компания есть место соединения офицеров в свободное от занятий время. Все находящиеся в ней обязаны соблюдать приличие и порядок, достойные благородного общества офицеров, как гласит статья сто тринадцатая Морского устава. Тут они в родном кругу, среди сплоченной семьи, согреты вниманием, сочувствием и дружбой. Главное — они наслаждаются красотой, приличиями, этикетом и порядочностью своей корпорации. Здесь они дышат свободно, хотя правила кают-компании строги. Правила эти не допускают споров о религии и суждений о начальстве, также не одобряются личные споры между офицерами. Старший офицер имеет право делать членам кают-компании замечания, а в важных случаях докладывать о них командиру корабля.

Доступ в кают-компанию нижним чинам закрыт. В нее могут входить только прислуживающие или посланные с вахты с неотложным сообщением, после чего нижний чин обязан немедленно удалиться из помещения офицерской семьи.

В кают-компанию могут быть допускаемы лишь лица, по своему званию, общественному положению и образованию принадлежащие к офицерскому обществу.

К обеду офицеры являются не в глухих синих кителях, а в тужурках, открывающих пластроны и воротнички. Некоторые проходят в салон, где стоят пианино, три глубоких кресла, диван; на столике лампа с шелковым абажуром, в вазах — редкостные цветы.

Стол в кают-компании стоит покоем. Сервировка

кают компании, по мнению старшего офицера, не оставляет желать лучшего. Над столом висят портреты государя императора в капитанской форме с андреевской лентой и портрет августейшего шефа корабля — наследника, в морской форме.

В застекленные полуportики светит солнце. Погода поправляется. Свет отражается на корабельных реликвиях, хранимых за стеклом в особой горке: на японском снаряде, попавшем в корабль в Цусимском бою, на итальянском барельефе, на бронзовой медали, выбитой в благодарность за спасение жертв землетрясения в Мессине в 1909 году.

Старший офицер оглядывает всех, замечает одного мичмана и с улыбкой подходит к нему:

— Дорогой мой, я, право, весьма жалею о том, что вы не успели дать наточить вашу бритву.

Мичман краснеет и поспешно бормочет:

— Прошу извинения... я не рассчитал... я не успел... я задержался...

— Отлично. Я прикажу оставить обед для вас вместе с обедом вахтенного начальника.

Все смотрят на уничтоженного мичмана. Мичман уходит к себе и раздраженно кричит:

— Камышов! Воду! Бриться!

— Есть, васокродь.

Вестовой летит за горячей водой.

Старший офицер оглядывает еще раз все и вся и приглашает:

— Гс-да, прошу к столу.

Офицеры поспешно рассаживаются по точно определенным и назначенным в соответствии со старшинством в чинах местам.

Старший офицер обращается к священнику:

— Благословите, батюшка.

Батюшка быстро и невнятно читает молитву.

На столе, на сверкающей белизной скатерти, серия запотевших графинов и блюда с закусками: гренки с сыром, пикули и грибки от Соловьева. Батя, помолившись, наливает рюмку. Вестовой быстро подает ему большую кружку кваса. Батя сначала запивает водку квасом, потом закусывает гренком. Все заправляют

салфетки, тянутся к графинам, наливают водку и пьют. Адмиральский час!¹

Вестовой подает бульон, разлитый по чашкам, а на тарелочки быстро кладет горячие расстегайчики.

Харч добрый. Кают-компания выписывает все, что нужно, все, что потребуется господам офицерам: вино из погреба Броссо (поставщик двора его императорского величества); пиво по выбору — трехгорное, баварское, калинкинское, Шитта... Цветы и растения берут у Ган-пиха — с доставкой и с заменой сообразно временам года. Все вполне налажено, и замечаний нет.

Ложки звенят о фарфоровые чашки корниловского сервиза, украшенного вензелями.

Вестовые несут рыбу. А рыбка плавать любит, не так ли? И в бокалы наливается рислинг и понте-кане. Вестовые несут жаркое, его нужно запить, не так ли? И в бокалы наливается поммери или бордо. Вестовые несут мороженое с меренгами, его надо запить, не так ли? И вестовые несут кофе с коньяком. Господа офицеры «ликеры не обожают-с, больше коньячок-с...»

Захмелевший старший офицер берет из вазы два апельсина. Один из них он надрезает ножичком, проводя ровные линии сверху вниз и отдирает кожуру, которая опадает на тарелку восемью лепестками, открывая сочный плод, покрытый нежной мясистой бело-желтой кожицей. Он, не торопясь, счищает и ее и разделяет апельсин на дольки. Второй апельсин он швыряет отцу Федору. Апельсин пребольно ударяет батюшку по коленке, и тот, вздрагивая, сердито оборачивается. Старший офицер, смеясь, кричит ему:

— Pour la bonne bouche².

И батюшка не сердится. Старший офицер так мило смеется, что это несколько не унижает отца Федора, хотя апельсин и брошен нарочито небрежно.

Когда задымили богдановские папиросы и трубки

¹ Шутливое выражение, означающее время выпить и заку-
сить; укоренилось со времен Петра I, когда заседания адмирал-
тейств-коллегии оканчивались в 11 часов утра и наступало
время обеда.

² На закуску (франц.).

с капстеном¹ (господа офицеры с недавнего времени страдают англomанией), старший офицер, нарушая блаженную тишину, негромко, но веско говорит:

— Гс-да! К нам скоро прибудет адмирал Небольсин...

На мгновенье — растерянное молчание...

— Инспекторской смотр?

— Конечно, не «Bataille des fleurs»². Готовиться, готовиться, гс-да. Командир просил приложить все старания...

Настроение господ офицеров испорчено. Адмирал Небольсин — старичок требовательный, а «грешков» на блистательном корабле достаточно...

* * *

Матросы харчат свою порцию:

«Хлеба ржаного по 2 фунта 72 золотника или 1 фунт 87 золотников сухарей, 72 золотника мяса, коего по 265-й статье полагается $\frac{2}{3}$ свежего и $\frac{1}{3}$ солонины (в целях освежения запаса солонины), крупы — 22 золотника, в среду и пятницу по 60 золотников, крупы овсяной — 10 золотников, масла — 10 золотников, в среду же и пятницу по $17\frac{1}{2}$ золотников, квашеной или свежей капусты — 40 золотников, соли — $5\frac{1}{7}$ золотника и уксусу — 4 золотника».

Указанные нормы действительными считать нельзя, ибо у коков и унтеров, наблюдающих за хозяйством корабля, есть кого подкормить на берегу. Рука руку моет.

Из всего положенного матросам харча производят ежедневно щи свежие или кислые из свежего или соленого мяса.

В щак порции мяса — означенные семьдесят два золотника — увариваются, конечно, вдвое, не без того. Кроме щей, ничего больше не полагается.

¹ Английский табак.

² «Битва цветов» (*франц.*) — праздник, устраивавшийся раз в год в городе Ницце.

«Признано полезным иногда давать суп и без мяса,— в таких случаях щи заменяют супом гороховым из расчета, чтобы порция гороха была одинакового веса с порцией мяса, то есть тоже 72 золотника, согласно статьи 264 книги XIII Свода морских постановлений, раздел II, глава 2-я».

Перед обедом дается чарка. На верхней палубе ставится ендова, наполненная водкой. Унтер-офицеры становятся в круг и разом начинают пронзительно высвистывать — «к вину».

«Вино простое хлебное, но совершенно очищенное от сивушного масла, крепостью в 40° по спиртомеру Траллеса, причем проверка делается при приемке вина на корабль и результаты оной заносятся в расчетную книгу, установленную для определения крепости спиртных напитков, принимаемых как во внутреннем, так и в заграничном плавании».

Полагающаяся чарка выдается в два приема: к обеду две трети чарки и к ужину одна треть. Команда, влекомая уже привитой им потребностью к водке, выстраивается в очередь. Подходят к ендове медленно, сняв фуражку, и проглатывают чарку, крикая и приговаривая:

- Пей тут — на том свете не дадут.
- Благослови, господи.
- Первенькая...

Потом идут к артельным бачкам, по уставу молятся: «Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даеши нам пищу во благовремении...» — и усаживаются по шестеро. Старший оглядывает всех, стучит ложкой, подавая знак: начинай есть. Едят неторопливо, не позволяя себе вылавливать густое, в обиду другим, а то, неровен час, ударят тебя по лбу: «Ложка твоя узка, тащит три куса, разведешь пошире — и четыре!»

Ложки несут ко рту, подставив под них ломоть хлеба, чтобы не проливать еду.

Обед кончен, и негромко бурчат матросы:

- Ел, не ел, за столом посидел — за обед почитай.

- Мало те?
- Пообедал бы ишо раз, чего ж.
- Лопнешь.
- Пузо растягиватца, не лопнет.

На кораблях эскадры взвигается сигнал «ОН» — треугольный белый флаг с четырьмя вертикальными синими полосами. Флаг обозначает отдых, и не положено, даже при адмиральском посещении, тревожить в этот час команды.

* * *

После обеда отдыхает и кочегарный кондуктор Храмов.

Каютка у него душная. Он снял китель и с карандашом в руках прикидывает:

— Значит, по табели окладов, выходит мне жалованья триста шестьдесят рублей в год, за выслугу добавочно — сто восемьдесят, морского довольствия — тридцать; в заграничном плаваньи — все тридцать семь рублей, а то и пятьдесят, квартирные в Кронштадте — сто пятнадцать рублей; если в Питер перевестись — квартирные сто пятьдесят четыре рубля двадцать пять копеек. Надо перевестись бы, хотя тогда морское довольствие долой, но все выходит больше на девять рублей двадцать пять копеек. На поддержание одежды пятьдесят рублей в год, потом, может, какая командировочка набегит — положим по сорок пять копеек кормовых в сутки и по целковому прогоны — пассажирские; какие беспорядки случатся — добавочные за усмирение матросов, положим, по полтиннику... Жить можно... Сосчитать теперь, сколько мне служить до отставки... Уже вышло десять лет сверхсрочной, до пенсии еще осталось десять лет. В тысяча девятьсот двадцать третьем году получаю пенсию и иду в запас... Перед запасом надо бы перевестись куда-нибудь. Выбрать куда бы поехать. Подальше конечно, — получишь тогда большие прогоны... При отставке, значит, высочайше пожалуют звание потомственного почетного гражданина...

Храмцов сидит, выписывает из памятной книжки Морского ведомства все номера статей и параграфов о службе кондукторов и сверхсрочных, о льготах. Сводит в столбики цифры, подсчитывает... Сладкое занятие! Человек семнадцать лет служит, еще десять вытянет. В соку ведь еще — всего сорок восемь лет будет. Заведенье откроет, понятно во Владивостоке, город знакомый... Расходы надо поменьше делать, деньги на книжку сполна класть — шесть процентов!.. «Вот уже скоко рублей набежавши за службу, учитывая награды за секретные сообщения начальству».

Храмцов вспоминает, что время уже идет к «учению». Пора. Он медленно идет по коридорам и палубам, сверлит глазами матросов, поправляет на ходу, если что не так. Спустился к кочегарам. У кочегаров в кубрике кто-то читает внятным и тихим голосом. Застыл Храмцов, подслушивает:

— «Офицеры разнятся от нижних чинов по общественному положению и по служебному. Матрос происходит из низших слоев населения, мало развитых и бедных, офицер же принадлежит к более привилегированному сословию». Вот как пишут...

«Стой! Куда гнет? Куда гнет?— Притаился Храмцов: — Все надо сначала узнать: кто что скажет, а потом уже брать».

— «Между обоими существует пропасть от рождения, трудно переходимая как с той, так и с другой стороны!» Да... А может, это и не так, братцы? От бога все равные родимся... Да... В последнее время установилось даже прямо-таки враждебное отношение мужика к барину и нижнего чина к начальству...

Храмцов вне себя: «Ах, стервец!..»

— Бывают редкие случаи, когда нижний чин уважает и любит начальника как такового, но он никогда не будет считать его своим и будет бояться доверять ему свои сокровенные мысли, боясь осуждения.

— Эт точно.

— В отношении службы: матрос отбывает повинность, а офицер есть представитель ненавистой нам власти, заставляющей нас служить, и поэтому офицер в данном случае представляется как угнетатель.

— Что я говорить — твоя правда...

Храмцов аж побелел: «Ах ты, сукин сын... агитатор!» Он спешно разыскал одного из своих «доверенных» и приказал ему:

— Беги в кочегарку и не выпускай из кубрика никого. Понял?

— Так точно.

— Ни души!

И бегом к старшему офицеру. Стук-стук в каюту.

— Войдите.

Вошел. Каюта игрушечка — на письменном столе два вентилятора гудят, прохладно, стоит сифон содовой воды.

— Васокродь, агитатора накрыл. Читает!

— Где, кто?

— Вс... вслух читает... Офицера — извините, васокродь, так и читает — угнетатели, заставляют служить... Нельзя, говорит, доверять им...

— Ах, каналья!

Старший офицер схватил фуражку и бросился в кубрик... Храмцов за ним. Подбежали. Матрос стоит, караулит.

— Никто не уходил?

— Никак нет, васокродь!

Прислушались:

— Теперь поутихло во флоте, но это временно. Успокоенья, конечно, нет... Ведь так, братцы? Настроение нижних чинов вполне зависит от политических течений в народных массах... Куда, значит, народ пойдет, туда и нам...

— Против народа не пойдешь!

Разом старший офицер и Храмцов вошли в помещение. Команда, как полагается:

— Стать смирно!

— Чем заняты?

— Вот Алексеев читает, васокродь.

Алексеев держал книжку в зеленой обложке. Старший офицер вырвал ее! Глянул... Что? Как? Обложка, а на ней: Вице-адмирал светлейший князь А. А. Ливен. «Дух и дисциплина нашего флота». Второе (посмертное)

издание. Издание Морского штаба. СПБ... Не подделка? Перелистал. Нет, подлинная книга... С портретом светлейшего. Сам вице-адмирал... Фу-ты чорт!

— Алексеев, где взял?

— Так что в магазине... С уступкой, держанная. Стоит смирно.

— Зачем?

— Интереснось, васокродь. В книжке вот указано— как к лучшему наладить и как что.

Тихий стоит Алексеев, спокойный. Формально не придраться: читает книгу начальника Генерального морского штаба. Старший офицер ко всем:

— Он вам тут ничего «такого» не говорил?

— Никак нет, васокродь.

Храмцов вставляет:

— Дозвольте, васокродь, они тут от себя говорили, что нет, мол, доверия господам офицерам.

— Говорили?

Отвечают как один:

— Никак нет, васокродь. Ослышавшись господин кондуктор. Мы что в книжке написано слушаем.

Старший офицер круто повернулся, книжку забрал и вышел из кубрика. В коридоре он недовольно сказал Храмцову:

— Вам нужно быть повнимательней.

— Виноват, васокродь.

— Так получается чорт знает что!

— Виноват, васокродь...

— За Алексеевым понаблюдайте.

— Есть, васокродь.

— Как он вообще?

— Матрос был исправный... Самому невдомек... Вот теперь разве...

Старший офицер вызывает ротного командира:

— А что за тип Алексеев? Храмцов доложил, что он агитирует матросов.

— Простите, Николай Григорьевич, этот Храмцов просто дурак. Алексеев исправный, тихий, смирный матрос. Ни в чем ни разу не замеченный. К чтению он

действительно имеет склонность, но читает священное писанье и дозволенные книги.

Старший офицер успокоился.

Ротный отправляется в свою каюту и на всякий случай вынимает из несгораемого шкафа папку с личным делом Алексеева. «...Имеет двух братьев, один из них токарь на Ижорском заводе, религиозная сестра» и т. д.

Сведения эти помогали офицерам судить о внешних причинах, влиявших на поведение вверенных им нижних чинов, по, несмотря на все сведенья и ухищренья начальства, невозможно было изолировать даже закабаленных на кораблях матросов от влияния бушевавших на берегу рабочих забастовок. Революционные идеи вторгались всюду, обнажая противоречия, колебля привычные «законы и правила», провозглашая свои и борясь с тем, что было органически чуждо основным человеческим потребностям. Людей захватывала эта справедливая борьба, и они шли на нее, даже если она была смертельно опасна.

Ротный вызывает Алексеева.

— Честь имею явиться, васокродь!

— Алексеев!

— Есть, васокродь.

— Почему ты книгу читал?

— А я, васокродь, все читаю. Прямо тянет... А тут, вижу, книжка флотская, про нас. С уступкой, держанная. Кабы новая, дорогая, не взял бы, деньги у нас какие...

— Что же ты вынес из нее?

— Как изволите говорить?

— Что же ты понял из чтения?

— Про дисциплину. В чем какие грехи. Какие новые порядки должны быть.

— Ну, какие?

— Справедливые, чтоб команда довольная была.

Ротный благожелательно поглядывает на смиренного «искателя правды»...

— Ну, иди, Алексеев.

— Счастливо оставаться, васокродь.

Идет Алексеев в галюн. Там уже ждет его кочегар Харитонов. Харитонов тихо спрашивает:

— Ну?

Алексеев шепчет в ответ:

— Застукали. Шкура эта Храмцов донес. Таскали. Святого, дурака изображал. Всем, мол, что положено для пользы дела, интересуюсь, все читаю.

— Не подозревают?

— Нет... Но книжку отобрали для проверки. Придется теперь на евангелии работать.

— Вали.

— Т-с... Идут,— и пошли товарищи обратно, в кочегарку.

Что ж делать — действовать надо! Все годится, что в дело сгодится, а дело большое — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) через Санкт-Петербургский комитет ведет на флоте работу.

* * *

В кочегарке от угольной пыли жизни нет.

В кочегарках жара нестерпимая... Кочегары голые, черные. Скрежещет лопата, уголь летит в топку — в совершенно белое пламя. Кочегары от него теряют зрение. Очки бы полагались, да их нет. Стонет один кочегар, из новобранцев:

— Испить бы...

— Не пей,— хуже будет...

Вода, как чай, теплая, ее и в рот не возьмешь, противно. Из опреснителя — не настоящая вода. Ее пить — только до ветру бегать и в испарину ударяться... Во рту уголь, в носу уголь, в ушах — везде. Во рту вкус, точно опилки железные...

— Грудь теснит...

У кочегаров лбы платками повязаны — иначе пот бежит, смотреть мешает и разъедает глаза. Пот черный, с углем смешанный, вредный! Лампочки угольные тускло горят. Нет мочи! Устал новобранец, прислонился к переборке:

— О-о-й!..

Ожег плечо. Переборки накалены, прислоняться к ним нельзя, надо было выстоять... Подошел к матросу Алексеев — жаль ему товарища...

— Облей меня, друг, водой, облей Христа ради...
Не могу терпеть.

— Нельзя, родной, хуже будет...

Матрос руками за голову схватился, стонет. Алексеев над ним стоит, чем помочь не знает.

— Плохо тебе, сходи в лазарет...

Но старшина в лазарет не отпускает:

— Становись на вахту!

— Да больной же он!

— Вижу, не слепой. С такой болезнью и три вахты отстоять можно...

Скрипнул Алексеев зубами, но промолчал...

Запомним все, товарищи дорогие, придет наш час!

А наверху, над кочегаркой, — на палубе идет по расписанию артиллерийское ученье.

У зарядного станка встали матросы по порядку номеров.

Работают молча. Рядом стоит с секундомером офицер-артиллерист. Он подсчитывает время от времени — ать-два-три-четыре, — подхлестывая работу матросов, и размышляет про себя: «Москвитянин» дал в минуту двадцать два заряжения. Мировой рекорд! Я должен добиться рекорда своего калибра».

— Ать-два-три-четыре.

«Приказать, чтоб матросы старались... Нажать, нажать!..»

— Ать-два-три-четыре...

Матросы молча повторяют стремительные движения одно за другим, замок щелкает и щелкает, снаряды ударяются в стопор приемника... Минута, две, три, четыре, пять...

— Ать-два-три-четыре...

Секундная стрелка бежит по циферблату.

Скорострельность необходимо поддерживать на одном уровне и в течение достаточно длительного времени — пока хватит снарядов, не менее получаса. Каж-

дый снарядный, в грохоте, не слыша команд, должен поднести более сотни снарядов за тридцать минут.

Офицер стоит с секундомером. Станок щелкает, и люди повторяют и повторяют стремительные движения одно за другим...

— Ать-два-три-четыре...

Офицер подсчитывает и размышляет дальше:

«В Цусимском бою пятидюймовки русских кораблей давали два, три, четыре, с трудом пять выстрелов в минуту, и считалось, что большего добиться нельзя. Мы, молодые офицеры, пришедшие после Цусимы, погнали показатели вверх».

— Ать-два-три-четыре...

«В 1912 году шестидюймовки дали на состязательной стрельбе в среднем — двенадцать выстрелов в минуту, что было достигнуто нами после семи лет тренировки матросов».

Офицер ускоряет темпы:

— Ать-два-три-четыре! Ать-два-три-и-ре!

Офицер смотрит работу шестидюймовых. Он видит, как прибойничный, вынимая из казенника прибойник, поднимает его кверху, как делалось это годами. Офицер приказывает опустить его книзу и пускает секундомер... Стрелка бежит, замок щелкает... Артиллерист потрясен результатом: скорость заряжания поднялась с двенадцати до тринадцати выстрелов. Артиллерист внимательно изучает движения и позы каждого номера, вглядываясь в потные с напряженными желваками мускулов лица... Артиллерист не постигает тайны, и замок продолжает щелкать... Приказ: снова поднимать прибойник кверху. Опять бежит секундомер: опять двенадцать выстрелов. Снова прибойник книзу. Артиллерист вглядывается в людей и понимает: вынутый тяжелый шест прибойника раньше, когда его брали кверху, проходил близко от лица картузного. Картузный невольно вздрагивал. Каждое вздрагивание на терцию замедляет выстрел... Прибойник идет книзу — вздрагиваний нет, показатель скорострельности поднялся до тринадцати! Если картузный двенадцать раз не вздрогнет — корабль выиграет сегодня одно заряжение.

— Ать-два-три-и-ре!

Чтобы достигнуть скорости, надо внимательно про-
верить каждое движение.

Чтобы приучить к долгой работе у орудий, надлежит
все больше и больше увеличивать число заряданий,
с таким расчетом, чтобы после учения прислуга орудия
была утомлена. Постепенно утомление войдет в при-
вычку.

Горнист ревет: «Отбой».

После отбоя орудийная прислуга тут же убирает
палубу... Матросы трут ее, потом вдруг неподвижно
застывают. Устали... Так проходит минута-другая,
потом уборка продолжается.

* * *

В пять часов дня на флагмане поднимается сигнал
«САЦ» — «шлюпкам ходить по способности».

— На все гребные суда!

Начинаются шлюпочные занятия. На полубаркас
№ 13 назначили гребцов из новобранцев. Полубаркас
№ 13 — старый, обшарпанный и вида не имеет. Старший
офицер поручил проводить на нем учение лейтенанту
Истомину.

— Полубаркас к спуску!

На таях стоят, ждут... Тали новые, смоленые...
Новобранцы смотрят:

— Где в хозяйстве така толста веревка сгодилась
бы...

До спуска на воду новобранцев обучает унтер:

— Тали нада травить быстро, ровно, шлюпку при
спуске держать горизонтально — боже упаси поспешить
или криво: шлюпку спортит, на ходу повредит, а то и
людей поутопит. Отвечать придется. Когда фут от воды
останется, тогда тали кормовые отдавать, потом носо-
вые. Боже упаси перепутать — все завертится, беда.

Унтер-офицеры смотрят, подан ли конец на шлюпку
и закреплен ли. Без конца мало что может случиться.

Полубаркас с людьми спускается на воду быстро
и ровно, касается воды, и тогда выкладываются гаки
талей: сначала кормовых — сказано и запомнить! —
потом носовых.

Лейтенант Истомин дает команду:

— Весла! Расторопней! Совершенно не шуметь!

Отваливая от борта, новобранцы сидят неподвижно. Старшина из старослужащих кладет руля, и шлюпка отходит в сторону.

Шестнадцать парней обучаются брать весла и вставлять их в уключины расторопно и бесшумно.

— На воду!

Шестнадцать весел падают лопастями на воду... Стучат вальки...

Сгибаются шестнадцать спин. В уключинах скрипят весла.

— Сухнуть весла! Слушать внимательно, по сторонам не смотреть!

На лейтенанта глядят шестнадцать пар глаз, почти не мигая... Весла застыли параллельно поверхности воды, — шлюпка неподвижна... Лейтенант Истомин в свою очередь рассматривает гребцов. Синие воротники, чистые-чистые с тремя белыми полосками, облегают крепкие шеи матросов. Бескозырки надвинуты на правые виски.

— Хороши жеребцы! Удивительно здоровые! Обязательно с ними выиграю пари...

Лейтенант Истомин решил отличиться: взять приз на гребных гонках. Именно с новобранцами! Он держал крупное пари с офицерами корабля.

— Так вот. Я хочу, чтобы наш полубаркас был лучшим на корабле и на бригаде.

Испытующе поглядел матросам в глаза. Некоторые ответили покорной испуганной готовностью, другие отвели глаза, у третьих в глазах — мрак и злоба...

— Я хочу, чтобы шлюпка была самая чистая и налаженная, чтобы мы брали призы, и не какие-нибудь, а первые. Да, первые! Семенов, весло чуть-чуть поправь! Так... Я могу вас научить грести весело, красиво, правильно. Но дело в силе, выдержке и привычке... Все зависит от вас. Поняли? От вас зависит. Ну так вот — будем гоняться со всеми полубаркасами эскадры и на гонках возьмем первый приз. Я буду тянуть вас за всякую мелочь, но мы полубаркас сделаем лучшим. Решено! Ну вот, братцы, понятно?

— Так точно, васокродь.

— Приз мы возьмем?

— Так точно, васокродь.

Лейтенант Истомин говорит спокойно, не пугает, не кричит, и у новобранцев отлегло на душе.

— Надеюсь на вас, братцы.

— Рады стараться, васокродь!

Отвечили покорно, как отвечали их деды и отцы...

Лейтенант начинает обучать матросов гребле.

— Первый прием состоит в занесении лопасти, как сказано, совершенно горизонтально.

Шестнадцать весел занесены.

— От-ставить! Делай ать!

Шестнадцать весел застыли над водой.

— От-ставить!

Пятьдесят раз без промежутков повторяется первый прием, как того требуют истые правила выучки. Но для лейтенанта Истомина суть дела не в том, чтобы матросы знали свое дело, — у него на уме одно: взять приз и выиграть пари.

Лейтенант учит второму приему — повороту лопасти и опусканию весла в воду. И опять:

— Делай два! От-ставить!

Наконец дозволяется сделать гребок:

— На воду!

Матросы поворачивают лопасти раньше чем следует. Тогда лейтенант, следуя своей системе, повторяет пятьдесят раз и этот прием.

— Делай ать!

Шестнадцать весел погрузились в воду.

— От-ставить! Делай ать!

Матросы широко заносят весла. Спины их темнеют от пота. Лейтенант с каждой новой командой все более властно и настойчиво подчиняет себе людей. Матросы устали, они не хотят повторений и стараются изо всех сил грести сильно и точно, во-время поворачивая лопасти весел.

Шестнадцать матросов рванули весла, и шлюпка летит по воде... Матросы гребут изо всех сил. Лейтенант доволен. Темнеют от пота спины, и влажны лица. Лейтенант сбрызгивает гребцов водой. Матросы жадно ловят

брызги. Сорок пять минут ходит плюпка, и все быстрее и быстрее ее ход, все чаще и чаще дыханье разгоряченных гребцов.

К шести часам шлюпочное ученье кончается. Полу-баркас № 13 — у борта.

— Шабаш! — кричит унтер, и шестнадцать весел бесшумно убираются. Лейтенант уверен, что приз и пари будут за ним...

* * *

В своей каюте томится от скуки командир корабля — капитан первого ранга Неведов. Он любит «удобства» и поэтому устроил свою тройную каюту с комфортом и по всем правилам строгого вкуса. Все было приятного голубовато-серого тона, способствующего спокойствию и столь гармонирующего с атмосферой флота. Бронза и синий сафьян делали сочетания еще более точными, напоминая о золоте флотских эмблем и синеве морских просторов...

Но капитан первого ранга далек от тех сибаритов, которые стремятся меблировать свои каюты так же, как береговые квартиры, и жертвуют гигиеной и флотским стилем в угоду роскоши. Опыт плаваний давно его убедил в том, что чрезмерная изнеженность дорого оплачивается: она губит здоровье и портит карьеру.

Он, Неведов, первый на корабле после бога и государя императора, был обречен обычаями и законом на почетное одиночество. Одиночество, предписанное законом, возносило командира корабля на недостижимую для его подчиненных высоту. Оно внушало всем офицерам, что командир корабля должен быть от них отдален. Иначе не быть порядку, не быть строгости и потеряет смысл и силу божье и монаршее назначение этого человека — повелевать. Всем было вменено в обязанность верить и знать, что власть на корабле сосредоточена в одном лице и что власть эта исходит от бога, бог передает ее нижестоящему государю, а государь — командиру корабля. Этот закон должен был подчинять и подчинял людей. Офицерам годами внушали, а они в свою очередь вбивали это в головы матросам, что в мире либо повеле-

вают, либо повинуются, либо поощряют, либо наказуют и только в сем заключается превыше всего стоящая сила управления на море и в сию силу верить необходимо.

Командиру на корабле была предоставлена власть и могущество, коим многие монархи могли позавидовать, и гипноз этой власти держал в плену офицеров и большую часть матросов.

Утомленный властью командир корабля был обязан со всем этим считаться и приносить в жертву обычаю и закону живейшую человеческую потребность в дружбе и общении с людьми. Он вынужден был одевать маску неприступности и видел, как вокруг него всегда воцарялась атмосфера страха и молчания. Неведов устал от нескончаемых одиноких дней в своей каюте, ибо устав гласил: «Как можно реже покидать корабль». Неведов давно понял, что флот империи не на высоте, что косность начальства губительна, что нет и не предвидится движения вперед и что он сам бессилен что-либо изменить. Перспектив не было. Было лишь одно мертвящее, пришедшее с годами сознание бессмысленности всего происходящего.

Неведову не с кем было поделиться своими тоскливыми мыслями. Понятия дворянской чести и долга обязывали его красиво нести службу. Он ведь считался одним из лучших командиров, влюбленных в морскую службу. И, пряча скуку, он обманывал себя и своих подчиненных.

Неписанное правило запрещало командиру корабля посещения офицерской кают-компания, ибо это считалось унижением его достоинства. Но были командиры кораблей, которых офицеры решались приглашать к себе; были командиры кораблей, которые сами, не считаясь с этикетом, запросто шли к своим офицерам. Были командиры, которых офицеры боялись, чуждались, не любили и никогда не решались приглашать к себе. К числу последних принадлежал капитан первого ранга Неведов.

Сегодня, в виде исключения, он со скуки послал своего вестового за несколькими молодыми офицерами.

Вестовой стучит в каюты офицеров:

— Васокродь, так что его высокродь господин капитан первого ранга просят васокродь пожаловать к ужину в шесть часов.

Мичманы и лейтенанты в испуге глядят на посланца, рывкающего приглашение, от которого нельзя отказаться. Мичманы и лейтенанты быстро приводят себя в порядок и, в молчании и страхе, идут в каюту командира корабля.

Неведов приветствует пришедших:

— Здравья желаю!

Он уже не начальник, а хозяин, — таким он хочет видеть себя. Ему хочется, чтобы чувствовали это и его гости. Но офицеры теряются в присутствии своего командира, к дружескому общению с которым они не привыкли.

Офицеры источают легкие ароматы вежеталя, одеколона, каких-то бриолинов; эти запахи приятны капитану первого ранга, они возвращают ему его молодость.

Он знает, что эти молодые люди могут наполнить его каюту остроумным, живым, когда-то любимым им «кают-компанейским» разговором, но офицеры молчат и почтительно ожидают слов хозяина.

Неведов, сказав несколько ласковых слов, приглашает всех к столу:

— Прошу, господа, к столу. Чем бог послал.

Он предвкушает веселый ужин. Сейчас начнется фейерверк слов — любимых, понятных и известных только морской офицерской среде, — точных, насмешливых, особенных.

За ужином Неведов собирается произнести блестящий флотский спич... и говорит:

— Очень рад, господа, чести принять вас, господа, у себя... Гм... Каждый из нас заботится об успехе вверенных нам... Дорожим-с... Гм... Прошу помнить общие интересы корабля... Мы находимся в тесном кругу, своем родном кругу, господа... Сплоченная семья, где каждый согрет вниманием, сочувствием и дружбой. Гм... Да не будет между нами вражды, господа... Все офицеры равны. Мы воспитываем беспристрастие и корректность.

Э-мм... Горе тому кораблю, где есть рознь в среде офицеров.

Неведов слышит свои собственные слова. Ему не верится, что это он их произносит. Но это так. Он обманул все ожидания — и свои и офицеров. Он с ужасом понимает, что потерял способность живого общения с людьми.

Офицеры едят как-то особенно медленно, не чувствуя вкуса пищи, рассеянно внимая словам командира. Внешне невозмутимый, командир строго-отечески следит за тем, чтобы все было в порядке, потчует с радушием гостей и чувствует нестерпимую неловкость и пустоту.

Подано кофе, в рюмки уже наливают коньяк. Капитану первого ранга показалось, что он слишком поспешно угощает гостей, но он все еще надеется расшевелить господ офицеров, расспросить их об их жизни, нравах, отношении к кораблю. Ведь ему о них ничего неизвестно. Надо знать это новое, чуждое ему поколение. Надо им и себя показать, да, да... тряхнуть старинной и выдать им блестящий флотский разговор. Напомнить о забытых за последние годы традициях доблестного флота. Но вместо этого он спрашивает:

— Вы, Сергей Павлович, из корпуса уже второй год?

Мичман секунду молчит, потом тихо, испуганно и обиженно отвечает:

— Вы меня, господин командир, спрашиваете?

— Да, да.

— Виноват, — и совсем тихо: — мое имя и отчество — Алексей Сергеевич...

Капитан первого ранга, вы провалили свой дебют! Вам остается только с честью выходить из положения. Он извиняется, с трудом обретая вновь свой светский шарм¹, и мичман прощает его. Но капитан первого ранга, не прощая себе, медленно идет ко дну:

— Вы, Алексей Сергеевич, из корпуса уже два года?

— Так точно, господин командир.

¹ Обаяние.

— М-м-м... эмм... Да... Ну и что же? (Что я говорю?) Через два годика лейтенантом будете? (Какую я ерунду порю. Боже!)

— Так точно.

— Ну, а эм... мм... Позвольте налить? А вы, П-петр Иванович, кажется, производитесь в этом году?

— Так точно.

— Эм... мм... Да... совсем... эмм... юноша-с... (Боже, что со мной?) Позвольте налить?

Он не может наладить разговор, не может раскрыть ум и души своих офицеров, привлечь и приблизить их к себе.

Трагедия, не замечаемая никем, продолжается. Мичманы пьют ликер, считают, что они недостойны иной беседы, и не требуют ее. Ведь для них, пока они мичманы и лейтенанты, командир корабля не станет раскрывать весь блеск своего ума, в котором они не сомневаются. Они знают, что у этого блестящего командира, влюбленного в службу (они в этом уверены), исходившего все моря, что у этого большого, сильного мужчины, славившегося своей волей, остроумием и храбростью, есть такое умение «блеснуть», которое им — мичманам и лейтенантам — и не снилось.

Неведов знает, что мичманы не могут и не смеют думать о нем иначе. А вдруг? И он представляет себе позу и голос одного из мичманов:

— Гс-да! Капитан первого ранга нас, так сказать, ошеломил! Он знает нас по выпускам! Весь день, должно быть, зубрил по списку. Осчастливил! Только раз ошибся с Алексеем, но это не в счет... Алексей, не возражай! Старик, ей-богу, сидит сейчас и думает, что изумил нас: при всех своих сложных обязанностях командир корабля успевает запомнить, кто когда выпущен и когда произведен. Bravo! Вдумайтесь, гс-да! Ведь для этого-то он нас и позвал.

Командир отказывается от дальнейших попыток сближения с офицерами, но все-таки, глядя на лейтенанта, у которого умерла вчера сестра, которая чуть ли не троюродная племянница его жены (что-то в этом роде), он спрашивает:

— Сколько времени... эм... была покойница больна?

— Три недели, господин капитан первого ранга.
— Своевременно ли подавалась медицинская помощь? (Что я спрашиваю!)

— Так точно.

— Э-м-м... В котором часу умерла? (Боже!)

— Во втором часу ночи.— Голос лейтенанта дрожит...

— Позвольте налить? Гм...

На секунду мелькает мысль: «Теперь они, может быть, скажут, что у меня прекрасные порывы, что я суров, но чуток... Хотя?..»

Командир кончает пытку. Он со стыдом говорит (фу, как все противно):

— Я так рад, господа, нашей встрече. Мне было так приятно отдохнуть после службы в тесном товарищеском кругу. Мы будем собираться чаще... Эммм... Да-с... Чуть не забыл... Я не хотел говорить о делах, но все же напомним — готовьтесь, господа офицеры, к приезду адмирала Небольсина...

Командир смотрит на часы.

— Ну, я так рад, так рад... Но завтра рано вставать, господа... Хотя для моряка это дело привычное. Я сам просыпаюсь в шесть. Дольше спать не могу. Рекомендую и вам, господа... Да... я так рад... Эмм... Вот-с... (Откуда этот язык — «Вот-с»?!)

Офицеры встают, откланиваются.

Командир остается один. Он идет в свой кабинет, задерживает портьера, садится в кресло, затягивается любимым табаком и начинает вечер сначала. В тишине каюты происходит нервный, острый разговор человека с самим собой. Ему необходимо убедить самого себя в том, что он, русский морской офицер, командир броненосца, капитан первого ранга, — влюблен в службу. Да, влюблен! В этом убедить себя труднее всего.

Ему необходимо убедить себя в том, что он еще может быть остроумным, простым, таким, каким он был когда-то... Он душевно и сильно говорит о минувших радостях, волнениях и драмах — своих и чужих; он вновь переживает позор Цусимы и тут же находит блестящие возможности новых перспектив для флота империи Российской, новых форм отношений и службы на кораблях.

О, еще не все потеряно! Он с блеском рассказывает сам себе о былых победах: Чесма! Гангут! Синоп! Ведь было, могли!

...Вдруг капитан первого ранга неожиданно зевнул... Ведь завтра будет, как вчера, Перспектив нет... Одна пустая игра воображения! Он, капитан первого ранга Неведов, удивляется себе, своей сегодняшней неожиданной вспышке...

Да, бывают еще странности в жизни, казалось бы уже не дающей поводов для изумлений...

* * *

Корабль готовится к смотру. У адмирала Небольсина бывают странные выходки. Тут можно и просчитаться...

Не беда! Флотская живая мысль спасет! И господа офицеры отдают последние распоряжения фельдфебелям рот, а старший офицер зудит боцмана:

— Сам проверил?

— Так, точно васокродь.

— Сам?

— Перстами, васокродь.

— Чисто?

— Как вот манжетка ваша, васокродь.

Немыслимо начищен корабль. Старший офицер знает, что было однажды и может снова повториться. Еще в корпусе он слышал рассказ о том, как адмирал Небольсин подошел на вельботе к трапу одного из кораблей, чтоб проинспектировать его. По трапу — бегом, быстрее любого матроса. Он принял рапорт и на шканцах одел перчатки (лучший сорт — белая лайка). Все обошел, ласково глядел, смотрел и давал указания... «Сударь, здесь лучше б то, лучше б так...» Пальчиком все трогал, проверял: чисто ли? Ибо корабль должен, по его убеждению, блестеть подобно зеркалу и быть идеально чистым. Смотр кончился. Небольсин, прощаясь, подал командиру корабля руку, но тут же отнял ее и снял перчатку. Перчатка — о потрясенье! — была грязновата. Грязновата от прикосновения к, очевидно, недостаточно чистым частям корабля-с! Да-с! Небольсин снял

перед командиром перчатку. Мрачно на него посмотрев — дескать, извольте-с видеть с, грязная, — он вежливо извинился: «Прошу прощения... Замарался...» А командир стоял красный, как помидор... Убил, прямо убил его адмирал, при всех убил таким манером.

Так чтоб не было таких вещей! И на корабле идет драйка.

Беспокойство только по части четвертой кочегарной роты. Командир ее — инженер-механик Климов — всегда говорил:

— Не мое дело возиться с ротой, мое дело машины, а с ротой пусть возится фельдфебель.

Так оно и было: возился с ротой фельдфебель. Но стало известно, что Небольсин на флагмане заявил:

— Гс-да офицеры, я требую от вас знания вверенных вам людей и попечения о них личного...

Все знали, что Небольсин в гневе срывался и с молодыми офицерами был вспыльчив, несдержан и груб.

Инженер-механику Климову — это нож в сердце. Но служба есть служба. Небольсин требует, чтобы знали имена, отчества и фамилии всех нижних чинов; состояние, звание, происхождение, семейное положение... А в роте двести пятнадцать кочегаров: разные Наливайки, Подопригоры, и все на одно лицо. Как быть? Что придумать?

День приближался. Ротные днями ходили перед строем своих рот.

— Ты будешь Тихон Задуваев?

— Так точно, васокродь, Семен Захватаев.

Вежливо надо отвечать, уметь надо.

— Да, да... А ты... не ты, а ты, ну третий с левого фланга... Ты холостой?

— Так точно, васокродь.

— А имя и фамилия?

— Никифор Оникко.

Оникко, Оникко — холостой. Так. Холостой... Да... Приметы, а, чорт! — лица у всех простые, молодые, вачем таких берут — всех одинаковых...

Господа офицеры изучают матросов, «сближаются», так сказать.

За обедом в кают-компании кто-то спросил инженер-механика:

— Пушистый, ну как? Вызубрил?

Климов, лысый, как ладонь, улыбается:

— У меня порядок!

— Серьезно?

— Знаю всю роту наизусть. Не даю ни одного неточного ответа. «Систему Небольсина» одолел!

— Путишь, пушистый. Это немыслимо.

— Parole d'honneur!¹

День инспекторского смотра наступил.

К парадно убранному² трапу корабля подвалил начальник бригады. Глядел испытующе — увидим, мол, увидим.

Приветствие нескольких сот матросских глоток спугнуло чаек...

Небольсин остановился перед второй ротой и приказал одному матросу:

— Два шага вперед.

Щелкнули каблучки.

— Как зовут?

— Николай Герасименко, ваш-дит-ство!

— Сними, Герасименко, сапог с левой ноги.

Снял матрос сапог и стоит. Мало ли чудит начальство, дело ихнее — а мы исполняй да помалкивай.

— Покажи левую ногу, Герасименко.

Показал. Обернулся Небольсин к ротному командиру:

— Лейтенант, почему у вверенного вам матроса Герасименко дырка на носке левой ноги?

Пролепетал что-то лейтенант. Небольсин кивнул флаг-секретарю, который тут же сей факт занес в блокнот с золотым обрезом.

Так. Пошел адмирал дальше, к четвертой роте. «Пронеси, господи, пронеси, господи...» — бояться все за ин-

¹ Честное слово! (*франц.*)

² Убор трапа состоял из коврика, который клали на трап, и красного сукна, которое набрасывали на поручни трапа в торжественных случаях.

женер-механика. Стал Небольсин перед ротой Климова. В упор, не мигая, уставились на адмирала кочегары. Небольсин поглядел на ротного инженер-механика Климова, потом на шеренгу кочегаров, потом снова на ротного. Тот стоял почтительно — независимый, крепкий, лысый, блестящий. Небольсин подозвал одного из матросов:

— Выйди. Два шага вперед. Имя, фамилия?

— Герасим Кара.

Небольсин обернулся к ротному:

— Женат или холост?

— Женат, ваше превосходительство.

— Дети у него есть?

— Двое, ваше превосходительство.

— Отлично. Стань на место, ты... ну, как?..

— Осипенко Иван, ваше превосходительство, — подсказывает Климов.

И что ни вызов — чеканит ротный, сколько детей, кто женат, кто холост. Небольсин проверил, как одеты кочегары. Свежесть, мылом пахнут, пансион-с! Ни пылинки угольной! У одного только дырка у внутренне-го шва брюк.

— Крысы, ваше превосходительство, но меры приняты и их не будет.

Небольсин доволен, благодарит Климова:

— Прекрасная рота. Молодчаги! Очень, очень доволен. Рекомендовал бы всем такой порядок, истинно флотская налаженность!

Адмирал нашел корабль в приличном виде — особенно уж хороша была четвертая рота. Уходя, даже изволил улыбаться.

Инженер-механику прохода нет.

— Пушистый, что за волшебство?

— Помилуйте, — просто знание дела.

И щурит глаз.

— Знание чего?

— Дела.

— Пушистый, расскажи.

— Очень просто. Мыло купил за свой счет — чистота! Поставил в первую шеренгу женагих, во вторую холостых.

— Ах ты! А число детей?

— Ну, боже мой,— просто! У каждого подогнуты пальцы по числу *bébés! Voilà!*¹

* * *

Команда поужинала и выпила вечернюю порцию водки. Сегодня кончается месяц — идет подсчет питого и непитого. Если не пито — на руки восемь копеек за чарку в день... За месяц — два рубля сорок копеек. И в рапортах отмечается, что матросы, как то показывают раздаточные ведомости, отвыкают от пристрастия к вину, сберегая деньги на различные мелкие нужды.

Часть матросов сегодня увольняется на берег. Те, которым не черед на берег, готовятся к «корабельным радостям». Вахтенный начальник дает команду. Ее давно уже не было, но сегодня ее дают:

— Палубные старшины по местам, желающим разрешается взять большие чемоданы!

Большие чемоданы! Отрада! Позволение пересмотреть чемоданы — редкость. Позволение впервые за долгие дни дает каждому право и возможность уйти на час в свой собственный мир. Никогда не наскучит матросу, тихо усевшись, перебирать содержимое своего парусинового чемодана.

Матросы медленно выкладывают все, что есть в чемоданах, оглядывая, перетряхивая, обдувая каждую вещь и любуясь ею, как только что купленной. Как хорошо потрогать свои вещи, к которым матрос не имеет права прикоснуться без особого разрешения, разложить форму первого срока², посмотреть на фотографии родных, перебирать купленные во время плаваний яркие олеографии и, наконец, вытащить письма, сто раз читанные, и в сотый раз умиленно их перечитать... Какое это счастье!

Посмотреть на любимые картинки, вырезанные из журналов, или на открытки с красивыми головками...

¹ Младенцев! Вот! (*франц.*)

² Форма первого срока, парадная, из улучшенного материала, хранилась в «больших чемоданах».

Какая это радость! И матросы молча наслаждаются, перебирая любимые вещи, целиком углубясь в тихое их созерцание.

Начальство справедливо полагает, что смотреть большие чемоданы — для команды источник неисчерпаемых развлечений. Начальство справедливо рассуждает: нижнему чину обязанностей, налагаемых на него по службе, недостаточно для наполнения всего дня. Поэтому допустимо изредка заполнить их свободные часы спасительным и нравственным занятием, коим и является пересмотр больших чемоданов. Здесь совмещается с чисто умственным развлечением и сердечное волнение, ибо вид хранимого письма с родительским благословением облегчает разлуку и способствует хотя бы мысленному приобщению к семейным радостям. Часто же разрешать не следует — создастся привычка, и удовольствие умалится. Вообще начальство знает «много мудрых и неоспоримых вещей».

* * *

Часть команды сегодня увольняют на берег.

Дудки:

— Гуляющие во фронт!

Отправляющиеся на берег нащупывают в карманах деньги для покупок, спрятанные в платках или потерянных кошельках.

Все одеты в чистейшее, подбриты, руки и шеи помыты. По шеренге ходит шкура Храмцов, и все трепещут. У него злая привычка: подойдет к матросу и, чтоб задержать его, теребит и крутит крючки и пуговицы сильными пальцами, приговаривая с ласковой досадой:

— Эх, братец! Плохо пришил... Скажи спасибо, я заметил. А то и потерял бы на бережку. Беда была б. И отрывает пуговицу.

— Ай-ай-яй... Ну, дуй скорей, пришей...

Потом скучный идет дальше по шеренге.

Повадки шкуры известны, и у матросов наготове нитки и иглы. Пуговица мгновенно прихватывается на месте туго-туго и матрос мчится к шлюпке.

Плюпки и катера отваливают! Плюпки и катера идут к берегу! Бьются матросские сердца! Сидят команды — свой к своему: унтер-офицеры отдельно, кошегары отдельно (нижняя команда с верхней не всегда в ладах), писарье и баталеры отдельно. Все кучками по чинам и по службе — как полагается.

Матросы, наконец, доставлены с корабля на берег и торопливо бегут по своим делам. Времени дается немного. Надо успеть приобрести все, что намечено, и поразвлечься.

За месяц объекты приобретения были уточнены, деньги за непитое рассчитаны, и теперь нужно лишь успеть купить необходимое. Непьющие спешат. Минувя Николаевскую и другие улицы, по которым ходит чистая публика и где нельзя появляться матросам, они сворачивают на тихие, малолюдные и темные улочки, где магазинчики и лавочки малы, но уютны. Там матросов ждут.

Пьющие заходят к селедочнице Кате и кладут перед ней шесть рублей.

— На все, Катя, духом!

Катя набрасывает платок и легит за водкой. Все в полном порядке...

В первый год службы матрос вливает в себя четыре ведра водки — по чарке в день, по трети ведра в месяц. Он привыкает к водке, и на второй год одной чарки уже мало, он проглатывает водку, почти не ощущая ее вкуса. Тогда матрос бросает пить чарку, делается «непьющим» и терпит до получки, мужественно подавляя все соблазны. Дождавшись увольнения на берег, «непьющие» матросы идут в темные улочки Кронштадта к друзьям жизни своей — и за весь месяц, за все свое терпение напиваются сразу досыта...

Селедочница Катя мчится обратно с полной кошелкой. Выкладывает на стол шотландские селетки с маринованным луком, картофель отварной с постным маслом и грибки.

— Не предупредили, голуби, уж я бы...

— Ладно.

Катя зовет соседок — вдов матросских. Двери и окна наглухо задраиваются.

Пьют матросы и вдовушки чинно. Ролные ведь, кронштадтские! Вдовушки выпьют, вместо закуски рот ручкой прикроют, улыбнутся. Чудо-бабы, флотские бабы, не бабы, а ах-бабы!

Вино играет, оживляет воображение усталых матросов. Они стараются развлечь своих подруг:

— Канечно, мадамы, если в заграничном плаванье, то мы по уставу, статья двести восемьдесят четвертая, между прочим, пьем франпузскую водку и так называемый коньяк и ром. Из расчета опять же, канечно, сорок градусов. Изготавливают, бывает, и трог. Но я вам расскажу, мы были в Пирее, и, канечно, на берегу нас угощали. Русским везде уважение. Угощали так называемой «мастикой». Это их водка. Канечно, мы по стаканчику, второму, третьему, но мы в порядке. Что же для нашего брата три стаканчика? И, канечно, вечером на корабль. С побудки утром, канечно, пьем чай — и тут феномен! Феномен — это физицкое явление. Явление происходит на глазах — полное внезапное опьянение. Ваше здоровье! Да. С утра — внезапно!

Женщины слушают многие годы подряд эти незатейливые, одинаковые истории, но, желая порадовать матросов, проявляют живейший интерес:

— Господи, твоя воля!

— Так точно. Что же оказывается? Оказывается особое свойство: при влитии в какую-либо персону новой жидкости — хошь чаю — мастика эта, их водка, канечно, опять получает свое действие и производит новое опьянение.

Вдовушки сочувственно ахают...

Матросы пьют, и кавалерская вежливость их постепенно иссякает.

Матросы умолкают... Вспоминается сразу вся их горькая жизнь, хлещут все обиды и отравляют даже пьяную радость. Они рвутся на улицу и шлют кому-то во мглу свои проклятья...

— Голубь, Костенька, милый, што ты!.. Господи, да услышут...

— Ванечка, не кричи, родной... На — выпей.

Женщины торопятся их запоить, приласкать, чтобы удержать людей. Куда такой пойдет? Женщины были

молоды, любили и голубили бравых матросов в пятом году. Повешали, постреляли товарищей за бунты, утопили у Лисьего Носа...

Бушуют матросы, стены трясутся в хибарках Кронштадта.

— У-у-у... Шкура!.. Я тебе честь... от-ддам...

Кулаки крошат стекла. Вдовушки покорно утирают, убирают. Мужья их такими же бывали. У одной с «Сисоя Великого», у другой утонул в японскую войну... Женщины знают, чем взять матросов, как их успокоить, и, подсев поближе, заводят печальную песнь. Матросы слушают ее, поникнув головами и роняя соленые крупные слезы. Женщины поют и сами проникаются отчаянною горестью. Они поют еще заунывнее, еще горше. День сегодняшний не принес и не принесет ничего светлого, как и все за последние годы прожитые ими дни. Ничего не сделаешь...

Вышли на улицу матросы, истекают короткие часы их гулянки. Идут озорные, лихие. Глаза шарят по пустым улицам. Летят камни...

— Все перебьем...

Полиции не видно. Зачем беспокоиться — пошумят и прекратят. Это же флот между собой, так сказать, на почве пьянства и ничуть не противозаконно.

С рейда доносится орудийный выстрел. Конец гулянке!

Шатающиеся, оборванные, но присмирившие идут к берегу — на шлюпки и катера — матросы. Их доставляют на корабли, где веками выработались точные способы приемки и усмирения пьяных:

«Пьяных во фронт не ставить, а немедленно отсылать спать. Для усмирения бушующих употреблять людей равных с ними званий, чтоб к буйству не прибавилось проступков, оскорбляющих честь господ офицеров. Особо бушующих связывать, что не вредит здоровью, и класть на вольном воздухе под мокрый брезент для вытрезвления. Если пьяный имеет желание нанести вред — приковать его на баке. В особых случаях — бить мокрыми швабрами».

На корабле расставшихся с берегом матросов опять охватывает приступ отчаянности. Они пытаются крушить броню, проклинают встречающих унтеров. К ним, бывало, присоединялись и трезвые. Симулируя опьянение, трезвые матросы пользовались возможностью почти безнаказанно поносить неприкосновенные понятия, ибо с пьяных взыскивалось по обычаю со «смягчением вины».

Шкуры волокут на бак грязных, усталых от криков и борьбы людей и швыряют на отсыревшие от росы доски. Трезвеющие матросы копошатся, беспомощно что-то бормочут и, обессиленные, засыпают вповалку.

На палубу поднимается истинно трезвый, подлинно непьющий кочегар Алексеев. Он подходит к вахтенному начальнику:

— Васокродь, дозвольте доложить.

— Говори.

— Васокродь, на берегу сунули. Так что против закону.

Вахтенный начальник вскрывает протянутый пакет. Враждебные, чуждые, странные, далекие, запрещенные слова. Прокламации!

— Молодец, Алексеев!

— Рад стараться, васокродь!

Кочегар Харитонов идет, не оборачиваясь, мимо, но замечает все, что происходит. Идет и ничего перед собой не видит — в глазах темно... Алексеев провокатор! Алексеев предатель! Алексеев выдал!

Харитонов спускается в кубрик. В кубрике влажно и душно. Тяжелый запах. Многие уже спят.

Алексеев входит в кубрик и, раздеваясь, шепчет Харитонову:

— Шкура следил... Отрава сучья... Пришлось половину прокламаций для виду отдать. «Спасибо» заработал. Под бирку надежности работаю... Остальное в кальсоны спрятал. Пойдем в галюн.

В галюне, прислушиваясь ко всем шорохам, один отдает другому часть оставшихся тоненьких листков. Харитонов возвращается в кубрик один... Так вот в чем дело? А если?.. А если?.. Да нет! Свой! А если?.. Ну, молчать надо да глядеть.

Кронштадт.

Белая ночь. Солнце заходит, а заря не темнеет с вечера до утра и небо — серо-розового цвета.

Штиль. Вода на взморье, как на реке в затоне. И ноют над взморьем комары с окрестных болот Ингерманландии. Каждые полчаса бьют склянки — ушло из жизни полчаса. Третий век у острова Котлина на судах склянки бьют одинаково, и часовые недвижны в крепости, и уходит, уходит в печали жизнь этой крепости, наименованной матросами — Сахалин.

Эскадра стоит на рейде.

По уставу морскому флагманы и командиры содержат корабли постоянно в совершенной исправности, поддерживая неослабно строгую военную дисциплину и прилагая всемерные старанья, дабы подчиненные обрелись в благополучии.

И всеподданнейший отчет Морского министерства за истекший 1913 год говорит о многих стараньях, приложенных к тому, чтобы российский императорский флот был в состоянии поддержать честь имени империи Российской и достоинство своего флага. А именно:

«Численное состояние нижних чинов российского императорского флота по отдельным флотам и береговым учреждениям за истекший 1913 год согласно ведомостей номер первый, восьмой, второй и третий всеподданнейшего отчета за истекший отчетный 1913 год указывает сорок семь тысяч триста семь человек. Из вышеозначенного числа за истекший отчетный 1913 год — шестнадцать нижних чинов предано смертной казни через повешенье и шестьсот восемьдесят нижних чинов заключено в военно-исправительную тюрьму. Сто шестьдесят пять нижних чинов исключено со службы по лишению звания по суду. Двадцать семь нижних чинов исключено со службы по причине самоубийств. Сорок три нижних чина исключено со службы по

причине преждевременной смерти при различных обстоятельствах: утонувшие, смерть на работе и ученье и так далее. Сто сорок девять нижних чинов исключено со службы по причине смерти от болезней. Двадцать четыре нижних чина исключено со службы по причине сумасшествия. Тысяча сто пятьдесят семь нижних чинов уволено со службы по причине получения инвалидности. Четыреста девять нижних чинов находятся в бегах, и сто девять уволено со сверхсрочной службы в дисциплинарном порядке. Итого, по ведомости номер три всеподданнейшего отчета за истекший отчетный 1913 год, указующей изменения в составе нижних чинов,— имеется убыль. Сие надлежит почитать за естественное очищение флота, сколько бы печальны ни были потери».

И эскадры, очищенные от неблагонадежных и негодных по болезни нижних чинов, стоят великолепные, на страх врагам на рейдах империи: Кронштадском, Ревельском, Гельсингфорском, Либавском, на Севастопольском и Тендровском, на Бакинском, на Владивостокском и Хабаровском.

Эскадры стоят на рейдах, и вид у эскадр молодецкий.

ГОД 1914-й

Глава третья

УБИЙ!

I

1914 год увидел рабочее революционное движение на новом подъеме — три с половиной тысячи стачек! Развернуто выступили по всей стране до полутора миллионов рабочих.

В предвоенное лето 1914 года в столице гремели забастовки за забастовками:

4 июня пролетариат Санкт-Петербурга бастовал в память расстрелянных матросов.

9 и 11 июня прошли две политические забастовки.

В ответ на расстрелы рабочих в Баку, — забастовало:

4 июля — 90 000 человек.

7 июля — 130 000 человек.

11 июля — 200 000 человек.

Красный пожар разгорался и устрашал! Приказ Столыпина, гласивший: «Пока в стране не будет установлено спокойствие — полевые суды и господа офицеры олицетворяют юстицию в империи», — сохранял свою силу. И выбритые добела, надушенные, воспитанные господа офицеры, полируя ногти и сдувая с них розовую пыль, вынесли пять тысяч смертных приговоров рабочим.

Империя готовилась к неизбежной войне с Германией. Параллельно, покрытая военной тайной, осуществлялась более важная операция по борьбе с наиболее

опасным врагом внутренним — пролетариатом. Секретный стратегический план, *не отменявшийся и в случае войны*, гласил: развернуть полки и дивизии в Санкт-Петербургском и Одесском районах, в Сибири, Туркестане, на Кавказе и в Финляндии.

Правительство значительную часть своей армии оставляло для внутренней охраны страны, для наблюдения над районами промышленными и «иностранческими» в целях быстрых карательных экспедиций, подобных экспедициям 1905 и 1912 годов. Наибольшие силы сохранялись против пролетариата Санкт-Петербурга.

* * *

Санкт-Петербург был живым воплощением вековой монархической власти. Столица угнетала ритмами, формами и «красотой», превозносившей величие империи. Архитектура не могла существовать вне общего исторически-общественного процесса. Архитектура — это та же классовая борьба, выраженная в граните, мраморе и бронзе, в кирпиче, железе и дереве.

В Санкт-Петербурге размах архитектуры и выразительность скульптур победно подчиняли материал идее властвовавшего класса. Столица требовала внимания к двум прошедшим столетиям и приобщала к ним.

Санкт-Петербург, по расчетливо продуманному плану, был приведен к виду императорского лагеря. Он был оккупирован громадной символической армией.

В столице устрашающим постоем расположился конно-жандармский эскадрон бронзовых императоров. Они заняли главнейшие пункты.

Памятники неизменно победоносны и величественны. Высеченные даты трубят славу династии. На высочайших колоннах и шпилях, простирая венки славы и воздвигая христианские кресты, — парят ангелы: Александровский, Петропавловский, Конногвардейский, Трицкий-всей артиллерии и прочая, и прочая. Языческие Посейдоны, Афины-Паллады и Марсы соединяются с ними в воинственном союзе. У подъездов дворцов

и особняков лежат на страже черные и серые львы. В парках легионы воинов расположились мраморным бивуаком. С фронтонов, оград и решеток тысячи стрел, копий и мечей разяще направлены в сердца «супостатов внутренних и внешних». Разрезая пространства, взлетают над площадями боевые квадриги.

Великолепны дворцовые площади Санкт-Петербурга! Они подчеркивали иерархию власти и создавали «приличествующую дистанцию» между дворцами — «вместилищами» этой власти — и окружающим их городом. Площади эти были рассчитаны и для удобства развертывания войск против мятежных толп. Доказательством сему было 9 января 1905 года.

Со стен дворцов и музеев глядят портреты военачальников и воинов. Наименования полков предупреждающе грозны: лейб-гвардии Семеновский, Гренадерский, Фанагорийский и прочая, и прочая. И сразу в памяти нашей наименования этих полков сочетаются с содеянным ими: *Перово, Пресня, Лена!*..

Все вместе взятое должно было внушать народу страх и покорность.

* * *

Вооруженные силы двинуты. Столипа вздрагивает от их хода. Войска идут мимо соборов и церквей. С высоты неумолимые святые благословляют проходящие войска, простирая над ними бронзовые руки. Их раскрытые, застывшие глаза грозно повелевают:

— Убий!

И войска, во исполнение сего, идут в устрашающем молчании к месту столкновения с врагом. Они идут плотными прямоугольниками.

Приказ войскам дан: «Бить, колоть, стрелять».

Войска мерным ходом своим покрывали предугазанное им пространство, сближаясь с врагами. Вот они! Пока их немного — вероятно, разведчики противника. Офицеры в бинокль наблюдали за их действиями, охваченные ненавистью и острейшим любопытством.

Роты медлили... Офицер вырвал винтовку у ближайшего солдата, чтобы сделать первый выстрел. Он

стал перед ротой, как на стрельбище, успокаивая этим себя и солдат, прицелился и нажал спуск.

Солдаты вздрогнули, увидев, как упал и закорчился подстреленный человек.

Стрелявший повернулся к солдатам:

— Вот, братцы, до сих пор мы проходили теорию. Теперь перешли на практику. Как видите — просто. Просто?

Рота нерешительно отозвалась:

— Так-точ-ваш-сок-родь, — но стрелять не решалась.

Разведчики, забыв об опасности, склонились над убитым. Этим воспользовались офицеры и пулями срезали их.

Солдаты глядели на подстреленных людей, боясь выдать свой страх и все надеясь, что они шевельнутся. Ожидание было мучительным. Тела лежали совершенно недвижно. Солдаты думали об *этом*, впервые ими увиденном и непонятым, и опасливо поглядывали на стрелявших офицеров. Солдаты, будто ожидая чуда, а некоторые моля о нем, смотрели на распростертые перед ними тела. Но чуда не было — люди не шевелились, они были мертвы.

Солдаты мучительно думали: за что убили этих людей?.. Стремясь найти ответ в давно заученных словах: «Защищай веру, царя и отечество от врагов внешних и внутренних... Что есть враг внутренний?.. Враг внутренний есть — студенты, мастеровщина тоже», — они уже в них улавливали ложь.

Противник показался снова. Некоторые солдаты крестились. Офицеры прикрикнули:

— Не балдей! Не робей!

Но солдаты робели. Они пугались даже местности, куда их пригнали: над строениями подымались стволы никогда не виданных ими огромных труб; в воздухе носились копоть, пепел, гарь; под ногами валялись темные пласты каменного угля; из канав, прорезавших местность, шел густой зловонный запах застоявшейся жижи; точно пораженные болезнью, чахли тоненькие деревца с посеревшей листвой. Солдаты — жители деревень — ужасались и недоумевали: кто и как мог здесь существовать?

Противник приближался. На этот раз он шел сплошными рядами...

Офицеры, привычно искавшие у противника военного порядка и вида, уже готовы были насмеяться над отсутствием их. Но... не смогли. Противник порождал страх. Он шел с неумолимостью и силой, с таким чистым мужеством, которого не было у офицеров, и поэтому движение противника устрашало и озлобляло их еще больше.

Над рядами противника взметнулись, пламенея, лозунги и знамена. Расстояние уже позволяло прочесть «Д. С. 8. 8. 8.»

Войска, оцепенев, ждали. Офицеры намеревались подпустить врагов как можно ближе и бить в упор с постоянным прицелом.

Лица в первых рядах противника были уже ясно различимы. Боязнь отсутствовала в них. Многие солдаты, видя эти лица, жмурились, держа одеревеневшими руками винтовки на изготовку. Приближающиеся ряды переступили через тела павших товарищей своих...

Со стороны противника донеслись слова запрещенной законом песни... Тогда, чтобы заглушить ее, офицеры дали залп...

В этот же день офицеры донесли о победе.

Так было. 3 июля 1914 года в Санкт-Петербурге за Нарвской заставой были расстреляны рабочие Путиловского завода.

Царская армия вписала новую победу в перечень своих деяний, украшенных девизом: «Так было — так будет», — и к числу своих трофеев присоединила знамена и лозунги — «Д. С. 8. 8. 8.», что означало: «Долой самодержавие! Восемь часов работы, восемь часов отдыха, восемь часов сна!» За эти требования полагалась смерть!

Такие поражения бывали, но каждое из них рождало еще более ожесточенную волю к борьбе и обогащало опытом восставших. «Так было, но так не будет...» — говорили они.

Борьба шла, тщательно скрываемая империей.

Как всегда, благоухали июльские цветы в собственном его величества Царскосельском парке, и, как всегда, вокруг них жужжали собственные его величества пчелы.

На низком каменном постаменте, у полосатой бело-черно-оранжевой будки стоял, как то положено по расписанию караулов Царскосельского гарнизона, часовой. Пот медленно стекал из-под околыша к вискам солдата... Благовонная жара... Пчелы гудели, и слышался часовому в гудении пчел голос его взводного:

«Божже упаси что сделать на царском посту не так. Счастья не видать всю жжизнь. Что есть часовой? Часовой есть всякий нижжний чин, поставленный на пост с ружьем. Жжизнь его есть неприкосновенна, и если жжизни его и посту угрожают — коли штыком или стреляй, а если нужда приспичила, не вызывая разводящего, потому в почетном карауле, терпи. А что если тебе, допустим, командир роты или даже полка пожжелает за лихой вид пожаловать на чай? Не брать, не брать, не брать! Согласно устава. А как вы ззнаете отдавание чести? Ты есть одиночный постовой часовой. Мимо тебя идет знатное погребальное шествие, сопровождаемое военной командой, тогда отдай честь по-ефрейторски и провожай глазами шествие. А если есть простое погребальное шествие, делай только скорбный вид — честь не полагается. А теперь мимо тебя идет гражданский сановник, и на нем одета лента или цепь святого Андрея Первозванного. Стой! Какой, скажи, цвет на этой ленте? Голубой. А где голубой цвет ты видишь прежде всего? В первом случае на груди своего взводного. Ты видишь на моей груди на означенной голубой ленте высочайше пожалованную медаль в честь двухсотлетия Гангутского боя. Запоминай! Изничтожен был в этом бою шведский флот. А как вышеуказанному сановнику честь отдать на

посту? Опять по-ефрейторски. И божже упаси ззачем сойти с поста. Стой как ззаказанный. Если не соображаешь, как честь отдать, можжет чин малый, всегда отдавай полной мерой. Лучше перекланяться, чем недокланяться. Кколо будки стоять будешь — помни: касаться ее левым локтем и равняться с ее передней стороной. Высочайшие особы и знатные лица гулять будут — увидишь с собачками прогуливаются. Собачка как покажется — коси глаззом...»

Солдат стоял, внимая жужжанию пчел, и, не мигая, сжимая челюсти, терпел укус собственной его величества пчелы, ибо не дозволено шевелиться и оных пчел отгонять, дабы движением руки не выказывать вида непристойного в почетном карауле.

Из дальней аллеи выбежала собачка неизъяснимой и совершенной белизны. Затаив дыхание, командуя про себя, солдат, кося глазом, вскинул двумя движениями винтовку по-ефрейторски на караул и одновременно повернул голову в сторону, откуда должен был выйти царь.

Солдат на мгновение поднял глаза, и показалось ему, что небо было цвета Андреевской ленты.

Собачка пробежала мимо...

Аллея, в которой чудилось солдату нечто грозное, была той же, какой и была до того, как по ней пробежала одна из царскосельских собачек...

Часовой медленно возвращал спокойствие неровно бившемуся сердцу, и глаза его вновь различали мир: небо уже не сияло голубизной Андреевской ленты, а стало обычно голубым, громадный сад попрежнему темнел кронами зеленых лип.

Часовой опустил двумя движениями винтовку к ногам и незаметно стряхнул капли пота.

Пустынный парк благоухал.

* * *

На царскосельский плац вышли гвардейцы роты его величества. К строю приближался маленький, хрупкий подпоручик. Он шел, чуть по-женски покачи-

ваясь и придерживая левой рукой пашку, как дама — шлейф.

Самый тяжелый, самый высокий фельдфебель роты его величества зарычал, увидев подпоручика:

— Иррна, рравнение на-право!

Необъяснимое волнение владело офицером. Война открывала ему путь славы. Он готов был вести своих послушных гвардейцев к боям и победам, давно со-зданным его мечтой.

Подпоручик увидел армию, сыном которой он был. Он представил себе ее, шествующую из времен Петра, Елисаветы, Екатерины, Павла, Александра и Николая; своих дедов и прадедов в золотом шитых кафтанах и мундирах. Ему казалось, что в Царском Селе слышится тяжелая поступь российской пехоты, исходившей за век полмира; слышится ржание и стук копыт российской конницы, ходившей в Пруссию, Францию, Венгрию и Персию. Он видел семью царскосельских гвардейцев, и слышался ему ликующий клич их: «Отечество нам Царское Село».

Влюбленный во весь мир подпоручик голосом счастливым и звонким крикнул:

— Братцы — война!

Ответом подпоручику была покорность одинаково неподвижных людей, готовых двинуться по первой команде, согласно устава и данного направления. Иного ответа быть не могло, ибо устав ничего не пред-указывал касательно формы, каковой надлежит отвечать на слова, произнесенные подпоручиком.

Снимая замшевую перчатку (поставляемую «Боем Сарда» на Морской), особенно тонкую, пропитанную духами любимой, подпоручик возбужденно глядел на роту, и взгляд его выражал все счастье, дарованное ему этим днем, часом, так долго ожидавшимся подпоручи-ком и, как он думал, — родиной. Беспредельную жертвен-ность нес он России, ее имени, такому торжественно-сладостному.

Рота стояла, ожидая новых действий и слов офицера, чтобы повиноваться.

— Поздравляю вас, братцы.

Однообразный быстрый рев вырвался из глоток и,

сотрясая бороды гвардейцев роты его величества, колыхал недвижные, благоухающие в июльской жаре цветы.

— Радды стар-рать-с, ва-ско-родь!

— Братцы, будем молодцами!

По уставу на сие нет точных ответов, но фельдфебель глядел на роту, и взгляд его, изученный ротой, рождал опять однообразный быстрый рев:

— Радды стар-рать-с, ва-ско-родь!

— Ура, братцы!

И загремело за два века созданное русское «ура», рокочущее и безостановочное. Оно шло из глубин глоток — торжественное и ярое. На фланге также раздалось «ура», такое же торжественное и ярое. Оно катилось, вспыхивая, дальше и дальше по всем ротам. Издалека медь оркестра покрывала все гимном, требовательно поднимавшим «ура» все выше и выше. Высокие гвардейцы-бородачи стояли натруженные, багроволикие, глядя вниз на маленького подпоручика, который, плача от счастья, отдавал честь, чуть оттопырив два пальца.

Подпоручик подходит к фельдфебелю:

— Жабин, поздравляю.

И, привстав на цыпочки, он тянется своими губами к многоволосью у рта фельдфебеля. Фельдфебель благодарно наклоняется, прижав руки ко швам, и прикасается к щекам подпоручика благоговейным, испуганным и стыдливым поцелуем.

Потом подпоручик уходит. Фельдфебель оборачивается и говорит:

— Вот поздравляю вас, братцы, тоже.

Рота в ответ ревет и замирает при приближении дежурного офицера. Застыв в стойке, дежурный унтер-офицер кричит:

— Ваше высокоблагородие, за время моего дежурства в роте его величества происшествий никаких не случилось.

Устав не указывает на то, что война является происшествием и что о сем происшествии надлежит рапортовать по дежурству. Щелкая каблуками, дежурный унтер-офицер «осаживает» назад и в сторону. Дежурный офицер говорит:

— Поздравляю с походом, братцы!

— Рад-ста-ра-ва-скороды!

Офицер восклицает:

— Ура, братцы!

И вновь вырывается «ура», рокочущее и безостановочное, торжественное и ярое, и люди опять стоят багрово-волпкие, глядя на офицера, отдающего честь.

Подходит командир роты и, оглядывая своих гвардейцев, говорит:

— Поздравляю, братцы, с походом.

Рота вновь ревет «ура», рокочущее, безостановочное, но уже хриплое. Лица делаются все багровее, люди исходят ревом. Знойный воздух — все жарче и жарче, и видно, как он струится над головами гвардейцев...

По ровной линии теней, падающих от выстроенной роты, шагает командир батальона. Он поздравляет роту. Безостановочно гремит хриплое «ура».

«Ура» раздирает глотки людей, когда, наконец, подходит командир полка. Глаза раскрываются шире и шире. Медь вновь гудит и звенит, долго не замолкая. Потом оркестр затихает. «Ура» спадает, делается тише и тише и переходит в низкий рокот, постепенно замолкающий.

Командир полка ушел... Все затихает... Но из рта огромного фельдфебеля все еще струится октава и глаза его закрыты... Раскрыв рты, тяжело дышат стрелки... Молчат — и так проходят минуты.

Потом кто-то спрашивает, нарушая дисциплину, негромко и испуганно:

— Братцы! А с кем война-то?

* * *

Внезапно поздравленные с походом, гвардия и армия ревели на площадях. Запасные, в последнем разгуле, потрясали трактиры империи.

Со слезами умиления престарелые генералы, забывая о проигранной ими японской войне, услаждали себя и внимавших им рассказами о победоносной армии империи Российской.

Всем внушалось: армия лишь ждет повеления царя, чтобы в первый же час по объявлении войны двинуться и доказать непобедимость.

Генеральный штаб тщательно подготовлял империю к войне. Имелись: частные расписания на предмет войны с Японией и Китаем; на предмет войны с Китаем; на предмет войны в Туркестане; на предмет войны на Кавказе; на предмет десанта на Черном море; на предмет усмирения великого княжества Финляндского; на предмет войны против Германии и Австро-Венгрии; на предмет войны против Германии, Австро-Венгрии и Турции.

Означенные планы прорабатывались около сорока лет, то есть с момента первого франко-русского сближения в 1875 году, и, казалось, предвосхищали все возможные варианты войн. В 1913 году начальники русского и французского штабов (Жилинский и Жоффе) окончательно сформулировали русско-французские обязательства на случай объявления Германией войны — Франции или России. Купленная французскими займами, Россия была вынуждена пойти на условия, наиболее выгодные для Франции.

В июле 1914 года Генеральный штаб получил «высочайшее» приказание: «Ввиду Нашего беспокойства за судьбу Сербии¹ привести в действие расписание соответственно обстоятельствам, а именно: на предмет войны против Австро-Венгрии». Истина же заключалась в том, что под нажимом Пуанкаре (Франция) и Ллойд-Джорджа (Англия) — вопрос о войне России с Германией и Австрией был давно предрешен.

О приказе царя был извещен весь мир, дабы все знали, что справедливая тревога за судьбу славянской малой державы вынуждает Россию к «малой» мобилизации.

Генеральный штаб внезапно «обнаружил», что среди его планов никогда не было в наличии «расписания» против войны с *одной* Австро-Венгрией и всеподданнейше донес о возможности произвести лишь общую мобилизацию по «расписанию» *против Германии и про-*

¹ Австро-Венгрия объявила Сербии войну.

тие Австро-Венгрии. На сем донесении 14 июля (старого стиля) 1914 года начертано было: «Быть по сему», ибо это расписание как нельзя больше соответствовало планам Николая II и уже с ним.

Общая мобилизация началась...

Это было наруку правительству Германии, давно стремившемуся к войне с Россией и державшему наготове свои армию и флот...

Правительство Германии могло перед лицом всего мира и перед лицом своего народа представить Германию страной, подвергшейся нападению России. Зная, что начавшаяся мобилизация уже не будет прекращена,— германское правительство потребовало немедленного ее прекращения, чтобы получить неизбежный отказ. Отказ последовал, как оно и было предусмотрено германским Генеральным штабом. 19 июля (старого стиля) 1914 года Германия объявила России войну. Франция, по договору с Россией, в свою очередь немедленно объявила мобилизацию для защиты подвергшегося нападению «братского русского народа».

Объявив войну России, правительство Германии через два дня объявило войну Франции, стремясь к победоносной и сокрушительной войне в Европе. Германия и Франция, готовившиеся сорок лет к взаимостреблению, так же как и Россия, известили мир о вынужденной обороне.

«Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией»¹.

Такими путями шел процесс рождения империалистической войны, в которой все только «оборонялись».

Каждое правительство считало своим долгом упорно доказывать в печати, что оно вынуждено выступить во имя долга, во имя «высокой справедливости».

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 12.

На деле объявленная война была войной «...между двумя группами разбойнических великих держав из-за дележа колоний, из-за порабощения других наций, из-за выгод и привилегий на мировом рынке»¹.

Начиналась «...самая реакционная война, война современных рабовладельцев за сохранение и укрепление капиталистического рабства»².

Вся пехота российской армии в честь победы над Наполеоном была собрана в тысячу восемьсот двенадцать батальонов. По всей стране служили молебны во испрошение у всевышнего побед, равных победам 1812 года.

Правители России ждали войну и знали, что она придет. Но, несмотря на это, в тот день и час, когда она грянула, ничто не было готово к войне в империи Российской. Хаос воцарился на магистралях страны. Ввиду недостатка железных дорог весь поток зерна, леса, нефти, металла, руды, угля, а также мануфактуры, живности, овощей, фруктов и прочего и прочего внезапно остановился в тот час, когда на три тысячи станций империи входили четыре миллиона запасных, посылаемых единым словом одного человека — царя — на смерть.

Большая часть тысячи восьмисот двенадцати батальонов не двигалась с места в ожидании укомплектования, и война, гремевшая в каждом слове, взбудоражившая весь мир, шествовала мимо них.

Командиры полков, полагая, что на них смотрит история, писали в это время приказы. Одни, подражая повелительному лаконизму Цезаря и Корсиканца, слали приказы:

«Господа офицеры и солдаты!

Доблестный полк наш выступает в поход. Нет препятствий для русского солдата. Вы докажете, на что способна армия российская. Куда бы нас

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 334.

² Там же, стр. 334.

ни послали — повсюду найдем мы славные следы побед наших отцов и дедов.

Солдаты, исполняйте свой долг! От успехов России зависит жребий мира!»

Другие, их было более, — писали тоном отеческим, выражающим прежде всего богобоязнь:

«Поздравляю господ офицеров и вас, братцы, с объявлением войны. Вы, старые и молодые, идете на святое дело защиты православной веры от нашествия язычников — немцев. Братцы, царь наш и с ним вся Русь любовно смотрят, как собирается могучая рать. Но без бога — ни до порога. Начинай свое дело молитвенно. Проси бога, да поможет он нам исполнять службу во славу Божию и на радость государю и матушке России. Укрепляйся в заповедях воинских и христианских. И тогда: крест на груди, на врага в штыки! В прахе задохнется язычник и иноверец. Ура!»

Правительство царской России рассчитывало, что война отвлечет внимание народа от главных его врагов — царя и властвующих классов.

Правительство, печать и церковь вещали:

— По призыву царя к единению, поднимись, Россия!..

Призыв к единению был лицемерен, ибо власть, призывающая к единению, — разъединяла людей, узаконив неравенство условий их жизни.

Высшее сословие — потомственное дворянство, обладатели земель, привилегий и власти — выделялось особо (не смешивалось даже с личным дворянством) и находилось в состоянии лютой вражды с ограбленными и замученными ими крестьянами.

В такой же вражде состояли два основных городских класса — буржуазия и рабочие, так как труд рабочих жестоко эксплуатировался буржуазией.

Наиболее многочисленное сословие — сословие сельское, выдаваемое за равное и единое крестьянство, —

также было разделено, в интересах властей, на крестьян бывших владельческих, бывших государственных, бывших удельных, поселян государственных, поселян собственников на казенных землях и т. д., и т. д. У всех были разные права и достатки. К 1903 году на десять миллионов дворов — было полтора миллиона богатых кулацких дворов. Кулаки принуждали бедных (безлошадных) и средних крестьян к работе дешевой, долгой и трудной... Многие из первых были высокорослы и крепки и брались для особой службы, чаще всего в гвардейские роты. Остальные либо призывались обычно, либо браковались, как хворые и хилые. Были губернии, где вымирало множество бедных крестьян, а именно: Воронежская, Самарская, Саратовская, Рязанская, Тульская, Владимирская и Калужская.

Призыв к единению был лицемерен, ибо власть, призывавшая к единению, имела в виду лишь православных, прочие же — иноверцы — считались вредными, «погаными». Православный закон запрещал браки с «погаными» и выход из лона православной церкви.

Призыв к единению был лицемерен, ибо когда в редчайших случаях угнетаемые требовали у угнетателей помощи, угнетатели приказывали стрелять в угнетаемых и это называлось водворением законного порядка.

* * *

К воинским присутствиям направлялось четыре миллиона людей. На трактах вздымалась пыль.

Марш-маршем, обгоняя всех, неслись тройки. Развалясь на ковровых подушках, обозревали мир — небеса, поля и леса — помещики, владельцы земли русской.

Ямщики, стоя на облучках, с гиком и присвистом крутили кнутовища. Коренники рубили дробь, пристяжные свивались в кольца, и пыль клубом вставала за тройками. Объезжая толпы запасных, господа приставали в колясках и приветствовали их возгласами:

— Ура, братцы!

— Ура!

Один из помещиков, нагнав своих мужиков, махал фуражкой и кричал:

— Здорово, орлы!

— Были здоровы, теперь не будем, — несло в ответ.

Не разбирая слов, барин улыбался, кланялся и махал фуражкой. А мужики кричали ему вдогонку:

— Хлеб-то у нас неубраанный. Не как у тебя!

— Провожать легко, а как калек встречать будешь?

А барин, привыкший к почтительности и покорности, оглядывался и приветственно крутил фуражку. Ему казалось, что он видит простых, безропотных, похожих друг на друга людей, готовых на жертвы, к которым их призвали. Но мужики думали иное, свое...

Мужики шли, подымая на трактах пыль. Одни были обуты в лапти или опорки, другие шли в яловых сапогах, на третьих — хромовые штиблеты. Некоторые, несмотря на жару, потирали руки зябким движением, сызмальства приставшим к ним от бедности и мелкости их; некоторые устало и равнодушно шагали; иные ехали по трое на казенных подводах, горлая песни, и лишь немногие, в заломленных набекрень черных и синих картузах, гарцовали на собственных конях, разукрашенных лентами.

Скопища людей, конвоируемые полицией, сходились с разных сторон — из шестисот тысяч селений и двух тысяч городов империи. Скопища росли отчаянно и тоскливо гудели и двигались к сборным пунктам, где их ждали воинские начальники, приемщики, полицейские чины. На каждую тысячу душ, согласно статьи двести восемьдесят девятой Устава о воинской повинности, приходился один врач, коему вменялось в обязанность пропустить эту тысячу душ без замедлений.

Шли люди из сельских местностей, поселков, местечек, слобод, поселений и пригородов, заштатных и безуездных городков. Шли крестьяне, мещане, посадские, ремесленники и цеховые. Каждый из них оставил свои занятия, промыслы или службу; свою семью, избу, квартиру, дом!

Высочайший приказ обязывал к явке всех, за исключением: пункт первый — умерших, пункт второй — приговоренных судом к лишению всех прав состояния и пункт третий — признанных неспособными по болезни.

Офицеры и чиновники запаса ехали, предуведомленные лично за сорок восемь часов (в целях устройства домашних дел), снабженные прогонными деньгами из расчета поверстных расстояний. Прочие же — неблагородных званий — шли без предуведомлений, провожаемые (согласно пункта четвертого закона о нижних чинах запаса армии и флота) полицией: уездными исправниками, становыми приставами и прочими полицейскими чинами по назначению губернаторов, а также командами, наряжаемыми от воинских начальников. Скопища людей шли из глубин страны к сборным пунктам и станциям железных дорог.

Среди воя и плача провожающих тронулись первые эшелоны мобилизованных. Они пересекли леса, горы и равнины, шли со всех сторон империи, скрепчиваясь, обгоняя друг друга, расходясь и исчезая — увозя четыре миллиона призванных из запаса мужчин.

Следом тронулись эшелоны интендантства. Они шли, пересекая леса, горы и равнины, шли со всех сторон империи, шли скрепчиваясь, обгоняя друг друга, расходясь и исчезая — везя миллион изъятых у сельского населения лошадей, быков и коров. Эшелоны шли сутки, другие, третьи и дольше. Мобилизованные передвигались по всем железнодорожным магистралям страны. В пунктах сосредоточения скоплялось множество запасных. Понятия — «расписание поездов», «дороги транзитные», «дороги отправления», «дороги принятия» и понятия — «поезда товарного движения», «поезда большой скорости» бесследно исчезали...

Предмобилизационный период, предусматривавший планомерность сборов, вывоз семей из пограничной полосы и пополнение запасов, был смят внезапностью происшедших событий. В Петербург из разных округов летели телеграммы о нарушении планов, о финансовых затруднениях и об отсутствии запасов.

Армия требовала ежедневно, нарушая все предположения Генерального штаба и интендантства, миллионы пудов хлеба, овса, скота, сена, соломы и прочего. И интендантство увидело, что нормы, вычисленные до войны и утвержденные высочайшими приказами, уже превзойдены вдвое.

В первые же дни после объявления войны нарушилось планомерное снабжение страны и армии. Возникли новые сложные формы и трудные условия жизни, оказавшиеся в тесной зависимости от действия тех, кто объявил войну. Но пострадали от этого главным образом те, которые этой войны не ждали и не хотели.

Станции и вокзалы затоплялись лавинами перевозных, торопливых, мечущихся людей, потерявших внутреннюю опору — привычку. Уходили сборные поезда, составленные из вагонов всех классов, и синие вагоны первого класса перемежались с серыми вагонами четвертого, что до сей поры считалось немыслимым.

Люди с испугом убеждались в том, что поезда, точно уходившие в 7 часов 30 минут, 8 часов 15 минут, 9 часов 25 минут и т. д., больше по расписаниям не идут. Люди, не понимая происходящего, объясняли себе все одним словом — «война». На станциях все запасы были съедены и выпиты, и, не понимая, как может быть, чтобы не было ситного, колбасы и чая, люди снова искали объяснений в слове «война», которое ничего не объясняло. Жизнь становилась все непонятнее и страшнее.

* * *

Приграничные губернии России пустели. С моря дули северные ветры. Ветры выли над брошенными берегами, над пустынными дюнами, мимо которых вспять уходили поезда. Волны обрушивались на покинутые пустынные балтийские пляжи... Сгибаясь от ветра, стояли у моря лишь одинокие часовые-пограничники.

Жители брели к станциям, волоча скарб и увязая в мелком песке. Они валялись на платформах, на скамейках, на станционных столах, просто на земле среди своих узлов и корзин, котомок, бутылей, кувшинов,

чайников, цветочных горшков, среди странной путаницы нужных и ненужных вещей. Вдали урчали непонятные громы, люди внимали им и прижимали к себе своих детей в беспредельном отчаянии. Среди этих людей, лишь впоследствии названных «беженцами» (по неистребимой людской привычке к классификациям), были торговцы и менялы — вкрадчивые и жадные до барышей. Они тайком предлагали в обмен на золото — съестные припасы. Они не сразу называли цены не только из боязни быть услышанными, но и боясь услышать произнесенные вслух ими же назначенные баснословные цены. Но так как война сместила все привычные понятия, эти невероятные предложения вызывали не гнев и расправы, а покорное и грустное согласие. Женщины отдавали последнее, чтобы накормить детей.

Какие-то горячие и пылкие молодые люди — чиновники, студенты и курсистки — бегали, пытались что-то объяснить, кого-то зачем-то объединить, чтобы о чем-то хлопотать. Но лежавшая на земле масса понурых, усталых, притихших мужчин и женщин не откликалась. Иногда тишину сырого дня нарушал плач, чья-то бесцельная жалоба, обращенная к «всемогущему».

Молодые люди нервно спрашивали стариков и женщин:

— Что же вы будете делать? Боже мой!

Молчанье... Потом одна женщина покорно ответила:

— Умирать будем.

В надвигавшихся сумерках шумели приморские сосны, и станция постепенно погружалась во тьму. Люди боялись огня, боялись шума в предчувствии близкой катастрофы.

В запертую дверь, за которой скрылись служащие станции, стучали кулаками:

— Откройте! Откройте же!

Служащие боялись открыть, никого не желая впускать. Телеграфная лента говорила о том, что где-то еще сохраняется какой-то порядок, какая-то жизнь. Частица этого передавалась сюда, в закрытую комнату, стуком аппарата, и она, эта частица, успокаивала их. Служащие боялись, что если в их обитель во-

рвутся бежавшие, то все окончательно погрузится в хаос, неизвестность, страх... Нарушится последний намек на «порядок».

За дверью кто-то рыдал и умолял взять ребенка... Кто-то кричал во тьму:

— Убийцы, мерзавцы! Сволочи! Слышите!

Неведомо откуда пришли, гремя сапогами, оставшие от эшелона запасные. Они засветили ручной фонарь и сели. В его рыжем свете они запели:

Славна-ая морря,
Свищенный Байкалл,
Славный каррап,
Амуллевая бочька-а...

Сибирская песнь стенала в тускло освещенном, набитом людьми помещении. От пришедших шел тяжелый сивушный дух... Они звали женщин:

— Эй, тетка!

— Милка, чего хопь проси, только иди к нам!

К запасным тихо подошла женщина. Здороваясь, она протягивала мужчинам руку лопаточкой.

— Пей, Лиза, или как тебя?!

Женщина выпила, не закусывая, и прикрыла рукой рот с обнажавшимися при улыбке деснами. Запасные тоже приложились и снова запели и застучали каблукми.

В дверях показался жандарм. Он поморщился и приказал:

— Уйдить отседа. Ну!

— Господин дандар... За верцаряютечество! Немца бить едем.

Жандарм, нашедший возможность действовать, возможность, возвращавшую ему, хоть ненадолго, подобие внутреннего равновесия, повторял:

— Уйдите.

Запасные покорно встали и, пошатываясь, ушли. Женщина уныло побрела за ними.

Приграничные губернии России пустыли.

Для сведений Санкт-Петербургского телеграфного агентства, умещавшихся в начале дня на сантиметровых полосках телеграфной ленты, к вечеру едва хватало места в витринах газет.

Г е р м а н и я о б ъ я в и л а Р о с с и и
в о й н у»

«В с е о б щ а я м о б и л и з а ц и я»

«Б о и у Б е л г р а д а»

«В э т и р о к о в ы е ч а с ы»

«Н а м у г р о ж а ю т»

«М ы д о л ж н ы»

«М ы д о л ж н ы»

И люди, толпясь у витрин, сами не замечая того, повторяли: «Нам угрожают», «Мы должны...»

Газетчики наводняли улицы, выкрикивая названия монархических, кадетских и прочих газет:

«Новое время»

«Речь»

«Биржевые ведомости»

«Петербургский листок»

«Петербургская газета»

«Вечернее время»

«Газета-копейка»

Толпы окружали газетчиков... Напор был стремителен — каждый требовал «свою» газету, к которой он привык, взгляды которой отвечали его взглядам; но скоро все с удивлением обнаружили, что газеты повторяют всё одни и те же слова:

«Многострадальная Сербия взывает о помощи»

«Нам угрожают»

«Мы должны» и т. д.

Редакторы газет охрипшими голосами долбили по телефону своим сотрудникам:

С о о б щ и т ь, что армии уже победоносно идут вперед, и уверять всех, что: «В п о б е д е у в е р е н ы в с е».

Сообщить, что: «Мы снабжены всем». Перелистайте-ка «Биржевые ведомости» и найдите мне статью Сухомлинова.

Сообщить, что: «Попран нейтралитет малых стран». Валяйте о Сербии, — найдете у Брешко-Брешковского, в «Ниве», в «Аргусе».

Сообщить, что: «Противник нуждается в припасах» или в амуниции, справьтесь...

Была одна маленькая петербургская газета Российской социал-демократической рабочей партии (больше-виков) — «Правда». Только она сумела бы объяснить испуганным и сбитым с толку людям истинную суть происходящих событий, но она была, в предвидении этого, поспешно закрыта царскими чиновниками.

Если бы не этот произвол, то, очевидно, в «Правде» в то время были бы напечатаны следующие строки обращения ЦК РСДРП (больше-виков)¹:

«Европейская война, которую в течение десяти-летий готовили правительства и буржуаз-ные партии всех стран, разразилась. Рост воору-жений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династи-ческие интересы наиболее отсталых, восточно-евро-пейских монархий неизбежно должны были при-вести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирую-щей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внима-ния трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одура-чивание рабочих и истребление их авангарда в це-

¹ Речь идет о манифесте ЦК РСДРП «Война и росспйская социал-демократия», написанном В. И. Лениным и опубликованном в ЦО РСДРП газете «Социал-Демократ». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 9.)

лях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное со-
держание, значение и смысл современной войны»¹.

Обращение это было опубликовано лишь 1 ноября 1914 года в Женеве, в газете «Социал-Демократ».

Пропаганда войны в империи принимала грандиозные масштабы. Прессе вменялось в обязанность убеждать людей в том, что каждый из них — защитник и спаситель царя и отечества. Каждая буква газет угрожала врагам... «Тевтоны, сеющие бурю, сразит вас грозный ураган». Ошалевшие читатели недоуменно повторяли:

— Ураган!

— Ураган?

— Ага, ураган!

Столицу и страну наводняли ложными сведениями и «квасно-патриотическими» воплями...

* * *

Гвардия, флот и армия двинуты монаршим указом бить врага. Санкт-Петербург провожал войска.

Полки стояли на плацах столицы — пышные и совершенно неподвижные. Линия строгих и чистых лиц казалась удручающе-однообразной. Фуражки с острыми тульями были одеты с давним умением — сдвинуты к правой брови, открывая чистые лбы. Кокарды сверкали точно над переносицами; ремешки были подтянуты вровень с нижним кантом околышей, и ни одна пылинка не портила блеска козырьков. Волосы подстрижены у всех, и сквозь оставшийся тонкий их слой просвечивала вымытая кожа.

На всех были новые, тщательнейшей пригонки, защитного цвета гимнастерки и шаровары. Плотнo в кольца скатанные серо-песочные шинели сбегали с левых плеч и массивами охватывали и округляли торсы. Скатка закрывала каждому левую сторону груди, где обычно быть положено знакам отличия. Знаки отличия на муаровых ленточках: пунцовых, голубых, черно-оранже-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 11.

вых, лиловых и других были, как разрешалось в данном случае; на открытой правой стороне груди и ослепительно сверкали.

Плечи каждого были залиты пурпуром, накладным и шитым золотом. Шевроны и пряжки пылали. Ремни и снаряжение пахли наилучше выделанной кожей.

Несчастные, вымуштрованные люди! Вдвойне несчастные оттого, что большинство из них еще не понимали своего несчастья, всей бессмысленности предстоявших им подвигов и жертв.

Полки всколыхнулись и замерли. Перед строем летали адъютанты и ординарцы. Водители полков разошлись по площади команду:

— К церемониальному маршу!

Полки, в последний раз одетые и обутые царем, двинулись, держа про себя счет — сто шагов в минуту, на двадцать пять более противу каданса, коим шли в Париж в 1813 году. Полки шли, взмахивая правыми руками вперед до приклада, назад доотказа и высекая сапогами искры из камней мостовых.

Гвардия уходила на войну медлительным российским шагом... Санкт-Петербург провожал войска.

* * *

Платформа Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. На войну первыми уходят царскосельские полки.

Раскрыты двери товарных вагонов. На них надписаны мелом номера рот и взводов. На перроне построены отбывающие гвардейцы. Давно не стриженный человек в странной одежде подошел к солдатам. Он держал в руках доску из липового дерева, на которой было изображено мертвенное лицо оливкового цвета с усами и бородой (доска была фабричного изготовления). Приподняв доску на уровень своего лица, человек заговорил нараспев:

— Христолюбивые воины! Се перед вами святая икона Христа-спасителя, от царского чертога препосланная. Приимем святой сей залог благоволительного внимания. Значит прилежно поискало отче-е сердце благочестивейшего госуда-ря для нас утешени-я и благословени-я на подвиг ра-атный. Господь вседер-

житель, владычествуй над нами, иже на небеси и на земли, во вла-сти коего судьбы ца-арств и наро-о-дов. Обещает господь покой всем при-ходящим к не-ему. Обещает господь покой паче тружда-ающим-ся, как вы теперь, до крови и смерти на поле-е бра-ани и за ве-ру, царя и отечество-о. Кроме оружия вещественного, коим врага истребим, вооружимся сердечной молитво-ою.

Сделав паузу, человек уже голосом повелительным добавил:

— Веруйте! — и пошел вдоль шеренги, покачивая доской вверх и вниз, вправо и влево. Солдаты крестились, глядя на доску...

— На-кройсь!

Фуражки были надеты одинаковым жестом набекрень.

— По вагонам!

Солдаты устраивались на нарах товарных вагонов. Снимали снаряжение, гремели котелками.

— Открыть доступ прощающимся!

Перрон залила нарядная толпа петербуржцев. Среди мужских соломенных панам, форменных фуражек, цилиндров и треуголок мелькали цветы и перья на шляпках дам. Они шли к офицерскому желто-коричневому вагону. Офицеры спешили им навстречу.

Пожилая дама надевала на шею склонившегося перед ней сына образок и часто-часто крестила его. Кто-то возбужденно сообщал последние новости... Раздавался смех, слышались чьи-то рыдания...

Надпись на офицерском вагоне гласила: «С.-Петербург — Вержболово». Кто-то дописал: «Берлин».

Бородатый солдат с усталым лицом наблюдал за господами. От офицерского вагона отошел мальчик в белом матросском костюмчике. Заметив солдата, он подбежал к нему. На бескозырке мальчика, несколько сдвинутой назад и открывавшей светлые подстриженные челкой волосы, была Георгиевская лента и золотом было выведено «Штандарт». Мальчик держался свободно и говорил повелительно:

— Папа гова'ит, что вы ско'о ве'нетесь.

Солдат вытянулся, как перед начальством:

— Так точно, вернемся.

— Вы п'ивсете мне 'ужье?

— Так точно, привезем.

— И пат'оны?

— Так точно, и патроны.

— Без пат'он нет смысла возв 'апаться.

— Так точно, нет смысла.

— Вы и себе достанете, чтобы было по'авну?

— Так точно, поровну.

Мальчик спросил:

— Как тебя зовут?

— Ягор Петров Сухов.

— А меня г'аф Михаил. Зд'авствуй.

— Здравья желаю, ваше сиятельство.

— Кто вас п'аважает?

— Так што никаво, ваше сиятельство.

— Почему?

— Так что кои в деревни, а кои в городе — так на работе.

Одна из дам оглянулась и, укоризненно покачав головой, позвала мальчика:

— Michel!

В солдатском вагоне гармонист запел с глубоким чувством:

Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горнишь в огне...

Задумчиво слушали его солдаты. Хроменький барин подошел к вагону и, подозвав гармониста, протянул ему кредитку.

— Пожалуйста, сыграйте лучше что-нибудь веселенькое.

Гармонист рванул плясовую. В вагоне засвистели, затопали каблуками. На перрон вышел танцор. Он начал плясать, держа прямо голову и корпус, лицо его было строго. Солдаты столпились в дверях, подошли и из соседних вагонов, некоторые присоединились к плясавшему. Из-под ног взлетали облачка пыли. Солдаты наблюдали с чувством, с толком — кто как

пляшет. Дамы сдержанно улыбаются: «Очаровательны эти солдатики». Плясуны строго молотили землю.

В круг танцующих вбежал юный подпоручик. Солдаты замерли, а подпоручик понесся, все ускоряя ритм танца, — желая быть лучше всех.

На него восхищенно глядели. Офицеры и провожающие подошли ближе... Дамы лорнировали его...

Подпоручик внезапно оборвал танец ослепительным поворотом... В наступившей тишине бородатый солдат восторженно загудел:

— Ну и сукин сын! Как пляшет!..

Мгновенное растерянное молчание. Общество замерло. Солдаты вытянулись. Лица офицеров помрачнели, они поспешно уводили дам... Подпоручик негромко спросил свою роту:

— Кто это сказал?

Молчание.

— Кто это сказал, шаг вперед!

Подпоручик повторил:

— Шаг вперед, я сказал!

Бородач сделал с левой ноги шаг вперед.

— Хам! Забываешься?

Солдат стоял навтыжку.

Подпоручик замшевой перчаткой от «Боз Сарда», пропитанной духами любимой, привстав на цыпочки, больно хлестнул бородача по лицу.

— Проси прощения!

Молчал солдат.

Подпоручик хлестнул еще раз.

— Не понимаешь?

Молчал солдат и, меняясь в лице, пристально глядел на маленького подпоручика.

Мягкий тенорок подпоручика стал неприятно визгливым:

— Говорить не умеешь? Разучился? А? Языка нет?

Подпоручик еще раз хлестнул солдата...

По перрону бежали простоволосая женщина с кульком в руках и мальчик. Они бросились со слезами к бородачу:

— Тя-тя-а...

— Сеничка!..

Мальчик, маленький курносик, грозил подпоручику кулачком:

— Чево дересся!.. Чево дересся!

Женщина плача протягивала мужу кулек.

Солдат стоял вытянувшись, глядя, как полагалось, на подпоручика.

Подпоручик нахмурился.

— В дороге разберемся,— и отошел...

Горнист протрубил сигнал. Раздался заунывный долгий гудок паровоза. Женщина повалилась мужу в ноги, обнимая его сапоги. Солдат, поднимая жену, что-то хотел ей сказать, слезы текли по щекам его, но унтера закричали:

— Сади-и-сь!

И бородач побежал к вагонам.

— Тя-ать, а тя-ать... Тятинька-а-а...

У женщины вырвался крик, полный беспредельной тоски:

— Сеня, мила-ай, Сеничка-а-а...

Мимо шли вагоны и гремело потрясающее, отчаянное «ура».

Женщина рыдала невыносимо. Рыдал и мальчик, прижимаясь к матери.

Поезд ушел... По опустевшему перрону мерно шагал жандарм... Он увидел женщину, являвшую своим видом беспорядок... Жандарм подошел к ней, приподнял ее, поставил на ноги.

— Тетка, прекрати, слышь, прекрати.

Постепенно она стала затихать...

Дрожащим, растерянным голосом женщина спросила:

— Господи... милые мои... А гостинчики-то как же? Милые мои... Как же гостинчики-то?

Жандарм повел женщину к выходу, за ними плелся, утирая слезы, мальчик. Женщина прижимала кулечек к груди и все спрашивала и спрашивала:

— Как же ему гостинчики-то отдать? Как же отдать-то?

Жандарм подтолкнул женщину к выходу, поглядел ей вслед, потом, успокоенный, оправил портупею, подкрутил усы и вновь двинулся мерным шагом по перрону.

Санкт-Петербург провожал войска!

* * *

Гвардия и армия шли на войну.

Когда армия приняла запасных, она была поднята и поставлена на колеса. Армия оторвалась от своих казарм. Пять тысяч пятьсот эшелонов уносили армию к границам. Верная заветам старых лет, она двинулась в поход, утяжеленная громоздким и сложным имуществом. Она тащила его за собой, уподобляясь армиям прошлых веков, за которыми следовали тяжелые обозы со скарбом, живностью и прочими запасами. Каждая дивизия шла в шестидесяти эшелонах, в то время как каждая, молниеносно брошенная, германская дивизия шла лишь в тридцати эшелонах.

Из глубин империи к фронту, по дорогам различных профилей, различной прочности, различных радиусов и кривых, шла армия, меняя скорость в зависимости от характера участков, от мощности паровозов, от наличия двух или одной колеи, от сложности прохождения узловых станций, забитых эшелонами и брошенными товарными составами.

Все эти трудности не учитывались начальниками эшелонов, требовавшими все более ускоренного и ускоренного передвижения войск. Они возмущались установленными графиками движения, так как пропускная способность, обозначенная сетью сложных линий и цифр, оскорбительно противоречила священным и простым суворовским понятиям: «Быстрота и натиск!»

Офицеры требовали от путейцев быстроты, быстроты и еще раз быстроты. Путейцы, скрывая раздражение и считая, что разговоры бесцельны, все же убедительно и спокойно объясняли офицерам:

— Вот, гс-да, максимальный абсолютный график — параллельный, вот максимальный график с сохранением поездов большой скорости, вот специальный график

и вот использованный график. Следите по вертикальной оси...

Офицеры, делая вид, что им все понятно, скользили глазами по путанице линий и снова настойчиво просили «ускорить» и «пропустить», а при возражениях раздраженно и упорно доказывали, что со средней скоростью в сорок верст в час эшелоны их полка свободно могли бы покрывать в сутки девятьсот шестьдесят верст и что возражать против этого не стоит, принимая во внимание военное время.

Путейцы, сдерживаясь, доказывали, что на движение грузового транспорта приходится семнадцать процентов, на технические остановки тринадцать процентов, на опоздания — четыре процента, на погрузку и выгрузку — тринадцать процентов и на маневры пятьдесят три процента времени. Этим и объясняется то, что непререкаемые и идеальные цифры, так обстоятельно приведенные господами офицерами, несколько видоизменяются практикой. Что же касается того, что эшелоны их полка прошли за последние сутки всего лишь триста пятьдесят верст, характеризует наивозможнейшую в данных условиях быстроту... Но офицеры требовали большего, убеждая путейцев в том, что эшелоны их полка должны во что бы то ни стало поспеть к первому сражению.

Подчиняясь магическим словам «военное время», путейцы в конце концов уступали и ломали график, бросая эшелоны окружными путями, стремясь к тому, чтобы войска безостановочно шли вперед, в результате чего пути следования полков увеличивались на сотни лишних верст. Даже там, где войска могли идти походным порядком, выигрывая время, а не теряя его на многосуточные ожидания, погрузки и прочее, их для скорости отправляли эшелонами. Только на восьми магистралях эта гонка дала выигрыш во времени. Сибирская, Самаро-Златоустовская, Сызрано-Вяземская, Александровская, Привислинская, Полесская, Либаво-Роменская и Московско-Виндаво-Рыбинская магистрали донесли о сем успехе и были удостоены благодарности. Но нигде не упоминалось о том, что срочно выброшенные у границ Галиции и Пруссии войска не

нашли ни ожидаемых соседних частей, ни развернутых продовольственных баз, ни обслуживания и, лишённые своих тылов, оказались в труднейших условиях. Остальные войска из-за несоблюдения графика шли с запозданиями туда, где уже были развернуты продовольственные базы.

Армии шли по двум направлениям.

По плану Генерального штаба главный удар русских войск должен был быть направлен на наиболее выгодный театр военных действий и против более слабого противника — на Австро-Венгрию. Одновременно Россия должна была выполнить свои обязательства в отношении Франции и начать на пятнадцатый день мобилизации наступление на Восточную Пруссию. Ставка приняла решение наступать на двух фронтах, не считаясь с тем, что к этому времени располагала лишь одной третью всех вооружённых сил России, ибо мобилизация могла закончиться не ранее сорокадневного срока. Преждевременность начатого наступления неотмобилизованными и не имевшими хорошо организованного тыла армиями лишила русские войска возможности закрепить и развить успешно начатые операции. Ставка, убедившись в том, что основные силы Германии были брошены, против всех ожиданий, на Францию, не сумела использовать представившуюся ей возможность нанести скорый и наиболее губительный для противника удар — на Берлин.

Страна ждала обещанного быстрого победного марша армии. Хлеставший из ротационных машин поток газет кричал о скорых решающих сражениях. А в это время две трети армии империи Российской лишь начинали развертываться, занимая исходное положение у границ Германии и Австро-Венгрии. Плохие дороги тормозили движение, мосты не выдерживали веса тяжелых батарей и грузовых автомобилей. Дороги, по которым нужно было идти, были испорчены временем; для их ремонта требовались тысячи пудов щебня и сотни катков, к чему интендантство не было подготовлено. Со всех сторон возникали неожиданные требования, ранее неизвестные и не предусмотренные уставом. Военно-полевые карты не соответствовали местности, а местность — картам.

Основные силы — корпуса и дивизии — следовали к указанным им местам, и по мере их хода становилась ясной не только ошибочность направления марша, но и вопиющая нерешительность Генерального штаба. Армии вытягивались цепочкой, юго-западная часть которой — против Австро-Венгрии — взяла семь двенадцатых всех сил, а западная и северо-западная — против Германии — пять двенадцатых. В угоду Франции русские войска распределялись почти в равной мере и на границе с Германией и на границе с Австро-Венгрией. Создав такое странное, противоречащее основам военного искусства распределение сил, Ставка не учла ни тактику врага, ни новые средства борьбы, ни силу огня германской артиллерии.

Блестяще начатое и выигранное русскими войсками Гумбинен-Гольданское сражение не принесло решающего успеха; более того, русская армия в Восточной Пруссии была в конце августа окружена и понесла тяжкое поражение. Причиной этому была неподготовленность русской армии и тыла в начале войны к длительному наступлению. На Юго-западном фронте после кровопролитных боев русская армия отеснила противника и к концу 1914 года заняла Галицию.

Вместо предполагавшихся «по плану» нескольких генеральных сражений военные действия свелись к ряду и крупных, и незначительных боевых операций, разбросанных по фронту, изнурительных, длившихся неделями, месяцами, годами...

ГОД 1915-й

Глава четвертая

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

I

По всей империи Российской все чаще и чаще на стенах домов и заборах пестрели лиловые и голубые листки с двуглавым орлом: «Призвать на военную службу...»

Уходя в июле 1914 года на фронт, войска оставили черные свои казармы — низкие, прокопченные сводчатые каморы со слепыми окнами и гулкими коридорами, затхлые склепы с погасшими перед иконами лампадами. В каморах остался неистребимый запах махорки, кожи, карболки и пота... Лестницы разрушались, сырость разъедала тяжелые камни, и сквозь трещины пробивались бледные ростки чахлой травы...

Здесь, в этих брошенных казармах, шло обучение запасных батальонов.

Каморы после ухода войск наполнились согнанными сюда запасными и ратниками ополчения. На плитах казарменных коридоров с рассвета до вечера муштровали белобилетчиков и никогда до этого не служивших сорокалетних, сорокапятилетних и даже сорокасемилетних мужиков. Вечерами их загоняли в шевелившуюся от вшей соломенную труху на многоярусных деревянных нарах.

Это готовили, для пополнения армий, маршевые роты.

Запасных плохо кормили. Они пропитывались смрадом коптевших ламп. Запасные, в большинстве своем

крестьяне, привыкшие к деревенским просторам, заболели от недостатка воздуха, затхлости и сырости казарм. Они становились вялыми и апатичными, и вид их ничем не вызывал представления о военной силе.

В тускло освещенных каморах и в коридорах по-прежнему раздавались команды... Унтера обучали запасных:

— Пад-равняйся! Образование выправки слушай! Гляди все! Пятки вместе, носки разведены на ширину приклада. Промеж колен просвету нету. Голова ни опущена, ни вздернута, но держитца прямо по своей высоте над землей... Всякий видит: ты есть солдат и готов отдать свою жизнь за веру, царя и отечество... Чего ты кривисси, ну? Держи голову прямо, ну!

Человек злобно глядел на унтера и повторял:

— Не могу я, не могу я, не могу...

— Это-то как?!

И унтер, еще сохранивший часть довоенного блеска, пораженный неслыханным ответом, впился глазами в говорившего.

— Muskül у меня поврежденный... В детстве ушибли...

Унтер отошел от запасного, недовольный тем, что приходится обучать разных калек. Потом ведь с него на смотр спросят: «Почему у такого-то солдата голова дергается, зачем дергается, чего глядел обучающий? И где он, этот обучающий? Подать его сюда!» А что обучающий может сделать, если гонят таких, прости господа, солдат. И снова голос обучающего размеренно бубнит:

— Слушай дале. Стойка. Что есть стойка? Стой так, чтоб у тебе кокарда, нос, разрез воротника мундера... М... м... Ну, мундер теперь не носят — это в мирное время носили. Ну, все одно, — шток середка горла, поясная бляха... ну, теперь и блях не носят... ну, середка пояса — были на одной линии. Фуражечку сдвинь набекрень, лоб открытый... Не морщись, ты, — полено! Когда стоишь, щупай себя тихонько — где шов, по шву руки держи, шток как засохшие были. Карманы штокбы всегда пустые были, штокбы не топырились. Не на то даны карманы, штокбы топырились.

В строю беспрерывно кашляли — то один, то другой. Некоторых трясло от нудного, мокротного, глубокого, всхлипывающего кашля.

— Чего чахотку делаете? Тиха! Смирна! Давай отдашь чести. Рука шток как на пружине летала, ладонь как досточка. Отдашь чести дело серьезное. Честь на ходу—стоящему начальнику, честь на ходу — идущему начальнику. Отдашь чести с ружьем на ходу. Впрочем, про ружье у вас понятия нету, ружьев теперь не дадено... Ну ладно... Обойдется пока... Главное имей лихой вид! Давай ответ громче, и глаз чтоб был пронзительный!

Голоса у обучающихся скучные, без былой игры и рычаний, стремительных ударений и бархатных вибраций. Унтера уже не видят в службе красоты и, лишь подчиняясь дисциплине и привычке, вторят давнее-давнее, ощущая появление в себе тяжких беспокойств и внутренних, впервые тревожащих, сомнений.

— Прости господи, да што же это?..

И в казармах ощущалась смещенная, искаженная войной, чудовищно разлаженная жизнь.

В ГАЛИЦИИ

II

Пешим порядком пригнали запасных в Галицию, к реке Дунайцу. Они расходились по частям, встречаемые командирами и духовенством...

В одной из бригад маршевиков¹ встречал священник. Он перекрестился, перекрестил солдат и сказал:

— Под крестом служим, крестом себя осеняем... Выпала вам радость служить в части, где блюдут веру...

¹ Маршевики, маршевые команды пополнения — команды из запасных, отправлявшиеся в военное время на фронт для укрепления полевых войск. То же наименование присваивалось командам новобранцев, отправлявшимся в войска с мест призыва.

В других полках убиенных бросают, а у нас всех зарывают, и отпеваем каждого, и крест ставим...

Солдаты крестились, благодарили.

По фронту, смущаясь, прошел командир бригады, из запасных старичков. Когда к нему подошли представиться вернувшиеся из госпиталей на фронт раненые офицеры, он как бы извинился перед ними за то, что командует бригадой:

— Уж вы, дорогуши, не осудите, если что... Я старый вояка. Вы еще под стол пешком ходили, а я уж давным-давно офицером был. Хозяйством заведовал, на пенсию вышел... А тут война... Опять заведовал хозяйством, да раз как-то остался за старшего, а тут без вас австрийцы нагрянули и, представьте, сдались в плен. Ну что ты скажешь! Успех, батенька, успех... Ну, настроили в штаб, и оказался я в героях... Бригадой командовать приказали. Ну что ты скажешь!..

Командир подошел к солдатам и спросил, мигая слезившимися глазками, одного из маршевиков:

— Ну, как тебя зовут?

— Еремей Севастьянов, ваше высокородь.

— Так вот, Еремей Севастьянов,— с кем мы воюем?

— И с немцом.

— Так. Молодец.

— Рад стараться, ваше высокородь!

— А почему воюем?

Севастьянов виновато поглядывал и молчал.

— А за что все-таки воюем?

Маршевик мялся.

— Эх, дура-борода... А ну, подумай...

— За вер-царя-отечество.

— То-то.

Люди включались в размеренный порядок окопной жизни. Жили в землянках, таскали бревна, доски, колья и проволоку, укрепляли позиции. Вернувшись, варили чай и торопливо, обжигаясь, пили его из металлических кружек.

По субботам их водили в баню. Фельдфебель из старослужащих досадливо останавливал строй и объяснял:

— В ногу, в ногу ходи! Без ноги теряетца первоначальный смысл!

В одной из лучших хат, в нескольких верстах от позиции, помещались канцелярия и казначейство части. Бухгалтер, из запасных, с Иваново-Вознесенской мануфактуры, которого почему-то звали «дяденька», грелся на солнышке у крыльца, кормил остатками супа галицийских ребят, бледных, с большими животиками, и гладил их по головкам:

— Внучкй, внучкй... Эх, господи... Милые вы мои...

К службе «дяденька» относился на редкость исправно: составлял ведомости, списки и требования, которые направлялись по назначению.

В полевых казначействах и канцеляриях работа велась тихо и аккуратно, творились великие хозяйственные дела.

Заприходовывались люди и кони точно и аккуратно. Выводились же в расход при смертях, ранениях, контузиях и пленениях с опозданием. Опоздания эти давали разницу между наличным составом и списочным. По списочному составу востребовывались довольствия: денежное, вещевое и прочее, и разница в составе доходила порой до тысячи — двух тысяч и трех тысяч человек на полк. Списки, которые шли в интендантство, доставляли, таким образом, благосостояние, а списки о потерях, которые шли в штабы, вызывали награды, сочувствие и соразмерное облегчение боевых тягот, ибо на пострадавшую часть нельзя возлагать задач, подобных тем, кои можно возлагать на укомплектованную и свежую. И, таким образом, по спискам получалась разница на всю армию в сотни тысяч штыков. Разница обходилась в миллиарды рублей тем, кто платил налоги на военные нужды, то есть семьям живых и убитых, раненых, контуженных, попавших в плен и пропавших без вести солдат. Сумма эта превышала сумму в три с четвертью миллиарда рублей, выплаченных правительством в качестве пособий семьям мобилизованных.

Такой порядок давал по сто и более тысяч экономии наличных денег частям. Эти скрытые от казны капиталы увеличивались дешево приобретенными конями, бричками, фаэтонами, фурманками, скотом, тканями и продо-

вольствием. Все это числилось как «частное имущество». Отягощая тылы и лишая их быстроты действий, оно радовало благоприобретателей. Денежные ящики по негласному принуждению охранялись особо: заведующие хозяйствами отбирали дюжину степенных, хозяйственных мужиков из запасных. Им предлагалось: либо хранить и защищать до смерти денежный ящик в обозе второго разряда, либо... на позицию. Мужики клялись помереть, но ящики сохранить и неотлучно при них находились.

Тысячи стяжателей ждали конца войны, чтобы привезти домой награбленные ими капиталы и пустить их в оборот.

«Дяденька» заботился и о раненых воинах. Забота эта заключалась главным образом в коммерческих комбинациях, осуществлявшихся им совместно с частью персонала полевого госпиталя. Вместе творили они свои темные дела и жили плотной артелью, наживаясь и за счет раненых солдат. Многие раненые совсем не ели, или ели в пол-ложки. Не пропадать же добру! Добро всегда добро, на добре добро нажить можно! Ежели швыряться добром, так и прокидаться можно! Суп, кашу, корки прибирай! Прибрал — свинью, кабана купи. Купил — корми! Они вес и приплод дадут. Жаловаться нельзя, чего бога гневить...

Выдаваемый харч артель скармливала свиньям. Сами ели покупное сало, колбасу, помидоры...

Некоторые санитары снимали с раненых, с умерших, даже с ампутированных рук жалкие алюминиевые колечки с нацарапанными датами боев, с инициалами... Это давало тридцать — сорок копеек доходу с кольца, так как в России многие господа интересовались сувенирами с театра военных действий и охотно их покупали. Старые сапоги, обрезки штанов, портков и рубах шли также в дело: их скребли, мыли и спускали галицийским портным и сапожникам.

Когда в местечке развернулся госпиталь, туда сбежались местные жительницы. Они жались к стенам, — тощие, голодные, с мисками в руках. Им плескали иногда остатки супа.

Однажды «дяденька», пошептавшись с санитарам, собрал женщин и предложил им:

— Работать будете?

— Дзенькую, пан!

— Харчи дадим.

— Цо пан муви?

— Попропадаете! Жалко вас. Работу дам. Только вот: жалованье какое в военное время? Нет жалованья. Русский солдат — герой, и тот рупь в месяц получает. За паек работать будете.

Тощие женщины шли на его условия. Они прислуживали в канцелярии, в госпитале, ухаживали за скотом, убирали. В госпитале их подкармливали. Они наливались румянцем, хорошели, обретали свою женскую силу и быстро забывали о голодных днях.

Постепенно женщины, спасаясь, отдавали себя во власть «артели» (санитарам, «дяденьке» и прочим). «Артельщики» под мудрым руководством «дяденьки» и ему подобных богатели и обрастали жиром, иногда даже забывая о близости позиций. О ней напоминали лишь раненые, которых привозили к ним с фронта. Тогда «артельщики» сокрушались:

— Народу сколько бьют, грех какой! Земле, иначе, не пропадать ведь, купить ее надо, у тех у кого дома мужиков не будет... А они, сырые,— на нас работать будут. И все ладком пойдет. Мирно время воротится...

«Артель» либо упорно и поочередно выживала совестливых и честных, либо ловко опутывала их и ставила перед необходимостью покрывать их дела. Непокорные, а их было немало, отправлялись на позицию.

«Артель» была с виду исправная, работающая, дисциплинированная. «Артельщики» были гостеприимны, добры, сердечны и богобоязненны. У них был любимый начальством бравый, мужественный молодецкий вид, почтительность, предупредительность и постоянное довольство всем.

«Артельщики» хранили втайне свои «дела», но у каждого из них были свои собственные планы. Каждый член этого вынужденного временного «содружества» был бесконечно далек от других. Каждый прятал один от другого нажитые им грязные свои деньги. Денег

накоплялось все больше и больше, а пены все ползли и ползли вверх.

— И чего только война тянется, одно разоренье, прости господи! — скулили они в страхе, что время обесценит наворованное ими...

По ночам в своих чисто убранных и отгороженных полами углах санитары и канцелярские, тая дыхание и прислушиваясь к соседям, бесшумно извлекали из потайных мест пачки кредиток и мешочки с уже исчезнувшим из обихода серебром. Некоторые накопили и золотые. При слабом свете лампад люди, пугаясь друг друга до содрогания сердца, вновь и вновь считали, снюнявя пальцы, свои деньги. Они любовались, на особо отложенных крупных кредитках, изображениями царей, ставших им близкими, своими, как бы соучастниками в их делах.

Иногда слышались вздохи и бормотанья с пристукиванием. Это «артельщики» открывали свои души богу, иступленно каясь и прося отпущенья грехов.

По ночам, после молитв или до них, играли в очко, сгорая от надежд еще умножить свой капитал. Играли тихо, сосредоточенно, медленно вытаскивая карты.

К «дяденьке» приходила женщина. Их ночные встречи были длительны, полны враждебных шопотов.

— Глаза у тебя злые или тоскливые?

— Нет, не злые...

— Я говорю — злые...

«Дяденька» пощупывал на ней платье и недовольно бурчал:

— Эх, разве это матерьял!.. Вот был в России матерьял, матерьялам матерьял: драдедам, кастор, шевьет, фланель, драп... Или — велюр, флаконэ, ратинэ... Еще — велинэ... А какой легкий товар был... Боже ты мой!.. Люстрин, креп, репс, атлас... Кашемир беж... Муслин де лен, гренадин... А газ и вуаль? Штуку возмешь — воздух, как детские волосики мягкие, ей-богу... А это разве матерьял!.. Довоевались!

Сказав, вглядывался в женщину:

— Ну, почему молчишь?

Женщина вздыхала и попрежнему молчала. «Дяденька» брал лампу, оглядывался на окно, завешанное палаткой, и, подсев к женщине, говорил ей:

— Так-то. Смотри! Ни с кем не занималась? Если занималась, изложи лучше сама, а то хуже будет. Такие происшествия могут тебе нехорошее причинить. Сообщу, например, начальству: подозреваю, мол, ее в сношениях с неприятелем. Свидетелей позову. Как думаешь, найду я свидетелей, а?.. Ну, не молчи!

— Найдете...

— Ну вот, видишь... Найду я, говорю, свидетелей. Дело начнется по обвинению тебя в шпионаже. Папочку заведут за номером, а в других случаях и не заведут, а просто... Ты что-то худеешь... Не люблю, не люблю. Сказал тебе — ешь. Тебе наши офицеры нравятся?.. А? Ну, не молчи. Нравятся?

— Нравятся...

— А они тебя ни за что ни про что убить могут. То ли дело я, мне тебя сердечно жаль, к людям я мягок. Заботиться люблю. Разве плохо я о тебе забочусь?

— Нет.

— Люблю и детские книжки почитать. Радостные они. Подвинься. Ну, то-то... Давай с господом...

По землянкам ходил с фонариком командир. Он проверял, как спят солдаты: в сапогах или разувшись. Несмотря на то, что передовая позиция находилась в двадцати верстах, командир всегда опасался непредвиденных действий со стороны противника или приезда начальства, в каковых случаях надлежало быстро выходить одетыми по всем правилам формы.

В лесах пугливо мерпали огоньки, которые вызвали зловещие слухи о шпионах. В действительности же в лесах укрывались галицийские крестьяне, спасая себя и свой скот.

По полям, безжалостно разворотив их, тянулись заблаговременно подготовленные линии тыловых окопов. Это были широкие канавы. Сделанные из толстых бревен козырьки закрывали верх окопов.

На западе грохотала артиллерия: тяжелые шрапнели

рвались у далекой кромки леса. С интервалами в двадцать минут било тяжелое, могучее орудие.

При орудийных вспышках Карпаты показывали черные зубы своих хребтов. Гул раскатывался по снежным полям. В брошенных замках бежавшего польского панства гулял ветер, из окон нижних этажей высовывали морды обозные лошади. Солдаты жгли в каминах остатки мебели — дубовой и красного дерева...

* * *

Армии было дано указание: «Ближайшей задачей вашей будет переход через Карпаты с выходом в Богемии и Венгерскую равнину».

И войска шли на передовые, вытягиваясь в неизменный линейный порядок. Шли по Галицийской равнине, не оставляя за собой резервов, ибо это считалось предосудительным, так как резервы могли оказаться неиспользованными в бою. Наследие времен непродолжительных сражений!..

В одном из польских замков, достаточно удаленном от передовых позиций, разместился штаб армии. Здесь же жил и командующий дивизией, старый генерал Субботин. Сославшись на необходимость в покое продумать план предстоящего наступления, он заперся в своем жарко натопленном кабинете и сладко дремал в тишине, развалясь на диване. В это же время адъютант генерала упорно доказывал какому-то полковнику, не желая слушать его объяснений, что его высокопревосходительство очень заняты и никого принимать не велели. С трудом полковнику удалось его перебить:

— Господин адъютант, доложите его высокопревосходительству, что его сын вернулся с передовой и желает видеть отца.

Пауза... Растерявшийся адъютант жестом предложил полковнику следовать за ним. У двери кабинета адъютант откланялся.

Полковник тихо постучал в дверь и, не дождавшись ответа, вошел в кабинет. Старик проснулся, услышав шаги.

— А, это ты! Здравствуй, дорогой, с чем пожаловал?

— Отец, у меня большие потери. Большие!..

Старик равнодушно слушал сына. Но полковник, не замечая, или не желая замечать равнодушие отца, пытался убедить его в полной нелепости, больше того — преступности готовившегося наступления.

— Снарядов нет, люди не те, что в четырнадцатом году — на маршевиков надежда плохая. Соседние дивизии ненадежны, у многих солдат даже винтовок нет!..

Равнодушно и нетерпеливо слушавший его генерал встал и перебил сына:

— Григорий, за артиллерийское ведомство и за соседние части нам в ответе не быть. Нам велено наступать. Этим все сказано! Не мне вступать в споры с Генеральным штабом. Пойдем обедать, голуба моя.

* * *

По ночам Галицийская равнина оживала.

Приводилась в движение сложная механика тылов: полевого и общearмейского. Определялись районы пути и пункты питания частей, подвозились и размещались запасы. Предстояло в условиях весенней распутицы ремонтировать испорченные австрийцами при отступлении дороги, устраивать обходные пути, крепить мосты, распределять в узловых железнодорожных пунктах запасы. Русским войскам, которые находились в Галиции в количестве восьмиста сорока восьми — девятисот батальонов, то есть более миллиона человек, и превышали в десять, а то и более раз «великую армию», дравшуюся у Аустерлица и Ватерлоо, не хватало боевого снабжения. Это вызывало большую тревогу командиров.

Львов был центральным узловым железнодорожным пунктом, от которого шло пять железных дорог по всем направлениям Галиции. Он был забит поступающими составами. Нормальный обмен затруднялся. Равнина Галиции постепенно заполнялась лазаретами, складами, базами, магазинами, хлебопекарнями, транспортными колоннами, ремонтными мастерскими, артиллерийскими парками. Снабжение последних снаря-

лами было крайне затруднено. В русской армии начинался чудовищный «снарядный голод».

Миллионная армия требовала сотни тысяч пудов продовольствия и фуража. Армия должна была иметь многодневный запас продовольствия в предвидении близости сражений. Только трехдневный запас мяса требовал наличия шести тысяч голов скота.

Необходимо было планомерно, по графикам, двигать всю систему вперед по мере продвижения армий, подводя в кратчайший срок все нужные службы к новым линиям корпусов, восстанавливать мосты, водокачки, виадуки, стрелки, депо...

Все это было почти недоступно для империи Российской, ибо страна не имела ни необходимого количества железнодорожных составов, ни достаточного наличия железных дорог. Отсталая промышленность России, находившаяся в постоянной зависимости от Запада, не справлялась с задачами, которые ставили перед ней условия войны. Не было достаточного количества не только снарядов, но и винтовок. К тому же военный министр Сухомлинов — немецкий шпион (как это выяснилось позже) — срывал как мог снабжение фронтов продовольствием и оружием.

* * *

Штабы осуществляли передвижения армий.

Серые плотные колонны солдат двигались по шоссе, ведущему ко Львову. Корпуса, стоявшие в резерве после осенних боев, начинали кампанию 1915 года. Полки еще сохранили кадровиков, но были сильно разбавлены маршевыми ротами из запасных и новобранцев осеннего призыва.

Десятки колонн 3-й и 8-й армий — гвардия и сибирские стрелки — шли разными скоростями по шоссе и параллельным дорогам Галиции, делая усиленные переходы, втроене перекрывавшие уставные нормы, и располагаясь, в минуты кратких дневных привалов, тут же, в дорожных канавах.

Кое-как были рассчитаны направления и места стоянок всей этой лавины, двигавшейся массивом к Карпа-

там и оседавшей на ночь в халупах и стодолах ¹. В так называемых тесных районах квартирования приходилось по шестьдесят человек на избу — в отличие от неведомого войскам, но указанного начальством пункта устава, по которому на одного человека полагалось не меньше кубической сажени воздуха.

Там же, где люди не вмещались в стодолаы и топтались на холоде, ожидая приказаний, штабы, устроившиеся в фольварках — господских усадьбах, — приказывали им располагаться бивуаком. Солдаты расстилали, следуя передаваемому из поколения в поколение солдатскому правилу, половину своих шинелей на снегу, ложились на них, тесно прижавшись друг к другу, и укутывались другой половиной шинелей. В темноте по снежным полям дребезжа пробирались походные кухни и кормили остывшим серым супом вылезавших из-под шинелей, дрожавших от холода солдат. Горели костры, сложенные из разломанных изгородей.

В деревнях галицийские крестьянки уже не молили солдат не трогать их имущества. Старики в кожных и остроконечных черных барашковых шапках теснились в халупах, куда вваливались целые взводы усталых и вороватых от голода солдат, и мрачно, украдкой на них поглядывали.

В халупах тускло светили керосиновые лампы и свечи... Взводные, забрав у богатых солдат деньги, вызывали из сеней новобранцев. Им наказывалось «в два счета разжиться чего есть в деревне и доставить». Новобранцы покорно бегали по забитым людьми халупам, натыкались на таких же посланцев из других взводов. Стремясь опередить их, они выкрикивали заученные на польском языке слова: «Продай куру» (или гуся, или картошку) — и совали бабам деньги. Бабы равнодушно, безжизненно твердили: «Ниц нема». Тогда новобранцы, выполняя приказ, воровали учуянных во тьме кур или силой отнимали горшки с супом. Солдаты бежали обратно с добычей и, сами голодные, покорно отдавали ее фельдфебелям и взводным. Развалившись на хозяйских кроватях, взводные и фельдфебеля, испив чаю и

¹ Сараях.

сьев принесенный им харч, блаженно погружались в сон. На лавках укладывались прислуживавшие им, на полу спали хозяева, а в сенях на холоде — новобранцы.

Тьма и тишина воцарялись в деревнях, и только часовые и дневальные шагали по скрипевшему снегу неизменным мерным российским шагом.

На рассвете солдаты вставали. Ежась от холода и зевая, шарили под шинелями. Каждый доставал сапоги, ремни, подсумки, ранцы, патронташи, баклаги — все свое солдатское сложное имущество, весившее полтора пуда. Солдаты приносили в котелках воду, набирали полные рты и, выпуская воду струйкой на ладони, терли лица мокрыми руками.

В халупах топились печи, женщины варили капусту и картофель. Новобранцы протискивались из сепей к печам и, чтобы погреться, тихо, скромно помогали женщинам. Замерзшие безусые парни протягивали руки к огню и грели их у теплых печей. Взводные лежжали в ожидании еды и снисходительно делали вид, что не замечают новобранцев. Потом начальство вставало. Прислуживавшие сливали им воду и подавали ярко-розовое мыло и полотенце. Помывшись и помолившись важно и истово, ибо рядом находились подчиненные, коим надлежит подавать пример, фельдфебеля и унтера садились за столы, на которых уже стояла приготовленная женщинами скудная еда.

Роты во дворах кипятили на разведенных кострах воду и пили ее из алюминиевых и эмалированных кружек, макая в кипяток мерзлый хлеб.

В фольварке вестовые и денщики сервировали офицерам завтрак. Экономическое офицерское общество отпускало по требованиям офицерских собраний по прейскуранту ассортименты вин, сыров, колбас, ветчин, маринадов, консервов, печений, варений, экстрактов и фруктов (по сезону) — по пониженным ценам.

Роты стояли уже во взводных колоннах, покинув халупы, столы и примятые ими снежные ложа. Роты ожидали выхода офицеров из собрания. Офицеры выходили бодрые, веселые, согретые чаем с красным вином, и весело здоровались с людьми.

Раздалась обычная команда: «Справа по отделениям, шаго-ом арш», — и колонны солдат снова двинулись вперед, на Запад... чтобы начать на громадном фронте новые бои за вторжение в Венгрию.

Отменно ровно колыхались штыки винтовок, взятых на ремень на левые плечи. Лавина войск двигалась к Карпатам. Полки и дивизии вытягивались к магистральной дороге и при встречах рассматривали друг друга ревниво, но с уважением. Команды заставляли людей подтягиваться и выказывать молодецкий вид.

Полки шли по шоссе, усаженному столетними тополями, по которому проходили русские полки в наполеоновскую войну. Но тогда деревья были молоды и тонки.

При приближении к населенным местам неслись новые команды. Батальоны и роты строже брали интервалы и тверже давали шаг. Их снаряжение еще было добротное. Черные ранцы из непромокаемой клеенки блестели за спинами гвардейцев. Патроны были в кожаных крепких подсумках и черных непромокаемых патронташах. Наплечные и поясные ремни лежали ровно. Ритмичный шаг давал какое-то успокоение. Близость боев меньше тревожила. В них не вызывали ни жалости, ни испуга вопиющие следы осенних боев, уничтоживших жизнь многих деревень и местечек. Полки шли, радуясь проглянувшему солнцу и, быть может, последним спокойным часам своей жизни.

Под снегом лежало солдатское кладбище (осени 1914 года). Дожди размыли надписи на семиконечных крестах. Полки шли, заливаясь лихими песнями, мимо кладбища, мимо старых австрийских окопов и заграждений из ржавой, колючей проволоки, разрушенных русскими солдатами осенью 1914 года. Было приказано петь при виде кладбищ, — «солдатам надлежит исполнять, а не рассуждать», — и полки послушно пели, и песнь торжественно стлалась по снежным равнинам:

Колонна за колонной
Полями, лесом, вброд
Могуче, неуклонно
Гвардия идет...

Так прошли Броды, Злочев, пересекли поперечные шоссе, тракты и проселки, приближаясь к Львову. Приблизившись к нему, дивизии приубрались и дали лучший вид.

Львов! Корпуса вошли в город. Повсюду русские городовые, русские вывески... Полки остановились на окраине города, у вокзала, ожидая эшелоны. В город ушли только офицеры. Был солнечный день. Офицеры гуляли по главным улицам, щеголяя своей беспечностью перед предстоявшими боями, и, самообольщаясь, думали, что скоро Венгрия будет у их ног.

Ночью к платформам подошли эшелоны. Полки грузились... Офицеры расположились в желто-коричневых вагонах второго класса. Фельфебеля, унтера и прислуживающие им новобранцы первые вошли в поданные теплушки. Прислуживающие вытерли верхние нары для начальства — лучшие места, разостлали поверх досок палатки. Солдаты занимали оставшиеся места — старослужащие на нижних нарах, а новобранцы на полу.

Корпуса покидали Львов ночью, устремляясь дальше по сохранявшимся в тайне маршрутам. Эшелоны уходили из Львова один за другим. Корпуса пролетели Самбор, Яворов, Ярослав; шли к Перемышлю!.. И дальше — на Венгрию!

Войска оставляли равнины Галиции, стремясь к горным хребтам Карпат. Весна растопила снег. Солдаты ловили в мартовском ветерке первые дуновения весны. Весна предвещала им бои, бои, бои...

После упорных боев двадцать второго марта был взят Перемышль. Это был последний крупный успех русских войск в 1915 году.

Огромные потери и все более возраставший недостаток артиллерийских запасов диктовали необходимость приостановить наступление и закрепиться на занятой территории. Однако Ставка, ни с чем не считаясь, торопясь закончить начатую операцию, требовала продолжения наступления во что бы то ни стало и скорейшего вторжения в Венгрию. Германское командование,

учтя создавшуюся обстановку на Юго-западном фронте, перебросило в помощь Австро-Венгрии свои лучшие силы, в том числе и прусскую гвардию. Германия и Австро-Венгрия готовили контрудар, заключавшийся в прорыве Юго-западного фронта в районе Горлицы — Громник. На прорыв была послана и 11-я германская армия. Прорыв должен был быть осуществлен под командованием генерала Макензена. У Макензена количество пехоты в два раза превышало численность русских войск, а тяжелой артиллерии было больше в сорок раз.

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА

III

В ночь на 2 мая 1915 года на участке Тухов — Горлица, к востоку от реки Дунаец, началась немецкая артиллерийская подготовка. Она длилась всю ночь и утро.

Безостановочно летели, падали и рвались снаряды. В окопах прижавшимся к земле солдатам слышался подземный гул... Протекавшая вблизи окопов река покрылась видимой даже в темной ночи пеной. На реке вздувались и лопались колоссальные пузыри... В свете разрывов сверкали водяные столбы. Водяная пыль, смешанная с кислотами и газами, покрывала все. На глазах людей откалывались куски берега. Прибрежные скалы превращались в искрошенные массы камня, взлетающие от разрыва снарядов на воздух, чтоб обрушиться черным дождем на землю. Постепенно небо заволочло дымной пеленой. Пропали ориентиры. Перестали работать телефоны и телеграф.

Лес на участке Сурского полка шевелился, как шерсть на спине гигантского животного. С грохотом рушились сосны. Все подавляющий гул не давал возможности расслышать слова команды... Металлический шквал уничтожал заграждения и выворачивал рельсы подъездных путей.

Перепаханная снарядами земля дымилась. Телеграфные столбы взлетали на воздух, точно их выпирало из земли невидимой силой. На местах взрывов оста-

вались глубокие воронки, зиявшие черными дырами на фоне свежей весенней травы. Солдатам казалось, что началось светопреставление... Раненых и убитых не успевали уносить. Санитары падали вместе со своей тяжелой ношей, раненные насмерть. В течение нескольких часов каждое легкое орудие немцев давало до семисот выстрелов, а каждое тяжелое — до двухсот пятидесяти. Обстрел шел неукротимый, безостановочный, ибо остановить его было *нечем*. Русская артиллерия молчала — снарядов не было... Командирам гаубичных батарей запрещалось, под угрозой полевого суда, расходовать больше десяти снарядов в день!

В полевом тылу катились автомобили, мчались конные ординарцы, надрываясь, пыхтели мотоциклетки. Небольшими взводами пробирались куда-то драгуны. Плелись из последних сил раненые. Проезжали телеги, груженные мертвецами.

Прокатился слух, что Горлицу уже взяли немцы. Говорили, что штаб корпуса эвакуируется. На много верст растянулись по шоссе обозы, парки, понтоны, саперы, телефонисты. Гул орудий временами тонул в скрипе и грохоте колес. Изредка отжимая бесконечную вереницу людей к самой обочине дороги, с треском и ревом мчались грузовики. Лошади испуганно ржали, храпели, становились на дыбы. Все сливалось в один тревожный, отчаянный, ни на что не похожий гул. Навстречу попадались обозы с хлебом, сеном и битым скотом.

Это отступали российские войска, потому что германо-австрийские войска предупредили их удар и перешли в наступление первые.

Лучше организованная и более мощная армия Германии была более слабую и отсталую армию царской России.

Наносившая удар по Горлице германская 11-я армия включала: прусскую гвардию, сводный корпус, 41-й резервный корпус, 6-й австрийский корпус, 10-й артиллерийский корпус. Таран Макензена сразу сравнивал с землей первые линии русских окопов.

Внезапность удара была ошеломляющей. Казалось, что перемещаются покровы земли, что на восток обрушились Карпатские хребты. Гул разрывов, повторяемый эхом лесов и скал, повергал солдат в ужас. Ураганный огонь тяжелой немецкой артиллерии кромсал людей. Масса солдат и офицеров погибли в этом неравном бою. Остальные спасались бегством.

Некоторые офицеры пытались удержать отступление. Ища выхода, они растерянно вспоминали навсегда со школьной скамьи врезавшиеся в память исторические примеры:

«Цезарь остановил бегство легионов, выйдя им навстречу и спокойно сказав: «Не в ту сторону, солдаты, наступаете»... «Суворов во время одного отступления бежал рядом, смешил солдат и кричал: «Заманивай их, братики, заманивай!»... «Полковник скомандовал бегущим: «Стой, скидывай сапоги». Часть остановилась, начала покорно разуваться. Остановка сейчас же отрезвила людей».

Но исторические примеры на данном этапе были бесполезны. В памяти офицеров мелькали обрывки знаний о панике: «Бывают паники: а) единоличные, б) отдельных частей, с) целых армий»... Ужас, ужас! «По пространству: а) паника на отдельном участке, б) на значительном участке театра военных действий».

— Сто-ой!.. Куда вы?..

С повозок, сшибая и давя людей, на полном ходу обозники сбрасывали привезенные ящики с патронами, тюки прессованного сена, продукты и убегали, припадая к земле при пугающих звуках разрывов.

Реальный мир исчезал... Его искаженные очертания, звуки, цвета сеяли панику.

Медленно передвигавшиеся в тылу пленные, взятые три дня тому назад, казались прорвавшимся противником. Серо-голубые шинели пугали.

Оглушенные разрывами кони несли, переворачивая все на своем пути... Солдаты задыхались от усталости и временами останавливались. Кони давили их в своем безудержном горячем беге... На

полях в последних судорогах бились раненые лошади. Где-то вырвался табун лошадей... Отчаянно трубили горнисты, пытаясь привычными звуками остановить их, но звуки горнов тонули в грохоте орудийной пальбы.

Движение было неравномерным. Малообстрелянные новобранцы бежали скопом. Старые солдаты двигались с передышками, не по дорогам, зная, что это опасно, а по полям — в одиночку...

Местами над бегущими уже рвалась шрапнель. Немцы преследовали их по пятам.

В ярости и ожесточении, боясь за свои репутации, в штабах начали принимать срочные меры. Из Ставки летели шифры:

«Приказываю вашему превосходительству, вашему высокоблагородию принять во внимание...» и т. д.

Был дан ход испытаннейшему способу насильственной системы — устрашению.

Унтер-офицеры бежали с остатками своих отделений. Они неожиданно наткнулись на разъяренного командира полка. Полковник выхватил револьвер и крикнул:

— Кто позволил оставить окопы?

Вопрос был явно абсурден, ибо полковник сам знал, что позволений таких не было и не бывает, просто часть была выбита и остатки ее уходили от истребления, не видя помощи и связи с руководством.

Унтер-офицеры молчали.

— Хотите жить — кругом — арш!

Стрелки покорно пошли обратно, а командир полка остался в безопасном укрытии и следил, как тонкая цепочка двигалась на запад. Командир торопливо кричал в трубку: «Мой полк начал задерживать противника». Провод донес чьи-то изумленные вопросы...

Бинокль показывал настойчивое движение цепи, постепенно выросшей. Повидимому, сам факт возможности движения в обратную сторону останавливал многих отступавших пехотинцев.

Цепь быстро углублялась в расположение противника. Телефон передавал лихорадочные сообщения о начале контратаки. С соседнего пункта позвонили:

— Вы видите?

— Видим. Поздравьте нас!...

— С чем?

— Как с чем?

— Вы разве не видите, что цепи ваших солдат бросили винтовки и у многих подняты руки?

Солдаты, выдохшиеся в неравном бою, понявшие ценою собственной крови всю чудовищную преступность командования, гнавшего их на верную смерть, нашли в себе мужество пойти в контратаку. Но вскоре, убедившись в том, что и на этот раз ни помощи, ни руководства нет, они сдались в плен, предпочитая его встрече со своими командирами.

Командующий дивизией генерал Субботин считал, что «надо же что-нибудь э-э... сообщить в штаб армии». Начальник штаба, повинуясь приказанию, начал диктовать уверенным голосом:

— «Собрав части дивизии, отошедшие с позиций под натиском превосходных сил противника, я двинул их в контратаку. Встреченные...»

Начальник штаба вопросительно умолк. Командующий пожевал губами.

— Гм... Да...

— Убийственным огнем встреченные, ваше превосходительство?

— Я думаю: «...убийственным огнем, части залегли».

Штабные офицеры подумали о цепях, ушедших в плен.

— Эм...

— Указать на соседей следовало бы, ваше превосходительство?

— Я тоже так думаю, голуба...

— «Соседняя дивизия отходит, обнажая фланг и ставя нас в крайне тяжелое положение. Однако задерживаюсь на занятом рубеже. Расположил штаб вблизи цепей для личного руководства...»

Штабные офицеры вслушивались в звуки ночи, не делая усилий выйти, найти своих людей, отдаваясь сырому теплу халупы, безволию...

От некоторых частей, засевших в неведомых лощинах и героически устоявших против натиска немцев, шли донесения:

«Номер 40 — северо-западнее леса у господского дома. Несу потери. Подпрапорщик ранен. Немец делает перебежки, обстреливает. Я окопался, прошу прислать поддержку, кружится голова, ранен я, прапорщик...»

Прапорщики и подпрапорщики, брошенные на произвол, взывали к тем, кого они привыкли считать сильнее и умнее себя, — к штабу, к командующему своей дивизии... Лежавшим под мокрыми деревьями подпрапорщикам все еще казалось, что их штаб — это нечто властное, разумное, что им помогут, пришлют пополнение, дадут необходимые указания...

Но командующему и штабу было не до них: сражение проиграно, и в первую очередь надо оправдаться...

Начальник штаба, освоившись, бесстыдно продолжал диктовать донесение. Генерал Субботин поддакивал ему. Листки полевой книжки покрывались ровными строчками, уверявшими высшее начальство в том, что войска держатся доблестно, что их подводят соседи, что необходима поддержка, что все меры для удержания позиций приняты. Тут-то полковнику и пригодились сообщения героических прапорщиков и подпрапорщиков, моливших о помощи.

Адъютант генерала вышел на двор и, вздрогнув, отпрянул, схватившись за кобуру. В темноте навстречу ему шел человек, несший в руках какие-то тяжелые, грохочущие предметы. Немец! Разведка!

— Стой, кто идет?

— Свои... Чё орешь?

Пододошедший лягнул обыкновенными солдатскими котелками, поставил их у колодца и стал крутить

колодезное колесо. Солдат был поглощен делом и не обращал внимания на окликнувшего его офицера.

— Ты откуда?

— С позиции. А ты какого чорта здесь околачиваешься?.. Далее всех убеги?

Солдат вдруг заметил, что перед ним офицер, и замолчал... Обозначился.

Адъютант вдохновенно схватил солдата: значит, есть позиция!

Адъютант потащил солдата в избу. Генерал и тридцать офицеров оглядели грязного, усталого солдата с восемью котелками и слушали его...

— Бегли, бегли... Притомились. Пить хочца... А воды нет. Иди, гряд, за водой. Ну, пошел.

— А сколько ты шел?

— Версты две. А сколько нам еще бегти надоть, ваше превосходительство?

Командующий побагровел от стыда...

* * *

Армия, вся система которой была построена на принуждении, на извращении здравого смысла, армия, в которой люди должны были умирать за интересы ненавистной им власти, — расшатывалась изо дня в день. Армия, потерявшая кадровиков — покорных, вымуштрованных солдат, — становилась все откровеннее в собственном отрицании.

Даже уцелевшие кадровые солдаты, присмотревшись в условиях фронта к своему начальству, многое продумав и поняв, теряли веру в успешный исход войны, а главное — веру в целесообразность такового. Вливавшиеся в армию массы из тылов несли солдатам здравые мысли о несправедливости и ненужности этой войны. На языке штабов это называлось «злокачественной пропагандой». Штабы характеризовали новые элементы в армии — второочередные войска — как войска неспособные, неустойчивые и политически неблагонадежные.

Истина заключалась в том, что людям не за что было драться, и поэтому они не хотели драться. Постепенно

и тыл и солдаты проникались отвращением к ненужной им войне, к тому, что некоторые называли бойней.

Нужен ли был мир? Нужна ли была победа?

Нет! Мир, для того чтобы вернуть в прежнее рабское состояние миллионы мобилизованных?! Победа для усиления монархии и капиталистов? Нет! Нужна была другая война... Нужно было, чтобы вооруженный народ сам перешел к активной борьбе с самодержавием, с царским правительством. Поэтому — огонь, немецкая артиллерия! Народу необходимо поражение царя, ослабление существующего строя, чтобы в свою очередь перейти к войне с ним.

Именно это было первопричиной тех явлений, которые именовались «вялостью», «неустойчивостью», «необученностью», «склонностью к панике...» Абсолютная точность того, что не «психо-физические» свойства определяли боеспособность, — была проверена всем миром спустя два-три года, — в годы гражданской войны. История показала, что эти же солдаты, когда Российская социал-демократическая рабочая партия (большевики) помогла им понять истинный смысл жизни и указала путь избавления, пошли на неизмеримо большие опасности и победили в себе страх силой обретенного высокого человеческого сознания.

ОТСТУПЛЕНИЕ

IV

Германо-австрийские армии последовательным рядом ударов в Галиции теснили русских, заходя во фланг и тыл их северо-западным силам. Произведенный затем Германией нажим со стороны Восточной Пруссии — на Наревском направлении — поставил всю русскую армию перед опасностью охвата и окружения. Однако вместо того, чтобы быстро отводить войска, сохраняя их в тылу, то есть следовать основам военного искусства, командование в начале отступления упрямо цеплялось за славянские земли и в бесплодных бросках истребляло части. В течение одного месяца эта страте-

гия вывела из строя весь Галицийский фронт. На протяжении всего хода летней кампании 1915 года русские армии, изверившиеся в командовании, истощенные, озлобленные, катились назад, теряя людей и запасы, покидая Галицию, Курляндию и Польшу, оставляя немцам огромную территорию...

В качестве единственной оздоровительной меры по приказу № 1842 из всех тыловых частей были изъяты нижние чины, обвиненные в предательстве, шпионаже и вообще в неблагонадежности.

После падения Львова отброшенные с территории Галиции русские армии отступали через Люблин, Седлец к Брест-Литовску... Саперы спиливали деревья фруктовых садов и волокли их к дорогам, чтобы строить засеки. Отступали по ночам. Работа шла при свете костров. Свет костров не осиливал ночной мрак и только окрашивал в рыжий цвет окружающие предметы, искажая их очертания.

В оставленных деревнях были собаки. Саперные двуколки и фурманки, поджидая саперов, стояли вдоль дороги. Лошади дремали, иногда фыркая во сне.

На дворах лежали грязные кучи соломы — следы последнего бивуака ушедшей пехоты. У дороги стоял крест с надписью: «Здесь похоронено сорок три стрелка, павших в боях лета 1915 года».

Земля была покинута. Еле теплились остатки сожженных халуп. Вместо них вдоль шоссе стоял длинный ряд белевших во тьме кирпичных печей и труб, уцелевших от огня. Еле заметный дым подымался прямо с горячей рыхлой земли. Не дымили только трубы.

Саперы свалили последнее дерево, опутали его наспех колючей ржавой проволокой, бросили на дороге и пошли дальше. Засеки они строили неохотно, сонно, с отвращением, потому что засеки, предписанные старыми уставами и инструкциями, были явно бесполезны в данный момент. Немцы их устраняли молниеносно. Саперы двинулись, догоняя уходящие части.

В арьергарде шли беженцы. Костлявые клячи, не прельстившие ни саперов, ни казаков, ни обозников,

волокли, задыхаясь, фурманки, заваленные скарбом. Беженцы понуро шагали вслед за телегами, спасая остатки своего имущества.

Из тьмы, иногда светя фонариками, бесшумно появлялись казаки. Они на ходу обшаривали жалкий скарб, молча вытаскивая все, представлявшее хоть малейшую ценность. Так же молча смотрели на это беженцы, не убыстрявшие своих шагов.

Казаки искали быстро, привычно, не выпуская поводыев из левых рук, отбрасывая старые горшки, шершавые кастрюли, переворачивая спящих ребятишек, закутанных в тряпье. Казаки отбирали у беженцев визжавших поросят и птицу.

Беженцы шли поникшие, раздавленные, среди тяжелого скрипа колес.

По приказу свыше они тащились на восток, загроможда шоссе и дороги, смешиваясь с уходящими войсками, хотя еще в 1904 году предугадывалось: •

«Велика важность предохранения армии от скученности и переполнения дорог и тылов элементами населения, среди коих, даже в цивилизованных странах, распространяются, как показал опыт крупных войн, злокачественные эпидемии, как-то: сыпной тиф, дизентерия и гнилокровье, кои уносят в могилу более жертв, перебрасываясь на армии, нежели неприятельский огонь, и понижают силы и бодрость здоровой части действующей армии».

Западные ветры настигали уходящих. Первые осенние туманы по утрам заволакивали все, костры потухали от сырости. По ночам светила луна, и свет ее падал на сморщенную листву и рыжие вытоптанные поля. Ветры качали колокола, оставшиеся в разрушенных костелах и церквях, и их страшный звон разносился по опустевшим деревьям.

Полумертвые клячи из последних сил под ливнем иступленных ударов все еще тащили скарб беженцев. Во тьме на стоянках животные дрожали от сырости и жевали опавшие листья и мятую блеклую придорожную

траву. Женщины отлучались к бивуакам и приползали обратно с кусками сахара, корками хлеба, с котелками холодного супа, который с жадностью съедали дети, посеревшие от усталости и голода.

Местами корпусные командиры загоняли беженцев на чужие участки, освобождая свои... Тогда соседние корпуса гнали их обратно. Люди в отчаянии цеплялись за поезда. Сто пятьдесят тысяч вагонов заполнялись этими затравленными, больными людьми.

За беженцами, на вечно одинаковой дистанции, полыхали пожары. На огромных пространствах Галиции, Польши, Курляндии тлели пожарища, и над ними стояли, как окаменевшие от горя люди, никому не нужные печи и трубы, из которых не шел дым.

ОКОПЫ

(Осень 1915 года)

V

Русские армии отходили в глубь страны. К осени 1915 года были потеряны бо́льшая часть Прибалтики и Польша; оставлены Либава, Варшава и Брест-Литовск. Центр событий переносился в районы Риги, Вильно и Гродно.

Немцы охватывали русскую армию в кольцо за Вильно, замыкая его у Сморгони.

Полк сибирских стрелков пробирался ночью, под дождем, в две цепочки, гуськом, по обочинам дороги. По дороге идти невыносимо — выше колен грязь, тонут люди и лошади, а где гати нет — и совсем не пройти. Широким кругом, освещая тучи над лесом дрожащим зеленоватым светом, повисли немецкие ракеты.

Полк пробирался по обочинам дороги. Шинели, вещевые и сухарные мешки набухли от воды. Не было слышно разговоров. Солдаты надвинули фуражки на лоб, задрали тульи фуражек — не по форме, но по практике: чтобы вода стекала с головы не за шиворот, а бе-

жала на козырек. Время от времени то один, то другой солдат, поскользнувшись, падал в грязь, гремя котелками...

— Уснул?

— Бери глаза в зубы! Пропорешь штыком-от.

Ноги скользили по глине, а чуть сойдешь в сторону — увязали в трясине размытого дождями поля.

— Счастье, право слово, — одна нога в меду, другая в патоке.

— Итти долго ль?

— Гак остался.

Солдаты шли, сняв сапоги, босиком. Грязь разувала людей, засасывала мокрую дырявую обувь, наполняла ее жижей. С трудом содрав с натруженных ног сапоги, стрелки закидывали их за плечи. На малых привалах, зажигая спичку, чтобы закурить, люди глядели на свои ноги и видели вместо них рыжие комья сырой глины... Счищали ее лопатками, но, как только трогались дальше, глина сразу же вновь липла к ногам.

Никто из солдат не понимал, где кружит дивизия. Местный народ — не то поляки, не то литовцы. Дивизия пересекала замершие железные дороги, моталась по лесам... Бивуаки поспешно снимались... Солдат гнали все дальше и дальше. Ведут — значит, иди. Дивизия знала одно: продержаться, пока подойдет пополнение — маршевые роты. Придет пополнение — легче будет.

Полк внезапно остановили на дороге. Стояли долго, понуро кашляя, переступая с ноги на ногу. Никаких приказаний не было. Нащупывали в темноте землю у дороги: топь! Стояли, вначале опираясь на винтовки, утопавшие в грязи, потом потихоньку приседали, потом садились, потом ложились — в грязь, в топь... Шестьдесят верст пройти, господи, по такому времени да по такому пути... И босые...

Никаких приказаний не было. В голове полка, светя фонариком, сбились четверо офицеров и устало-сонно глядели на промокшие листы полевых карт. Рядом стоял знаменщик со знаменем, закутанным в черную клеенку. Офицеры говорили, глядя на карту:

— Нет. Тут не Воля Рузданувска.

— А что?

— Не понимаю. Вот лес... вот высота двести три...

— Станем тогда в лесу... до утра.

По полку безжалостно прокатилось:

— Вста-ать!

Роты подтянулись и вошли в лес, давя сырой валежник. Запахло грибной сыростью. Стало совсем темно.

Ротные протяжно и привычно подали команды:

— Ро-та... стой!.. Со-ставь!

Во тьме долго составляли винтовки, закрывая глаза, когда светили офицерские фонарики. От них слепило глаза, совсем ничего не видно.

— Огней не разводить!

Вздохнули горько:

— Эх... кому счастья, нам несчастья...

— А ты ляжь, во сне и почаяешь.

— А мы таких выдумщиков, не спросясь, знаешь, в какое место?..

Стрелки снимали шинели, разгребали ямки для сна в мокрой прелой листве и хвое. В темноте наступали друг другу на руки, на ноги, огрызались. Потом чуть поутихло...

Отделение легло спать на мокрой земле.

Устраивались под елями. Ель густая, разлапистая — дождь не так возьмет.

Отделенный печально вздохнул:

— На брюхо лег, спиной укрылся. Охо-хо...

— Ладно, друг ситный.

Кто-то злобно сказал:

— Кому мы присягу давали? Присягали одному. А почему не всему народу? А может, царь неспособный родился, а его сподручные еще того хуже?

— Давнуть бы их, поползли бы на коленках...

— Что вы царя ругаете? Он помазанник божий.

— Помазанный солдатской кровью...

— Мотри, дядя, теперь свет такой... Держи язык за зубами...

В темноте раздались чьи-то шаги.

— Кто тут? А?

— Я...

Чуть посветил фонарик.

— Вашбродь?.

— Подвиньтесь, братцы.

Полуротный трясся от холода. Стрелки раздвинулись, он лег между ними в надышанную прелую вонючую теплоту и затих — только бы тепло было. Под шинелью кто-то грыз сахар, хлеба не было. Полуротный лежал среди солдат, закрывшихся с головой изношенными в походах серыми шинелями. Стрелки любили своего полуротного.

Сквозь мокрую тьму деревьев просвечивало сияние далеких ракет.

Под шинелями постепенно надышали, разогрелись, и тогда началось... Отделение было заражено чесоткой и вшами. Как только тело согревалось, начинался нестерпимый зуд. Сон не шел.

— Иых, горе.

— Одолеет...

— Все места горят...

Руки ощупывали пораженную кожу и, стремясь ее очистить, сдирали корочки с расчесанных язв. Шарили руками по теплым сырым ногам; останавливались, нащупав изъеденные горящие места, поглаживали их.

Кожа горела мучительно. Все шевелились, толкались и от безысходности тихо, жалобно вздыхали.

Бесполезная борьба с чесоточным клещом, укрытым в сотнях ходов под кожей, шла часами, яростная и иступленная.

Потом измученные стрелки заснули. Из-под шинелей слышался прерывистый храп, иногда тихий, иногда смешной, иногда пугающий...

А рядом, в четвертом отделении, еще слышались приглушенные голоса. Солдатский мозг пытался найти какие-то объяснения происходящему. Солдаты обсуждали свои судьбы как умели:

— Выбило силу. Против немца не пойдешь. Не с чем... Глушит... У ево снарядов полно, соображает... Немец, одно слово.

— Может, у нас Гаврилы плохо крутят; поезда, говорят, идут как черепашки...

— Сказывают, ходоки солдатские в Ставку посланы. Про штабных командиров сообщить: как они прятаются да бегают. С немецким фамильем которые — те куплены. Ты вот говоришь — немец, да снаряды... Не в этом сила — продажа у нас, говорят... Шпиёнство...

— При чем шпиёнство? Сидят разные дураки, понабирали добра... Им что? Что в России хлеба или чего нехватит? Хватит, завались... А на хлеб и снаряды купить можно было бы... Была б охота...

* * *

«Порча» совершала свой процесс невидимо, как почвенные воды. Бесчисленные изменения происходили в армии... Она начинала терять свои очертания, распадаться, тускнеть. Недоверие проникало всюду. Почти не было солдат и офицеров-фронтовиков, которые после Галицийского разгрома, с ужасающей ясностью показавшего всю несостоятельность руководства Ставки и всю неподготовленность России к дальнейшей войне, не предавались бы сомнениям. Слухи, сообщения, исступленные приказы, письма из дому, рассказы вернувшихся из госпиталей — непрерывно усиливали недоверие. Великий закономерный ход истории действовал неодолимо и успешно. В распоряжении вооруженного народа были грандиозные силы и неограниченные возможности. В тылу экономические процессы рождали новые формации. Ширилось революционное движение пролетариата.

Скрытые государственной тайной цифры и действия выпирали наружу тысячами последствий, тысячами производных, ибо никакие преступления, совершавшиеся правительством империи, не могли пройти бесследно. Первая выдача жалованья почтовыми марками со штемпелем на обороте: «Имеет хождение наравне с серебряной разменной монетой» — сказала больше, чем сообщение о секретных суммах расходов России. Суть хранимых в тайне колонок цифр эмиссий Государственного банка вскрывалась в первой же лавчонке.

Страну заливали потоки бумажных денег — инфляционный водопад. Со дня начала войны выпуск

кредитных билетов с миллиарда восьмисот пятидесяти девяти миллионов рублей дошел в январе 1915 года до трех миллиардов рублей. Учреждались новые акционерные общества, обслуживавшие армию.

В то же время русская промышленность свертывалась: из восьми тысяч пятисот пятидесяти предприятий России пятьсот два прекратили производство, тысяча тридцать четыре сократили производство, и только сто двадцать пять расширили его в связи с потребностями войны. Недоставало из-за нехватки рабочих рук топлива, хлопка, шерсти. Еще больше замедлился ритм транспорта... Пятьсот семьдесят пять станций закрыли прием грузов. На сто двадцать две тысячи шестьсот двадцать вакантных мест могли поставить только девяносто девять тысяч сто девяносто пять человек неквалифицированной рабочей силы из числа беженцев по преимуществу. В Екатеринославе на металлургических заводах и шахтах на двадцать две тысячи открытых мест могли найти только тысячу человек!..

Все цифры были военной тайной. Газеты с наглостью твердили о подъеме производства. Но отовсюду шло влияние скрываемых властью процессов.

Народу еще трудно было во всем разобраться, но многое уже доходило до сознания масс при помощи приобретающей все большее и большее влияние Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

* * *

На рассвете стрелки проснулись от холода. Из-под шинелей поглядывали на свет и снова укрывались с головой. Лежали, не двигаясь... Только бы не на холод, только бы еще поспать, полежать...

— Сколько время?..

— Тебе на машину? Лежи!

Команда подняла людей. Солдаты вскакивали дрожа, некоторые крестились. Потом стали разжигать костры. Днем палить можно, огонь противнику не виден; а дым? Дым — он как туман.

Лес был сырой, валежник набухший, скользкий. Солдаты лазили, подбирая малые сучечки, нащупывали листья, что посуше. Сносили собранное на разрытое место, где не капало, — под густую ель, и поглядывали, нет ли у кого уже горящего костра. Туда и шли.

— Уголька дадите?

— Напаслись вот на тебя да на деток твоих.

— Жаль те?

— Да не жаль. А сами чего, не можете?

— Спичек нету.

— А мы на вас береги?

— Ух, снегу с вас не выпросишь в крещение.

— Бери, бери, не лайся.

Дымились костерики, чуть дымились — все сырое, не горит, беда. На коленях, склонив головы к самой земле, стрелки раздували снизу тлеющие сучья, ветки и листья. Дули тихонько, чтобы лучше разгорелся, а чуть разгорится — раздували сильнее и сильнее. Дули изо всех сил, только бы костер горел. Рогульки из веток сделали, палки на них положили и котелки на них в ряд повесили. Чай будет! Сахар еще кой у кого был и сухари остались. Отсыревшие они, конечно, лежащие... Ну, ничего.

Костры занимаются пуще и пуще, пламя бьет, вокруг стоят стрелки, руки в огонь суют, огнем играют, шинели подпаливают. Пар идет от людей — под огнем сохнут. Раз-раз и сушёно, загляделся — палёно. Дождь стирает, сушим сами. Хи-хи, солдатские грехи!

Костры трещат, горят еловые веточки, запах приятный. Лица у всех повеселели — подсушились, теперь чаю напиться можно. Костры трещат, угольки и веточки, спаленные от ветра, взлетают, в воздухе кружатся и падают в котелки, по воде плавают, бегают. Это полезно, потому — воду очищают. А когда пить — их снимают, как навар, ложками. Вода уже побелела, помутнела — сейчас закипит. Тут сухарь на палочку и в огонь. В огне из этого сухаря «чайный состав» делается: подгорелый черно-коричневый сухарь дает кипятку полный чайный оттенок, как чай Высоцкого, и даже вкус. Котелки дрыгают, бурлят...

— Заваривай!

Бежит фельдфебель:

— Собирайся! Скоро! Стрелóчки!

— Тьфу ты, господи!

— Ни мачинки, ни росинки во рту!

— Попить бы...

Срывают котелки с огня, держат за дужки, не зная, что и делать. Фельдфебель кричит:

— Собирайсь. Жива!

Отделенный подхватывает:

— Четвертая отделения! Ну!

Котелки наземь, пусть пока постоят. Стрелки собираются, навьючиваются. Сколько вещей стрелку одеть надо! И патронташ, и флягу, и сухарный мешок, и противогаз, и еще, и еще...

— Стан-ви-ись!

Ротный вышел, идет, хромает — ноги стер. К роте подошел, подправился, взгляд кинул с искрой, чтоб ободрить солдат.

— Здорово, братцы!

— Здра-жла-васокродь!

— Нам опять заступать. Пойдем. Ну, с богом! Справа по отделениям, шагом-арш!

— А что с котелками делать? Подхватывают их стрелки лапами шинелей за горячие дужки, несут, берегут — пока чай теплый. Пройдет стрелок шагов сто, остановится — норовит хлебнуть, а котелок жжется. Опять бежит, отделение догоняет. Неловко пить-то. Тогда ложку из-за голенищ вытянет и ложкой черпает. Ничего, очень здорово, если с сахаром. Как кисель!

Полк опять влипал в грязь и полз по обочинам дороги куда-то влево, за лес.

— Позиция какая — говорили?

— Тюфяки настелены, крыши наведены...

— Бро-ось!

— Тогда не спрашивай...

Роты свернули на поле и пошли на больших интервалах, во взводных колоннах. Шрапнель лопалась далеко впереди — у леса.

— Будто паша.

— Подойдешь, узнаешь.

Роты шли без остановки, Лес ближе и ближе. Один вдруг испуганно завопил:

— Кавалерия!

Вдали промаячили всадники. Стрелки остановились. Взводный кинулся в шеренгу и затряс кричавшего стрелка.

— Я тебе... Я т-тибе...

Взводный схватил стрелка за ворот и яростно раскачивал его.

— Сволочь! Панику разводить? Сметанник проклятый!

Всадники — человек сто — ехали навстречу. Седьмая головная рота остановилась и изготавилась. Батальонный долго глядел в бинокль.

— Наши.

Кавалерия удерживала позиции и теперь передавала участок стрелкам.

— Где немцы? Эй, гусары!

— За рекой маячат.

— Много?

— Да как сказать — есть.

И кавалерия — статные, чисто одетые, в набекрень взятых фуражках с ремешками, спущенными под нижнюю губу, что делало гусар какими-то важными и презрительными, — тронулась дальше, в безопасный тыл, к теплу.

Стрелки облегчили душу и облаяли их. Во всю войну пехота мало видела пользы от кавалерии.

Начали окапываться. Участь ближней деревни была решена. Сразу пошли за соломой, досками, бревнами — за всем, что сгодится из хозяйства для окопов. Время, конечно, военное, и надо понимать.

Из деревни волокли двери, доски, балки, жерди, заборы, снопы соломы, волокли целые ворота... Замки ржавые — ребята brave, эх!

Стрелки быстро уничтожили покинутую деревню, существовавшую века. В поле никого не было видно,

роты зарывались в землю. Частили выстрелы, как всегда почти бесприцельные. Немцы били где-то рядом...

Роты окапывались быстро. Сразу возникли линии окопов и ходы сообщений.

Сварили добытую где-то картошку. Чего еще надо: брюхо набил, пыгарку свернул, лег, где посуше, — умирать не надо.

Четвертое отделение выдвинулось к реке.

В штабе второго батальона — в большой яме, обложенной досками и соломой и прикрытой сверху палаткой, пищит телефон: «Ти-ти-ти».

Телефонист вытянулся.

— Слушаю, да. Слушаю, так точно. Передаю трубку. Васокродь, командир седьмой роты вас спрашивает.

Батальонный подошел к телефону:

— Да-а... Да... Гм... Немцы? Накапливаются?.. Пустяки, пустяки... Примем меры... По обстановке... Все уладится. Сообщайте, Василь Петрович...

Над окопами лопалась и осыпалась шрапнель. Немцы скопились у реки, нащупывали брод.

Батальонный откупорил баночку консервов, гаветку подостлал и спокойно ел.

Адъютант доложил:

— Немцы на берегу. Накапливаются, господин подполковник.

— Накапливаются?.. Не хотите ли сардин?.. Ну, пойдем поглядим, поглядим... Как там делишки, поглядим, поглядим.

Пошли. Шрапнель и гранаты рвались над ходом сообщения, выводившим к седьмой роте. Батальонный дожевывал густо пропитанную маслом от сардин корочку и говорил не то адъютанту, не то так вообще:

— Пустяки, пустяки. Разведка боем.

— Так точно.

Шрапнель сверкнула над головой. Адъютант кинулся куда-то в сторону. Батальонный шагал.

— Пустяки, пустяки... Шрапнель...

Из окопа, с крайнего участка, где окопалось четвертое отделение, спуск к берегу был виден как на ладони.

Батальонный поглядел в «цейс» и улыбнулся:

— Пустяки, пустяки... Накапливаются? И откуда это слово взяли?! Ну-ка, дайте винтовочку.

Отделенный — вымуштрованный кадровик — протягивает винтовку:

— Пожалте, васокродь.

Батальонный поставил прицел «восемь». Отделенный тут как тут: согласно с 1912-го вмененным правилам, оказывает уважение начальству.

— Васокродь, дозвольте подстелю...

Отделенный притащил палатку и подостлал ее у бойниц. Батальонный не спеша стал прицеливаться в маячивших за рекой немцев.

— Ну, вот и попотчует... и попотчует.

Немецкая разведка перешла к переправе. Батальонный мигнул стрелкам. Его чудаковато-прищуренный глаз успокаивал и смешил людей.

— Пустяки, пустяки! Мы их сейчас.

Прошла минута. Видно было, как немцы, согнувшись, бежали к реке. Некоторые уже переплывали реку. Батальонный выстрелил. Один из немцев исчез под водой...

— Ну-ка, залчик!

— Слушаю, васокродь!

— Эх, жаль, что мы пока в резерве!

Отделенный, как на ученье, показывая свое умение, скомандовал неторопливо и громко:

— По плывущему немцу-у, на два пальца-а, влево от деревца, прицел девять-ять. От-деление... пли!

Десять выстрелов слились. Вода на реке покрылась кругами, плывущие пропали из виду... Немецкие разведчики были отбиты. Течение воды потащило их трупы по дну неглубокой реки.

Ночь была тихая. С утра моросил дождь. Немцы начали обстрел из тяжелых орудий. Комья окопной земли взлетали в небо. Тянуло паленым — горела деревня. Санитары пробирались по полю, носилки почернели и пахли кровью. Уносили раненых стрелков — кто стонал, кто кричал, кто молчал. Один ни сесть, ни

лечь не может — в спину ранен. Солдат выл от боли. Санитары, почему-то боясь, что крики услышат немцы и обстреляют именно их, совестили раненого:

— Ну, милый, не кричи, кричишь — беду нагонишь! Раненый притих.

По окопам резерва вели другого стрелка, совсем обессиленного, бледного. Он попросил:

— Земляки, постойте.

Остановились.

— Дайте курнуть. Смерть захлестнуться дымком хочу...

— Больно тебе?

— Горит...

Раненый взял цыгарку, закурил, втянул дым. Стал выпускать дым носом и ртом и вдруг, содрогнувшись, замертво упал. Дым еще шел изо рта вместе с кровью.

• — Кончился?

— Стало быть.

Третий полз сам и жалобно спрашивал:

— Где народ? Не вижу-у... не вижу-у... Ай, слепой стал... Ай, слепо-ой...

Его подхватили.

— Братцы, доставьте в лазарет... Братцы, Христа ради-и-и, не броса-а-айте... Слепо-ой я ста-ал... братцы...

Земля взлетала пластами. Чернела трава. Стрелки иногда среди содроганий земли тихо переговаривались:

— Воробьиным бы путем отсюда куда-нить.

— Лежи, воробей.

Русской артиллерии на позиции не было. Солдатам оставалось одно — лежать в окопе и ждать своей участи.

Лежали, мокрые, в глине, прижавшись к стенке окопа, покуривая и изредка крестясь...

— Ва-ась?

— Ну!

— Как лучше — когда в брюхо али в грудь ранят?

— В грудь лучше, под плечо под косточку... В брюхо хуже — дух выйдет.

— Отчего?

— Потому брюхо главное. Брюхо за все тело отвечает и действует. Вот водки выпьешь — из брюха тепло по всем косточкам идет... Или чай — тоже тепло дает из брюха. Я вон на брюхо подсумки и патронташ повсегда спущаю — ежели пуля ударит, — срикошетит.

Дождь лил. В окопах скоплялась вода. Она непрестанно рябилась от содроганий земли.

— Вась, вернемся мы в Расею-то?

— А те што тут?

— Ну, какая тут Расея!

Пролетел, визжа, осколок.

— Ишь забирает на последях.

— Который убьет — не услышишь.

— Смерть тихо ходит.

Раздался крик:

— Носи-илки!

За траверсом лежал раненный осколком стрелок.

— Ох, и кровишши!

Раненный зажимал рукой рану, удерживая хлеставшую из раны кровь. Солдаты обступили его.

— Умрет, ей-богу.

— Райска душа будет.

— Угомонится. Грехи отпустятся...

— А кто отпускать будет? Ежели как ты думаешь, так выходит, бог его убил...

— Ага. Выходит, что так...

Раненого унесли...

— Поесть, что ли, может, напоследок...

Кухни в эту ночь, в первый раз за трое суток, добрались до рот. Дали суп, сварили кашу. Стала каша синяя и, как студень, холодная. Песок окопный вдобавок в нее понасыпался. Стрелкам весь день не до еды было. Ну, какая есть, такую и есть.

Мимо прошел батальонный.

— Ходит. А я знаю, чего он ходит. Видал раз.

— Ну?

— Вот как-то, как нынче, сидели под обстрелом, а он ходит, окопы крестит и шепчет — должно молитву. И «пустяки» приговаривает.

— Ну-у?

— Ей-богу. А чего ж ему еще делать? Ведь отвечать-то немцу нам нечем... Сиди в резерве — терпи... Авось, молитва поможет.

Рванул снаряд. Какой-то стрелок вскочил, грязь брызнула в кашу.

— Ну, дьявол косолапый! Легше!

Дождь лил и лил. С первой линии по окопам резерва проходили легко раненные из седьмой роты. Шли веселые: ничего их уже не касалось, — «дело наше пока счастливо конченное». Они шли и на ходу торопливо переговаривались с солдатами:

— Ох, и прет он... Ох, и прет! И за рекой сколько и на этот берег вылез... Должно, в атаку пойдет.

— Напирает?

— Напирает. Сил у него много. За рекой из лесу так и идет — колоннам, прямо колоннам!

День проходил — и в сумерках стали видны, незаметные днем, вспышки немецких батарей, красноватые, желтоватые, зеленоватые и голубые.

Вечером послали разведчиков убрать трупы и доставить забытых раненых с первой линии окопов. Разведчики брели, чертя прикладами мутную воду, забрызганные грязью с головы до ног. Шли, оступаясь, падали в глубокие воронки, доверху залитые дождем. Наконец добрались до оставленной, но еще незанятой противником линии окопов.

Поползли по окопу и видят: человек стоит, другой сидит рядом...

— Кто?

Ответа нет.

— Свои?

Ответа нет... Подползли ближе.

— Да они оба мертвые!.. Стрелки...

Присмотрелись... Оказывается, стоявший стрелок напоролся на винтовку другого. Видимо, его подбросило силой взрыва и он, падая, наткнулся на штык и про-

колол сердце. А винтовка не упала, так как мертвый солдат зажал ее окоченевшими руками. Чего на войце не увидишь!..

— Стоит!

— Как свеча перед истинным...

Разведчики приносили убитых в окопы резерва, клали их рядом и прикрывали шинелями и палатками. Двадцать шесть убитых принесли. А в седьмой роте было шестьдесят человек! Принесли еще одного.

— Куды кладете? Не видите?

— А што?

— Начальство!

— Эх, не узнали мы впотьмах полуротного! Тогда на фланок клади. Храбрый он был на редкость!

И бережно перенесли убитого офицера на правый фланг.

К утру резерв был выдвинут на первую линию окопов.

МАРШЕВЫЕ РОТЫ

VI

По окопам ночью передали: «Пришло пополнение». Люди обрадовались, ощутили заботу о себе. Много ли солдату нужно. Даже болотина у реки стала милее.

Слух оказался верным. Ночью в штаб полка, восемь верст от передовой, пришло пополнение — пятьсот маршевиков. Они стояли у освещенного окна занимаемого штабом дома — окно не в сторону противника, боже спаси! — и ждали выхода командира полка.

Маршевики были во всем новом, но каком-то жалком и мокром, холщово-брезентовом. Набухшие холщовые, а не кожаные под сумки и патронташи болтались, как тряпки; брезентовые, а не кожаные пояса сползали вниз. Сапоги — тоже брезентовые, только головки у сапог да подошва — из кожи. Из вещевых мешков торчали соломенные маты — смешная, не нужная на войне вещь: солому из деревень всегда натащишь. Пополнение стояло понуро, испуганно, впервые слы-

ша близкий гул артиллерии, впервые видя сияние ракет...

Вышел командир полка, подошел к маршевикам, поздоровался:

— Здорово, молодцы! Ну, будете служить... Верой и правдой... В нашем полку. В дружной семье сибирских стрелков. Ждали вас. В добрый час, братцы! Сейчас вас отправят по ротам... Держитесь бодрее! Вид, вид дайте!

Командир полка пошел вдоль шеренги, светя фонариком. Маршевики, жмурясь от яркого света, стояли, тая дыхание. Полковник глядел на маршевиков и думал: «Обучены отвратительно, совсем молодые, видно — новобранцы. Не солдаты... Неопрятны. Вид болезненный... Подстрижены плохо... Надо будет ими очень заняться... Потом...»

Маршевиков, которые действительно в основном были новобранцами, разбили по ротам и погнали на позиции. Там ждали пополнения, не могли дождаться, — ведь в полку были большие потери...

— Не растяг-вайсь!

Подпрапорщик повел маршевиков, соблюдая порядок. Сразу надо дать почувствовать строгость.

Ракеты пугали, казалось, что они висят очень близко над головой. Пригибаются маршевики...

— Ну-у? Робей там!

— Не разговаривать, тихо!

На передовой — точно бурлил кипяток. Противник приближался, началась перестрелка.

— Шире шаг!

По скользкой дороге шагали вразнобой. Испуганно перешептывались:

— Куда бежим-то?

— На первую.

— Сразу? Так и погонят?

— Ну, а што?

— А што там?

— Ин стреляют.

Навстречу — офицер.

— Какая часть?

— Маршевые роты.

— А с кем говоришь, бра-атец?

— Виноват, васокродь.

Пополнение спешило. Немцы уже вышли на низину к реке, и полк держался из последних сил.

Подпрапорщик довел маршевиков до землянки штаба батальона. Стрельба оглушала. Слов не было слышно. Все сбились в ходах сообщения.

— Ведите их сразу дальше, скорее, скорее!

— Слушаю-с. Командир велел доложить — как соседи гвардейцы? Помогают?

Батальонный безнадежно махнул рукой:

— Связь с ним вторые сутки прервана...

Новобранцы подошли к окопу, сгрудились.

— Вода, братцы... Куда ж?

Сзади, нажимая, кричал подпрапорщик:

— Вперед, ну!

— Вода — по пояс...

Делать нечего... Побрели по воде на поддержку полка, на передовую... Кой-как разобрались, разместились в окопах первой линии. Поприутихла ружейная стрельба. Впотьмах маршевики глядели на реку, ничего не различая. Вспышки ослепляли людей — перед глазами только круги плавали.

Ночью к окопам по болотине подбирались два разведчика из соседнего полка. Земля чавкала под ногами... Над головой — свист и шипение снарядов. Разведчики поползли. Болотина засасывала. Во тьме ничего не видно...

— Не туда идем.

— Ну?

— Бери правее.

— Там перестрелка была.

— Ну, и?

— Может, отступили наши.

Почва стала тверже. Неожиданно она заколебалась под ногами и с шумом стала обваливаться. Окоп! Разведчики, не охнув, полетели вниз, в воду. Увидели, что в воде молча стояли еще какие-то люди. Один из разведчиков спросил:

— Свои будете?

Молчат.

— Ну?

— Свои...

— Сразу так и сказали бы. Где батальонный?

— А мы не знаем.

— Как так?

— Пригнали, поставили.

— Где ротный?

— Не знаем.

— Кто ж тут есть-то?

Солдаты молчали. Разведчики удивленно поглядели на них и пояснили:

— Нам во второй батальон Сибирского стрелкового надо... Какой тут?

— А ня сказывали.

Тогда один из двоих не выдержал:

— Ну и пешечки!

— Идем дальше.

Разведчики пошли по воде. Окоп был узкий, и по всему окопу в воде недвижно стояли солдаты.

— А ну, сторонись!

Разведчики протискивались, вдавливаясь в сырые стенки окопа. В темноте нельзя было разглядеть солдат. Только в свете разорвавшегося снаряда разглядели, что у некоторых белели новенькие, незакопченные котелки.

— Вот оно что: пополнение, маршевики! Сердяги!

Окоп пошел чуть в гору, воды стало меньше, но идти хуже — под ногами размытая, скользкая глина...

— Ползи, ползи.

В конце окопа в прорезь подвешанной палатки виден свет — не то фонарь, не то свечка. Значит, начальство. Разведчики встряхнулись:

— А ну, подберись!

Один подошел к прорези и деликатно спросил:

— Дозвольте войти, васокродь!

— Кто там? Входи...

Разведчик откинул палатку, вошел... В землянке сидели полковник и телефонист.

— Вы изволите быть, васокродь, батальонным командиром второго батальона Сибирского стрелкового полка?

— Изволю, изволю.

— Честь имею явиться, васокродь. Разведка, высланная от соседнего полка для связи и определения позиции батальонов Сибирского стрелкового. Старший разведчик.

Полковник оглядел разведчика.

— Гвардеец?

Разведчик выпрямился и победоносно рывкнул:

— Так точно, васокродь!

Полковник оглядел промокшего курносого, безусого парня.

— Ишь ты — из молодых, да ранний. Ну, определяй, определяй...

Полковник бросил телефонисту:

— Дай штаб.

Запищал телефон. Полковник взял трубку и спросил:

— Отмены приказа не было?.. Мои доводы не убедительны? Нет?.. Ну, ладно... Свои соображения относительно маршевых я уже сообщал... Повторяю — новобранцы... На этом мой долг кончен. Честь имею кланяться (положил трубку)... Так, та-ак... Ну, надо собираться. (Батальонный вздохнул и повернулся к разведчику.) В атаку сейчас.

Разведчик приложил руку к козырьку:

— Слушаюсь, васокродь!

— Что ты «слушаешь»?! Ты определяй, делай свое дело... Без тебя обойдется...

Полковник, наклонившись, вышел из землянки, приподняв и подобрав шашку с черно-желтым темляком. Разведчик вышел вслед за ним и окликнул своего спутника:

— Епиша!

— Здесь!

— Ну, вали, Епиша, считай окоп с самого левого фланга шагами. Я возьму правее. Понял? Какие где повороты, траверсы, где пулеметы... Может, бросаешь? Хотя темень... Замечай, ни-ни не

упусти приметы. По ним потом сам поведешь... Ну, вали..

Из землянки пищало: «Ти-ти-ти»... Телефонист сидел один за палаткой у догоравшей свечи.

— Слушаю, слушаю... Будете что передавать? Их высокородь вышедчи в атаку... Есть... Записываю...

Разведчики разбрелись по окопу, один влево, другой вправо. Маршевики попрежнему молча стояли вдоль передней стенки окопа, наполнявшегося водой все больше и больше. Было совсем тихо, только капли стекали с людей. Издалека зазвучала команда, еще неразличимая, но настораживавшая, приближающаяся:

— То... па.

— Тоо-па...

— Тов... паа...

— Го-то... паа...

— Пригото-о-овитца!..

Маршевики пошевелились и опять замерли. Старший разведчик брел в воде и, сбиваясь, считал шаги:

— Сто, сто один, сто два, сто два... готовятся... сто два... сто три, сто четыре... атака! сто пять...

Его тронули за руку:

— Земляк, куды двигатца?

— А?

— Куды готовитца?

— Атака будет.

— О-ой.

Маршевик охнул и отпустил разведчика.

— Сто пять, сто шесть, сто семь... Тут охнешь... Три траверса было... Примет никаких нет, ни чорта...

По окопу вдали что-то закричали... «А-а-ла...» Разведчик соображал:

— Что?.. А — вылазь! Сто семь, сто восемь... сто девять... Попали в переделку... Сто десять... окоп завтра размоет, обвалится... Тоже выбрали!.. Сто одиннадцать... Кто там лезет?

Разведчик остановился. Сзади его окликнули по имени.

— Что, Епиша, ты?

— Я-у.

— Слышал?

— Слышал!

Оба поглядели друг на друга:

— Как быть?

Атака чужого полка, а им велено разведку срочно кончать и обратно. Но ведь атака! Может быть, и они должны помочь?..

Маршевики стояли, темные, неподвижные, и слушали, как вылезали солдаты из окопа в первую цепь. В сырой, поглощающей звуки низине заныло: «А-а-а... по-а-апли...»

— Господи благослави!

Взлетели зеленые и красные ракеты. Это немцы вызвали на помощь заградительный огонь артиллерии. Пули начали выстукивать: «тук-пак», «так-пак». На близкой дистанции звуки ударов пуль и долетавшие звуки выстрелов почти совмещались.

Разведчик считал:

— Сто семь. Сколько было шагов? Сто семь или сто десять? Сто десять, сто одиннадцать, сто двенадцать... Немцы сейчас трахнут... сто тринадцать... ага, летит... сто четырнадцать... Ложись!..

К окопу медленно, шурша в воздухе, летел первый немецкий тяжелый снаряд. Звук менялся — усиливался и ускорялся... Потом снаряд просвистел над окопом и глухо стукнулся в болото.

— Не разорвался... Сто пятнадцать... давай бегом!.. Считать по пять шагов сразу... Ать-два-три-четыре-пять, сто двадцать, сто двадцать три, четыре-пять... А, чорт!..

Новая партия маршевиков стояла, закрыв вход.

— До-ро-гу-у!

Снаряд опять влетел в болото. Ударило пламя, и извержение потрясло окоп. Второй снаряд. Третий! Они рвались с раздирающим уши низким гулом...

— Скорей... Сто тридцать!.. Сторонись, ты, раззява!.. Сто сорок!.. Кладет точно, пристрелялся... Как там атака?.. Ни чорта не слышно... Сто пятьдесят...

Маршевики вылезали из окопа.

— Этих тоже? Второй цепью? Сто шестьдесят, шестьдесят один...

Маршевики подпрыгивали, хватались за мокрую землю высокого бруствера, впивались в нее пальцами

и шлепали ногами по воде, падая при грохоте разрывов. Потом они подпрыгивали опять, снова лезли на бруствер, опять скатывались по глине, снова лезли и снова срывались — не дотянувшись, гремя новенькими котелками — в бурю воду в окопе...

Старший разведчик остановился и закричал зычно:
— Подсаживай один другого!

Окрик остановил всех. Стали послушно подсаживать, потом верхние вытягивали нижних, и они, скользя, выползали, наконец, за гребень окопа. Разведчик крикнул в озаряемую вспышками темноту:

— Осторожно штыки при посадке-е!

Один крикнул:

— А у нас их и нету.

Разведчик удивился:

— Как? Винтовки без штыков?

— Не, винтовок у нас нету.

Разведчик умолк, потеряв счет — да что же это?

Ударил снаряд. Маршевики стали быстрее выбираться из окопа.

— Вперед!..

Разведчики, закончив счет, тоже выскочили из окопа. С фланга кричали:

— Ложись, не стой, ско-и-т...

Огонь усиливался. У окопа уже лежали убитые и раненые маршевики. Новобранцы с пустыми руками — без винтовок — опять сгрудились у гребня окопа и, лежа или сидя на корточках, вздрагивая, втягивали головы, зажимали уши и жмурили глаза — разрывы слепили и оглушали их вконец. Слева кричали:

— Фитфебель роту приня-ал... Вали вперёд, так всех ско-и-т!

Пули щелкали, осколки фырчали и шипели, но никто не двигался с места. Разведчики влипли в землю вместе со всеми.

— Покосит, покосит, покосит...

Сквозь сырой ночной воздух опять пятнами засветились ракеты, и все стали еще больше влипать в землю. Люди лежали скученно, прижавшись друг к другу, колотясь от страха и холода... В окопе и за ним рвались снаряды — так часто и с таким длительным ревом,

что он не прекращался и в интервалах между падениями снарядов... Тяжелая немецкая артиллерия подожгла, казалось, весь участок перед рекой: небо горело всеми огнями — синими, желтыми, зелеными, багровыми... Хорошо знакомый разведчикам ураганный немецкий огонь!

Маршевики лежали, ничего не видя, не слыша, никто из них не мог начать снова вкапываться в землю, хотя у всех были лопатки.

Среди мокрых, не шевелившихся солдат слышались стоны.

Слева опять заныло: «А-а-а-а...» Люди пошевелились и затихли. Разведчики встрепонулись. Что это? Вторая атака или контратака? Вдруг кто-то, почти плача, закричал:

— Взвод-одный!

Сверкнул близкий разрыв и на полсекунды осветил согнутые человечьи спины — серые, мокрые.

— Взводный жа-а!

Маршевик искал спасения у взводного. А что знает маршевый взводный?

Маршевый взводный — унтер-офицер российской императорской армии — знает наизусть по уставу:

«Рассыпной строй, или иначе называемая стрелковая цепь, употребляется для поражения неприятеля огнем, для доставления стрелкам наибольших удобств при стрельбе и для уменьшения в людях потерь от огня противника. В рассыпном строю 4—6 человек составляют звено, 2—4 звена отделение, 2—4 отделения взвод, 2—4 взвода роту. В рассыпном строю отделения располагаются рядом; интервалы между людьми назначаются в зависимости от протяжения участка, который надлежит занять. Отдельные звенья и люди могут несколько выдвигаться из общей линии, принимать вправо или влево, если это не мешает людям стрелять. Обязанности рядового в рассыпном строю: понимать боевую задачу своего звена, отделения, взвода, роты, следить за действиями противника, *не оставлять самовольно места, выбирать место,*

удобное для поражения противника и укрытое от его глаз, поражать противника по команде, указанной начальником, беречь запас патронов, стараться его пополнять и по выходе половины доложить старшему в звене; при движении вперед сохранять интервалы, при перебежке быстро вскакивать и стремительно перебегать в указанном направлении, пригибаясь, если нужно, чтоб представлять меньшую цель. По команде «вперед!» для движения в атаку с криком «ура» бросаться на врага в штыки, смыкаясь на бегу к ближайшему начальнику...»

Новобранцы, лежавшие без движения перед окопом, могли только «не оставлять самовольно места»...

Огонь затихал... Туман на речной низине сгущался. Люди лежали попрежнему, не шевелясь и радуясь наступавшей, наконец, тишине. Вдруг донесся шум чавкающих шагов. По грязи приближалась чья-то цепь, едва различимая в тумане. Маршевики, оглушенные, полумертвые от страха, покорно ждали... Некоторые поднимали руки. Разведчики вскочили... В тумане уже была различима медленно приближавшаяся цепь.

— Немцы!

— Пропали маршевики и мы вместе с ними...

Цепь шла без «ура». Разведчики выстрелили. Послышалось:

— Сто-ой!.. Не стреля-ять!

— Свои?! Ну да, остатки дважды ходившего в атаку второго батальона! Пошли, Епиша! Пора и нам. Подавайся левее...

Цепь поровнялась с маршевиками. Батальонный с жалостью глядел на них.

— Отбились пока. А вы идите за винтовками. От отделения по три человека.

Маршевики лежали не шевелясь.

— Ну, кто тут у вас есть? Взводный!

Из темноты раздался жалкий голос:

— Я-у.

— Пошлешь их, пока туман, вперед по три человека за винтовками.

— Слушаю, вашбродь.

— Прикажи: когда винтовки и патроны со своих брать будут, чтобы никто убитых не обшаривал.,

— Слушаю, вашбродь...

Батальонный устало побрел в свою землянку.

План Гинденбурга окружить русскую армию в районе Вильно был сорван героическими усилиями русских войск.

* * *

В Ставку направлялись срочные, совершенно секретные, за особым шифром донесенья, содержание которых заключалось в том, что русские заводы не могут изготавливать винтовки в необходимом для действующей армии количестве:

«... Посему нормы изготовления винтовок не выполнены и впредь выполнены быть не смогут, что явствует из прилагаемых на рассмотрение отчетов. В последнее время норма изготовления винтовок не увеличилась, а снизилась против норм довоенного времени на шестьдесят — семьдесят процентов. В то же время убыль винтовок в боях такова, что даже полное выполнение довоенных норм ее покрыть не могло бы. Вследствие вышеизложенного на фронте создалось сугубо тяжелое положение: дело дошло до того, что новые пополнения отправляются в действующую армию не снабженные винтовками, то есть *невооруженные*.

В силу этих обстоятельств выдвигается на обсуждение проект об изъятии и сборе всех видов ружей из имеющихся в империи арсеналов, а также о возбуждении перед союзниками ходатайства о выполнении данного ими обязательства снабдить в кратчайший срок русскую армию необходимым количеством винтовок любого образца.

Касательно винтовочных патронов надлежит установить, что и по этому виду вооружения довоенная норма заводами не выполняется, ибо иссякают запасы пороха, что также вынуждает ходатайствовать перед союзниками о быстрейшем снабжении ими русской армии патронами в необходимом количестве. Касательно катастрофически малого количества орудий и главным образом снарядов уже неоднократно сообщалось; будут представлены дополнительные сведения.

Надлежит с похвалой отметить, что изготовление упряжи и седел для армии выполняется успешно».

После возбуждения соответствующих ходатайств перед союзниками, по прошествии срока, достаточного для того, чтобы отправить «в лучший мир» все очередные партии маршевых рот, пришло в ответ послание маршала Жоффра. В этом послании Жоффр передавал восхищение союзников доблестью русской армии, которая, невзирая на потерю значительной части территории (они надеются — временную), нашла в себе силы устоять перед новыми ударами превосходящих сил противника, чем в данный момент оказала громадную услугу общему делу союзников.

Касаясь в своем послании вопроса о данных союзниками обязательствах, маршал Жоффр любезно обещал запросить соответствующие фирмы о причинах невыполнения порученных им заказов на вооружение русских армий.

БУНТ (Зима 1915 года)

VII

Человеческое отчаяние утопало в безразличии чужого города, и в злобе, ударяя камень стен, матросы возвращались на корабли. Их отпуск был, как всегда, краток, а служба в царском флоте была тяжела и скучна.

Пятнадцать месяцев подряд бездействовала на Балтийском море эскадра линейных кораблей русского императорского флота. В основу операций на Балтийском театре были положены начала стратегии оборонительной. Здесь операции флота в основном ограничивались активными действиями минных сил и подводных лодок, наносивших ощутимые удары германским военным кораблям и транспортам.

Эскадра линейных кораблей стояла в Гельсингфорсе. Снег падал на выкрашенные в белый цвет (чтобы сливались они цветом с белым покровом берега и моря) линейные корабли, и жизнь на кораблях текла согласно неизменного Морского устава и традиций, не поколебленных войной. Шли месяц за месяцем, как в 1912, 1913 и 1914 годах... Те же побудки, приборки, погрузки угля, учения.

Кубрики кораблей были забиты полуторным штатом команд военного времени, и ночи были нестерпимо удушливы. Ровный звенящий шум стоял в металлических коробках, наполненных жаром и гудением котлов, топки которых непрерывно принимали уголь.

Несмотря на то, что эскадра бездействовала, топливо по боевому положению шло в Гельсингфорс непрерывающимся потоком маршрутных поездов.

Маршрутные поезда с углем прибывали день и ночь. С кораблей день и ночь гоняли матросов на разгрузку угля. Они вяло брели под счет унтеров к поездам. Вдymались тучи угольной пыли, и всюду от нее снег делался черным. Люди работали медленно, выплевывая черную слюну на почерневший снег. Глаза их воспалялись и гноились. Зрение катастрофически ухудшалось.

Матросам было трудно работать оттого, что и рукава у кистей рук, и брюки у лодыжек, и ворота они туго стягивали веревками, тесемками и платками. Они делали это для того, чтоб хоть отчасти спасти свою кожу от проникновения разъедавшей ее угольной пыли. От нее быстро разрушались и легкие. Число больных росло, доходило до сотен.

Ночная смена бригады линейных кораблей вышла на очередную разгрузку угля.

Унтера по старой привычке искусственно веселыми голосами кричали ночной смене:

— Навались, ребята. Разом, разом! Все подчистую возьмем.

Но этот окрик, прежде неизменно действовавший и ускорявший работу, уже не подхлестывал матросов. Поток угля был безостановочным, и матросы не могли даже представить себе возможность своей победы над бесконечной вереницей вагонов, груженных углем. Горы угля уже высились в порту, заполняли вагоны, эстакады, площадки у складов, склады. В угле тонули заборчики, тумбы и даже фонари. Уголь засыпал всю территорию.

Ночная смена работала почти беззвучно; все делали одинаковые движения, иногда поглядывая на море, и тогда больные глаза различали в ночной дали багровые пятна: это из труб кораблей вырывались огненные языки. Брикет выбрасывал пламя, и матросы вспоминали инструкции, предписывавшие им «неукоснительно ходить без факелов, кои могут открыть местонахождение эскадры противнику».

Крики унтеров учащались, стали грубее и злее — и матросы вынуждены были ускорить работу. Черная толпа, шумно дыша от утомления и глотая пыль, разгружала составы с углем. Желание закончить работу до срока и вырвать лишний час покоя и сна охватывало людей все сильнее. Несколько человек самовольно отлучились, чтобы узнать у железнодорожников, будет ли ночью доставлен новый уголь. Они вернулись радостные и сообщили о том, что новых поездов сегодня не будет — за Выборгом снежные заносы. Матросы разгорячились, увидя возможность пораньше уйти на отдых.

Разгрузка шла к концу. Приказания офицеров и унтеров, довольных неожиданным рвением ночной смены, звучали мягче, что удивило матросов, привыкших к неизменно грубым окрикам начальства. Работа вспыхнула и забурилась, людям хотелось кончить ее, добраться до койки и спать, спать...

Наконец был разгружен последний вагон, и в ночи раздался ясный и кипящий крик «ура», не похожий на

обычный казенный рев. Люди обрели радость. Они вернулись к морю и... увидели, почти рядом, громадные корпуса придвигавшихся к набережной транспортов и впереди них, совсем близко, ледакольные буксиры.

— Эй, на буксире!

— Есть.

— Откуда? Кто?

— Транспорта с углем.

Балтийский флот получал уголь не только по железной дороге — он имел транспорты для доставки топлива: «Анадырь», «Аз», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро», «Есть», «Земля», «Иже», «Како», «Мыслете», «Наш», «Покой», «Слово», «Рцы», «Ша», «Ща», «Татьяна», «Тамара», «Ольга», «Араманс», «Елена», «Ника», «Спиноза» и баржи № 1, № 2, № 3, емкость коих судов была от 400 до 9300 тонн угля.

Ночной партии пришлось снова разгружать уголь, доставленный транспортами. Надежда до срока кончить работу не сбылась. Когда же срок наступил, черная колонна матросов, под счет унтеров, двинулась, наконец, по черному снегу на корабли.

В кубриках матросы, прежде чем итти мыться, пили чай, чтобы прочистить рот и глотку. Они крошили в него хлеб и давили его ложками по старой флотской привычке. Выпив, долго разгибали спины и шевелили онемевшими руками. Люди скупно перебрасывались словами, не выражавшими тяжелых дум, которые они таили про себя.

В бане им сообщили:

— Мыло ввиду военного времени сокращено. Хватит! Побаловались!

Черные матросы побрели прочь, шаркая ногами по линолеуму, вымытому до блеска, как то предписывалось Морским уставом и традициями. Матросы направились в кочегарку и в угольной яме, в темноте, тихо говорили друг другу:

— Пропадем ведь.

— Ни за что пропадем.

Черные пальцы держали трубки и папирсы, чер-

ные губы выпускали дым. Мундштуки у папирос чернели, и иногда на них была кровь. Подавленные и обиженные матросы спрашивали друг друга:

— Чево ж делать?

— Претензии подать.

— Всем вместе.

— Плевали они на наши претензии...

Люди вспоминали всю службу, все свои ожидания — и не видели правды, хотя все им о ней твердили: и корабельный священник, и командир, и офицеры, и унтера. «Говори всегда правду, гляди прямо в глаза, веселó...» Как открытие, сулящее долгожданное приближение вечно недостижимой правды, матросы вдруг услышали слова, едва знакомые, но какие-то близкие:

— А если забастовку объявить?

Теснее сдвинувшись, храбрясь, но в то же время пугаясь, делая решительные жесты, но оглядываясь, матросы уговаривали друг друга то пугающими и жесткими словами, то ласково-поясняющими:

— Только, братцы, кто продаст — ну, конец и ему и всем...

— Да что ты, господи, кто же продаст?

— Только стой все, стой все — тогда добьемся...

— Вот, значит, требовать, только всем, ребята, уменьшить количество часов погрузки!

— Выдать всем очки, чтоб не только у офицеров были.

— Мыло чтоб давали.

Ожесточаясь, они слали тут же придуманные страшные ругательства тем, кто не хотел дать им мыло, не мог как следует наладить погрузку угля. Потом снова, пытливо глядя друг другу в глаза, повторяли:

— Только всем требовать, ребята! А то что же... Ладно? Всем!

Кончив беседу, люди разошлись, унося свою радостную и тревожную тайну.

Ночь прошла согласно расписания, как и все ночи.

Побудка подняла всех — во тьме. В душных зловонных кубриках все было выполнено, согласно расписания, как обычно. Матросы глядели друг на друга с надеждой и опаской. Засвистели гудки.

— Выходи на разводку!

На верхней палубе работа начиналась до рассвета. Унтера развели людей почти не глядя, скомандовали и двинулись. Матросы не шелохнулись. Унтера заметили это не сразу, не поверили и прибавили голос. Матросы не двинулись. Унтера, знавшие многое и умевшие чутая все флотские дела, сразу увидели и поняли все — по упрямым лицам и по неподвижности шеренг. И тогда они скомандовали спокойно и дружелюбно: «Оправиться», — мгновенно занимая безопасную позицию выжиданья. Унтера доказали команде свою готовность всегда понять их и торопились с докладом к начальству, чтобы показать и там свою готовность всегда исполнять все приказания.

Появились офицеры, они с опаской вглядывались в лица матросов.

— В чем дело, братцы?

Люди молчали, влекомые дальше и дальше решимостью, смелостью и страхом.

— Ну, что же, братцы? Говори кто-нибудь.

С правого фланга кто-то крикнул:

— Мыло пусть дают!

Крик как-то осекся.

Все — и матросы и офицеры — понимали, что суть дела не в мыле, что отказ в мыле был последней каплей, переполнившей чашу матросского терпения. Люди стояли совсем как на параде, вытянувшись по всем правилам, усвоенным за годы муштры.

То, как стояли матросы, вернуло офицеру спокойствие и, переходя в наступление, он уверенно и насмешливо спросил:

— Кто это «пусть дают»? Кто должен давать — я?

И сказав эту «удачную» фразу, он увидел, что матросы растерялись. Действительно: разве мыло дает ротный? Мыло дает баталер, а ему в порту дают, а где порт достает, это его дело. Матросы были озадачены простой истиной: не ротный дает мыло, верно. И в то же время они знали, что не у баталера надо требовать, хотя именно он дает мыло. Молчание было длительным. Офицер просто скомандовал:

— Напра-во. Я разберу, братцы.

И люди повернулись, щелкнув каблуками. Тогда опять раздался голос матроса с правого фланга:

— Сто-ой, ребята!

Люди стояли, ожидая привычной команды: «Шагом-арш!» Но правофланговый сразу понял, что надо сделать дальше, и рывкнул:

— От-ставить!

Люди опять повернулись лицом к офицеру. Офицер испугался. Он оглядывался, ища помощи и желая узнать, — видел ли кто-нибудь то, что произошло. Навстречу ему приближался старший офицер.

— Смирна, равнение на-право!

Привычка еще владела матросами, и они подчинились команде.

Старший офицер, знавший уже обо всем, спокойно поздоровался с матросами, внушая этим необходимость обычного поведения. Ответ был необычно бодрый.

Старший офицер прошел по строю и спросил:

— Кто приказал «отставить»?

— Нужда, васокродь.

Голос у правофлангового матроса был глубок, тосклив и честен. Оба офицера стояли, чего-то выжидая, что-то продумывая и не глядя друг на друга. Наконец старший офицер подошел решительно к шеренге:

— Новые моды заводите? Прекратить!

Офицер думал, что подчинит людей. Уверенный в своей силе, он подошел к правофланговому. Тот стоял ясный, большой, со светлыми усами. Офицер шагнул ближе и остановился. Потом, отойдя, скомандовал:

— Зачинщики два шага вперед. Шагом-арш!

Правофланговый вышел, выбросив сильно левую ногу при первом шаге. Офицер сунул руку в карман, и все поняли: сейчас застрелит матроса. Многие закрыли глаза...

Тогда правофланговый сказал своим глубоким, тоскливым голосом:

— Васокродь, бейте насмерть. Не убьете — я вас убью.

Матрос стоял непоколебимый и ясный. Офицер вынул руку из кармана и чуть приблизился к матросу.

— Молодец, Соколов!

— Рад стараться, васокродь!

В строю кто-то отчаянно и несвязно закричал и умолк. Офицер приказал:

— Идите пока в кубрик.

Без команды, смешавшись, матросы двинулись было вниз, но возглас правофлангового: «Стой все!» — остановил их.

На соседнем корабле, стоявшем борт о борт с бунтовщиками, выходила на палубу рота — сто двадцать матросов, — уже давшая ночью согласие поддержать бунт. Ее вел офицер, потрясавший все время браунингом.

Матросы столпились у борта, наблюдая за действиями роты на соседнем корабле.

Рота равнялась под дулом офицерского браунинга. Из ее рядов кто-то крикнул:

— Воюем! Держись все!

И разом на крик ответил гул бунтовщиков и наверх взлетели, по старой традиции, бескозырки с ленточками — знак приветствия.

На соседнем корабле раздалась команда офицера роты. Он спешно уводил матросов, подняв свой браунинг на уровень их лиц. Гул усилился, матросы подбегали к борту и кричали:

— Сто-ой! Сто-ой! Сто-ой, товарищи, все!

Матросы, уходя, оборачивались, улыбались, кивали ободряюще головами.

Палуба гудела и ликовала. По какому-то откровению, матросы, сорвав бескозырки, начали сигналить ими во все стороны, торопливо сообщая: «Присоединяйтесь все!» Они были уверены, что этот сигнал будет понятен матросам на всей эскадре. И это было так. Сигнал был понят, потому что одинаково тяжелой была служба на всех кораблях и одинаково все матросы в тоске ждали правды и каких-то перемен к лучшему.

Весть о сигнале передавалась от матроса к матросу.

Общее течение жизни на корабле внешне не нарушалось. Командир не выходил из каюты, предоставляя «прекратить безобразие» своим подчиненным. Вахта

несла службу, в камбузах готовился обед — потому что не могли быть нарушены служба и порядок на российском корабле. Так полагало начальство и всех убеждало в этом.

Бунтующие ждали наверху, на холоде, ждали решения товарищей с соседних кораблей, чтобы дальше действовать вместе. Но ответов на сигналы еще не было. Начальство не показывалось... Кто-то ушел погреться, кто-то ушел оправиться, и это ослабило общее напряжение. Понемногу люди стали сходить вниз. Там они разбрелись по бесчисленным помещениям, теряя чувство локтя, чувство близости «всех», теряя надежду на ответ с кораблей. Пообедав, утомленные ночной работой, матросы погрузились в привычный послеобеденный сон. Жизнь на корабле постепенно приобретала все свои законные и спокойные очертания, и на самих матросов возвращение этого спокойствия производило могущественное и неотвратимое впечатление.

Унтера вызывали бунтовщиков, до тех пор никем не потревоженных, поодиночке в каюты старшего офицера, вахтенного начальника и дежурных, сообщая каждому в отдельности, что решено принять во внимание их жалобы и поэтому пусть матросы еще раз выскажутся.

Злорадствуя, бунтовщики шли на вызов. В офицерских каютах матросов уже ждали жандармы, срочно вызванные и прибывшие на корабль во время положенного всем командам отдыха и сна.

Когда же ночью втайне принятый на кораблях ответ пришел — корабль, поднявший восстание, был тих и мерно шагали вахтенные по его палубам. Бунтовщики же с этого корабля уже были приняты на берегу — жандармским управлением.

В помещении тюрьмы, куда бы ни обращался взгляд, всюду был непроницаемый камень и железо и свет был скудный — из-под потолка. Матросы постигали необычайные вещи: стена — в два ряда обожженной глины —

отрезает человека от мира. Два ряда кирпичей, простых, пустяковых, столько раз виденных... Два ряда! Несколько дюймов... Кругом — полное безразличие. Все превращается в стены. Все молчит.

Матросы все это постигали молча, не умея вслух выразить то, что с ними происходило, и лишь спрашивали друг друга: «Когда допрос?», «Куда повезут?..»

Так же как накануне, в угольной яме, они испытующе глядели друг на друга, чтобы узнать, не выдаст ли кто. Один молодой матрос опустил глаза.

Время шло медленно, без перемен...

В какой-то день (или ночь?), в какой-то час — раскрылась дверь и в ней, загородив собой все, возникла устрашающая фигура жандарма, огромная и тяжелая. Матросы по привычке вскакивали, услышав свои фамилии, и отвечали: «Есть!» Фигура рывкнула:

— Выходи с вещами!

Это была формула, означавшая перемены судьбы, странствия этапным порядком и последнее — смерть.

Оказалось, что была ночь. Она постепенно превращалась в рассвет. Улицы города были пусты и тихи. Всякий иногда возникавший звук приобретал особое значение в мертвящей тишине. Матросы, выведенные из тюрьмы и стиснутые, взамен кирпичей, конвоем, не решались нарушить тишину...

— Мечтайти?!. Апп-ш!

Ноги с трудом передвигались, одолевая трудный путь, хотя это были ровные каменные плиты, покрытые снегом.

Рассвет обнажил пустынную улиц и черные фигуры матросов на белом снегу.

Слух уловил какое-то движение, какой-то посторонний скрип. В глубине улицы показались другие темные фигуры, шедшие навстречу. Случайные свидетели! Матросы обрадованно, питая какие-то неясные надежды, никогда не оставляющие людей, ускорили шаг, вспоминая истории о невероятных освобождениях и побегах.

Конвой тоже вглядывался в приближавшихся из белой мглы. Это были солдаты. Они шли какой-то

неуверенной походкой, странно запрокинув головы. Их дыхание было так слабо, что пар на морозном воздухе шел изо ртов жалкими, едва приметными струйками. Запорошенные снегом шинели висели на исхудавших телах.

Матросы, поровнявшись с солдатами, увидели, что они слепы. Это были русские инвалиды-слепцы, пораженные газами. Они вернулись на родину через Торнео из германского плена. Это была одна из первых партий инвалидов, которыми обменивались воюющие стороны еще до окончания войны.

Встреча ничем не помешала тайной системе сокрытия политических арестов, ибо единственные свидетели увода матросов были лишены зрения.

Матросов повели по удаленным от общего движения железнодорожным путям к окованному железом тюремному вагону и заперли их в нем.

День проходил беспокойно, потому что под железным полом не был слышен стук колес. Колеса были недвижны, это было неестественно и тревожило матросов.

Уже смеркалось, когда вагон прицепили к составу. Матросы с нетерпением ждали — в какую сторону тронется состав. Им почему-то казалось, что если на запад — то им конец, а если на восток, в Петроград, то там они найдут защиту. Вагон тронулся на восток.

Вагон на стыках и стрелках гремел всей массой своих железных частей. Сначала, при тихом ходе, глухо, а по мере ускорения хода поезда все резче, все нестерпимее, оглушающе. Исчезли последние огни.

Дверь раскрылась. Она была узка. В нее протискивались одна за другой тяжелые фигуры жандармов, освещаемые фонарем. Они подошли к матросам и в молчании остановились.

Их появление и молчание пагоняли страх.

Двое тихо, почти бережно, за плечи и за руки подняли одного матроса. Он, пряча страх, спросил:

— В чем дело, господин жандарм?

Они ответили:

— Сейчас узнаешь.

Насторожившиеся матросы поняли, что предстоят новые неизвестные действия...

Один из вошедших пролаял:

— Ложись!

Матрос стоял, не понимая и опять чувствуя страх. Лай повторился, но он как-то плохо доходил до сознания.

Матроса схватили и распластали на полу. Остальные матросы шевельнулись, и один спросил:

— Что же это, а?

В ответ жандармы обнажили оружие и приказали сидеть спокойно.

Вагон трясло. Он громыхал, и казалось, что это громыхают большие тени на потолке и стенах. Взбрасывались саженные руки теней и застывали. Склонялись огромные головы...

Действия были хирургически точны. В руках у одного из пришедших было мокрое полотенце. Это и вызвало ассоциацию с хирургией. С лежащего на полу матроса стащили рубаху, обнажили спину. Полотенцем, сложенным вчетверо, покрыли поясницу и начали избивать его тяжелой калабашкой, стараясь отбить почки.

Вагон грохотал. На стене взбрасывалась и опускалась тень руки. Время от времени матросам предлагалось во всем признаться и выдать зачинщиков.

Били калабашкой равномерно. Полотенце, все так же сложенное вчетверо, передвигали и били калабашкой снова.

Матросы молчали. Испуг проходил.

После того как полотенце, предохраняющее тело от следов побоев, было передвинуто выше, калабашкой отбивали уже легкие. Избивавший был удивлен: матрос молчал.

— Бери второе.

Двое подняли молодого матроса. Он попятился и завизжал:

— Что вы, что вы, что вы!..

— Ложись ево!

Тогда молодой закричал, что он все сам скажет, что только не надо его бить, не на-а-до би-ить...

Тарас Соколов крикнул:

— Предатель!

Широкогрудый, белоусый, он поднялся и, стоя, как на палубе, перед офицером, посмотрел на жандармов, прикидывая их вес и чувствуя прилив бешеной ненависти к ним и к предателю. Все становилось простым до предела. Эта простота освободила от подавленности, от тоскливого молчания, от страха, от ожиданий.

— Понес, флот!

Клич был знакомый, буйный. В нем была решимость, сила, гнев и опережающая все скорость. Брызнули стекла фонарей... В вагон грохнулась тьма.

— Понес, флот!

По стенам шарахался матросский боевой рев, матросские кулаки прошибали мясо до костей. Вагон превращался в корабль. Корабль превращался в остров Котлин, в треклятый Сахалин! И этот бой поднимал все силы матросов, всю их ярость!

Со скрежетом и лязгом они отрывали железные полосы и дробили ими черепа жандармов. Стоял немолчный вой избиваемых, но, покрывая его, взлетали флотские команды:

— Навались!

— Дружно!

В вагоне, наглухо закрытом со всех сторон, от бешеных движений матросов гулял ветер. Матросы без уговора сорвали с себя все, оставшись лишь в тельняшках, чтоб в темноте узнавать друг друга. Матросы наступали. Казалось — здесь, в вагоне; флот повторяет бой пятого года.

— Фло-от!

— Дай, дай!

Матросы, распаленные, счастливые, хлестали, крушили своих истязателей. Вагон трясся и скрипел. В закрытой железной коробке шел прекрасный бой, — шла лучшая из войн, война за правду.

Вздымайте кулаки, все кто с нами!

С проломленным черепом, попираемый ногами, валялся мертвый предатель.

Вагон летел на восток, к Петрограду, неся бой по огромным пространствам — к столице...

ГОД 1916-й

Глава пятая

СТОХОД¹

I

За фронтом была собрана к смотру гвардия. Корпуса стояли в уставных строях, как в прежние века и годы, но в неподвижности строев не было прежнего спокойствия. Люди стояли без прежней выправки; у многих — следы ранений. В глазах их были и скорбь, и глубочайшие вопросы, больше же всего — злобы. Внешнее и возрастное сходство гвардейцев уступило место иному сходству: в рядах стояли и старики, и молодые, мало отличимые от стариков. У многих дыхание было неровное, кашель и вздохи шевелили вылинявшие значки линейных. Отвисли тулья порыжевших фуражек... Кокарды были мутны, как бельма... Моросил дождь и влага темнила жидкие гимнастерки, облежавшие исхудавшие тела. Гвардейцы, уставшие от бесчисленных походов, были обуты в сапоги, разбухшие от сырости и спаленные кострами.

В первых рядах стояли последние, уцелевшие за время войны, кадровые гвардейцы. Им дали куски картона, и они по-старому подняли тулья фуражек. Это придавало им подобие «молодецкого» вида.

Были вынесены знамена — тлеющие на древках тяжелые материи с двуглавыми орлами.

Дана команда, и полки тронулись по сырой и тощей земле. За широким, гвардейским шагом первых рядов остальные вначале не поспевали. В девятой, десятой,

¹ Река, правый приток Припяти.

одиннадцатой, двенадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой ротах, сбиваясь с шага, шли последние разысканные в городах и деревнях России ратники, наспех обученные в столице в гвардейских запасных батальонах.

Полки колыхались в неровном шаге по сырой дороге вдоль леса. Многие из принимавших парад опустили глаза, чтобы не видеть марша последних ратников России. Они думали об обязательстве, данном союзникам 14 февраля 1916 года именем армии российской, — об обязательстве начать в июне новые боевые действия для отвлечения германских сил от Вердена и австро-венгерских — от Италии.

Раздался первый приветственный возглас:

— Здорово, молодцы!

Лес повторил ответ первых рядов: «Ура», «рра», «ра», «а»! Остальные ряды молчали. Генералитет встретился: перед ними плыла линия устремленных косо и ввысь штыков. Они слышали тяжелый шаг российской пехоты, способной валить леса вековых дубов и попирать Альпы. От времени до времени раздавался издавна знакомый счет: «Ать-ва — и-ире!» Первые ряды шли, взмахивая правыми руками вперед до приклада, назад доотказа.

Когда проходили роты пополнения, вновь прозвучало:

— Здорово, молодцы!

Но ответа не было. В молчании и решимости, на глазах у всех, хилые солдаты выпрямились. Последние ратники России шли молча, не отвечая на приветствия, поднимая выше и выше свой гнев.

* * *

В течение месяца шло наступление русских армий по всему Юго-западному фронту. В середине июля 1916 года эшелоны подняли последние гвардейские резервы на смену утомленным и потрепанным в боях войскам.

Три гвардейских корпуса — 1-й, 2-й и кавалерийский — шли летом 1916-го на Ровно, Дубно, Луцк —

на Юго-западный фронт. В состав стрелковой гвардейской дивизии входил и батальон матросов Гвардейского экипажа.

Поутру десятого июля после привала батальон подняли:

— Живо!

— Куда?

— По пути-дороге.

Роты выстроились у халуп во взводных колоннах. Вышел командир батальона. На нем была гимнастерка цвета «шанжан» и снаряжение из Гвардейского экономического общества, следовавшего за гвардией в эшелоне. Там было все, вплоть до зубочисток.

Подошел, здоровается.

— Здравствуй, Садовников.

Фельдфебель тянется, здоровается.

— Здравствуйте, унтер-офицеры. Здравствуйте, Георгиевские кавалеры.

И тогда уж прочим:

— Здорово, молодцы!

На все различия, по табелю рангов.

— Выступаем, идем сменять армейцев... Справа по отделениям, шаго-ом-арш!

Погнали матросов-гвардейцев по волынской земле.

Строй по отделениям. Семь шагов по фронту. Батальон в глубину: триста — триста пятьдесят шагов.

Офицеры покрикивают:

— Не растягиваться!

Фельдфебеля гудят:

— Не растягивайся! Подтяни-ись!

Матросы торопятся, стучат котелки и лопатки. Знаменщик идет грузно, древко тяжелое, держит на плече обеими руками.

За батальоном обоз — кухни, фурманки, брички, двуколки. Обоз грузный, большой. Таскала за собой российская армия по девять харчевых дач.

Отменно ровно идут роты. Черные ранцы покрашенной парусины за плечами — ремни наплечные

тяжелые, желтые, широкие, грудная стяжка держит ремни ровно. К ранцу палатка сбоку прихвачена. Пояса пригнаны, патроны сполна — в двух кожаных подсумках и в патронташе. На поясе лопаты, кирко-мотыги и топоры. Кому что положено. Сбоку — сухарный мешок, фляга. Скатка вчистую скатана — конец в конец вогнан аккуратно, по-гвардейски...

Идут роты русским шагом: сто шагов в минуту.

Подсчитывают взводные. Тяжел шаг российский. Рассуждение простое: как деды ходили, так и мы ходим, пусть французы как воробьи прыгают.

Команда:

— Стой!

Как всегда в походе: пятьдесят минут марш — десять минут привал.

У шоссе австрийское и немецкое кладбище — целый парк.

— Набито!

— Навалено!..

Несколько тысяч крестов по шнуру выровнены.

— 51 К и К инфантери регимент...

— 52 К и К инфантери регимент...

— 53 К и К инфантери регимент...

— Вста-ать!

Опять идут... Шаг да шаг... Только чуть колышутся флажки линейных за ротами. Одно лишь флот напоминает — флагдуховые¹ флажки на штыках четырехлинейных.

Жара — хоть падай. Фляги уже пустые. А тут вода — на полянке лужи. Кинулись.

Полуротный — мичман — наперерез:

— Стой! Назад! Вода болотная.

Дальше шагает батальон.

Июль. Жар сушит почву, обращая ее в пыль. От пыли — ресницы пушистые, волосы, брови, усы и борода — серые. Под пылью не видно кокард, и последнее —

¹ Материя, из которой шьются военно-морские флаги.

сохраняемые, как привилегия, красные погоны тоже посерели. Пыль тяжела, весома. Она проникает всюду. Придется винтовки чистить. В строю не слышно разговоров — пыль хрустит на зубах. Шеи стиснуты застегнутыми наглухо воротниками. Левые плечи ноют — давит винтовочный ремень, но брать винтовки на правое плечо не дозволено. Глухо звенят лопатки и котелки — пыль поглощает звуки. Пыль со всех сторон — как горячая мгла. Роты не видят друг друга. Как на море — в тумане.

По дороге справа и слева — вишневые деревья. Глаза сквозь просвечиваемую солнцем пыль различают алые пятна. Дикие вишни! Сочные, мясистые. Глаза не отрываются от ягод.

— Ай же ж ягода заказанная!

— Тоска, а не ягода!

— На «ура» бы ягодку взять.

Ряды идут неслышно. Пыль лежит мягким густым слоем на дороге, и ноги тонут в ней. Ягоды перестали быть желанными, они только раздражают солдат. Ведь из строя выйти нельзя — попадет!

На тридцать шестой версте вечером:

— Подтяни-ись!

Мимо идет, пересекая дорогу, пехота.

— Стрелки?

— Они самые.

В душном тумане пыли прошел лейб-гвардии 4-й стрелковый императорской фамилии полк. За батальонами бегут отставшие. Переговариваются с ними матросы:

— А ты валсипед, валсипед, земляк, купи. И езд.

— Ты, говорок, облизал бабе творог.

— А за такие речи — две дуги на плечи.

— А за эти словеса вознес тя чорт на небеса.

Окрик:

— Разговоры!

Командир батальона — капитан первого ранга, флигель-адъютант его величества, — барин чистый и фасонный.

— Песни петь!

Хочет на тридцать седьмой версте показать лихость своих матросов. И, по приказу, сплюнув пыль, матросы запели:

Накинув плащ, с гитарой под полою,
К ее окну приник в тиши ночной...
Не разбужу я песнью удалюю
Роскошный сон красавицы молодой...

Сладко заливаются запевалы, басы гудят... Доволен взводный Садовников. Это любимая его песня — мечты возбуждает... Вообще очень поощряет и любит пение.

Ночью вошли в деревню.

— Со-ставь!

Винтовки в козлы. И валятся — все.

Шагают дневальные. А в садах храп: роты спят в палатках на вольном воздухе.

Ночью духота стала почти осязаемой. Внезапно налетел ветер. Он гнал с востока на запад тучи. Они неслись мрачными грядками, непрерывно меняя очертания и извергая потоки вод.

Тьма и ливень скрывали последние приготовления к предстоящему бою, и в штабах, защищенных крышами, ливень был встречен одобрительно.

Струи воды хлестали по тонким солдатским палаткам и, бурля, врывались в эти утлые убежища. Вода уносила жалкое имущество гвардейцев, превращала запасы пыльных сухарей в грязное месиво, размывала написанные ими бесхитростные письма матерям, женам, невестам. Дождь заливал ранцы и сберегавшиеся в них до последнего часа чистые рубахи. Желтоватая бязь становилась сырой и грязной...

Ливень прекратился так же внезапно, как начался. Ветер гнал тучи дальше, на запад.

Гвардейцам не спится: они сушат под звездами свое белье, бродят около палаток... Некоторые со злобой проклянут тех, кто обрек их на уничтожение. А матросы — бывалые, хлебнули жизни в экипаже и на кораблях. Кое в чем научились разбираться. Они скрывают свое отчаяние, и вид их обычен.

Утром обрадовали:

— Подарки привезли!

Ну, если подарки — значит, дело к бою. Всегда так.

Подарки из Петрограда! Их собирали, записывали, упаковывали. Эти дары родины скапливались на складах. Их берегли часовые. Защищали стены и крыши. Их возили следом за эшелонами, заботясь о том, чтобы эти дары постоянно были на месте. Но их не отдавали солдатам в руки. Их берегли, пересчитывали, охраняли, возили. Их накапливали. И только перед боем, до приказа об атаке, эти дары отсылались в назначенные для атак части.

Гвардейцам раздавали кисеты, зеркальца, куски мыльца (Ралле или Брокар), сероватую писчую бумагу и конверты. Благодари и чувствуй — забота на шесть гривен!

Солдаты рассматривали в зеркальца свои исхудавшие лица, а те, кто были грамотны, на полученной ими бумаге слали прощальные слова, последние признания милой родине. Казна давала солдатам льготу: она доставляла эти письма бесплатно, за исключением тех, в которых содержались «вредновлияющие» слова. Такие письма по адресу не доходили.

— Так вот, ребята, поблагодарите за внимание. Ясно? Неусыпны заботы о вас. Напишите, что дух наш крепок... Одним словом, поддержать имя полка. Ясно?

— Так точно, васокродь.

В полдень гвардия пьет из котелков свой обед, то есть суп. Ложки бездействуют. Незачем черпать ими пустую серую жижу.

На виду у всех встает большой, тяжелый унтер-офицер. Он яростно швыряет котелок с супом на землю и топчет его ногами. Лицо унтера страшно, и он кричит в пространство:

— И так ни за што дохнем... Да еще суп такой!

Гвардейцы поражены необычайным явлением. Они видят свое начальство, открыто кричащее о том, о чем они сами давно озлобленно шепчутся. Один из них сочувственно поддакивает унтер-офицеру. Тогда тот обрушивает всю свою ярость на гвардейца...

На Волыни вечером одиннадцатого июля в полях, лесах, садах, во дворах стоят на вечерней справке батальоны и эскадроны трех корпусов гвардии: 1-го, 2-го и кавалерийского. Преображенцы, семеновцы, измайловцы, егеря, московцы, гренадеры, павловцы, финляндцы, литовцы, кексгольмцы, петроградцы, волынцы, стрелки — возносят к небесам слова молитвы. В бой итти!

Справа и слева от гвардейцев стоят другие корпуса Особой армии и также возносят к небесам слова молитвы.

Эх, и о чем только думало богомольное начальство, так преступно выдававшее дислокацию своих войск. Не доглядели немцы! Ведь они могли шарахнуть по стоявшим, по приказу себя показывавшим и по приказу молившимся гвардейцам...

«...Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли-и...»

Кончилась справка. Солнце село за германскими и австрийскими окопами.

Июльский вечер. Матросы вспомнили, какая в эту пору на рейде красота: огни, команды на берег отпускают. И пошли матросы по халупам, к дивчатам волынским, пока время есть.

— Погуляли бы с нами, серденько?

— Ни.

— Зеркальце подарю, мыло, ой и душистое же ж!

— А вы не брешэтэ?

— Гляди!

И отдали петербургские дары дивчинам — на память о гвардии матросах.

На рассвете выступают.

— Заступим на передовую, говорят.

— Говорят.

— Говорят — кур доят.

У офицеров свои разговоры:

— Артиллерия совсем приличная. Заметили — на ящиках надпись: «Снарядов не жалеть!»? Бедам прошлого года — конец. Помните, как было у измайловцев после смены Третьего кавказского корпуса?

— Что именно?

— Ну-у, вы не знаете? Впрочем, вы позже прибыли... Было это за Холмом, после переброски гвардии из-под Ломжи. Пошли в бой... Снарядов нет. Отступили. Но донесение было изумительно: «Наши части отбились бы за неимением снарядов и патронов — камнями, но так как почва здесь песчаная, то сделать это не представлялось возможным».

Батальон шагает.

Фронт близок, обозначился ракетами. Они светятся, колышутся.

В лесу — батареи стоят. Матросы спрашивают артиллеристов:

— Ну как, земляки? Немцам дадим?

— Насыпем.

— Хватает бабок?

— Хватает.

Гаубичные снаряды навалены — ничего бабки. На ящиках: «Снарядов не жалеть!»

— Помогай бог.

Входят в лес. Втягиваются в полосу резервных окопов.

— Справа по одному, арш!

— Не курить! Не шуметь!

Подправляют котелки, лопатки. Тихо на позиции. Вокруг стоят лишь обгорелые стволы с редкими обломанными сучьями, под ногами трещит сухой лист.

Первые ряды по одному, в затылок, уходят в темный провал окопа. Впереди, поверху, идут разведчики, они подводят батальоны к линиям, заранее изученным ими. Там ждут те, на смену которым пришли гвардейцы.

В воздухе неподвижно висят огненные, голубые, зеленые и желтоватые шары ракет. Стволы обгоревших деревьев образуют уходящие вдаль, освещенные ракетами мертвенно пустые коридоры. Лес ничей, но всюду присутствует опасность.

— Лес-то разделали!

— Разделали. Какого полка?

— Мы не полк. Мы — Гвардейский экипаж.

— Эт как? Обозные?

— Обозные! Флотский батальон.

— А-а. А закурить есть? Сидим тут без табаку.

— Есть, вали — кури.

— Вот спасибочка!

Рассказывают солдаты:

— Горя кто не видал — пусть в этом лесу поживет.

С ума посойдешь... Счастье наше — вы пришли...
Вырвемся теперь.

— А чем плох лес-то?

— Как немец бить начнет — сразу пожары и занозы.

— Это как?

— Шу, лес сухой, загорается сразу, щепки от деревьев летят, втыкаются, куда попало... Седни в одного восемнадцать щепочек воткнулось, не вытащишь...

— Ф-фу...

Двинулись по окопам дальше. Ракеты все ярче, ближе. Пригибаются все.

— Окопы мелкие тут.

— Беда!

Не окопы мелкие, а гвардейцы-матросы крупные. Кто на них рассчитывал? В окопах больше мужики сидят запасные, да ратники, да белобилетники — они помельче.

Флотский батальон, назначенный для атаки, входит в первую линию окопов — на передовую. Взводные и отделенные ведут разговор с армейскими взводными и отделенными.

— До него с версту, прицел пятнадцать — шестнадцать... Впереди хлеба и болото. По болоту гать. Секреты высылали... Проволоки четыре ряда. Блиндажи ничего... Терпимо... Наблюдатели там — у щитков... Пулеметы — два на роту.

— Воду где брали?

— К колодцу посылали, в резерв.

— Огонь разводили?

— Редко, да и то помаленьку. Немец увидит и глушит с батареи...

Разместились поначалу, у бойниц стали. Армейцы уходят. Папашек много:

— Счастливо, дай бог, сынки.

— Счастливо. Имущества не забыли?

— Какое тут имущество? Одна ложка.

Расстались.

Темно. У немцев почему-то перестали взлетать ракеты. Ну, что такое?

В тишине слабый стук. Затихли. Прижались все к бойницам. С немецкой стороны — далекий стук.

— Ох, ты!

— Тс-с.

— Идут, что ли?

— Работают.

— Проволоку ставят.

Послушали. Немцы забивали колья нового ряда заграждений.

— Вот оно отчего ракет-то не пускают.

Поживают парни в окопе. Подрыли его, глубже сделали. К офицерским блиндажам досочки положить приказано. Ползают ночью над окопами вестовые, доски собирают. Днем куда ж соваться?

Ночью мичман-полуротный идет с двумя разведчиками связь с соседями-стрелками устанавливать; они стоят правее.

Вошли в болото, земля под ногами чавкает. Тьма...

— Держитесь — ты правее, а ты левее, а я в середине. Дистанцию держать по десять шагов друг от друга. И тихо.

— Есть, васокродь.

Шагает мичман, зажал в руке револьвер. Первый раз мичман в боевом деле... Да боевое ли это собственно дело?.. Боевое! Несомненно сопряженное с опасностью в полосе действительного ружейного огня...

Повисла ракета над дальними кустами, тихо дрожа опускается и догорает вдали. Тихо... Ни одного выстрела. А сколько глаз наблюдают и с той и с другой стороны!

Мичман слушает — осторожно крадутся разведчики... Потом и их шаги затихают. Почему? Остановился мичман, сердце колотится. Постоял и опять — вперед. Нельзя иначе. Только спокойнее! Ступает — а под ногами что-то мягкое, черное.

— Ни с места! Кто тут?

— Я-а.

Спокойнее... Спокойнее...

— Кто?

— В секрете.

— Стрелок?

— Ага. А ты кто?

Как ответить?

— Разведка, от соседей слева.

— А-а...

— Ты тут один?

— Один.

Мичман нагибается к стрелку... Какая одинокая, какая удивительно спокойная и простая фигура... Один в этой пустоте... Послали — лежит, глядит... Знает свое дело. Такой одинокий в этом болоте... И такой уверенный. Ну что сказать ему?

— Ты... курить хочешь?

— Нет, некурящий.

— Как пройти-то к вам?

— Прямо дуй.

— Ну, до свидания.

— Прощай.

Мичман направился к стрелкам. Страх прошел — уверенность солдата успокоила его... Скоро мичмана нагнали разведчики. Вместе разыскали стрелков и обо всем договорились...

Вернувшись, мичман коротко докладывает:

— Размер интервала шагов четыреста — пятьсот. Болотом. Стрелками выставляются секреты...

— Этого достаточно?

— Вполне.

Мичман поверил в силу простого русского солдата.

Живут день-другой, привыкают матросы.

— Жить можно.

— Чего не жить, только умирать не надо.

На второй день немецкая батарея открыла огонь. Люди забились в окопы, а кто — в ямки под передней стенкой. Один другого успокаивает:

— Ничего, ребятки...

— Обойдется...

Снаряды рвутся, дым... Гарью несет... Постреляли немцы, прекратили. Матросы перевели дух.

Целый день ходили с «цейсами» артиллерийские наблюдатели, все осматривали, записывали. Телефонисты тянули новые линии: идут с катушкой, разматывают, к стенкам окопа палочками провод прикрепляют, где поверх перебросят, песком присыпят.

Вечером мичман опять матросов вызывает:

— Ну, кто в разведку?

Вызвались молодые:

— Дозвольте, в первый раз, васокродь?

— Пойдем!

Пошли с гранатами и винтовками, налегке, без снаряжения — как в разведки ходят. Проползли канавкой под своей проволокой, вышли в хлеб. Отдыхают. Мичман предлагает:

— Покурим, братцы, садитесь, берите.

Угостил папиросками. Ну, матросы двумя пальчиками из ихнего портсигара берут и шепчут в очередь:

— Покорнейше благодарю, васокродь.

Покурили. Мичман разговор заводит:

— Не боитесь, а?.. Не страшно?

— Не могу знать, васокродь.

— Почему ты не можешь знать?

— Стучит в нутре, васокродь. На-чеку состою.

Усмехнулся мичман. Травку сорвал, пожевал.

— Ну, а ты что сейчас думаешь, Гаврилов?

Папироску Гаврилов убрал и шепчет:

— Так что думаю, васокродь!

— О чем?

Молчит матрос. Не привыкли матросы с господами офицерами разговаривать. И ничего тут не поделаешь. Не знают, что сказать, рука к шву ползет... Какой уж тут разговор!

— Ну, а что ты сейчас будешь делать?

— Не могу знать, васокродь. Как прикажете, васокродь.

— Ну вот, голубчики, попробуем взять языка, немца.

— Есть, васокродь.

— Только ползите без звука. Кто кашляет — беда. Засверлит в носу, захочется чихать — дави губу пальцами. Вот так. Ну, пошли благословясь. Не шуметь, не кричать...

Тишина над позициями. Стоят у бойниц окопники, во тьму глядят. Впереди секреты лежат. А еще дальше — разведчики ползут. Прохладой, сыростью с болота тянет... Правее, где 2-я гвардейская пехотная дивизия, гремит, урчит артиллерия...

Разведчики выползали в ту ночь по всей первой линии фронта, извиваясь среди деревьев, кустарников, хлебов, погружаясь в ямы, канавы, рывины и воронки... Они продвигались к окопам немцев и австрийцев.

Опытные разведчики ползли, по привычке соблюдая тишину. Движения разведчиков были необычны. Люди превращали себя в деревья, кусты, камни. Они передвигались непостижимо тихо и, не выдавая себя, приближались к чужим окопам.

Когда била русская артиллерия, немецкие ракеты опускались и дрожь затухала. Тогда разведчики, пользуясь темнотой, стремительно неслись вперед, зная, что немецких наблюдателей слепят вспышки русских батарей. Слепят, и это спасает разведчиков. А в ту секунду, когда взлетали немецкие ракеты, разведчики застывали, исчезнув в кустах или прижавшись к земле. Это была тяжелая работа.

Разведчики должны были в эту ночь взять контрольных пленных, найти удобнейшие пути для атаки.

Поползли и матросы к немецким окопам. Ночь роющая, пшеница высокая, жать пора. Эх, пропадает хлеб!.. Курс дан на звезду, к грушевым деревьям...

Ползут, ухом к земле никнут. Слушают. Первый раз матросы в пешую разведку пошли. Ох, ползти по земле, все вперед да вперед — сколько гирь на ногах! Ночь

темна, только ракета взлетит — парни в землю влипают. Кто на боку ползет, кто на животе. Дыхание задерживают, а сердце бьется все чаще и чаще. Будто версту проползли, а выходит, как оглянешься, — шагов с полсотни. Еще проволока своя видна. А до грушевых деревьев, что у немецких окопов, куда как далеко!

Как взять живого немца? Какой он? Кто его видел? Ползут парни, и мерещатся им немцы. Штыки у них, сказывали, с пилами, убьют. В темноте все что-то чудится... Шорохи слышатся...

— Владычица, спаси и сохрани, свечку поставлю, чего меня убивать, ей-богу...

Прошмыгнул по хлебу кто-то... Господи, в глазах — немцев цепь... ползут... Застыл... Прислушался... Никого... Голову поднял — никого...

— Суслик, наверно, или крот... Никола Морской... Только б не убили, только б не убили... Покурить бы, господа...

Ползут разведчики. И где край этому хлебу, где свои, где кто? Все в голове спуталось, на звезду глядят, а та ли звезда? Может, сбились? Впервые ведь... Сами себя боятся. В болоте, может, водяные — у воды всегда нечистая сила...

Доползли разведчики прямо и точно к грушевому дереву. Над ними — звезда... Проползли еще дальше — кашель слышно. К ветру ухо: действительно, кашель, живой немец кашляет!

Лежат, слушают... В болоте заныли лягушки. Рядом прошуршало... Вот они! Забыв страх, матрос вскочил, вскинул винтовку:

— Стой! Кто идет?

— Не ори ты, шшш...

— Виноват, васокродь.

Ох, счастье... Полуротный!

— Ну, что?

— Наблюдаю, васокродь!

— Ничего?

— Никак нет, васокродь!

— Видно, не достать сегодня языка... Ты как думаешь?

— Вроде так точно, они сидят, не вылазят.

Поползли обратно. Легче, легче обратно ползти! Сноровисто выходит... Чайку глотнуть, покурить — радости сколько будет.

В окопе чают разведчики, да вот обида — сахара нет, а чай без сахара — какая уж радость?

Идет разговор по окопу:

— Засаду делали?

— Ага.

— Ну, а как там было? Боязно?

— Ну-у, чего боязно? Лежишь, глядишь... Чуть што и сгребли б! Да, дело-то не простое, — немцы не вылазят...

— Явное дело, бояться.

— Им, может, кто сказал, у них шпиёнаж кругом. Вчера рядом в деревне огоньки мигали.

— Узнали, поди, что пришли матросы, вот и бо-
ятся.

И мнение появляется: немец боится матросов! Матрос на немца нарвется — скрутит его враз, морским узлом свяжет, на руках доставит. Очень просто! Был же в Севастопольскую кампанию герой-матрос Кошка... Скажи, что не так? Ну?

К вечеру из тыла подвезли на передовую ящики, набитые консервами и сахаром. Продукты разносят по окопам. Гвардейцы злобствуют.

— Зачем нам в могилу по пять фунтов сахара? Где вы раньше были?

В полночь на пятнадцатое июля — приказ: приготовиться к атаке, артиллерийская подготовка с шести часов утра, атака в полдень.

Ротные вызвали фельдфебелей и взводных:

— Осмотреть все еще раз. Ножницы для резки проволоки чтоб были в порядке. Людей с ножницами в первую цепь. Гранатометчиков — тоже.

— Есть, васокроль.

— Проверить, есть ли у всех лопаты. Индивидуальные пакеты не забыть. Ну, с богом!

Унтера желают:

— Счастливо оставаться, васокродь.

Фельдфебель Садовников, может быть впервые в жизни, просто, по-хорошему говорит:

— Покойной ночи, васокродь. Все сделаем, будьте спокойны.

— Спасибо. И ты отдохни... Спасибо.

Не сидится матросам в окопе. Не спится... Напоследок все наверх вылезли. Никто не запретит — завтра, может, и помирать. Понятно, что перед атакой с дисциплиной не очень строго. Вылезли подышать, белье сменить и полученные продукты съесть. В чем дело — утром в атаку, не таскать же консервы в ранце до самой смерти. Вспарывают банки ножами, штыками.

— Эх, консервы знаменитые!

— Чарочку бы!

— Не дразни, кишка заплачет.

— В Пирее, помнишь, коньячешка был, а? Эх, гулял «Олег», дымок шел... А как англичанам дали, помнишь?

— Ага, за катер...

Сахар зубами колют, сосут, хрустят. Все равно выбрасывать, пускай меньше пропадает. Патроны обтирают, чуть смазывают:

— Вгонится лучше.

У кого есть кирки, топоры — заботятся, как бы лопатку зацепить. Лопатка дело первейшее: в атаку пошел, держи наискось перед лбом, пуля, говорят, рикшет дает; потом окапываться, может, придется; потом из лопатки можно упор для стрельбы сделать. Много толку в лопатке.

Раздеваются матросы, белье сбрасывают на траву, чистое одевают.

— В баньку бы.

— С нянькой бы.

Некоторые подсчитывают оставшиеся до атаки часы жизни. Их устрашающе мало... А вдруг убьют?.. Кто заснул тут же на траве, кто молится, а кто при огарке письмо прощальное пишет...

На Юго-западном фронте русская армия готовилась к новому наступлению. Союзники неотступно, попрежнему требовали от России помощи; в Ставку летели телеграмма за телеграммой. Австрийцы продолжали громить Италию, и — чтобы Ломбардия не была под Габсбургами — вновь должна была наступать русская армия. Чтоб окончательно избавить Францию от падения Вердена — русская армия вновь должна была отвлекать на себя военные силы Германии. Дорогой ценой платили русские солдаты по кабальным векселям, выданным царской Россией английским и французским капиталистам.

Рассветало. Гвардия еще дремала в тишине. Над болотом слева стоял туман. Затихло все. Только какие-то птички чуть чирикали.

В шесть часов утра русская артиллерия открыла огонь. Из лесов, с опушек, из лощин, из-за дальних строений били сотни батарей разных калибров. Тяжелые орудия слали снаряд за снарядом. В ушах надолго оставалось, слышное даже сквозь гул разрывов, шуршание пролетающих над окопами снарядов. Где-то совсем близко оглушающе палили трехдюймовки.

Земля отдавала солнцу место приближавшейся атаки — и солнце уничтожило туман. Тогда предстали окопы противника. В безветрии над ними нависли дымы. Дымы колебались от новых разрывов, от колоссальной силы стремительного движения воздушных волн. Ввысь взлетали камни, доски, балки, колья, ветви и еще что-то неразличимое.

Офицеры ходили по окопам морского батальона, молча наблюдая за людьми, прислушиваясь к их словам. Офицеры таили беспокойство: как пойдут гвардии матросы? Настроения некоторых уже внушали опасения...

Гвардейцы выглядывали из окопов:

- Ну и ну!
- Сила.
- Попади в такое.
- Выбьет их вчистую?
- Вроде...
- Не усидеть беднякам.
- Хоть и немцы, а ведь как мы, не по своей воле воюют...

Они прежде всего расценивали происходящее применительно к себе, и в голосах их слышалось сочувствие солдата к солдату, выраженное скупо и просто.

Снаряды шуршали, выли, свистели, шипели, гудели. Офицеры нарочито громко восторгались необычайной силой русской артиллерийской подготовки. Только полуротный — мичман — ходил задумчивый, помалкивал.

Над немецкими окопами пылали пожары, клубы дыма уже поднялись высоко в небо, глухо, со скрежетом рвались снаряды, снаряды, снаряды. Высохшая под солнцем земля превращалась в пыль, смешивалась с толченым камнем и бетоном, с взлетающими на воздух деревьями и бревнами. Дым, сгущавшийся с каждым часом все больше и больше, окутывал на многие версты линии немецких окопов. Сотрясение земли передавалось и русским линиям.

Артиллерия мешала небо с землей.

Постепенно огонь и разрушения в окопах противника влияли на настроение враждебно и мрачно ждавших приказов солдат и матросов. Противник молчал, и им казалось, что у немцев все уничтожено, что можно одним рынком добежать до их окопов и быстро завершить неизбежную атаку.

Сразу подметив перемену настроения в окопах, офицеры подзадоривали, бодрили людей, убеждая их в несомненной победе.

- Бьет Россия!
- Не то, что было!
- Любили немцы пятнадцатый год — отомстим в шестнадцатом.

Матросы повеселели. Покрикивали:

— Го-го! Глянь — артиллерия садит!

— Расея и взаправду голос дает! Шевелись-вертись!

Чай вскипятили, хлебают, хлеб жуют с салом, поглядывают.

Офицеры ходят довольные, сдерживают улыбки: просить роты, видно, не придется — все сами рвутся.

Шесть часов мешала артиллерия небо с землей. К полдню и резервы подтянулись ближе.

Время атаки приближалось.

К двенадцати стало в окопах потише: весело глядеть на артиллерийскую подготовку, а в атаку итти — дело другое. Прощаются со своими отделениями гранатометчики и те, которым провололочные заграждения резать поручено.

— С богом!

Лестницы в окопах поставлены, ступеньки отрыты для выхода.

По телефонам сверяются тысячи ручных и карманных часов. По первым линиям сквозь гул идет передача: «Без пяти-и двенадца-а-ать». Все притихли. Земля еще сильнее гудит, дрожит. Артиллерия бьет сильнее.

Поправляют бескозырки матросы, пояса подтягивают. Кто ранец или скатку бросает, чтоб итти налегке. Некоторые кадровики, постепенно разгораясь, играют винтовками, как некогда на площадях столицы, вспоминают Гвардейский экипаж, казарменный плац: «Вперед коли, назад коли!» Пришло, кажись, время попробовать...

Артиллерия переносит огонь в глубину расположения противника, на погашение его батарей.

Полдень!

Гвардия начинает атаку 15 июля 1916 года.

Безлюдное пространство палимой солнцем долины Стохода разом покрывается ринувшейся вперед пехотой... Винтовки на руку, равнение направо. Офицеры — впереди. Шеренги вспахивают своим ходом поле пшеницы.

Одновременно над ними, в том же направлении, рассекая воздух, летят снаряды. И все движение на запад венчается плотными, ровными грядами бурлящих, воинственных облаков, несомых благоприятным ветром, вещающим, что нет опасности от газов.

Полдень!

— Вперед!

Вместе с гвардией идут в атаку и матросы. Немецкие окопы в пшенице... Матросы на ходу мнут, валят хлеб, хлещет пшеница по сапогам. Эх, жаль хлеба! Снаряды русские свистят.. Дальше, дальше бьют! Бей!

Роты ускоряют свой ход, развивая огромную силу удара.

Разом в ответ хлестнули немцы. Слева наискось забили пулеметы — в упор по частям, а над головами лопается немецкая шрапнель. Хлопает, сверкает, бьет. Держись, земляки! Делать теперь нечего! Немыслимо идти молча в атаку. За триста шагов до немецких окопов загремело «ура», и бешено кинулись матросы вперед.

Глушит, хлещет немец. Сидел в укрытиях, в своих «лисыих норах», молчал, а когда надо — вылез. Достань его в норе!

Несутся роты вперед. «Ура» все яростнее и яростнее... Но звучит оно не былой удалью, а отчаянием и злобой... У самого окопа — гранатометчики кидают гранаты. И все с ходу вниз: в окоп. Вот они, враги!

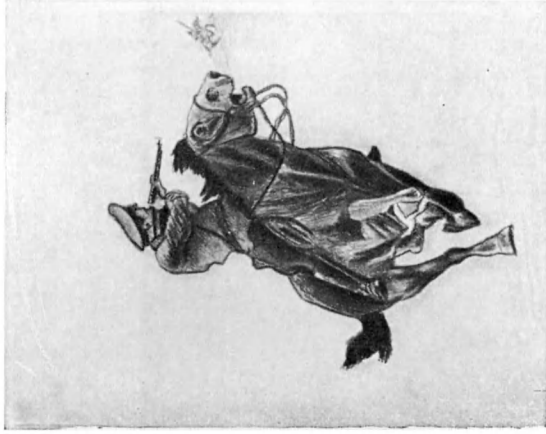
Первая цепь летит по окопу. Окоп — глубже сажени, широкий. Схватились... Бой идет в окопах. У одного из немцев застрял в груди русский штык — вогнал его матрос со всей силы. Немец глядит на грудь свою, сам руками помогает матросу вырвать обратно штык и... мертвый обвисает...

Вторая цепь летит. Кто-то смаху бросает гранату. Грохот, подорвались и свои и чужие.

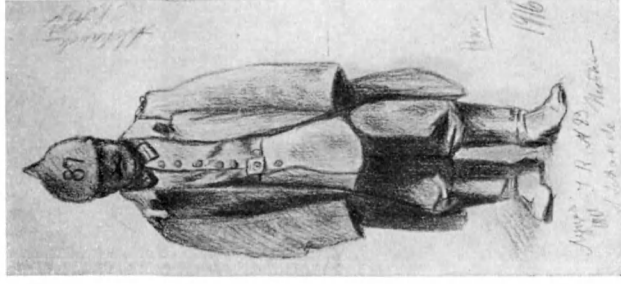
— Полундра!

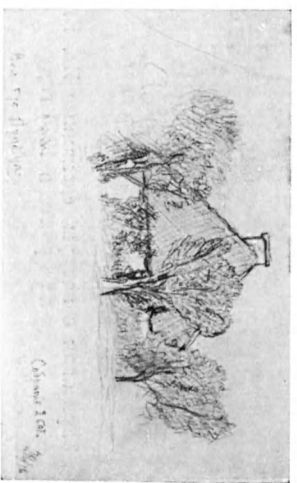
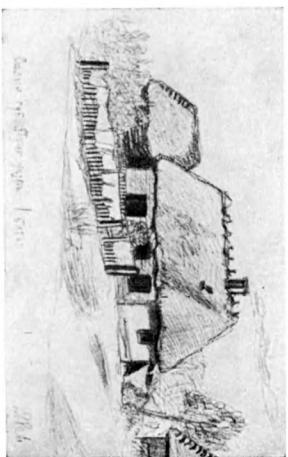
— Сто-о-й! Свои!

Окопы разворочены. Завалены трупами и ранеными. Двигаться дальше еще труднее, но все еще бегут вперед, кто поверху, кто по ходам сообщения. Цепи смешались — здесь и матросы и солдаты...



Зарисовки с натуры, сделанные Вс. Вишневым
на фронте в 1916 году.





Зарисовки с натуры, сделанные Вс. Вишневым
на фронте в 1916 году.

— Вперед! Не останавливаться!

Гвардия прорвалась в третью линию окопов. Устали, задохлись от бега, залегли, притихли...

Атакующие пытаются разобраться: что же произошло, что происходит и что будет дальше?..

Немцев уже почти не видно. Ушли, что ли? Попытались? Отход немцев скоро получил свое объяснение.

* * *

Молчавшая германская артиллерия внезапно открывает огонь. Буйному огню русских она противопоставляет свою выверенную, точную систему.

Занятые русскими окопы обстреливаются методическим, все сметающим огнем. Применяется расчет: на каждые сто метров окопов тысяча двести легких и тысяча четыреста тяжелых снарядов, срок — три часа.

Интервалы между выстрелами тяжелых орудий заполняются точным числом выстрелов легких орудий — четыре выстрела в минуту — с целью постоянного воздействия на моральное состояние русских солдат, уже достаточно подорванное за годы войны, что хорошо известно германской разведке.

Германская система огня действует методически, непрерывно, с беспощадной ритмичностью. Каждое орудие имеет точные таблицы заданий, целей, протяжения участков, скоростей стрельбы. Многократные линии связи, оптическая аппаратура Цейса и Герца и топографические условия обеспечивают действия системы...

Система убивает все живое, безжалостно превращает в пыль свои же добротные немецкие окопы, захваченные русскими.

Система демонстрировала прекрасные индустриальные фабрики Круппа, продукцию четырехсот пятидесяти ее доменных печей, справившихся в течение двухсот пятидесяти часов с первоклассными фортами Антверпена и восьмидесяти четырех часов с фортами Намюра.

Система была триумфом мощных капиталистиче-

ских предприятий, обрекавших — по закону конкуренции — более слабых на уничтожение.

За этой первой комбинированной линией огня следует вторая заградительная. Местность, куда стремятся подойти русские резервы, находится под двойным огнем гаубичных снарядов и шрапнелей.

Третьим и четвертым видом огня является огонь на ослепление русских артиллерийских наблюдателей и погашение огня русских батарей по данным длительных наблюдений и воздушной съемки. Батареи подвергаются уничтожению или нейтрализуются 152-миллиметровыми гаубицами. Расчет — от четырехсот до пятисот снарядов на батарею.

* * *

Ошалевшие, сбившиеся роты сидят в захваченных ими окопах немецкой третьей линии. Падают тяжелые снаряды. Оглушающе-протяжно, замедленно и страшно крикают. Тянет черно-зеленым дымом...

— Недолет.

— Мал-мала не дохватил.

— Подрывайся под стенку.

Второй залп ложится почти по брустверу. Окопы дают трещину и ссыпаются.

— Придавит...

Нарастающее шипение снарядов и грохот взрывов заглушают все команды. Все ходы сообщения забиты мертвыми и ранеными. Здесь и русские и немцы. Вынести раненых — невозможно... Прижавшись к стенке, замерли живые... Волосы слиплись, лица почернели...

Мичман цел, стоит в ходе сообщения. Бледный, но покрикивает:

— Ничего, обойдется...

Трясутся у матросов руки, скрутить цыгарку не могут, махорка просыпается.

— Никола Морской, выручай...

Падение снарядов все чаще и чаще, и запах пороха все нестерпимее. Окоп содрогается... Осколки жужжат, гудят, свистят. Земля оползает, засыпая людей.

— Убьет, убьет! Если б только ранило... И чего я бежал сюда, ради чего, за что?.. Летит, опять летит... Пронеси, пронеси..

Земля снова валится пластами, двух придавило. Никто не шевелится. Мичман кричит:

— Помогай, откапывай!

Поднялись матросы, встряхнулись, откопали своих.

Летят, свистят, рвутся снаряды...

Батальон теряет силы. Яростный грохот, едкий дым и чьи-то стоны из-под свалившегося бревенчатого наката...

Матросы подползли к мичману:

— Васокродь, может, какое приказание будет?

— Пока подождем.

— Разнесет нас так, вон косит!

— Подождем. Резервы подойдут. Нельзя оставлять окопа.

Внезапно орудейный огонь прекратился, в наступившей тишине раздался крик: «А-а-а-а». Что такое? Поверху вперед бегут солдаты.

— Немцы в атаку идут!

Немцы после ответного шквала артиллерийского огня действительно пошли в контратаку. Выскакивают матросы наверх: кто стреляет, кто стоит — «ура» кричит, кто вперед бежит. Не разбери-бери...

Немцы перебегают с места на место, стреляют стоя или с колена.

Кричат матросы:

— Вон они!

— Бей их!

Мичман командует:

— Вперед!

Застрочили немецкие пулеметы, косят выскочивших из окопов людей. Дрогнули матросы, иные остановились, другие назад в окоп лезут.

Увидя это, мичман кричит во весь голос:

— Станов-и-ись!

Как на плацу! Услышали матросы, обернулись... Годами ведь привыкали к этому окрику... Сбегаются, строятся под огнем...

— Направо равняй-сь!

Подравниваются, а немцы по живой цели бьют...
Один матрос охнул, упал...

Мичман командует:

— От середины в цепь! За мной, вперед, ура!

— Ур-ра!

Рванули. Немцы попятились... Не ожидали... Контратака немцев быстро выдохлась, ее сменил новый шквал немецкого артиллерийского огня.

Полыхают за окопами и перед ними взрывы, черным дымом окутывают захваченные русскими позиции, куда должны подойти их резервы, а над черным дымом в небе белеют шрапнельные разрывы. Снаряды пригибают людей к земле. Бесперывно крушат немцы прорвавшуюся в их расположение гвардию. Запасы германской артиллерии снова превзошли запасы русских.

Преследуемая не дающим ни секунды передышки огнем, ища спасения, но не отступая, гвардия залегла в болоте, прячась в кустах и высокой траве. Поле осталось позади...

Густо стелется дым пожарищ. В воздухе носятся черные, перегоревшие соломинки и падают, падают, как черный снег. Безостановочно рвутся снаряды.

Немецкие гаубицы поднимают на воздух целые пласты черной болотной земли. С высоты летят осколки. При их падении булькает вода в развороченных на болоте воронках. Почерневшие от грязи цепи гвардейцев влипли в топь, но держатся упрямо.

Мичман лежит в траве, потирая рукой висок, — чем-то больно ударило...

* * *

По захваченным немецким окопам третьей линии бежит связной, посланный командиром морского батальона со срочным пакетом для мичмана. В окопах мертво, только слышатся стоны раненых русских и немцев, которых под обстрелом нельзя унести...

Кто-то хватается связного за руку.

— Hilf mir! ¹

— Немец? Герман?

Не слыша окриков начальников, вдали от них, матрос заговорил с раненым немцем, показывая в сторону рвавшихся снарядов:

— Плохо? Бум, бум...

— Ja, ja... ²

— Наших и ваших...

Подсумки у немца матрос заметил — кожаные, на три пачки каждый. Раскрыл — почти пустые:

— Стратил? По нас стрелял?

— Ich muss es tuhn ³.

Матрос видит на груди у немца черный с белой каемкой Кульмский крест.

— Глянь-ка, у меня такой же? Ты у кого взял?

Пораженный немец глядит на грудь русского матроса.

Все гвардейцы носили как отличие Кульмский крест, данный русской гвардии в 1813 году королем Пруссии Фридрихом за разгром французов при Кульме. Так с тех времен и носили. Этот же крест был и для немцев наградой за храбрость.

Качают головами, удивляются. Дело непонятное. Почему у обоих одинаковые кресты?

Матрос помахал немцу рукой, вылез из окопа и пополз дальше, к болоту. Разглядел редкую цепь — свои...

Ждет, смотрит: падает залп. Считает: раз, два, три, четыре, пять... Падает второй. Считает: раз, два, три, четыре, пять. Высчитал, сколько секунд между залпами, — надо успеть перебежать... Добрался. Мичман лежит, будто спит. Устал...

— Васокродь! От батальонного.

А батальонный — капитан первого ранга, флигель-адъютант его величества — под шестью накатами бревен в штабе батальона пребывают.

¹ Помогите мне! (нем.)

² Да, да... (нем.)

³ Я должен это делать (нем.).

Прочел приказание мичман. Вскочил...

— Переползать по одному назад. К первой линии немецких окопов. По цепи передавай. Не бегать!

Кто живой — ползет обратно. Мичман рядом, идет в рост. Немцы усиливают огонь.

Снаряды ложатся по болоту, разрывая его, разворачивая. Земля дыбом становится — как смерч!

— И отойти не дает! Пропадем...

Воздух колеблется. В полосе дыма, подхваченная воздушной волной, пронеслась какая-то птица. Мичман идет, за ним ползут связной и остатки морского батальона. Наконец добрались до хода сообщений и по окопу — обратно. Жаль мичману оставлять захваченный окоп третьей линии... Но делать нечего... Снаряды рвутся рядом... Тонко, тонко пропел осколок...

В грохоте взрывов, в окопной тесноте, в спешке отступления не замечают матросы, что не шагает рядом их полуротный...

* * *

Засел батальон в первой немецкой линии. Гвардия закрепилась и удержала позицию. Ночью вызвались матросы идти на поиски пропавшего мичмана.

Ползают парни по разрытому полю, шарят, влипают в какие-то лужи — не то кровь, не то грязь...

Ракеты взлетают над полем, освещая тела убитых гвардейцев на смятом, спаленном поле пшеницы.

— Чисто пахано, а?

— И не говори... В море того не видел.

— Там свое, здесь свое.

— Нам везде припасено.

Ползают парни, ищут... Понизу земля пахнет смрад-ным снарядным запахом.

Лежит убитый матрос... Глядят, не узнают. В гашнике кошель нашли, а в нем номерок жестяной — фамилия Садовников.

— Взводный это!

— Ну-у!

— Крепко доставалось от него... И вот — лежит убитый...

— Песни он любил...

— Отнесем взводного?

— Да где тут!

— Пошли, раз надо...

Забылись, зашумели, зашумели... Сразу пулемет застрочил. Не было печали! Выждали. Один к окопу третьей линии — на разведку пополз... Пусто... Немцы, видимо, еще не решались занять его... Знак подал — остальные подбежали, в окоп прыгнули...

Шарят, шопотком кличут: «Васокродь» — нет никого. Ракета опять светит... Видят: из-за поворота в окопе ноги — сапоги маленькие...

— Они — мичман. — И понесли тело мичмана в роту.

Их встретил новый, присланный вечером полуротный.

— Нашли, васокродь.

— Молодцы.

— Рады стараться, васокродь.

Ночью отправили мичмана в цинковом гробу. Маршрут: Режица — Ровно — Киев — Петроград. И лаконичное, краткое сообщение: «П а л с м е р т ь ю х р а б р ы х...»

* * *

Могилев.

В одной из комнат барского особняка сидел у стола, освещенного тяжелой настольной лампой, пехотный офицер средних лет. Осторожно, беря страницы за верхний край, он перелистывает Марка Твена, время от времени стряхивая пепел папиросы и хихикая. Кончив чтение, он встал и, все еще посмеиваясь, шагнул к окну. Нога, затекшая от долгого сидения, подвернулась. Тогда, охнув и скривившись, офицер начал осторожно шевелить ногой, сгибая и разгибая ее. Когда нога стала сгибаться без боли, офицер двинулся к окну, весело подпрыгивая — от ощущения здоровья и избав-

ления от неприятного чувства, напомнившего ему о том, что где-то сейчас у других бывают острые боли, раны и ампутации. Прикрыв рот, офицер зевнул, потянулся, подняв руки и привстав на носки.

За окном было темно. Внизу стоял часовой Георгиевского батальона.

Офицер побарабанил по стеклу и улыбнулся, вспомнив прочитанное; вернулся к письменному столу, открыл ключом верхний ящик, вынул тетрадь, раскрыл ее, разглядел страницы, взял ручку и, обмакнув перо в массивную чернильницу, записал почерком без нажима:

«...15-е июля... Гулял немного. Днем наступала гвардия... За обедом слушал забавные истории... После ужина читал Твена. Много смешного».

Кончив запись, он рассеянно водил пером по полям тетради, пытаясь одним движением, не отрывая пера, нарисовать «конвертик». Потом отложил перо и задумался: чем бы заняться? Придумав, он приложил пресс-папье к еще непросохшему рисунку, нажал раз, другой и третий. Затем, положив пресс-папье на место, придвинул к себе бронзовую коробочку, открыл крышку и вынул чернильную резинку. Еще раз поглядев, высох ли рисунок, осторожно стал стирать его резинкой. Когда рисунок был стерт, офицер положил резинку в коробочку, закрыл ее и поставил на место. Затем он придвинул к себе пепельницу, но, передумав, отодвинул ее обратно и вынул перочинный нож. Открыв малое тонкое лезвие, он тихо, затаив дыхание, стал собирать лезвием кусочки резинки и бумажную пыль, оставшиеся на месте стертого рисунка. Собрав все в маленькую кучку, он сложил перочинный нож, придвинул к себе пепельницу и, приподняв над ней тетрадь, чуть наклонил ее и постучал по корешку. Кучка пыли и остатки резинки ссыпались в пепельницу. Тогда офицер взял лежавший рядом с бюваром нож для разрезания книг и блестящей закругленной рукояткой его осторожно загладил шероховатость, оставшуюся на месте рисунка. Шероховатость была заглажена, но он заметил на бумаге маленькие оставшиеся царапинки. Офицер потер эти царапинки ногтем среднего пальца и этим почти уничто-

жил всякие следы рисунка. Тогда, посмотрев страницу на свет, довольный собой, он закрыл тетрадь, положил ее в ящик стола и запер его на ключ.

Часы пробили двенадцать. В комнату тихо вошел человек.

Офицер встал, бездейственный и требовательно-послушный. Вошедший снял с него мягкую гимнастерку, ловко помогая извлечь руки из рукавов; вынул запонки из рубахи и положил их на особое блюдечко на ночном столике; спустил с плеч офицера шелковые подтяжки, почти не касаясь его тела.

Когда подтяжки были спущены, офицер сел на стул и, расставив ноги, начал расстегивать брюки. Человек стал перед ним на колени и снял с сидевшего сапог, осторожно и одновременно подергав его одной рукой за задник, другой за носок. Так же стянул он и другой сапог. Выждав, пока офицер расстегнет все пуговицы на брюках, медленно стянул и их, помог снять рубашку, подал ночную, принес и надел ночные туфли и, аккуратно сложив вещи, вышел, тихо прикрыв дверь.

Шаги ушедшего затихли...

Офицер подошел к умывальнику и посмотрел на себя в зеркало. Поджав сердечком губы, расправил мизинцем тонкий рыжеватый завиток волос на груди и прополо-скал горло.

От какого-то движения, звука, запаха что-то вспомнилось... Мысль офицера, всегда аккуратная и бедная, устремилась вдогонку за мелькнувшим воспоминанием, пытаясь постигнуть причину неожиданного нарушения обычного хода мыслей. Он начал восстанавливать в точной последовательности свои движения и мысли: «Я подошел к умывальнику. Так... Я — в зеркале... Что же дальше?.. Сполоснул горло, посмотрел в зеркало, волосы... Ну?» И, наконец, он вспомнил: «Ага, умывальник, зеркало, волосы!» Сразу всплыл в памяти давний острый и стыдный случай... Офицер ощутил легкое волнение и, чуть-чуть смущенный, машинально пригладил прическу, усы и бороду.

Бесцельно потоптавшись на месте, офицер подошел к столу, отомкнул ящик, вынул записную книжку

и раскрыл ее на последней странице, где был календарь. Он посмотрел на значки, аккуратно нанесенные красным и черным — на крестики, кружочки, черточки, угольнички, отмечавшие домашние — личные и семейные — дела: дни именин, рождений, годовщин и прочее. Вздохнув, офицер вынул карандашик и, найдя дату «15 июля», поставил рядом восклицательный знак, потом закрыл книжку, положил ее на место, снова задвинул ящик стола и повернул ключ. Волнение еще длилось, — и было неудобно начать вечернюю молитву. Офицер выпил воды... Став лицом к углу, где теплилась лампада перед старинной иконой в тяжелой серебряной ризе, офицер опустил на колени, зашептал по-церковнославянски и тремя пальцами — указательным, большим и средним — касался лба, плеч и живота... Но молитве мешали посторонние мысли. Он, досадуя, отгонял их, но, отгоняя, снова сосредоточивался на них же...

Вспомнившийся случай не выходил из головы... Умывальник, вода, зеркало... И голос женщины... когда она, причесывая рыжие локоны, удивленно произнесла: «Ты — божий помазанник? Да?..» Ее испуг и судорожный смех....

Офицер тихонько стучался лбом об пол, шепча: «Прости, господи... прости, господи...» Затем он погасил лампу, зажег ночник, так как боялся темноты, и лег в кровать, вспоминая женщину, которая смеялась над его титулом:

«Божиею поспешествующею милостью, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский; Государь и Великий Князь Новгорода-низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский,

Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны Повелитель; Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Арменские; Черкесских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Николай II — ныне исполняющий роль Верховного главнокомандующего армией и флотом Российской империи — повернулся на другой бок и, наконец, сладко уснул...

* * *

Наступление на Стоходе, начатое в полдень 15 июля 1916 года, захлебнулось к вечеру 15 июля. Гвардия устояла ценой огромных потерь.

Во исполнение плана, принятого в Шантйи, — с ведома и благословения Николая II, — союзники решили и впредь воевать, опираясь на помощь русской армии, вплоть до последнего русского солдата.

В ночь на шестнадцатое июля подошедшие резервы сменили остатки гвардии...

* * *

За день пятнадцатого июля на Стоходе вышли из строя тысячи солдат. Санитарные и товарные поезда, переполненные ранеными гвардейцами и пленными, пересекали Волынь...

Ночь. Июльский вечер томил духотой. С грохотом несется поезд. Раскрыта дверь товарного вагона. Прижавшись щекой к косяку, стоял раненый — маленький человек в хаки, почти мальчик — доброволец. Он высунул голову навстречу ветру.

Поезд летел к Киеву. Раненый закрыл глаза, провел здоровой рукой по развевавшимся на ветру волосам и зашел.

Вдоль полотна железной дороги ветер гнул тополя. Летели искры, искры! Из тьмы вагона доносились стоны и храп раненых.

Мальчик пел, чтобы не стонать от боли. Кто-то рядом с ним прошептал:

— Trinken! ¹

Пленного немца мучила жажда. Доброволец вздрогнул и перестал петь. Он смотрел на раненого врага. Вот он — враг! Присутствие немца и его голос раздражали... Боже мой, как болит рана!

Немец шепнул опять:

— Trinken!

Нет, будь ты проклят, враг! И тут же мелькнуло сомнение: но ведь это раненый, пленный...

— Trinken!

Немец подошел вплотную. Он всхлипывал, что-то тихо говорил и поводил забинтованными и потому казавшимися огромными руками... Видимо, у него были перебиты обе кисти рук.

Подавленное молчание...

Немец снова зашептал — он снова просил утолить его жажду. Надо дать... Неудобно, он же просит... Доброволец медленно протянул вперед здоровую руку с флягой... Он забыл, что у немца тоже раненые руки. Вспомнив, русский солдат, преодолевая собственную боль, обхватил больной рукой голову немца и приложил горлышко фляги к его воспаленным губам, оправдывая себя тем, что он действует как санитар, как сиделка.

Поезд грохотал во тьме... Вагон швыряло из стороны в сторону. Дверь была открыта, потому что раненые задышали от июльской жары. В темноте белели огромные забинтованные руки: две — немца и одна — русского. Оба поглядывали друг на друга, почти сблизив лица. Немец стал медленно подбираться к краю вагона. Левая рука русского вцепилась в борт тужурки немца.

¹ Пить! (нем.)

Вагон швыряло все сильнее. Русский крепко держал стоявшего на самом краю вагона, над уходящим с громадной скоростью полотном железной дороги, немца. Русский увидел его выжидающие недоверчивые глаза.

Пленный глубоко дышал, впитывая долгожданную ночную прохладу. Добровольец, с детства знавший немецкий язык, спросил:

— Gut? ¹

Пленный застонал и пошевелил большими белыми руками... Он стоял, прижавшись к косяку, несчастный и все еще испуганный...

— Noch trinken?.. ²

Чувствуя каждое движение и понимая почти каждую мысль немца, русский, подавляя отвращение, в приливе жалости снова напоил его.

— Danke... ³

Немцу было трудно дышать. Он с усилием поднес забинтованную руку к горлу и умоляюще посмотрел на русского. Перевязанная рука вздрагивала, и немец вскрикнул от боли. Русский понял. Он начал расстегивать ворот тужурки пленного. Одна пуговица, другая, третья... Он старался не касаться чужого тела, тела врага...

Кажется, наконец, последняя... Как странно!.. Пуговицы ведь почти такие же, как у нас, — солдатские! Потрясающее открытие! Оно подтверждало давно мучившую его и других солдат мысль о том, что на фронте судьбы их одинаковы с судьбами немецких солдат. Вот еще одно доказательство! Пуговицы — это, конечно, мелочь, но все-таки..

Немец, благодарно улыбаясь, смотрел на русского и вдруг тихо-тихо сказал:

— Камрад...

Поезд гремел...

Одинаковы! Одинаковы! Немец, солдат, камрад — товарищ по несчастью...

¹ Хорошо? (нем.)

² Еще пить?.. (нем.)

³ Спасибо... (нем.)

ГОСПИТАЛЬ

II

Эшелоны с ранеными прибывают на станцию «Киев-товарная». Их не подают к платформам «Киев-пассажирская», чтобы скрыть от киевлян бедствия войны... Раненые «под пение птичек, в сиянии солнца» исходят стонами...

К вечеру, пользуясь наступившей темнотой, раненых на санитарных повозках, а тех, кто покрепче, на трамваях везут в город — в госпиталь...

Лошади тащат санитарные повозки по булыжным мостовым. Обоз с ранеными растянулся по улочкам пригорода. Каждая встряска причиняет боль, вызывает вскрик, холодный пот... Тише, тише двигайтесь! Санитары!

Наглухо закрыты ставнями домики и лавки пригорода. На тяжелых железных засовах висят замки. За ставнями горят ночники, лампы, свечи. Цветут в горшках цветы. Остывают выпитые самовары. Стоят комоды с симметрично расставленными фотографиями, баночками, вазочками. Тикают часы... Кровати покрыты яркими лоскутными одеялами. В сенях — запах веников, воды, кадушек, мыла, выстиранного белья...

Вода, мыло, белье! Не дразните нас, раненых, — до слез, до иступления!

Санитарные повозки тащатся дальше...

Киев! Улицы темны. Люди спят, запершись на замки, задвижки, засовы... Никому нет дела до раненых...

Раненые глядят на беззвучные, темные дома. Раненые молчат — обиженные, огорченные... Они с завистью думают о тех, что спят в этих домах. Война идет, а им что?

Раненые, собирая остатки сил, ждут помощи, койки и утешения в госпитале. —

Обоз останавливают у симметричных казенных корпусов. Госпиталь! За стенами и окнами — долгожданный отдых и покой. Примиренные солдаты спешат сойти

или сползти с повозок... Их ведут или несут на носилках... мимо подъездов госпиталя.

— Куда?

— Почему?

Их размещают в палатках и просто на соломе под толевыми навесами вдоль госпитальных стен и заборов — около куч угля и штабелей дров...

Никто не сумеет описать всю горечь обманутых солдатских надежд.

А рядом — в домах, за шторами, гардинами, кисеей при свете ночников и лампад — почивали в спальнях, защищенных от жары, дурных запахов и мух, те, которые сумели, пользуясь своими деньгами и связями, избежать фронта, сохранить себя, свой дом, свое благополучие...

Утром гвардейцев, не нуждавшихся в операциях, наспех обмыли и небрежно перебинтовали. Переодетые в застиранное, измятое госпитальное белье, в пахнувшие карболкой, истрепанные фланелевые халаты, раненые лежали во дворе под палящим солнцем. Многих уже не было — некоторые умерли, не дождавшись помощи, остальные ждали очереди в госпитальном коридоре у дверей «операционной». Санитары и какие-то бабы прибирали двор: посыпали его песочком и украшали зеленью палатки.

Солдаты, догадываясь, перешептывались:

— Чай, начальство ждет?

Они не ошиблись.

Днем прибыл генерал — военно-санитарный инспектор. Сестры и санитары успели сказать раненым, что он привез кресты и медали. Раненые забеспокоились:

— Кому крест?

— А за што дают?

— За што? За драку. В мирно время нас за нее в участок волокли, в военно — кресты за драку дают.

— Встать смирно!

Привычная команда подчинила всех. Во дворе, где лежали сотни раненых гвардейцев, все затихло.

Лежавшие вытянули поверх одеял руки. У кого были целы ноги, вскочили.

— Здорово, молодцы!

— Здра-жла-ваш-дит-ство!

Генерал шел, сопровождаемый своим адъютантом и врачами. Он остановился около одного из раненых:

— Ну, что? Как живется? Чем дома занимался?

Раненый промычал что-то, едва шевеля разбитыми челюстями. Адъютант засуетился, беспокоясь, что их превосходительство не поняли ответа. Но равнодушный взгляд генерала уже остановился на другом:

— Ну, а ты? Где лучше, дома или на фронте, а?

— Как прикажете, ваш-дит-ство!

— Отличный ответ! Молодец!

И к третьему:

— Ну, а ты, много немцев уложил?

— Так точно, ваш-дит-ство!

— Штыком?

— Так точно, ваш-дит-ство!

— И пульей?

— Так точно, ваш-дит-ство!

Генерал заметил юношу, почти мальчика.

— А ты почему такой молодой?

«А почему вы, генерал, так глупы? Я молод, очевидно, потому, что родился в тысяча девятисотом году...»

Но так не ответишь...

— Так что — доброволец, ваш-дит-ство!

— А-а... Молодчага, молодчага...

— Рад стараться, ваш-дит-ство!

— Бог тебя спас, а ты свечку поставил?

— Никак нет, ваш-дит-ство.

— Как же это ты, братец, богу не помолился? Стыдно, стыдно...

— Виноват, ваш-дит-ство.

— Поставишь свечку?

— Так точно, ваш-дит-ство.

Генерал изволил чихнуть, а солдат стоит — молчит.

— Что ж ты, братец, здоровья своему генералу не пожелаешь? «Будьте здоровы» — по русскому обычаю говорят, а ты молчишь. Хе-хе.

— Виноват, ваш-дит-ство. Будьте здоровы, ваш-дит-ство.

— Ну, спасибо!

Генерал о чем-то пошептался с адъютантом, взял у него медную медальку и наклонился над неподвижно лежащим, молчаливым матросом.

— Какого полка?

— Гвардейского экипажа, ваш-дит-ство.

— Поздравляю, братец, с наградой.

Адъютант отогнул край одеяла, чтоб медалька могла украсить грудь матроса, но на его груди уже были две медали и три Георгиевских креста. Адъютант обалдел, а генерал смущенно отошел, повертев в руках медальку и не решившись ею приумножить ранее полученные боевые отличия гвардейца.

Распределив кое-как привезенные награды и мельком пощупав на одной из коек простыню, генерал приказал собрать наиболее крепких солдат у входа в госпиталь и обратился к ним с речью:

— Братцы, тут в Киеве... стали, гм... вашего брата на плохие дела подбивать... Листки подбрасывают какие-то... Они... мм.. чем-то соблазняют вас... Но все сие — ложь, суета и обман. Вы, братцы, воины русского царя, и преступников между вами быть не должно... А если таковые есть, ваша святая обязанность их изобличать... Уповайте на господа бога... и соблазнить им вас не удастся. Смотрите, братцы, разума не теряйте, «на бога надейся, и сам не плошай». Поняли?

— Так-точ-ваш-дит-ство!

Генерал повернулся к старшему врачу:

— Отлично. Я доволен. Толковые ответы. Благодарю.

— Ваше превосходительство, прилагаем все старания...

— С солдатами надо по-простому, душевно, берите пример с сегодняшней беседы...

— Так точно, ваше превосходительство... — и в уме прикидывает, что орден он ему обеспечен.

Генерал записал для памяти: «Раненные чувствуют себя бодро и окружены заботой» — и отбыл. Госпиталей много, и его превосходительство торопился...

Старший врач, проводив генерала, шел обратно по двору мимо раненых.

Молчаливый гвардеец-матрос шевельнулся:

— Васокродь, дозвольте претензию?

— Ну?

— Васокродь, как мы гвардейцы, покорнейше просим, нельзя ли нас в Петроград или Царское Село направить. Там служили, там пусть нас и лечат в гвардейских госпиталях. Надоело здесь без помощи валяться. В жаре да на гнилой соломе...

— Ты что городишь, дурная голова?

— Виноват, васокродь, я слуга государя-императора, унтер-офицер роты ее величества государыни-императрицы и Георгиевский кавалер...

— Так вот, кавалер, выбей дурь из головы.

* * *

В вазочке стояли левкои. Они пахли сладко и сильно. Обстановка почти ничем не напоминала о госпитале, о раненых. Мерно тикали настольные часы, и по ночам тишина была так велика, что офицеры останавливали маленький маятник: его тиканье казалось невыносимо громким.

За окнами расстилалась даль реки. На приднепровских берегах уже лежали следы ранней осени. Офицеры вспоминали гранитные берега Невы, и в палате, если можно назвать так комнату, где находилось четверо офицеров, велись бесконечные беседы о Петербурге, о Царском, о гвардии,— полные особенных чувств, пауз, воспоминаний и цитат: «За петропавловской пальбою сердцебиение Невы», «Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась...»

Офицеры погружались в теплый, счастливый довоенный мир, палата возвращала им забытый комфорт, потерянный рай: руки гладили хрустящее полотно накрахмаленного белья, ноздри вдыхали аромат левкоев, и во внезапно наступавшем проникновенном молчании четверо офицеров боялись спугнуть ощущение возвращения к жизни, радость надежд...

Вопла сестра. Чуть смущаясь, она спросила легко раненного в лицо офицера.

— Вы могли бы пойти на операцию?

— Пожалуйста. Когда прикажете?

— Вы могли бы сейчас?

— Как вы прикажете.

Раненый встал. Давая дорогу «даме», он улыбнулся, мужественно и грустно, друзьям и последовал за сестрой, досадуя лишь на то, что в халате его внешность кое-что теряет.

Операционная была слепяще бела и мала. В ней было много солнца.

Раненый поклонился врачу и ассистентам, устанавливая тон дружеский и неофициальный и как бы предлагая рассматривать операцию как маленькое частное дело, не заслуживающее особого внимания.

Поглядев на операционный стол, раненый вдруг что-то вспомнил, подошел к хирургу и тихо произнес:

— Могу ли я попросить вас о небольшом одолжении?

— К вашим услугам.

— Видите ли...

Раненый чуть покраснел и запнулся. Хирург предупредительно отошел в сторону, так, чтобы разговор не был слышен другим. Офицер, не глядя на собеседника, пробормотал:

— Я просил бы... я думаю, это можно... когда вы будете меня оперировать...

— Может быть, вас беспокоит боль, дать наркоз?

— Нет, я хотел бы, чтобы рана, вернее след от раны... был бы... замечен... Остался бы замечен...

Офицер решился поднять глаза на хирурга. Тот проницательно-внимательно смотрел на чуть капризное лицо офицера. Он все мгновенно понял: офицеру хочется быть центурионом со шрамом на лице...

— Успокойтесь, все будет сделано.

Раненый лег. Осторожным движением сестра ввела иглу под кожу. Хирург успокаивающе произнес:

— Местная анестезия.

И, выждав, спросил:

— Что вы чувствуете? Не больно?

— Нет...

Операция была окончена. Хирург, мило пошутив, отдал офицеру вынутый крошечный осколок.

Офицер взял его «на память», попытался улыбнуться, пожать хирургу руку, но почувствовал слабость не столько от операции, сколько от пережитого волнения. Сестры подхватили его и положили на диванчик, дали выпить валерьяновых капель. Офицер, смущаясь, но в то же время с удовольствием чувствуя, что он — центр внимания, полуоправдываясь, сказал слабым голосом:

— Нервы... Окопы...

Постепенно оправившись, он поднялся, поблагодарил всех и, поддерживаемый сестрами, пошел в палату.

Постель была ослепительно чиста... Подушки — высоко взбиты. Сестры, не слушая протестующе-благодарных слов, бережно уложили офицера в кровать... Послеоперационный уход за ранеными был особенно тщательным.

По прошествии недели офицер умчится в международном вагоне на север, в столицу — на отдых.

Родина баловала своих героев...

* * *

Ночью под навесами беспокойно шевелятся солдаты. Никто их не лечит. Некогда врачам, недо них... От жары еще больше гноятся их раны... После операций в бинтах завелись вши... И кормят еще хуже, чем на фронте...

Неподвижно лежит гвардеец-матрос. Из уха у него течет гной. Тоскливо молчит... Он снова бесплодно настаивал на отправке гвардейцев в Петроград. Теперь ему надо самому искать правды.

Под навесом беседуют раненые. Люди отучились в окопах спать по ночам...

— Вот, значит, после смерти осталось у ево шестьдесят копеек...

— Холера была, померло много. А земский кричал: пьянствуете, от этого и холера...

— Про какие таки листки говорил генерал-то? Почитать бы их! Раз его превосходительство их ругать изволили—знать, там про правду написано!

— Эй, ты, потише, санитары бродят, за нами подглядывают...

Ворочаются, укладываясь то на один, то на другой бок, солдаты, таящие бесчисленное множество мыслей и желаний.

Раненный в голову солдат бредит в беспамятстве... Никого не узнает... Слушая его бред, один из гвардейцев говорит:

— Гляди, ребята! В нем ведь душа — божий дух — живет? Плоть у него только поврежденная... Так как же это? Душа целая — а разум потерял? По религии учили унтерá, что есть в нас дух божий, и все в порядке... Вот тут они, видно, и соврали. Какой же порядок, ежели от маленького осколка душа вон, а человек, как животное, — без памяти, без разума? А ежели дух в порядке, на месте, то как же человек, сам видишь, конченный? Что-то тут не так... Вот я об этом все время и думаю. Раньше не думал... Народ такой поврежденный не попадался...

Так у солдат постепенно иссякала вера.

В темноте, преодолевая слабость и боль, поднялся матрос-гвардеец. С ним еще человек шесть. Они уходили прочь. Набросили на плечи шинели, — вымолили их днем у сестер: холодно, мол, спать ночью...

— Двинули! Чего ждать, пропадешь тут...

— Пошли на риск... В Дарнице попытаемся сесть в поезд.

Чутье разведчиков вело их по пустым безопасным улицам к Днепру. Дома темны. Двери заперты. Киев закрыт для них...

С Днепра тянуло холодом. На мосту стоял часовой — лохматый ополченец, с берданкой, с крестом на шапке.

— Куда? Стой! Эй!

— Не так кричишь. Службы не знаешь... Пропусти, отец...

— Куда, ребята? Не могу, родные.

— Пусти! Пропадаем, загнием тут...

— Ей-богу, сынки, не могу... Ну что ж я... Да разве я... Господи!

— Пусти, отец.

— Под суд пойдем... все пойдем...

Солдаты побрели вниз к реке. «Чуден Днепр при тихой погоде...»

Шлюпки!

Гвардейцы осатанели. Они камнем разбили замок на чужой лодке, сорвали цепь.

— Долой!

Весел нет — не беда... Доску выломали... Гребут... За много лет первое проявление своей воли!

Перемахнули Днепр. Добежали до станции Дарница... Ждут. К перрону подошел и остановился скорый поезд.

— Ку-да?

— Раненые, гвардейцы мы, нам в Петроград нужно...

— В санитарный поезд.

— Пусти!.. Господин кондуктор! Хоть на тендере... Сделай милость! Раненые ведь мы...

— Нельзя. Контроль пойдет.

— Пустите, господин кондуктор... Как-нибудь обойдется...

— Проваливайте, ну! Жандарма позову...

— Зови, стерва! Ряжку нажрал! В тылу закорневался? Ездите? Мы вам скоро поедем!

Гвардейцы прыгнули, отошли... В темноте белели их повязки, фуражки смялись и сбились на затылки, мокрые волосы слиплись на вспотевших лбах, шинели были распахнуты. Регистрационные номера на красных картонках — с первых перевязочных пунктов — еще висели у каждого на груди.

Эти ли люди шли в первых ротах гвардии — на весеннем смотру?

Солдаты стояли в полосе света, падавшего из окна вагона. За открытым до половины зеркальным стеклом показался офицер. На лице его была легкая повязка...

— Васокродь!

Один из гвардейцев узнал своего командира.

— Васокродь, милый, помоги!..

Голос был почти плачущий и безмерно доверчивый.

Офицер взгляделся в своего солдата и растерянно проговорил:

— Голубчик, голубчик... Напиши мне, напиши... В Петербург, в Петроград... Сделаю, что смогу. Кланяйся нашим... роте... Напиши, напиши, слышишь?

Гудок... Поезд двинулся...

Раненые гвардейцы остались на перроне... Белели в ночи их повязки, ветер трепал их волосы, на веревках болтались красные картонки с регистрационными номерами — с первых перевязочных пунктов...

Родина баловала своих героев...

* * *

Армия крошилась и расползалась с неодолимой настойчивостью... По домам расходились тысячи, десятки тысяч солдат, твердо знавших одно: «Не за что было драться».

Цели еще только смутно брезжили, но солдаты тянулись к ним, к новым законам жизни...

Родина! По твоей земле, спустя два года после Стохода, мы проходили с боями... Боец Красной Армии, бывший солдат, провоевавший всю войну с 1914 года, горько вспоминал бессмысленные жертвы минувшей царской войны. Он познал новые, справедливые, величественные битвы! Он познал иные масштабы побед — побед революции от Тихого океана до Балтийского моря, от Ледовитого океана до границы Персии...

Русские солдаты в 1916 году, проклиная навязанную им войну, тысячами убегали в тыл...

Бойцы Красной Армии в годы гражданской войны дрались до последней капли крови, и даже раненые торопились вернуться в строй:

— Наша земля! Наша армия! Наша свобода!

ГОД 1917-й

Глава шестая

МЕРТВЫЙ ЛЕС

I

Пространство в восемь миллионов десятин пропитано на глубину многих саженей гниющей водой. Пространство полно странных звуков, вздохов — это бродят и выходят болотные газы. Кое-где над трясинной, как спины тонущих неизвестных животных, сереют дюны и пласты мела...

Это мир погибших века тому назад озер и рек, заросших и обезображенных. Они побеждены растениями. Миллионы сплетений темных скользких корней саженной длины образовали на поверхности воды прочную, но колеблющуюся корку. Веками отмиравшие части растений, погружаясь на дно, оседали густой, зыбкой, мертвой массой.

После сильных дождей до предела разбухшие от влаги мхи вздуваются, как нарывы, — чудовищными буграми. Тогда начинается невиданная, почти недоступная человеческому глазу игра: колышутся мшистые бугры, и вместе с ними шевелятся дикие поросли ядовитых трав. Слышатся утробное урчание и вздохи земли. Это скопившиеся газы распирают болотную землю, и тогда с неопишуемым гулом лопаются мшистые бугры... Из них хлещут потоки жирной грязи, уничтожая почти всю растительность.

Среди необозримых пространств белого мха появляются протоки, меняющие направление своего течения от колебаний зыбкой поверхности болот.

Это Полесский район Западного русского фронта. Здесь, на краю болот, в мертвом лесу, уже три года находятся русские и немецкие части. Окружающая природа угнетает и тех и других. На этом участке фронта война едва тлеет, озаряясь редкими вспышками отдельных боев.

Воздух напоен холодной сыростью... Мириады комаров летают густыми роями. Они проникают в окопы и облепляют солдат. В иступлении люди расчесывают укусы, вносят заразу болотных ядов — и погибают.

Мертвый лес покинули птицы и насекомые: жуки-точильщики, осиновые листогрызы, трубноверты, древесные вши, короеды... Только шелестящие рой комаров не покидают лес. Они грызут, сосут и терзают солдат... Закутанные во что попало от сырости и комаров, солдаты ютятся на островке гнилой земли... Они живут, прикованные к кострам, чтобы согреться и укрыться в дыму от комаров. Дым тлеющих сырых ветвей разъедает глаза.

Урчание взбухающих на болоте нарывов тревожит солдат...

Дрожащая, зыбкая корка корней и мхов играет разведчиками... Они ползут по доскам, держась за жерди и полусгнившие пни, чтобы не провалиться в трясины.

Иногда бугры, взрываясь, выбрасывают на поверхность полуистлевшие скелеты погибших здесь солдат прошлых войн...

По протокам — на лодках и пешком, по рядам поваленных деревьев — доставляют из тыла хлеб, крупу, консервы, изредка масло, табак.

В безмолвии, среди белых мхов, плывут лодки к мертвому лесу. Еще в 1915 году он подымал к небу набухшие кривые ветви мрачных осин и судорожно цеплялся за уцелевший слой глины, валунов и песков, слой единственно прочный среди неверных болот. Лес почти не пропускал солнца, был темен и дик.

Но в последних боях люди уничтожили лес... Деревья сожжены и расщеплены снарядами. Обуглившиеся пни и стволы постепенно обросли белым мхом и кажутся седыми.

Солдаты почти не вылезали из окопов, радуясь защищавшей их земле и погребая себя в ней. Незаметно день за днем сырость сгоняла краски с их лиц, и силы истощались.

В окопы доносились вздохи болот. Окопники тряслись в ознобе, кутаясь во влажные шинели. Стоны заболевших болотной лихорадкой смешивались с урчанием земли... Но неизмеримая выносливость русского солдата преодолевала все.

* * *

В конце января 1917 года в мертвый лес шла смена. Маршевые роты, с трудом пробираясь по болотам Полесья, пугались окружавшей их мрачной природы. Встречные солдаты окликали их:

— Откуда будете, земляки?

— Из Питера.

— Какие там дела?

— Кисло-сладкие...

Роту вел прапорщик. Он прикрикнул:

— Не разговаривать!

Было приказано наблюдать за маршевой ротой.

Маршевики после окрика умолкли. Только снег скрипел под подошвами тонких холщовых сапог. Маршевики с трудом продвигались по деревянным настилам болотных дорог.

К ночи они пришли на позицию и стали у штаба полка, прислушиваясь к звукам, шедшим сквозь лес: били пулеметы.

Штаб полка помещался в блиндаже. Это было сложное сооружение с окнами на юго-восток, на солнце. Вместо крыши — шесть накатов толстых бревен, прослоенных землей и камнями; шестой накат был покрыт железобетонными плитами. Поверх плит лежал пласт земли. Потолок поддерживался тремя рядами десятивершковых

стоек. Внутри, в комнате, оклеенной обоями, стояла городская мебель. Под абажуром горела пятнадцатилитровая лампа. На столе лежали журналы, табак... Пахло смолой. Аккуратно убранные походные кровати были чисты. На вешалке висела сменная одежда, белые маскировочные халаты и оружие. На столике у стены стоял самовар. В углу висела икона.

Маршевики ждали выхода полковника — командира полка. Он повременил, потом вышел — в бурках и полушубке. Командир оглядел маршевиков. Это была сто вторая рота, вливавшаяся в полк с июля 1914 года. Сто две роты пополнения — по двести пятьдесят человек в каждой. В представлении полковника они слились в неизменно одинаковую массу плохо одетых в холст цвета хаки людей.

Командир посветил карманным фонарем и в сто второй раз с 1914 года, махнув рукой в сторону своего безопаснейшего, сухого и теплого блиндажа, сказал:

— Разделите с нами опасности и лишения.

Неласково посмотрел на маршевиков и добавил:

— Вы ведь, братцы, питерские?

И в свою очередь неласково посмотрели на полковника маршевики:

— Так точно — питерцы, ва-сок-родь.

Полковнику послышалась в ответе скрытая угроза.

— Если по-хорошему служить будете — добро пожаловать, если плохо...

Полковник не договорил, поджал губы и отошел. Маршевики неподвижно стояли во тьме, и даже в их неподвижности ощущалась непокорность. Обернувшись, полковник сердито крикнул:

— Ну! Почему их не ведут? На передовую!

Маршевиков повели по расчищенной в снегу тропинке. Навстречу им шли солдаты. Они, задыхаясь от тяжести, несли бревна для штабных блиндажей. Маршевики свернули с тропинки и вошли в саженный слой снега...

Впереди роты налегке шел прапорщик, вдыхая морозный чистый воздух. Стремясь показать роте пример, он пробивался вперед первым и, чувствуя себя почти как в бою, кричал солдатам:

— Вперед, живо!

Тогда в ответ раздалось сверху:

— Да ну тебя... Дурак...

Пораженный прапорщик остановился. На дереве сидел человек и покрикивал:

— Не ори, дурак. Ну! Давай, что просят.

Прапорщик, окончательно растерявшись, спросил:

— Виноват, что?

С дерева ответили:

— Линию проверю. Телефонист я. Кричу ему, не понимает...

Маршевики фыркнули... Прапорщик погнал их дальше, преодолевая раздражение и стыд.

В окопах, среди расщепленных остовов деревьев, угрожающе и скорбно простиравших остатки сучьев, маршевиков встретили старожилы — уцелевшие кадровые солдаты. Шли обычные солдатские разговоры:

— Какого полка?

— Маршевая рота... А ваш какой?

— Какой, какой... Был полк, да весь вышел...

При свете цыгарок сменяемые солдаты разглядывали людей, набившихся в окопы. Среди пришедших были и юноши, и почти старики.

— Плохо тут.

— Тут плохо, а в тылу управляют еще хуже! (Голос солдата был напоен предельной ненавистью.) Поправить бы надо. Ходоков послать!

— Послушают там наших ходоков! Жди! Надо всем сообща действовать, тогда толк будет...

— Твоя правда. Об этом и в листках всё пишут, — нам в казармы товарищи подбрасывали... И народ рабочий только об этом и толкует. Вернетесь в тыл — не сплошайте!

— Будь спокоен, отец, — сполним...

Шопотом передали команду. Остатки сменяемого полка двинулись в путь. Хилые малярики уходили из

мертвого леса, держась с всеподавляющей солдатской силой. Ноги их подгибались от слабости, но руки крепко сжимали винтовки... Они знали, что впереди — война за свободу.

Над снегами, между деревьями, выются струйки дыма: под снегом, в земле, в блиндажах и «лисыих норах», на глубине сажень живут питерцы-маршевики. Они жгут в своих норах костры; от которых стены окопов покрываются толстым слоем сажии...

С наступлением ночи пехота выползает из окопов. На солдатах почерневшие от копоти шинели. Ноги поверх сапог обвязаны соломой.

На позиции тихо... Во тьме белеют запорошенные снегом искаленные деревья.

Маршевики нарушают тишину мертвого леса приглушенным кашлем и бранью. Они ждут часа, когда их, как всегда, погонят на ненавистную ночную работу — укреплять позиции.

Раздается команда, и пехотинцы отправляются в путь, проваливаясь по колено в рыхлый снег, с трудом пробираясь сквозь снежные сугробы. Это сразу утомляет их. Усталость беспощадно обрушивается на людей. Измученные неизменным однообразием действий, слов, команд, окриков, — они с трудом, медленно и неохотно идут к месту работы. Маршевики прерывисто дышат — постоянное пребывание в удушливых окопных норах катастрофически быстро нарушило функции легких и сердца.

Отдыхавшись, солдаты-лесорубы расчищают снег и подрубают деревья маленькими солдатскими топорами. Снег сыпется с ветвей... Под ударами, охая, падают деревья, зарываясь в снег.

Солдаты, идущие в сторону немецких позиций, с трудом волокут колья и проволоку. Пехота подолгу копается в снегу, загоняя колья и натягивая на них проволоку. Идет снег, тут же покрывая новые заграждения. Когда поблизости нет начальства, солдаты швыряют проволоку и колья куда попало, быстро засыпая их снегом.

— Нанялись мы им, что ли?

— Они в своих блиндажах с жиру бесятся, а нам в «лисью нору» по селедке в день да по сухарику суют... Их бы в нашу шкуру, сюда на часочек!

Когда приходили боевые приказы — одни с запада, другие с востока, — лес оживал. Воздух прорезал свист пролетающих снарядов, все сотрясалось от взрывов. Солдат заставляли стрелять, преодолевая нещадный огонь немецкой артиллерии, жар, шедший от горевшего леса, удушье от пороха и гари.

Лес дымился и шипел...

Огненные языки ползли по расщепленным стволам, казалось раскинувшим в ужасе и мольбе обуглившиеся руки.

Внезапно стрельба затихала и лес опять становился мертвым.

Три года на участке мертвого леса все сводилось к жестоким и бесполезным схваткам.

Сводки сообщали: «На Западном фронте без перемен».

На Западе в припадках отчаяния были жалкие, слабодушные интеллигенты:

«Мы не знаем, живы ли мы еще. Мы беспомощны, как дети. Мир так страшен. Мы стали грубыми, скорбными и поверхностными — и я думаю, мы погибли. Если мы вернемся с фронта, мы придем усталыми, упавшими духом, выдохшимися, беспочвенными и лишенными надежды... Мы уже не сможем ориентироваться... Смерть, кромсание, уничтожение, сгорание, окопы, лазарет, братская могила. Других возможностей нет»¹.

Есть жалкие люди! Есть!

На русском фронте были перемены! Солдаты уже постигали всю преступность самодержавия и навязанной им империалистической войны!

¹ Авторское переложение отрывка из романа Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929).

В предрассветной морозной мгле над русскими блиндажами прошуршали немецкие снаряды.

Разрыв! Другой! Третий!

Прапорщики, из числа тех, которые в количестве двухсот — двухсот пятидесяти тысяч человек командовали ротами Российской империи, прислушивались к падению снарядов. Все молчали...

В блиндаже запищал фонический телефон: «Ти-ти-ти...»

— Слушаю.

У офицера посерело лицо, и, прикрыв трубку ладонью, он полупошопотом сказал остальным:

— Полковничек изволил приказать: «Шагом-арш, маршевики! По снежку в атаку!» (Отнял ладонь.) Да... Так точно... Да... Слушаю...

Всходило солнце... Прапорщики осматривали, в последний раз перед атакой, местность.

К группе подошел штабной офицер:

— Почему медлят?

Обращение в третьем лице и тон были оскорбительны. Один из прапорщиков, задыхаясь от бешенства, крикнул:

— Ножниц у нас нет — проволоку резать нечем, винтовка одна на пятерых, — какая тут атака? Вы бы лучше... там в штабе... подготовкой озаботились...

— Не рассуждать!

Возмущенный прапорщик замолчал. Медленно холодевшие на утреннем морозе руки машинально сжимали бинокль.

— Господа, время не ждет — отправляйтесь!..

Прапорщики пошли к окопам подымать людей. Сонные маршевики щурились, ослепленные солнцем, и не понимали, что собственно происходит. Подчиняясь команде, они медленно, неохотно выползали из окопов. Снег беззвучно падал на одетых в белые халаты людей.

— В атаку!

Застрочили русские пулеметы. Немцы в ответ немедленно открыли губительный ураганный огонь. Заработали германские минометы.

С глухим звуком ныряли в снег снаряды, взметая белую сверкающую пыль,— казалось, что по всему лесу взрываются снежные гейзеры. Как подкошенные, один за другим валились в снег раненые и убитые маршевики.

Впереди чернели непроходимо густые ряды немецких проволочных заграждений.

Вдруг, перекрывая вой снарядов и свист пуль, кто-то отчаянно закричал:

— Стой, бра-атцы!

И все увидели выпрямившегося во весь рост солдата, который, широко раскинув руки, как бы преграждая путь остальным, продолжал яростно кричать:

— Русский солдат силен! Без ножиц — руками и брюхом проволоку пропорет! Так, что ли? Братцы, назад в окопы! Ни за что погибаем! Хватит с нас!

Прапорщики стреляли в солдат и тщетно кричали:

— Вперед!

— Без нас!

И солдаты повернули к окопам.

Фронт окаймлен облачками шрапнелей — их сотни. Они отливают на солнце золотисто-розовым цветом. Постепенно они меняют очертания, тают и уплывают в ледяную лазурь неба.

Холод жжет пальцы ног и медленно ползет к коленям. Солдаты, забившись в окопы, притоптывают ногами. Ненужные винтовки с замерзшей смазкой валяются рядом. Руки, в грубых варегах, стынут. Солдаты хлопают себя по ребрам... Учащенное дыхание вырывается изо ртов, оседает на ресницах, покрывает их инеем. Ресницы слипаются...

Снова кричат прапорщики:

— Вперед!

— Стрелять буду!

— Вста-ать!

Питерцы-маршевики не шелохнулись. В окопах сидят, команде не подчиняются, к приказаниям равнодушны.

Из далекого блиндажа с обычной жестокостью кричит в телефон командир полка:

- Ну, что вы там копаетесь?!
- Никак невозможно...
- Придется еще раз поднять роты!..
- Роты не пойдут!
- Начальник дивизии приказывает.
- Доложите ему, что это невозможно...

Вечером снова пришел приказ выступать. На рассвете примчался из штаба полковник. Ротные командиры докладывают:

— Считаем своим долгом предупредить — роты нервничают.

Полковник приказывает:

— Построить людей! Я их живо успокою!

Роты стоят неподвижно.

— Здорово, братцы!

Молчат роты, на приветствие не отвечают.

Полковник сжал кулаки.

— Загладьте свою вину — доблестью искупите! Не пойдете в атаку — всех под расстрел!

Роты стоят неподвижно.

— Не пойдём! Всех, ваш-сокродь, не перестреляете.

Озверел полковник.

— Кто не пойдёт — шаг вперед!

— Дураков нет! Все не пойдём.

Стоят питерцы-маршевики. Уперлись... Насмерть стоят!

Полковник и офицеры ушли совещаться. Маршевики неподвижно стоят — ждут...

Бегут обратно ротные.

— Атаку отставить! Справа по отделениям, ша-гом-арш!

Ликуют солдаты:

— Наша взяла!

— Надо всем сообща действовать, тогда толк будет.

* * *

С такой же несокрушимой жаждой борьбы, с какой поднялись на бунт маршевики в мертвом лесу, — подымались по всему фронту напоенные яростью русские солдаты на новую войну — Гражданскую...

Мы готовились к бою достойному и справедливому. Мы знали, что рано или поздно — он свершится. Наш солдатский глаз умел распознавать виновных и брал их на прицел... Мы призывали солдат Запада следовать нашему примеру, и клич наш пронесся над Польшей, Галицией, Богемией, Пруссией, Баварией, Рейном, над землями Фландрии, Шампани, Арруа...

— Вста-ать! Вста-ать всем солдатам мира! В бой против тех, кто вгоняет нас подивизионно в братские могилы. В бой против тех, кто владеет всем и губит наши жизни...

ВЕСНА 1917 ГОДА

II

1917 год начался крупнейшими политическими стачками, которыми руководили комитеты большевиков.

9 января — в Петрограде, Москве, Баку и других крупных городах России во время стачек происходили уличные демонстрации.

В Петрограде:

18 февраля — началась забастовка путиловских рабочих.

22 февраля — бастовали рабочие большинства крупных предприятий.

23 февраля (8 марта) — работницы прошли по улицам Петрограда с лозунгами против голода, войны и царизма. Рабочие поддержали женщин забастовками.

Политические стачки приобретали характер грандиозной демонстрации против войны и против строя. На улицах полыхали красные знамена и лозунги, на которых горели яростные слова: «Долой царя», «Долой войну».

24 февраля — бастовало двести тысяч рабочих.

25 февраля — всеобщая политическая забастовка рабочих по всему Петрограду. На улицах непрерывный поток демонстраций с красными знаменами и революционными лозунгами.

События нарастали с каждым часом.

26 февраля — первое столкновение с полицией. Рабочие разоружили полицию. Часть войск перешла на сторону рабочих.

27 февраля — войска в Петрограде перешли на сторону рабочих.

Грянула февральская революция. Ее совершил пролетариат, возглавивший движение миллионов крестьян, переодетых в солдатские шинели.

* * *

... Март!

На площадях, улицах, перекрестках и в садах Петрограда кипела жизнь. Каждый по-своему переживал февральские дни и по-своему откликался на происшедшие события. Бурлили еще неясные мысли. Интеллигенты, рабочие, солдаты, чиновники, лавочники, мелкие служащие, гимназисты вступали в споры на каждом перекрестке, пользуясь правом говорить, спорить, радоваться и возмущаться...

Не искушенные в политике часто попадались на удочку «ловивших рыбку в мутной воде». Люди в стремительном потоке событий искали бродов, нащупывали дно...

На одной из аллей Летнего сада долговязый семинарист, вскочив на скамейку, истступленно взывает к собравшимся вокруг него любопытным:

— Братья! Иоанн Богослов учил, что богатый дол-

жен отдать излишки бедному. Не есть ли святое евангелие — обличение богатых и не сказано ли: «Легче пройти верблюду сквозь игольное ушко, нежели богатому в рай?»

Семинарист страстно приглашает людей на небо.

Слова его впечатляют, но кто-то задает ехидный вопрос:

— Ответьте, почему за девятнадцать веков христианство ни черта не помогло народам?

Семинарист растерялся и неуверенно обещает:

— Очистим веру, братья, и тогда поможем.

Он уступает место какому-то нервному штатскому в широкополой шляпе, который кричит, то и дело поправляя пенсне:

— Товарищи! Поповская религия — обман! Но есть великая, истинная религия — религия труда и прогресса. Мы не признаем поповского бога, но у нас есть своя вера. Мы — религиозные атеисты!

— Браво!

— Мы поднимаемся к вечности.

— Браво!

— У нас есть свой бог!

— Какой бог? Как его зовут?

— Наш бог — это машина.

Такое неожиданное заявление ошеломляет многих, и какая-то женщина возмущенно кричит:

— Сумасшедший!

Человека в пенсне оттесняет новый оратор:

— Товарищи! Тут вам наплели несусветное. Мы на эти выражения должны ответить: проваливай подальше! Нам эти рассуждения не подходят. Что же получается? Я, рабочий, должен котлу, что ли, кадить? Да святится, мол, имя твое, котел?

— Браво!

— Крой его!

— Спросить у этой шляпы не мешает, а кто, между прочим, он такой? Кстати, где же он? Исчез!

Слушающие уже полюбили рабочего, — он скромен, говорит просто, весело и пока ничем не задевает привычных понятий, — хороший русский мастеровой.

Рабочий продолжает:

— Товарищи, вас тянут вверх, на небо, подальше от земли, потому что на земле им с нами тесно! Они нас боятся...

Толпа пастораживается.

— Мы — большевики...

— Что значит большевик?

Голос из толпы:

— Вы еще не знаете? Член Российской социал-демократической рабочей партии.

— Маркс нас учит...

Одна из женщин спрашивает:

— Кто такой Маркс?

— Основатель социализма. Он говорит, что религия есть видимость, опиум для народа. Религия, товарищи, это для тех, кто еще не нашел себя или потерял себя. Понятно? Таким за покорную веру обещают награду на том свете... Если вы спросите: задаром ли устраивает церковь все эти дела, я вам отвечу: нет! За все плати!.. Лавочка у них!

Кто-то из верующих, не выдержав, крикнул:

— Н-но, ты! Полегче!

Гул нарастает, и в нем тонет голос рабочего. Он хочет сказать еще что-то очень важное — о церкви и о войне, об эксплуататорах-буржуях, но его уже не слушают. В гул врывается женский визг:

— Такие, как он, церкви обирают! Золоторотцы!

В толпе зашумели:

— Он обманщик.

— Он церковь оскорбил!

Сквозь толпу протискивается огромный парень. Он пьян и ищет случая подраться:

— Слезай, эй!

Парень толкнул рабочего.

Кто-то кричит:

— Товарищи, большевика в обиду не давать!

Толпа мгновенно разделилась на два враждующих лагеря. Началась свалка.

Кто-то испуганно спрашивает:

— Из-за чего дерутся?

— Из-за бога...

С разных сторон, пересекая Летний сад, сбегаются люди. С торжеством победители выводят из свалки рабочего. Дитина с подбитым глазом, мрачно ругаясь, смывается...

Рабочего жалеют. Какая-то женщина платком обтирает ему лоб. Рабочий дрожит от гнева.

— Эх, и народ же еще темный! Многие еще обману поддаются! Долго нам придется учить их уму-разуму...

* * *

Вся страна бурлила... Страсти накалялись.

Большевики, получившие в начале февральской революции возможность легальной пропаганды, немедленно возобновили выпуск «Правды» и фронтовой газеты «Окопная правда». Пользуясь любой возможностью общения с народом и армией, большевики с каждым днем приобретали все большее влияние среди народных масс. Каждый день приносил новые подтверждения тому, что антинародная политика Временного правительства мало чем отличается от старого режима. Решение вопроса, наиболее волновавшего народ — о разделе земли, — откладывалось под любым предлогом. Вопрос, не менее волновавший людей — о мире, — подменялся лозунгом «война до победного конца».

Лживая политика Временного правительства и двурушническая агитация меньшевиков и эсеров беспощадно разоблачались большевиками.

Митинги шли по всей стране... вспыхивали по всему фронту...

* * *

Среди болот Полесья, в страшном мертвом лесу у подножья сожженных стволов, стояла наспех сколоченная трибуна для приехавшего из Петрограда оратора. Когда собрали всех солдат и офицеров, прибывший взобрался на трибуну и объявил, что приветствует товарищей от имени петроградского пролетариата.

Строй солдат стоял смирно...

Оратор провел рукой по волосам и начал:

— Товарищи! От того или иного шага русской демократии, то есть от нас с вами (оратор сделал жест, который должен был означать, что русская демократия и есть слушавшая его шестнадцатая рота)... зависит судьба так счастливо, так победоносно завершившейся революции. Каждый,— я говорю каждый, ибо мы теперь равны,— должен отдать все для того, чтобы демократия, свобода и равенство были защищены навсегда! Пусть сияет над Россией вечный свет свободы! Ура, товарищи!

Рота загудела «ура».

Всегда расторопные унтер-офицеры, стоявшие ближе всех к «трибуне», бережно взяли слабо сопротивлявшегося оратора за ноги и за руки и, старательно покачав, аккуратно поставили его рядом с трибуной, так как на трибуне уже стоял солдат-маршевик, поглядывавший с недоброй улыбкой на оратора.

Как только затих шум, маршевик заговорил негромко, но подчиняюще-уверенно и отчетливо:

— Я хочу ответить товарищу. Он говорил относительно свободы и равенства. Возразить, конечно, нечего, но хотелось бы уточнить вопрос. Надо разобраться: равенство — кого и с кем? Если вы говорите о равенстве собранных здесь рабочих и крестьян с имущими, хотя бы вот с некоторыми господами офицерами (это был дерзкий выпад, и многие из солдат, довольные, переглянулись), — то вы говорите неправду. В самом деле, сколько имущества — земли, денег, инвентаря — имеет хотя бы этот товарищ (пожилой солдат, на которого указал говоривший, заволновался) и, например, господин полковник? Вы не скажете, вы не посмеете сказать, что они равны. Значит, даже на таком простом и живом примере приходится убеждаться в том, что нужна серьезная поправка к словам предыдущего оратора. Поправка эта заключается в необходимости ликвидировать существующее неравенство, а оно будет существовать, пока не будут уничтожены буржуи и помещики. Теперь о свободе, о революции. Опять все это одни слова. «Свобода». Для кого свобода?.. Одни могут «свободно» сидеть в Питере и «свободно» (оратор подыскивал выражение)... зарабатывать рубль за руб-

лем, копейку за копейкой. А другие? Есть солдаты, более тридцати месяцев находящиеся на позиции. А попробуй кто-нибудь из них уйти из окопов — вы же прикажете стрелять в него. Так в чем же их свобода? Объясните, пожалуйста.

Солдаты задвигались. Маршевика перебил офицер:

— То есть как «уходить из окопов»? А кто будет защищать Россию?! Ее же надо кому-нибудь защищать от немцев.

Возглас не произвел впечатления.

Маршевик негромко ответил:

— Какую защищать Россию? Я же вам говорю — надо вдуматься в смысл слов: для одних есть одна Россия, для других — другая.

Эта фраза показалась офицерам чудовищной. Неприкосновенное, столетиями прививаемое, хранимое, священное понятие Великой Неделимой России как будто начисто отрицалось... Россия, родина, русское: ее язык, земля, ее история и вера, ее просторы — «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!» — все это было смещено несколькими враждебными словами, предвзятым злым умыслом. Офицеры были целиком во власти своих привычных понятий о родине, и сам факт попытки так резко сместить эти понятия вызывал в них реакцию, настороженную, защитную и враждебную. Слова о другой России были оскорбительны, вызывая — они противоречили несомненному: была и есть одна Россия! Повидимому, маршевик над всеми глумился. Чорт знает что такое! Враждебность в словах говорившего была, была несомненно!

Офицеры возмущались:

— Господа, посмотрите на него, послушайте его. Разве это простой солдат? Этот тип — из интеллигентов... Куда он клонит?

Маршевик едва сдержал улыбку, а солдаты, недоумевая, прислушивались и к маршевику и к тому, что нарочито громко говорили офицеры.

Маршевик спокойно продолжал:

— Надо, я говорю, понять, что для одних царская Россия была хороша, а другие ее ненавидели, боролись против царского режима и шли из-за этого на каторгу.

И Временное правительство от царского — недалеко ушло.

Приехавший из столицы гость истерически взвизгнул:
— Это кощунство, запретите ему говорить!

Маршевик усмехнулся:

— Руки коротки! Я продолжаю. Если мы спросим мобилизованных рабочих и крестьян, желают ли они воевать еще год, два, а то и три,— они ответят: «Нет, и воевать не за что, и сил больше нет. Да и земля зовет!»

Солдаты почувствовали, что говоривший, наконец, пришел к единственно правильному выводу — ведь истинная правда, что у солдат нет больше сил воевать и воевать действительно не за что. Ведь именно поэтому в феврале они не пошли в атаку — наперекор всему начальству. Хватило смелости.

Офицеры возмущались: ведь слова этого маршевика означали измену родине и союзникам, хаос, позор! И вообще чорт знает что! Они считали, что война вот-вот кончится — в лучшем случае победой, в худшем — почетным миром. На этот раз союзники обязательно помогут. Будут и торжества и парады. Издадут манифест! Будут награды и производства в следующие чины; соединение с французскими и английскими войсками, визиты. Потом мирная конференция или конгресс.

Этот, не отличающийся большой глубиной, комплекс представлений среднего офицера о конце войны обязывал по долгу совести возразить маршевику, но чутье подсказывало, что эти мысли не стоит высказывать вслух, так как они противоречат новым веяниям.

Нужно соблюдать такт и осторожность.

А между тем маршевик говорил:

— В России народ делится на классы...

Слово «класс» вызвало у солдат представление о железных дорогах: I класс — синий, там генералы ездят. Кондуктор подойдет и отдаст честь: «Виноват-с, ваше превосходительство», — а генерал помашет своим билетом и закричит: «сезонный» или «годовой»... Поди проверь, он те проверит! На шермака могут ездить... II класс — желтый и вообще господский, — барыни с

детьми, разные господа в котелках. III и IV классы, понятно, для народа... И получается: народ делится на классы. Одни ездят так, другие эдак.

— Правильно, ничего не скажешь. Давай дальше!

— Класс, враждебный нам, — это помещики, купцы, промышленники-капиталисты... А наш, рабочий класс — это пролетарии и крестьянство... Кому же выгодно война? Разберем. Вот вы — нажились вы от войны?

Солдаты заулыбались:

— Ложка — вот и все наше имущество.

Маршевик подводил итоги:

— Не нажились. Коней, коров потеряли. Бабы вам об этом в письмах пишут. Что делается — всякий знает. Значит, война выгоды вам не дает. А капиталистам война на руку, они все для войны поставляют.

Логика говорившего потрясаяще действовала на солдат. Разговор шел о понятных, кровных делах...

Один из офицеров попытался сбить маршевика:

— Вы не учитываете одного — когда война кончится, все устроится само собой...

— Неверно, господа офицеры, опять надо думать о существе дела. Как война кончится, кто ее кончит? Что будет, если войну кончит Временное правительство, даже если оно кончит войну с «победным концом»? Во-первых, пока мы будем ждать «победного конца» — мало кто из нас успеет; во-вторых, господа, сидящие в правительстве и капиталисты без боя не отдадут народу то, что принадлежит ему по праву. Разве Временное правительство обещало нам равенство? Для того чтобы сказать: «Земля отдается крестьянам» — много времени не нужно, двух секунд хватит. А с февраля прошло сколько времени? Они не сказали и не скажут этого! А какое может быть равенство для безземельного крестьянина?

Солдаты впились в лицо товарища.

— Ай да маршевик!

Опять вмешался тот же офицер:

— Все решит Учредительное собрание!

Удар был меткий. Действительно: а Учредительное собрание? Оно все сделает. Какие-то надежды, возлагавшиеся на всероссийское Учредительное собрание,

поддерживаемые пропагандой Временного правительства, еще теплились в солдатских умах.

— Что же может решить Учредительное собрание, которое будут созывать господа буржуи и помещики?

Ответный удар вызвал растерянность среди офицеров и оживление солдат. Они зашумели, перебивая друг друга:

— Правильно! Они там засели и решают, как им вздумается, а мы за них — умирай!

— У них там по пять тысяч десятин, вот они и заворачивают!

— Поди они дураки? Будут землю отдавать-то?

— Нам первое дело лес и выгон взять.

— Чтоб они о нас позаботились? Нет, не было того и не будет!

— Обманутые мы с малолетства, вот что! В ум и в сердце раненные...

— Терпение носим — ай не пора ли бросить?

Людям вспомнился бесконечный ряд обид, обманутых надежд — больших и малых, личных и общих.

Маршевик внимательно всматривался в их лица:

— Вот вы и разберитесь на досуге. Только одно советую: словам эдаких меньшевиков (жест в сторону приехавшего) не верьте. Слов у них, что у дяди Якова — товару всякого.

Солдаты засмеялись. А меньшевик стоял, дрожа от бешенства, и мучительно вспоминал — где он видел этого солдата. При последних словах маршевика он вздрогнул: осень 1912 года, лес, сходка, его поражение и тот же голос рабочего, обративший его тогда в бегство...

— И последнее, товарищи: спрашивайте себя всегда — что принесет пользу моему классу? Ну вот, пока все... Может, еще кто-нибудь поговорит?

Маршевик спокойно, не спеша сошел с трибуны. Солдаты уступали ему дорогу и одобрительно хлопали в ладоши.

Офицеры притихли. Полковник, не проронивший ни одного слова, заметил, что на него все глядят, и, привычно быстро оценив обстановку, понял, что, как командир полка, обязан ответить. Уповая на бога, он

поднялся, помолчал и, оправив шашку, задумчиво произнес:

— Господа офицеры и солдаты... и господа солдаты... (Солдаты хитро переглянулись, отметив вежливость обращения.) Не слушайте вы этого большевика!

Определив партийность маршевика, полковник прощитался.

Он, оказывается, большевик? Чего ж скрывал? Это не так давно ставшее известным слово казалось солдатам давно знакомым, своим: «большак» — большой. Оно вызвало ряд ассоциаций: «большак в семье», «большак — дорога»...

— Да послушайте же вы меня, старого солдата!

Солдат возмутили эти слова, потому что их командир был полковником, а не солдатом и даже с виду не походил на солдата: «выходка» у него другая, голос другой...

— Я с вами и в огонь и в воду.

— Для чего в огонь, для чего в воду? — спросил рослый солдат, из кадровых. Он запомнил, как говорил маршевик, и задал вопрос, следуя его примеру.

Полковник почувствовал себя оскорбленным и растерянным.

— Как для чего?

Полковник не хотел понять или прятал от себя смысл вопроса, честно и непосредственно заданного солдатом и означавшего: готов ли ты пойти вместе с нами воевать за правду?

Полковник поглядел на офицеров, смущенных и молчаливых, прятавших глаза. Не говоря больше ни слова, он сошел вниз, ничего не видя, охваченный лютой яростью к солдатам за то, что они хотели знать правду: точно ли он, полковник, пойдет с ними, с народом.

Подобные, разумеется с различными частностями, митинги проходили во всех фронтовых частях.

* * *

Отшумели первые недели февральской революции.

Группа гвардейцев офицеров возвращалась с фронта в столицу.

На одной из узловых станций они вышли из вагона и заглянули в буфет. Всю дорогу их не покидало зудящее чувство раздражения и оскорбления. Офицеры непрерывно сравнивали все, что они видели и слышали, с тем, что было до революции. Это состояние доходило у некоторых до степени психоза. Их доводила до бешенства «вся эта солдатчина — совдепы, комитеты».

Они возмущались тем, что на станциях не было воды, что окна не протерты, что все забито толпами солдат, что поездные бригады не имели прежнего молодцеватого и подтянутого «путейского» вида. Все привычное смещалось, разрушалось...

— Ясно, порядок и Россия — гибнут!

Больше всех нервничал маленький поручик с заметным шрамом на лице...

Солдаты казались им серым скопищем беспощадных и вызывающе-дерзких людей. Степень перемен была непостижимой. Офицеров угнетало зрелище солдат в расстегнутых, не по форме одетых шинелях, сердило отсутствие поясов и кокард. Слух раздражали громкие, веселые солдатские голоса:

— Ванько-о!

— Я-у!

— Тащи винтовки сюда-а!

Их пугала какая-то «вездесущность» солдат. Это больше всего преследовало и ужасало их. Все, решительно все было занято солдатами. Солдаты заполняли поезда, взбирались даже на крыши вагонов, толпились в буфетах первого и второго классов, в привокзальных скверах, в помещениях, где на дверях были дощечки с надписью: «Вход посторонним строго воспрещен», на постах управления — всюду. Они всем распоряжались уверенно, по-хозяйски.

Офицеры, делая безразлично-строгие лица, держась вместе и ежеминутно, по любому поводу ожидая столкновений с солдатами, пытались пройти в буфет первого класса. Они то бледнели, то краснели, приходя в ярость от необходимости протискиваться, ощущать бесцеремонные толчки солдат, не отдававших им честь, ждать очереди и быть — «как все»... Настоящее пугало их, о будущем они не решались думать.

Те самые солдаты, которых они, как им всегда казалось, так любили, с которыми они должны были идти всегда вместе, которые были для них воплощением народа, их русского народа, — эти солдаты стали им ненавистны. Даже видимость трогательных, традиционных чувств исчезла как дым, как только их пути разошлись. Не любовь влекла их к народу, а возможность властвовать над ним. Они прятались за удобные для них формулы: «Во имя спасения России», «Война до победного конца». Эти формулы были для них привычны, а главное — они не позволяли уводить спор в те опасные глубины, к которым его неумолимо вели большевики. Эти глубины были для них обрекающе-безнадежно страшны. Одни это понимали цинично и ясно, другие — смутно-испуганно.

Офицеры распаляли в себе ощущение «мученичества», но, несмотря на это, упорно протискивались к буфетной стойке.

В конце марта, в Петрограде, перед возвращением на фронт они встретились в офицерском собрании, чтобы посидеть в «интимной обстановке», за рюмкой коньяка. Это были сынки петербургской знати и крупных дворян-помещиков, не обремененные умением постигать ход исторических событий и движущих их сил.

Маленький поручик, с шрамом на лице, нетерпеливо допытывался:

— Ну, как вам понравились все эти «libertées»? ¹ Летом тысяча девятьсот шестнадцатого года мне Петроград был куда милее...

— Конечно, государя жаль, но он допустил ошибочные шаги, он окружил себя совершенно неподходящими людьми. Немецкое влияние, бездарные министры... Затем нельзя было допускать оголение Петрограда. В сущности в тысяча девятьсот пятом году положение спасло то, что гвардия не была послана в Манчжурию. Можно же было после Стохода понять, к чему клонится дело, и отозвать в столицу хотя бы остатки первого и кавалерийского гвардейских корпусов. Нако-

¹ «Свободы» (франц.).

нец, уж если на то пошло, почему нельзя было назначить ответственных министров? В конце концов можно было найти приличных людей даже в Думе... Например, Родзянко, Пуришкевич... ну, кого-нибудь еще из этих... либералов. Умеют же в Англии с ними ладить. Вообще очень многому следует поучиться у англичан.

— Прекрасная страна, я там бывал. Отлично кормят, великолепные портные, недурные виллы, а главное: какое умение держаться, какое воспитание! Там не может быть уличных скандалов.

— А я, знаете, думаю, что можно было объявить приказ о льготах и преимуществах для солдат после войны — ну, наделить их чем-нибудь, — есть же какие-то земли у инородцев, в Туркестане... Наиболее толковым унтер-офицерам дать производства... Да боже мой, сколько можно было сделать... И предотвратить эту несчастную революцию.

— Вы правы, но, как гласит пословица, «после драки кулаками не машут».

Маленький поручик, улыбаясь, сказал:

— Как будто, несмотря на такие скандальные вещи, как Советы рабочих и солдатских депутатов, с Временным правительством ужиться можно. Наши новые министры ведут себя прилично. Все же какое-то странное двоевластие... Но вообще «не так страшен черт», как нам показалось... Помните — на станциях, в поезде? Мы ведь, *entre nous soit dit*¹, испугались товарищей солдат...

— Говорят, что у офицерства не будут отнимать права. Вот и сейчас мы сидим с вами, как в былые хорошие времена. А «товарищей» уже стараются утихомирить. Меня уверяли, что особых перемен больше не предвидится. Временному правительству пора понять, что мы революцией уже по горло сыты...

— В городе все толкуют об... ну, как сказать... — Поручик запнулся и, чтобы подчеркнуть, что он не желает даже вспомнить слова «Учредительное собрание», сказал по-французски: — *Assemblée nationale*², вы слышали? Уверяют, будто то, что она решит, — будет

¹ Между нами говоря (*франц.*).

² Национальная ассамблея (*франц.*).

обязательно для всех. Значит возможно, что когда всем осточертеет «свобода», — а это скоро произойдет, я в этом уверен! — тогда народ призовут к порядку...

— А союзники? Вы думаете, они безразлично относятся к нашим делам? Нет, нет... Им нужно дотянуть с нами войну «до победного конца»...

Маленький царскосельский поручик задумался. Он с грустью вспоминал июль 1914 года, свою роту, «ура», зной, голубое небо и очарование Царского Села...

— «До победного конца»... Увы, труднее всего иметь дело с солдатами: они помешались на политике. Перед отъездом стрелки спрашивали меня: «Вы с нами или против нас?» *Mon Dieu*¹, что мог я им ответить? «*Ma foi, mon roi, ma dame*»². Но ведь им так не ответишь? Вот и крутишься, как бес перед заутреней...

В этих офицерских беседах уже было заметно влияние сплотившихся под флагом буржуазной революции крупнейших контрреволюционных сил...

Если бы маленькому поручику тогда сказали, какими путями в ближайшее время пойдет большинство таких, как он, — он счел бы это сумасшествием, нелепостью, но все данные для такого прогноза *были* и эти прогнозы уже *ставились* теми, кто владел глубоким методом анализа общественных явлений, — большевиками.

Поручик был бы возмущен одной возможностью подозрения его в том, что он может покинуть поле боя и уйти к немцам, изменить поочередно ряду властей, нарушить слово, быть палачом своих соотечественников. Тем не менее он и тысячи таких, как он, изменили отечеству: стали шпионить в ротах и полках в пользу врага, переходили на сторону немцев. Позже они переметнулись к союзникам, когда те начали войну против единственно законной власти в России — советской; вместе с ними и без них разоряли русские земли и убивали своих соотечественников, без различия пола и возраста. Все эти поступки абсолютно противоречили поня-

¹ Боже мой (*франц.*).

² «Моя вера, мой король, моя любимая» (*франц.*).

тням о чести и долге русского гражданина и должны были караться смертью. Но эти понятия были забыты с молчаливого согласия Временного правительства.

С первых дней февральской революции враждебный большевикам класс буржуазии и их приспешники предавали Россию «союзникам» и врагам, продолжали обманывать народ словами «порядок», «право», «благородная помощь союзникам», «родина», — не смея прямо сказать: какая родина, какой порядок, какое право, помощь во имя чего... Предатели были объявлены устами Временного правительства истинными сторонниками свободы и демократии, основными силами буржуазной революции. Втайне готовились программы дальнейших контрреволюционных действий. Представители буржуазии, совместно с прежним командованием царской армии, в доверительных беседах проверяли и дополняли их главные черты.

Программа намечалась такая:

«Защищать родину, продолжать войну с Германией, всемерно обеспечивать «порядок», откладывая, конечно, нужное решение вопросов о земле, труде и так далее — на будущее время, желательно на конец войны или в крайнем случае до Учредительного собрания, которое не следует созывать слишком поспешно, ибо созыв такого собрания — дело сложное, ответственное, требующее вдумчивого подхода и основательной подготовки».

Анализ этой программы, обеспечивавшей доверие буржуазии и союзников, давал совершенно иной результат:

«Ведение войны и «порядок» позволят нам сохранить вооруженную силу. Тыл не должен дурно влиять на армию, его надо обезвредить, то есть убрать большевиков. Всякий боевой успех сделает армию послушной. Ожидающиеся действия союзников надломают Германию. Армия усмирит революционные элементы, и вопрос о формах правления будет решен так, как это нужно нам».

Еще более углубленный анализ раскрывал всю преступность программы:

«Правление случайных штатских — нонсенс, чепуха. Сила решит все. Согласятся и на конституционную монархию: Николай Николаевича или Михаила — регентом. Кирилл — фигура неподходящая. А там — видно будет».

Упоминание о самой возможности конституционной монархии на всякий случай делалось в форме какой-то вынужденной покорности: «Если Учредительное собрание решит, мы, конечно, подчинимся... воля народа...»

Представителям буржуазии казалось, что они дождутся еще лучших времен. Долгожданная власть была в их руках, а без Николая II легко обойтись. Полнота власти сулила перспективы еще более прекрасные, чем те, что мерещились некоторым из них в осенний вечер в Павловске, в 1912 году...

Знакомство с отечественной и иностранной историей напоминало тем, кто развивал вышеприведенные соображения, — о нерушимом покое дворца в Букингеме¹. Но иногда они же содрогались от страха при воспоминании о Гревской площади...²

Новое Временное правительство, бывшее в сущности простым приказчиком миллиардной «фирмы» «Англия и Франция», открыто и решительно не признавалось большевиками. В предвидении дальнейшего развития исторического хода событий и новых, закономерных, грандиозных революционных побед они с первых же дней противопоставляли ему возникшее параллельно с ним первое рабочее правительство — Совет рабочих и солдатских депутатов...

¹ Королевская резиденция в Лондоне.

² Старинное название площади перед городской ратушей в Париже, место казни французского короля Людовика XVI и Марии Антуанетты.

Добравшись из госпиталя домой, в Петроград, юноша-доброволец наслаждался кратковременным отпуском.

Война раньше времени сделала его взрослым. Горький опыт окопных лет бесследно уничтожил его прежнюю детскую преданность «вере, царю и отечеству» и привел его к горячему, страстному убеждению в необходимости уничтожения старого чудовищного режима.

3 апреля 1917 года он шел по знакомым улицам, взволнованный встречей с детства дорогим ему городом, радуясь революционному кипению народа... Но какая-то неясность в понимании происходящих событий раздражала и омрачала его радость. Острое чувство беспокойства заставляло его проверять свои мысли. Эта проверка, казалось, должна была дать успокоительный результат: все в порядке — революция произошла. Но тотчас же беспокойство охватывало его вновь. Совершенно очевидно: произошла ошибка, она касалась чего-то важного, большого... Однако товарищи из Совета рабочих и солдатских депутатов утверждают, что сделано все, веками ожидавшееся, оплаченное кровью лучших людей. Закрепляют завоеванную свободу. И подумать только, как быстро все произошло, а казалось, что о революции и мечтать пока нечего. Сколько даром вытерпели! И жизнь же теперь пойдет!

Но юношу все-таки не оставляла мысль об ошибке. Он хотел во что бы то ни стало до конца все узнать, понять. Раньше вопрос для него был ясен: «Долой самодержавие!» Да и сейчас все ясно: царизм кончен, а дальше будет социализм — замечательная, необыкновенная жизнь! Если товарищи из Совета так спокойны, значит действительно все в порядке. «Там ведь не «кто-нибудь», а депутаты, народ политический. Однако в чем же, господа, дело и почему мне не все ясно?»

И в госпитале и в дороге он осторожно, боясь насмешек, расспрашивал солдат и получал один и тот же ответ: «Николке по шапке дали, теперь жизнь будет». Но эти ответы не удовлетворяли его.

Внимание юноши привлекла толпа рабочих, шедшая с красными флагами и букетами цветов. Он подошел и спросил, куда идут. Ему на ходу ответили: «К Финляндскому вокзалу... Встречать...» Кого встречать — он не понял, но, заинтересовавшись, пошел вслед за толпой.

Шел народ, шли солдаты. Солдаты давали шаг. Юноша радостно смотрел на них: «Ишь, черти, лохмачи, ратнички милые вы мои. Хорошие... Народ поддерживали!» Вдруг показалось, что мысль набрела на что-то важное. Привычный ход мыслей возобновился: царизм свергли, хор-рошо! Царизм свергли все вместе — народ и солдаты! И впредь надо все делать вместе... Вместе! Вместе! Показалось, что именно в этом и дело, что ошибка найдена. Найдена! И как это ему раньше непонятно было? Прежде сычами жили, друг от друга, от самих себя прятались, неба не видали. Тут до слез, до спазм в горле вспомнились мгновения необычайного света и радости, когда солдаты на фронте целовались: «Долой самодержавие! Дожили! Вместе достигли!..» В этом все дело, в этом! Братцы, хорошие, милые мои! Наро-од! А сейчас опять как будто не вместе. Каждый по-своему думает.

Юноша шел взволнованный, готовый страдать, любить, действовать... Его взгляд внезапно остановился на офицере, который вел роту.

Офицер шел сутулясь и, казалось, не обращал внимания ни на людей, ни на улицу, ни даже на свою роту... Шел, выражая движением плеч, отсутствующими заплывшими глазками, равнодушно скользившими по лужикам, булыжнику и тумбам, всей своей физиономией с набухшим большим носом, что ему на все наплевать. Если бы не служба, поверьте, он не вел бы сейчас роту на Финляндский вокзал...

Юноша, как загнипнотизированный, не мог отвести взгляда от офицера, особенно от его лица. Нос, цвет усов, скулы, челюсти — да что же это? Да кто же это? Откуда? И вдруг понял — да это же старый режим! Багровомордые, усаые, скуластые, с желваками «узаконенного образца», рыкающие, рывкающие — городовые, становые, околоточные надзиратели, смотрители,

вахтеры... Да как же так?.. Снова неразрешенный вопрос! Непостижимая ошибка опять откуда-то свалилась, сшибла, придавила. Глаза не отрывались от красного флага и шедшего рядом офицера, воплощавшего, как казалось юноше, старый режим.

Рота шла.

— Ать-ва-и-ире!

Юноша тоже, по привычке, шел в ногу. Как же так, как же так, как же так? Неужели никто ничего не замечает? А вдруг Россию спроводировали?

Задерганный, измученный тремя годами окопной жизни человек тщетно пытался понять: что же происходит? Ведь революция!

Он уцепился за выхваченный им из всего окружающего страшный образ: красный флаг и рядом старорежимный офицер. Какая странность, неприятность! Кто-то, где-то, как-то ошибся. Несомненно, надо поправить! Сказать всем, народу: не годится, чтобы «такой» ходил перед ротой и рядом с красным флагом. Надо выйти к народу и сказать. И все будет в порядке. Разве глаз у народа нету?.. Впрочем, почему же никто не замечает?.. И снова мучительный приступ волнующих дум...

События развивались стремительно, и сложность происходившего многим была неясна. Юноше, только что вернувшемуся с фронта, было почти невыносимо во всем самому разобраться.

Многие, как и он, еще не знали и не понимали, что в то время как большевики бросили в первые дни революции все силы на непосредственное руководство народом и армией, меньшевики, пользуясь этим фактом и тем, что большинство лидеров РСДРП (большевиков) еще не вернулись из тюрем, ссылок и эмиграции, опутав народ лживыми обещаниями, — захватили депутатские места в Советах. Они неверно ориентировали массы; поддерживали представителей буржуазии; уверяли народ, что буржуазная революция — истинная революция, и тем вводили многих в заблуждение. Они и не помышляли о мире, которого так хотел народ. Они его обманули.

Юноша шел, не замечая хода времени, повинуюсь общему движению, неотступно наблюдая за офицером.

Офицер командовал ротой подневольно и оскорбленно: «Служба, знаете, комитет требует».

— Напра-о! Правный-сь!

Он закурил, дав роте команду «оправиться», но вдруг затоптал папиросу и, привычно одернув пояс, пашку и револьвер, зычно разослал команду:

— Для встре-чки слев-ва, ш-шай, н-на кра-ул!

И только тогда юноша заметил, что он стоит вместе с толпой у Финляндского вокзала.

Солдаты держали винтовки «на караул» и, по уставу круто повернув головы, косили глазами.

Толпа заполнила всю площадь. Здесь были и матросы, и солдаты, и рабочие, и интеллигенты, и студенты, и гимназисты. Женщины принесли букеты цветов. Площадь пестрела знаменами и лозунгами, вспыхивавшими алыми пятнами в свете прожекторов. Раскрывались окна домов. Остановилось уличное движение.

— Кого это так встречают?

Наконец юноша увидел того, кого все ждали. Его вынесли на руках и бережно опустили на землю. Это был человек небольшого роста, в штатском.

Стараясь как можно скорей избавиться от всех церемоний, неизбежных при встрече, он шагнул в сторону, где стояла группа рабочих, безошибочно узнав в них своих старых питерских товарищей....

Юноша увидел, что прибывшему помогли подняться повыше. В темноте он не мог различить, что это было — трибуна или автомобиль... Потом в свете прожектора увидел — броневик... Прибывший поднялся и одним движением, простым и естественным, снял кепку, приветствуя всех. Открылся великолепный лоб философа. Он всматривался в людей и, казалось, говорил каждому в отдельности совершенно простые, свои, ясные и вместе с тем мудрые слова.

Толпа затихла. Никто не шептался, не кашлял, не глядел по сторонам, не курил... Слушали все! Слушали из окон соседних домов. Слушали опоздавшие, взобравшись на трамвайные и фонарные столбы. Слушали, при-ставив ладони к ушам. Слушали, одергивая зашевелив-

шихся. Слушали всем существом. Слушали, вникая в каждое слово. Слушали, учащенно дыша от волнения.

В скупых, совершенно понятных каждому, как бы весомых словах он открывал, потрясая сознание людей, доселе им неизвестное, сокровенное, самое важное на свете.

Люди порой погружались в глубочайшее удивление, не постигая, как это до сих пор они не додумались сами... Как просто и как верно! Понятия *правды и свободы* приобретали настоящий, отчетливый, совершенно точный смысл. Прежние неподвижные, застывшие между землей и небесами представления о боге, царе и прочем, неясные, смутные, хранимые в душе мечты о счастье и правде,— заменились законами бытия, до трепета жизнеутверждающими, повелительными и убеждающими.

Казалось, говоривший человек обнимает весь мир своей мыслью. Он устанавливал необычайно точно и ясно причины и связь явлений. Навсегда врезались в мозг и душу эти впервые услышанные глубокие слова. Первое их воздействие, первое впечатление от них было неповторимо. Людям хотелось протиснуться ближе к говорившему. Люди приходили в отчаяние, когда ветер относил слова.

Людям хотелось под влиянием всего ими услышанного, раскрывавшего грандиозные перспективы,— сразу куда-то итти, действовать.

Теребя соседа, юноша, впервые в жизни получивший ответ на все главные, мучившие его вопросы, шептал:

— Да кто же это говорит? Кто?

— Неужели вы не знаете? **Л е н и н!**

Ленин закончил свою речь, навсегда вошедшую в историю мира, всеобобщающей формулой, советом, указанием, которое он дал людям всей силой своего гения, всей силой своей любви к народу, всем своим большим сердцем:

— Да здравствует социалистическая революция!

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАТОРЖАН

III

Поезд приближался к Севастополю... Он шел по самому берегу моря. Тьма нависала над безлюдными берегами... Проступали неясные очертания старых, знакомых мест. Возвращавшиеся с каторги матросы не роняли ни звука. От нахлынувших горьких воспоминаний больно щемило сердце... Давно-давно они не были здесь...

На берегу, у сетей — силуэты рыбаков... Тьма все гуще и гуще, — и возвращающиеся к морю погрузились в неистребимую печаль, неуходящую тоску прежних лет... Они переживали вновь ушедшие гробовые годы, им слышался гул тысяч матросских ног.

Ррах-ррах-ррах!

Они вздрагивали от окриков:

— Ать-ва-и-пре!

Вот и они — приморские низкие, окрашенные охрой флигеля флотского экипажа.

На взморье росли старые кривые деревья. Здесь вешали матросов в назиданье: чтобы не было повадно помышлять о том, о чем помышлять запрещает присяга, на кресте и евангелии даваемая.

Возвращавшиеся были недвижны. Их давила тяжесть воспоминаний. И нет сил, нет способов, которыми хоть одного из этих матросов можно было бы заставить забыть прожитые годы и ослабить нечеловеческую ненависть к их мучителям. И нет сил, нет слов, чтоб выразить их безмерную любовь к великому другу всех матросов — Ленину. За ним пошли они в 1905-м, за ним пойдут и в 1917-м!

Возвращавшиеся оцепенели... Они не узнавали берега... Им казалось, что это и Либава, и Кронштадт, и Севастополь, и Сахалин... Вдали, в бухте, окруженной громадой гор, вдруг загорелись огни. Прожектора метались по небу, и небо над Черным морем покрылось светящимися пятнами, как при игре полярных сполохов.

Низкий рев спрен стлался над морем и отдавался в горных долинах. Бухта выбрасывала все больше и больше света. С кораблей доносились зычные, настойчивые гудки. Большой сбор!

Черное море готовилось к встрече любимых сыновей — героев пятого и двенадцатого годов. Черное море помнило о «Потемкине» и «Очакове».

Поезд шел по самому берегу ревушей и сверкавшей огнями бухты.

Возвращавшиеся подались вперед, чтобы быть ближе к сверкавшей огнями бухте, к флоту, старую любовь к которому не истребило ничто.

Поезд остановился. Из вагона в свете боевых прожекторов эскадры вышли старые матросы. Встречавшие подхватили их на руки. Толпа обнажила головы.

Вернувшиеся задыхались от волнения... В взволнованной тишине были слышны их рыдания... При свете прожекторов все увидели их слезы... Толпа матросов внимала скупым словам благодарности.

Вернувшихся каторжан повели к старым местам их службы: в их экипажи и на их корабли.

Ранним утром они пошли к берегу, на скалы, на бывшие места тайных сходов. Там ждали их друзья — рыбаки, бывшие матросы. Они подсели к старым товарищам, перебрасываясь давнишними, полузабытыми словечками. Рыбаки воткнули в песок весла и набросили на них бревенты, чтобы солнце не палило дорогих гостей. Потом не спеша, торжественно разостлали на песке холст, придавив его крупной морской галькой, чтобы не сорвал ветер.

Гости молча сидели, вдыхая запах тины, соли, камыша. Все возвращало старым матросам их любовь, их силу, их веру...

Солнце палило. Севастополь был слепяще бел. На морской зыби чуть стукались бортами шлюпки.

Рыбаки вынули из плетеных кошелок скумбрию, помидоры, огурцы и хлеб.

Старший рыбак пригласил гостей. Чинно и осторожно сотрапезники резали хлеб. Оглянувшись по старой привычке, хотя в этом не было нужды, рыбак вынул из шлюпки бутылки вина.

Из первой бутылки наполнили чайные стаканы, вымытые в море, еще влажные и составленные «грудкой», в знак единения. Старый рыбак поднял стакан и дрожащим голосом запел:

Оч-чаков! Бор-рэц за своб-боду-у...

Все истово, горячо подхватили...

Когда кончили петь, один из матросов сказал:

— Да будет вольный флот на Черном море!

Все повторили и выпили, блюдя обычаи и уважая друг друга.

Помалу шел тихий, морской разговор: когда где скумбрия шла, кто когда в поход к Анатолии ходил... И за разговором подымали стаканы:

— Да будет вольный флот на Черном море!

И свобода, и друзья, и запахи моря — все вернулось к старикам, и счастье тихо качало их.

Скалы закрывали север, а на западе вечное, в памяти навсегда оставшееся море, сливавшееся на горизонте с небом. Старики глядели на горизонт, на бухту, узнавали корабли в блеске дня, говорили об этих кораблях, безошибочно называя их имена, отмечая все внешние перемены, охваченные глазом на расстоянии целой мили. Все было нужно, важно... Они наслаждались теплым счастьем, упивались этим разговором, возвращавшим им жизнь.

— Да будет вольный флот на Черном море!

Скумбрия жирна! Капли жира стекали по пальцам, падая на гальку и испаряясь под солнцем. Скумбрия прекрасна! Вот этими руками ловлена, ешь!

— Выпьем, други! Как хорошо!

Друзья глядели на море и вспоминали дальние плаванья: Анатолию, Константинополь, Румынию, Александрию, Мальту... Имена звучные, знакомые. Море

соединяет их. Друзья знали их, видели их под солнцем, раскаляющим скалы.

Гости глядели на возвращенное им море, пахнувшее, испарявшее соли в необозримые выси. Море!

Люди, хмелея (они почти забыли вкус вина), рождали планы, дерзкие и великолепные. Они не видели ни малейшей фантастики в них. Что недоступно вот этим рукам?!

Старые матросы были еще полны сил, дерзости и жажды новых опасностей. Они делились друг с другом мечтами о том, что будет, когда все страдающие на море и на земле подымутся на борьбу за свободу.

Рефракция искажала шедшие корабли. Очертания их расплывались в зное. Над скалой — греческие руины, приют уже исчезнувших контрабандистов и пиратов.

— Выпьем!

Молодой, слушавший старших, рыбак встал и, гикнув, начал танец. Все подпевали танцору.

Парень блестел от пота, сверкало его играющее тело, взбрасываясь и изгибаясь. Хо-оппа! Оп-па!

Гальки летели из-под его ног. Парень танцевал...

Гуляют сегодня черноморцы!

Друзьям мало берега. Им тесно. Им нужно море. Темные руки поднимали черную смоленую шлюпку и бросили ее на воду. Шлюпка качалась, как все в этот день. Дай море!

Друзья скоро пойдут в белых рубахах с синими воротничками на серьезное дело... А сейчас не мешай! Дай море!

Шлюпка вырвалась из бухты. Весла гнулись и скрипели... Как хорошо, оказывается, грести! Почему раньше было трудно?.. Друзья, горячие как камни на берегу, навалились на весла. Смола, размягченная солнцем, одурающе сладко пахла. Шлюпка ушла в открытое море.

Опьянев от хода шлюпки, от крика чаек, от блеска стремительных дельфинов, от простора, — матросы громко, во всю силу глоток кричали «ура» в честь моря. Тогда один очаковец, переполненный счастьем, поднялся на нос шлюпки, готовясь во всем как есть броситься

в море. Друзья держали его за руки, целовали, стараясь успокоить, усадить... Но очаковец, плача и смеясь, оттолкнул их и закричал полусхваченно, полусерьезно:

— Прочь, не мешать!..

Люди в шлюпке, бросив весла, смеялись и шумели от избытка сил.

Очаковец опять поднялся и, окинув все быстрым, — чтоб навсегда запомнить мгновение, — взглядом, полетел в море.

— Дай море! Наше море!

Он рассекал воду, и брызги, разлетаясь, сверкали на солнце.

— Го-гоо!..

Друзья гребли, догоняя очаковца и восторгаясь им.

— Море, наше море! Нам тут — может завтра — драться придется... Ночью будем перебрасываться, куда надо...

— Разве мы не понимаем, сколько еще дел...

— Зови нас, Революция! Зови нас, товарищ Ленин!

— Навал-лись!

Шлюпка на берегу...

Солнце зашло...

Друзья распластались на песке у костра. Поднялся и зашумел ветер. Кончился день, второй счастливый день в их жизни!

Бесшумные парусники, неся красные и зеленые огни, шли в гавань.

Друзья убирали шлюпку. Они любовно скребли и терли ее, вкладывая в работу все свое умение. Укладывали концы, вычерпывали воду, складывали и убирали брезенты. Все движения так отчетливы и легки. И снова — радостное удивление: как хорошо все делать без принуждения, когда ты свободен!

Золотые руки у матросов! Эти руки сумеют сделать все на свете... Все будет наше!

Мы идем легким, стремительным шагом. Это новый шаг — шаг Красной Армии! Земля поет под нашими ногами...

У нас избыток сил! В нас через край хлещет энергия мира! Мы впитали в себя весь гнев угнетенных народов... Старый мир трепещет перед нами!

Страх и смерть не существуют для нас!

Мы молоды!

Это мы — творцы прекраснейшей из революций. В боях мы обрели справедливую, свободную жизнь — жизнь победоносную, торжествующую, яркую, брызжущую солнцем! Она в наших руках, в руках лучших бойцов мира — бойцов-созидателей.

Ленинград — Москва

1929—1939 гг.

РАССКАЗЫ и ПОВЕСТИ

МАТРОСЫ

(Цикл рассказов)

ГИБЕЛЬ КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА

Ходили слухи, что их было — тысяча, две, три. Но определенно не знали, сколько же их было.

Я знаю, что их было тысяча восемьсот восемьдесят пять. И все они как один, похожие друг на друга, как прибрежные балтийские сосны. Великолепным шагом прошли они Якорную площадь Кронштадта и, бросив прощальный взгляд на гавань, ушли на сухопутный далекий фронт. В бумагах красавцев значилось: «Военный моряк первого морского кронштадтского полка».

17 декабря 1918 года... Полк стоит под селом Кузнецовским, на Урале. Ночью пошли белые сибирцы на матросов. Юз стучит: «Противник силой до шести тысяч штыков начал наступление на участке кронштадтцев...»

— Го-го, Марфуша, ставь самовар, гости едут!

— Гады сибирские, спать не дадут...

— Искромсаем!

— Стукнем!

Цепь в снегу... Идет передача:

— Прицел постоянный. Без приказа не стрелять...

Так. Подпускать, значит, в упор. А ночь лунная — удобная для этого. Ведь на снегу все видно.

Идут сибирцы. Смотрят матросы:

— В рай торопятся...

— Хорошо идут, ей-богу!

Пулеметчики спешно докуривают, потом некогда будет: предстоит бой, а то еще и убьют.

Табаку мало, второй номер просит:

— Оставь двадцать, а?

Потянул. Третий просит:

— Заявка на сорок...

Пососал третий, пальцы цыгарка обжигает, держать нельзя, но мы народ хитрый: подденем ее на острую спичечку — и ко рту, вот на пару затяжек и хватит. На все, друг, соображение надо.

Комиссар подбадривает:

— Держись за землю, братки. Корешки пускай в нее, расти, как дерево.

Идут сибирцы...

— А ну, сыграть им, а?

— Стоп! Без торопливых. А то еще залягут...

У гангутских подначка идет:

— Мишечка, может вам надо для безопасности партийный билет на сохранение сдать?

Мишечка глазом косит:

— Ты от себя или от хозяина треплешься?

— Мишечка, странный вопрос. Хозяев ликвидировали. (И сразу голос изменился.) А чалдоны-то близко... Во! Гляди, Миша!

— Вижу...

Сибирцы подходят: цепями, вперебежку. Интервалы по фронту — три шага. Примолкли все. Тихо. Тут у одного зубы застучали. Слышно, как снег скрипит. Командиры матросские — старые, бывалые — ловят глазом, чувствуют нутром: опередить сибирцев надо, ожечь их прежде, чем «ура» начнут. С «ура» легче идти, а если их раньше стегануть — труднее им наступать будет.

Братки лежат, левыми локтями под собой ямки бурят. Кто понервнее — курок поставит, чтобы не дернуть раньше других. Полковой пес, взятый с крейсера, стал подскуливать. Цыкнули — умолк. Пулеметчикам из резерва горячие чайники летом тащат: кожуха пулеметов прогреть надо. И вот — с фланга: «По противнику! Постоянный! Пальба рот-той!»

Старый унтер голос дал — что в тринадцатом году на плацу у Исаакия:

— Рот-та!

Полождем... На выдержку берет...

— Пли!

Эх, плеснули! Ох, капнули! С елей снег посыпался...
А пулеметчики ждут. Свои «максимы» белолобые прячут. А ну, иди ближе, Колчак! Мы тебе захождение сыграем.

Загудели сибирцы. «Рр-а-а». Жидковато.

— Огонь!

Бьют матросы с рассеиванием.

— Шире рот разевай, лови!

Окапываются сибирцы...

— Хлебнули!

— Куда лезете, здесь для некурящих!..

Тихо...

Время шло. Девять атак было.

Двое суток сибирцы окружали полк, теснили его. Полк подался и занял кольцевую позицию... Окружен... К концу вторых суток, девятнадцатого декабря, в десятую атаку готовились сибирцы. Шрапнелью поливать начали.

Покрикивают в цепи братки:

— Санита-а-ры...

— Носилки...

Ответ дают:

— В цепи санитары все...

Шестая рота по семь патронов на человека имеет. Когда ты в кольце — это не богато. И вдруг:

— А ну, кто за патронами?

Вскинулись... Кто кричал?

Васька отвечает:

— Есть патроны! Кто со мной? Идем с убитых снимать...

И на белых показывает. А их на снегу, шагах в двухстах, не оберби-бери.

— Поди, поди-и, тебе жару дадут. На тебя запас там есть...

Вася говорит:

— Мишечка, вы, конечно, с Тулы вагон патронов себе затребовали, и вам нет заботы, и вам этот вагон два паровоза экстренно везут.

Мишечка лежит, молчит.

— Или, Мишечка, вы разговаривать не желаете? Слабó итти, а?

Молчит Мишечка. Встал, подошел к нему Вася. С ним еще четверо. А Миша лежит, не движется. Политрук говорит:

— Ну, за Мишку никогда не думал худо, а тут не пошел...

— Коммунар!

А Мишечка лежит в цепи тихий, неразговорчивый. Тяжко ранен он.

В цепи обсуждают:

— До подъема флага продержимся?

— Нет.

— Сомнут...

— Говорят, выручка идет...

— Эх, обнял бы я на прощание какую-нибудь старушку лет семнадцати...

Вася ползет по снегу. Дотацился. Лежат один бородатый солдат на животе, рука в сторону откинута. Колечко алюминиевое поблескивает. Голова набок. И слезы замерзшие. Вася с ним в разговор:

— Эх, дура-борода. Ведь взрослый парень, а туда же. Мурлычет Вася между делом:

— Спи, дитя мое родное, бог твой сон храни...

Патроны с мертвеца снимает, приговаривает:

— Колчак чай внакладку пьет. А ты мертвый на холоде зябнешь (пересчитывает патроны). Один, два, три, десять — и то хлеб... Дело твоё кончено, а нам, может, еще целый день жить.

И дальше пополз матрос. Набрали все-таки кое-каких патронов. Опять шрапнель лопается. Потом затихло. Пули свистят непрерывно: «Пи-у, пи-у...»

— Вон она, пуля, за молоком пошла.

Двинули сибирцы. Заходили пулеметы.

Раненые второй роты сидят и лежат в яме.

— Опять пошли...

— Может, выручка придет?

— Воды бы...

С жару, с лихорадки — раненые снег едят...

— Товарищи, воды бы... Глоток хошь... О-ох...

Стонут недобитые братки. Руки себе искушали. Один пополз воды просить в лощинку, где снег для пулеметов топят.

— Дай глотнуть.

— На, только немного, костер тухнет, а пулеметы стынут.

Рядом — ели в обхват, а в костер класть уже нечего. Что было сучьев — поломали, порубили, пожгли...

— Мне бы котелочек... для раненых.

— Не выйдет, браток...

Пулеметчики примчались.

— Воду давай!

— Тут раненые просят...

— А нам как же, чего в пулеметы лить?

Поглядел раненый на пулеметчиков и сказал:

— Берите воду, братки. Полку атаку отбивать надо.

Потерпим...

И снова едят раненые снег и тихо стонут:

— Испить бы...

Рядом комиссар лежит. Бок у него разворочен, кровью истекает, бойцов уговаривает:

— Потерпим, друзья, потерпим.

И захлебнулся кровью комиссар.

Отбили атаку последними патронами матросы.

За полночь перевалило. В пятой роте покуривают, идет тихий разговор:

— Всыпались вроде, а?

— Похоже...

— Выручка идет, бригада целая.

— Языком треплешь.

Командир и двое уцелевших коммунистов из ячейки обсуждают:

— Был полк и должен быть полк как полк.

— Ударить на них разом. Может, прорвемся?

— Нечем уже ударять. По двадцать человек в роте осталось.

— Что же делать-то?

— Принять гранатами, а потом на руку. Кто-нибудь ранеными займется.

В ротах готовятся. Граната дистанционного действия — «лимонка». Взяли гранату в правую руку, левой сорвали свободный конец ленты с головки запала.

— Запоминай, товарищ, правила изготовления к бою: правой рукой чиркай о дощечку, как спичку. Огонь прой-

дет по внутреннему бикфордову шнуру к капсюлю. Размахивайся и сразу бросай. А у кого гранаты «Г-1» — проверь тоже. Бери гранату в правую руку.левой снимай предохранительный колпачок, ударь правой рукой гранату раз или два по левой ладони. (Ну как бутылку водки. Эх, пополоскать бы зубки под конец жизни!) Жало ударит капсюль, он воспламенится, огонь пойдет по бикфордову шнуру к заряду. Через пять секунд взрыв. Бросай...

— Все в порядке?

— Все.

Ваську вызвали к ротному в ячейку. Идет, нашептывает сам себе: «Полный, малый... стоп...»

— В чем дело?

— Где гармонь?

— Лежит в порядке. А что?

— «Вставай, проклятьем заклейменный...» знаешь?

— Нет... Я больше романсы и танцы знаю...

— Чудак ты, почему не научился?

— Вот пусть белые подождут — научусь, пожжалста...

— Говори толком, что играешь-то?

— «На сопках» знаю, «Падеспань», «Краковьяк», «Песня кочегара»...

— Толком бы чего-нибудь.

— А вот «Варяга».

— Да-к это старое...

— Зато флотское. А для чего именно нужно?

— Будешь сейчас в цепи играть.

— Ай, здорово! А там и выручка подойдет...

Пошли. Вася саратовскую гармонь вынул. Взял с переборами:

— «Ай, ой, иху-аху, аха-ха».

В цепи:

— Вот чудило! Молодец!

— Дай, дай, Вася!

— Вот прилажусь...

Три гранаты приготовил, ямку удобную в снегу устроил.

Представился:

— Рота моя, слушай меня... Сеанс начинается. Любимец публики с крейсера «Россия», кавалер кронштадт-

ских дам, машинист самостоятельного управления —
Васичка Демин.

Матросы заулыбались:

— Вот зараза!

Довнеслись возгласы белых:

— Наступа-а-й!

И опять пошли сибирцы. Потарахтели два пулемета,
и кончились патроны у матросов. Только гармонь иг-
рает...

Идут сибирцы. Скрип по снегу. Опять залегли,
а братки гудят:

— А-а-а...

— Что, сапоги жмут?

Командир кричит братве:

— Держись, карапузики! Выручка будет!

Ни черта, товарищи, не будет. Только разговор для
подъема духа делается. Понимают это ребята. Сибирцы
опять пошли. Матросы за гранаты взялись...

— Товарищи, держись кучнее, корму не показывать!

А Васечка опять треплется:

— Первым номером исполнена будет популярно-
морская мелодия «Варяг». Три-четыре...

Наверх вы, товарищи, все по местам.

Последний парад наступа-а-ет.

Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не жела-а-ет...

Ну что же делать, что Васечка подходящего не знает?
Вы его простите.

...Все вымпелы вьются, и цепи гремят...

Наверх якоря поднимают...

«Варяг» послужил полку, — разное бывает...

Крикнул командир:

— А ну, к гранатам!

Один — тот самый, из ячейки — подбежал к яме с ра-
неными.

Раз... Два... Три... Одну, другую, третью гранату
пустил. Рр-аах-ах-ах!.. По своим, по раненым! Ну ясно —
а что же делать? Оставить их колчаковцам, чтобы кишки
на шомпол наматывали? Брысь вы, жалостливые!

Вернулся товарищ в цепь. В цепи уже все в рост стоят, в руках гранаты. Васечка играет «Варяга»...

Кричат белые:

— Сдавайтесь!

Ответ из полка дают:

— Тпппру...

— Сад-дись!..

— А ну, дернули!

Полетели гранаты. Искры сыплются — фосфор у «лимонок» горит.

Сибирцы шарахнулись — кто назад, кто вперед. Не любят они этого дела.

Мертвый лежит первый кронштадтский полк.

Лежит у села Кузнецовского. Знаю только двух живых из полка — вырвались: Емельянов и Степанов...

Товарищи крестьяне села Кузнецовского, сложите груды камней у могилы павших — в память полка.

В Кронштадт с Восточного фронта пришло сообщение об исключении из списков первого морского кронштадтского полка.

В гавани кронштадтской — траур на кораблях.

— На флаг, смирно!

— Флаги приспустить!

До половины вниз сбежали флаги. Стоят смирно матросы на палубах. Тихо падает снег. Траур.

Стоят минуту, ходят годы...

«Ай, ой, иху-аху, аха-ха!» Пошел из Кронштадта второй полк. Смотри, Колчак! Моря нам не видать, если тебя не разгрохает...

А первый кронштадтский полк лежит и лежит — мертвый, у села Кузнецовского.

Сибирцы бродят, смотрят на матросов, удивляются:

— Вот народ!

— И чего они такие?

— Меченые...

На руках матросов действительно синеют якоря.

Шарят сибирцы, обирают трупы. У одного портсигар пустой нашли, у другого — наган без патронов, у третьего газету вытащили.

— Дай-ка газетку, покурим...

А полуротный тут как тут:

— Дай сюда газету!

— На раскурку разрешите оставить, господин прапорщик.

— Давай, не разговаривай!

Сует солдат газету полуротному:

— Виноват...

Разве можно нижним чинам сибирской армии держать в руках «Красную газету»?

Кронштадт

1930 г.

БУШЛАТ МАТРОСА КОЦУРЫ

Эх, и времечко! Эх, и времечко! Ну и времечко — восемнадцатый год да на Черном море!

Жизнь идет в Новороссийске.

С Кубани казаки поглядывали — боязно тронуться к берегу. Матросы там. Расчистят — хоть и казаков. Очень память свежая. И кроме того, казаки по гроб не забудут «Ростислава».

— Ой, чертяка, бил, ой, бил! Вдарит: окопа нема, а турки, як консервы: тилько мясо пораскидано. Так який дурень к Новороссийску пойдет, як там флот? З перевалов тилько доглядать — як там матросы.

Доглядали — сало жевали, доглядали.

Затопили мы свой флот в Новороссийске.

Пошевелились кубанцы, почесались, — ну, як? Белые стали большевиков от Царицына отрезать-то — на Федько жать и в тыл Батайской группе Сорокина выходить. Кубанцы еще трохи пошевелились — мабуть, пийшли? Белые Тихорецкую взяли. Шкуро пошел — гэй, казаки! Кубанцы еще почухались.

— Так, мабуть, пийшли?

Народ хитрый — разглядели, что можно казаковать по за чужими офицерскими спинами. Пошли.

Двадцать шестого августа, в четыре часа дня, Новороссийск был взят белыми. Вошли со стороны Неберджаевской и Анапы. Вдогон Таманской армии вошли. Казаки поглядели.

— Флота нема? Мабуть, де захоронивсь?

Нет — флот не захоронился, не спрятался. В воде плыли сигнальные флаги: «Погибаю, но не сдаюсь».

Ну, тогда казаки стали храбрые. Забоговали в Новороссийске, заскакали, заджигитовали по Серебряковской улице.

— Флота не має!

— Шукай матросов! Де вони?

Белые матросам скидки не делали. Весь Новороссийск в ужасе затрясся, когда белые взялись за оставшихся матросов. Рубили их «на капусту», на молу расстреливали, вешали...

Ну, годочки, которые на север не поехали, в нейтралитет заиграли, — к расчету! Едут казаки богатые и веселые — понабирали барахла в городе. В два огляда. Военная добыча. Едут, а мальчишки смотрят. Казаки кричат:

— Гэй, пацаны! Чуєте! Грошей дамо, в казаки визь-мем. Дә матросы? А ну, кажить!

— Дяденька, давай покажу.

Бежит папанок матроса показывать.

— Вон, дяденька, вон сидит.

Сидит в вольной одежде с аскадренного миноносца «Калиакрия» кочегар. Баба у него здесь. С ума из-за бабы сошел, — красавица баба. Куда от нее ехать?! На мангале баба варит-жарит, белье стирает, спит, любит. Красавица баба и руки золотые. Сколько к ней братков подсыпалось, сколько ей дарили, сколько у ней просили! Взяла кочегара — грудь у него, как меха, брови тонкие, чистый, как стеклышко.

Сидит кочегарик у домика — и домик на Нахаловке с садиком у бабы. Во, баба!

Скачут казаки. Встать или сидеть кочегару? Сидеть решил. Сидит, поглядывает. Что я особенно сделал? Ну, во флоте был? Был. По призыву? По призыву. С тысяча девятьсот тринадцатого года? С тысяча девятьсот тринадцатого. Георгиевский крест имею? Имею. А что было на митинге авралил — так кто не авралил? Ну, скажи сам, кто не авралил? Было и кубанцы чище авралили — войну долой и все в этом роде. Не так? Так...

Скачут казаки. По камням копыта бьют. Первый ближе, опередил других.

— Бувай здоров, матрос!

Пашка сверху — в плечо, в кость, в ребра... А-аах... Ничего рубят кубанцы.

Идут казаки к цементному заводу. В заставу на шоссе.

— Як з города кто втикать на Кабардинку — Геленджик буде — стой!

Сидят, на море глядят. А за молом — стеньги и реи миноносцев над водой торчат, как кресты. Кладбище флота! Ох, свободно казакам — никто не мешает.

Идет человек.

— Стой! Кто такой?

— Житель местный, со Стандарта.

— А ну, наколка есть?

Смотрят — нет наколки. Вроде и верно — житель. Матросы все с наколкой.

— А ну, крест есть?

Смотрят — нет креста на шее.

— Колы в тоби креста не мае — большевык ты, сукин сын!

— Ей-богу, господа казаки...

— А — господа? Ласковый стал... Бажан, а ну води его к сотнику. Хай разберуть.

Отполосовал дядьку сотник — креста нет, а, подумайте!

Коцура сидит третий день как миленький. В окошечко из чердака глядит — бухту видит, пристани. Только кораблей не видит. Ушел в воду «Фидониси» — красавец, новичок был! Эх, кораблик был! Своими руками открыл Коцура кингстоны на «Фидониси» и, выбежав наверх, бросился в поджидавшую его шлюпку. Последний раз глянул на родной эсминец, погружавшийся в воду.

Товарищи после потопления флота на север подались, а он, стыдно сказать, решил отдохнуть: послужил пять лет — и будет... А как белые пришли — понял

Коцура, что если и отдохнет он, так только покачиваясь где-нибудь на фонаре. Все вспомнил сейчас Коцура... Эх, дал бы он себе в ухо, в нос!

Есть нечего, шевелиться нельзя. В чужой дом залетел. Услышат — выдадут, из боязни. Думает Коцура, мудрует. Только что-нибудь сообразит — на руку посмотрит, в тоску вгонится. На руке якорь, две буквы «И. К.» и «1916». В экипаже еще накололи. Хоть с кожей, с мясом сдирай наколку.

— А-а — два раза не умирать. Вира якорь!

Ночью подался Коцура с чердака. Забрехала собака, Коцура через плетень махнул. Гавкай, сука!

Темна августовская ночь. Выстрел то там, то здесь. Как выстрел — нет матроса. Казаки действуют — храбрые они, по ночам ходить не боятся — ой, здорово!

Шаг ступит Коцура — слушает. С любого места окликнуть могут. Только бы на край добраться, а там — в горы. В горах кизил, вишня, груша, яблоки есть. На баштаны и виноградники руку положить можно...

— Стой, кто идет?

— Свой.

— Проходи.

Подошел. Спичка чиркнула.

— Хлопцы! Матрос!

— От-то герой, гуляет!

Посмеялись казаки.

— Дә рубить будемо?

— Пийшли до моря, хай в води плавает! Руки порубаем — хай плавает.

— Добра.

Повели к морю. А чуть светать стало — холодок. На пристань пришли.

— Молысь, хлопчә, просы за грехи.

Отчего не помолиться — пару минут лишку пожить?

— Отче наш (что делать, а?)... иже еси (бежать, бежать)... на небеси (только соображай)... да святится (так вашу... людей губят)... имя твое (может, так?)... да придет царствие твое (эх, пропадать)...

— Помолывсь?

— Уже.

— Раздевайсь!

Стал бушлат снимать. Снял. Потом форменку... Снял. Снимает медленно, будто руки не действуют.

— А ну, швидче!

Стал тельняшку снимать. Сел — ботинки расшнуровывает. Ну, минутку бы еще...

— Братцы, казаки...

— Ну?

— Возьмите бушлат.

— Добрый який. Все ввизьмем.

— Братцы, казаки...

— Раздявайсь, бисов сын!

— Братцы, в бушлате зашитое есть...

— Го. Що такэ?

— Деньги, николаевскими три тысячи.

Боже ты мой! Как затрусились казаки, кинулись бушлат пороть. Коцура ботинки снял. Осталось брюки да spodники снять. Только дурак снимать их будет, а не матрос. Дернул Коцура в море, нырнул. А казаки бушлат порют. Бух-бултых!

— Шо, дэ? Стой!

Забегали казаки. Стреляют в воду, а в воде нет никого.

— Мабуть, втонул?

— Мабуть, вбили?

Бушлат распороли.

— Ото ж, сукин сын, ото ж, гадюка — грошей нэ мае!

Подырявили действительно бушлат, а грошей нет. Вот досада-то! Кто такой бушлат купит? Ай-ай-ай!

Вот нехороший матрос, чтоб ему ни дна ни покрышки.

Под пристанью, у свай — под сводом у берега — сидит Коцура. Вода теплая, — что матросу сделается!

Дернул браток ночью, босенький, через Стандарт в горы, на перевал. Прощевайте, казаки! Кланялся вам красный моряк Коцура. Это тот самый, що грошей николаевских три тысячи вам сулил...

*Ленинград
1930 г.*

ВЗЯТИЕ АКИМОВКИ

Бронепоезд «Грозный» выходит из Мелитополя в бой... Флаг на ветру полощется. Палуба ходит под ногами, дым окутывает кормовые орудия... Пахнет углем и маслом.

Рисково идет бронепоезд. Два матроса вылезли на крышу рубки и наблюдают: где «Сокол», где этот враг неуловимый?..

Над рубкой пристрельный разрыв — «Сокол» бьет. Катятся все по местам. Боевая тревога. Командир кричит:

— Прице-лл с-с-емьдесят три-и!

Кричать приходится потому, что ветер свистит, воеет — команду заглушает.

«Грозный» дает больше ходу и бьет по дальнему дыму «Сокола».

— Отдай Акимовку! Не раздражай нервных!

Пятеро пулеметчиков молча сидят у пулеметов. Один из нас заводит:

Как это ни странно,
Люди постоянно
Имеют невеселый вид...

Услышали команду:

— Эй, там, в лавочке! Огоны!

Ага...

Пулеметы затряслись.

Орудие передней площадки бьет яростно и часто.

— А ну дай, а ну дай еще! Белые шьются в балку!..

Все закругление за Мелитополем пройдено, и бронепоезд идет по прямой на Акимовку. «Сокол» кладет снаряды совсем близко, взрывается земля... По крыше рубки молотят камни и зло шуршит песок.

— Даст вот раз — четыре лапки кверху, и дух вон.

Тут не до трепатни. Струя песку с грохотом врывается в амбразуру. Снизу палуба щепится в шести местах.

— Ой, спасибо!

«Грозный» еще прибавляет ход и вырывается из поражаемого участка. Снаряды пролетают через бронепоезд, разносят насыпь...

Уже вдали виден семафор. До Акимовки осталось версты две. Белых в степи не видно. Стрельба стихает. «Сокол» опять подался назад.

Все вылезают на воздух.

— Развед-чики!

«Грозный» дает малый ход. Разведчики соскакивают и бегут проверять пути и стрелки. От станции, навстречу нам — появились какие-то люди.

— Дунуть?

— Одень очки!

Слышим:

— Това-арыщи-и!

Подбегают к нам и неистово кричат:

— Товарищи, бельяки втикли! Вот ось же стрелки на путях повзрывалы. Було их пихоты три роты, по балкам втикли, а бронэвик за мост ушел. Во, на Сокологорную тикают.

Мы все это видим и знаем, но слушаем, как музыку. Мужики — среди них много старых солдат — идут цепью рядом с нами, руками размахивают и шумят:

— Ото ж лыхо було, ото ж було! Та вы це сами знаетэ. В Опанаса дочку покралы...

Мы спрашиваем:

— Флотских у вас нет?

— Та дэ там. Повтикли у партизаны вси. Кажу, дочку в Опанаса покралы, тай и немае аж по сэй день.

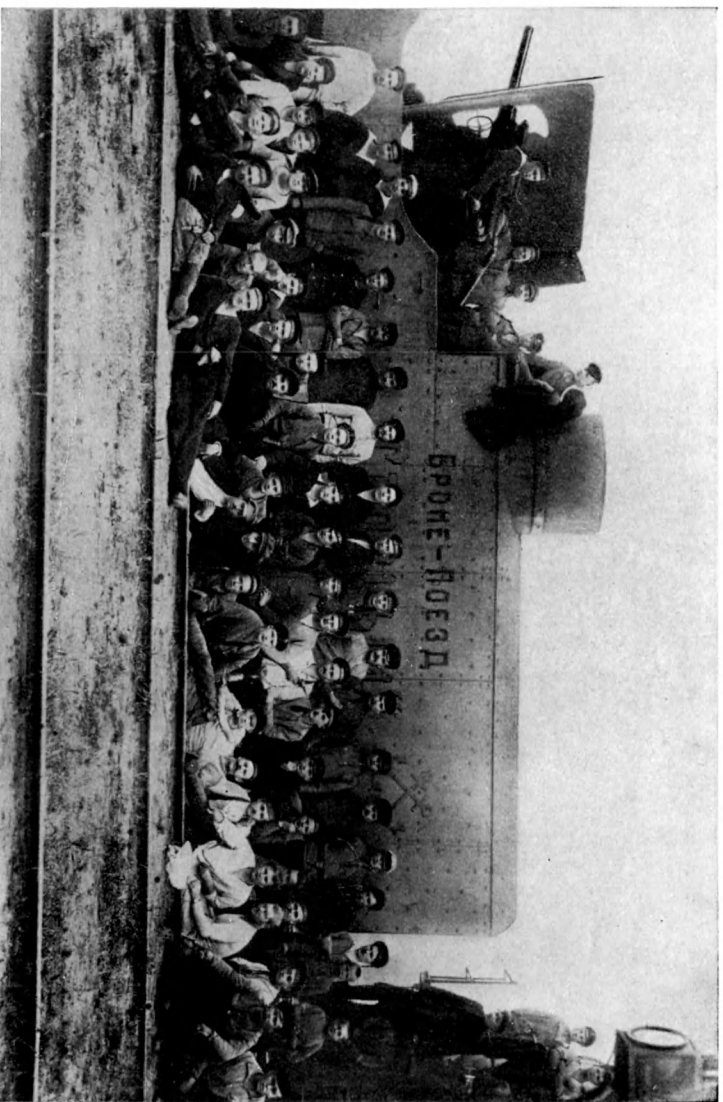
Другой говорит:

— Подходил я до их бронэвика. Так що на взгляд — орудия дюйма четыре, но разглядеть вже не вда-лося.



Всеволод Вишневецкий (в центре) со своими
фронтowymi товарищами во время гражданской
войны в 1919 году.

(Украина, Заднепровская бригада бронепоездов).



Всеволод Вишневский (во втором ряду, четвертый слева)
среди бойцов бронепоезда «Грозный» (Уkraine, 1919 год).

Спасибо, товарищи, за каждое слово. Спасибо, дядько, за разведку, за четыре дюйма. Повесить могли тебя, дядько, за эти четыре дюйма; знаем, дядько, эти четыре дюйма, все знаем!

«Грозный» подошел к платформе. Обедают ребята досыта.

А по степи, с белой стороны, тачанка едет. Прикинули — чтоб это могло быть? Прямо к нам едет. С тачанки слез старый дед, к нам идет. Подошел:

— Кажить, добри люды, дэ здесь бильшовыки?

— Мы будемо, диду. Мы здесь бильшовыки.

— Вы будэте? Добрэ.

Повернулся к тачанке и приказал старухе, что коней держала:

— Несы сюда.

Старая женщина приблизилась. В руке несла в чистейшем полотне кулек. Стала подле деда и тихонько поклонилась нам. Дед протянул руку — взял у женщины кулек, снял шапку, очи поднял к небу и начал молитву читать — благодарение богу.

Обнажили головы и вытянулись матросы — так же, как это сделал дед. Дед широко перекрестился, подошел к самому высокому из нас — к Буке, поклонился в пояс и сказал:

— Хлеб-соль! Нэ побрезговайтэ, товарищи.

И старая женщина перекрестилась и вслед за дедом согнулась в поклоне.

Бука принял хлеб-соль, троекратно поцеловал деда и старую женщину. Тогда все накрыли головы, и дед спросил:

— Сынов моих у вас нэмае? Хведор и Семэн Крупки зовуть.

— Нэма, диду. Армия придет — пошукаемо. Там твои сыны. Уси мужики там, диду.

Дед молвил:

— Потрапезуйтэ, сынки, вы з бою голодни. Потрапезуйтэ.

Мы сыты, но кланяемся деду:

— Дякуемо, диду. Спасибо, диду. Будемо исты, будемо коштуваты ваше печение. Заходьте, диду. Заходьте и вы, мамо.

Мы приняли стариков на пулеметной, самой просторной площадке. Устлали палубу брезентом и сделали два кресла из патронных ящиков.

— Сидайтэ, диду. Сидайтэ, мамо.

Посидели дорогие гости и все товарищи. Командир разрезал паляницу — белейший хлеб Украины, и мы стали есть, держа ладони под шматами хлеба, чтоб не просыпать крошек столь драгоценного дара.

— Вы, диду, через хронт проихалы?

— Эге ж!

В небе лопнула над нами шрапнель. Это опять «Сокол» бьет.

— Слизайтэ, диду. Слизайтэ, мамо. Бой будэ!

Дед молвит:

— Никола в бою не був. З вами пийду, подывлюся.

Дед на коней посмотрел. Шрапнель посыпала опять.

— Жинка, доглядай на коней! Отводи, шоб не вбыло!

Старая женщина поклонилась нам. Мы ответили ей, подняли ее и на руках бережно опустили на землю...

— Вертайтэся, сыночки! Вертайтэся!

— Скоро, мамо, скоро!

Шрапнель секла землю. Старая женщина пошла к коням, чтоб их не убило. А мы с дедом пошли гнать «Сокола» из Таврии.

*Ленинград
1929—1930 гг.*

ДЕЛА БЫЛЫЕ...

Талые степи Украины. Год девятнадцатый...

В вагон политотдела Заднепровской бригады бронепоездов вваливались матросы, занимая скамьи. Собрание...

— На повестке — организация Особого отдела. Районы бандитские, — быют нас тут со всех румбов. Человек оправиться выйдет, а его в расход... Поезда под откос пускают. Приходится подумать. Слово для предложения имеет секретарь.

Секретарь ячейки встал.

— Тут одного ранило. В строю ему трудно. Пока пускай в Особый идет. Володька, встань.

Раненый встал и глянул одним глазом из-под громадного кома грязной марли, окутывавшей распухшее лицо.

Секретарь продолжал:

— Еще кандидатура Петра Попова. Они с одного корабля — с «Вани-Коммуниста». Попов, встань.

Человек встал.

Раздался голос:

— Попов, у тебя какая специальность?

— Машинист.

— Вот и верти вали.

Секретарь докладывал:

— Вот, товарищи, им все и поручим.

— А инструкции какие?

— Какие инструкции? Чудак! Доглядай да поспевай — вот и все. Ну, возражений нет? Кто за Володичку, за Петичку?

Прогудело:

— Нет возражений, знаем их!

Петечка и Володечка остались в вагоне. С ними гробух и инструкция: «Доглядай да поспевай». Все вместе — Особый отдел бригады.

Штабной эшелон бригады идет к Знаменке — по степям Украины.

По степям Украины идет на Знаменку эшелон, штаб бригады, политотдел, комендантская команда и вагоны боезапаса — для бронепоездов. Володечки нет — подался пока «доглядывать» на бронепоезд, и весь Особый отдел теперь — Петечка и есть.

В голубой зной уходят дым и грусть...

На Знаменке белые. Эшелону отрезан путь. А зной голубой, и тишина над степями родной Украины. Эшелон идет к Знаменке.

Лучистые трещины засверкали на зеркальных окнах штабного вагона. Враг бьет! Первые пули встретили эшелон.

Петечка летит к команде, поднимая ручной пулемет «льюис»:

— Вылазь все!

Пули бьют в упор. Эшелон штаба Заднепровской бригады бронепоездов — эшелон матросской бригады, — тормозя, подходит к вокзалу Знаменки, занятой кубанцами генерала Шкуро.

Эшелон стал, и неожиданность эта остановила казаков.

— Ото ж матросы, сукины дети, воны що-нэбудь удумалы.

Попов ползет по крыше раскаленных зноем вагонов... Доглядай, поспевай! Уф!.. Как выходные стрелки поставлены?.. Вон казаки лезут... Горячо!..

И он с крыши запустил первой очередью по кубанцам:

— Куды лезете — тут для некурящих!

Петечка видит: комендантская команда держится. И затем бежит к паровозу:

— Машинист!

Из угольной лавы высунулось черное лицо.

— Машинист! Не робей, дядя! В жизни раз помирать, и то, когда сто лет будет.

Петечка бежит к концевым вагонам...

Машинист дал ход. Тронулся эшелон, и тогда вновь ударили в упор из окон вокзала и из-за строений. Попов вдруг хватается за «люковс»... Ай!.. А стрёлки, как поставлены выходные стрёлки? Эшелон уже идет. Братки из вагонов отстреливаются. А если эшелон свернет по южной ветке? А надо на запад! Крышка! Каюк, темный люк!

Петечка снова влезает на ходу на крышу вагона и бежит, перескакивая с крыши на крышу... Петечка кричит машинисту «стоп» и соскакивает у самых стрелок.

Петечка у стрелки. Стрелочник стоит на месте, кричит ему:

— Товарищи, швыдче. Усё готово. Проходите!

Петечка поворачивает назад. Добрэ, дядько! Это дело. Теперь пройдем. Факт. Фак-те-ец! Го-го! Хотя стой! Дай погляжу сам,

Петро опять у стрелки. Кричит стрелочнику:

— Дядько, ложись. Убьют казаки!

Дядько машет матросу — ладно, мол. Но Петро идет к дядьке и видит, что стрелка переведена... на юг, к белым,

— Ты что ж? А?

Дядько лезет в карман. Ясно — зачем. Попов бьет дядьку в ухо навывлет. На месте. И перебрасывает стрелку. Эшелон идет, ускоряя ход, на запад, к своим!

Что у дядьки в карманах? Доглядай! Револьвер. Деникинские деньги. Погоны. Зажигалка. Бумаги... Так!

В штабном вагоне Петечка идет на прямой провод. Вызывает Володечку.

«Знаменку прошли ничего зпт особый отдел имел наблюдение тчк или боезапас тчк».

Потом в grosбух — в статью расходов — заносит: «Передетый белогвардеец (офицер) под формой стрелочника пущен в расход на станции Знаменка».

Москва

1930—1935 гг.

БРОНЕПОЕЗД «СПАРТАК»

— Встать!

— Вста-ать!

И бойцы, повстанцы Украины, встают. Они встают медленно и грузно... В походах прилип чернозем Украины к ногам бойцов. Ноги натружены, огромны и тяжелы. Как ими итти, как ими ступать по степям Таврии?..

— Вста-ать!

Встань и ты, если наш. Встань и слушай повелительный возглас, вскаляющий кровь,— возглас, следующий по уставу, блюдимому нами,— «Встать!»

А если ты не наш, если ты враг,— присутствуй здесь и гляди на то, что произойдет. Гляди, недострелянный! Гляди, пока жив! И слушай, слушай!

Бойцы, повстанцы Украины, встали. И за возгласом «Встать!» по степи Таврической лег клич:

— Вперед!

— Вперьод!

Вперед, хлопцы! Вперед, товарищи! С нами! Мы идем в атаку! Мы идем брать Мариуполь. Сегодня, 24 марта 1919 года.

Ты был, родной, в атаке? Был? Дай, старый боец, руку на ходу. Шире шаг! Пошли!.. Идем сегодня снова!

А ты, комсомолец? Идем, браток. Ты много увидишь и поймешь сегодня...

По степи Таврической — тяжелая поступь бойцов. Нет еще встречных пуль, но сердце бьется неровно. Что будет сегодня, что будет сегодня?

Город молчит... Море молчит... Небо молчит... Только степь гудит... Наши глотки гудят... В твою славу, за твою жизнь, Украина, — и пусть! — гудят перед нашей смертью!

Город заговорил:

— Дивись, Яким Хрущ упал.

— Кто там коло ранетых, остановивсь? А ну, вперед!

— Дивись, Трохим Коцура упал.

— Вбит. А ну, ходом!

Дивись, Украина! Дивись! Партизаны идут, не идут — лётом рвут. Ах, пули бьют, бьют... По наше мясо плачут, кричат. Чуешь, Украина? Чуешь, мати?!

В цепи и матросы, бригаде в помощь данные, летят. Ходом! Ходом!

Жарко бежать в атаке, тяжело бежать. Двести патронов на теле, и каждый патрон более пяти золотников.

Пули бьют, бьют... Глухим бы сделаться. А ну, не робеть! Швидче! Кто там в землю лезет?..

— Партизани! Товариство! А ну, разом, а ну, визь-мем! Вперед!

И, наискось держа винтовки затворами у глаз — хоть одна бойцу от пули защита! — кидаются партизаны к первым домам. За вильну Украину!

Опалены вражьи выстрелами брови и ресницы, и опять падают повстанцы. Умиравшие дышат кислым запахом бездымного пороха. Залегли все. Сливают кровь раненные, и идет от нее пар.

Примолк город. Белые держатся.

И когда примолк, — еще раз рев по его стенам шархнул:

— Виддай Мариуполь!

Братки хрипят:

— А ну, дай море!

От бега тяжелых ног задрожал город.

— Отдай!

— Видда-а-ай!..

Третья бригада повстанцев вошла в Мариуполь.

Белых — в пыль. Штаб бригады быстро и победно дал телеграмму: «Мариуполь занят». И дальше стучат юзы...

Что будет сегодня! Что будет сегодня!

И в тот же день, следом за атакой, паровоз по рельсам прыгает, мотается, семьдесят верст в час идет, ветер свистит, — рот и нос забивает. Стук на стыках, как пулеметный, — в одно сливается. Рви, ай, рви!

К Азовскому морю три матроса летят в третью бригаду, чтоб обстановку узнать. Машинист из окошка руку свесил, на руке стальная цепь-браслет — знак силы и верности. Машинист свой — с эскадренного миноносца Черноморского флота «Гневный».

Приазовская степь. Таврия. Морем пахнет. Чуют матросы, ох, чуют, не ошибутся! Море вновь увидят, на море глаз положат! Дай море, дай!

Дыханье азовское флотские ленточки вьет, распластаны они по ветру. На тендере матросы, на каменном угле открыто стоят, качаются, грудями воздух секут. Рви, ай, рви!

Едут матросы на дело, о судьбе голов своих про себя думают... А ветер бьет, хлещет. Камышом, тиной, рыбой, солью пахнет. Рви, машинист, прибавь там ходу, — эй!

— Под откосом будем!

— Фактёц — буде-ем. Прибавь!

— Есть прибавить!

Смех, ой, смех с такого дела! С такого хода рельсы разболтать на этой ветке можно. Петрушка выйдет. Но парни не в шалость ход прибавляют — парни о боевом приказе думают. Успеть надо.

— Который час?

— Одиннадцать.

— Час имеем.

За Волновахой на прямую к морю вынеслись. Бушлаты поскидали, к топке кинулись. Лопаты звенят, уголь в расплавку идет, глядеть нельзя. Манометр стоп кричит, парни уголь в топку садят. Скорее, скорее! Именем морской бригады путь на Мариуполь для паровоза освобожден. Прямой провод работает, телеграфисты

стучат, как только паровоз мимо станции прогрохает...
Прошел... Прошел... Прошел...

Рви, прибавь еще! Осатанели матросы. Машинист на манометр глядит, кричит:

— Большой кошмар выйдет!

Ничего не слышат матросы. За руку машинист их хватает, пальцем тычет — стрелка куда за красной чертой.

— Кошмар выйдет!

— А... чтоб ты понял — во!

На манометр бескозырку надели. И не видно, чего там стрелка беспокоится.

Парни, рви! Дело за дело идет. Свое мясо пожалеете — беда будет!

Влетели в Мариуполь...

— Какой час?

— Одиннадцать часов тридцать пять минут.

Так! С ходу — стоп сделали, на землю прыгнули. Двое матросов — по-украински балакают, один — нижегородский.

— Где штаб?

— Ось там.

Летят — шаг в сажень. Часовые стоят, на их поясах рядами висят немецкие гранаты — деревянными ручками вниз. Матросы к часовым. Часовые глядят:

— Це ж вы видкиля?

— З Александровська...

— Так. А що ж вы з Александровська?

— Трэба.

— А що ж вам трэба?

— А ну, что я с тобой буду балачками заниматься!

Кличь товарищей — начальство. Ну!

— А що же я буду клыкать, як воно и само идэ.

Щус подходит, матрос черноморский со «Свободной России», вторая голова повстанья. Венгерка на братке — яркосиняя с золотом, фуражка — с ленточкой Георгиевской черноморской и шпалеруха «Стейер» в пол-аршина.

— Здоров.

— Товарищски дорогие! Гостэчки дорогие!

Не знает, как принять, как посадить.

Матросы о командире Третьей бригады спрашивают:

- Як батько?
- Батько жива.
- Ну, и добра.

Вежливость сначала. Теперь пора чуть-чуть и к пелу:

- Щус, як воюетэ?

— Дякую, гадов бьемо, аж пыль лэтыть. Зараз бой хранцюзам даемо... У порту — эскадра...

«Мариуполь завят»... Но в порту французская эскадра. Не тороплива ли была телеграмма Третьей бригады?

Дальше разговор:

— Знаем. С того, друже, и летели сюда. Как там на эскадре?

— Ультиматум — им — с Красной Армией дали, шоб убывались к боговой матери.

— Так, лихо им в рот!

— Порушимо. В двенадцать годин по хранцюзам огонь откроемо з вашего бронепоезда, як з Мариуполя не повыкатяться. Вы тилько доглядайтэ за бронепоездом. Вони там аутономно разводьят... Бис их знае, що вони думают... Эскадры, мабуть, пугаются...

Бронепоезд «Спартак» — недавно сформирован — по портовой ветке пошел. Партизаны глядят:

— О, идэ!

Три товарища с паровоза идут на «Спартак» и дают пакет командиру бронепоезда. Три товарища летели с пакетом потому, что прямые провода во фронтовом районе — нам не гарантия.

В двенадцать часов, в полдень, истекает срок ультиматума, от имени Красной Армии предъявленного командованию французской эскадры: «Красная Армия требует очистить Мариупольский порт. Красная Армия требует прекратить погрузку угля на французские суда. Уголь — достояние Украинской Советской Республики».

Ответ гласит: «Французская республика. Правительству России в свое время были предоставлены Францией суммы, кои не возмещены, и принимаемый по необходимости военного времени уголь из запасов Мариуполь-

ского порта является компенсацией, получаемой Францией за означенные выше невозмещенные суммы, как упомянуто и как подчеркивается повторно, в свое время предоставленные ею правительству России. К сему командующий французской эскадрой.

Рейд Мариупольский. 24 марта 1919 г.».

Ответ на ответ гласит: «Суммы, упоминаемые командующим французской эскадрой, предоставлены были правительству царской России, но не правительству Советской Республики. И потому за этими суммами надлежит обращаться именно к тем, кто эти суммы получал. Напоминаем свое требование: в 12 часов сего числа французским судам надлежит сняться с якорей и покинуть Мариуполь».

Ответ гласит: «Французская республика. Доводится до вашего сведения, что погрузка угля будет продолжаться. К сему командующий французской эскадрой».

«Спартак» стоит. Эскадра в порту. В бинокль видно — уголь грузят. А уголь донецкий, знаменитый. Угля этого в Балтике ждут, угля этого заводские кочегарки Украины и России ждут!

В двенадцать часов будет решение дела. «Спартак» поступит согласно революционной необходимости. Пакет-приказ доставлен. Три товарища об этом просили, и обещала команда — выполнить.

Щус спросил:

- Ну, як? Выполнят?
- Выполнят.
- Без аутономии?
- Все будет в порядке.

На «Спартаке». Часы вынуты. Снаряды из гнезд погреба вынуты. На случай боя в городе, если будет французский десант, гранаты ручные вынуты. Пулеметные ленты из ящиков концами вынуты.

У носового орудия матросы стоят. На корабли Франции смотрят.

- Стоят, гады!

Матросы и ругаются и любят корабли Франции, скользят глазом по бортам, мачтам и трубам... Фартовые корабли! Дадут залп — бож-же мой! — пропадешь... Мысли сразу являются на этот счет...

— Сколько осталось?

— Без восьми.

— Охо-хо!.. Фартовые корабли! А наши — потопленные в Новороссийске лежат... Ы-ых!..

Стоят французы один в один — миноносцы и транспорта. Горят, блестят — красота, помереть можно! Комендоры спартаковские тихо на скрещении нитей прицела самую красоту эту и блеск уже взяли. Взяли исподтишка. Приходится... Да, вот: хорошо, удобно брать прицел, когда у противника блестят корабли, когда спасательные круги белеют отчетливо, когда медь горит.

— Ну как?

— Без семи.

К бронепоезду Щус подходит:

— Здоровеньки булы, хлопцы!

— Здорово, Щус.

Поглядел. Видит — готовятся. Улыбается Щус — боевой, дьявол!

— Гарнэнько. Як там, товаришки, скильки осталось?

— Пять минут.

— Поковиряемо! (Видит — лица боем не горят.) Хлопцы, вы не бойтэсь... Вы ще нэ бачили, яки ми бои на Украине приймали! Потроха хрэнцюзам пораскидаемо. Никому угля не дамо. Партизанський уголь. Ми им нагрузимо!

— Щус, дай по банке!

— Могу усю команду угостыть. Тилько постарайтэсь.

Дернули по банке, кишки ожгли. Хорошо!

Балакают со Щусом, на часы поглядывают.

Партизаны берегом вперед выдвигаются — на эскадру цепью идут. Лихие хлопцы!

Петр Попов к прицелу орудия прилип. Минута осталась.

— Глаз выдавишь, Петро!

— Не бойсь.

Глядит Щус на эскадру. Оценивает. Сам моряк. Петру Попову командует:

— Наводь, на полный!

— Есть.

Коротка минута. Поглядишь и дашь приказ — и истекла минута.

На часах двенадцать.

Полдень!

Полдень!

Корабли французские уголь грузят.

Полдень!

Даже не видно, чтобы на палубах кто-нибудь к концам вышел.

«Спартак» стоит, не дымит — кочегары дело знают в совершенстве. Тут за один дымок — с кораблей плевков, и ваших нет. Действуют поэтому кочегары как надо. Пропадать не охота. Из трубы только теплый воздух, а дыму нет. Уметь надо.

Щус командует:

— Хлопцы, а ну, вдарьтэ!

У-ух, считай остаток жизни, французский адмирал!

Щус — матрос черноморский, рука повстанья Украины, — огонь с бронепоезда открывает, всей Антанте вызов бросая!

— Вдарьтэ, хлопцы!

Даже не шевелятся матросы.

— Огонь, кажу, хлопцы!

И не глядят матросы.

— Огонь, хлопчики! Партизаны ждут!

И не глядят матросы.

— Що ж вы — не подчиняетесь? А?

— Не кричи. Ша!

Помолчал Щус, и желчь в рот пошла.

— Измэна! Пострелять усих. Пьянии?

— Не кричи на ветру. Простудишься.

Щус командира бронепоезда в грудь бьет. Долой такого командира!

Щус командование берет на себя. Во имя повстанья! Во имя вольности Украины!

Щус другого в грудь бьет:

— Кацапы!

Попов от прицела отходит. Щусу нос на сторону сворачивает, сурик из этого носа пускает, за волосы держит, в ухо дает, в морду Щуса, как в бубен бьет, о броняшку стучает и просит:

— Не авраль.

— А-а-а-а-а!..

— А не кричи.

— А-а-а-а-а!..

— А не кричи.

Приказ штаба Третьей бригады не выполнен матросами.

Ты улыбаешься, враг? Ну, кричи: на командование бригады матросы руку подняли! Ну, кричи: предательство!..

Кого побили? Щуса — второго в Третьей бригаде, руку повстанческих сил Украины побили!

Ой, быть человеческой смерти! Ой, быть человеческой смерти! Гнев качает Щуса...

А матросы меж собой разговаривают:

— Выкинь его за борт.

Сбросили.

Потом:

— А ну, подымись! Подыми головку, скажи «а».

И тут сорвали с фуражки Щуса ленточку. Оскорбили насмерть.

Ой, быть человеческой смерти!..

Гнев качает Щуса!

Щус бежит, кровь свою пьет.

В штабе повстанцев зубами скрипят: кого побили — Щуса!

И к повстанцам весть бежит: «Измена!»

12 часов 10 минут.

Эскадра стоит. Уголь берет. На ультиматум Красной Армии крест кладет.

Что делать, товарищи? Сейчас — прикинув — будем действовать...

Пус в штабе бригады шумит:

— Продалы! На часы смотрите! Двенадцать часов пятнадцать минут! Продалы матросы.

12 часов 16 минут.

В штабе бригады решение; диктует командир Третьей бригады Нестор Махно:

— Бросай бригаду на бронепоезд. Давить изменников всех чисто!

Кричит сигнальщик на «Спартаке»:

— Сходни убирают!

— Так!

— К концам идут!

— Так!

Корабли французские покидают порт.

Дым стелют черный и уходят в него. Не видно в дымовой завесе кораблей.

Прикинуть, я говорил, надо. Вель могут же часы у французов отставать или у нас спешить. Бывает же?.. Действовать, я говорил...

Спартакотцы тихо и не спеша садятся обедать на палубе — оружейной площадке. Сегодня макароны. Ну, и макароны наварили, ай, макароны!

Сели товарищи. Лица их безмятежны... Боем не светят...

Чья-то мысль в эти лица бьет: «Боязливо выждали!»

Не надо, товарищ! Кто сидит, знаешь? Ведь не видно, не написано... Коммунары сидят, военные моряки Волжской военной флотилии, старые матросы.

Первый: командир бронепоезда Степанов, краснознаменец дважды, ибо на груди у него орден и корабль его — сторожевик «Борец за свободу» — имеет флаг с орденом.

Второй: Попов Петр, машинист самостоятельного управления с краснознаменного военного корабля «Ваня-Коммунист» № 5. По требованию необходимости — ныне у орудия. Трижды ранен, и раны его — из первых в революцию ран матросских.

Третий: Донцов Михаил, с краснознаменного военного корабля «Ваня-Коммунист» № 5. Будет товарищ убит в бою с Шкуро в июне 1919 года. Отдайте больше, чем он!..

Сидят коммунары...

Фыркнул Попов, и макароны фонтаном изо рта вылетели:

— Ой!.. «Наводи, говорит, на полный...» Адмирал Щус...

Ржут парни.

— А он Юхименко ударил и кацапом назвал!

— Ну, и кацап! Юхименко, чуешь, ты кацап!..

— Го-го-го!

— Пьяные, говорит... Ай, дура! С одной банки — матрос пьяный?!

Михаил Донцов чешет:

— Щус, пожалуй, на тебя обидится, а? Смотри, Петро.

Попов гудит:

— Ну, а что он мне сделает? Не скажет разве завтра «доброе утро»? А? Дела! Ой, братва, макароны, ну и макароны сегодня!

Обедают товарищи боевые, уплетают макароны коммунары. Про эскадру вспоминают. Ничего эскадра, солидная эскадра, красивая эскадра республики Франции. И ход хороший, быстро от берегов наших смывается.

Опять мысль чья-то: в чем же дело?! Как же так?

Разберем.

У товарищей боевых глаз веселый — обработали дело. Еще раз командир бронепоезда секретный пакет, с паровоза доставленный тремя товарищами (двух убьет — один довезет, вот трех и послали), перечитывает:

«Имея в виду огромное превосходство противника и сложность обстановки, ни в коем случае первым не начинать артиллерийского боя, ибо в этом случае Крас-

ную Армию французское командование обвинит в предательском нападении и извлечет из этого пользу. Вызвав противника на ответ, мы поставим Мариуполь в опасное положение, будут напрасные жертвы среди населения, возникнут пожары, и, возможно, пострадает и бронепоезд — единственный на участке Третьей бригады. Действовать поэтому осмотрительно, не сообщая о сей инструкции махновцам, иначе они сами откроют огонь, и не поддаваясь требованиям махновцев, склонных втягиваться в операции без расчета. Командование рассчитывает добиться ухода французов мерами переговорными, имея в виду общую обстановку, вынуждающую союзников к отступлению.

В остальном вам надлежит действовать строго согласно обстановке».

Есть, так держать!

Эй, радовавшийся предательству! Гляди, что будет еще впереди!

А ты, браток, понял?

Ветер спал. «Спартак» стоит, коммунары макароны убрали, доели, утерлись, покурили. Жизнь! Зачем и помирать!

Команде — по Морскому уставу — положено иметь время послеобеденного отдыха...

Нежнейше овеивает всех бриз с моря. Нежнейше в тишине дня гитара заиграла «Страдание»... Струны источают тончайшее и грустное, сладкую печаль на матросов наводят, и головы их к броне клонятся... И кого-то жаль, и кого-то нет...

И необъяснимы мысли у матросов, такие неясные, неопределенные — певелится затаенная боль...

Кто там играет так, гэй?! Отчего печаль?

Играет Петро Попов. Возит с собой гитару, укутанную в кожаную тужурку, чтобы при стрельбе не побилась. Гитару возит везде и, когда руки не заняты оружием, вынимает ее, расправив нежный бантик на грифе.

— Слабость у вас, товарищ, слабость к мечанской гитарке, а еще партиец и военмор!

— Правда вапа, строгий и точный товариш, что же делать? Слабость!

Петро меланхолично уже «Марусэньку» играет. Товарищи слушают, стараясь не шуметь.

Играет Петро. На гитаре бантик нежненький и надпись трогательная: «От Реввоенсовета Республики. За штурм Казани 10 сентября 1918. Команде военного корабля «Ваня-Коммунист» № 5».

Трое матросов, что из Александровска, до Щуса идут — в штаб Третьей бригады.

— Щус, давай говорить.

— А ыдыть вы, пока я вас всех не пострилял!

Ходит Щус по комнате, морду руками поддерживает. Кольца на пальцах.

— Да ты не горячись, чудачка ты, Щус.

Щус кольт вынимает, в упор в одного бьет, а пуля мимо — в стенку идет. Матросы к стенке — смотрят, хвалят:

— Вот здорово!

— Ой, дирочка!

— Дирочка, как у курочки! (И медленно, так, между прочим.) Щус, ты, может, думаешь, что мы этого делать не умеем?

И видит Щус шесть глаз, как шесть смертельных дыр на теле своем. Щус тогда садится. Дверь открывается. Махновский палач входит:

— Чего шумэлы?

— Так.

— Щус, дэ арестованных вэсти?

— Котори направо сидят — постриляй, Костицька; котори налево — до батька на разборку.

— Добрэ.

— Потим придешь, доложишь, Костицька.

— Добрэ.

Вышел.

Матросы опять:

— Щус, брось, вот взял — в бутылку залез! Брось! Ну, поспорились — помирились. Эскадра ушла же.

— Та ще подывлюсь, як воны мырытьця прийдут...

Воны у менэ сльозами вмываться будуць! Я им кипятку в душу пональваю!

Дверь открылась. Махновский палач снова вошел:

— Вже. Котри налево булы — пострилял, котри направо — построил, до батька вэду...

— Ошибка в тебэ, Костичька, выйшла. Трэба було пострилять тих, що направо.

— От-то ж бис попутал! Ай, и попутал!.. Ну... Шо ж, добрэ.

Ушел.

Матросы опять:

— Щус, давай — по-доброму. Гад будешь... Что мы на тебя зло имеем? Да умереть на месте!

Задание выполняют свято.

— Та и я, мабуть, зла на вас троих нэ маю... Тилько ции спартаковськи каммунисти жить нэ будуць.

Дверь открылась. Махновский палач опять вошел:

— Вже пидправил. Котри направо булы — пострилял.

— Так. И тих и тих пострилял?

— Эге ж. Воны уси контрики. И з дочками своими.

Воно и так по карточкам видно.

И два колечка Щусу отдал. Маленькие колечки. На мизинец не влезут Щусу.

С моря выстрелы. В чем дело? Но со Щусом разговор надо вести — инструкция о нем говорит, а не о выстрелах.

— Щус, мы до партизан пийдэм,— поговорим.

— Идыть, идыть. Як за каммуну рот раскроетэ, зараз и проглотыте свынця. (Спохватился и ласково.) Вы, хлопцы, говорыть, за анарху, за мать порядка. Щоб нэ було властэй, ни якого насылля. Костичька иды соби, бильше тебья нэ трэба. (К матросам.) Переходыть, хлопцы, в анарху, й-бо!

Матросы на лицах раздумье изображают. Все нужно уметь...

Слушайте,— если надо для дела,— знаете, на что мы способны?.. Я много вам скажу теперь, когда стал книгамн говорить о бойцах первого призыва революции... Я день за днем покажу два десятилетия, создавшие нас...

На берегу стоят партизаны. Гул идет. Спартаконцев смять хотят. Без огня французов упустили! Продажа!

Трое матросов до партизан идут, наганов с собой не берут.

— Га-а, кацапня идэ!

Идут матросы. Загоготали партизаны:

— Каммуныстам в хронт! Гэй!

Один матрос говорит:

— Товарищи, здравствуйте! Мы расскажем вам...

— Про то як Щуса вбыть хотелы? На партизан пий-шлы!..

— Хранцюзам тикать далы! Упустилы!

— Измэна!

— У-у, вражья сила!..

— Товарищи, дайте говорить. Мы вам обрисуем...

— Рисуй жинке по пузу!

— Воду варыть будэте? Душа вон!

— Та што там, бэй их!

Один партизан винтовку навел. Из трех матросов один — украинец — говорит:

— Стриляй, хлопче! (За ворот свой голубой взялся.) И утопысь у крови мойй и товарыщей моих. Хай вона, кровь моя, тут у мойй Марыупольщины уся выйдэ.

Стоит партизан, на матроса глядит и говорит:

— Хиба ты мариупольский?

— Мариупольский.

— Мабуць, брэшит? А ну, перекрэстысь.

— Ни, не перекрэщусь.

— Чого?

— Бог с довольствия в нас снятыі.

— Гы-ы!..

Один кричит:

— Хлопцы, брэшет матрос, який вин марыупольский!

Другой подходит, в лицо матросу глядит:

— Ни, не брэшет... То Павло, хромого Нечипора сын с Мангуша. Вин у моего дядька наймытом був...

— А тепэрь дывысь, який цаца!

— Та брось — то ж хворма флотцка...

Тут корабли Франции по берегу страны — войны Франции не объявлявшей — огонь открыли. По горизонту желтые вспышки прыгнули. На берегу дерево взлетело на воздух... Морские орудия берег рвут...

Упал еще залп. И в пыль обратился один дом. Удирают партизаны боевые, залегли в канавах. Еще залп упал. И еще один дом раскололся...

А что было бы, если бы в двенадцать часов тронули эскадру Франции и она открыла бы огонь в упор?! Ну?

«Спартак» в стороне стоит. Попов на командира смотрит. Командир на Попова смотрит. Оба на машиниста и кочегара смотрят. Все ясно.

«Спартак» дымить начинает. В небо черный, как тучи ночные, дым пошел. Кочегар, что делаешь?!

Что делает? Показывает эскадре место «Спартака». Как?!

Так.

«Спартак» на себя принимает огонь эскадры. В этом есть революционная необходимость: нельзя допустить истребления партизан, нельзя допустить гибели рабочей слободки и потери угля. Ясно же говорится — и это наш закон — «действовать строго сообразно обстановке».

Матросы у орудий стоят. Стрелять нельзя: из 75-миллиметровых снаряды не долетят до эскадры. Но под обстрелом стоять можно. И шире, и выше, и выше черный дым «Спартака».

По горизонту желтые вспышки мечутся. И через четыре минуты залп кораблей Франции ударил по «Спартаку». Степанов, Попов и Донцов, когда пронесло грохот, гарь, пыль и дым, переглянулись без улыбки. Какая улыбка — убить может сейчас! Какая улыбка — сердце стучит! Какая улыбка — жалобно о себе думает каждый! Какая улыбка, когда страх убивает... Но — замечен дым — стреляют по нас!

Один французский корабль приблизился... На сорок три кабельтова подходит... Сорок три кабельтова ставит на диске прицела Попов.

— Товсь!

— Залп!

Стекла посыпались в домах. Гильза упала. Пороховым газом понесло. Гремит на море.

Дыханье азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру. На палубе «Спартак» матросы с эскадрой Франции бой ведут.

— Перелет! И лево!

— Сорок два!

Сорок два кабельтова ставит на диске Петро. И десять делений право берет орудие.

— Товсь!

— Залп!

Опять стекла посыпались. Гильза упала. Опять залп с моря упал. Дым французского разрыва с дымом «Спартак» смешался. Броня гудит. Кричит наблюдатель:

— А, запарил! Запарил!

Кричат:

— Уткнулся, стоит!

Вторым снарядом подбил «Спартак» корабль Франции. Спасибо флоту российскому за артиллерийскую выучку! Давай крой дальше. «Спартак!

— Петро, крестников во Франции завел!

— Го-го!

— Товсь!

— Залп!..

Цел порт, цел уголь, целы партизаны, цел «Спартак». Повезло двадцать четвертого марта товарищам боевым!

Повезло?

Расчет, товарищи!

Ночью пишет один из трех матросов:

«Комиссару бригады бронепоездов. На то, что делается в бригаде Махно, необходимо нам обратить самое серьезное внимание. Те «львы» создают угрозу, и свободный дух течет не в тех берегах, не в том русле, каковые требует жизнь. Анархистические элементы в настоящее время разлагают бригаду, и нам предстоит опасности большие, ибо тут определенно говорят: «Бить коммунистов». Еще: людей убивают, хотя бы и контрреволюцион-

ных, но без суда и следствия, что не соответствует взятому Махно имени-марке «Красная Армия». Когда мы переговаривались, то была против нас со стороны адъютанта Махно стрельба и был таковой же случай через час в одном полку, но остановлен нашими разъяснениями. Герои-бойцы батьки Махно заблуждаются. Необходимо доказать, что партизаны ослеплены в деле понимания идеи революции. Работу таковым курсом ведем и просим с политотдела литературу. «Спартак» поддерживает и имел бой с эскадрой, но на провокации не пошел, и поэтому был инцидент со Щусом, несколько потерпевшим. Имеем цель, как удастся, насчет угля принять меры».

Пишут матросы на палубе...

Дыхание азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру.

Ночь спускается, укутывает родную Украину тихо, тихо. Матросы не спят. Море вновь взято, на море глаз кладут матросы. Ночной ветер ленточки колышет. У орудий на броневых рубках матросы вахту несут... Волна рядом плещет; камышом, тиной, рыбой и солью пахнет... Часть товарищей с боем возвращенный уголь грузит. Грузят Харьков, грузят Питеру, Балтике эшелоны угольных пульманов.

Служба родимая! Погрузка угольная!

Ночью телеграмма идет: «Мариуполь занят Красной Армией».

Последние два слова — гарантия.

Красная Армия! Померкло солнце в глазах твоих, враг!

*Ленинград — Кронштадт
1930 г.*

ПОХОРОНЫ

В бою кончили жизнь двум партизанам украинским, за околицей местечка, у плетня. У того же плетня двое гайдамаков лежат. Прибрал добрый человек с дороги и тех и других.

Вечером с конной разведки командир возвращался. Споткнулся, не разглядел, ругается:

— Понабросалы добра гайдамацкого пид ноги. Захоронить их, ну, хлопцы!

— Добрэ.

У хозяина лопату взяли, пошли. Четырех понесли. Несут, а навстречу вторая рота. Хлопцы гайдамаков увидели, зубы скалят:

— Носыть вам — не переносыть.

— Ты не гавкай, бачь — и наши тут!

— Ну?

— Ий-бо, дывись — Петро Журба.

— Ой, лихо!

Петро Журба и Павка Чигон мимо своей роты к яме приблизились.

У роты командир отряда стоял. Партизаны на батька своего не смотрят, куда-то в сторону говорят:

— Ото и конец Журбе...

— Знайшов щастья...

— Заховають з гайдамаками...

— Ривный конец на цим свити усим людьм.

Батько стоит, слушает, свою думу думает: Журба,

Журба, да тебя носыло, да нэ пронэсло, друже мий, братэ. Братэ ридный.

В одном полку с тринадцатого года батько с Журбою. В одном полку на Карпаты ходили, в одном полку хлопцев на Украину гуртовали, в одном лесу партизанами стали.

Думает батько: унесли Журбу и Чигона, унесли гайдамаков. Один конец на этом свете всем людям — вторая рота так говорит.

Бьет батько плетью по сапогу:

— Хмара!

— Ось тут.

Вырос Хмара.

— Хмара, местэчко облазь — як змий, облетай — як птиця. Шукай найкрапчих цырульников, шукай у буржуев билье з тонкого полотна, шоб як воздух тонко було и выстирано — и рубашки, и пидштаньныки, и портянки...

Хмара видит — батько загулять удумал, дым пустить. Го-го! Партизанам шоб печали не було.

— Добрэ, батько, зараз!

— Слухай... Шукай аптекаря — и до мене пулей. Хмара знает: у аптекарей спирт и порошки есть...

— Добрэ.

— Шукай червони ленты у дивчат, або дэ в магазыне.

Хмара знает: с лентами на тачанках гульба в полный карьер была. Го!

— Добрэ.

— Шукай, у баб спрашуй, бумажных розанов, котри втыкают, як пасхи святять...

— Добрэ!..

Хмара полетел, наган в руке, буржуев шевелить. Ну! За Хмарой — шестеро. К цырульнику стучат:

— Именем закона!.. Ну! Видчини хату!

Вошли.

— До батька собырайсь. Бэри уси бритвы, уси ножницы, уси помазки, усе бэри. Батькови красоту сделай.

Аптекаря тащут:

— Уси порошки бери.

— Так тут же аспирин!

— Бери — кажу!

— Так вам же...

Наган в ухо:

— Ну?!

У буржуев комоды пораскидали:

— Билье, шоб тойко, як воздух... Пидштанники е, рубахи е... Портянки дэ?

— Портянок нет...

— Як немає?

— Возьмите сколько вам надо, носки или полотенца... Салфетки.

— Батько казав — портянки... Ну, добрэ, бэрыть салфэтки.

Червоные ленты нашли, нашли розаны пасхальные: у дивчат, у баб. Отдают, спрашивают:

— Та на що ж вам, хлопцы, цэ сдалося? Рождества ще ж не було.

— Батько казав, дивчиночка. Шо батько казав — зробы, або в могилу... Як тебе зовуть, дивчиночка?

— Катрына.

— Свитик, Катрыночку!

Хмара кричит:

— Пийшлы!

Летят по местечку хлопцы — семеро, тащат цырульника, аптекаря, ленты, цветы бумажные.

Батько стоит, и все роты стоят. Ко второй — всех вызвал. Костер запалили. Батько над костром стоит, на хлопцев глядит:

— Партизаны, товарищество! Як неслы Журбу та Чигона в могылу, казали хлопцы: ривный конец на пим свити усим людям. Хлопцы! Чи так, чи нэ так?

Молчит отряд — чорт его знает что батько удумал.

— Хлопцы! Цэ нэ так! Товаришши дорогие — смерть не одна на пим свити. Як погибает гайдамак и той, кто руку на народ поднимает, — нема ему ласки. Як погибает червоный боец — наикраша смерть и про пю смерть народ не забудэ. Хлопцы, будэмо ночь стоять, всю ночь, — Журбе и Чигону караулом.

Подозвал Хмару.

— Зробыл?

— Ось (рукой Хмара показал на всех: цырульника, аптекаря, хлопцев с бельем, лентами и цветами).

Батько цырульнику говорит:

— Товарищей Журбу и Чигона поброешь и волоса подстригёшь.

И понесли товарищей Журбу и Чигона обратно — несут мимо всего отряда тихо, к хате...

Батько команду дает:

— Слу-шай, на краул!

Несут дорогих товарищей... Снег хрустит, дым от костров к небу подымается...

В хату внесли. Цырульника в хату послали. Аптекарь стоит:

— Так я не знаю, зачем мертвым аспирин?

— Який?

— Так вот все забрали.

Батько к Хмаре:

— От-то дурный ты, Хмара... Аптекарь — шоб обмывать да наблюдать, як переодевать хлопцев будутъ. Идыть, товарищ аптекарь, в хату...

Свет засветили, на столах уложили товарищей дорогих. Раздели, обмыли, белье чистое надели. Цырульник боится брить.

— Та нэ бойсь, та цэ ж наш Журба, та цэ ж наш Чигон.

Намылил цырульник щеки и подбородок Журбе.

Постриг, обрил обоих, умыл лица. Хлопцы просят:

— Вусы пидкрути.

Усы подкрутил. Бабы стоят, плачут.

— Бабы, то ж Журба наш.

Плачут бабы:

— Сыночку риднесенький...

Под окнами, лицом к хате, отряд стоит, не шелохнется. Винтовки к ноге взяты. Костер сзади светит... Почистили от грязи и крови хлопцам убптым всю одежду, утюгами прогладили, зашили. Сапоги вычистили. Вычистили — плохо.

— Хлопцы, блестять чоботы, да покапано.

Блестят сапоги, а по блеску — тусклые капли. Чистили — плакали.

— Хлопцы, що ж так плакалы? Плачьтэ на сторону, шоб блестэло.

Костер горит все ярче и ярче. Народ идет со всех сторон на огонь.

Одели, заправлять стали. Хмара в этом толк знает:

— Пояс бэрить туго. Шапку набок. Ленты по груди пропускай.

Мужики гробы принесли... В гробах — тонкие полотна подостланы. Цветами бумажными их украсили.

Уложили Журбу и Чигона в те гробы и понесли их из хаты.

Отряд шапки снял.

Обратился батько к народу:

— Товариши! За Украину бьемось, за вас бьемось! Журба и Чигон у нас убитые... Добрые билшовики, добрые солдаты булы. Наикраща ця смерть, не забудэмо их! Поховаемо их тут, и шоб виками пам'ять була и шоб берегли могилу!

Подошел батько к гробам, посмотрел на убитых, последнее целование дал.

Идут к гробам люди — мужики, парубки, бабы и дивчата, — целуют Журбу и Чигона. Идут со станции железнодорожники, с бронепоезда — матросы.

Свет от костров...

Отряд стоит...

В чистые, крепкие губы целую и я товарищей мертвых своих.

*Ленинград
1930 г.*

ПЕСНЬ БРАТЬЯМ МОИМ, МАТРОСАМ-КОММУНАРАМ

Если счет с Октября — по четвертому году служат матросы Революции... 1920 год уже идет...

Сколько их было в 1917-м! Уходит отряд из Кронштадта...

Черная с золотом цепь матросская не умела ложиться и флотским великолепным шагом — ритм волн — била землю. Не бояться! Не бояться! Идут матросы в бой, и горят золотые имена кораблей на ленточках бескозырок. Встретился им на Каме полк офицерский — «Непобедимый» — Колчака. Одну ночь просит черная цепь, идет — и нет больше «непобедимых». Заплакал тогда Колчак. Мужская же слеза дорога и редка.

Еще шестью триста ушло. Синие воротники, ветром колеблемые, и опять черное с золотом... Прощай, Кронштадт родимый!

Ни один не вернулся в Кронштадт. Легли все в Предуралье, у Кунгура, под селом Кузнецовским — в холодном лесу. Шестью триста — первый кронштадтский морской полк.

Какое дело, пойдут другие — живые!

Еще отряд ушел — на Волгу. Могил не осталось, по течению один за другим пошли матросы.

Какое дело, пойдут другие — живые!

Еще девятьсот ушло. Старой славы Георгиевские ленточки выются и золото над глазами... Черноморцы! Держат винтовки на руку, проходят в девятнадцатом году

Украину и Крым. Здравствуй, родимый Севастополь! Наша бригада пришла!

Деникин и Петлюра послали корниловцев, дроздовцев, марковцев и сичовиков. И в живых нас осталась едва треть. Шестьсот не вернулись из боев. Нет бригады.

Какое дело, пойдут другие — живые!

Слушайте! Если даже только один матрос будет жив — не считайте флот конченным, а моря наши отданными. Присягу помним.

Клянемся памятью Миши Донцова с военного корабля «Ваня-Коммунист». Тело Мишино, потеряв братка, мы отбили у генерала Шкуро под Запорожьем и похоронили на станции Долгинцево. И там клялись.

Клятву данную держим.

В августе 1920-го вышла очередь двум матросам Черноморского флота. Попали они в Николаев.

Пустынен порт. Нет кораблей. Море чужое. Крым не наш.

Какое дело — будем соображать!.. Партия ведь дала указания.

Николаев. Комната оперативного отдела штаба морских сил Юго-западного фронта... Морских сил?

Эх! Не у нас морские силы, пока у нас только вывеска.

Рычит белый линейный корабль «Генерал Алексеев». Двенадцать двенадцатидюймовых орудий сверкают...

«Товсь! Залп!..» «Товсь! Залп!..» «Товсь! Залп!..» — сотрясается оборона Очакова.

Какое дело — терпи, браточки!

Какое дело — не сходи с ума, матрос! Партия соображения требует.

В комнату оперативного отдела, где комиссаром Иван Дмитриевич, входит старый друг. Глядят, сердца забились — черноморская же кровь! Браточчик, роднинький, Алешьша!

— Годочик! Ванничка!

— Откуда, божьжи мой — совсем живой?

— Поколесил... Типерь на море. По степу стоп плавать. Давай дело.

На море? А что можно делать на море? Пустынен порт. Нет кораблей. Море чужое. Крым не наш...

— Помнишь — Корнилова шлепали?..

— В одной коечки спалли!..

Говорят матросы, в глаза глядят, счастливы — есть им о чем говорить. Один другому раны перевязывал под Белгородом. Зимой семнадцатого.

Встал Ванечка:

— Подожди — прикрою дверь.

— Чивво?

Мигнул Ванечка:

— Спецы.

— Ага.

Прикрыта дверь.

— Иди ссюда.

Смотрит Ванечка на карту. Врангель идет на север.

— Давай вникать, чьто тут сообразить можьжно.

— Вникнем.

— Я рассчитываю, чьто положьжение серьезное.

— Ясно же ж, божьжи мой!

Соображают два матроса. За окном Черное — чужое — море. Дымит далеко кардиф чужих эскадр. Британские эсминцы типа «W» и «V» дают за тридцать пять узлов. Французов нужно учесть. Нужно учесть, что и Врангель имеет флот: десятки судов.

— Да-а...

— Надо, Алешша, белым сделать разложьжение.

— Подходячая мысль. Клянусь честью!

Подпольные наши комитеты в Крыму ждут помощи. Нужны люди, средства, оружие! И чтобы сказать об этом Центральному Комитету — из Крыма пробираются люди, идут на пулю.

Два матроса на партдирективу ответ дают: дают телеграмму в ЦК КП(б)У и Реввоенсовет Южфронта. В Харьков. Предлагают себя на большое дело. Совершенно секретно.

До ЦК в этот же час добираются посланцы из Крыма. Нужны люди, средства, оружие!

Хорошо, товарищи. Вопрос будет поставлен, тут как раз есть одна телеграмма. Берите матросов! Тех, которые были среди девятисот, на две трети погибших за революцию.

На всем этом деле Ленин — был конец июля — резолюцию написал: «Сделать, что можно».

В Харькове идет настоящий разговор с товарищем Феликсом Коном — заведующим Закордонным отделом Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины.

Говорит старый большевик о партийном деле. Партия свой опыт передает двум бойцам. Потом о технике разговора:

— Уверены?

— Так мы ж, товарищ Кон, матросы.

— А все-таки не подведет техника? На простой, нерассчитанный бросок ЦК не даст согласия.

— Божьже мой — сообразим!

— Скажите точно: вы гарантируете?

— Гарантью даем, божьже мой.

— Отлично. До свидания, товарищи, всего лучшего. Секретариат оформит.

Встал, жмет руку.

В карманах мандаты ЦК и Реввоенсовета Южфронта. В головах план действия.

Говорю — пока есть в живых хоть один наш матрос — не считайте море отданным!

Едут два браточка в Таганрог. В Таганроге много друзей. У одного лицо покаябно пулей, другой оглох, третий хромает, четвертый сипит, но все, как один, прекрасны, и золото горит над глазами, и флотский шаг великолепен.

Ванечка и Алеша от партии на большое дело идут. Обдумали они.

— Беррем подходящих?

- Беррем.
- Совершьшена своих.
- Тольки совершьшена своих.
- Кончено.

Никто ничего не знает о деле в Таганроге. Браточки же в базе сосредоточены. Был там у нас из грязеотвозных шаланд в двадцатом году флот сделан. Не очень красивый, но раз пять гонял белых в Азовское море...

Идут, гуляют Ванечка и Алешечка по Таганрогу.

Поймает глазом старого братка Ванечка или Алешечка, кричит через площадь или с набережной:

— Кол-ля!

— Есть!

— Это ты или твоя копия?!

— Я... Стой — Ван-ня! Тты?!

Сойдутся.

— Дай пять!

— Живой еще?

— Пытаешь!

Вспомнят за родненький Севастополь, за Одес, за все берега, за Мурочьку-кошечку, за Продольную...

Эх, парни были!

Ваня промолвит:

— Потопаешь со мной?

— Кудда?

— На риск. Кой-чиво есть. Больши ничиво не скажю.

Подумает Коля, каблуком стукнет, клешем — а клеш на семьдесят пять сантиметров — тряхнет:

— Вирра-якорь! Топпаю!

Бумажечки оформят — раз-раз. Матросов десять взяли. Проверенные, совершенно свои. Тюху, да Матюху, да Колупая с братом такие дела не посылают делать.

В Ростов — в штаб Кавказского фронта!

В штабе очень интересуются. Но, извиняюсь, нельзя много всем знать.

Подпольные комитеты Крыма — сколько там необъ-

яснимо сильных людей! — могут из-за одного слова пропасть!

— Вы нам только содействие окажите. Это главное.

— Хорошо.

В Ростове якорь отдали пока. В комнате у браточков тихо. Все в сборе. Дверь закрыта, окна наглухо. Жара — спасу нет. А открыть нельзя.

— Товарищи — о дальнейшей цели. Между нас будет договор. Если кто одно слово скажет, дажже самому лучшему любимому товарищу, дажже по партии — не то чтобы бабе, — без суда бьем наповал, и обиды, пожалуйста, не иметь.

— Есть.

Написали договор. Очень решительные все были, повторяю.

— Ну, а теперь к цели нашего назначения. Мы перекидаемся к Врангелю, в Крым, делать там красную повстанческую армию.

— Есть.

— Делать будим из наших браточков, которые там остались в восемнадцатом году и вже у горах работают, у Судаке...

— Есть.

— Усё прикинуто. По городу не шлаться, чьтоб не заметили, чьто группа нас. Воздухом дышите в окно.

— Есть.

Пустынен Новороссийский порт. На чем-то из Новороссийска группа должна итти в Крым.

Первые дни августа 1920 года.

Великолепно море — даль к Дообу. Изумрудны краски, перламутры на закате... Оставь об этом, красотолоб! Давай о деле говорить. Море — район выполнения задания ЦК. Так. Надо соображать — на чем итти в Крым... Вот... На чем плавать, я вас спрашиваю? Я, Вишневский Всеволод, старшина моторных катеров Новороссийского военного порта. Ходим в море на барахле, контрабандисты смеются, и если мы «Тижак»

рети-Багри» поймали — к Врангелю турки шли, — то это просто повезло. На моторной скорлупке шхуну взяли, а? Явно повезло!

А все прочие катера в ремонте: «Витязь», «Рында», «Воробей», «Воин», «Очаков», «Медуза», «Апраксин». Колдует над ними завод «Судосталь» который уже месяц! Кроме катеров — ни бум-бум. Морские силы — эх! Пропадай ты, море изумрудное, раз на тебе дела делать нельзя!

Ванечка идет к командиру Новороссийского военного порта. Ванечка в вольной рубашке с пояском. На пояске кисточки. Вольный гражданин, — чтоб внимания не обращали. А матросы в вагоне сидят, в окно воздухом дышат — показаться нельзя. Тут, в Новороссийске, старую братву каждая женщина с восемнадцатого еще помнит.

Ванечка у командира порта. Закрывает дверь плотно. Послушал — нет ли кого за дверью. К столу сел. Маузер положил.

— Дело, товарищ, на верность. Срок — три дня. Тому кто лишнее слово — смерть.

Командир порта кивает головой. Сразу понимает. Соображения являются. И стали планировать.

— Чьто у порту есть?

— Исключительно катера в капитальном ремонте.

— Какие?

— Бывшие судовые и из Килен-бухты, с пристрелочной станции.

— А кроме?

— Ничего.

— Который в большей готовности?

— «Витязь». Выйдет через три-четыре недели.

Помолчали...

Подпольные комитеты Крыма ждут ответа ЦК. Крым должен быть взят...

Черная с золотом цепь, говорил я вам, не умеет ложиться, и флотским великолепным шагом — ритм волн — бьет землю. Не бояться, не бояться!..

Говорит Ванечка:

— В три дня дать лучший катер. У полной готовности.

— Есть.

Звонит Ванечка:

— Баришня, дайти завод «Судосталь»... «Суло-сталь»? Кто? Здрась... Как там «Вытязь»? Говорите, чьто скоро будит? Так... Недели через три? Никак?.. Да, а вы можити заехать поговорить на мин-нуточьку... Куда? На Серебряковскую... Угу... В Чека... Угу...

К predisполкома Новороссийска. Парткому и ему:

— Катер нужно! Все совершенно секретно.

— Но ведь «Витязь» рейдовый катерок!

— Не возражъяем.

— А вам итти двести восемьдесят миль открытым морем.

— Угу.

— С грузом?

— Кой-чиво есть. Двенадцать тысяч патронов, бочка бензина, три пулемета, ленты, пятнадцать верст кабеля, гранаты, телефоны, литература... Нас двенадцать да команда катерная.

— Ой-ёй!.. Многогато! Чьто же нужно сделать?

— Ремонт обеспечить — и делло в шапочьке.

Подумали товарищи...

— Будет.

Сказали исполком и партком. Точка.

Ванечка сам токарь и моторист. Прошел тихонько на завод. Знакомых встретил. Плавали вместе.

— Здоров?

— Здоров.

То да се.

— Навалитесь на ремонт, а?

— Мы што — вот материалу нет. А мы давай.

Администрации ультиматум. Серьезная это штука — ультиматум в 1920 году!

Через три дня ведомость. Храню десять лет:

«Сделано: отливка новых подшипников (один главный), ветрогонки, протирка всех кранов; переборка золотников высокого и низкого давления; проверка цилиндров и параллелей машин; чистка котла и выведение способом заглушки текущих трубок (котел Бельвиля — водотрубный) и т. д. По корпусу сделано: латки в подводной части, чеканка всего корпуса, окраска и другие необходимые меры».

Сказано: партком слово дал.

Старшина «Витязя» — у пристани; глядит на катер — куколка. Приятные вещи с ним говорю о погоде.

В команде «Витязя» — часть из невоенных. Спросишь: «Где, в каких боях был, сколько раз ранен?» Не ответят. Не были, не ранены. С «непобедимыми» не сшибались.

Темнеет дым на горизонте. Посты службы наблюдения и связи доносят: «В море ходят неприятельские суда».

С буруном за кормой летают чужие корабли вдоль наших берегов. Погибший наш флот у восточного мола лежит. «Витязю» в море итти. Рейдовому катеру большое дело для Революции делать...

— Воды катеру нехватит пресной.

— Нехватит? Брось! Хватит.

Долой чугунные болванки из отсеков катера. Воду туда. Котел питать. Выиграли — радиус действия больше стал. Может итти «Витязь» триста шестьдесят миль. По теории это не выходит, но браточки главным образом практики.

Пятое августа. Пошел «Витязь» с двенадцатью и с командой. Матросы веселые, потому что привыкшие, а «витязевцы» — потому что думают: в Анапу идем. А в Анапе вино. А в Анапе по бульвару, что по-над морем, вечером бабцы ходят, к мужчинам чувства питают.

«Витязевцы» на закат смотрят, мечтают...

И двенадцать матросов на закат смотрят, наблюдают: где опасный дым затемнеет.

Идет «Витязь», на буксире крохотный моторный катерок «Гаджи-бей» тащит. Ой, пригодился он!..

«Гаджи-бея» Ванечка и Коля перед походом ночью сами проверили. Палаткой закрылись, свечу засветили, мотор разобрали, прямо языком вылизали. Все опять собрали. Как часы работает: «чш-чш-чш»... Клянусь честью.

По четвертому году служат матросы Революции. Август 1920 года идет... Белый флот в море. Английская эскадра. Не бояться, не бояться! Какое дело — мы в бой идем, у нас золотые имена кораблей на ленточках. Мой корабль — «Ваня-Коммунист» Волжской военной флотилии. Погиб в бою 1 октября 1918 года. Спаслось из восьмидесяти — тридцать пять. Комиссар не сошел с корабля — погиб. Запомните: Николай Георгиевич *Маркин*, балтийский матрос... Которые матросы живые остались — его дело продолжают.

— Курс: SW — шестьдесят пять... Так держаты!

— Есть так держать!

В открытом море идет «Витязь». Суждена была ему встреча с белым кораблем.

В Анапе коротко были. Только топлива взяли. Угля нет — макуху дали.

Идет «Витязь» в море. И спросить, может быть, хотят матросы друг друга: «А долго ли жить осталось?» — но молчат. Совершенно ведь все свои были. Но команда «витязевская» удивилась:

— Куда же идем? Анапа за кормой осталась. Таманского берега не видно.

— Ша... Не гудеть.

Красивый мальчик, молодой совсем, говорит:

— Отец-мать у меня остались.

— Не дрожьжать! Дрейфуны!

Покорились парни. Приказано не дрожать.

Поворот...

— Курс: NW — сорок пять... Так держаты!

— Есть так держать!

Фосфоресцирует, светится море...

Готовится сторожевое судно белого флота в поход. К утру пойдет из Керчи к советскому берегу. Машины прогреты. Ну, как-нибудь остановите этот поход!

«Витязь» открывает маяк Чауда — к Ost'у от Феодосии. Подвел компас. «Витязю» нужно на много миль к West'у, к Судаку.

Огонь вырывается из трубы «Витязя» — шуруют кочегары, макуха пламенем бушует в топке.

Огонь потух на маяке. Заметили «Витязя» с берега.

Когда триста, шестью триста, девятьсот и другие сотни уходили из баз Балтийского и Черноморского флотов — знали на что шли...

Какое дело? Ну, замечены белыми. Будем дело спасать, не о себе думать. Так Ванюша, так Алеша!

— Лево на борт!

— Есть лево на борт!

Кренится «Витязь». Уйдет до утра к таманскому берегу или нет?..

Идет сходящимся с «Витязем» курсом во тьме из Керченского пролива сторожевой корабль белого флота...

Стучит машина... Пахнет маслом, линолеумом, жильем... Идет корабль...

Звезды. Хороши, хороши звезды. По ним курс проверять хорошо. Вон Полярная... Говорят братки о разном.

И вдруг — в котле трубки потекли.

— Так!..

На рассвете на «Витязе»:

— Слева на горизонте дым.

Да, дым. Глаз определяет сразу: идет корабль на пересечку. Такое-то дело, товарищ.

— Тов-варыщи, приготовиться. Спокойно.
А тут трубки в котле совсем потекли. Стал «Витязь».

— Спокойно, товарищи.

Мачты и надстройки белого корабля уже видны.
Режет он прямо.

Не бояться, не бояться! Какое дело — нас убьют,
другие пойдут!

Если даже один матрос в живых останется — не
считайте флот конченным, а море отданным.

— Заводи мотор!

— Есть!

На «Гаджи-бее» пошел мотор. Натянулся буксир,
и «Гаджи-бей» тихо потащил «Витязя».

Белый корабль приближается.

— Без команды не действовать. Пулеметчики, наво-
дить все время. Соображать дистанцию. Капсюля
в гранаты всем заложить!

— Есть!

Режет, пенит воду сторожевик.

Говорят между собою на «Витязе» в «Гаджи-бее»:

— Ну, до свиданья, браточки.

— Хо! К подшкиперу морскому — видно, а?

— Эх, клеш остался на берегу. Идеал — мечта!..

Команду даем:

— Флаг поднять!

Захлопал по ветру флаг из красного флагдуха.

— Имеете, белые, средство для опознания, — в пря-
тки не играем!

Бегут ниже и ниже колесики на прицелах пулеме-
тов. Ленты у нас во флоте пулеметные «на зе, на ять,
на двадцать пять» — по четыреста патронов.

На мостике сторожевика в бинокли и в трубу «пейса»
глядят.

— Первый выстрел дать предупредительный.

— Есть.

Аврал вдруг, вопят:

— Подождите! Лево на борт!

— Есть лево на борт!

Круто повернул сторожевик. По воде кривую дорожку темную и светлую оставил. Дернул, дернул к Nord'y. От нас удирает!..

Говорят на катерах:

— Живвы?

— Вроде.

— Ой, ябл-лачыко, да т-ты на в-веточьке...

— Не галдеть...

— Ти-ри-рам-пам-пам, ти-ри-ри-та-та...

Тащит «Гаджи-бей» «Витязя» в Анапу.

— В чем дело, товварыщи? Как понять?

— Чиво он ходу дал?

— Ты мене живвова скушай — не знаю.

Опять подходят катера к Анапе. С берега пулеметы: «Тра-та-та». Здравсьте. Хотя — понятно: никто же про нас не знает — все в совершенном секрете. Под огнем терпим. Обидно только: от своей же пули...

Обошлось. Выскочили на берег. Навстречу цепь — красноармейцы. Разобрались: свои.

— Чивво вы?

— Подводная же лодка!

— Где?

— Эвон.

— Так это катера наши!

— Ну, а как сюды попали?

Мигнул Ванечка своим, лепит:

— С ремонта на пробу вышли.

Бросили «Витязя» — котел сдал. Команле «витязевской» на прощанье:

— Кто стукнет про дело — не жить! Адрески ваши взятые в блокнотики.

— Нет, мы ничево.

Осталось двенадцать матросов...

Ну, а дальше?

Один (может быть, из читателей):

— Двенадцать человек, двенадцать тысяч патронов, бочка бензина, пятнадцать верст кабеля, телефоны, три пулемета, ленты, гранаты, литература... Это все на «Гаджи-бее»? Вы с ума сошли?

Братки ответят:

— Мы?

— Вы.

— За-кройсь.

Другой:

— А слабò на катере итти!

— Слабò?

— Слабò!

— Слабò?

— Слабò!

— За-кройсь!

Пошли бы вы все, боязливые!

Не мешать! Ну... Брысь!.. Партийные дела ни трусами, ни на «слабò» не делаются.

Ванечка опять палатку берет, свечку берет, лезет, разбирает мотор, языком его вылизывает, проверяет. Всю ночь. Мотор, как часики: «чш-чш-чш». Браточки по бабцам ударяют. Живые же люди.

Расчет бензина сделали. Хватит. Вот как грузо-подъемность? Выдержит катерок?..

Тут не в «слабò», повторяю, дело, а в расчете. В ЦК подчеркивали же.

Грузят двенадцать тысяч патронов в цинках, три пулемета, ленты, телефоны, пятнадцать верст кабеля, гранаты, бочку бензина, литературу...

Упел катерок в воду, по самый бортик. Хорошая волна вдарит — прощай. Задуматься надо.

Подпольные комитеты Крыма ждут. Выхода нет. Надо итти.

— Запускай мотор.

— Есть.

Потопал «Гаджи-бей» ночью.

Стал у руля Алема, согнулся весь, на компас смотрит, румпель держит. Волна бьет. Удар — получай ведра три, четыре. Откачивают братки без остановки. Бросает катерок — ой-ой. Лагом не стань — перевернет.

Звездное небо и море. «Море бушует» — в книжечках говорится. А у нас говорят — «свежий ветер». Подходяще все-таки итти, потому что поход в ночи скрыт...

По четвертому году служат матросы Революции. В ночь этого похода на «Гаджи-бее», посланном партией на хорошее дело, заснул матрос на вахте у мотора...

Подремывал и Ванечка перед своей вахтой. Услышал — мотор дает перебой. «Пах-пах-пах...» Ринулся Ванечка, с хода остановил мотор. Как руку не сломало — непонятно.

— Николай!

Вскинулся тот:

— А-сь?

— Что ты наделал?

Труба питания для охлаждения мотора — аж красная. Накалилась. Проспал Коля.

Шепчет Ванечка:

— Количька, дорогой, если мотор не пойдет, иммеешь пулю.

Матросы очень тихо спрашивают:

— Пойдет мотор?

Ванечка берется за мотор. Швыряет катерок — ой, гроб! Черное море такое большое, а наш катерок так мал!..

Хлещет вода, все мокрое давно. Румпель ворочают, — не пускают катер лагом стать. Спасают дело.

Ждут в ЦК донесений о группе. Ничего нет.

— Отливай, отливай, браточки! Беда!

— Таов! Ваничьке давай!

— Есть! Счас.

— Живей!

Бьет волна. Во тьме работает Ванечка.

В два ковша отливают воду из катера. Швыряет, стучает людей. Ветер остовый несет к белым.

Поет Гриша:

Давай, давай, давай —
Не задерживай...
Я даю, даю, даю —
Д-не задерживаю!..

Отливают, не задерживают.

— Ваня, как?

— Обожди.

— Ну все-таки?

— Пусть мотор стынет. Иначе порвет, если пустить.

— Ваничка, делай, как понимаешь.

Забивает Ваня тавотом трубу.

Надо дать время остыть трубе. Значит, еще будет швырять, может перекинуть... Овер-киль... Какие матросы были, полное доверие получили от ЦК на такое дело — и то побелели их лица. Клянусь честью! Все молчат...

Выждал Ванечка. Ручку мотора берет. Ванечка здоровый — в Екатеринодаре на силомере восемнадцать пудов выжимал. Народ смотрел: «Ай — морячок!..»

Дернул ручку раз. Не работает. Дернул ручку два. «Пах-пах...» Не работает. Волна кидает...

Черная с золотом цепь не умела ложиться и флотским великолепным шагом — ритм волн — била землю. Не бояться, не бояться!..

Не завелся мотор.

На случай поимки план был.

— Товарищи, проверим план.

— Есть.

— Я с бомбой на руль.

— Я в машышину.

— Я к орудию носовому.

— Я к кормовому...

Непонятно вам? А это очень просто. Вот подходит к катерку белый или английский миноносец. Браточки тогда машут любезно платками и радостно кричат. Изображают якобы бегущих из Советской России. Да... Потом суют всякие бумажки, показывают захваченные, якобы тайные, документы и деньги. И когда глаза на этом остановятся, у тех, то есть, кто захватывает братков, тогда братки разом с маузерами и бомбами бегут на abordаж по главным местам: к штурвалу, в машину, к орудиям. На их корабле! Ясно. В момент: лишних за борт, кого на испуг, а кого и лаской. Есть же там матросы. Потом ходу в Новороссийск. А там, чтоб не стреляли — можно предупредить, шлюпку спустить, послать кого... Придумают матросы...

Братки на катере кончили проверку. Ваня дух перевел, берется в третий раз за мотор:

— Ну, не возьму — закуривай.

— Придется.

Николай воду отливает, со всеми. Во-вторых, ждет от Ванечки или кого другого участи.

Бросает катерок — спасенья нет. Вода хлещет.

Ваня взял ручку, рукава закатал. Рванул — сердце не выдерживает. Еще! Мотор — «пах-пах-туку-чш-чш-пх-чш-чш...» Ну... Ну!.. Заработал. Ваня за мотором как за младенчиком ходит.

Коля перед всеми извиняется.

— От переутомления вышло...

— Ну, ладно...

Ванечке дают газу баночку. Вино или водка у нас так называется. Дернул, согрелся. Мокли же всю ночь. Двигают братки к Крыму ближе...

По береговому шоссе и береговым дорогам на южном берегу Крыма — посты, патрули. От Керчи — к Феодосии, Коктебелю, Отузам, Козам, Судаку, Новому Свету, Кепси-Хору, Алуште...

Всякие с моря суда наблюдают, чуть что — тревога.

Берег Крыма открыли! Маяк Меганом увидели! Так.

— Живем у Врангеля!

— Здравствуй, Крым.

— Севастополь забираем, божьже ж мой!

А Ванечка сам крымский — севастопольский.

Держит «Гаджи-бей» к Судаку, самым малым — тихим ходом в бухту. Но в бухте всякий чорт окликнуть может, может шухер подняться и — неприятность. Поэтому приходится рисковать. К скалам подходим. Дошли. Тихо все в воду лезут, на себя весь груз берут: двенадцать тысяч патронов, три пулемета, ленты, пятнадцать верст кабеля, гранаты, телефоны, литературу.

— Литературу не замочи. Плыви, над головой подымай.

— Есть, есть.

Стараются все. На камни выбрались. Катерок порубили и в воду — следа нет. Отработал свое — в сторону, а то улика.

Подались в горы. Ущелье — водой промыто. Повалились спать все. Один на часах стоит.

Говорил же я, — если хоть один матрос в живых останется: не считайте море отданным, а флот конченным!

Какое дело — море в руках белых и флота Антанты. Партия говорит:

— Нужно перекинуться.

Есть! Перекинулись!..

Светает, ветер стихает, зыбь утихает. Часовой будит:

— Вставай!

— У-ум... мы...

— Вставай, ну!

Встали. В горы надо уйти поглубже. Пошли. Все в порядочке. Вдруг окрик:

— Стой, кто идет?

По кустам треск.

Всякое случается: как бы точно ни рассчитать, бывает, и не все выходит... Да...

Бой принять — это пустяки, а вот как с делом?

— Кто идет?!

Молчат.

И снова:

— Кто идет?!

Колечка вину свою искупить хочет — один полез в кусты, на разведку. Ждут все, приготовились. Из ущелья крик:

— Свои! Топпай сюды!

Еще один для осторожности лезет: не маленькие, хитрых сами учим. Знаем, как под наганом все что угодно случиться может.

Ждем все. Опять крик:

— Ей-бо, свои!

Тогда еще трое полезли. Условились, если свои, — по шифру кричать «без сомнения».

— Свои! Без сомнения.

Партизаны, оказывается, были. И матрос один среди них.

— Ну, если б ваш годок на руке нам якорь не показал — бой бы сделали. Побили б вас...

— А может, вас?

И пошел хороший разговор, и пошел, и пошел...

И дни пошли с боями.

В ЦК донесение послали. Через море — в мешках муки на фелюге — к Синопу, и дальше по горам анатолийским на Кавказ пробрался Иван Дмитриевич. Доложил:

— Сработали. Разложение в белых есть. Флот действует!

А ему объяснили, почему белый корабль от нас дернул. Разведка наша узнала: принял он катерки наши за торпедные. Страх от них!

Еще: Ванечке орден Красного Знамени дали.

Ленинград — Москва
1930 г.

БОЛЕЗНЬ

Посвящаю С. К. Вишневцевой

Февраль 1920 года.

Всеволод тяжело болен. Болезнь образовала привычку. Он рассматривает сочащуюся из тела кровь. Рана открыта...

Никто его не тревожит... Он лежит, что-то шепчет... Над головой шашка казачья и карабин. Что делать с ними, если надо покидать строй? Лихом не поминай, Первая Конная!

Через Харьков бронепоезд «Коммунар» № 56 на Польшу пошел — буденновский первый посыл с Кавказа. Всеволод до Харькова кровью капает... В Харькове решил в госпиталь пойти. Идет, в жару шатается... Волочит корзиночку, а в корзиночке — первого срока флотская форма номер три: ненадеванный клет, рубаха фланелевая, форменка и ботинки шевровые. В корзиночке — две гранаты и разобранный карабин. Шашка не влезла, бойцам отдал. В корзиночке — дневник. В корзиночке — белье. Вещи Всеволоду нужны, особо форма номер три: к самому парадному дню одеть, когда война будет кончена.

Шел в город Всеволод. Шатается... Устал, сел у дороги предместья харьковского, отдыхает... Увидел — на снежной равнине неподвижные стоят войска.

Полки стояли как изваянные, совершенно молчаливые и такие тяжелые, что земля медленно уходила под

ними вниз. Но было необъяснимо и странно-загадочно отсутствие знамен.

Не было знамен с полками. По всей равнине не было видно древков с орлами и драгоценной тканью, полуистлевшей и только в редчайшие дни показываемой.

Над полками только реяли значки линейных — маленькие с крестами и косицами флажки всех цветов на четырехгранных штыках.

Было так же необъяснимо и странно-загадочно отсутствие оркестров. Нигде не было видно ни флейтистов, ни барабанщиков, ни волторнистов, ни, наконец, горнистов.

Всеволод глядел, пошатываясь, на представшую перед ним армию.

Над равниной всходило второе солнце. Оно шло невысоко. Слепленные полки закрыли глаза, узнав в этом солнце все свои знамена. Святыни лежали на плечах бородатых знаменщиков — старейших ветеранов, тяжелых и грузных. Их сопровождали ассистенты и знаменные ряды, украшенные орденовыми венцами: знаком первых сподвижников генерала Лавра Корнилова. Знамена, овитые лентами Андреевскими, Георгиевскими и Александровскими, горели текстами святого писания, глядели на полки глазами Спасителя и трубили славу датам веков.

И знамена, проплыв мимо закрывших глаза полков, склонились и легли у первых рядов сидящих на земле в бивуачном порядке людей. Эти люди — мы. Всеволод увидел нас, пошел к нам и занял свое место среди нас...

Над нами — полинялые от дождей и солнца, простреленные в боях красные флаги. Здесь — наша военная сила. Мы сидели, готовясь увидеть то, чего еще не знала история.

Одеяния наши были несравненны! На нас были шинели, прожженные угольями костров, у которых грелись и дремали в походах бойцы, шинели, пропитанные дождями и ставшие жесткими от грязи. Сапоги наши были изношены в походах, длившихся так долго — с июля 1914 года — и приведших нас, наконец, к зрелищу на снежной равнине.

На нас были выгоревшие пехотные фуражки, флотские бескозырки с выцветшими и ставшими из черных — серо-розовыми ленточками; ватные штаны с оттопыренными гашиками, алые галифе и семидесятипятисантиметровые клеши без клиньев.

Мы держали винтовки — немецкие с маркой «Srapdan» и австрийские «Манлихер»; английские тяжелые, прочные; французские для трехпатронной обоймы; американские марки «Уинчестер» и японские «Арисака» — наши трофеи, взятые в Таврии, Ингерманландии, Новороссии, Дошине, взятые в степях, лесах, в тундре, в горах и в тайге.

Одеяния наши были выразительны и говорили больше, чем одеяния пышных полков стоявшей поодаль армии, побежденной и подготовленной нами к ее последнему действию.

Всеволод вынул и собрал свой карабин, обнял его ласково-доверчиво. А кровь все сочилась и замерзала на снегу, и Всеволод присыпал ее снегом, чтобы не портить белизны равнины.

Из наших рядов поднялся один и не спеша, закинув винтовку за плечи, пошел к строю пышных полков. Мы притихли. Полки колебнулись и перестали дышать. Полки не могли поднять глаз — веки были чрезмерно тяжелы. Наш вобрал в себя воздух и зычно дал команду пышным полкам:

— К церемониальному маршу!

Полки, нами взятые и покоренные, тронулись по-ротно — на одного лишнего дистанция, — как приказал им наш.

Мы затихли, восхищенные невиданным зрелищем.

Мы не мешали этому молчаливому могильному маршу полков, проходивших мимо нас. Мы только про себя подсчитывали: «Ать, ва, и, ире!» Шедшие на полках, батальонах и ротах офицеры — в двадцати шагах от нашей группы — брали пашки подвысь и, пройдя двенадцать шагов, опускали их, поворачивая голову к нам... Они отдавали нам честь.

Всеволод трясся в пароксизме злой радости... Кровь бежала сильнее, и снег впитывал ее.

Республика озаботилась лучшим устройством парада победы, которого бурно жаждали в свое время эти пышные полки.

Они получили этот парад!

Земля оседала под шествующими полками, — мы смотрели на них уже сверху. Временами, в судорогах, среди нас вскакивал то один, то другой и, скрежеща зубами и указуя темным, обожженным махоркой пальцем на узнанного им белого офицера, стонал: «Вот он, вот!» Тогда офицеры, продолжая держать про себя счет, еще ниже опускали тяжелые веки. Прошрое тревожило их.

Могильный марш продолжался в безмолвии. Белая армия плыла в мерном российском шаге со штыками, устремленными косо и ввысь. Оцепенело глядя вперед, иногда для равнения подкашивая глазом вправо и влево, шли побежденные к своей гибели...

Ненавистью и молчанием мы замедляли их шаг.

Потом, спустя много часов, пропустив мимо себя пышные полки, пошли и мы.

Ах, как мы пошли, как мы пошли! Мы пели, бешено ржали и плакали от счастья — мы, уцелевшие с 1914-го.

Мы, бывшие российские солдаты и матросы, растопили своим ходом снег равнины. Мы шли, высоко подняв наше счастье, выдранное на войне, счастье, познанное в первый раз, счастье свободы. Мы пошли, ах как мы пошли, и глаза наши горели...

Всеволод бредит на снегу... Он притоптывает ногой: «Ать, ва, и, ире!» Его потрясают рыдания. У Всеволода очередной приступ — на этот раз разгоряченный мозг создал мираж на искрящейся под солнцем снежной равнине. Больному нужно скорее дойти до убежища.

Всеволод все еще победоносно, но еле держась на ногах, куда-то входит... А? Да... Эвакопункт у вокзала.

Здание серого цвета замечательно. Плиты пола усталаны тончайшим, нежнейшим, пушистым, пепельно-зеленым покрывалом недосигаемо тонкой работы. Строение узоров, множественно разветвленных, прико-

вывает взгляд: переплетаются миниатюрные гроздьи, пышные кисти и лучистые веера с цепочками едва уловимых глазом шариков, кажущихся пылью, необычайно тонкой, легкой, и серебряные нити... Нагибаясь, чтобы рассмотреть узоры, дыханием поднимаешь облачко зелено-сизой пыли.

В палатах пол покрыт особым составом, желто-розовым, местами буро-красноватым. Смолы... Глаз не знает, что выбрать, и борется между миррой и янтарем... Мирра желто-розовая, аравийская и африканская. Запах твой силен и долго не исчезает... А вот янтарь — игра моего детства, добыча маленьких рыбаков, дар моря; янтарь, просвечивающий, с прожилками и закопанными внутри неизвестными травами...

Здание освещено лучшими мастерами-осветителями, выбравшими для нашего отдыха чудеснейшие полутона и погрузившими лампы в радужные туманные абажуры...

Всеволод, ты бредишь! Очнись, боец! Не поскользись на плесени плит и на замерзшей моче. Не наступи на голову еще не убранного мертвеца... Старайся не дышать зловонным заразным туманом.

Уйди!

Да, да... Но как красиво!

Вышел. Лег, растерев ногой плесень, на плиты коридора. Ноги вытянул. Подошвы с гвоздями. Французские сапоги до колен. Шнурки из телефонного провода.

Сапоги сняты, как с себя перед сном, с корниловца, который умирал в сыпняке на станции Иловайской. Некогда было ждать его последнего дыхания. Конная шла в бой. Нужна была обувь...

Санитары идут. В белом. Прошли. Повернули к Всеволоду. Один другому говорит:

— Дай ему воды.

Всеволод маузер отстегивает и шепчет:

— Уйди, пока жив.

Сырой водой поят санитары горячих пришельцев... Боже, сколько госпиталей и сколько дел знают фронтовики!.. «Не пейте сырой воды...» Да, да... Горячее тело у Всеволода.

Ночь наступает.

Зимняя долгая ночь. Всеволод жарко шепчет и думает. О, как нужна ему женщина! Она нужна ему—со всем ее умением, проворством вымытых рук, зрелым опытом, изобретательным воображением, неутомимой старательностью и тончайшим обонянием,—чтобы приготовить пищу. Пищу имеет право готовить только человек с чистыми руками, зрелым опытом, изобретательностью и воображением... Подставьте же мне чашку для крови. Да, я не могу шесть лет есть старое желтое сало и дрянную солонину! Я хочу не грязный серый суп, а прозрачный бульон. Вот. Возьмите, пожалуйста, все, что у меня есть. Не троньте только оружие и форму номер три, — это нужно для нашей войны и для первого дня нашего мира. Не пугайтесь. Я не причиню вам никакого зла. Вас пугает мой вид и эта английская шинель? Разве вы не видите на ней красный якорь?.. Положим, его можно пришить. Тогда смотрите. (Простите меня еще раз: моя рубашка не свежа.) Да... Этот якорь есть и на моей коже. Видите, как он синееет и как синееет распростерший крылья орел, держащий этот якорь? Вот—это клеймо, этот вечный паспорт матроса... Значит — не нужно бояться...

Женщина, я хочу сам себя лечить... Я как собака, я знаю — мне надо пожевать только одной травки. Я сам себя вылечу... А там, в госпитале, подышают в затылок... Ты не видела? А-а, видела! Тебе страшно? Справа по одному в могилу, арш! Вас не затруднит, женщина, открыть окно — мне душно... Почему вы молчите? Проветри еще, ну? Что — я не имею права пожить тут? Отвечай, ну? Я брал этот город два раза... Не подходи, эй, там! Я, брат, не корниловец! Я тебе, санитар, касторка всеклятая, эту сырую воду волью в твои кости!

Очнись, браточек!

Всеволод огляделся. Кто-то отходил, пятясь от него. В белом халате со свечой... Доктор, санитар?

Белые дамы в штавах шлятся! Кентервильские привидения... Знаю. Знаком. Желтая обложка — Оскар

Уайльд... -Издание товарищества Маркс... «Нива»...
Что, а? Да, 1912 год...

Всеволод на плитняке коридора спит, с маузером в руке, качается. Стоит вахту — стережет свою жизнь и свои сапоги...

Мы все эти штуки знаем... Катись, катись — мимо!

По коридору перестали ходить. Испугались... Так.

Серый гроб крутится вокруг Всеволода. Качается. Вали, качайся! Всеволод держится за подоконник. Вдруг подумал: странно, язык не шевелится. Я же еще жив... Голос! Голос! Есть ли он? Жив ли я? По гробу крик неслыханный:

— Вахтенный!

И себе самому опять:

— Есть!

Все в порядке...

Утром очнулся... Побрел — донести свою жизнь куда-то... Ну, возьмите ее, ну, помогите ей... Почему же мне так трудно и все качается?..

Прибрел и лег в госпитальный дом.

Мне хочется заснуть... Счет до тысячи... Я засыпаю, а нога не засыпает. Ослабить все мускулы, этот, этот, этот... Вишневский, какие вы знаете мускулы?

Musculus scalenus, musculus temporalis...

Это только мускулы головы, а скажите...

Голова важная вещь, а вам не нравится? Голову нельзя высовывать из окопа, — она важная вещь.

Тихо...

Нога засыпает. Тсс... Не спят только глаза.

Палата вытягивается. Какая перспектива! Как в перевернутый бинокль. Деления два влево от поля!..

Я вижу: я быстро разбухаю, расту. Я заполняю собой палату. Только зубы острые щелкают в испуге... Я разрушу палату... Это опасно. Как это прекратить? Скорее, я задавлю других.

Теперь я уменьшаюсь очень быстро. Я боюсь, что я потеряюсь, меня не заметят, страхнут, как соринку. Не надо. Это я! Это Я! Это Я!..

Замечательны узоры на стене. Я создаю их сам. Я нашел секрет комбинирования неизвестных линий и красок. Надо сообщить об этом скорее.

Я вижу: Бурчапк... Стоит наш бронепоезд «Грозный»... Братиш-печки!.. Крой на Крым! Крой на Украину!.. Украина, сколько боев за тебя!

Приступ прошел. В тишине палаты Всеволод слушает свою память.

На ночь Всеволод привязывает веревочку к руке, а другой конец к корзиночке. Корзиночка под койкой. Маузер под матрацем.

Рядом лежит старый латышский стрелок. Всеволод шевельнулся:

- Друге, друг, какие здесь дела?
- Жить мошно, матрос.
- Да?
- Тут умирают. Мошно брать их порцья.
- Да.

На крайней койке у окна клопочет мокротой парубок. Горловая чахотка: звук знаком. Сколько звуков мы знаем, фронтовики!

Выбеленная палата. Опять все качается...

Всеволод видит — лежит еще матрос. Тощий, длинный. К нему идут двое в белом:

- Вы можете встать?
- Ого, сейчас.

Размахи сильные, чорт возьми. Стой, стой, стой... Держись за поручни, браток, — смует.

Фу, как стыдно, братишка. Братишка, чего эти белые тебя шупают, грудь трогают? Дай им по зубам. А ну, брось, эй, не замай товарища.

Очкастый в белом говорит, нагибаясь над тощим матросом:

- У него мраморная сыпь.
- Ну и качает!
- Латыш что-то говорит тощему матросу.
- А?
- Тебя в сыпнотифозный.
- Да?
- Ты, брат, держись.

— Понятно.

— Ты не бойся. Ей-богу. Ты вещи береги.

— Ага.

Хришит парубок... Все на месте и не качается. Все ясно. Матросу уготован путь.

— Значит, в сыпнотифозный?

— Выходит.

— Притопал.

Латыш ворочается, приподнимается. Тощий матрос в вещах роется и тихо-тихо сообщает:

— Было ровно между жизнью и смертью. Скоки лет было. У нас повсегда так было. Теперь крен явно к смерти.

Вещички, как к инспекторскому смотру, складывал, проверял и тихо-тихо сообщал:

— Вот не ждал не гадал — сыпняк, барак и в ямку. Я от рака помереть ждал. Рак у меня в легких открылся, ест их. Через месяц съест, — я доктора пугнул, он признался... А то говорит — «не беспокойтесь». Истощенный я. Десять годов грохаю. А тельняшку починить надо — порвется. А был я ничего, мальчик слабый, — ломики гнул, говорил — плохие. А теперь как у меня... (Подштанники вынул.) Подштанников двое осталось. Мало. Плясать умел: черепом в палубу, головой в потолок. С-час беседу сделаем.

Порылся в парусовом чемодане товарищ:

— Вот команда в дорогу дала, трофейная вещь, редкая. (Вынул бутылку водки.) Вообще не пью, но в компании можно.

Шибанул ладонью, пробка вылетела. Сестра вошла. Говорим ей:

— Уйдите, сестрица, пока. Уйдите, пожалуйста.

Ушла.

Разлили водку в три молочных чашки. Тощий помп-рающий друг сказал:

— Будем здоровы.

— Будем.

Тощий друг поглядел:

— Чарочка... Закусить нечем, а? Да, вещи, чтоб не пропали, записку оставляю. Куды послать или сообщить... Рак у меня... «Не беспокойтесь», — говорит

доктор-то, а? Ты мне очки не втирай. Я с «Дианы», кочегар первой статьи. Фамилию, друг, запомни, запиши — Сажин.

— Запомню.

Санитары вошли.

— Пить, товарищи, неудобно, не полагается.

— А вы уйдите, уйдите прочь. Вы не мешайте, землячки. (Налил по второй.) Пей тут, на том свете не дадут. Будем здоровы.

Поглядели грозно на санитаров два матроса и латыш, — ушли они.

— Ну, будем здоровы.

Тяпнули.

— Прозит.

Сполоснулись.

— Латыш, ты Ригу знаешь?

— Знаю, на «Проводнике» работал.

— Хороший город. Извозчики смешные.

Посмеялись. Допили... Потеплело в палате.

— Латыш, я тебе до революции запрещенную песню спою. Хочешь?

— Давай.

Сажин завязал на воротах рубахи завязки, колени потер...

— Вот, — и голосом, дрогнувшим от сокровенной глубины, тихо запел: — Трупы блуждают в морской ширине. Волны плещут зеленые. Связаны руки локтями к спине. Лица покрыты мешками смолеными. (Сажин прикрыл лицо руками, и слезы, слезы человечьи по рукам скатились.) Черною кровью запачкан мундир. Это матросы кронштадтские. Сердце им пули пробили солдатские. В воду их бросить велел офицер. (Помолчал.) Это у Лисьего Поса, знаешь? В пятом году.

Всеволод качается:

— Сажин, живы будем — не помрем?

— Так, сынок.

Сестра вошла, спрашивает:

— Что-нибудь вам нужно, товарищ?

— Спасибо. Пока нет.

Вышла Сажин голову — ей вслед — повернул, печально усмехнулся:

— Хороша баба.

— Хороша.

— Я вот—помоложе был—как подумаю, сколько баб красивых, господи, сам не свой. Даже тоска брала: сколько их на свете, а что тебе достается?

Парубок забулькал и захрипел опять.

Вошли санитары. К Сажину:

— Давайте, товарищок, соберемся... Мы вас проводим.

— Давайте, в чем дело. (К нам обернулся.) Ну вот, больше не увидимся. Рак у меня...

Под руки его взяли. Он палату глазами обвел, и увел его умирать. В мужественное сердце твое, матрос родной, целую тебя.

Беспамятного поволокли скоро и Всеволода. В сыпнотифозный... И раны его сочатся...

Март 1920-го проходит...

Пинцет с ватой, намоченной борной, в рот засунули, скребут. Топнит.

— Откройте рот, шире.

Значит, выжил?!

Голову повернул Всеволод, видит: лежит один напротив — за столиком. Стакан молока у него.

— Дай глотнуть.

Протянул сосед стакан, наполнил.

Стой! Где корзинка? Ой-ой-ой...

Закрыв даже глаза Всеволод. И нельзя спросить, нельзя разговор завести — заберут корзинку. Оружие! Молчит, лежит Всеволод. Дня четыре. Ест по закону: «свое прибрать успеешь, чужое не забудь». Ест без передышки.

Сиделка новая идет, молодая.

— Сестренка, подгреби ко мне.

Улыбнулась.

— Ты какая?

— Шьто значит какая?

— Откуда, ну?

— С Сывастополя.

— Ой, счастье мое, своя.

И обрел опять язык простой, обрел радость — всё вернул Всеволод.

Заговорили, прояснело.

— Смотайся, куколка, узнай про латыша. Живет он на том краю — через двор, по-над забором флигель. Скажи — кланяюсь.

Глазами играет детка. Эх, жизнь есть, жпзнь будет! Сам себя Всеволод щупает, лапу лапой потрогал, все тело потрогал — мясо еще крепкое. Жми, Вас-ся, наша сверху! Рывкнул:

— Верно, браток?

Сосед спрашивает:

— Что?

— Жми, говорю, наша сверху! (Брыкнулся, залаял счастливо.) Гав-гав... Ты откуда?

— Москвич.

— Пехота?

— Да.

— Где бывал? Под Воронежем был? А?

— Да.

— Крепко там шили. Ух, чисто!

У Всеволода слово прет, не удержишь, а сам на койке шевелится, дрыгает. Сосед смотрит, а Всеволод говорит — хлещет:

— Мы, понимаешь, нарывались раз. За Купянском. Ну, вот — два шага. Белые. Ох, дали им, ох, дали! А ты в старое время служил?

— Служил.

— А как эту сиделку зовут? Севастопольская, ей-богу. Курить у тебя есть?

— Есть.

Закурил, внутри головы дым пошел. Туманит. Всеволод чешет:

— Месаксуди? «Лпмонпыс»? Мы в Иловайской табаку взяли вагон. Белые бросили. Тоже дали им — крепенько. Был под Иловайской?

— Был.

— Ну вот. Ты партийный?

— Нет.

— Когда обед-то дадут? Есть хочу — кишки пищат. Газеты тут дают, а?

— Дают.

— Люблю. А после тифа когда выписывают? А?

— Как когда.

— Давай, братишка, вместе, ей-богу. Оба и дернем.

Тебе в какой полк? Дай еще молочка, а?

Дал.

— Куда тебе, в какой полк, слышь?

Молчит.

— Чего ты?

Молчит. Потом говорит Всеволоду:

— Я сразу хотел вам сказать. Вы как-то не дали.

Я... офицер.

— А-а.

Сестренка пришла.

— Латыш живой. Усё, говорит, в порядке. Но шьто это «усё»? Сыкрэты, а?

И глаза щурит. Веселая баба. А корзинку латыш сберег, значит.

— Сестренка, давай мне молока банку.

Принесла, ставит.

— Ставь не сюда, ставь туда — я должен им...

(Кивнул на соседа.)

Поставила соседу.

— Сестренка, и папиросу приволоки. Задолжал им тоже... (Кивнул на соседа.)

Поглядел на дивчину. Моя будешь, радость! Почувствовала. Лапку ей тиснул, притянул к себе:

— Живем, детка. Топай скорей, неси.

Да здравствуют выжившие! Вас ждут и комендант, и эшелоны, и братки. Ешь плотнее! Кто помирает — отдаешь нам порцию. Ходи ножками.

Всеволод идет... Сам... Сам! Уй, ножки подгибаются!.. Врешь, наша сверху. Гробовозам нас не видать! В загробное рыданье, в последнее дыханье трам-та-ра-рам!

Вы, гробовозы, эту мечту про смерть выкиньте.

А отхожее солнцем гружено, одним солнцем. Прет, без всякого! Краску всему дает. Мухи кружатся... Зеленое сверканье! Движенье, жужжанье! Ах, красота!

Полной грудью дышит Всеволод. Восторг! Это не лекарства, не гроб!

Топают ножками Всеволод. На койку... Сестренка волочит папирос коробку — долг покрыть.

— Сестренка, даешь газеты.

— В читальне.

— Тащи сюда, скажи помираю (и рывкает), гав-гав! Смеется детка.

— Вот самашечий матрос.

— Уйди, а то сальтамарталь покажу, куколка-а. Пошла детка.

Газеты есть — какие хочешь. Бумага желтая и розовая, тонкая и коричневая — оберточная. Чудное дело — сколько газет.

— А ну, где сводки?

«Взят Иркутск»... Ффу-ты...

«Занят Мурманск»... Купай их, Вас-ся!

«Взят Екатеринодар. Захвачено около двадцати тысяч пленных». Крой, Вас-ся! Когда выписка после тифа, кто знает?

Ну, глядите на меня — это плохая грудь? Знаете, во флот да в гвардию с какой грудью брали! И кровь перестала сочиться... Выписку!

Жизнь, жизнь есть. Двадцатая моя весна!

*Кронштадт
1930 г.*

ПЕСНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

(Глава из неоконченной повести)

I

Сибирь сверкала на солнце. Все мыслимые проявления жизни казались скованными навсегда... Прозрачность воздуха была поразительная, и если б земля не была вышуклой, был бы виден ее край — обрыв Азии в воды Великого океана.

С севера надвинулись белесовато-серые тучи. Оцепенение было нарушено. Движения жизни хотели навстречу упущенное. Кристаллы снега засверкали на бесконечных пространствах. Снег палал с огромной высоты, беззвучно покрывая землю. У самой земли он иногда смешивался с дымом человеческих поселений. Они были редки. Тишина была необыкновенная. В лесах была тьма. Пугал стук даже в урочный час.

Древние колотушки зывали о беспомощности.

Обоз подвигался медленно. Леса вздрагивали от мороза. Иногда с коротким страшным скрежетом раскалывались пихты.

Кони шли в облаках пара, смешанного со снегом. Пар замерзал быстро. Одетые в тулупы люди шли молча. Сумерки спускались с беззвучной стремительностью. Обоз подвигался во тьме. Иногда слабо мерцал свет далекого жилья. Вслед за обозом в воздухе растворялись запахи прошедших людей и животных. Холодный ветер истреблял их бесследно.

Последние сибирские мужики, хозяева от сорока

до пятидесяти лет, покидали свои селения. Мужиков гнали в армию. Сквозь тишину, откуда-то издалека, послышался вой. Еще одна деревня ночью провожала «стариков». Они ревели и скулили песни, которые прокатились по всей Сибири в последнюю, японскую войну. Во тьме, на лютom холоду и в жалости, они пели про сопки Манчжурии, про плачущих жен. Станным казалось это сборище вырванных из жизни людей, которые громко причитали над собой. Светил единственный фонарь. Казалось, что и он должен замерзнуть, потухнуть от холода. Все больше и больше людей присоединялось к обозу. Раздирающе заголосили бабы, они цеплялись за ноги и за полы уходивших мужей. Уговоры сменялись раздраженными пинками. «Оставь, Марья». Промерзшими веревками были обмотаны котомки, баулы. Скрипели сапоги. Обоз двигался все дальше и дальше...

Хлопнули несколько раз двери на околице, в ночном снегопаде стал затихать печальный вой, и погас последний огонь.

В эту зимнюю ночь впервые замерцало сознание ребенка. Петька был частицей в вечном потоке. Новое существо, воспроизводящее черты необозримого ряда предшественников и таившее в себе что-то новое, проходило все положенные стадии развития, превращаясь из жалкого и странного существа в наиболее совершенное в мире творение. Во тьме и теплоте, жадно всасывая кровь и питательные соки, формировался маленький человек, развивались белое и серое вещества мозга. Возникали сложные нервные центры, которые постепенно, сквозь сон начинали функционировать. И, наконец, в этом тихом, темном, теплом и влажном мире эти центры создали первое движение. Существо шевельнулось. Первым его актом было движение, какая-то, за гранью сознания, смутная стихийная попытка приобщиться к грандиозным движениям, совершавшимся где-то, вокруг.

Новое существо развивалось энергично, иногда казалось непомерно нетерпеливо. И в какой-то момент

страшная стиснутость уже грозила гибелью. В этот момент произошло то, что называют рождением.

Ребенок родился крупный, покрытый тонкими и темными волосиками. Массы холодного внешнего воздуха обрушились в его легкие. Снова погибая и задыхаясь, существо спазматически раскрыло рот, сделало несколько новых движений и — заорало. Воздух побежал по легким, расширил их, вышел обратно. Начиналась новая жизнь, видоизменялось кровообращение, происходили замечательные метаморфозы. Над ребенком склонилось несколько человек. Он орал и бился, сопротивляясь обрушившимся на него стихиям. Впервые увиденное какое-то страшное зарево било в едва раскрывшиеся зрачки — это была прикрученная лампа. Какие-то раскаты сотрясали воздух, и барабанная перепонка подвергалась первым сильным колебаниям. Так ребенок впервые воспринял человеческую речь.

Ребенок шевелился и орал. Кто-то склонился над ним и изумленно произнес: «Батюшки, да он зубастый!» На маленьких красных деснах орущего и дрыгающего существа уже намечались два мелких острых белых зуба. Людям казалось, что это что-то предвещает.

Названный Петром, что значит камень, ребенок — двухнедельный муж — рос с настойчивостью, быстро. Он жадно, сопя и чмокая, сосал материнскую грудь, наслаждался бесстыдно и откровенно; насытившись, тут же отваливался и засыпал, чтобы, проснувшись, снова есть, есть и есть. Трехмесячным он уже начал делать хватательные движения, шарил по телу матери, тербил, блаженно озираясь и вглядываясь во все более ясно различимый свет.

Время шло... Оставленный однажды на минуту без присмотра, он пополз куда-то вдаль, в неизвестном направлении. Лицо его было напряженным и серьезным. Мать всплеснула руками и помешала ему. Колыбель младенца висела на длинном гибком шесте, продетом в кольцо под потолком. Петька, когда его укачивали, присматривался, радостно вскрикивал и всплескивал руками. Приходили и уходили отец, мать, соседи.

Во внешнем мире происходили неостановимые обычные дела: то прибегали посудачить, то занять соли, то выходили, чтоб вместе куда-нибудь птти. Как орудийные раскаты, хлопали двери. Пар врывался в избу, как при извержениях, и ледяной сибирский мороз ударял понизу. Младенец ежился, орал, стараясь высказать на своем языке весь свой гнев, все свое раздражение, — адресованное всем. Иногда его плач переходил в какой-то гневный рев, и он с силой впивался во что попало.

Младенец взвизгивал и захлебывался счастьем, когда его подбрасывали вверх и ловили руки кого-то большого, доброго, близкого. Это был отец. Жизнь шла, но маленький мягкий мозг почти ничего не улавливал в ней. Человечек ползал, играл, пачкал, залезал в какие-то невозможные щели, откуда его вытаскивали. Человечка приучали к первым «нельзя». В избе было тепло и темно. Висели загадочные вещи на стенах, до них нельзя было дотянуться, и ребенок глядел на них со страхом. Мать и отец склонялись и падали на колени в темном углу, и тогда ребенок затихал в какой-то смутной боязни. Его глаза устремлялись к мерцающему огоньку, за которым виднелись неподвижные и грозные глаза... Бог...

Петька на глазах прибавлял в весе и росте. Ползал, плепался, но не плакал, молчал и как будто задумывался; совал в рот все, что попадалось под руку, пробовал все на вкус и на крепость и делал сотни замечательных и полезных открытий. Ему не было никакого дела до того, что эти открытия были кем-то сделаны до него, — это его не касалось. Мальчик вставал. Его мускулы напрягались, лицо чуть краснело. Он подтягивался на мускулах, пытался выпрямлять ноги и издавал какие-то неопределенные торжествующие звуки. И так, постепенно, он добывал себе право на движения, на вылазки и первые походы. И мир, раз в сто больший, чем мягкое теплое место у материнской груди, начал раскрываться перед ним. Это был дом — изба. Он ползал и передвигался во всех направлениях, цепляясь за лавку, стены,

ножки кровати, столы. Над головой нависали вещи, назначение которых ему было неизвестно. Что-то заслоняло свет. Ребенок запускал руку в дырки, щели. Иногда случались ужасные происшествия, ребенок издавал вопль о помощи. Помощь не приходила, все постепенно затихало и успокаивалось. Опыт накапливался каждодневно, каждый день, и в один из дней этой замечательной поры ребенок выдержал первую битву. Он встретился с чем-то неизвестным, шипевшим. Его зрачки впились в зрачки встреченного существа. Они остановились. Оба были в напряжении. Когтистая лапа была приподнята. Петька похолодел, потом его бросило в жар, и он ринулся вперед. Зверь обратился в бегство.

В один из дней он вдруг отчетливо произнес несколько слов: «мама», «баба», «тятя». Родители сияли и восторгались.

Иногда из избы мать тащила его куда-то в другое место. Там захлопывали дверь, все заполнялось угольным духом, паром; мать совала в воду, терла. Глаза слезились, легкие и горло раздирались от крика. Мать шлепала, гладила, уговаривала и потом, вытащив и закутав так, что не повернуться, совала в рот мятный пряник.

Петька продолжал ползать и шлепаться, но в один из дней чудесно стал приподыматься, и выпрямившееся его тело потянулось куда-то вперед, вперед. Ребенок даже не понимал и не видел, что на него глядят с каким-то восхищением. Тайна становления человека как-то по-своему тревожила и радовала родителей. Мальчишка опрокидывал лавки и табуретки, орал благим матом, подымался, ковылял дальше, зажав что-то в кулачки. И на одном из этих походов вспыхнула неизвестно как и почему вторая битва человечка. Он залепил кому-то своей судорожно сжавшейся пятерней. Родители покачивали головами, посмеивались и радовались.

Двигаясь, что-то открывая, запоминая, накапливая слова, человечек все прочнее утверждался в жизни.

О нем думали. Он был записан в нескольких книгах у властей. Он попадал, как единичка, в государственную мировую статистику и влиял, таким образом, на науки, законы, теории. Человечек существовал. Это был замечательный и властный факт.

Еще на руках у матери Петька делал свои первые путешествия. Край одеяла закрывал ему лицо. Закутанный, он дергался и шевелился. Он уже не боялся холодных масс воздуха. Он требовал воздуха больше и больше, он требовал простора. Мать носила его в церковь. Петька улавливал там иные запахи, не похожие на домашние. Люди стояли в тишине. Младенец озирался, глядя на залитые солнцем окна и вверх под купол, где что-то блесело. В чистой тишине раздавалась дьяконская октава. Петька перестал рассматривать блестящий предмет и неожиданно для самого себя отозвался дьякону ревом, в котором можно было уловить не то подражание, не то отклик. Мужики и бабы, испугавшись и засердившись, обернулись к Петькиной матери и что-то ей зашептали. До всего этого Петьке дела не было. Мать краем одеяла прикрыла Петьке лицо. Он взревел еще сильнее, и его унесли.

А в целом жизнь шла необыкновенно ровно и приятно. Петька не знал врагов, и в его памяти почти не осталось следа о первых битвах. Петька не знал о существовании смерти, не знал о существовании предательств. Свои, теплые, близкие «мама и тятя» изменить не могли. И, наконец, человечек вышел за порог, играл, шумел и ползал вместе со щенятами. Какая-то трава больно жглась. Пронеслись большие псы, и близко над головой промелькнули их пасти. Страшно заколотилось сердце.

Мир становился все шире и крепче. И в один из дней все Петькино существо, сознание было потрясено тяжелым и страшным уходом отца. Так в памяти навсегда закрепилось первое тяжелое столкновение с миром. След этот нельзя было истребить ничем. Очевидно, здесь заканчивался целый цикл развития и начинался другой.

Но вся эта громадная, длинная история развития человечка для него самого проходила почти бессознательно, вернее полусознательно. И только холодная темная ночь, когда кругом все завывли, когда отец и мать молча лежали перед «богом», когда в окошко кто-то стучал и повелевающе приказывал: «Торопись, што ли!» — эта ночь запомнилась и стала первой отправной точкой в сознании и памяти.

II

Село стояло, как вымершее, и только тонкие струи дыма говорили, что жизнь еще теплится. В ослабленном полускрытом состоянии она присутствовала вездe. Женщины поддерживали эту жизнь. Они взвалили на себя обязанности мужчин. Они справлялись вполсилы. Весной они трудились на полях среди орущих младенцев. Движения по дорогам почти не было. Иногда завозяли почту: помятые, вскрытые пензором и грубо заклеенные конверты. Печати с двуглавыми орлами семисот пехотных полков придавливали солдатские вести. И ничего попрежнему не было известно, кроме поклонов и каких-то подневольных просьб.

Петька рос в одиночестве, сам по себе. Жизнь открывала перед ним постепенно какие-то явления. Он уже перешагнул за околицу, с ватагой ребят вступил в лес, ходил там с оглядкой. Постепенно все делалось более определенным. Есть бог, есть земля — наша деревня. Все стоит нерушимо и недвижимо. Бог над деревней. Он все видит.

Ранние детские впечатления, смутные и необъяснимые, постепенно вытеснялись большой житейской простотой. На мир, значит на деревню, спускались понятия, названия, имена. Появлялись вещи, назначение которых становилось все более ясным.

Катился вал событий и происшествий. Многие из них забыты навсегда. Забыта и минута, когда Петька с гиком, неизвестно на кого ожесточаясь и стараясь

не отставать от других, впервые промчался сквозь всю деревню в ватаге мальчишек. Забыты и многие другие замечательные происшествия. В памяти стерся ряд первых знакомств, встреч, вопросов — как, что, почему, откуда. Забыты первые вкусовые ощущения — от сахара, каши, горячего хлеба, щей. Иногда с каким-то скрытым любопытством выросший Петька подсматривал за маленькими детьми, стараясь распознать в них историю своего раннего детства.

III

Медленно уходила зима первого года революции. Петьке было уже семь лет. Сибирь лежала под сугробами снега. Только следы зверей и редкий лыжный след трогали сверкающую белизну безграничных пространств. Солнце подымалось все выше и выше. В Арктике кончилась полярная ночь. Это было начало 1918 года. Солнце обогревало землю. Снежная кора начала трескаться с глухим гулом. Он был похож на далекую канонаду.

Снег садился медленно, таял, чернел. Поля и дороги темнели. Ранние весенние ожидания тревожили все сущее. Бродили соки. Первые перелетные птицы показались с юго-запада. Они с той же энергией, с какой действовали люди, устраивали свою жизнь. Они отламывали и откусывали тонкие ветви, устраивали гнезда, кричали и совещались. Воздух теплел. Кругом была всепроникающая влажность. Бежали ручьи. Лужи отражали солнце. Возникали многоверстные блестящие озера. Их вода должна была скоро уйти в землю. Прошел первый дождь и разбил, придавил и растопил снег. Надувались пруды, темнел лед. От открытой земли поднимался пар. Тепло освобождало скованные морозом запахи почвы и воды. Боевыми треугольниками высоко в небе плыли журавли. Шли стаи лесных, степных и речных птиц. Жизнь мстила зимней тишине. Воздух наполнялся тысячами звуков. Капали капли. Шелестели кружившиеся в воздухе соломинки. Ползли, шлепались, шуршали насекомые.

Журчали ручьи. Со свистом рассекали воздух крылья птичьих стай. Каждая стая летела своим особенным полетом, по-своему кричала, по-своему шумела. Совершалось великое пробуждение и великое переселение.

Красноармейцы-крестьяне на полях сражений в скрытом трепете подымали к небу бледные свои лица, вдыхали весенний воздух и слушали весенние зовы. Для многих это были последние звуки в их жизни. По всей России прокатывались бои гражданской войны. Сраженные падали в теплую весеннюю грязь. Земля их принимала, всасывала и вводила в свой вечный кругооборот.

Полые воды стремились к низинам. Открытые и поднятые места высыхали. Птица шла в невероятных количествах, как бы неся с собой тепло юга. В воздухе стоял стон жизни, жадный и широкий.

Петька чуял этот нервный, возбуждающий шум даже ночью. Он просыпался, подходил к окну или выбегал на крыльцо и стоял с раскрытой грудью, подняв лицо.

Птицы садились везде — на берега, на кусты, в прогалины, по ручьям, лужам. Жизнь свистела, верещала, чирикала, пела, кричала. Петька стоял до рассвета. Иногда он невольно подражал птицам и тоже свистел — пронзительно, призывно.

Развертывался солнечный восемнадцатый год. Петька с ребятами ходил в лес, бродил в хвойном царстве. Они на ходу отколупывали смолу, срезали себе ветки на удилища, резали свистульки, срывали и жевали незрелые ягоды, лазили по деревьям и играли в партизан. Их босые ноги обнаруживали невероятную цепкость. Ребята осторожно перекликались, лазили почти до «вершинок», их руки и ноги действовали по-обезьяньи, и по-обезьяньи же они швыряли во «врага» шишками и сорванными ветками. Стайками ребята кочевали по мху. У ребят часто пропадала потребность в слове. Они обменивались лишь условными возгласами, эхо повторяло их таинственно и возбуждающе. Ребята иногда останавливались и, никем не наученные,

строили себе шалаши. Они располагались там ненадолго, изображая штаб, становище. Ребята маршировали, свистели, кувыркались, непроизвольно делали какие-то наблюдения, совещались, что-то запоминали, на ходу решали свои «тактические задачи», обходили несуществующего противника, окружали его и набрасывались на него с ревом.

Ребята продвигались сквозь лес, упоенные жизнью. В лесу все играло. Мальчишки шли и, отдыхая от игры в войну, передразнивая все встречное, чирикали, как птицы, пронзительно свистели. Их охватывало волнение, когда они нападали на какой-нибудь след. С раздутыми ноздрями, внюхиваясь, они пытались кого-то выследить. С опаской залезали и глядели в дупла — нет ли врага? Ложились на животы и заглядывали в норки, осторожно тыкали туда палками, готовые сорваться и умчаться при появлении неведомой опасности. Иногда неизвестно почему возникали необъяснимые страхи. Казалось, что кто-то приближается, и ребячья стая уносилась в сторону, назад, обуянная паникой.

В каждом предмете им чудилась тайна... Вдруг там клад или еще что-нибудь... Они пытались это проверить. Внезапно переворачивали камень, чтобы посмотреть, что под ним спрятано. Они находили в сырой придавленной выемке белые корешки, личинки червей.

Иногда кто-нибудь попадал в яму или в болотину. И тут Петька бросался на помощь, заглушая страх и растерянность. Мальчишкой двигал молниеносный взлет души, чувств и мыслей. И махонькое, в полтора аршина ростом, существо кидалось на помощь другу, неся в себе наивысшие зачатки героизма.

Ребята продирались сквозь чащу. С упорством преодолевали препятствия, помогали друг другу перелезть через огромные поваленные стволы, обходили опасные места, и вновь от ощущения абсолютного здоровья, от охватившего его восторга Петька орал во всю мочь легких и глотки.

Крики ребят разносились далеко, и дети — маленькие и безоружные создания — криком этим извещали всех обитателей леса о том, что их человеческая порода — самая властная на земле.

В одну из ночей в окно раздался стук. Проснулась мать, проснулся Петька. Стук повторился. От страха ночь стала еще темнее. Петька шепнул матери: «Не бойся», — кинулся к дверям и басом семилетнего мальчишки лениво-спокойно произнес: «Ну, чего там?» Тогда настоящий бас ответил: «Петинька, открывай». Мать узнала голос отца. Степан Соснов вернулся с войны. Петька повис на отце. И кислый запах влажной солдатской шинели вместе с радостью встречи навсегда запомнился мальчишке. Он крепко держал отца. Под рукой были какие-то сырые походные ремни, лямки, пряжки. Холодный металл неизвестного вида. И внимание и возбуждение Петьки постепенно повернулось к этим вещам. Неизвестно почему они казались сейчас интереснее отца. Петька ластился к отцу и, не отрываясь, глядел на его вещи.

Поправляя волосы, ахала, плакала и смеялась мать. Она вздула лампу. Отец стоял, отряхиваясь, с него бежала вода, он казался еще больше, чем был. Сибирская папаха лежала рядом с ним, как зверь.

Отец снял с себя мешок, шинель, обвел все глазами, подошел к стене, снял чье-то изображение и тут же разорвал. Мать ахнула. Отец загремел: «Чтоб духу его больше не было! Триста лет цари народ обманывали». Петька глядел испуганно, ничего не понимал. К изображению он привык и любил его даже больше бога. Бог за лампадкой был темный, а этот с усиками, с бородкой, лицо розовое, пиджак с золотом, ленты разные. Отец сидел за столом и рассказывал. Вокруг него хлопотала мать. Петька слушал и не понимал, но в общем был доволен и незаметно старался пощупать отцовский мешок — какие там обновы и гостинцы? Мать слушала, качала головой, поддакивала.

Петька впился глазами в отцовское ружье, которое было почти в два раза больше него. Петьке казалось, что кончик штыка блестел высоко под потолком. Он сказал: «Давай помогу», — глянул просяще в глаза отца, подошел к винтовке, обхватил ее. Запах кожи, дерева, стали, ружейного масла и порохового нагара окутал

Петьку. Он поволок винтовку, ставил ее в угол так и этак, присаживался перед ней на корточки, трогал ее пальцем, гладил по магазинной коробке, сообщал отцу, что «это курок». Отец все еще разамуничивался, снимал с себя три пуда снаряжения, выкладывал на стол, на пол и на лавки патронташи, темные грузные, подсумки, чем-то наполненные баклаги, тяжелый сухой мешок, крепкую острую австрийскую лопатку. Звякнул несколько раз и стал на лавку тяжко прокопченный помятый круглый медный котелок. Потом отец ощупал себя и осторожно вынул из карманов несколько ручных гранат.

Мать смотрела и по привычке прикидывала, куда что пойдет в хозяйство. Назначение многих предметов ей было неясно.

Степан был несловоохотлив. Сидел на лавке под образами и время от времени повторял: «Ну вот и отвоевались». Мать говорила: «Слава богу». Степан окидывал избу хозяйским взглядом, ел медленно, много, обтирая усы и бороду; пропускал женины вопросы и раздумывал свое, давнее и новое — о хозяйстве, о земле, о покупке кое-чего необходимого; о том, что привезенного куска подошвенной спиртовой кожи хватит года на два; о том, кто теперь заправляет в деревне. От еды делалось теплее. Планы казались вернее и осуществимее. Потом взгляд неизбежно остановился на жене. Он тихо и повелительно сказал ей: «Сядь». Она по голосу поняла, чего хочет муж, обрадовалась и застыдилась, прикрикнула на Петьку, чтобы он бросил ружье и шел спать. Петька полез на печку и начал там колдовать разные чудные колдовства про войну. Он видел себя с всамделишной винтовкой. Все ребята, вся деревня смотрят на него, а он идет, большой, помахивает винтовочкой. Все соседские завидуют, бегут за ним и просят: «Дай понести! Дай поддержать!» А Петька идет, стреляет, и все завидуют. Петька думал свои думы, нетерпеливые и звонкие. Чтобы никто не мешал и никто не слышал, он закрылся с головой и колдовал в темноте, вдыхая свое тепло, и иногда, для верности, произносил одному ему известные таинственные слова. Он слышал, как в деревне старухи колдуют и говорят, что если

хотеть и упорно твердить то, что хочешь, то так и получается. И Петька знал, что это так. Он иногда в траве лежал подолгу и твердил: «Жучок, выползи! Жучок, выползи!» — и жучок обязательно выползал.

Петька медленно погружался в счастливый мир — в сон, где все плавно передвигалось, смешивалось и расходилось, где раздавались приятные и удаленные звуки, где Петька неизменно был главным, центром всего происходящего. На нем была огромная сибирская папаха. Петька говорил людям, что вот отвоевались, а сам шел все вперед и стрелял. И птицы его не боялись, они летели в том же направлении, в котором шел Петька, и на грозные его выстрелы отвечали грозным криком. Петька шел, и люди шли за ним. Под ногами бежали ручьи. Льдины уносились с шипением и скрежетом. Петька шел, подняв лицо. Он перепрыгивал со льдины на льдину. За ним весело шли и перепрыгивали другие.

Петька не знал и не понимал, куда, с кем и для чего он во сне шагал по льдинам, для чего, закрывая солнце, с ним двигались птичьи армии, на какое восстание во сне поднимался Петька и с ним — вся жизнь. Петька этого не знал, но сон открывал ему что-то и оставлял какой-то едва уловимый след в его сознании.

Гражданская война неотвратимо входила всюду, но по-разному. И в снах Петьки, возникавших и таявших, как дым, война гремела уже по-новому. Ребенок ничего не знал, не понимал. События, которые в судорогах изменяли все сущее, были еще неведомы ребенку, но нечто новое вторгалось в его внутренний мир с подчиняющим могуществом, вторгалось в его детские сны.

И ничего, чего не было бы в жизни, не было в этих снах. Все было на месте, все было правильно. И да будет так с другими. В крови и в мозгу ребенка откладывалась сама жизнь. Она могущественно повторяла и воспроизводила себя в своей житейской устремленности, в своей великой подлинности. Российские шинельные и пороховые запахи должны были к нему прийти, — и они пришли.

В избе воцарился новый дух, порядок. Вернулся хозяин, поставил и разложил свои вещи, все подчинилось ему, глядели на него, ждали его, боялись и любили его. И мать и Петька понимали, что теперь будет правильная, настоящая жизнь. В деревне говорили, что теперь будет новый порядок, а самое главное — мужики возвращаются домой.

Петька мчался по лужам, перескакивая изгороди, сзывал ребят, блестя глазами, задыхаясь, размахивая руками, сообщал им самую важную на земле новость, что вернулся отец, у него ружье, пули и мешка три гостинцев. Некоторые скептики просили показать эти гостинцы. Петька высокомерно ронял: «Подождешь». Другие ребята орали, перебивая Петьку, что их отцы тоже вернулись и что один привез с собой такое, чему и названия нет. Ребята переглядывались, удивлялись, спорили. Петька напрягал всю свою фантазию для того, чтобы разгадать, что же такое могли привезти другие вернувшиеся мужики? Некоторые ребята извлекали подаренные или уворованные патроны. Они тут же, без сговора, по трудно определимым законам, находили свою котировку. Перед патроном сразу летели вниз такие ценности, как рыболовные крючья, форменные пуговицы, этикетки, карамельные бумажки, железные колышки и прочий товар. Ребята щупали показанный патрон, переворачивали его, объясняли друг другу, что вот сюда надо стукнуть гвоздиком или шильцем. Петька, оскорбленный и разъяренный невниманием к себе, к отцу и его (собственно говоря, наполовину отцовскому, наполовину Петькиному) ружью, обвел всех гневным взглядом и пошел домой. Он не бежал, а шел с отчаянной решимостью. Он вошел в избу, начал притворно заниматься какой-то ерундой и потом, когда отец вышел, а мать сажала горшки в печь, Петька расстегнул сумку отца и вынул оттуда темный, замеченный еще вчера предмет... Это была английская ручная граната образца 1917 года.

Петька взял ее и пошел к ребятам с решимостью и мстительностью. Дураки и молокососы! Хвастаюся пулей!.. Петька подошел к ребятам, которые не обращали на него внимания, плечом оттолкнул одного-второго, встал в середину и показал зажатый в кулаке предмет. Ребята затихли. Молчание было довольно длительным, потом раздалось несколько робких вопросов. Петька отвечал на них, отчаянно и самозабвенно врал. Приученные и приучившие себя проверять все опытом, ребята просили показать, как это стреляет. Петька сказал: «Делов-то, отец давеча стрелял». Потом поправился, сказал: «Мы с отцом давеча стреляли». И Петька небрежно пошевелил наружное устройство гранаты. Шеи вытянулись, Ребятам было ужасно интересно.

Дети не заметили и не слышали, как около них остановился молодой солдат — высокий, плечистый, с ясным лицом — Илья Кабанов. Простая казенная папаха висела у него на правом ухе. Он глянул на ребят и обомлел. Кровь отхлынула от его лица. Илья подошел к ребятам и крикнул им: «Здорово, сорочки дети. Бери на гостинцы». Он швырнул несколько медяков. Ребята заорали: «На шарап! На шарап!» Этот клич означал, что разрешается вольная борьба за добычу, борьба любыми способами. И ребятня кинулась за деньгами. Илья не сводил глаз с Петьки; он спокойно сжал его руку у запястья, вынул гранату и сказал: «Ну-ка, пойдем». Петька понял и пошел, готовый ко всему.

Он кликнул Петькиного отца, кивнул на мальчика, сказал: «Было бы делов...» — и отдал гранату отцу. Степан посмотрел на солдата, на гранату, на Петьку. Петька стоял, глядя исподлобья, и ждал, когда будут бить, но отец произнес: «Не доглядел я» — и пошел в избу прятать получше свой боезапас. Илья, усмехнувшись, подтолкнул Петьку: «Ну, вали, стрелок!»

VI

Отец наполнял всё вокруг такой деятельностью, что у Петьки одна за другой отлетали его ранние игры и увлечения. Он не отставал от отца. Следил за ним во все

глаза, запоминал его слова и поступки и подражал им. Он как-то незаметно изменял матери. В прошлом году он не отставал от нее, когда она весной вынула из чулана ряд мешочков. Это оказались огородные семена. Петька безошибочно узнал только горох. Он положил горошину в рот, стараясь ее раскусить. Она поддавалась туго. Жуя с усилием, он тут же жадно расспрашивал мать, заглядывая в другие мешочки: «А это что?» Мать объясняла, что это лук, морковь, капуста, огурцы. Петька глядел на маленькие светлые семена. Он был опарашен и недоумевал. Он подозревал, что мать, пожалуй, его обманывает, потому что морковка большая, красная, а капуста, известно, кочанами на грядках растет. А про лук и огурцы и говорить нечего: он их знал и ошибиться не мог. Мать перекапывала огород, Петька помогал ей делать ямки, вместе с матерью клал туда семена и, пришепывая что-то свое, засыпал ямки землей. Петька точно приметил, куда что положено, и настойчиво, каждое утро бегал смотреть и поливать. Ростки появились не сразу, а когда они появились, Петька подскочил. Он наклонился к ним, осторожно трогал пальцем и напряженно о чем-то думал. Петька среди дня иногда бросал игры и еду и мчался на огород проверять. Какие-то сомнения беспокоили его, и он решился раскопать землю под одним ростком. Он вытащил его осторожно, не дыша. Из разбухшего отмирающего семени вниз бежали волосинки, а вверх — белый стебелек. Петька разглядывал его сосредоточенно, весь притихнув.

Зелень на грядках ползла вверх и в стороны. Петька, никому не сообщая, вел свои наблюдения. Расцветали желтые цветы огурцов. Цветы усыхали, отпадали, появлялись крошечные продолговатые огурчики, зернисто-шероховатые. Петька, боясь чьих-то обманов, незаметно ставил щепочки и стеклышки, по которым замечал, — не прикасался ли кто-нибудь к его огурчикам. И всякий раз стеклышки и щепочки были на месте. Петька выбрасывал с гряд слизней, жуков, старался сделать еще страшнее пугало на средней грядке. Овощи вырастали. Под листьями появлялись большие темнозеленые крепкие и гладкие огурцы. Петька их ел с

хрустом, ему некогда было даже солить. Мать осматривала огурцы, оставляла некоторые, они постепенно светлели, желтели, потом приобретали густую рыжую окраску. Стебельки отсыхали. Мать обрывала их, раскладывала на солнце, разрезала и выдавливала семена. Петька наблюдал за ней и делал свои открытия.

Но вся эта жизнь, все эти открытия были совершенно заслонены появлением отца. Все, что он говорил и делал, не могло сравниться с тем, что говорила и делала мать. Во-первых, отец был сильнее. Петька, оцепенев от зависти и восторга, смотрел, как отец без промаха разносил в щепки огромный пенёк. Отец коротко хакал при каждом ударе. Щепки летели во все стороны, топор сверкал при каждом взмахе. Отец не оставил нетронутым ни одного уголка в хозяйстве. Он все пересмотрел, перебрал, прощупал, перепробовал. Он сидел днями и вечерами, починая инвентарь, и иногда что-то добродушно гудел в бороду. Петька старался ему помочь, таскал за ним то, что мог поднять, иногда задыхался от тяжести. Тогда отец брал его одной рукой и легко нес по воздуху вместе с его грузом. Петька хохотал. Отец посмеивался и ласково давал шлепка. Отец оттеснил Петькиных друзей. Петька думал об отце все время. Иногда, когда никого не было в избе, Петька взбирался на лавку или на стол и басом гудел по-отцовски в бороду. Петька не сразу научился разговаривать с отцом. Он как-то стеснялся его, а потом стал привыкать. Степан был всегда ласков и серьезен. Он не отсылал сына прочь, и объяснения его врезались в Петькино сознание и душу до самой глубины. Иногда взгляд отца останавливался на сыне. Отец вслушивался в горячие и пытливые распросы мальчишки.

Однажды оба сидели на солнце. Апрельский день был полон радостной тишины. Петька спросил отца, куда он уезжал, где был. Отец ответил, что был в солдатах, потом помолчал, поглядел на сына и не то шутя, не то серьезно громким казенным голосом произнес: «Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется как первейший генерал, равно и последний ниж-

ний чин». Он посмотрел на сына и прибавил: «Положим, врут. Солдат это, сынок, был самый нижний чин. Ниже уже нельзя. Земля не принимала. А царских генералов, сынок, теперь быют». Петька спросил: «А за что быют?» Отец помолчал, потом ответил: «За бесполезность и жестокость их быют». Петька не совсем понял, но запомнил.

И в тихих беседах, — пока крепкие, умелые и проворные руки делали массу слесарных, плотничьих, шорных, печных, земляных и прочих дел, — Петьке открывался впервые мир, который был расположен за деревней, пожалуй — за лесом. Именно в сторону леса когда-то ушел отец и другие мужики-солдаты.

Степан рассказывал про германскую войну, и Петька, все больше привыкая к отцу и любя его все беспредельнее и самозабвеннее, останавливал его и сыпал свои «а как?», «а почему?», «а зачем?», «а ты что?» И, вероятно, поддаваясь этому натиску, отец рассказывал о себе и о людях вещи, которые он не умел рассказывать другим. Петька спрашивал о назначении каждого предмета, который привез с собой отец, и теребил его так ласково и настойчиво, что тот не мог ему отказать. Петька просил и молил достать ружье и показать, как стреляют. Отец отнекивался и говорил: «Вот уж осенью будем охотиться». А Петька требовал показать сейчас. Отец вынес винтовку — она сверкала от смазки. И Петька увидел преображение отца: он вырос еще на несколько вершков, его грудь и плечи раздались. Зычным голосом, который раскатился по деревне, он подавал старые российские воинские команды. Винтовка летала в руках отца. Она коротко шлепалась по ладони. Острие четырехгранного штыка со свистом прорезало воздух. Затвор работал с молниеносной быстротой. Отец разил кого-то на предельных дистанциях, ловя воображаемого врага сибирским охотничьим взглядом.

Потом отец сел на приступку у крыльца и сказал, что теперь свобода, и с этим кончено, и должно быть братство, и что довольно — навоевались. Петька был согласен с этим, но он весь внутренне трепетал от зрелища, которое промелькнуло перед его глазами.

Земля высыхала.

Степан работал все живее, возбужденнее. Он начал пересыпать и очищать зерно, он делал это по нескольку раз, рассматривал и выбрасывал испорченное и всякие примеси. У Петьки были новые радостные и волнительные заботы. Он мотался за отцом, пересыпал с ним зерно, подбрасывал его на ладони, рассматривал, как отец, и, играя, все дальше и глубже входил в жизнь. Отец глядел на него, спокойно приучал сына к нужным крестьянским делам и обычаям. О том, что происходило где-то за пределами деревни, Петька не знал. Он иногда слышал какие-то разговоры, непонятные или мало-понятные. Он не вникал в них.

Народ знал когда распустиятся листья на березе, когда птицы прилетят, когда на полях появятся кроты, когда рыба заиграет. Все видимые явления природы ставились в органическую связь, и древний крестьянский опыт учил в них разбираться. Отец рассказывал Петьке о разных приметах, и он удивлялся им и запоминал.

В поле Степан вышел рано, одним из первых. Стали у борозды. Конь фыркал и мотал головой. Степан окинул взглядом радостные просторы земли, вздохнул и сказал: «Н-ну!» Тогда Петька не знал, какие чувства и мысли соединились в этом «н-ну», какие планы и ожидания. Степан еще тайл свои мечты. Он медленно присматривался и прислушивался к людям, проверял их по несколько раз на разных малых, средних и больших испытаниях — кого словом, кого чувством, кого делом. У Степана была вызревшая жизненная потребность найти верных людей, связаться всем поручкой, компанейски закупить семена, переделить землю, построить кое-что новое, купить паровую молотилку, сеялок, жнеек и показать народу, что для начала так будет лучше. И он прикидывал, как сеялка махом ровно засеет в день десятин по двенадцать, а то и более. Новые возможности и вера в людей — оттесняли сомнения.

Степан вспоминал, каким стал народ, когда его враз двинуло большое объединяющее чувство, цель. Вспоминал первый митинг на Юго-западном фронте, когда полк стоял построенный и солдаты ничего не знали и боялись. Вспоминал, как офицеры тусклыми головами сообщили о свержении Николая и как, наконец, растолкав всех, вышел один солдат, стал на колени, положил шапку на землю и сказал: «Двадцать лет я ждал, что народ себя поймет. Теперь свершается, и вы, братцы, теперь ничего не бойтесь. Долой самодержавие!» Ряды смешались. В некоторых ротах зашумели «ура», потом «ура» загремело по всему полку. Солдат поднялся, кинул свою фуражку вверх. «Ура» загремело еще сильнее. Оно шло откуда-то из народных недр, потрясая самих кричащих, и тогда офицеры, побледнев и став «смирно», приложили руки к фуражкам. И полк, никем не обученный петь, запел запрещенную песнь «Вставай, подымайся, рабочий народ». Пели и плакали от старого горя, от всех невысказанных обид и от нахлынувшей, все затопившей радости и надежды.

И в несколько коротких секунд,— сейчас, здесь, у земли, у клина, который надо было вспахать,— Степан все это увидел и вновь пережил. Это было самое главное, неотступное. И из душевных глубин тихо подымалось, наконец, еще более сокровенное — мечта о будущем. Давняя мечта И увидел Степан, как весь народ выйдет на поле. Выйдут деревня за деревней и так — вся Россия, под какой-то торжественный звон и музыку. Выйдут и стар и млад и начнут работать. Работать день и ночь, и день и ночь, и день и ночь — истово, честно, с великим тщанием. Работать — пока не кончат, пахоту ли, сев ли, сенокос ли, уборку ли. Есть всем досыта, по многу семей разом. А дома будут стоять пустые и незапертые, потому что кругом все свои и ничего ни от кого запирать не нужно. И виделось Степану: то солнце, то месяц освещает работающий народ, который разом мог перевернуть запашные земли, прорубить просеки, проложить дорогу или прокопать новый ход реке. Девки волят хороводы, все живут на вольном воздухе, и не слышно брани. Хлеба стоят высокие. Промеж них не видно людей, и над хлебами двигаются только

алые флаги. Рядами идут жнецы и жницы. Рядами идут жнейки. Хлебу не дают осыпаться, складывают его. Потом весь народ собирается и всё торжественно делят поровну, на каждую душу равную часть, потому что каждая душа имеет одинаковое право.

Степан думал об этих будущих временах и об этой жизни, окидывая взором земельные дали, и сказал всего-навсего: «Н-ну!» — только лишь этим отметив великий почин, в который он верил.

Он крикнул. Постромки натянулись, конь двинулся вперед, плужный нож и лемех взрезали пласт земли. Петька шел рядом. Отец шагал ровно, нажимая на ручки плуга. Земляной пласт, жирный и сочный, зашевелился под нажимом плуга как живой. И Петька, зачарованный, дивился и силе отца и ровному ходу взрезанной земли. Она бежала как волна. Подрезанный пласт неуловимо быстро скользил по металлу, спиралевидно изменяя положение, приподымался, становился отвесно и с шорохом ложился опять. Отвалы земли блестели. Петька глядел на этот нескончаемый поток — струю земли. Иногда отец усиливал нажим, встряхивал плуг. Отточенный, постепенно нагревающийся металл перерезал корни, их упругие сплетения и переворачивал запущенную и заброшенную почву. Рубаха отца темнела от пота. Отец шел молча, и Петька понял, что в такие минуты разговаривать нельзя.

Дни проходили в поле. На огромных пространствах отдельными точками двигались землепашцы, не сходясь друг с другом и не разговаривая. Труд уходил в землю, напряженный и истовый. Земля разрыхлялась, выравнивалась под зубьями борон. Ее готовили к севу. Только вечером, когда отец отдыхал, ужинал и, как всегда, много и молча ел, Петька имел возможность задать свои вопросы. Его интересовала работа, ее ход, последовательность; почему хлеб сам не растет, а трава растет. И отец, как мог, объяснял сыну, что почва — это главный капитал. Так впервые Петька услышал это слово. Оно ему понравилось, и он повторял: «Капитал... Капитал». Отец говорил, что земля все питает, на ней

все самородное и что человек отобрал то, что ему нужно, и сеет. Петька это понял, он уже знал, как мать сажала в огороде.

Сеять начал отец в безветренное утро. На телеге лежали мешки с зерном. Отец насыпал себе сколько нужно было и тронулся широким замедленным шагом. Он сеял правой рукой, вразброс. Петька бежал рядом и смотрел, как ровно и точно ложатся зерна. Над полями вились птицы. Петька хотел крикнуть отцу, что они будут клевать зерно, но крикнуть не решился и только поглядывал на птиц, враждебно и беспокойно. Отец все шел и шел. За ним оставался крупный ровный след. Петька хотел бежать по этому следу, но ноги тонули в нем. Он прыгнул, но не мог допрыгнуть и, решив, что баловать нельзя, пошел рядом, готовый выполнить любое приказание отца.

Когда отец взял новую меру зерна, Петька спросил его, не склюют ли его птицы. Отец сказал, что зерно не пропадет, что его еще будут заделывать. И Петька, довольный, носился по полю, возвращался к телеге у борозды — хотел принести пользу, снова перебирал зерно, вытаскивал оттуда песчинки и черные крошечные зернышки.

В один из этих весенних дней, переполненный доверием и любовью, он слушал отца. Тот ему рассказывал смешные солдатские сказки. Петька наслаждался и хохотал, отец погромыхивал в бороду, и Петька представлял, что все это случилось с отцом и что отец, понятно, оказался всех сильнее, и умнее, и хитрее.

Петька заливался счастливо, и глаза его смотрели в глаза отца, ясные-ясные. И разговаривали они, как два друга, как два давних знакомых. Петька выкладывал отцу свои соображения, делился новостями — о том, что соседка, тетка Аграфена, скоро родит, о том, что хромой Яшка-инвалид самогонку гонит, о том, что ребята гнездо замечательное нашли, о том, что Петьке надо бы ружьишко сделать, хотя бы малое. Отец слушал, пряча улыбку. По поводу Аграфены Петька внезапно спросил отца: «А почему родят?» Отец сказал, что так уж устроено, так живут люди...

Петька спросил: «А откуда люди?» Степан малость

призадумался, потом сказал: «Есть такое объяснение... Человек из земли сделан, кровь от воды-моря, кость от камня, волосы от травы, жилы от корней, глаза от солнца, а мысль — от ветра». Петьке это показалось поразительным и необыкновенным. Отец говорил не спеша, задумываясь над всем, осторожно нащупывая слова, — о том, что люди сотворены действительно из разного материала, и сам в это верил. Петька его перебил и спросил: «А зачем?» Отец ответил: «Чтоб жить, работать, радоваться». Это было понятно, но в этом чего-то не хватало. Чего — Петька понять не мог.

Сев уже был кончен, и в теплой влажной земле семена уже начинали прорастать. В хозяйстве были новые заботы. Петька отдавался им всецело, и мать похваливала сына, радуясь его детской деловитости и тому, что он как будто перестал драться и вообще баловать и озорничать.

Как-то невзначай, в разговоре, Степан сказал, что видел самолеты, видел летающих людей. Петька застыл. Потом переспросил несколько раз. И отец просто, но не очень точно, рассказал о том, как над окопами поднимают на веревке на целую версту вверх «колбасу» с наблюдателем — воздушный шар, и как летают самолеты, и как их обстреливают шрапнелью. Петька бросил ложку, слушал. Отец кончил рассказывать, а Петька, не доев, тихо ускользнул и ушел на зады за сарай, сел там и все думал. Потом сорвался, кинулся к ребятам, рассказал им массу вещей о воздушных шарах, «колбасах», шрапнелях и самолетах. Ребята слушали. Потом Петька сказал, что он покажет, как летать. Выбрал трех и ушел с ними куда-то в полном секрете. Они мастерили змея, утащив из хозяйства щепки, веревки и несколько бумажных обрывков. Когда змей был готов, они выволокли его наружу. Сбежались ребята. Петька серьезно посмотрел на небо, прикинул, на какую высоту он полетит, и начал пробовать змея против ветра. Змей, дрожа и трепеща, поднимался на несколько саженей, бечева натягивалась и вибрировала, мочальный хвост развеивался. Ребята с усилием подтянули

змея вниз. Петька сказал, что сейчас полетит, взялся за змея обеими руками. Змей не подымался. Петька сделал несколько прыжков, споткнулся, шлепнулся, — змей взвился вверх. Ребята кричали и смеялись над Петькой, срамили его. Первому подвернувшемуся Петька дал по зубам и мрачно поплелся домой. Он не разговаривал ни с отцом, ни с матерью и поглощенно думал о том, как летать. Птицы кружились в воздухе. У Петьки мелькнули какие-то мысли; он схватил камень, с силой запустил им в птицу. Камень просвистел мимо. Торопясь, срываясь, он влез на дерево, нашел гнездо. Птицы там не было, лежали только яички. Одно он проткнул. Из продавленного яичка потекла слизь. Вокруг гнезда, тревожно крича, летали самец и самка. Палкой Петька сшиб самку, схватил теплое птичье тело, побежал за сарай, разглядывал птицу, раздвигал и сдвигал ее крылья. Раздвинув, подбрасывал в воздух. Птица безжизненно падала. Петька задумчиво повозился с ней и выкинул ее. Потом полез на сеновал, встал, расправил руки, оглянулся. Кругом никого не было. Петька приподнял руки, растопырил пальцы, сделал несколько взмахов, набрал воздуха в легкие и прыгнул вверх, но полетел вниз, стукнулся. Потирая ушибленные места, полез снова вверх. И так он прыгал раз за разом, все ища секрета. Но секрет не давался. Мальчишка, испарянный и грязный, сидел внизу, забившись в крапивную глушь, сидел нахохленный, злой и упрямый. Золотисто-зеленый жук полз мимо. В воздухе неподвижно висели сине-зеленые стрекозы. Петька глядел на них. Вдруг он с необычайной быстротой схватил жука, пальцем расковырял ему верхние крылья. Жук пытался взлететь. Петька держал его за лапки, разглядывал жука, оборвал ему крылья, потом, еще раз оглянувшись и зажужжав, сделал еще одну попытку лететь. Она не удалась. Тогда Петька вернулся на сеновал и решил попробовать лететь, как ястреб, не шевеля крыльями, парить, делая круги и испуская короткий крик. Петька раскинул руки, издал ястребиный крик и начал парить. Он сильно стукнулся головой об землю. Слезы показались на глазах, в ушах гудело и звенело. Петька молчал, терпел.

Мальчишка бился над разрешением самой сложной и совершенной формы движения. Он искал ее полусознательно, полусознательно же осудив хождение, прыгание, бегание и плавание — как низшие формы движения.

Петька бился днями, никому ничего не показывая, не рассказывая, поддерживая с отцом и матерью искусственно бодрые разговоры на другие темы. Петька в несколько дней сделал целый ряд проб и изобретений. Он украл у матери наволочку, намочил ее и надул, как пузырь. Наволочка, к сожалению, не летала. Петька пробовал прыгать с ней, но и это не помогало. Петька взлетал по ветру и против ветра. Он иногда по минуте висел на верхней перекладине лестницы у сарая. Ему казалось, что вот-вот он полетит. Иногда он пытался взлететь прямо с земли, часто взмахивая руками и подпрыгивая. Полета не получалось.

Но Петька был вознагражден: в одну из ночей он полетел во сне. Это случилось просто: он расправил руки, сделал несколько движений, каких — он не помнил, и взлетел, бесшумно, очень плавно. Полет был упоителен. Петька кружил в воздухе над деревней, парил, иногда останавливался. Сверху ему было видно все. Он отыскивал что-то важное, преследовал добычу, кого-то спасал от врагов, свободно преодолевал препятствия, двигался, подхваченный потоками воздуха, улетал куда-то к лесу и даже за лес. Земля расстилалась под ним. Внизу ровным крупным шагом шел отец. Жирная земля скользила с лемеха. Отец глядел вверх, качал головой и спрашивал: «Как же ты туда забрался, сынок?»

Этот сон Петька запомнил навсегда. Он в памяти остался вторым важным событием в его жизни.

VIII

В один из дней народ собрался в пожарнице — в большом сарае. Там стояли, говорили, спорили. Через несколько дней Степан отправил сына в школу. Мать давала ему с собой хлеба и вареной картошки. Учитель что-то объяснял ребятам, но Петька ничего не ценил.

Как-то раз отец спросил: «Ну, как, грамотей, дела?» Петька не сумел ответить. Отец велел ему прочесть по книжке. Петька стоял молча. Отец загремел: «Чему учат, сволочи!» — и начал учить сына сам, тыкая пальцем в букварь, дыша прямо в ухо и гремя: «Аз — буки». Потом допытывался у Петьки, что им объяснял учитель. Петька лепетал что-то неясное. «Теперь народ пришел к власти, и учителей сами учить будем», — сказал отец. Петька кое-что уже понимал: народ — это мужики, отец и обязательно он — Петька...

Однажды Степан долго одевался, взял шапку и собрался уходить. Петька допытывался — куда, сразу учуяв что-то особенное. Отец усмехнулся, посмотрел на сына: «Мал еще. Не поймешь... Спектакль у нас». Это имя Петька не слыхивал и спросил, откуда он, спектакль, приехал и кто таков? Степан засмеялся и ушел. Петька обиды не показал, но пошел следом за отцом в пожарницу, потому что теперь, когда кто-нибудь приезжал на село, все сходились в пожарницу слушать. Петька пробрался со всеми и увидел спектакль. Он зажмурился. Неровно забилося сердце. Тридцать ламп стояли на полу, все было залито светом. Народ не дышал. Это было в сто раз интереснее, чем в церкви. Мать таскала в церковь и зимой, было очень холодно, мать заставляла стоять на коленях. Богатые были в тулупах, им было легче, а Петьке приходилось дуть в кулаки. Поп пел «спаси, господи». Петька раз догадался про себя попросить бога сделать так, чтобы не было холодно, но ничего не получилось. И с церковью у Петьки было связано представление о холоде и о двух скучных поющих стариках. А тут, в пожарнице, было тепло и необычно: двигались и говорили люди, каких он никогда в жизни не видел, у них были большие сверкающие глаза, они говорили по-особенному. Один прижимал руки к груди, потом растопырил пальцы и не то запел, не то заговорил. Петька понял, что этот, как отец, грозит обманщикам, и проникся сразу доверием. Замирая и не замечая, что у него самого так же сверкают глаза и сжимаются кулаки, слушал говорившего. Это, навер-

ное, и был приехавший человек по имени Спектакль. Потом вышла женщина. Таких отроду не видавали! Одних лент на ней было больше, чем у матери в сундуке; над головой у нее все блистало; сама она была толстая, красивая. Люди ей все кланялись, а она им отвечала. Одну руку держала за спиной, потом как вынет — и в руке красный флаг, большой, раз в десять больше, чем повесили на пожарнице. Впереди двое стали хлопать руками, другие на них глядели и не знали, с чего бы это? Тогда учитель высунулся сбоку из-за занавески, сказал, что можно хлопать всем. Все послушно стали хлопать. Красавица с красным флагом сделала два шага вперед и поклонилась. Потом занавеску задержали. Петька все-таки заметил, что она не сама задержулась, а что там была чья-то рука.

Расходясь по домам, все возбужденно говорили, кричали. Петька допытывался, откуда такие приехали, бежал домой, перебивал отца. Дома все рассказал матери, мать качала головой. Отец довольно говорил: «Так, так». В эту ночь Петька долго не мог заснуть.

Утром Петька пытался все вспомнить, но было трудно, что-то ускользнуло. Пошел в пожарницу, открыл дверь, думая вновь увидеть вчерашнее, но там уже никого не было, — все исчезло неизвестно как и куда.

IX

Дни шли обыкновенной чередой. Петька учился грамоте. Шли ребячьи баталии. Мальчишки с неистовым жаром ходили на снежные крепости, срывались вниз, давили друг друга и иногда, разъярясь от неизвестных причин, дрались до крови. Сцеплялись, как волчата, кусались, царапались, рвали друг на друге одежку. Дома их лупили за порванное и за озорство. Притихшие, вспухшие, шмыгая носом, вихрастые воины сидели, забившись по углам, пылая обидой и жаждой мщения.

Школа тогда то закрывалась, то открывалась. Учитель говорил, что нет дров. Петька спросил отца: «Тятя, почему нету дров?» Отец махнул рукой. Петька не мог докопаться до причины исчезновения дров. Сибирские

леса стояли кругом, а дров не было. Учились в холоде, учитель приходил в тулупе, папахе, варежках и валенках. Ребята, высунув красные мокрые носики из платков и башлыков, следили за учителем. Он ходил из угла в угол, гудел что-то сквозь пар, говорил о белых и красных, и Петьке рисовались откуда-то бредущие белые и красные и вспоминалась холодная ночь, когда первый раз в жизни что-то происходило, а что — он не мог вспомнить.

За окнами вдруг побежал народ. Учитель подошел к окну, подышал на него и в оттаявший кружок что-то увидел. Ребята прилипли к окну рядом, буравили лед своими пальчиками. Учитель торопливо пошел к двери. Ребята кинулись за ним, выскочили на улицу. Толпа шумела: «Взяли чорта!» Одни глядели из подворотни, другие испуганно уходили в сторону. Ребята увидели, как солдаты вели арестованного лавочника. Они кинулись в толпу, глазенки бегали по всем сторонам. Толпа валила к дому лавочника. Вперед вырвалась какая-то женщина и закричала: «Сыновей, сыновей его берите!» Трое парней кинулось в дом на чердак, кто-то полез в погреба. В доме распахивались двери, пар валил клубами; выносили посуду, мебель, одежду, сундуки, образа. Петька увидел изображение царя и чуть не подпрыгнул — значит, и лавочник был обманщиком. По всему двору разметались солома и сено. Лавочник тихо и спокойно ходил, подбирал оброненные вещи и покорно отдавал их мужикам. Три красавицы-молodiцы из лавочниковой семьи стояли молча, рядом. Ребятишки носились по всему дому, радуясь событию, помогали тащить вещи. Мужики их гоняли.

Дом опустел с поражающей быстротой. Лавочник попросил «посмотреть и поклониться». Одна из молодежи заголосила. Лавочник одним взглядом заставил ее умолкнуть. Дом был пуст... Солдаты торопили... Лавочника посадили в сани и повезли в уезд.

Петька с ватагой кинулись обратно. Ребятишки орала, назвали одного парнишку лавочником и запихнули его в класс. Потом подошли, открыли дверь, объявили ему, чтобы он собирался в уезд, и стали выносить из класса все до последней чернильницы. Петька с пал-

кой ходил вокруг да около, просил «поторапливаться». Вошедший учитель накричал, велел сейчас же поставить все на место и назвал ребят безобразниками.

Степан не работал все время. Жаловался жене, что податься на заработки некуда — ни в Нижний Тагил, ни на Ирбитский завод, ни в Тавду на лесозаготовки. До войны отец туда ездил каждую осень и возвращался к весне. Теперь почему-то ездить перестал. Иногда отец пропадал. Петька видел, как он собирался, что-то прятал под рубахой; иногда подолгу пропадал. Петька ждал гостинцев, но их не было. Школа была закрыта. Мать пряла все время при свете лучины. Петька баловался, тоже зажег себе лучинку, — отец отодрал его за вихры.

Как-то отец, за занавеской, говорил с матерью. Мать всхлипывала.

Степан собрал мужиков в церковь и долго с ними спорил. Мужики стояли и думали свою думу. Потом целовали крест и ушли со Степаном в красные партизаны.

Х

После очередного перерыва школа опять открылась. Пришел незнакомый учитель, велел какой-то «закон божий» учить, а новый сторож не давал бегать и ругался: «У, красное семя» — и бил ребятишек ремнем.

Иногда к матери приходили и сердито спрашивали, где отец. Мать говорила, что уехал за солью. Тогда же Петька слышал имя «Колчак» — его боялись. Мать брала сына с собой в поле и заставляла работать. Петька пас скотину, косил, жал. Мать сама ему показывала, как надо работать, часто останавливалась, вздыхала, прикладывала руку к животу. Вдвоем — мать и Петька — бились на поле. Петька граблями и руками собирал колосья, потом на молотье гонял коней. Петька спрашивал мать, где отец, когда он вернется? Мать сказала, что один Христос знает. Но у Христа узнать было трудно, Петька не умел.

Когда работали в поле,— вдали, где-то за лесом; урчало и гремело. Петька глядел на небо. Ему рассказывали, что это Илья-пророк на колеснице по облакам и тучам катается и что человек, если он ведет праведную жизнь, может Илью увидеть и даже с ним прокатиться. Мать сказала, что это не Илья, а бой идет. Петька не знал, кому верить, но среди ребят были такие, которые тоже говорили, что бой идет.

Как-то утром, выбежав босиком на улицу, Петька кликнул ребятишек и помчался со звонко орущей ордой, с собачьим эскортом, через плетни и заборы, через огороды, через лужи, канавы — в лес. Вдруг Петька вдали заметил конных. Ребята остановились. Конные исчезли. Это были первые, увиденные в жизни «настоящие» солдаты, но кто они были — так и осталось неизвестным. И мать не знала.

В избе попрятали все, что могли; мать выносила вещи в огород, а Петька помогал ей закапывать и одежду, и посуду, и разный другой скарб. Мать высохла. Глаза у нее стали красными — целые вечера и ночи пряла. В деревне все ходили в домотканном. Куда-то подевались ситцы, и ребятишки бегали в рубашках из конопли — жестких, колючих. Сапожки мать и вовсе отобрала.

ХІ

Несколько дней подряд снова ухало и гремело. Потом слышали шум и крики: «Пришли красные!»

У Петьки сжалось сердце, он глянул на мать; мать выскочила на крыльцо, Петька за ней... У крыльца стояли всадники, с телеги слезал отец. Он запрыгал на одной ноге к дому, другая была замотана. Мать повисла на отце, он пошатнулся, чуть не упал. Народ шумел, хлопотал...

На пожарнице уже прилаживали красный флаг. Ребята бегали по деревне, свистели, ходили следом за партизанами. Заметив на их шапках красные нашивки, повешали и на себя разные красные тряпочки.

В избу к Степану стал приходить народ. Степан говорил, что «будем землеустраиваться». Всех уди-

вило, что с красными вернулся и лавочник. Петька понял, что лавочник больше не обманывает и что его простили.

Отец сидел дома из-за раненой ноги. Мать грела воду, стирала тряпки и бинты. На рану клали какую-то присыпку, в избе пахло, как у фельдшера. К отцу приезжали из волости, приходили ходоки, иногда среди ночи раздавались стуки в окно. Из разговоров Петька понял, что будут «прирезать землю», заберут ее — часть у попа, часть у помещика. Ребята друг с другом спорили, чей тятка получит больше. У кого было земли на восемнадцать баллов, у кого на пятнадцать, а у кого и на десять. И когда зашел спор между ребятами; Петька разбил в кровь нос своему приятелю, который еказал, что «ты — голь». Петька сел ему верхом на грудь, долбил его коленкой и кричал: «Врешь!»

Приехал землемер. У него были большущие сапоги и разные желтые ящики. Попа тоже привели в поле и велели ему для верности благословить передел земли, а поп вздыхал и просил его не обижать. Попу сказали, что все равно и так прокормится, сам ведь никогда на земле не работал. В поле ставили колышки, в лесу вырубали молодой ельник, так как землемеру нужны были шести. Он ставил трубу на треноги, ладошкой показывал — направо или налево, потом махал шапкой сверху вниз, и тут мужики вбивали колья. У мужиков зашел спор, один схватил кол, другой — деревянный шест. Народ заорал, слышно было: «Моего не трожь!» — шест свистнул и пошла драка. Степан заковылял разнимать. Ребятишки стояли испуганные. Мужики дрались упорно, размахивали кулаками, били друг друга кольями. На шум сбегались бабы... Кто-то стонал, кто-то отбегал в сторону, а отбежав шагов на двадцать, с интересом смотрел на побоище. Степан призывал к порядку. Его не слушали. Он постоял, подумал и своим зычным голосом скомандовал по-военному: «Станови-и-ись! Сми-ирно!» Мужики растерялись, прекратили драку, многие стали вытирать кровь, обдергивать на себе рубашки и по привычке искать глазами правофлангового. Правофланговый бросил кол и стал «прямо». К нему подравнивались остальные, по привычке, как

«в партизанах». Степан заковылял к строю и начал честить мужиков, указывая на попа и спрашивая: «На чью радость друг друга кольями чешете?» Мужики стояли смущенные, оборванные, в синяках и кровоподтеках.

Петька не сводил с отца глаз. Степан ходил перед мужиками, ветер развевал его бороду. Он гремел и потрясал клюкой. Петька подумал, что, наверно, вот так отец ходил и в бою, когда все громыхало. Петька подобрал жердь и пошел, хромая, как отец. Ему хотелось тоже погромыхать...

В деревню возвращались демобилизованные, в странных шапках, с красными нашивками на шинелях.

Мужики варили брагу и пили по два-три дня подряд. Запрягали коней, разукрашивали их, ездили друг к другу в гости.

Кузнец, церковный староста, лавочник, еще двое-трое ходили из избы в избу, о чем-то под шумок говорили с народом...

У матери Петьки тогда было много хлопот: и варить, и печь, и шить, и вино гнать из хлеба да из рябины. Отец звал гостей, пили весело. Отец пил, не морщился, утирал усы и бороду, гремел, что свое взяли, земля есть, вода есть, теперь мост построим, новую пожарницу поставим; хлопал по столу так, что посуда подскакивала и дрожал студень. Красноармейцы и партизаны заводили песни и пляс. Петька смотрел. Его всего жгло, было отчаянно весело... Он выбегал в сени, поводил и тряс плечами и бил босыми ногами по грязному полу. Эх, жги, говори! Красноармеец Илья, веселый и ясный, вышел в сени. Прислонился к косяку, восхищенно посмотрел на Петьку, потом сгреб его, поцеловал: «Милоч!»

Жизнь становилась праздничной. В одной избе открыли красный уголок. Народу понашло туда множество! Все было украшено красной материей, елками и вырезанными из бумаги зубчиками. Открывал красноармеец Илья. Когда народ малость подзатих, он

поздравил всех с победой, с объединением пролетариев и крестьян всех стран.

— Читайте, граждане, все, что хотите — привез вам все, что удалось взять. Забрал книги в усадьбе. Некоторые, скажу прямо, сто лет стояли у помещиков нераскрытые. На кой же ляд так поступать? Как собака на сене. Читайте, граждане, газеты, а то что же вы до этого времени читали?

В углу были наложены связки разных газет за два-три года, которые понабрал где только мог красноармеец Илья. Он таскал их на своем горбу из поместья, из уезда. Ходил за десятки верст на станцию, выпрашивал в агитпункте. И народ стал читать газеты за разные годы — и «Бедноту», и «Правду», и «Новое время», где описывалось про победы и поражения русской армии, про революцию и про все прочее...

Красноармеец Илья читал вслух. Часто он сам не понимал того, что читал, а еще чаще не понимали другие, но слушали, не шелохнувшись, ибо в руках Ильи была бумага и слова были как новая проповедь.

К красноармейцу стали приходиться с разных сторон. Ребята мчались к нему прямо из школы, лишь наскоро похлебав дома щей. Красноармеец рассказывал необыкновенные истории. Ребята, сбившись, сидели в жаркой комнате. Они смотрели на Илью, который держал книгу, малость покачивался и чуть нараспев читал про товарищей, которые в огненном кольце, и про гадов, которым еще рано торжествовать. Иногда Илья останавливался, переводил дух, что-то вспоминал и, вновь загоревшись, читал чуть нараспев стихи. И ребят увлекал их еще не понятный им смысл, их широкий ритм, который катился вечерними волнами и перехлестывал куда-то за дальние края. Новые миры открывались ребятам. В ночной тьме грозно бежали события, которые носили торжественное и не совсем понятное название «Гражданская война». Иногда Илья закрывал книгу и возбужденно, стараясь говорить понятно, рассказывал про далекий Крым, про ночь, в которую «нас окружили». И ребята чувствовали, что они окружены, и что со всех сторон, за окнами их поджидают «колчаки», и что кого-то из них убьют, кого-то уведут. А боец возвышал голос

и говорил, что они в ту ночь собрались все, поставили граммофон, завели пластинку про огненное кольцо, — и всю ночь победоносно звучали неустрашимые слова, подымая дух батальона... К утру, к чортовой матери, прорвали кольцо! Петьке тоже хотелось слушать пластинку, итти ночью с батальонами, впереди которых клюкой размахивал бы его отец, бежать вперед и бить «колчаков» с хода, коленом в грудь.

После чтения и рассказов ребята, уже не боясь, выбегали в ночную тьму, орали запомнившиеся слова, неожиданно соединяя их в поразительном ритме... По деревне проносилась будущая армия.

XII

Мирное лето цепенело жарой над Поволжьем, За-волжьем и Западной Сибирью. Первые зеленые всходы первого мирного года поднялись к небу, полные всех соков земли. Но солнце спалило их... Не было дождей... Пыльные дороги пересекали страну. Почва начала трескаться, травы серели и желтели. В мучительной, отчаянной борьбе, вытягивая последние остатки влаги, вырастали хилые колосья. Спаленная гречиха лежала на полях сухим бурым покровом. Скот тощал.

По деревне пошли темные слухи. Говорили, что дождь задерживает покойник-опойца. Ночью несколько человек пошли на кладбище, вырыли полуразложившийся труп, воткнули в него кол и ушли. Утром все ждали дождя, из-под ладони глядели на небо. Оно было знойным и желто-серым...

Дни проходили без дождей... Последние запасы хлеба истощились. Бледные и апатичные люди приходили в Совет, жаловались Степану на голод, медленно произнося слова — им было все труднее и труднее говорить. Женщины по целым дням неподвижно сидели на завалинках. У одной плакал младенец, мать совала ему высыхающую грудь. Младенец отталкивал пустую грудь и беспомощно призывно шевелил ручкой... Люди заболели цынгой... У них краснели десны, разрыхлялись, воспалялись слизистые оболочки рта...

К холодам начали разбирать соломенные крыши. Солому шпарили кипятком и сovali скотине мокрую черную прель. Разобранные крыши — ребра и горбыли — поднимались над землей, как скелеты вымерших животных. Скотина грызла плетни. По деревне бродили люди с глубоко запавшими глазами. Священник грозно напоминал, что божий закон сильнее человеческого.

Некоторые мужики с молчаливой повинной ходили к лавочнику, а он их утешал и сочувствовал. В его комнате, оклеенной обоями, прыгала в клетке птичка и клевала какие-то зерна. Мужикам хотелось их ссыпать на ладонь и сжевать. Они завидовали птице... Хозяин говорил, что с господом спорить не станешь, но что он сам, покуда жив, будет помогать своим односельчанам, с которыми разделил судьбу и ходил партизанить. Пришедшие к лавочнику заискивающе поддакивали ему. Они знали, что он купил колокол для церкви, ссужал деньги и что денег у него мешки.

Лавочник приглашал к себе людей по одному, требовал тайны, с каждым разговаривал особо. Давал хлеб кому непосредственно на месте, кому отказывал, а кого отсылал в другие деревни, где у него были, по его словам, сватья и кумовья. Взвешивал зерно, навел справки через одного о другом. Мужики писали ему расписки об отработках, аренде и продаже земли на будущие 1922, 1923, 1924 годы, а некоторые и до тридцатых годов. Лавочник брал расписки в двух экземплярах: на одном экземпляре ставил у бывшего старосты казенную печать — на случай, если РСФСР «опрокинется», а другую сохранял без печати — на случай, если РСФСР останется. Расписки были написаны толково и аккуратно. Мужики слово держали и лавочника не выдавали. Надо ж было жить...

Но не каждый пойдет лавочнику кланяться... Многие предпочитали вытаскивать неприкосновенный запас: приданое девок — сарафаны, башмаки, бусы, зеркала, куски мыла. Все это надо было отдавать за муку, за картошку, даже за лебеду. Парод вымирал. На кладбище волокли гробы.

Скот погибал от сибирской язвы. Петька видел, как бился в судорогах их единственный конь. Глаза животного были полны безумного страха. Конь лежал на боку. Он тяжело дышал и глядел на людей. Конь ждал помощи. Петька плакал. Мать шептала: «Господи». Отец сказал: «Довольно о господе».

Ели лебеду. Петька собирал ее по огородам и пустырям. Крошечные черные зерна насыпали в ступку, мешали их с травой и темное вязкое тесто совали в печь. Мать вынимала растрескавшиеся темнобурые лепешки. Когда мать дала такой хлеб в первый раз, Петька, решив, что его обманывают, не стал есть и сказал матери, что это земля. Хлебный мякиш был землистый, с тяжелым затхлым запахом, мякиш хрустел на зубах и был кислый. Отец велел круто посолить, чтоб отшибить вкус.

Люди истощались, у них начинался звон в ушах, теснило под ложечкой, пульс делался реже, у детей вздувались животы. Мать Петьки иногда падала в обморок.

В деревне пожирали выжимки от льняного семени, траву, желуди, осиноый лист, опилки. Кругом парила гнетущая тишина. Петька от отца не отставал. Степан передвигался с трудом, но заставлял себя ходить по селу, старался ободрить людей. Они слушали его слова, но уже не все понимали. Многие покорялись и примирялись с неизбежностью смерти. Степан убеждал людей, что можно перебороть и это. Петька слышал, как старики говорили отцу, что хотя Ленин и одолел четырнадцать держав, но что теперь с Лениным спорит сам бог, и тут уж не устоять. Чем так-то ждать, может лучше послать ходоков в Москву и просить, чтоб Ленин принял веру...

Вернувшись, Степан сидел как окаменелый. Возникали какие-то страшные, небывалые мысли: а может быть, действительно попрали законы и за то кара? А может быть, действительно от века установлен порядок и нарушившему его — такая казнь, перед которой и все египетские казни — пустяки? А может быть, всего

только на год радости и хватило? Были несчастных три десятины, прирезали восемь, а за них возьмут жизнь у всей семьи, и так в каждом хозяйстве? Необходимо было сейчас же, немедленно решить массу вопросов: какова же человеческая жизнь, кем и для чего она дана и почему же гибнет народ, Россия? Степан сидел сосредоточенный, хмурый... Вымершая, пустая страна померещилась ему... И по ней с разных сторон двинутся чужие люди и придут на его родные земли, отбитые в такой отчаянной войне?

Степан встал, выпрямился и вышел. Петька, неотступно следивший за отцом, тихо побрел за ним. Степану больше не нужно было беседовать с людьми. Оставалось разве что поговорить с богом, но и бог был «недоказанный». Степан шел и думал: если съесть картошки или полфунта хлеба — жизнь у каждого поправится независимо от бога. Степан пошел прямо к лавочнику. Он приказал ему отдать все до последнего — крестьянству:

— Чую — припрятал ты...

Лавочник уверял Степана, что ничего уже не осталось и что именно по воле народа он все роздал. Но Степан не поверил лавочнику — это было очевидно для Петьки. Петька тоже лавочнику не верил...

Степан собрал неистощимую свою волю, весь свой разум, все силы и решил пойти на разведку.

— Докопаюсь! Спрятали они со старостой и попом зерно...

Степан шел и мыслил вслух, а Петька не отставал от отца и жадно вслушивался в бормотание Степана.

— Надо проверить, есть ли хоть какой-нибудь запас у этих людей. Что же это может получиться? Народ перемерет, а они выживут, выживут и опять поставят свои порядки?

Старый партизан содрогался от этой мысли. Страшная хитрость врага стала ему понятна. Дело было вовсе не в боге — просто народ брали голодом. Ведь скрытно увезти, сгрузить хлеб, перекинуть по сибирскому пути к врагам — всего и делов на полторы недели. Россия

целый век своим хлебом кормила все эти державы, а теперь нам дать взаймы по их же христианскому закону — не могут. Раз таков христианский закон, значит — окончательно — нет бога. Значит, выходит — на чистую, как было и в тайге: либо вы нас, либо мы вас.

Степан принял решение.

Деревня спала... Но Степан бодрствовал, и Петька, притаясь, не спал, наблюдал за отцом. Дождавшись ночи, Степан тихо вышел из избы. Бесшумно, как тень, за ним выскользнул в ночь и Петька. Старый партизан упорно искал зерно... Враг таил его где-то, это закопанное, замурованное зерно, в котором была жизнь. Зерно, в котором долго таится эта неиссякаемая жизнь, готовая прорасти и вызреть, дать новый, спасительный урожай...

Степан брел уже из последних сил, но зерна не находил. Наконец он дошел до кручи над глубоким оврагом, и глаза его заблестели: внизу, на дне оврага, мелькнул огонек фонаря. Степан оглянулся и тут впервые заметил Петьку...

— Ну, что ж, сынок, давай на пару! — и погладил голову сына.

— Привыкай, пригодится...

Усталые, падая и подымаясь, Степан и Петька пошли обратно. Степан был убежден, что зерно спрятано в овраге.

Старый партизан обошел всех своих лучших боевых товарищей. Подымал тех, кто еще мог двигаться, выводил обросших, худых мужиков, напрягая голос, говорил им, что надо держаться, что надо забрать хлеб у лавочника, у старосты и попа и что он знает, где этот хлеб спрятан... Он подымал людей, убеждал их, совал им остатки своего черствого вонючего хлеба и ночью поднял полумертвый от голода отряд. Они пошли, сливаясь с чернотой ночи, пошли по тропам и по полям к оврагу. Петька дрожал от страха, но не отставал от отца ни на шаг.

И началась молчаливая, необычная гражданская война. Партизаны шли биться за спасение лучшей части человеческого рода, биться за себя, за народ, бесстрашный и выносливый, как никто в мире.

Красная Армия дралась на всем пространстве Сибири, Урала, Поволжья против звериной блокады, и маленький голодный отряд был ее частью... Мир еще не видел такой войны. История о ней не говорила. Ее еще не пели поэты.

Во тьме шли партизаны. Степан командовал, указывал путь...

Петька шел рядом с отцом, стараясь вникнуть в смысл происходящего: он испытывал и острый страх, и жалость к отцу, и счастье от того, что отец — впервые в эту ночь — говорил с ним, как с равным.

Степан на пределе сил первый пополз в овраг. Чутье разведчика подсказывало ему, что здесь должен был быть склад зерна.

Петька залег на краю обрыва. Затаив дыхание, он следил за отцом. Внизу во тьме снова мелькнул огонек. Степан тихо свистнул, и партизаны столпились над обрывом. Не крича, а шепча «ура», бойцы скатывались вниз с обрыва, чтобы телами своими сшибать и давить кулачье. Люди внизу все поняли и открыли огонь.

Выстрелы, стоны, крики... И внезапная тишина... Битва кончилась...

Петька вскочил и помчался в овраг. Во тьме светил упцелевший фонарь, и в жалком свете его Петька впервые в жизни увидел мертвых людей. Они лежали у развороченной ямы, из которой шел неизъяснимо блаженный запах зерна. Петька увидел отца: Степан встал на вахту у зерна — у жизни. Он глядел в темное небо, вдыхал запах земли и хлеба. Силы медленно возвращались к победителю...

Это было третье событие в короткой жизни Петьки, оставшееся навсегда в его детской памяти и решившее всю его дальнейшую жизнь...

Москва

1935—1936 гг.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА

Петроград. Октябрь 1919 года. Холодный сумрак. Океанский западный ветер. У устья Невы, у пристани, в настороженном городе — матрос Антон Карабаш.

В л а с т н ы й г о л о с. Кто от Балтийского флота?
М а т р о с (*повернув голову*). Есть от Балтийского флота!

Подходит седой человек в штатском:

— В Кронштадт. От ЦК большевиков.

М а т р о с. Есть в Кронштадт!

Омертвелую тишину Невы нарушил гул мотора... Вдаль уходят Зимний дворец, Адмиралтейство, невиские мосты. Пар над холодной бурой водой. Безлюдье. Катер идет по каналам притихшего города.

Узкие застывающие каналы. Петровские, павловские, николаевские дворцы и казармы.

Угрюмый и неукротимый город. Товарищ из ЦК молча глядит на город...

Матрос за рулем неразговорчив...

Гранитные стены и своды мостов отражают эхо...

Катер проходит сквозь сумрак под мостом. Донеслась песня:

Смело, товарищи, в ногу...—

и затихла в отдалении. Это по мосту прошел неведомый питерский отряд.

Катер вышел по каналам к самому устью Невы. Несколько молчаливых кораблей Балтфлота в черте города. Враг близок. Его ждут.

Катер делает широкий поворот в Морской канал. Могучая панорама заводского, приморского Питера. Город глядит на Балтику, на запад.

Последние строения, корабли — и открывается простор взморья... Ветер сильнее. Набегает ледяная волна.

Матрос повернулся и сказал товарищу из ЦК строго и гордо:

— Балтика!

Балтийское море. Бурные холодные валы. Во мгле остается родной город.

Товарищ из ЦК негромко сказал:

— До свиданья, Питер.

Пустынное море. Воет ветер с запада.

КРОНШТАДТ — БЕССМЕННАЯ ВАХТА КРАСНОГО ПИТЕРА

Кронштадт с моря. Сумеречный остров. Печальный бой склянок.

Кронштадт! Это тысячи кубических метров финского, ладожского и онежского гранита, охваченного старинным, не поддающимся никаким силам природы и времени цементом и мощными свинцовыми внутренними скрепами. Это чугун, орудийные жерла, это стена, ставшая поперек моря.

Пустынная, омертвелая тишина улиц, хранящих размеренный каданс петровских, павловских и николаевских времен. Почти замерзающая вода в каналах, узких и высоких, как ущелья. Арсеналы, старые ворота, колоннады гостиных дворов и голландских лавок. Настороженность и пустота.

Оцепенелый корабль в военной гавани. Безлюдье.

Товарищ из ЦК проходит по берегу. Темные корабли. Иногда, как тяжкий вздох, вырывается где-то пар... Хриплый вой гудка.

По гранитному гребню идет группа матросов.

Медленно разворачивается перспектива улиц старинного морского города. На стене под ветром «Известия» и какие-то серые извещения. Группа приотстоялась.

Один из матросов читает:

— «Завтра по основной карточке хлеб выдаваться не будет. По детскому купону — одна восьмая фунта». Красота дело!

Моряки двигаются дальше, мимо огромных косящих дубов Петровского парка, мимо застывшего Петра с позеленевшим лицом, неукротимо устремленным в море, мимо маленьких домиков, где закрываются ставни, мимо накрест заколоченных досками трактиров...

Старший роняет:

— Когда-то жили... В пятом году из полиции окрошку делали.

Он мурлычет вспомнившуюся тоскливую песнь про сопки Манчжурии, про Дальний Восток.

Моряки, коченея от холода, бредут, ожидая каких-то встреч.

На Якорной площади у колоссального собора, на ветру, одетые в рваные пальто, делают ружейные приемы какие-то штатские.

Низкорослый матрос и с ним другие на секунду останавливаются:

— Коммунары? Валяй, валяй...

Группа идет дальше.

У чугунной решетки на бульваре, где сквозь весь остров ходит сквознячок, сидит пара, слившаяся в неистовом поцелуе.

Один из матросов увидел, завистливо крикнул:

— Эх!

Прошли дальше.

Меланхолично играет матрос-гитарист... Навстречу клячка тянет дроги — на них гроб. На нем фуражка с ленточкой. На ленточке тронутые временем буквы «Стережущий». За гробом, хватаясь ручонками за край дрог, трое ребят. Глядят моряки... Свистит ветер...

Матросы идут дальше, по острову, по городу, по осеннему Кронштадту 1919 года.

Камеенные спуски у старых доков. Вдали женщина и красноармеец. Он оставляет ее ненадолго...

Матросы вышли к спуску. Женщина, впереди женщина! Они застыли. Все тихо. Вот она, женщина! Это для нее споет гитарист.

Женщина, тихая, хрупкая... Она сидит и ждет.

Матросы легкими прыжками поднялись по ступенькам спуска. Первым — гитарист, уверенный и бывалый. За ним — его друг Артем. Он произнес вопросительно:

— Мадмазель?

Женщина встала и ушла. Матросы двинулись преследовать молча и угрюмо. Женщина бежит по бульвару вдоль крепостного канала. Матросы настигают ее. В гавани завывала сирена...

Артем кинулся наперерез женщине. Она метнулась. Кругом пустынно, безлюдно.

Матрос подходит вплотную.

Ж е н щ и н а. Не подходить!

Из-за поворота вышел спутник женщины — красноармеец. Он с ребенком.

Увидя матросов, предостерегающе крикнул им:

— Товарищи!

Матрос и не пошевелился:

— Какая там пехота смеет мешать!

Пехотинец молча подошел и заслонил женщину. Матрос и пехотинец один на один.

Матросы с любопытством ждут расправы. Из-за поворота несколько красноармейцев видят начало стычки.

— В чем дело?

— Что происходит?

— Товарищи! Айда!

Матросы, глядя на пехотинцев, подходят к ним вплотную.

Друг против друга стали две стенки: красноармейцы и матросы. Матросы стоят вызывающе.

Артем посмотрел на пехотинца, толкнул его плечом и процедил:

— Чего людей задеваете?

Пехотинец. Это мы задеваем?

Матрос, раздраженный мирно удивленным ответом, схватил пехотинца за ворот шинели и рванул его:

— У, деревня!

Пехотинец оттолкнул матроса. Толчок по-медвежьи сильный. Матрос отлетел на несколько шагов, ударился о фонарь. Зазвенели стекла.

На улице загремела свалка.

Женщина торопливо позвала обход. Свисток.

Начальник патруля. Давай на корабль, ну!

Люди опомнились.

Встреча отгремела.

Матрос-гитарист Валентин Беспровзванный, уходя, обернулся и процедил:

— Пехоте!

Вслед за ним уходит и Артем. Он тоже обернулся. Лицо искривилось. Он бросил пехотинцу:

— Запишешь за мной, с процентами.

Мальчишка, сын пехотинца, выглянул из-за спины отца и крикнул:

— Иди, иди, раз попало!

Пехотинец наклонился к сыну и остановил его:

— Сынок!

Женщина стоит и ждет.

Пехотинец (сыну). Сынок, живи, расти... Покуда отвоюю, в детский дом пойдешь, ладно?

Сын. Ладно, воюй живей!

Набережная. Угрюмый город. Пехотинец уходит. Женщина и мальчик смотрят вслед. Скрипит где-то ветром оторванное железо на крышах домов, воет ветер.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮДЕНИЧ

11 ОКТЯБРЯ НАЧАЛ НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЕТРОГРАД.
КОРАБЛИ ИНТЕРВЕНТОВ ВОШЛИ В СОВЕТСКИЕ ВОДЫ

В серой мгле Балтики — крадущийся ход кораблей. Короткие приказания на чужом языке, и у орудия движение людей в дождевых плащах и темных капюшонах. Это английские миноносцы идут к берегам Ингерманландии. Силуэты кораблей временами почти

исчезают в сером сумраке. Движение кораблей угрожающе. Минутами почти полная тишина. Только шипение разрезаемой воды и голоса, понижающиеся до шопота...

Поднимается орудие. Около него — люди в темных плащах и капюшонах.

Кронштадт во мгле, настороженный.

Уже совсем темно. Ночь.

В гавани, у стенки, застылый линейный корабль. По борту корабля одиноко проходит комиссар... А по скользкой черной сходне возвращаются искатели приключений. У одного гитара подмышкой. Холод, дрожь и нервная зевота.

Вахтенный в огромном тулупе смотрит на пришедших:

— Женились?

Ответа нет. Только низкорослый матрос с остервенением плюет за борт.

Люди проходят по узким железным трапам и коридорам в глубину корабля, в кубрики.

Люди там уже встают.

Чей-то возглас навстречу:

— Скитальцы морей!

Пришедшие молча начинают раздеваться. Они снимают с себя вещи, аккуратно отряхивая, сберегая складки и спрашивая:

— У кого брал?

Хозяева вещей получают обратно свои вещи: кто — клеш, кто — фуражку, кто — ботинки.

Сборная красота военных моряков растворяется, и они стоят в латаной рабочей робе, в опорах.

В кубрик заглянул кто-то и швырнул четверть буханки. Хлеб стукнулся о железный стол.

Матросы подходят к хлебу. Загорелись голодные глаза.

Злые голоса:

— Это что ж? На всех?

— Опять уменьшили?

— Что же это в конце концов?!

Артем отрубил:

— Не братъ! Комиссара сюда!

По трапу спустился боцман.

Б о ц м а н. А ну, кто в караул, ходи!

Артем ткнул боцмана в грудь буханкой:

— Это что же, на двадцать душ?

Люди зашумели:

— Комиссара давай! Комиссара!

По трапу спускается штатский — комиссар.

Все затихли.

Комиссар и матросы испытующе смотрят друг на друга. Один матрос подошел ближе с лампой и осмотрел комиссара, как вещь.

Комиссар спокойно разглядывает матросов.

Артем цедит вполоборота к комиссару:

— Я спрашиваю некоторых штатских: до нуля дожили?

К о м и с с а р. Товарищи...

Подчеркивая безразличие к комиссару, заиграл гитарист.

Комиссар обернулся и властно приказал:

— Не играть, когда говорит начальник!

Беспрозванный поднял голову, посмотрел и опустил гитару. Все затихло.

Комиссар сел к столу и, обведя всех взглядом, спросил горько:

— Неужели с Октября здесь выветрился революционный дух?

Кто-то удивленно и оскорбительно ответил:

— Что-о?

Матросы прыгнули с коек, приблизились к комиссару.

Артем — вплотную к комиссару, крикнул:

— О хлебе мы спрашиваем!

Комиссар, повысив тон, оборвал его:

— Нет, я спрашиваю, — голодающим детям отчисляли?

Юнга — паренек с чистым, светлым лицом:

— Отчисляли.

К о м и с с а р. Питерским рабочим отчисляли?

О д и н и з м а т р о с о в. Отчисляли.

Комиссар (гитаристу). Шаляпину за выступление отчисляли?

Гитарист подтверждающе махнул рукой (искусству флот отдавал много).

Комиссар. В чем же дело? Дели!..

Логика комиссара проста и ясна. Бородатый матрос начал делить хлеб веревочкой.

Матросы разбирают тощие ломти, скудный паек.

Комиссар. А ну, кто в караул, быстро!

В кубрике пьют кипяток... Звякнули кружки...

Артем, не торопясь, надевает бушлат. Ему в караул.

Он скосил глаза на комиссара, упрямо, жестко сказал:

— К сведению некоторых. Хлеба отчислять больше не буду, а в карауле отстоять в пользу советской власти — отстою.

Щелкнул угрюмо затвором и пошел на холод.

Комиссар тоже тронулся по трапу. Донесся разрыв снаряда. Люди притихли.

Старый матрос и юнга прислушиваются.

В гавани взлетел фонтан от разрыва снаряда. Враз!

Воздушный вал поколебал воду.

Флот и крепость вышли из оцепенения.

Пронзительные всхлипы крепостной тревоги. Огромными кольцами расходятся звуковые волны. Гаснут огни... По чугунной мостовой топот пробегающих людей: «Ать-ва-три...»

Люди выходят и, сгибаясь, бегут против ветра. Ветер рвет ленточки на фуражках, полы бушлатов и клешей.

«К орудия-а-ам!» Сквозь водяную пыль взметы ледяного прибоя. Батарея. Ветром надорванный боевой флаг РСФСР. Матросы бросаются к орудиям, повернутым к морю. Во мгле — корабли врага. Простая, привычная процедура — огонь по английским кораблям. «Двадцать одна держава». — «Ладно...» — «Товсь!..» — «Залп!» Бело-сернистая вспышка, застав-

ляющая закрыть глаза. Стихающий после выстрелов
шип снарядов. Рев: заговорили форты.

Взметнулись водяные столбы разрывов.

Новый залп с форта.

Наблюдатель крикнул:

— Уходят, ставят завесу!

Разрывы наших снарядов. Смешались вода и дым.

Корабли противника, повернув, уходят за завесу...

Ветер стелет дым.

Залп!

Залп!

За черный зловещий дым, закрывший полнеба,
ушли корабли врага. Сигнал отбоя.

**ФОРТЫ ОТОГНАЛИ ВРАЖЕСКИЕ КОРАБЛИ.
ПОЛК ПЕТРОГРАДСКИХ РАБОЧИХ
ВЫСТУПИЛ ИЗ КРЕПОСТИ НА ФРОНТ**

Артем возвращается из караула.

Холодно. Издалека неясная песнь. Это идет Петро-
градский пехотный полк. Старая походная песнь уда-
рила по сердцу:

Горы-вершины,
Вас я вижу вновь!
Карпатские долины —
Кладбище удальцов!..
Кукушка лесовая
Нам годы говорит,
А пуля роковая
Нам годы коротит...

Артем нервно прислушался... Пехота подходит все
ближе. Матрос подошел к ней в упор. Пехота идет,
тяжело покачиваясь, негибкой крестьянской по-
ступью.

Матрос оглядывает ряды, кого-то ищет. Наконец
увидел «того», пехотинца, с которым подрался, и, дерз-
ко схватив его, вырывает из ряда:

— Смываешься, солдат?

Красноармеец на ходу отбросил руку матроса.
Полк уходит.

Артем кричит вдогонку, как вызов:

— Я найду, под землей найду!

Артем сделал несколько шагов вслед пехоте:

— Со дна моря достану!

Лицо гневное. Кулак сжат.

Затихает песнь пехоты. Перед полком — дорога дальняя, серое небо и голые сучья деревьев...

Гранитный берег гавани. Сырость, почерневшие брезенты на кораблях, вой балтийского ветра в снастях. Митинг моряков. Стелется дым.

Комиссар говорит речь:

— Товарищи, генерал-лейтенант Юденич идет на Питер... — Повысив голос, комиссар продолжает: — Фронт прорван. К нам обращается товарищ Ленин: «Наступил решительный момент, — пишет он. — Царские генералы... еще раз с бандами помещичьих сынков пытаются взять красный Питер...

В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской власти в России...

Бейтесь до последней капли крови, товарищи... победа недалека! победа будет за нами! В. Ульянов (Ленин)»¹. Товарищи! В Петрограде мобилизуются рабочие, женщины... Кронштадтские моряки...

Внимательно слушают моряки. В толпе Артем и друг его — гитарист.

Комиссара перебивают:

— Понятно... Записывай!

Артем, вынув финский нож, пробует его лезвие; о чем-то подумав, спрашивает или утверждает:

— В пехоту.

Комиссар, оглядев сотни людей:

— Теперь, товарищи, надо проверить, достоин ли каждый высокой чести с оружием в руках защищать революцию.

Гитарист с усмешкой наклонился к Артему:

¹ Речь идет о воззвании В. И. Ленина «К рабочим и красноармейцам Петрограда». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 30, стр. 50.)

— Мне кажется, барон, вам готовится неприятность. Комиссар начинает проверку людей с себя.

— Вопросы есть?

Артем, озлобившись на «штатских», которые смеют соваться:

— Есть! На флоте вы давно?

Комиссар, секунду выждав, прямо:

— Второй день.

Матросы засмеялись.

Кто-то гогочет, явно сбивая комиссара. Комиссар останавливает смех:

— Если не считать работы по поручению ЦК партии на кораблях Балтфлота с тысяча девятьсот пятого по тысяча девятьсот седьмой.

Стало тихо.

Бородатый матрос крикнул:

— А в партии вы давно?

Комиссар. С тысяча девятьсот первого года.

В толпе послышалось: «Ого! Подходяще... ничего не скажешь...»

Кто-то спросил:

— Привлекались, товарищ?

Комиссар. Да.

Тот же матрос. Что получили?

Комиссар. Смертный приговор.

В упор новый вопрос:

— Почему живы?

Комиссар. Бежал, работал в эмиграции...

Матросы, видя, что человек стоящий, кончают:

— Довольно вопросов!

Артем насмешливо отвернулся.

Бородатый матрос бросил:

— Начинай!

Начинается проверка матросов.

Чей-то бас. Двигай, кочегарная сила!

Старый рослый матрос — он доставлял комиссара на катере — поднимается на бочку, объявляет:

— Антон Карабаш. Призывался в тысяча девятьсот шестом году. Сослан на каторгу в тысяча девятьсот седьмом.

Голос. За что?

К а р а б а ш (*усмехнувшись*). За тихое поведение не попадали.

Из рядов раздаются голоса, крепкие, зычные:

— Знаем его!.. Иди, Антоша, объяснись с Юденичем...

— Этот объяснится!

К о м и с с а р (*оглядев ряды*). Единогласно!

Карабаш пошел в строй. У этого человека есть право на оружие.

Отдельные моряки подходят к добровольцам.

— Тут у меня шинелишка лишняя есть, — и старый человек снимает с себя шинель и остается в полосатой тельняшке, наверху, на ветру, на холоде.

Кто-то отдал сапоги.

Г о л о с. Жертвую уходящим!

Летят бушлаты, как черные птицы.

Вышел гитарист.

— Валентин Беспровзванный. На каторге не был, но, вероятно, попал бы...

Кто-то засмеялся...

Г о л о с. Брось!.. С социальным происхождением как у тебя?

Г и т а р и с т (*помедлив, нехотя*). Социальное происхождение у меня действительно несколько двойственное: папа — офицер, а мама — его кухарка.

Сказал и ждет.

Допытывающий голос. А где отец?

Гитарист посмотрел и бросил жестковато:

— О бывшем отце прошу не беспокоиться. Сдан мною в ЧК.

Пауза.

Г о л о с и з р я д о в. Подтверждаю.

Голосуют. Поднимаются руки — и этого можно послать.

Г о л о с. Тут у меня бушлат лишний есть...

Швыряет гитаристу бушлат. Тот ловит его на ходу.

Из толпы моряков выходит Артем. Идет не торопясь, независимо. Стал. На него смотрят в упор.

Г о л о с а. Не подходит! Революционной дисциплины не признает!..

К о м и с с а р (*кивнул*). Давай.

Артем, сняв фуражку из уважения к собранию:

— Зовут Артем Балашов, от роду двадцать семь... — Чуть помедлил и дальше четко: — На флоте с тысяча девятьсот четырнадцатого, беспартийный... — поглядел выразительно на комиссара, — по некоторым соображениям ума.

Комиссар. Происхождение?

Артем (*чуть иронически*). Обыкновенное.

Комиссар. Где участвовали?

Артем (*в том же тоне*). Так, особенно нигде не участвовал. Зимний брал...

Голос из рядов. Все равно не подходит. Голодающим хлеба не отчисляет...

Все затихли.

Комиссар. Голосую, кто за?

Поднимается лишь несколько рук. Гитарист толкает в бок стоящих рядом. Он требует солидарности, помощи Артему.

Ряды стоят и недоверчиво смотрят на Артема. Артем сжал фуражку в кулаке, ждет, стиснув зубы.

Комиссар поднимает руку «за».

— Проверим на деле.

Матросы примкнули:

— Что ж...

Поднимаются руки.

Артем чуть посветлел, поглядел на комиссара: так же вещи запоминаются.

Голос. А все-таки не брал бы я его...

Артем посмотрел на сомневающегося.

Кто-то пропел флегматично:

— Пускай попробует, что тебе — жалко?

Мокрая, скользкая гавань. Женщины и дети бегут провожать сыновей, мужей, отцов. Спешат старушки... Все просто и ясно.

Завыла сирена. Старый город еще раз посылает своих сыновей на фронт. Матросы пойдут. Открыты всем ветрам их груди. За ними останется Кронштадт, а впереди — победа.

Чистка подходит к концу.

Комиссар. Еще кто есть?

Баском ответил один:

— Есть.

На бочку поднимается юнга. Он стал по всем правилам и начал:

— Зовут Михаил Гуриненко. Во флоте...

Юнгу перебили:

— Куда ему, мал еще!

Юнга посмотрел на сделавшего замечание и бросил:

— А ты молчи, я в перевороте участвовал, а у тебя живот тогда заболел...

В рядах засмеялись.

Голоса:

— Так ему!.. Взять парнишку!

Комиссар наклонился к юнге, улыбнулся.

— Ладно, Миша, пойдешь.

Юнга, просветлев, становится в шеренгу моряков. Прокатилась зычная команда.

— Ну, прощай, родимый Кронштадт!

Выходит бедный рабочий оркестрик. Четыре друга пришли проводить моряков. Они играют марш. Тронулся отряд... Бегут провожающие. Защемило сердце...

К гитаристу подбегает мать-старушка:

— И не предупредил... Возьми вот...

Сует сыну кулек.

Матросы идут четким шагом. Старушка бежит рядом с колонной, сует иконку сыну.

Сын улыбнулся, отвел руку матери:

— Мамаша, вы меня дискредитируете.

Легким покачивающимся шагом идет отряд. Он проходит мимо вооруженных рабочих, коммунаров ЧОН'а¹.

Один старик крикнул:

— Давай, давай, сынки!

Фланговый матрос-богатырь ответил:

— Даем, даем, папаши!

¹ ЧОН — часть особого назначения.

Отряд идет по сырому граниту над морем. Старушке трудно поспеть за широким шагом. Она сбивается.

Сын наклонился и мягко сказал матери:

— Мамаша, давайте итти в ногу.

Старушка пытается итти в ногу с отрядом. Но отстают... Гитарист обернулся и послал матери последний привет.

Марш все глуше и глуше. Люди уже идут в холодной тишине...

Артем проговорил:

— Теперь по существу, без музыки...

Стоит провожающий рабочий оркестр. Марш затих. Стоит на берегу одинокая старушка... Тишина.

*ПРОЛЕТАРСКИЙ ПИТЕР БРОСИЛ НАВСТРЕЧУ ВРАГУ
КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ПОЛКИ И РАБОЧИЕ ОТРЯДЫ.
КРОНШТАДТСКИЕ МОРЯКИ
ЗАНЯЛИ УЧАСТОК ФРОНТА
НА ПОБЕРЕЖЬЕ*

По дороге вдоль берега Балтийского моря идет отряд моряков.

Пенятся валы прибоя.

Дорога дальняя, финские болота, колдобины, загородки из жердей. Хилая кобылка щиплет осеннюю травку. Впереди привал. Показался дом, господский дом. На нем вывеска: «Детский сад Петрокоммуны».

Моряки подобрались, распустили подвязанные бечевками клеши, отряхнули грязь, фуражечки взяли на нос и набекрень. Каждый честный трудящийся житель пусть увидит в натуральную величину, что есть военный моряк Балтийского флота, идущий по оперативному назначению, которое пока не подлежит оглашению.

Отряд моряков входит в вестибюль господского дома. Широкая каменная лестница. На ней пехотинцы: тоже на привале.

Винтовки составлены в козлы.

Бойцы лежат, сделав пятьдесят верст, тяжело раскинувшись на широких ступенях.

Комиссар отряда моряков подошел к командиру пехотного полка:

— Кронштадтский экспедиционный отряд. Прибыл в ваше распоряжение.

Командир кратко ответил:

— Командир Петроградского стрелкового полка Драудин. Располагайтесь, ночевка будет.

Матросы располагаются на ночевку. Они садятся и ложатся рядом с пехотинцами.

Гитарист, сохраняя свое великолепие, в которое он верит, спрашивает:

— А где торжественная встреча?

По лестнице поднимается женщина; мы видели ее в Кронштадте.

Артем увидел женщину... Громы прокатились над его головой... «Она!» Кажется, что она улыбается. Артем догоняет ее. Тронул за плечо. Негромко сказал:

— Мадмазель...

Женщина обернулась и неодобрительно посмотрела.

Потом прошла к детям в большую холодную комнату.

Пехотинец — с ним дрался матрос — молча сидит около спящего сына.

Артем подошел к детской: там женщина!

Пытается открыть дверь.

Г о л о с. Эй!

Артем обернулся. На него, не мигая, строго смотрит Драудин, командир Петроградского полка.

Матрос отошел от двери. Ищет место, где лечь. Люди лежат вповалку. Артем отшвырнул чьи-то ноги, мешающие ему лечь на лестнице.

Женщина в детской тихо поет колыбельную песню.

Пехотинец вышел из детской. Он ложится спать на ступеньки лестницы рядом с Артемом.

Женщина поет все тише, убаюкивая ребенка...

Плывет ее песнь над спящими солдатами и матросами...

Ночь. Тишина. Спит полк, спит отряд. Вся огромная лестница занята спящими бойцами. Едва доносится колыбельная песнь...

Раннее утро. Раскрылась дверь, и на лестницу вышли дети, истощенные задумчивые дети, рожденные в годы войны.

Женщина сделала им знак: «Тише».

Бойцы еще спят. Утомленные люди лежат в разных позах.

Спит сидя командир полка. С головы упала фуражка. Женщина тихо ее подняла и надела на голову спящего.

Спят на лестнице рядом Артем и Василий. Подошедший малыш, тихо присев, изумленно разглядывает ленточки на бескозырке Артема.

Дети тихо подвигаются к бойцам. Разглядывают пулемет, трогают рукоятку. Просыпается матрос. Со сна удивленно:

— А?

Ребята рассыпались в разные стороны.

Комиссар уже проснулся. Он чистит наган.

М а л е н ь к а я д е в о ч к а. Что это?

К о м и с с а р. Револьвер.

С ы н п е х о т и н ц а. Да, левольвер... Это не левольвер, а наган.

Комиссар не может скрыть улыбку.

Спит гитарист. Какой-то карапуз подкрался и тронул струны. Гитара загудела.

Комиссар дал малышам по куску сахара.

С ы н п е х о т и н ц а. Дай еще!

К о м и с с а р. Нету больше. Вот белых прогоним, тогда все будет: хлеб, пряники будут.. игрушки, на верное, будут...

Девочка посмотрела на комиссара. Глаза ясные, в них любопытство.

Артем просыпается. Он повернулся. Рядом — «тот», пехотинец!

Артем трясет его:

— А, солдат!

В а с и л и й (со сна) А-а?

И вновь засыпает.

Матрос снова трясет пехотинца.

Артем сгреб его за ворот. Внезапно донесся разрыв снаряда.

Люди вскочили.

По лестнице — лавина людей. Внезапное нападение!

К р и к и: Выходи строиться! Вылетай пулей!

Пулеметчики сбегают с пулеметами к выходу.

Торопятся последние бойцы. Пробежало несколько запоздавших. Лестница пуста... И вдруг по ней, вслед за бойцами, пошло несколько малышей.

Доносится разрыв второго снаряда. Малыши топают по лестнице.

...Рвется шрапнель. Пехота и матросы стремительно выбегают в поле.

Командир полка стоит невозмутимо.

Он говорит комиссару моряков:

— Атакуйте противника. Займите вот ту высоту. Дальше не зарывайтесь.

К о м и с с а р. Понятно. Отряд!

И повел отряд.

Развертываются цепи.

Развернутым строем начинает движение отряд моряков. Застрочил пулемет противника.

Матросы рванулись вперед. Вражеский окоп... Вперед! Взяли пулемет.

Попался солдат, его хватают.

— Здорово, заграница!

Развернутым строем отряд моряков начинает атаку второй линии.

Шеренгами по огромному полю идут матросы. Залп. Разрывы тяжелых снарядов. Все заволкло дымом. Моряки залегают цепью.

Цепи матросов.

Сдавленные голоса:

— Окапываться надо... Окапываться!

Комиссар поднялся:

— Брать вторую линию!

Цепи лежат... Матросы переглядываются.

— Ну, что?

— Вставай, чего лежишь?

Все лежат. Артем поднялся, крикнул:

— Э-эх!

Запел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Встал гитарист. Гитару за спину и, взяв на руку, пошел рядом с верным другом.

Поднялось еще несколько матросов. Встала вся песь. Гремит гимн. Разрывы тяжелых снарядов. Падает раненый. Его подхватывают.

Раненый отталкивает помощь, указывает вперед:

— Давай! Давай!..

Цепи идут.

Раненый встал:

Мы наш, мы новый мир построим,—
Кто был...

Падает. Затих.

Матросы ускоряют ход. Дым. Грохот. Падают убитые.

Всюду темно от дыма. Пение затихло.

Из черного от взрывов снарядов дыма появляется комиссар:

Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом...

Цепи подхватили гимн вновь.

Моряки с шага переходят на бег. Слова «Интернационала» переходят в «ура».

Стремительный шквал атаки сквозь дым и огонь. Нарастает «ура».

Штыки пошли в ход. Вторая линия врага! В грохоте и реве матросский отряд обрушивается на противника.

По отступающим защелкали выстрелы.

Комиссар осмотрелся.

— Закрепляться! Раненых в тыл!

Вдоль окопа ведут взятого в плен солдата.

Крики матросов:

— Буржуя ведут!

Комиссар посмотрел на пленного. Спросил по-английски:

— Do you speak English?¹

Солдат озирается, молчит — он испуган.

Комиссар спрашивает по-немецки:

— Sprechen Sie deutsch?²

Солдат молча смотрит на комиссара и матросов.

К комиссару наклонился бородатый матрос:

— Может, португал?

Пленный, наконец, произнес:

— Мы пскапские, мобилизованные.

Матросы улыбнулись.

К о м и с с а р. Какого полка? Кто командир?

П л е н н ы й. Не знаю... нам в Петроград велено.

К о м и с с а р. Ага, в Петроград?

П л е н н ы й. Ага.

О д и н и з м а т р о с о в. Ин-да...

Гитарист берет пленного за ногу. Солдат садится.

Матрос внимательно осматривает крепчайшие двух-
подошвенные ботинки «пскапского», показывает на
свои рваные:

— Мой друг, давайте менять сапоги?

«Пскапской», сидя, поджав ноги и прикрывая по-
лой ботинок:

— Чего уж... я уж как-нибудь потерплю...

Окопы матросов. Лежит Антон Карабаш. Рядом —
еще несколько матросов. Карабаш приложил ухо
к земле. Прислушивается к чему-то. Приподнялся,
смотрит из-за окопа. Еще один матрос приложился
ухом к земле. Слушает.

Доносится слабый, трудно различимый звук. Все
начинают прислушиваться. Внимание постепенно уси-

¹ Вы говорите по-английски? (англ.)

² Вы говорите по-немецки? (нем.)

ливается, становится настороженным, в нем появляются первые черты испуга. Звук — низкий, тяжелый, то нарастающий, то спадающий. Звук металлический, вибрирующий, приближающийся. Он доходит до огромной чудовищной силы, заставляя людей оцепенело вслушиваться.

Наконец звук определяется. Глаз впервые ловит движение грузных ромбоидальных танков, давящих все на своем пути. Представление судорожно рисует какие-то гигантские возможности танков.

Моряки, выйдя из оцепенения, ринулись назад. Комиссар кричит:

— Куда? Стой!

Матросы не слышат. Паника постепенно распространяется, захватывает все больше людей. Низкий, гудящий звук преследует, касается затылка. Кто-то летит неудержимо, сбросив с себя все лишнее, с развевающимися волосами, с воплем: «Танки! Пропали-и!»

Комиссар пытается схватить, повернуть, остановить их, но люди бегут, охваченные паникой.

По открытому полю несутся отступающие матросы.

Кто-то орет:

— Полундра!

Рев танка настигает...

Матросы прыгают через рвы, канавы. Рев танка все сильнее.

Матросы докатились до резервной линии. Там — пехотный полк. Пехотинцы кричат матросам:

— Куда, куда? Назад!

Комиссар догоняет беглецов:

— Стой! Стой!

И, наконец, догнав их, кричит, покрывая рев танков:

— Коммунисты, стой!

Крик услышан. Один из моряков остановился. Надевает бушлат. На лице появляется осмысленное выражение. Останавливаются и другие. Кричат: «Коммунисты, стой!»

Остановился гитарист с одним из моряков. Приводит себя в порядок. Смотрят друг на друга. Стыдно,—

прячут стыд за усмешкой. Остановились, пошли обратно и другие моряки.

Около комиссара собираются бежавшие от танка матросы. Строятся.

Среди матросов реплики: «Ты чего бежал?» — «А ты чего?» — «Бушлат одень!» — «Поправь подсумок!» Пехотинцы залегли. Ждут танк.

Один из пехотинцев — «враг» Артема — вылезает из окопа:

— А ну, попробую...

Рев приближающегося танка достигает максимальной силы.

Танк показался... Навстречу пополз красный пехотинец со связкой гранат в руке. По нему строчит пулемет танка. Пехотинец нырнул за какую-то межу. Танк все ближе... Рев танка...

Мощный танк. Он надвигается вплотную. Человек упрямо, упорно ползет навстречу, за ним испуганно следят матросы...

Когда борт огромного танка закрывает перед ползущим полнба, пехотинец швыряет связку гранат и, вдавив голову в землю, слушает и шепчет:

— Раз. Два. Три. Четыре. Пять...

Колоссальный взрыв, пласты мокрой земли, дребезжание металла, судороги танка.

Пехотинец лезет на крышу машины и молотит сверху по ней прикладом:

— Эй, хозяин, вылазь!

С борта танка в ответ забил пулемет. Пехотинцы и матросы, шедшие уже к танку, бросаются на землю.

Пехотинец стоит на крыше танка и кричит:

— Хозяин, будя!

Пулемет упорно бьет с борта танка. Пехотинец нагнулся и в прорезь бортовой башни дважды стреляет из винтовки. Из башни слышатся стон и ругань. Танк затих...

К танку подходят красноармейцы.

Один из красноармейцев. Эх, ну и ну!

Подходит Артем, осматривает танк. Заметил наверху «своего» пехотинца. Смотрит пытливо, пристально, подавляя в себе стыд и зависть...

Пехотинец мирно сидит на крыше танка, скручивая цыгарку, смотрит вниз на Артема. Артем поглядел вверх, где сидит пехотинец. Отвернулся, пошел прочь.

Красноармейцы осматривают танк.

Один из них восхищенно:

— Какая машина, пахать бы на ней!

Линия окопов. Вдоль окопа расположились матросы. Сидят кучками. Идет командир полка Ян Драудин. Он подходит к комиссару, говорит:

— Ну как? Дела идут ничего?

К о м и с с а р. Ничего.

Д р а у д и н. Мой полк приказано перевести левее — закрыть Петроградское шоссе. Вы остаетесь здесь, на береговом участке. Назад ни шагу!

К о м и с с а р. Есть назад ни шагу.

Д р а у д и н. Ну, пожелаю...

К о м и с с а р. Счастливо.

Драудин попрощался и ушел. Комиссар залег, смотрит в бинокль в сторону противника.

Артем возвращается от танка. Идет вдоль окопа. Подходит к комиссару, сидящему у пулемета. Ложится рядом. Комиссар молча глядит на Артема.

Комиссар смотрит в бинокль, предостерегающе кричит:

— Цепь противника!

Матросы бросаются к своим местам — к бойницам. Гитарист поглядел на пленного «пскапского», срезал его погоны и сунул их ему же на память. Пленный уполз в сторону.

К о м и с с а р (*по цепи*). Без команды не стрелять!

Вдали видна идущая цепь. Она постепенно приближается. Это наступает на Петроград офицерский сводный полк.

Комиссар и Артем лежат у пулемета.

К о м и с с а р. Прицел шесть!

А р т е м (*проверяя на глазомер*). Шесть.

Оба сдержанны, сосредоточенны.

Артем лежит и ждет у пулемета. К нему подполз «пскапской».

Пули бьют по гребню окопа.

П л е н н ы й (*в испуге*). Этак-то убьют.

А р т е м (*со злостью*). А ты что, чай пить сюда шел? «Пскапской» пополз дальше.

Доносится ближе вой офицерского «ура».

Матросы приготовились. Гитарист высунулся из окна. Пуля сбила ему бескозырку.

Офицерская цепь идет, держа равнение и интервалы.

С т а р ы й п о л к о в н и к. С богом, ура!

Цепь спустилась в низину — в мертвое пространство, чтобы выйти наверх, в упор.

Вой белых все ближе, все сильнее. Пленный слушает, трусливо надевает срезанные погоны.

У пулемета комиссар и Артем.

К о м и с с а р (*берясь за ручки пулемета*). Ну, слово товарищу «максиму».

Открывает пулеметный огонь.

Слилось офицерское «ура» и беспощадный, ровный стук пулемета...

«Пскапской», прислушиваясь, то надевает погоны, то снова снимает.

Матросы расстреливают белую цепь почти в упор...

Пулемет косит белую цепь... «Ага, назад повернули!»

Комиссар кончает стрельбу из пулемета. Обернулся к Артему, чуть улыбнулся:

— Постановили: выступление товарища «максима» одобрить.

Артем соседу, кивнув на комиссара, покровительственно:

— А из него тоже не плохой моряк выйдет.

Все затихло. Лежат матросы... На бугре показались новые наступающие офицерские части.

Реплики среди матросов:

— Ух, ты! Новые прут.

— Ну, переделка будет!

Матросская цепь лежит не двигаясь. Ждет. Неожиданно пулемет отказал, перестал работать.

Шопот матросов:

— Пулемет зашился!

— А, чорт!..

Комиссар скомандовал:

— Гранаты к бою!

Гитарист лежит в цепи. Он смотрит на белых, молча, методически выкидывает на бруствер револьвер, две гранаты, ножик. Попробовал лезвие. Воткнул нож перед собой, как рубежный знак для врага: «Не дальше!»

С холма наступают густые цепи белых. Подходят вплотную.

Комиссар командует:

— Гранатами огонь!

Метнули гранаты. Гитарист, широко размахнувшись, метнул гранату, за ней другую.

За окопом взрывы гранат. Летят клочья. Вопли раненых офицеров.

Несколько офицеров прорвались вперед.

Один из офицеров на бегу кричит:

— Комиссары, сдавайся!

Гитарист в окопе:

— Сейчас.

Тремя выстрелами из нагана он снимает трех офицеров. Продул дуло нагана не торопясь.

Цепи офицеров продолжают наступать.

Матросы отстреливаются.

В окопе Антон Карабаш кричит:

— Патронов!

Юнга крикнул:

— Патронов!

Цепи офицеров охватывают моряков с фланга.

Белые цепи охватили матросский отряд.

Офицерская цепь врывается, наконец, в окоп моряков.

«Пскапской» прижался, крестясь:

— Мы пскапские, мы пскапские.

Свалка. Забил пулемет белых. Все легли — и свои и чужие.

Артем и юнга укрылись в окопе от пулеметного огня. Пули бьют над самыми головами.

Летит песок, пыль.

С фланга жестоко бьет пулемет белых.

На дне окопа, укрываясь от пулеметного обстрела, лежат офицеры и моряки.

Гитарист ближайшему офицеру с кривой улыбкой:
— А, с приездом!

Пуля рядом. Приник к земле.

На дне окопа лежит белый поручик. Оглядывается:

— Ничего не понимаю: кто же в плену?

Гитарист, приподнимаясь:

— Сейчас объясню, сейчас...

Бросается вперед.

Вновь вспыхнула яростная свалка.

Жестокий рукопашный бой офицеров и матросов.

Ожесточенная смертельная драка. Артем не спеша разряжает наган в подвертывающихся белых.

Матросы дерутся иступленно. Трое, четверо летят с бруствера, прыгают прямо на головы офицеров:

— Бей драконов!..

Юнга бросился на офицера. Вцепился в горло.

Гитариста прижали. Он поднял руки: сдается...

Офицер подошел ближе.

Гитарист вырвал у него винтовку и прикончил его:

— Я те сдамся!..

Группа матросов во главе с комиссаром отбивается в углу окопа.

Сверху новая цепь белых... Бой идет к концу. Один за другим гибнут матросы...

Сбили с ног старого Карабаша.

Поручик кричит:

— Живьем нескольких, живьем!..

Небольшой группой стоят пленные матросы...

Белый полковник остановился перед ними:

— А-а, моряки? Ну, мир, мир, мир! С пленными не воюют.

Пошел к морякам, потирая руки. Подходит к комиссару:

— Ты кто?

К о м и с с а р. Член партии коммунистов-большевиков!

П о л к о в н и к (следующему. Это — Артем). Ты?

А р т е м (*насмешливо*) Альбатрос. Скиталец морей.
В очках, а не видишь?

П о л к о в н и к (*наклонившись к юнге*). Ты?

Ю н г а (*выпрямившись*). Красный балтийский моряк!

Стоит гитарист.

П о л к о в н и к. А вы?

Г и т а р и с т (*чуть повернув голову*). С лиценцами
не разговариваю.

Полковник отвернулся, отошел. Сел на пригорок,
помолчал, потом сказал:

— Коммунисты, выходи!

Вышел комиссар, за ним Карабаш.

Комиссар и Карабаш стали в стороне. Кругом кон-
вой. Два коммуниста смотрят на остальных матросов.

Артем глянул на одного, на другого матроса. По-
шел к комиссару. Стал рядом.

За ним пошли остальные матросы.

Стоят связанные матросы.

П о л к о в н и к (*вставая*). Беспартийных нет?

Молча стоит группа матросов.

А р т е м. Нет!

Посмотрел на комиссара.

П о л к о в н и к (*поручику*). Проводите их, Влади-
мир Павлович.

Поручик фон Виттен сделал знак рукой. К группе
моряков со штыками наперевес приближаются сол-
даты.

Подходит с винтовкой и «пскапской». Матросы по-
глядели на него:

— Так!..

Под конвоем двинулись матросы мимо окопа, где
их взяли в плен. Один из конвойных, что-то заметив,
сыркнул в окоп. Вылез с гитарой, побежал догонять.

Поднимаясь в гору, проходят связанные матросы.

Молча идут моряки.

Миша спрашивает комиссара:

— Куда ведут?

Ответа нет.

М и ш а. Ведут куда?

К о м и с с а р. Смелей, Миша, смелей!

Гитарист спрашивает у белого фельдфебеля:

— Стрелять будете или как?

Ф е л ь д ф е б е л ь. Да нет, патронов на вас жалко, топить будем.

Г и т а р и с т (с полуулыбкой). А-а-а...

Молча идут моряки. Артем с трудом извлек свой финский нож, держит его в связанных руках за спиной.

Идут моряки. Один из них насвистывает мотив революционной песни...

Открылся обрыв. Море. Группу моряков подвели к обрыву.

Стоят моряки. Над моряками пролетают чайки.

Донеслись крики чаек.

Матросам повесили камни на шеи.

Подходит поручик:

— Ну, давайте...

Гитарист повернулся к Артему:

— Прощай, друг...

А р т е м. Прощай, Валя.

Пошел к обрыву доблестный балтийский моряк Валентин Беспрозрачный. Увидел у солдата свою гитару, подбежал, ударил ногой...

Полетела гитара с обрыва...

Упала гитара в море.

Жалобно зазвенела струна...

На краю обрыва стал Валентин Беспрозрачный.

Подошел офицер, сказал, толкая:

— Иди тоже.

Матрос упал с кручи в темную глубокую воду.

Фельдфебель вывел и толкнул еще двух моряков.

Они сорвались вниз с криком «ура».

Стоят комиссар и Миша. Подходит офицер.

К о м и с с а р. Ребенка оставьте.

О ф и ц е р (раздраженно). Идите, идите!

Пошел умирать комиссар. Остановился на краю обрыва. Подошел офицер, хотел толкнуть.

К о м и с с а р. Отойдите... На место каждого убитого большевика придут новые тысячи...

Офицер толкнул комиссара.

Стоят Карабаш и Миша.

Снова подходит офицер.

К а р а б а ш. Ребенка оставьте, проды...

Два штыка направлены прямо в грудь. Карабаш и Миша отступают к обрыву.

Оба падают в море.

Осталось двое... Матрос, нагнувшись, с разбегу пытается ударить офицера головой, свалить с обрыва. Офицер успел оттолкнуть его. Моряк падает с обрыва...

Остался один Артем. Он повернул голову, спросил презрительно и сухо:

— Мне?

Подошел к обрыву. За ним — офицер.

Артем повернулся к белым и сказал отчетливо:

— Да здравствует Балтийский флот ныне и вовеки!

Офицер хотел его толкнуть.

А р т е м. Не марай!

И бросился с кручи сам.

Море. Высокий обрыв. Стоит офицер, смотрит вниз. Круги по воде.

Всплыли на волнах три бескозырки...

Ушел офицер.

Тишина... Из воды появляется голова Артема. Он поглядел вверх, в стороны и поплыл к берегу.

Артем вылезает на берег, садится на камень.

Бледный, мокрый Артем сидит на камне, снимает веревки, срезанные финским ножом.

Встал с камня, поглядел на воду, пошел за товарищами: «Своих никогда не бросать!..»

Нырнул в воду, скрылся.

Вынырнул с комиссаром. Поплыл медленно, устало.

Вытащил тело комиссара на берег.

Бьются о берег балтийские волны!

Артем поддерживает комиссара.

Тихо говорит:

— Комиссар, а комиссар? Товарищ, друг...

Осмотрел разбитую о камни голову, снял веревку с шеи комиссара. Достал из кармана комиссара книжку. Это — партбилет.

Поглядел на развернутый партбилет... Посмотрел вверх, в сторону белых, промолвил:

— Так, так...

Положил партбилет себе в карман, потащил тело комиссара.

Валами накатываются волны на берег...

В выдолбленную валами нишу крутого берега Артем бережно кладет тело комиссара. Постоял тихо. Поцеловал в мертвые губы комиссара. Начал закладывать камнями его тело.

Бережно закрывает голову комиссара камнями.

Артем кладет последние камни. Поднимает выброшенную волной бескозырку, кладет на могилу комиссара. Выпрямился, долгим взглядом посмотрел на могилу. Пошел один в расположение белой армии...

Бьет волна бескозырки о прибрежную гальку... Могила комиссара. На ней лежит бескозырка.

По побережью на Петроград идут белые колонны. Лежит убитый матрос. Белый солдат поднял на штык бескозырку убитого матроса. Понес ее, как трофей...

Господский дом. Женщина сбегает с детьми по лестнице.

Г о л о с а д е т е й. Куда пойдем?

Ж е н щ и н а. Не знаю.

Слышен топот конницы. Женщина и дети попятись. Женщина прислушивается к топоту. Хлопнула дверь.

По лестнице взбегают поручик фон Виттен и фельдфебель.

Поручик осматривается на площадке лестницы. Увидел женщину, детей.

Женщина стоит, молчит.

Поручик пристально разглядывает их: «Может быть, красные?»

Женщина молчит.

П о р у ч и к. Чему обязан видеть в своем доме?

Женщина не отвечает. К ней подходит маленький сын красноармейца.

М а л ь ч и к. Это наш дом.

О ф и ц е р (резко). Это мой дом.

Офицер, сделав знак фельдфебелю — «убрать», ушел. Фельдфебель подходит к женщине:

— Вы бы, барышня, в какое другое помещение перешли...

Берег. Овраги. Пробирается Артем. Услышал топот конницы, прислушался. Прыгнул в окоп.

Лежат убитые. Артем быстро содрал с одного офицера шинель. Накинул ее на себя...

Переодетый Артем идет по оврагу. Вдали топот, крики: «Стой!» Артем продолжает идти, будто его это не касается...

Женщина с детьми в каком-то сарае, сосредоточенная и печальная. За окном топот, выстрелы, крики: «Стой!» Женщина идет к окну, вслушивается.

Женщина у окна. Пробегают тени, слышен топот. Скрипнула ставня.

В окно впрыгивает Артем.

Артем в темноте, с ножом:

— Кто здесь?

Женщина берет коптилку. Глядит.

Артем узнает ее.

— Мадмазель, это я, свой... мы из Кронштадта... Насилу ушел...

Он устало опустил на землю.

— Погибли товарищи мои, один я спасся...

Женщина наклонилась к матросу, утирает ему грязь с лица. За окном вновь топот погони... Мимо...

Дети боязливо жмутся...

Матрос успокаивает их, замечает парнишку, треплет его по плечу:

— Вот парень — гвоздь! Ты чей?

— Тяткин.

— А кто у тебя тятка?

— В Красной Армии.

— Ты сопли не распускай, найдем тятку. Этого не может быть, чтобы Красная Армия потерялась. Не такая уж маленькая штуквинка.

Женщина улыбнулась, дети заулыбались.

— Ну, вы, ребята, пока не мешайте,— я с гражданкой поговорю!

И матрос, нашедший женщину, которая так тревожила его воображение, робко подходит к ней.

Он обеими руками стискивает ее руку и проникновенно и искренне говорит:

— Эх, если бы вы знали... (*Пауза.*) А теперь насчет политических дел. Мне отсюда надо смываться. Климат здесь неподходящий.

Женщина, — чуть улыбаясь и прислушиваясь к тому, что на дворе, — из маленькой своей корзиночки, которую она унесла с собой, подает моряку женскую одежду.

— Возьмите мое платье, пробирайтесь, сообщите Кронштадту. У берега — шлюпка.

Артем ожил:

— Шлюпка!.. Все сделаю, мадамзель...

Женщина улыбнулась:

— Почему «мадамзель, мадамзель»? Я член партии. А р т е м. Виноват. (*Поглядел на нее взволнованно, нежно.*) Эх, родная!..

Хотел еще что-то сказать, но за окном вновь топот погони.

А р т е м (*прислушиваясь*). Мы их вытряхнем отсюда, наизнанку вытряхнем... Точка, я отбываю...

Ж е н щ и н а. Идите.

Артем выпрыгнул в окно. Тишина...

Женщина стоит. Открылась дверь, входит поручик фон Виттен.

П о р у ч и к. Идите, вы нужны. Ну!

Женщина пошла.

За строениями к берегу идет переодетый женщиной Артем.

Его заметил фельдфебель, пошел за ним:

— Эй, барышня, барышня!.. Как тебя там, подожди!

Артем свернул в какой-то сарай.

Ф е л ь д ф е б е л ь (*похотливо*). Барышня, что я вам скажу!..

Фельдфебель входит в сарай.

Тихо. Из сарая слышен стон...

Из двери выходит Артем, обтирает нож. Прощедил: «Вот тебе и барышня...» — и двинулся по пустынным приморским пространствам, прислушиваясь ко всем шорохам.

Шторм на море. Шлюпка у берега. Артем сталкивает шлюпку в море. Ветер развевает юбку.

По берегу бегут солдаты:

— Эй, тетка! Стой!

Артем сдвинул шлюпку. Ее бросает по волнам.

По берегу бежит патруль.

Артем гребет изо всех сил. По нему стреляют...

Артем запел песнь покойного друга гитариста...

Патруль стреляет по уходящей шлюпке. Попасть трудно — ее кидает штормовая волна...

Шлюпка Артема скрывается из виду...

*ФРОНТ ПОД ПЕТРОГРАДОМ.
КРАСНЫЕ БОЙЦЫ ЗАЩИЩАЮТ
ПОСЛЕДНИЕ ПОЗИЦИИ*

Та же ночь. Окопы пехоты. Это Петроградский полк Драудина. Ветер с Балтики семь-восемь баллов. Ветер гнет прибрежные сосны. Сквозь ночную мглу пехотинцы стараются распознать, почуять противника. Мимо бойцов идут к командиру делегаты — пехотинец Василий и два других.

Г о л о с а в о к о п е. Делегаты пошли... Вали, командир напишет...

Г о л о с Д р а у д и н а. Сообщите в Кронштадт: «Моряки дали нам время закрепиться на высоте сто три...»

Командир продолжает диктовать телефонограмму для передачи:

— «Закрываем Петроградское шоссе. Ждем подкрепления с моря». Передайте.

К командиру подходят делегаты.

Василий и командир у бруствера.

В а с и л и й. Товарищ командир, бойцы предлагают резолюцию.

К о м а н д и р. Это можно.

Он берет бумагу.

В а с и л и й. Да вот в уме она есть, а на бумаге не выходит.

К о м а н д и р. Ничего, давай.

В а с и л и й (*начиная диктовать резолюцию*). «Мы, бойцы...»

Бойцы в окопе слушают.

Г о л о с В а с и л и я. «...Петроградского стрелкового полка, заявляем...»

Рядом другие бойцы.

В а с и л и й. «Золотопогонники...»

О д н и з т о в а р и щ е й (*поправляя*). Полузадушенные.

В а с и л и й. «Полузадушенные золотопогонники идут на Петроград...»

Д р у г о й д е л е г а т (*поправляя*). На красный Петроград.

Один из бойцов в окопе слушает.

Г о л о с д е л е г а т а. «Настал момент победить или умереть за советскую власть...»

Сморя доносятся отдельные вспышки, тяжелые содрогания и низкое шипение снарядов: Антанта с моря бьет.

Взлетают колья проволочного заграждения.

Дraudин с помощником смотрят в бойницу.

К о м а н д и р. Защищите — в семнадцать часов восемь минут противник начал артиллерийскую подготовку.

Еще разрыв снаряда. Сыплются осколки, пыль, песок, обдавая всю группу бойцов. Упала разрушенная взрывом часть окопа.

Командир, освобождаясь от упавшей на него проволоки, обращается к Василию:

— Тут немного мешают... Как сказал? Настал момент?..

Новый взрыв снаряда.

Командир, Василий и другие бойцы укрываются в окопе. Осыпается земля... Поднимают и уносят раненого телефониста.

Драудин берет телефонную трубку, передает ее Василию:

— Давай. — Дает ему телефонограмму: — Передайте в Кронштадт.

В а с и л и й (*вызывая*). Кронштадт, Кронштадт!

Командир смотрит в бойницу.

Разрывы снарядов. Бредут по окопу раненые.

Г о л о с В а с и л и я. Кронштадт, Кронштадт...

Под козырьком, в окопе, сидит у телефона Василий, продолжает вызывать:

— Кронштадт, Кронштадт!

Рядом Драудин. На носилках проносят раненого. Все хуже и хуже дела полка. Порвана связь.

В а с и л и й. Не работает, товарищ командир!

Д р а у д и н. Ничего, это бывает, что не работает. Продолжайте!

В а с и л и й (*кричит в трубку*). Кронштадт!

Разрыв снаряда перед окопом. Бойцы пригнулись. Упала огромная сосна, накрыла бойцов.

Василий в окопе под козырьком монотонно повторяет в телефонную трубку:

— Кронштадт... Кронштадт...

Время от времени он дует в трубку.

Телеграфная линия. Столб с оборванными проводами.

Связь оборвана.

Монотонный голос Василия:

— Кронштадт... Кронштадт...

Красноармейцы выглядывают из окопа. Вдали перед окопами показывается женщина.

Реплики бойцов:

— Гляди, гляди, женщина!..

— Делегат, наверно...

Смотрит из окопа в бинокль Драудин. Лицо застыло. Рядом с командиром Василий.

Женщина стоит с поднятым в руке белым платком. За ней в отдалении делают перебежки офицеры.

Драудин в окопе командует:

— По провокатору! Прицел постоянный!

Женщина стоит с поднятым платком в руке.

Прячась за ее спиной, поручик фон Виттен говорит ей:

— Говорите: сопротивление бессмысленно, сдавайтесь...

Драудин смотрит из окопа. Командует:

— Отставить, я сам.

Берет винтовку, кладет на бруствер, целится.

Поручик шепчет женщине:

— Говорите же: сдавайтесь.

Женщина, выпрямившись, кричит:

— Товарищи, не сдавайтесь, Кронштадт поможет!

Выстрел командира.

Лежит убитый поручик.

Женщина бежит по полю к окопу.

Драудин кричит ей:

— Бросайтесь в снарядную воронку...

Наша пехота бьет по белой цепи.

Белая цепь пятится, отступает.

Женщина прячется в воронке между окопами.

Один за другим несколько разрывов снарядов.

Белые усилили обстрел.

Женщина среди разрывов в воронке... Дым...

Море. В плюшке гребет Артем. Вдали показался форт. Кронштадт!

Артем пристаёт к берегу. Вылез. Сбросил с себя женское тряпье. Пошел к гавани. На кораблях играют сигналы сбора. Из труб пошел дым. В гавани боевой аврал: вагонетки со снарядами, с углем... Кронштадт поднимается!

Артем идет к пристани. Моряки навстречу. Узнали.

— А, Артем! Здорово! Ну, как отряд?

Артем, шагая, увлекает их за собой:

— Кто живой, пусть поднимается.. Поголовно Коммуна пусть поднимается!.. Я такое скажу — все достигну!

Артем шагает к кораблям. Вокруг Артема все

больше и больше моряков... Все взбудоражены, ждут вестей от Артема.

У корабля командир. Он спрашивает Артема:

— Что с отрядом? Где комиссар?

А р т е м. Отряд погиб, товарищей дорогих казнили.

И передает командиру партбилет комиссара.

Командир читает в партбилете:

— «Мартынов Василий Федорович...»

Тишина... Матросы снимают бескозырки. Сотни голов...

Взвыла сирена. Загремели команды: «На корабли!», «На корабли!»

Матросы ринулись на корабли. Аврал. Движение... Работа.

Идет мать погибшего Валентина Беспрозванного. Артем командиру:

— Там пехота наша осталась. Неужели не поможем?

К о м а н д и р. Готовим десант. Место указать можете?

А р т е м (*сумрачно*). Глубину там у берега сам измерил.

Мать Валентина Беспрозванного увидела Артема. Она подошла к нему:

— Опять идете? Вале кланяйтесь, Вале.

Артем вздрогнул.

— Поклонюсь, мама.

И как выполнение этого,— взметнулись волны, двинулся флот.

Дула орудий кораблей, идущих в штормовом море.

ПИТЕР ДАЛ ЛЮДЕЙ, ТОПЛИВО, СНАРЯДЫ. БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ ДВИНУЛСЯ В БОЙ

Зарываясь в волнах, идет эсминец... Идут несколько эсминцев. Идет Балтийский флот.

Остатки Петроградского полка... Пехота среди вывороченных дальнобойными снарядами воронок, среди взрывов, которые больше похожи на фугасные, чем на артиллерийские.

Командир у телефона:

— Кронштадт! Кронштадт...

Новые взрывы.

— Алло, Кронштадт!

В сырой и тяжелой смеси непогоды и артиллерийского вихря надламываются старые сосны, рвутся провода и на воздух взлетают гребни приморских холмов.

Лежат убитые. Идут раненые. Дымится какое-то пожарище...

Вытаскивают Василия, засыпанного землей.

Г о л о с а. Полегче... Кажись, живой!

В воронке — женщина, полуоглушенная.

Драудин и его помощник в окопе.

П о м о щ н и к к о м а н д и р а. Бойцов мало, товарищ командир.

К о м а н д и р (*спокойно*). Ничего, найдутся.

Передает помощнику записку.

Из окопа выползают музыканты полка. У них духовые инструменты и винтовки. Располагаются с винтовками по окопу.

Д р а у д и н. Ну вы, артисты, давай хорошую музыку.

Музыканты садятся на дно окопа. Загремел марш.

Разрушенный окоп. Ползут, укрываясь от обстрела, красноармейцы. Оркестр продолжает играть.

Перевязочный пункт в поле. К пункту бредут раненые красноармейцы. Около пункта они лежат группами. Доносится марш...

К перевязочному пункту идет помощник командира полка — в шлеме, суровый.

Остановился перед лежащими:

— Партийная организация просит раненых коммунистов вернуться в строй.

Приподнялся один раненый, смотрит.

Медленно приподнимается еще один раненый, опираясь на винтовку, заковылял.

Встал Василий:

— А беспартийные?

Оглядел товарищей, позвал их:

— Давай пошли тоже!

Пошел Василий. Потянулись кучками раненые.

Оркестр в окопах продолжает играть. Полк будет драться до конца!..

Идут, укрываясь от обстрела, раненные. Располагаются по окопу, готовые отстаивать его, телами своими закрыть путь на Питер.

В дыму у бруствера командир со своим помощником.

Д р а у д и н (*глядя на часы*). Запишите: пятнадцать часов ноль минут противник начал атаку.

Густые белые цепи начали новую атаку.

Раненные бойцы спешат, занимают места. Хромые ковыляют к бойницам...

Идут цепи белых. Они отчетливо видны с высоты «103».

Разрушения всюду...

Драудин у бруствера.

Стиснув зубы, говорит:

— Кронштадт. Неужели не помогут, не успеют?..

Дым стелется над морем, ветер рвет снасти. Корабль за кораблем выходят на запад, медленно вздымаясь на штормовых валах. Движение катеров и тонких эсминцев. Угрожающе прямые крейсера. И, застилая все, линейные корабли...

Палуба линкора... Ветер... Артем на башне. Подходят шеренги моряков.

А р т е м. Товарищи! Силы Республики напряжены — под Воронежем бой, в Сибири бой. Враг под Питером. Ленин говорит нам: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи!..» И мы ответим по-флотски: каждого, кто посягнет на революцию, порвем к чортовой матери... (*Помолчав.*) Все!

Сотни моряков — десант, готовый к бою...

Шторм ревет. Идет линейный корабль.

Валы взлетают вверх. Вздымаясь и опускаясь на волнах, идет корабль. Воют вентиляторы.

Штормовое осеннее море треплет десант.

Обрыв, с которого были сброшены в море моряки. Могила комиссара.

Из воды выходит Артем — первый из состава десанта.

Десантные боты входят в прибой. Моряки, высоко подняв оружие, прыгают в волны.

Волны... Сотни матросов спрыгивают в холодную воду.

Штормовое море. Десант рядами, сквозь волны, идет к берегу. Волны перекатываются через головы. Моряки вслед за волнами выходят на берег, выходят неукротимые, огромные, движимые самыми сильными на этом свете чувствами и мыслями.

Вот место, где белые топили моряков.

Проходят моряки.

А р т е м. Запомните это место, куда жив рабочий класс.

Десант безостановочно выходит на берег.

Десант двинулся в тыл белым...

Окоп пехотного полка. Порвана с тылом связь. Земля расползается, вода смешалась с деревом, глиной и мхами.

Играют немногие оставшиеся в живых музыканты.

Командир и его помощник, не торопясь, стреляют по цепи белых. Она — близко.

Цепи белых идут густо, настойчиво.

Бойцы отражают атаку.

Стреляют в упор.

Один из бойцов кричит белым:

— Куда лезете? Здесь для нескорящих!

Один из бойцов швыряет с обрыва огромные камни, кричит:

— А ну, подходи за земельным паем!

Василий бьет из пулемета. На миг оторвался, утер пот, машет белым:

— Давай, давай, мы не жадные!

Бородатый пулеметчик добавляет:

— Еще отпустим...

И бьют опять.

В воронке стреляет по наступающим женщина...

Бегут и падают белые.

Непрерывный ружейный огонь...

Белые цепи все ближе... Они уже у бруствера окопа.

Люди схватываются грудь к груди.

На помощь подползают раненые.

— За родимый Питер!

Бой ожесточеннейший.

Окоп. Играют последние уцелевшие музыканты.

Вот остался один трубач...

Лавины цепей белых. И внезапно, на горизонте, в тылу белых, показываются моряки. Белые дрогнули.

Крики:

— Матросы!..

— Где?..

— Вон, вон чернеются...

— Матросы в тылу!..

Движение моряков с высот в тыл белых.

Моряки — в стремительном ударе.

Белая цепь остановилась. Белые колонны повернули. Они ринулись куда-то вбок, назад, в хаотическом смещении. Сзади с криком «ура» двинулась цепь десанта. Из глиняных ям, из воды поднялась пехота Красной Армии.

Драудин, бросив папироску, посмотрел, вынул наган:

— Ну, пошли.

Выпрыгивают из окопа:

— Ура, Кронштадт!

Мощное «ура». Полк пошел в контратаку. Лица бойцов обратились к морю. Там дымы!

— Кронштадт! Балтфлот! Ковырни, поддай!..

Командир на ходу прыгает в воронку, к женщине:

— Хорошо говорила...

Пошел дальше.

Пехотинцы бегут навстречу морякам.

А р т е м (сияя). Здорово, орлы-петроградцы!

Гулкое «ура».

Артем целуется с пехотинцем, еще с одним. Это Василий! Узнают друг друга.

А р т е м (*отстраняясь*). Извиняюсь...

В а с и л и й. Виноват...

А р т е м (*улыбнувшись*). У, чорт...

Дружески хлопнул пехотинца по спине.

А р т е м (*командуя*). Передать по семафору — открыть огонь!..

Побежал преследовать белых.

В цепи:

— Сигнальщики, передать: открыть огонь! Открыть огонь!

Идут среди бойцов Драудин, женщина. Идут рядом Василий и Артем.

Артем узпал женщину:

— Мадмазель?!

Идут пехотинцы и матросы. Преследование врага неумолимое.

Идут Василий и Артем.

В а с и л и й. Какая тебе «мадмазель»? Это жена нашего командира...

Артем крикнул с досады:

— Э-эх!

Вздрогнуло все пространство, и вода, и воздух над Финским заливом: Балтийский флот дал первый залп.

Палуба. Дула орудий.

Три двенадцатидюймовых орудия.

Бегут в панике белые, задыхаясь.

Чудовищные разрывы. Стреляют орудия кораблей Балтфлота. Сверканье и гром.

Залпы сотрясают материк. На воздух взлетают целые строения, взводы и бронемашины. Во мгле далекие суда противника. Уходят.

Бегут белые. Разрывы двенадцатидюймовых снарядов. Бегут белые. Новые разрывы снарядов.

Эскадра бьет непрерывно.

Вспышки и выбросы залпов.

Разрывы двенадцатидюймовых снарядов.

Белые бегут.

Преследование идет сквозь утренний туман, безостановочное, стремительное.

Залпы учащаются. Стреляют корабли.

Залп!

Залп!

Залп! Снова залп!

Разрывы двенадцатидюймовых снарядов.

Все в дыму — до облаков. Летят деревья.

Моряки бегут сквозь сдающиеся ряды белых. Подняты руки офицеров.

Матросы гонят белых к обрыву.

...Обрыв у моря.

Белый полковник у обрыва. Остановился в ужасе. В давке его толкнули в море. Вопль...

Матросы настигают белых. Артем впереди.

Матросы вырвались к обрыву. Белые в смятении срываются с обрыва. Матросы сталкивают их беспощадно в море.

Артем и матросы над обрывом.

Победа!

А р т е м. А ну, кто еще хочет в Петроград?!

Суровое, прекрасное лицо Артема.

*Кронштадт — Москва
1933—1936 гг.*

МЫ, РУССКИЙ НАРОД

Роман-фильм

I

Зимний день. На солнце сверкал и искрился чистый снег. Воздух был поразительно прозрачен. Тишина была необыкновенная. В оцепенении стояли хвойные леса. С могучих угрюмых елей иногда с тихим шорохом осыпался снег. Серебристая пыль беззвучно покрывала землю.

Древние новгородские и псковские земли расстилались под тихим и бледным небом на сотни верст. Все проявления жизни казались скованными навсегда. Не было слышно голоса — ни человеческого, ни звериного, ни даже птичьего.

Вдали едва курился дым ушедших в снега деревень России. Донесся тихий звон колокола. На окраине села зашевелились люди, хлопнули где-то двери. С криком пробежали мальчишки: «На войну угоняют!» — «Последних забирают!» Сельский староста стучал палкой в двери и в подоконники и коротко, властно бросал: «Назначенные, выходи!» Пошли мужики в тулупах, в кафтанах, а иные в шинелях. Темнобородые и светлоробородые, молчаливые. У одной избы, вцепившись в мужа, окруженная детьми, стояла женщина. Она растерянно повторяла:

— Да как же мы останемся, Ермолай?

Мужик молчал. Еще раз донесся окрик старосты. Люди заторопились. Перед кучкой уходящих старуха понесла икону Христа. Слышались восклицания, пронзительные женские крики. Рванула где-то по улице

гармоника. Толпа все росла. Люди собирались у церкви. Там прощались с семьями, с мирским сходом вновь призванные на позиции, выздоравливающие от ран солдаты. Они стояли угрюмой толпой. Покрикивая: «Осади!» — прошел стражник, отгоняя женщин, и они заголосили еще сильнее. Ребятишки глядели, онемев, испуганно. К солдатам подходили старики, кланялись им в пояс.

— Примите, служивые, в путь-дорогу. Прощения просим, что мало... — И передавали им еще с мирного времени сохраненную казенную водку.

— Ах, жизнь перед смертью сполоснуть!

И один из солдат — русоволосый ухаре — ладонью ударил по донышку бутылки. Вино вспенилось, побелело и пробка вылетела. Солдат выпил бутылку не отрываясь, единым духом, тряхнул головой, утерся.

— Покорно благодарю понимающих старичков, — и ударил бутылку об изгородь. Брызнули стекла.

Прокатился тяжелый, хриплый бас:

— Станови-и-ись!

Солдаты понуро построились. К их рядам подошел чужой, приезжий поручик. Он поздоровался, стал обходить строй, всматриваясь в лица совершенно неизвестных ему людей. За офицером шел стражник со списком в руках. Третьим шел староста. Около одного солдата, здорового телосложения, высокого мужчины лет двадцати девяти, темнорусого, с ясными глазами, стражник остановился. Он всмотрелся в солдата, подошел к нему в упор и спросил, пытливо глядя в глаза:

— Будто я тебя в пятом году видел?

Поручик повернул голову. Солдат посмотрел спокойно и холодно и ответил стражнику:

— Возможно. Существовал в то время.

Стражник грубее спросил:

— Будто каторжником ты тогда был? В Сибири с конвоем вас гнали, а ты бежал...

Все глядели на солдата. Он стоял ровный, крепкий. Папаха была чуть сдвинута на правую бровь, и лицо его, русского пехотинца, было просто. Все ждали ответа. Он сказал:

— Где нам, простым нижним чинам, до каторги доходить... — и чуть-чуть усмехнулся.

Офицер спросил:

— Как зовут?

— Яков Орел, ваше благородие.

Офицер посмотрел в списки, потом вновь на солдата. Стражник невесело покосился, еще раз испытующе оглядел солдата и сказал:

— Опасный был политик.

Солдат молчал, и только в глазах его чуть тлеял запряганный огонек.

К солдатам подошли священник, дьякон и несколько сельских певчих. Негромко подана была команда:

— На молитву, шапки долой!..

Солдаты и мужики обнажили головы, и в морозном воздухе раздалось пение. Пели коленопреклоненные:

— «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое... Победы благоверному императору нашему...»

Священник благословлял солдат. Ухарь подмигнул ему. Пели и всхлипывали женщины. Истово крестясь, взглядывали на небеса старики. Звенели чистые детские дисканты и альты.

Офицер закричал:

— Поторапливайсь!

Началось прощание. Крестьясь и нахлобучивая папахи, солдаты тронулись. Ударил гармонь. Завыли завтрашние вдовы и сироты. Выпившие глядели на толпу уже блаженно-добродушно, а иные зло, и хмельной ухарь закричал:

— Прощай, народ православный, уходим! Уходит за буйство разжалованный фейерверкер, наводчик Алешка Медведев... Это я... И куда, Алешка, попал? В гиблую пехоту... Эвон она: перераненная, позаплатая, в ранах нитки болтаются... Ну, ладно, если кого обидел, грех отпустите...

Старики и бабы заговорили и зашептали:

— Бог простит, сынок.

А Алешка шел, играя, хватал девок и целовал их: «Н-но, милая, тыру».

Опираясь на клюку, шел старый инвалид турецкой войны, высохший, исполосованный. Он только повторял солдатам:

— Славу царю воюйте... Штычком, штычком, ребята...

Село осталось позади. Солдаты брели вольным шагом, молча, казенные. По обочинам дороги еще бежали провожающие бабы. Их свирепо гнал стражник. Офицер время от времени взглядывал сбоку на Орла. Тот шагал молча, независимо. Офицер негромко спросил у стражника:

— Не ошибаешься?

Стражник поглядел, подумал и твердо ответил:

— Он.

Тогда офицер сказал:

— Присмотримся и возьмем.

Какая-то женщина, перебежав дорогу, бросилась к солдатам под ноги и закричала, всплеснув руками:

— Ай, не пуцу! Ермолай!.. Поубивают вас!

Бородатый солдат отгонял ее:

— Марья, поди.

Орел поднял женщину. Она билась. Дети плакали, держась за материн подол.

Фейерверкер крикнул:

— Этак и не уйдем!..

Вновь ударила гармоника, и озорной фейерверкер пошел по снегу впрыскаду с вывертом и орал на морозе так, что пар уходил вверх:

— Брось, тетка, всех не поубивают!

Плясуну становилось жарко. Он раскрыл ворот.

— Гуляем!

Люди заулыбались, гармонист шире рванул инструмент.

— Дай, Алешка, напоследок!

Плясун на секунду остановился, кинул:

— Ладно, — хватил шапку оземь и запел: — «Вставай, подымайся, рабочий народ!»

Орел подошел к нему, положил руку на плечо и сказал коротко, негромко:

— Куда торопишься?

Офицер сбоку еще раз поглядел на Орла...

В рядах стало тихо. Потом кто-то сказал:

— Вот, нагулялись... Эх, а жизни нам осталось только два дня, до окопов.

Ряды шли молчаливо. За солдатами тащился обоз с бедным их скарбом. Укутанные в тулупы, шли возницы, и от солдат к ним долетали только печальный разговор гармоник и чья-то песнь — «По диким степям Забайкалья...»

Люди подошли к занесенной снегом станции. На ней было сиротливо и пустынно. Стояли промерзшие темные товарные вагоны. На стенах были нацарапаны надписи: «Прощайте, братья!», «Живы будем — не помрем!», «Проехали на позиции — прощальный привет!»

Солдаты подходили к оледеневшим вагонам. Один посмотрел, понюхал: «Убоиной несет» — и брезгливо, ногой, отшвырнул какие-то смерзшиеся окровавленные тряпки.

Шла посадка. Поручик коротко бросил стражнику: — Глядеть за этим неотрывно.

— Гляжу, ваше благородие.

И глаза стражника то сбоку, то сзади буравили крепкого неторопливого солдата. Стражник покрикивал, загоняя солдат по вагонам. Алешка увидел его, хмельно качнулся и спросил:

— Расстаемся? Сколько слез я по тебе пролью, моя красотка... — И он чмокнул губами, насмешливо глядя на стражника.

Солдаты засмеялись. Алешка продолжал:

— Приходит час разлуки, но, между прочим, чего же оружия не дают?

Стражник огрызнулся:

— Вам выдай.

Алешка хитро изумился:

— А что?

Орел усмехнулся. Пьяный остро посмотрел на стражника:

— Бойтесь, что шуму наделаем?

— Пожалуй, наделаешь... На Сахалин захотел?

— Давай! Кандалы носить будем, тачку возить будем... Только не в пехоту.. Вон — тихие дураки, помолясь едут — и сразу хоп в лоб.

Стражник заорал:

— Ну, помалкивай!

А солдату хотелось говорить, спирт тревожил сердце и мозг, злоба толкала:

— Слушай ты, как тебя... Орел... Чего усмешечки кривишь?.. Не пьешь и не поешь. Ты — политик?..

Орел посмотрел и сказал:

— Где нам, простым нижним чинам, до политики... — и усмехнулся.

Вдоль вагонов, побираясь, шла нищенка-юродивая. Она держала в руках жестяную баночку. Алешка бросил ей медный пятак:

— Гуляй, убогая!

Юродивая посмотрела, покачала головой.

— На свечечки давать пужно... на свечечки... За помин ваших душ... — И глядела на солдат и тонким кривым пальцем показывала: — Тебя убьют... и этого...

И Алешка притих, и бородатый Ермолай притих. Солдаты смотрели на юродивую, а она, вещая, глядела на них. Глаза ее встретились с глазами Орла. Старуха вдруг запнулась, замолчала, закрылась руками, попятилась назад. Она показала на Орла:

— А этого... ой, страшная у него судьба...

И испуганная старуха отступала все дальше и что-то шептала.

Солдаты глядели на Орла. Он тихо сказал нищенке:

— Иди, бабушка, иди... Мы своей судьбой уж как-нибудь сами распорядимся...

Медленно скрипя, подошел встречный товаро-пассажирский поезд, набитый и облепленный людьми. Лязгнуло железо. Пассажиры даже не смотрели на солдат, которые передвигались уже третий год по всей стране. Против теплушки, где у раскрытой двери сидели Орел, Алешка и другие, остановился арестантский вагон. Арестанты сквозь стекла и железные решетки смотрели на солдат. Все затихло. Вдруг загремели и посыпались стекла, и неожиданно зазвенел голос:

— Товарищи, подходи ближе, не бойсь! За что нас гонят на каторгу? За то, что мы выступали против войны, в защиту вас... Что же, вы не видите, что в России делается? (Солдаты сбегались, слушали.) Призвано

шестнадцать миллионов. Третью уже убита. Почти каждый второй солдат ранен...

Послышались ответы: «Теперь добивать везет».

Ссылный продолжал:

— Три миллиона погибают в немецком плену... Деревня стонет... Вы что ж — долго молчать будете?..

Солдаты стояли и слушали, побледнев, речь ссылного. К эшелону бежали, придерживая ножны шашек, поручик, стражник и станционный жандарм. Поручик кричал:

— Прекратить переговоры!

В ответ из арестантских вагонов зашумели:

— Долой! — и зазвенели другие окна, и политическая каторга загремела: — Братья-солдаты, за вас уходим!.. Поймите, что делается... Долой самодержавие царя Николая!

Политических уже хватали, заламывали им руки назад. Поручик кричал, потрясая кулаком, в сторону машиниста:

— Давай отправление!

Стражник, не отрываясь, смотрел на Орла. Тот застыл у дверей, одной рукой сжав другую. Глаза его были устремлены на людей, которых избивали тут же, в нескольких шагах от него. Из арестантского вагона, с лицом, прижатым к прутьям и битому стеклу, кричала девушка:

— Братья, когда грянет народное восстание, не стреляйте в нас...

Волосатая грязная лапа заткнула ей рот. Девушку били по лицу.

Поручик орал машинисту:

— Отправляй сию же секунду! Отправляй, мерзавец!

Пронзительно засвистел паровоз. Эшелон дернулся. Орел все стоял в дверях.

Ссылный, говоривший речь из арестантского вагона, приподнялся, лицо его было в крови. Он кричал вслед уходящему эшелону:

— Помните, братья, пятый год... Прощайте... Большевики из каторжных тюрем, из ссылки шлют вам привет...

Орел, не отрываясь, глядел на политических, которые впились в решетки. Политических избивали. Они запели... Орел стоял бледный и недвижимый. Тронулся и второй поезд. И, расставаясь, уходили одни к далеким сибирским централам, другие — в окопы, на запад. Солдаты, возбужденные, сгрудились в дверях, глядели вслед ссыльным. Было холодно, в щели дуло. Вагоны скрипели...

Один из новобранцев спрашивал:

— Чего кричали, за што привет?..

Вопрос его остался без ответа. Только бородатый солдат, Ермолай, сказал:

— Помните, говорит, пятый год.

Новобранец не понял и опять спросил:

— А чего шумели?

Алешка кинул ему:

— Какой губернии?

— Мы — вятские.

— А зовут?

— Тоже так: Вятский.

— Ну, те еще рано понимать... Ты послужи с наше... Вятский, что есть солдат? Отвечай!

Молодой помялся.

— Солдат есть слуга...— и замолк.

Орел продолжил:

— Солдат есть слуга царя и в защиту его должен убивать отца и мать, переносить голод и холод, терпеть по морде и терпеть, когда бьют близких его.

Солдаты обернулись к Орлу. Алешка сказал:

— А ты больно грамотный!

Орел покосился:

— Где нам, нижним чинам...

Ермолай поглядел на людей и сказал, ни к кому особо не обращаясь:

— Сказано насчет солдата верно... Боже мой, да как же жить-то тогда?.. Ведь нельзя так-то жить, мочи человеческой нет. И днем только один крик и обиды, и ночью опять об том же сны видишь... Да, господи боже мой, неужели же не найдется такой человек, который бы правду сказал, который бы к совести воззвал, который народу бы путь указал?..

Алешка поглядел на Ермолая:
— Придут такие люди, старик!
Было холодно, тесно, угрюмо.

Алешка посмотрел вокруг: «Эх, затиснули, загнали, только решеток нет... Подышать, что ли, в последний раз...» — и он на ходу поезда, под возгласы, полез с гармошкой на крышу, а за ним — еще двое. Поезд шел среди снежных полей и лесов. Дым стлался по крышам вагонов, и солдаты брели по этой зыбкой, качающейся улице, под дымом и искрами, в шинелях нараспашку, навстречу ветру, а гармонист пел и играл «По диким степям Забайкалья». Алешка только просил сам себя: «Пой, пой еще, Алешка, там люди на каторге...» Ветер и дым уносили голоса вдаль. Солдаты шли сквозь печальную Россию.

II

Был сумрачен Северо-западный фронт. Урчала артиллерия. Куда-то по снегам шли беженцы, ковыляли согбенные старики с узлами, брели дети. Тощие кони тянули из последних сил бедные повозки.

Леса стояли обгорелые и искалеченные. Тянулись сырые солдатские могилки. Выгоревшие селения были черны и безлюдны. Иногда пробегали через дорогу бездомные псы. Подбитая лошадь прыгала на трех ногах неведомо куда.

Солдаты шли в полк. Их вел молодой чужой офицер, впервые видевший войну. Временами он опять взглядывал на Орла. Навстречу потянулись раненые. Одного поручик окрикнул:

— Ну как, земляк?

— Сходишь — узнаешь.

Сыскным взглядом оглядели пополнение унтера комендантского батальона.

Полк встретил пополнение. Огромный, с бородой, расчесанной надвое, знаменщик держал старое, закрытое чехлом знамя. Двуглавый орел расправлял крылья над древком. Навстречу прибывшим вышел бритый высокий здоровый старик с солдатским лицом.

Это был полковник Бутурлин. Его сопровождали офицеры. Он оглядел солдат, не обращая внимания на близкие разрывы снарядов, и сказал несколько слов:

— Добро пожаловать, братцы старые солдаты, в Петровский наш полк. Не моргать: это немцы постреливают... Два века служили в этом полку наши отцы, деды и прадеды, служили России. Послужим и мы и в наступившем новом тысяча девятьсот семнадцатом году. Живем мы здесь на позиции дружно, одной семьей. Вот у меня богатыри... — полковник показал на знаменщика и усатого фельдфебеля, — прошу любить... Немец наваливается, но то ли было... Наполеон шел, двенадцать народов, удалец, на Россию повел, а ушел едва с батальоном простуженных гренадеров... Песню об этом знаете?

Алешка бодро ответил:

— Так точно, вашсокродь: «Во Францию два гренадера...»

— «Из русского плена брели». Так, молодец!.. — Полковник шагнул к молодому вятскому солдату: — Что такое Россия, знаешь?

Солдат испугался.

— Не... мы — дальние, вятские.

Полковник усмехнулся:

— Вятские — ребята хватские. Семеро одного не боятся, а?

Вятский ответил:

— Воля ваша...

— А что на знамени написано, знаешь?

Солдат виновато опустил глаза.

-- Мы малограмотные...

— Обучим!.. Первую заповедь солдата знаешь?

Вятский молчал. Полковник властно и ясно сказал:

— Не отступать. Умри — не отступай. Понял?

— Так точно, вашсокродь: умри — не отступай.

— Ну вот мы тебя тут и образуем.

Полковник подошел к Орлу. Поручик сказал полковнику негромко:

— Есть подозрение, господин полковник, что этот — из политических, участник пятого года.

Полковник громко ответил:

— А вы не шепчите, поручик. Открыто люблю. Политический?

Полковник подошел ближе к Орлу, посмотрел на него пристально и сказал:

— Славный дядя... Послужит — исправится, — и прошел дальше.

Поручик спросил:

— Может быть, пока его в тылу придержать?

Полковник обернулся.

— Зачем в тылу, поручик? В огонь, в огонь... В огне люди виднее, понятнее.

Полковник еще раз поглядел на пришедших.

— Пришли во-время, спасибо. Заставлять ждать не будем... Сегодня и в дело. А в деле поближе и познакомимся, хотя уж вижу, тут орлы... А?

Орел чуть усмехнулся. Полковник бросил:

— Ну, попробуем немцев... Я иду за первой цепью. А вы, братцы, догоняйте. Поручик, займитесь.

И крупным шагом полковник двинулся на передовую линию.

Он обернулся на ходу и весело кинул Вятскому:

— Так заповедь помнишь?

Тот обрадованно вытянулся:

— Так точно, вашсокродь.

Подносчики патронов стали раздавать пачки и обоймы. Орел спросил:

— А винтовку?

Подносчик Иван Чортомлык, из породы правофланговых, ответил:

— Шо? От — берегли тут для вас... Самим нехватае... В атаку сходите — там и возьмете...

Ермолай покачал головой:

— Э-эх...

Алешка встряхнулся:

— Смеешься, отец благочинный?

Второй раздатчик, еврей, заметил:

— Вы что — у кассы спорите? Люди идут, и вы пойдете. Становитесь в очередь.

Вятский парень спросил:

— Чего велит? Куды сходить?

Орел бросил:

— Лаптем немца бить...

Донеслась частая стрельба.

— Начали, что ль?

Поручик закричал:

— Рота, за мной!

Кто-то суетился:

— Рубаху бы переодеть, господи милостивый...—
и трясся жидким голым телом на холоду.

Безоружные люди пополнения пробежали резервные линии и стали выкарабкиваться из переднего окопа. Несколько человек с молчаливым отчаянием швырнули наземь мешавшие лопаты. Орел крикнул:

— Я те кину! Подыми! Чем проволоку рубить будешь? Иди боком, пригибайся, вот так держи.

И старый опытный солдат шел в наступление пригнувшись, закрывая голову лопатой и применяясь к каждой складке местности.

Полк атаковал на пространстве в несколько верст. Пехотные цепи шли по снегу. Пули подымали белую пыль. Некоторые из солдат шли, закрыв глаза руками. Назад брели первые раненые.

— Проволока там. Руками, что ли, брать?

Лежали убитые. Орел попробовал взять у одного из них винтовку. Замерзшие руки не разжимались. Орел дернул сильнее:

— Пусти, земляк, ну!..

В цепи шел полковник:

— Ну, привыкаете? «Ура» пока не кричать, сил не тратить: на высоту идем... Начать перед проволокой... А где Вятский? А, тут... Так заповедь, заповедь помни!

— Так точно...

Пехота шла навстречу снегу, ветру, огню и врагу. Иные крестились. Падали убитые... Полковник упрямо шел вперед. Лишь у немногих были винтовки, взятые у убитых первой цепи, которая легла почти целиком. Перед проволокой полковник крикнул:

— Ну, Петровы внуки, дети суворовские, с богом, ура!

И пехота ринулась на проволоку. Ее рвали шты-

ками, руками, рубили лопатками и саперными топорами. Стоял железный скрежет, и катилось немолчное, печальное и страшное «ура!» Немецкие пулеметы пыхляли. Орел сорвал с себя папаху, он действовал с ю как рукавицей, чтоб не ранить себе руки о железные ржавые колючки... Веер пулеметных пуль срезал над его головой несколько кольев и проволоку. Рядом лежал Алешка. Он прошептал:

— Во, парикмахер бреет... Дай-ка я его достану... Поберегись!..

И он метнул гранату. Пулемет затих.

— Так, и лапки кверху!

По-двое, по-трое солдаты лезли все дальше и дальше. Рядом с ними полз командир первого батальона, богатырского вида усатый штабс-капитан Головачев. Он кинул солдатам:

— Ну-ка, братцы, ковырнем!

И люди вырывали со снегом и землей колья проволочного заграждения, отбрасывали рогатки, — тяжело дыша, пролезали под огнем сквозь плотную колючую железную сеть. «Ура» примолкло. Полковник, возбужденный, потный, работая рядом с солдатами, закричал:

— Голоса русского почему не слышу? Какого чорта! А ну, подайте, покажите!

И опять полк загремел раскатисто, лихо, с предсмертным бесстрашием.

Заграждения были пройдены, и полк смаху ворвался в немецкие окопы. Люди прыгали на неприятеля с высоты в сажень, полторы. Алешка летел и орал немцам:

— Чего смотришь? Ставь самовар, гости приехали!

Орел обрушил на кого-то приклад. От него пятился голубоглазый немец в стальном шлеме. Дрались уже молча, как попало.

Первая линия окопов была взята. Люди сидели среди трупов, как после большой тяжелой работы, — потные, дрожащие от возбуждения, усталые. Переводя дух, обливаясь, пили воду. «Работнули!» Полковник шел по окопу и бросал:

— Спасибо, братцы!

Алешке кинул:

— Тебя к боевой награде!

Орел улыбнулся и сказал Алешке:

— Поздравить надо — три целковых пенсии.

— Пропью...

И тут начала свою работу тяжелая немецкая артиллерия. В черном дыму, в гуле и в скрежете на воздух взлетал снег, из-под него — глыбы земли, щепки, исковерканное железо. Солдаты прижались к краю окопа, вздрагивая от страшных сотрясений. «Вот заговорил...» Спрашивали друг друга: «Ну, чего дальше?..» Над головами проносился гром, потоки воздуха от разрывов останавливали дыхание. Орел подполз к поручику и спросил:

— Что же дальше? Командуйте...

Поручик настороженно посмотрел на него. Орел спросил еще раз:

— Какой же смысл в этом сидении? Что-то надо делать.

Подполз еще один солдат, рослый раздатчик патронов Иван Чортотмык.

— Ваше благородие, куды подаваться прикажете? Яки будут распоряжения?

Солдаты напряженно и пытливо смотрели на офицера. Грохнул еще один разрыв. И офицер, впервые попавший в бои великой войны, растерянный и подавленный, смог только ответить:

— Будем ждать... распоряжений.

И от одного к другому по окопу передавали:

— Велено ждать... Велено ждать...

Усмехнувшись в усы, передал это и Орел.

Черный вихрь шел по окопам. Начались оползни. Земля содрогалась и колебалась. Подламывались и трескали тяжелые бревна блиндажей. Гнулись рельсовые перекрытия. Обвалами накрывало целые отделения и взводы. Вятский парень, весь ободранный и почерневший, сидел, сжав добытую где-то винтовку, и твердил:

— Не отступлю.

Новый удар выворотил целый пласт. Алешка, моргнув и отряхнувшись, невольно произнес:

— Во сила, а мы с лопатками...

Ермолай бессознательно крестился, а когда чуть притихло, сказал:

— Попросим заступника...

И жидкий солдатский хор запел «Отче наш». Немецкие залпы падали после каждой просьбы к богу. Орел посмотрел на этих людей, посмотрел на беспомощного офицера, приподнялся и крикнул поручику:

— Ведь так всех тут подавят... Слушайте вы, ведите дальше, вперед...

Алешка подхватил:

— Мы прорвемся, еще у них одну линию заберем, высоту заберем, вот вам крест, заберем! Мы такие, мы все сделаем... Пойдем, ваш благородие. Только не гибнуть тут занапрасно.

Орел, Алешка и еще несколько солдат готовы были кинуться в новую атаку. Поручик сидел, скрючившись, под стенкой окопа, моргая и вздрагивая от разрывов.

— Нет распоряжений... и...— и умолк.

Орел сплюнул и кинул товарищам:

— И дела нельзя сделать...

И, отойдя, закинул винтовку на ремень, процедил сквозь зубы:

— Армия царя идиотского...

Фельдфебель испуганно поглядел на него.

По остаткам цепи передавали:

— Отходить назад...

Поручик засуетился. Вятский его останавливал:

— Эй, куды? Не велено... нельзя отступать.

Поручик отбросил его руку:

— Прочь, болван!..

Грохнул разрыв. Вятский упрямо твердил:

— Не отступай, ваше благородие...

Поручик убежал торопясь. В окопах была серая каша из снега, земли, разможенного железа, дерева, шинельных обрывков.

Полк отступал, отступал и полковник. Он печально разводил руками.

— Ну что ж, братцы... Мы сделали все что могли... Дрались бы камнями, да нет тут их... Дрались бы? Солдаты брели рядом.

— Так точно, дрались бы, вашсокродь... Было б чем, мы бы взяли, вашсокродь, вина не наша.

— А я и не виню, братцы.

Вдогонку отступающим полетел жалобный-жалобный человеческий крик:

— Братцы-ы!.. Помогите!..

Люди чуть остановились.

Орел прислушался:

— Это вятский парень кричит. Один он на весь полк там остался — сказал, что не велено отступать.

Полковник обернулся к Орлу:

— Не может быть!..

Орел сказал:

— Может.

Донесся снова стон:

— Братцы-ы...

Полковник нахмуренно прислушался. Немецкая артиллерия продолжала калечить брошенные окопы, в которых остался лишь один человек.

Полковник сказал:

— Где ж тут выручить...

Снова донесся стон. Орел поглядел в глаза полковнику:

— Первая заповедь: не отступать... Пойду...

И Орел пошел один к оставленным окопам, откуда звал раненый товарищ.

Орел двигался бросками, прятался. Немцы по нему стреляли. Пули срезали ветви, травинки. Он дополз до окопа. Вятский парень протянул к нему руки. Одна его нога была темна от крови. Орел подхватил парня и потащил. Немцы стреляли еще ожесточеннее. Потом затихли... Полк вернулся, истерзанный, окровавленный, в свои старые окопы. Бой иссяк.

Орел тихо опустил на землю раненого парня. Рядом толпились солдаты, смотрели, помогали.

— Эх, сердяга.

Подошел полковник. Спросил раненого:

— Ну как, братец?

Раненый был бледен, он превозмогал боль и стоны и, стараясь улыбаться, ответил:

— Ничего... вашсокродь.

— Значит, не отступал и один?..

— Так точно, вашсокродь.

— Ну, молодчина, чудо-молодчина...

— Радые стараться...— Раненый застонал.

Полковник обратился к Орлу:

— Ну, и тебе спасибо.

Рядом стоял поручик. Он неприязненно посмотрел на Орла и сказал:

— Виноват... В бою этот нижний чин возбуждал недовольство...

Полковник обрезал его:

— А чем же быть довольным, поручик?

— Виноват, я не ковчил. Нижний чин нанес оскорбление государю императору.

Полковник насторожился.

— Как, как?

Поручик продолжал:

— Есть свидетель. Варварин!

Фельдфебель докладывал:

— Так что он сперва людей подбивал к худому... потом такое зашептал про их императорское величество...

Солдаты зароптали...

Алешка крикнул:

— Какое зашептал?.. Ушастый ты...

Полковник спросил Орла:

— В чем виновен?

Солдаты жадно слушали, глядели во все глаза. Полковник кинул им:

— Прочие свободны, разойтись!..

Люди, оборачиваясь, уходили. Полковник снова обратился к Орлу:

— Ну?

Рядом ждал поручик.

Орел ответил:

— Виновным себя не считаю. Ни в чем.

Полковник посмотрел на Орла, потом на поручика. И произнес:

— Обязан принять заявление господина поручика. Делу будет дан законный ход.

Орел сказал:

— Есть же другие свидетели...

Поручик оборвал:

— Достаточно того, что сообщил я.

Орел стиснул зубы и замолк. Полковник подозвал фельдфебеля:

— Варварин, посадить пока этого нижнего чина.

Полковник остался наедине с поручиком.

— Поручик, бой видели? Людей видели? Велико-мученики... подвижники, а вы: суд. Полк зачем же марасть?

— Господин полковник, марают полк вот такой беглый каторжник.

— Поручик, я в полку тридцать лет: с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года... И не вам, поручик, учить меня...

— Закон есть закон, господин полковник. Нижний чин оскорбил государя. У людей, верных государю, накопело...

Полковник вспыхнул:

— Именно накопело!.. Третий год кругом сплошное безобразие: людей посылают в бой с голыми руками... Кругом бездарь и тупость... Ступайте, поручик, ступайте и думайте о том, что делается.

Орла вели под конвоем. Иные встречные солдаты негромко спрашивали:

— Куда, земляк?

Конвоир-еврей казенным голосом покрикивал:

— Не полагается разговаривать!

Орел сидел в землянке и ждал военнополевого суда. К землянке подошел, с трудом ступая на грубых костылях, вятский парень. Он обратился к еврею-конвоиру:

— Пусти к товарищу.

— Что за вопрос?

— Пусти...

— Я не вижу и не слышу...

— Пусти...

— А, идиот. Я ж сказал: я не вижу и не слышу. Или.

Вятский вошел в землянку. Орел повернул голову. Парень сказал:

— Беги, земляк, выдь вместо меня, — и он протянул Орлу костыли, побелел и со стоном опустился на землю. Он посмотрел на Орла и повторил: — Я вместо тебя останусь.

Орел покачал головой:

— Нет, друг, — что ж я на тебя, безвинного, свою смерть сброшу...

Оба помолчали. Раненый еще раз сказал:

— Беги, земляк.

Орел взял его руку:

— Великое тебе спасибо за добро.

Раненый поглядел на Орла:

— Чего ж... должник я перед тобой по самой кончине.

Орел улыбнулся:

— Ладно, на том свете сосчитаемся.

Помолчали оба. И, отвечая себе на какие-то мысли, Орел задумчиво, негромко сказал:

— Мало, мало живет русский человек.

Раненый привстал и спросил:

— Имя твое как?

— Яков.

— Будем побратимами...

Раненый расстегнул ворот, снял с себя нательный крест.

— А ты мне дай свой.

Орел чуть улыбнулся, тут же согнал улыбку и ответил:

— А у меня нету.

Раненый поглядел, пораженный и испуганный.

— В бога не веришь?

Орел негромко ответил:

— Я в людей верю. Исполни одну мою просьбу...

Раненый кивнул головой, готовый на все.

— Поди, ранец мой возьми, там два листика — вынь и спрячь или порви... Повтори.

Вятский послушно повторил:

— Ранец вынь и листики вынь и спрячь, а то порви...

Орел заметил:

— Почти так. А если засудят, тут обо мне, может, спросят — могут наведаться — скажи: Орел погиб, выполняя поручение.

Раненый повторил:

— Орел погиб, выполняя поручение.— Перекрестился и сказал: — Выполню.

Орел протянул ему руку.

— Ну, иди — и ни одной живой душе ни слова.

Поцеловались и расстались. Вятский вышел, шепнул часовому:

— Спасибо, не забуду, — и заковылял. Он торопился в роту.

Вятский уже приближался к месту, когда увидел, что поручик берет ранец.

— Этот?

Фельдфебель ответил:

— Так точно, новопривывшего Орла. Фамилия у него такая.

Поручик увидел Вятского:

— Тебе чего?

Вятский растерянно ответил:

— Виноват, вашблагородь.

Орла повели на суд. Выходя, он сказал часовому:

— Тяжелая работа — своих на тот свет водить.

Часовой вздрогнул.

В помещении за простым столом сидели в шинелях, без шапок три офицера. Спрашивали коротко:

— Фамилия?

— Орел, ваше высокоблагородие.

— Имя?

— Яков, выше высокоблагородие.

— Беглый политический?

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Спутали с кем-то...

Тогда поручик положил на стол ранец и бумаги.

— А это имущество — твое?

Орел посмотрел на бумаги, секунду-другую помедлил и сказал:

— Мое.

— Значит, ты — политический?

— Вы мне не тыкайте, а извольте говорить «вы»...

Да, значит, я — политический.

Один из членов суда докладывал:

— Вот печатное изделие: «РСДРП»... А это в скобках что?

— В скобках буква «б» — большевиков.

— Что за странное слово?

— От слова большинство...

Офицеры настороженно, пристально смотрели на стоявшего перед ними человека. Он был спокоен. Живые темные глаза его смотрели прямо и ясно. Иногда он чуть поглаживал ус. Один из судей показал на бумажку:

— Почему с собой таскал?

— Нужно было.

— Что о государе говорил?

— Там написано.

— Зачем шел в ряды армии?

— Не шел, а шли. Повторяю: извольте говорить «вы».

Все немного помолчали.

— Так зачем в армию?

— Чтобы вести работу в войсках и двинуть солдат против позорной монархии и войны.

— Бессмыслица... Как это солдат двинуть против войны? Солдат существует для войны.

— И революции...

— Кто посылал? Откуда?

— А это останется вам неизвестным.

— Знал, что можешь быть повешен?

— Знал.

Офицеры обменялись негромко двумя-тремя словами: «Повешение?» — «Возни много: сапер беспокоить, веревки доставать...» — «Тогда просто «пли!» — и исчерпано». Офицеры утвердительно кивнули председательствующему. Он громко сказал:

— Встать! — Прочел короткий приговор: — «Приговор военнополевого суда Петровского полка. За оскорбление его величества, попытку возбуждения нижних чинов к ниспровержению существующего строя — нижнего чина означенного полка третьей роты Якова Орла исключить из военной службы, лишить воинского звания и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через расстреляние. 28 сего февраля 1917 года».

Орла выводили под конвоем. Полковник смотрел мрачно: «Скандал, скандал...» Верховой ординарец подал ему депешу. Полковник отстранил: «После».

Тревожно и щемяще забил барабан. Фельдфебель сорвал с Орла кокарду и погоны. Орел шел с обнаженной головой. Тревога и беспокойство распространялись по лесу, где стоял полк. Раздался крик:

— Прощай, Орел!

Это кричал Алешка Медведев. Орла подвели к столбу. Офицер приказал:

— Завязать глаза!

Орел упрямо мотнул головой и отшвырнул чужую руку с платком.

— Не надо. Не боюсь.

Его привязали к столбу. Он оглядел мир. Вновь забил барабан. Солдаты обнажили головы. Орел поглядел на взвод, стоявший наизготовку:

— Братья... Доколе же будет так?.. Вас губят, а вы своих бьете?.. Мало за войну положено?

Офицер закричал:

— Молчать!

Орел ответил ему:

— Вы бы в бою покричали... Там вы тихие... Ну, братья, последнее слово... Я — политик, с каторги, оттуда бежал бороться за вас, за вывод из войны... А вы за это бейте... Ну!.. Целяйтесь хорошенько... Эх, несчастные вы люди...

В тишине прозвучала команда:

— По осужденному — пальба взводом!..

Вскинулись винтовки.

— Взво-о-од!..

Текли слезы по лицам старых солдат.

На костылях шел раненый Вятский и кричал расстрельному взводу:

— Не стреляйте, братцы! В деревню вернетесь — вас не примут. Руки у вас будут в христианской крови. Еще страшнее ударил барабан.

— Взво-од!

Рослый солдат, раздатчик патронов, Иван Чортомлык кинул винтовку.

— Та шо ж воно робится: своих стрелять? Нэ можу!

Бросили винтовки Ермолай и еврей.

— Не будем стрелять!.. Он человек правильный!

Кто-то кричал:

— Там немцы нас казнят! А тут свои казнят!

Раненый закрыл телом своим Орла. Слезы лились по его лицу, и он кричал:

— Вот, бейте, если есть совесть...

Офицер снова скомандовал:

— Взво-о-од!...

Винтовки ходуном ходили в трясущихся руках солдат. Орел стоял бледный и молчаливый, глаза его были раскрыты широко, и холодный ветер шевелил его волосы. Один из солдат, могучий и рослый красавец, ударил винтовкой о камень, и она разбилась. Орел крикнул:

— Долго мучить-то будете?..

Полный отчаянности, какого-то безмерного святого порыва, подбежал к двоим стоявшим у столба удалец Алешка, рванул на себе шинель и рубаху:

— Бей, благородье, сволочь! — и раскрыл тело свое солдатское.

Смута, смятение прокатились по солдатским рядам.

Кто-то произнес:

— Господи, благослови!..

— Не выдавай! Земляки!

Люди кинулись вперед. Опрокидывали кипящие походные кухни, ломали первое, что попадалось на пути, и стихийное «ура» загремело из сотен глоток. Люди не знали, что и как сказать, и как всегда, когда армия российская начинала мятеж, она загремела «ура», ободряя себя и устрашая врага. Офицеры попятились. Раненый плакал и смеялся, целовал Орла, срывал с него веревки и говорил:

— Со светлым праздником, Христос воскрес!.. Орел воскрес!

— Пятый год, Ор-рел!.. — кричал удалой и расхристаный песенник.

Орел глубоко вздохнул, расправил освобожденные от пут руки, поднял чью-то брошенную винтовку, быстро и сильно дослал патрон в патронник и сказал товарищам:

— А отступать не будете? Пятый год? А назад не пойдете?

Алешка кинул весело:

— Н-ну, брось!

Орел указывал, кидаясь вперед:

— Э, не с кухнями воюй, вы! Бери штаб за глотку!..

Офицеры в тревоге сбегались к штабу полка. Был слышен людской гул. Полковник Бутурлин оставался спокоен, он лишь бросил подбежавшему бледному поручику:

— Что, дорогой, вас этому в корпусе не обучали?

Поручик молчал. Ординарец вновь отковырял полковнику:

— Дешеш, вашсокродь!

Полковник взял.

— Какого еще там чорта?! — Он вскрыл депешу. — Чего и следовало ждать: в Петрограде стрельба, гарнизон братается с толпами... Идут к Думе.

Поручик:

— Не верю! Народ с государем...

Полковник кивнул в сторону шумевшего полка:

— А в это вы верите? На осине болтаться хотите?

Судья...

Поручик испуганно советовал:

— Батарею вызвать, картечь...

Полковник оборвал его:

— Картечь? Голову на плечах надо иметь, вы! Вот с чем надо идти! — и он поднял депешу.

Командир первого батальона, богатырский штабс-капитан, сказал:

— Рискнем. Иду к людям...

Полковник решил:

— Уместнее верхом... Коня!

И старик махом взлетел на коня, дал шпоры. Конь захрапел и взвился. Старик поскакал к солдатам, высоко подняв бумагу.

Какой-то прапорщик выкрикнул:

— Бежим и мы, а то переколют!

Поручик останавливал:

— Кто за государя? Кто же за государя?..

Офицеры растерянно озирались.

Седой всадник въехал в солдатскую лавину. Она бурлила и гудела. Полковник поднял руку:

— Шапки долой, товарищи! В столице революция...

Передние зашумели «ура». Ермолай, глядя на высоко поднятую бумагу, спросил:

— Манифест? А?

Полковник продолжал:

— Беззаветно доблестный полк наш и здесь первым... Несправедливые деяния да не найдут себе больше места в рядах наших. Российской Государственной думе, ставшей во главе народа,— ура!

Полковник закричал:

— Ура!

Алешка яростно оборвал:

— Стой! За что солдата мучили?

К полковнику пробивались раненый Вятский и товарищи, которые защищали Орла:

— Судьи где?

Их приволокли... С них было сорвано оружие. Алешка искал:

— Орел, где Орел?

Один из офицеров упал на колени и крестился. Алешка Медведев с раскрытым воротом, с душой, которая была вся перебудоражена, полступал к Орлу и требовал:

— Что с ними делать, сказывай! Поднять?..

В руке его уже была зажата веревка. Она захлестнула горло поручика. Все притихли. Полковник ждал. Второй офицер рухнул на колени и взмолился:

— Полковник, спасите!

Поручик хотел остановить его:

— Как вам не стыдно?!

В толпе загудели:

— А, куражишься! Решай их!

Офицер взвыл:

— Братцы!.. Полковник!..

Полковник произнес:

— Я предупреждал... А теперь, как люди решат... Народ наш милостивый...

Стоял гул:

— Поизмывались над нами — и хватит! Решай их! Орел шагнул вперед и за ворот поднял с колен дрожащего офицера.

— Стоять не можете? В ногах слабость?... Рук об вас марать не хочется. Пусти, Алексей... Теперь они побегают...

Один из судей, поручик, который начал дело против Орла, вскинул голову:

— Побегают? Я — Долгоруков. Я присягал государю императору, и моего слова ни вы, никакой народ, ни вышняя сила не изменят. Это слово дворянина.

Полк угрожающе надвинулся. Орел остановил людей и сказал поручику:

— Не побегаете? А ну, бегом — арш!

Поручика подбодрили его же наганом.

— Руки согнуть в локтях... Так. На месте!.. Ать-два-три-четыре...

Поручик повиновался.

— Реже... Так... Быстрее!

Солдаты заулыбались, засмеялись... Орел посмотрел на офицера:

— И вон из полка ко всем чертям! Второй раз не попадайтесь!

Офицер, потный и бледный, пошел. Вслед ему орали:

— Ать-два! — и свистели.

Он двигался по снежной дороге, упрямый, и шептал старый девиз:

— Mon Dieu, ma foi, mon roi! Господь, вера и царь! Верен буду до конца, — благослови, господи, на подвиг.

В полку оркестр грянул «Марсельезу». Изгнанный обернулся как от удара. Лицо его исказилось, он произнес:

— Канальи, грязные канальи! — И он продолжал идти, упрямый и злой.

Полковник, видя, что пока обошлось, выстраивал полк. Шумные ряды выравнивались. Подчиняясь привычным командам, люди становились в строй. Полковник наблюдал за людьми, бросал шутки и объезжал фронт, поздравляя роты:

— Со свободой, братцы, вторая рота!

Ряды в силу привычки отвечали раскатисто:

— Покорнейше благодарим, вашскородь!

За полковником скакали его адъютанты, штабные и ординарцы. Развевался полковой значок. Люди были взбудоражены, полны нахлынувших на них мыслей и чувств...

— Поздравляю, братцы, третья рота!

Фельдфебель Варварин заорал:

— Отцу-командиру, возвестителю свободы, ур-ра!

Рота загремела. Фельдфебель, разгораясь, дал знак:

— Качать отца-командира!

Люди шумно кинулись вперед, и началось традиционное подбрасывание. Полковник взлетал, улыбаясь и придерживая шашку. Орел, Алешка Медведев и другие участники событий стояли в стороне. Орел крикнул громко:

— А пора бы к делу!

Солдаты повернулись. Шум затих. Полковник поглядел, улыбнулся:

— Поговорим... Давай ко мне.

Полковник сел на коня и вместе со штабными двинулся дальше. Солдаты пошли следом. Полковой адъютант на ходу сказал полковнику:

— Этот тип много берет на себя: одних милует, других ссылает... Держитесь вызывающе...

— А как же иначе? Пусть пошумят, подерзят. Всегда так.. Потом все уляжется.

Офицеры вошли в штаб. Через минуту вошел Орел с товарищами. Секунду-другую люди глядели друг на друга.

Полковник сказал:

— Прошу...

Орел спросил:

— Полковой писарь здесь?

Писарь ответил:

— Здесь.

— Пишите...

Писарь стоял в нерешительности. Полковник кивнул ему:

— Пиши.

Солдаты удовлетворенно посмотрели на полковника.

Орел начал диктовать:

— «Полк постановляет приветствовать свободную Россию, петроградский пролетариат в частности...»

Полковник подхватил:

— Ага... «Полк заявляет также, что в его рядах все готовы отдать свою жизнь делу свободы и довести войну...»

Ермолай высунулся вперед.

— Чего — войну? Мы насчет мира... Нам пущай мир скорее, у нас семьи оставленные... Давай мир по телеграфу...

Кто-то из солдат попросил:

— Пущай тоже сапоги выдадут!

Орел спокойно выждал.

— Далее. «Полк постановляет...»

Один из офицеров — худощавый, нервный прапорщик — перебил:

— Что полк постановляет, это еще надо обсудить.

Алешка посмотрел на него и сказал:

-- Уже обсуждали.

— Где?

— Где? Да везде! Триста лет Расея обсуждала, все года только и скребло внутри... Долой тиранов!..

Прапорщик прищурился и спросил:

— А что это за слово «тиран» — ты знаешь?

Алешка засмеялся.

— А чорт его знает... Наверно, какая-нибудь сволочь!

Полковник улыбнулся.

— Молодчина! Вы, прапорщик, удовлетворены?

Орел продолжал, стоя в середине, спокойный, поглаживая ус:

— «Постановляет — первое: выбрать ротные и полковой комитеты. Второе...»

Ермолай опять высунулся вперед:

— Нам, особо старшим возрастам, главное — мир...

Орел продолжал:

— «Полковому комитету принадлежит право контролировать жизнь полка, оружие и приказы».

Полковник повернул голову в сторону Орла и посмотрел на него. Прапорщик встревоженно спросил: — То есть как контролировать?

Орел ответил:

— Серьезно контролировать.

Прапорщик бросил:

— Что ж: вы будете инспектора армии?

Ответил еврей Соломон Боер, долго молчавший:

— Зачем инспектора? Просто мы — армия, а это вещь.

Прапорщик встал:

— Кто дал вам право контроля?

Ермолай подошел вплотную, крутя цыгарку, и сказал:

— Общество, народ... Дай-ка прикурить... — И он без стеснения взял офицерскую руку вместе с папиросой.

Орел продолжал:

— «В своих действиях комитет подчиняется только рабочим организациям».

Прапорщик опять спросил:

— Почему рабочим? Какое они имеют отношение к Действующей армии?

Полковник внимательно слушал. Он неожиданно для всех сказал:

— Я предлагаю господам офицерам не перечить новым порядкам...

Алешка фамильярно сказал полковнику:

— Вот люблю, когда не ломаются... Пиши, писарь: приказано не перечить... И припиши: а кто будет перечить, тот будет бедный...

Солдаты вышли. Прапорщик мрачно произнес:

— Так кто же теперь в полку хозяин?

Лицо полковника было строго, сумрачно. Он ответил:

— Будет хозяином тот, кто сумеет.

Шла весна. Снег быстро таял. Бежали ручьи. С запада тянули теплые балтийские ветры. Земля набухла, и под солнцем начинала шевелиться жизнь. В окопах стояла вода. Полк вновь занимал передовую линию. Пехотинцы,

пакрывшись обрывками палаток, копошились в сырых ямах.

Алешка покрикивал:

— Поздравляю, братцы, третья рота... Надиктовали — писарям на подтирку... По телеграфу...

Ермолай обернулся:

— Не дражнись, паря, и так тошно.

— Это почему же тошно? Природа — наслаждайся, жри ее, обпейся, — он ударил ногой по стоячей окопной воде, брызнула грязь, — а мы все недовольны...

Боев ответил:

— Слушайте, Медведев, сколько вы возьмете, чтобы вам помолчать?

Солдаты сидели в воде и грязи, усталые, мокрые, грузные. Шлепая по воде, пришел Орел.

— Здорово, первый батальон.

— Было здоровье, да вышло...

— Как жизнь, первый батальон?

— Живем, как пресмыкающиеся, только природу гадим.

Орел сказал:

— Новости есть.

Солдаты подвинулись к нему.

— Ленин в Россию вернулся.

-- Кто таков?

— Ленин. Слышал?

Алешка мотнул головой:

— Не, незнаком.

Ермолай заинтересовался:

— Он чего привез, сапоги, что ли? А то разумши.

Боев сказал:

— Я слышал про этого человека...

Иван Чортотмык придвинулся ближе:

— Шо ж вин за чоловік?

Орел сказал товарищам:

— Такого человека еще не было среди людей. Пятьдесят народов участвуют в войне... Просвета не видно. А он, Ленин, первый на весь свет выступил против... Он поворачивает весь мир. Он хочет остановить войну, освободить людей...

Ермолай вслушивался.

— Мир даст?... Откеле он, этот человек-то?

— Симбирский.

— С Волги?

— Оттель все и пошли,— сказал Ермолай,— и Разин, и Пугачев...

Орел говорил:

— Он прошел тюрьмы, сибирские ссылки, нужду... Все терпел за народ... В седьмом году он уходил от преследования, пришлось идти по льду из Финляндии. Лед подломился, кругом разводья, море... Проводники испугались, а он идет — дело свободы двигать...

Алешка бросил:

— Ловко...

— Закаленный, значит, — заметил Ермолай. — Он что, к вам, большевикам, приписан?

Орел, улыбувшись, ответил:

— К нам, к нам приписан, к нашему брату.

— А велика ли партия-то?

— Да вот только теперь из тюрем и по заводам собираются... Думаю, тысяч пятьдесят...

— Н-но, на Россию — капля... — засмеялся Алешка.

Ермолай ответил:

— Ты, молодец, помолчал бы пока... Если человек идет со словом правды, то он множества за собой повести может... Вот мы тут три года, вторую тысячу дней мокнем, тощем... Приходил ли хоть один человек к нам с лаской и утешением?... Никто не приходил. А вот узнаем — пришел... Зовут-то его как?

— Владимир, по отчеству — Ильич.

Ермолай задумчиво произнес:

— Володимир Ильич, и с Волги... Наш.

Несли тяжело раненного, он стонал:

— Ой, братцы...

Алешка неожиданно передразнил его и крикнул:

— А кто вам, дуракам, лбы расшибать тут за этих керенских велит? Вот и «ой, братцы»!

Раненый снова застонал.

— Давай, давай, бей нас, идиотов, больше! Умней станем... — Бурливый Алешка помолчал и снова подхватил: — Эх, когда вот уж вдарим: еще раз вставай, мол, подымайся, солдатский народ... И сколько разов нам еще

подыматься надо? Орали, шумели, «Марсельез» играли, нас по губам, по усам помазали — и опять в яму... Русский серячок все, мол, стерпит... Немцев взбулгачить, что ли?..

Он поднялся над окопом:

— Эх, камрады, долго ли пропадать будем?.. Валяй, крути там башку своим сволочам!

Пулеметная очередь брызнула по русскому окопу. Алешка поспешно скатился:

— А, черти!..

Боев спросил его:

— Что вы так быстро кончили свою интересную беседу?

Алешка не ответил.

— Стреляем, а сегодня первое мая, — проговорил Орел. — По городам рабочие выступают, поют...

Алешка буркнул:

— Видал...

Орел, сидя, негромко запел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!

— Голодных — это верно, — заинтересовался Ермолай, — три года по-настоящему не ели... А что за песенка?

Орел продолжал:

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Боев кивнул головой.

— «Кипит мой разум...» Хорошо!

Алешка наклонился:

— Как, как?

Орел повторял, тихо ведя мелодию. Из-за траверза вышел полковник. Он постоял, посмотрел:

— Поете, братцы? Отлично.

Алешка тряхнул головой и повторил первые две фразы песни. Полковник спросил:

— Что за песнь?

Орел ответил:

— Это международный гимн рабочих — «Интернационал».

Полковник подошел ближе.

— Любопытно. Ну, ну, как?

Люди слушали. Орел говорил:

— «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы нап, мы новый мир построим, — кто был ничем, тот станет всем».

Один из солдат сказал:

— Вот здорово!

Полковник заметил:

— Хм... Разрушим до основанья?..

Алешка дерзко посмотрел на него.

— Желательно кой об чем дальше поговорить, сменимся — насчет мира обсуждать будем и первый май праздновать будем... Ничего, что в июне, Орел?

— Ничего.

— За нами не пропадет, мы — такие...

Полковник не ответил и пошел дальше. За его спиной солдаты повторяли слова новой песни. Полковник приостановился и негромко сказал:

— Мало вам, уже хотите — до основания? Ну, ну... И не такие молодцы брались разрушать. Успокоим, успокоим...

Из-за поворота окопов донесся жидкий хор. Солдаты выговаривали слова упрямо, отчетливо. Полковник постоял, подумал:

— «Сменимся — насчет мира обсуждать будем...» Опять всем полком скандалить будете? Ну, на этот раз не выйдет...

Полковник шел к штабу быстро, широким шагом, с каменным лицом. Он вызвал к себе двух офицеров: адъютанта и штабного прапорщика.

— Господа, комитетчики собираются самочинно вывести полк...

Адъютант добавил:

— Сегодня в полку распространился слух, что в Петроград приехал какой-то из левых — Ленин.

Прапорщик бросил:

— А, мало их приезжает! Приедет и уедет.

Полковник заметил:

— Ну, этот не уедет. Я слышал о нем.

Адъютант продолжал:

— Комитет намерен также отметить некий интернациональный праздник...

Полковник прислушался к чему-то и побагровел:

— И здесь слышно! Спевку ведут, а? Вот я им спою...

Офицеры вышли. Они посмотрели друг на друга.

— Самолюбивый старик.

— Было бы странно, если бы им стал командовать какой-то пришлый тип.

Офицеры шли в раздумье. Прапорщик сказал:

— Я все думаю, думаю... Зреет среди людей что-то страшное. Пойдут по России кровавые убоицы, пожары, измены, тиф и голод...

— Не важно: Россия — здоровенная...

Помолчали. Прапорщик усмехнулся.

— «Я им спою...» Что-то затевает отец-командир...

Земля подсохла. Первая зелень украсила мир. Воды Западной Двины и ее притоков после бурных паводков вошли уже в русло. Речная гладь была невозмутима. Странными казались отдельные выстрелы.

Полк сменялся. Люди вылезли из окопов. Взводы брели заросшие, драные, покрытые коркой грязи, нагруженные тряпьем и бедной пищей.

Боец заметил:

— Мне девушки Одессы говорили, что я был парень. А теперь? Боже, что с человеком может сделать буржуазия!

Придя к землянкам в ближний тыл, люди сбрасывали ранцы, сумки, патронташи, ремни, противогазы, шанцевый инструмент, скатки, палатки, гранаты... Почти на каждом было нагружено пуда полтора-два. Все было грязное, отсыревшее, ржавое, постылое. Солдаты просушивали шинели, ватники, гимнастерки. Раздевались целые батальоны. На солнце белели атлетические тела, — еще уцелевшие. Полуголые люди счастливо расправляли у землянок свои мускулы. Плескались, обливали друг друга, брились, иные баловались.

— Эх, сила пропадает, какой-нибудь Марусе отдал бы!.. — Алешка сидел без рубашки и тихо перебирал

свою гармошку, потом задумался: — Боже мой, вроде война притихает? Неужели освободимся? Вот обет даю: мир будет — пешком всю Россию пройду и все на гармошке играть буду, веселить людей буду — русского ли, еврея ли, татарина ли... К Ленину зайду, спасибо, мол, тебе, добрый человек, послушай, а я тебе сыграю. Жена, если есть, — зови жену, чай пить будем, пейте на здоровье, а я вам играть буду... — И играл парень милые, хорошие мотивы.

Ладили гуртом, сообща, знамена. Писали добрые весенние слова. По земле был послан кумач. Стояли ведра и бадьи с известкой и разведенным мелом.

Суетился Ермолай:

— Ну, граждане, чего ж напишем? Перво: землю!

— Без выкупа. Навечно, — как припечатал Чортмлык.

Солдаты выкрикивали:

— Пиши: «Мир, свобода, равенство и братство!»

— Пиши: «Да здравствуют все люди!»

Еврей спросил:

— Почему все? И буржуазия тоже?

Орел сказал:

— Буржуазия — не люди. Буржуазию еще придется превращать в людей.

Ермолай, Алешка и их помощники писали по воле народа. Солдаты стояли веселым, могучим скопищем, смотрели, шутили. Им было хорошо на воздухе, под солнцем, впервые после многих лет несчастной и горькой солдатской жизни. Еврей попросил Алешку:

— Пиши: у меня, Соломона (не «Са», а «Со», Алеша!) Боера, лопается терпение на Керенского...

Полковник шел между солдат. Алешка весело крикнул:

— С наступающим праздничком!

Полковник ответил:

— И вас также.

Ермолай, обмазанный белым, поднялся и кротко и ясно сказал:

— Вот пишу... Да будет мир всему миру, и не нужно будет ни войны, ни военных...

Полковник посмотрел и сказал:

— Дай бог.

Полковника поздравляли со всех сторон с наступающим праздником. Полковник шел и, отвечая, благодарил:

— И вас с праздником... Ладно, ладно, вольно.

К своей роте пришел и раненый Вятский. Нога его уже проходила. Он возвращался из лазарета. Полковник кивнул ему:

— А, молодчина, вернулся?

— Так точно.

Его увидели.

— Вятский, герой! Дышишь?

— Шевелюсь помалу.

Люди обступили его, трясли руку, требовали, чтобы он показал, как шевелится нога. Он, наконец, сел, отложил костыли в сторону.

— Все в добром здравии?

— Пока все.

— Чего «пока?»

— Дела завариваются. Идем своего добиваться.

— Пойду и я, когда выздоровлю, пойду без палочки...

И буду говорить, проповедовать буду истину...

Соломон Боер заметил:

— Истина — это очень много, одному человеку ее не поднять.

Алешка увидел у Вятского газету.

— Дай-ка... Это чья?

— Наша.

— Чья наша?

— Социал-революционеров.

— Откуда такие?

— Почитай, узнаешь.

Вятский вдруг увидел Орла, просиял и кинулся к нему.

— Яша, брат!

Они троекратно облобызались,

— Во-время вернулся, — сказал Орел. — К жителям идем, будем и их поднимать... Так о чем, други, с народом говорить будем, а?

Соломон Боер ответил.

— У меня скромное желание: я хочу четыре свободы —

свободу слова, свободу собраний, свободу печати и свободу совести. И, между нами, я еще хочу пятую свободу — идти отсюда ко всем чертям, на море, в Одессу, домой... У меня же еще кое-какая силенка осталась... — И рослый южанин-биндюжник одной рукой поднял соседа и сказал ему: — Не бойтесь, я вас доставлю обратно.

Орел улыбнулся Соломону:

— Пять свобод? Маловато. Тебе еще будет предоставлена шестая свобода: держать фронт... Силенка у тебя на это кое-какая есть.

Боец ответил:

— Никогда не подозревал, что так много свобод.

Люди преображались. Каждый надел последнюю чистую рубаху. Солдаты колонной вытягивались на дорогу. Они шли умытые, просветленные, несли десятки флагов и плакатов, и зелень, как в троицын день. Шли гармонисты впереди. Солнце сверкало на почищенных бляхах, пуговицах, крестах и медалях... Навстречу колонне вышел полковой адъютант:

— Штаб дивизии запрещает сходку.

Колонна стала. Орел крикнул:

— Давай, Алеша!

Грохнули гармонисты. Вперед! Из ближнего селения выбегали встречать босоногие золотоголовые мальчишки. Они подпрыгивали и скакали рядом. Крестьяне и беженцы из-под руки смотрели на шедших солдат. Еврей-старик недоверчиво качали головами: «А, мм...» — и уходили. Полк шел упрямо. Орел заметил какого-то штатского:

— Эй, земляк, давай сюда.

Подшел крепкий человек в пиджаке:

— Здравствуйте, вот и опять встретились... Рад, и поговорить не вредно.

Орел узнал ссыльного.

— Вы речь эшелону зимой говорили?

— Я...

Познакомились.

— Орел.

— Илюхин.

Алешка тряс ему руку:

— Как он нас тогда с вагона парашнет: «Вы что ж —

долго молчать будете?» Ну, вот, заговорили... Давай, могу теперь сам... Товарищи!

Илюхин улыбнулся и остановил:

— Так и оглушить можно.

— Оркестр у нас будет. Гармонисты.

Солнца было невероятно много. Капельки утренней влаги сверкали на траве, на кустах и деревьях. Искалеченная природа отдыхала и выздоравливала. Открывались безмятежные дали страны. Высоко в небе плыли облака. Оркестр начал вальс. Орел вышел и стал приглашать крестьянок, Они жались и боязливо отворачивались. Вальс валих. Орел бросил:

— Начальства боитесь?

Одна девушка вышла вперед:

— Н-но, боимся! Давай, не бойсь, девочки!

И она начала вальс с Орлом. За ними пошли и другие...

Солдаты прохаживались в обнимку по-двое, по-трое, по-четверо, сдвинув папахи и фуражки на затылок и набекрень, угощали крестьянок и беженцев семечками. Алешка ходил, как плавал. Он играл с девочками.

— Пронзительная, вы меня интригуете!..

Девушки хихикали. Соломон Боер, здоровый, белозубый, перебивал, улыбаясь:

— Вы видели когда-нибудь море? Я вам расскажу про южное море...

Алешка вдруг увидел в толпе древнего еврея.

— Папаша, на почетное место! Свобода!

Старик испугался.

— Папаша, не бойтесь ничего, вас некогда угнетали такие типы, как я... Вас обзывали... Можешь, папаша, за все это бить. На, ударь... Извини за все прошлое... Эй, оркестр полка! Играть с огнем! В честь папаши. Дай русскую!

Оркестр старого Петровского полка грянул. Сто труб, флейты, барабаны и литавры ударили в честь древнего еврея. Алешка начал пляс. Он засверкал глазами и сделал несколько таких кругов и коленцев, что толпа застыла. В середину посадили древнего еврея. Рядом с ним посадили другого старика: с военным орденом и несколькими медалями — ветерана-севастопольца. Алешка плясал вдохновенно.

— В честь трудящихся!

Боер в такт стал невольно подрагивать. И он сказал счастливо и удивленно:

— Хорошо, главное — никто не стреляет.

Толпа подрагивала, не сводила глаз с Алешки и как бы плясала с ним вместе. Над толпой в голубой выси реяли стяги и знамена, и на них были написаны слова — самые лучшие. Полковник стоял и глядел на все молча. Алешка сделал последний феноменальный круг, поклонился, утер платком пот и крикнул:

— Чтоб теперь навечно дружба!.. Оркестр, почему замолчал? Для чего вы существуете? Чтоб играть! Вальц еще раз!

Оркестр вновь заиграл вальс. Алешка дирижировал, легкий, как ангел.

— Орел, веселей!.. Поддержи!..

Орел опять подхватил свою девушку.

— Идем, боевая!

Она смеялась.

— Давай, не бойсь!

Праздник был необычаен. Выползали древние старики и старухи, крестились, покачивались в такт музыке, а иные подпевали. Один из стариков — севастопольский ветеран — тоже пустился в пляс, он увлек за собой свою старуху и беззубо кричал:

— У нас в Севастополе в пятьдесят пятом году еще хлеще гуляли...

— Гуляй, гуляй, прадедушка!

Солдаты ему зааплодировали, Алешка сгреб его:

— Качай героя!

Старика стали качать... Он лихо взвизгивал:

— А ну, крепче! А ну, выше!

Старуха, обомлев, заорала:

— Иван, помрешь!

— Врешь, старая!

Играли гармоники. Бал растекался по огромному пространству. Плясали все. Здоровенная тетка вертела худого веснушчатого солдата. У него мотались и руки и ноги. Народ ржал и орал:

— Ай, Агафья!.. Заездила женишка!..

Прыгали и визжали дети.

К полковнику подошел фельдфебель Варварин и доложил негромко:

— Так что все готово, вашсокродие... — и посмотрел испытующе, опасливым взглядом.

Полковник ответил:

— Помни, Варварин: я тебе ничего не говорил, и ты ничего не знаешь. Пятый год помнишь?

— Так точно.

— Пережили благополучно и отлично... Медали и наградные получил?

— Так точно: тридцать два рубля.

— И тут все будет в порядке. К осени все на место станет, тебя не забудут.

— Покорнейше благодарю, вашсокродие.

Полковник добавил:

— И главное, чтоб Орла туда впихнуть.

— Будьте благонадежны, вашсокродие. — И фельдфебель показал свою тяжелую лапу.

Варварин вошел в толпу, которая отдыхала после таяца. Ермолай подошел к нему:

— Люду-то, люду-то, господи... Душа отдыхает... Да скорей бы говорить почали. Об земле да об Ленине.

Фельдфебель обрадованно ответил:

— Вот и хорошо. И день выдался... Красота. Как светлый праздничек... Истинно — вторая пасха!

Алешка обернулся:

— Не пасха, а международный бал, праздник, обучайся новому-то.

Фельдфебель ответил:

— Обучимся, поспеем. Только изъян в новом есть: суховат праздничек! — И он щелкнул себя по горлу.

Алешка согласился:

— Суховат, верно.

— А русскому человеку мало-мало сполоснуться надо.

И фельдфебель снова сделал тот же самый жест и сладостно провел ладонью по груди:

— С винокуренного по чарочке взять бы можно...

Алешка сочувственно вздохнул, потом хлопнул рукой по колену:

— Раз есть — пить надо, а то испортится. Братья,

да-к верно — сходим на винокуренный... Полтора сажня и ходу-то...

Кто-то предупредил:

— Да-к там караул...

Алешка посмотрел:

— Караул? Пустяк делов: давай на одну, на левую, выходи — шестерых возьму. Мы мигом... мы только самую малость...

Фельдфебель проводил двинувшихся солдат острым, хитрым взглядом...

И вновь вдаль гремел оркестр.

Группа солдат с Алешкой подошла к заводу. Часовой их остановил:

— Давай назад, не дозволено.

Алешка ответил:

— Глухой я, кричи мне громче.

Часовой громче повторил:

— Давай назад, не дозволено.

Алешка махом вырвал у него винтовку.

— Кричи громче, не понимаем!.. Ишь, кусок старого режима: «Не дозволено...»

Солдаты оттолкнули обезоруженного часового и прошли в завод. Ударил спиртной дух.

Сначала спирт попробовали осторожно, чуть-чуть: чистый. Зачерпнули стаканчиками. Потом зачерпывали флягами, манерками.

— Во здравие свободы. Только, ребята, чуть-чуть... Пили. Помалу хмелели.

— Еще разок, чуть-чуть, самую чутиньку!

Зачерпывали пополнее. Начинали шуметь. Алешка открыл несколько кранов.

— Чуть-чуть, ей-богу!..

Спирт хлынул на пол, побежал по земле.

— И других угощаем! Мы не какие-нибудь придворные эгоисты... — сказал Алешка, пошатываясь. — Мы — за справедливость! Зови народ!

Фельдфебель орудовал в толпе:

— А вы чего ж стоите?

— А что?

— Да люди уж пошли. Спирт для праздника выдают.

— Ну?

— Вот и «ну».

Весть облетела людей. Музыканты бросали инструменты, танцоры оставили дам...

Толпа была уже сбита. Целая куча людей бросилась к заводу.

В толпе орали:

— Спирт выдают!..

Ермолай огрызнулся:

— Да цыц вы, нечестивцы.

— Давай к заводу!

— Бери посуду!

Еще часть людей хлынула к заводу. Бежали, тяжело дыша, наперегонки. Выпущенный спирт лился уже по земле и по канавам. Солдаты на бегу нюхали:

— Ой...

— А, родимый! Три года душа страдала!

Лакали, пили пригорпнями. Наливали в шапки, музыканты — в свои инструменты. В канаву лезли какие-то бабы, мальчишки. Они хмелели от возбуждения толпы, от запахов. Солдаты выкатывали бочки. «Потроши!..» Пьяные начали выбивать окна. Алешка ходил и гремел:

— А ну, давай на волопой, а то на спиртопой! Весь полк! Здоррово, братцы, третья рота! Алешка Медведев угощает!

Он саданул кулаком в дверь, и доски разлетелись.

— За что кровь пили?..

Рос человеческий гул. Кто-то лез с ведром:

— Мне глоток, чуть-чуть...

Кто-то из солдат ударил крестьянина.

— Куда лезешь, борода?

Кто-то выстрелил.

Спирт вспыхнул. Людей затянуло дымом.

Фельдфебель подбежал к полковнику:

— Действует, вансокродь.

Полковник кинул:

— Так, теперь туда Орла всунуть...

Полковник подошел к Орлу и тихо сказал:

— Эх, какое несчастье — громят, стреляют... И зачем вы заварили весь этот бал? Народа не знаете? — и раздраженно махнул рукой.

Орел встревожился.

— Какая ж это сволочь затеяла? Ну, докопаюсь! — Он громко крикнул: — Товарищи, третья рота, ко мне! К нему подбежало несколько человек: Боер, Ермолай, Чортомлык и другие.

— А Алешка где?

— Не видели.

— Пошли! — И они бросились к месту погрома. Полковник поглядел вслед и сказал фельдфебелю:

— Так. Кто зачинщик этого дела?

Фельдфебель, вытянувшись, ответил:

— Нижние чины Медведев, Орел и другие.

— Свидетели есть?

— Точно так.

— Так... Вызвать на усмирение Особый комендантский батальон.

Погром бушевал. Смешались скрежет и дым. Шел окутанный огнем пьяный и удивленно спрашивал:

— Гор-рю, а?..

Пьяные солдаты брели по берегу реки.

— Цып-цып-цып, рыбки. Цып-цып-цып, не слушаются рыбки, — и солдаты били из пулемета по воде.

Орел ворвался с товарищами в самую середину толпы. Пьяный Алешка увидел Орла и полез целоваться.

— Ура-ра! Защитнику свободы!

Орел отшвырнул его. Песенник оскорбился:

— Презирраешь? Дерешься?..

Фельдфебель, притворившись пьяным, заорал в толпу:

— Орел угощает! Ай, Орел! — и он, чокаясь, плеснул на Орла спиртом.

Орел сшиб фельдфебеля с ног и загремел:

— Товарищи, остановитесь! Вас спровоцировали! Сами себя губить хотите?..

Сверху у самой головы просвистел кирпич, брошенный веснушчатым солдатом. Орел с товарищами останавливал толпу, тушил пламя. Алешка, обиженный, вытирал слезы и сопли:

— Мною презирают... а я храбрый... Уйдем... —
И он повел с собой людей.

К месту погрома бежали стрелки Особого комендантского батальона. Они были в стальных шлемах. Черепа белели на черных погонах. Стрелки торопились. Тянуло дымом и гарью, все еще слышны были выстрелы и вопли. Навстречу стрелкам бежал фельдфебель:

— Утихомирьте вы их. Большевики начали. Там, под фамилией Орел, с шайкой орудует. Такой, с чернявыми усами. Я покажу.

Около пьяной толпы стоял полковник. Он гремел:

— Забыли совесть? Вы не солдаты, а разбойники. В Сибирь, на позор потомству!

Из толпы блаженно и весело орали:

— Сибирь нам родная, не пугай! Всех не засадишь.

Стрелки Особого батальона ворвались в самую гущу. Фельдфебель показал им на Орла:

— Вот этот, — и отошел в сторону.

Орла схватили. Он отшвырнул одного.

— Товарищи!..

Фельдфебель указал на еврея:

— И вот этот, жид.

Боеру скрутили руки.

— Вы с ума сошли...

— Разговаривай.

Взяли и Ермолая. Орла и его товарищей поволокли. К месту погрома сбегался народ. Передавали друг другу слухи.

— Большевики гульбу устроили.

— С чего?

— К им в Петроград какой-то ихний предводитель приехал...

Фельдфебель поддакивал:

— Всю Россию, говорят, споим и перестреляем...

Уголовные...

Валялось несколько убитых и раненых. Какая-то женщина причитала над трупами. Она закричала Орлу:

— Убивец!

Полковник стоял и покачивал головой:

— Ай-ай-ай, что наделали!

Вятский ковылял к толпе.

— Погодите... Орла-то куда?.. Погодите!..

Толпа затискала его. Фельдфебелю полковник негромко приказал:

— Вятского обереги, сомнут, а человек он годный. Ободравных, вели Орла и товарищей его сквозь толпу.

Их били. Орел вскинул выше голову:

— Требую командира полка. Он свидетель, что мы...

— Иди, иди!

— Где командир полка?

Его уже не было. Из толпы кричали Орлу:

— Пострадай, Орел!

Орел и его товарищи шли, окровавленные, неукротимые. Ермолай споткнулся. Орел его поддержал. Их лица, плечи, спины почернели от ударов. Орел подбадривал товарищей.

В шуме, криках Орел начал громко и отчетливо говорить:

— Стране нужен мир и труд, а не преступная война. Партия большевиков во главе с Лениным стоит за избавление от грабительской войны, за права для изнуренного народа, за братский союз трудящихся.

Кто-то ударил его по лицу. Конвоиры пытались заставить его замолчать, толкали его прикладами, били, но он упорно выкрикивал простые, понятные солдатскому сердцу слова:

— Нам нужен мир, хлеб, свобода...

На пожарище было кроваво и грязно. Бежали любопытные.

— Чего большевикам-то сделают?

— Сошлют, а то казнят.

— Ну уж, казнят!

— А что? Главнокомандующий Корнилов, он такой— раз, и все.

Орел напряженно крикнул в толпу:

— Так что же, бросаете?

Из толпы ответили:

— Не бросим... Поможем!

Это был Илюхин. Ответил и исчез в толпе.

Дотлели сожженные дома. Прошла ночь. Тяжелое было похмелье у обманутого полка.

Проснулся и поднялся Алешка Медведев, воды выпил полведра, дух перевел и сипло позвал:

— Орел, а Орел?

Кто-то посмотрел, ответил:

— Был, да весь вышел.

Алешка спросил:

— Чего ж было?.. А?

Вспоминал. Что-то вспомнил:

— Батюшки, чего ж наделали!..

Подумал и сказал:

— Это кто ж нас судить будет? Господа офицера?.. Пушай лучше свои судят... А?

Иван Чортомлык ответил:

— А своих уж нема, Алешка, пропили.

Алешка обвел всех глазами, за волосы схватился и зарыдал:

— Товарищи братья, простите... Нет, нету мне прощенья, убейте меня, ну, убейте кто-нибудь!..

Он хватал людей за руки. Никто ему не отвечал.

Сидели, пошатываясь, вставали взлохмаченные, с похмелья, солдаты:

— Рассолу бы...

Валялись обрывки флагов. Надписи были затоптаны, порваны. Подошел полковник. Раздалась команда:

— Встать, смирно!

Люди встали виноватые, сумрачные. Полковник сказал:

— Пора за ум братья.— Он посмотрел на солдат и продолжал: — Верю, братцы, что несчастье поправимо. И грехи искупите своей службой...

Какой-то солдат в веснушках поспешил:

— Это мы всегда, поправим...

— Но убитых и покалеченных не вернешь, убытки из копеечного нашего жалованья не покроешь...

— И это верно, господин полковник.

Алешка обратился к полковнику:

— А с Орлом чего ж будет?

— Разберут.

Алешка засипел:

— Кто разбирать-то будет, мы, что ли?

Полковник повернулся:

— Ну и голос. С похмелья, Медведев?.. Ну, будем, братцы, исправлять дела... Орла заменить надо.

— Без головы нельзя...

— Именно. Поклонимся и попросим быть главой в комитете Вятского... Дважды показал себя как нахрабрый. Им революция началась...

Вятский стеснительно улыбнулся:

— Да я что...

Веснушчатый солдат пихнул его:

— Давай, раз просят.

Солдаты зашумели:

— Газетку читаешь — давай!

— Валяй заворачивай!..

Полковник одной рукой обнял его за плечи и сказал:

— А мы сообща поможем.

Какой-то солдат, ободрившись, начал благодарить полковника:

— Вот спасибо... Поддержите, ваше высокоблагородье... Ну, было затмение... с кем грех не случается.

Полковник сказал:

— Сделаю все, что нужно.

Жал брезгливо руки двум-трем солдатам. Другие смотрели хмуро. Когда он вышел, Вятский сказал:

— С этим жить можно.

Алешка усомнился:

— Ну, ты...

Вятский оборвал его:

— Ты мне не тычь, а говори как с главой. Слыхал?—

И Вятский кивнул в сторону ушедшего полковника.

Алешка протянул, пораженный:

— Ишь ты-ы...

III

Конвой вел Орла, Боера и Ермолая по разбитой проселочной дороге. Навстречу попадались угрюмые люди, обозы. Иногда кто-нибудь из возниц спрашивал:

— За что взяты?

Конвойный бросал:

— За грабеж и за убийство.

Соломон Боер, наконец, заметил:

— Это вы уже преувеличиваете.

Возница оглянулся на него:

— А что их таскать? Свернул в канаву да и...

И снова шли молча дальше. Орел тихо гудел: «По диким степям Забайкалья...»

— Молчать!

Пришли в затхлый городок. Трех взятых большевиков посадили в ветхий, николаевских времен, уездный острог. Он был низкий, сырой. Толстое ржавое железо закрывало двери и окна, на дворе среди булыжника прорастала трава. Было угрюмо и тихо. Товарищей разлучили, они даже не успели попрощаться, их почти оторвали друг от друга. Орла втокнули в камеру. Вонючая вода стояла на полу... Орел попробовал решетку. Конвойный бросил:

— Эй, не балуй!

— Разве так балуют? Я баловать начну — побежите.

— Тады стреляем.

— Знаю, проходил и эту науку... Свободу бережете? Каторгу Николая Второго практикуете?

— Молчать, босое отродье!

— Чем еще порадуете?

— А вот увидишь.

Дверь захлопнулась, лязгнули засовы и замки. Орел еще раз осмотрел камеру, подошел к забранному решеткой высокому окошку.

— Назад!

Орел отошел.

Дверь снова раскрылась. Вошел офицер. Это был изгнанный из полка поручик Долгоруков. Он держал папку с делом. Взгляды скрестились.

— Что ж, продолжим... Не тогда, так теперь. Имя, фамилия?

— Должны помнить, поручик Долгоруков.

Поручик пробежал первые листы дела:

— Сговор в полку, бунт, сопровождавшийся бесчинствами и кровопролитиями, имевший в основе целью двинуть войсковые части к ниспровержению...

— Ложь!

— У нас есть свидетели.

— Пожалел их на свою голову...

Поручик встал:

— В феврале за вас еще заступилось несколько слабонервных чинов, сегодня вы одиноки.

— Будут люди!

— Жид и бородатый старикашка — это и все твои люди.

— Плохо считаете. Народ — полтораста миллионов...

Поручик дернулся и сказал злобно:

— Народ... Вонючая скотина...

Орел встал. Он побелел и стал страшен. Офицер попятился и выскочил. Орел закричал:

— Удавлю!! — и яростно толкнул дверь. Но шелкнул засов. Орел стиснул решетку дверного окошка своими сухими крепкими руками, и она погнулась. Часовой заорал из коридора:

— Стрелять буду!

— Плевал!

Лицо Орла все преобразилось, оно дышало неукротимой силой.

Поручик вошел в камеру Соломона Боера.

— Ну, показывай сразу все. Твои соседи уже признались.

Соломон Боер обиделся:

— Слушайте, я ж с Одессы. Вы что-нибудь умнее можете?

Поручик бросил:

— Жид!

Соломон Боер подошел ближе и сказал:

— Слушайте: то, что вы меня оскорбили, так я привык. Но что вы оскорбили целую трудящуюся нацию, так это невозможно.

Он стиснул зубы и сильно ударил офицера по лицу. Тот стукнулся затылком в дверь и вылетел в коридор. Часовой засвистел, в камеру ворвались трое, началось избиение. Хрип и звуки ударов доносились из-за полуприкрытой двери.

Соломона Боера, наконец, бросили. Окровавленный, он лежал на полу. Он приподнялся, ощупал себя, улыбнулся и произнес:

— Еврей начинает бить госпол офицеров, а? Для начала это уже прогресс... М-м-м, что будет дальше!.. — И он причмокнул.

Поручик, бледный, вошел в камеру к бородачу. Он покосился на мужика. Тот встал и по-крестьянски, выжидаательно, поклонился.

— Ну, признавайся.

Солдат сел.

— Хорошо... во всем.

Поручик приготовился писать.

— Ну-ну...

И Ермолай начал:

— Признаю только товарища Ленина.

Поручик перестал писать. Солдат продолжал:

— Он обещал мир и землю...

— Все это даст и законное правительство, — скавал поручик.

— Хорошо. Тогда выпускай на волю и давай... Ну, давай... — И он подставил свои большие руки, в которые за пятьдесят лет глубоко въелась земля.

Поручик молчал.

— Молчишь, ваше благородие? То-то и оно. А Ленин, вот, ходит, в двери каждому стучит — тук-тук, — идите, мол, всем миром, и ты, Ермолай Тимофеевич, иди к жене, к деткам, — отдохните от войны, землю возьмите. — Солдат чуть пригнулся к поручику. — И ты не думай, что мы жадные и что только и смыслу в земле или что я на полтинник больше получать буду. В любви человеческой и в ласке, в великой правде дело, и за той правдой пойдем, — за себя, за весь мир пострадаем... А ты вон к товарищам моим пришел и сразу крик и по морде. А мы хотим, чтобы в России по морде не было...

Поручик смотрел в сторону, потом задал вопрос, который подвернулся ему:

— Законное Временное правительство признаете?

— Не... чего там Временное правительство, теперь даже бога не слушаем, — фу, прости господи...

— Умрешь, старик.

— Все люди умрут, не в этом дело, а в том, как в этой жизни все устроено. Я плотником-от всю Россию исходил, у графа Льва Толстого был, ничего не мог до-

биться, а теперь двери в Россию близко, охота посмотреть на милый свет, на свободу, которой ждали триста четыре года с воспарения дома Романовых...

Поручик отложил перо.

— Ты, старик, дурака не валяй, говори о бунте. Как убивал и грабил?

— Не было того — и не говорю о том... А вот слышал я, говорят, сам Степан из могилы встал Ленину помогать.

— Какой Степан?

— Разин Степан.

— Ты спятил, старик. Из могилы люди не встают, а вот ты и твои приятели в могилу лечь можете.

Старик вздохнул:

— Вечная память будет... Ленин и верные товарищи его уже сколько лет идут на муку и на раны... Великие люди, а нам, простым, пример брать надо... Все претерпим. Стою на том, что говорил, и можете меня жечь и резать — слов своих я не изменю.

Конвойные в коридоре спросили поручика:

— Признались, господин поручик?

Поручик заорал:

— А вам какое дело? Молчать! Бегом их — пока не подохнут.

Орел лежал на узкой голой койке. Двери раскрылись. Орел приподнялся. Вошедший надзиратель грубо сказал:

— Ну-ка, на месте бегом арш!

Орел усмехнулся.

— А, вспомнил?

— Вставай, вставай. Ну, ать-два! Ать-два... — И надзиратель схватил руки Орла и согнул их для бега.

Старый кузнец и политкаторжанин побледнел, развернулся и двумя ударами свалил надзирателя:

— Ать-два, ать-два!

Вбежал помощник надзирателя. Орел сгреб его и стал молотить, подсчитывая:

— Ать-два, ать-два! Это вы побегаετε, а мы посчитаем... Ать-два, ать-два!

Поручик попятился от дверей. Орел закричал:

— Хорошо бегает. Вы обучили?

Поручик засорал:

— В ружье!

Подбежало несколько человек из стражи. Орла отбросили. Поднялся надзиратель. Он стоял, сморщившись, тяжело дыша, держа руку ниже сердца. Он стонал и просил:

— Глотку ему сдавите.

Из камеры были слышны хрипение и упрямый голос Орла:

— Нет... не выйдет!

Побитый тюремщик советовал:

— Вы каблуками, каблуками по ребрам.

В камере опять были слышны глухие звуки, удары, вскрики. Держась за свою дверную решетку, в коридор глядел Соломон Боев:

— Слушайте, вы, юстиция, не троньте его, бейте меня!.. Вот же я вас оскорбляю — вы, эсеры и меньшевики, это же самые похабные слова на русском языке. Вы можете сломать мне голову... Но не троньте Орла, его же досыта уже били при царе, а я же еще свежий!..

Приклад конвойного со свистом въехал в решетчатое окошечко, брызнуло стекло, осыпалась пыль от ржавого железа. Соломон Боев попятился, потом высунулся вновь и весело закричал:

— Вот так, вот так! Ко мне! Бейте, ну!

И он отвлекал тюремщиков, спасая товарщца.

Из камеры Орла вышли усталые конвойные. Они снимали шлемы,тирали пот. Это были старые груболицые усатые тыловики. Поручик жадно бросился к ним:

— Ну?

Один из конвойных хриплым голосом ответил:

— Не поддаются... Вот порода, платят им, наверно, здорово...

Шли дни. Тюрьма переполнялась. В камеры бросали новых и новых людей. Их волокли... Орел крикнул одному из них:

— Что на воле, товарищи?

Тот повернул бледное лицо.

— В Петрограде... — и тут же ему зажали рот. Из камер кричали:

— Что в Петрограде?!

Били кулаками и сапогами в двери.

Вспышка в тюрьме затихла. При новой смене внутренних постов у камеры Орла стал новый часовой. Он осмотрелся и шепнул в окошечко:

— Орел...

Тот подошел, глядя настороженно и пытливо. Часовой сказал:

— Видишь, не бросили.

— Илюхин?!

Орел слушал, прильнув к решетке. Часовой моргнул и казенно заорал:

— От окошка, н-ну! — И продолжал тихим голосом: — Придет надзиратель, бери его, дальше я покажу... — И, меняя голос, опять казенно крикнул: — Не разговаривать!

Послышались шаги. Шел надзиратель. Часовой застыл. Надзиратель открыл дверь в камеру Орла и остановился не входя. Орел спросил:

— Опять бить?

— Хватит вас бить — стрелять начали... Выходи с вещами.

Орел рванулся, стиснул горло надзирателя, повалил его на койку, сунул кляп в рот, скрутил и прикрыл шинелью. Часовой шепнул:

— Мни и меня.

Орел вырвал у него винтовку.

— У... легче ты. — Илюхин кивнул в сторону других камер. Орел выхватил у надзирателя связку ключей, раскрыл камеры. Он вывел Боера и Ермолая. Спросил Илюхина:

— А других?

— Для этого я и останусь... Тсс... Все сделаем, а вы выметайтесь... Двигайте.

Орел спросил:

— Пропуск знаешь?

— Только внутренний, у них на воротах другой. Шопот был сдавленный, быстрый. Орел осмотрелся и приказал:

— Ни черта! Идем прорываться...

Соломон Боер сказал:

— Жалко, что некогда со следователем попрощаться, у меня с ним такая симпатия завязалась...

— Айда...

— Счастливо...

Второй тюремный пост стоял у ворот. Часовой окликнул:

— Стой! Кто идет?

Ему ответили:

— Свой.

— Что пропуск?

Боец сделал саженный прыжок.

— Пропуск — «кипит наш разум возмущенный...»

Часовой увидел троих, раскрыл рот, хотел что-то крикнуть. Боец засунул ему в рот кулак.

— Лишаю слова... — и выволок часового за ворота, взяв его винтовку и шлем.

Орел негромко бросил:

— Построиться. Итти в ногу. А ты, эфиоп, ни звука, иди, как мертвый.

Захваченный только моргал. И странная четверка пошла по вечернему городку. Прохожие смотрели:

— Большевиков, вероятно, ведут...

Навстречу иногда попадались офицеры. Орел командовал:

— Смирно! Равнение на-лево!

Офицеры невнимательно козыряли.

И четверо людей вышли на окраину городка. Соломон Боец посмотрел на взятого и сказал:

— Теперь можете говорить.

Тот трясся в испуге. Боец продолжал:

— Где мои два зуба?

Захваченный молчал. Боец продолжал:

— Переходим к последнему пункту повестки — может быть, вы скажете, что с вами сделать?

Пленник молчал. Ермолай посмотрел, согнутым пальцем постучал по лбу парня:

— Эх, темная бутылка.

Орел сказал захваченному:

— Иди... и больше по тюрьмам никогда не служи. Крестьянин?

— Так точно, крестьяне.

— Иди... Да, газета у тебя есть какая-нибудь?

Захваченный торопливо пошарил по карманам и достал потертый сложенный обрывок газеты:

— Для раскурки держим...

Орел взял.

— И спички давай.— И трое товарищей двинулись в ночь. Освобожденный парень глядел им вслед. Смятенный и благодарный, он прошептал:

— Большевики.

Товарищи ушли к лесу и зажгли спичку. Орел пробежал одну сторону газетного обрывка, другую и впился в текст: «Разгром большевиков в Петрограде. Ленин будет предан суду...»

— Ленин?!

Ермолай задумчиво протянул:

— Боже ты мой!

Боер сказал:

— Они могут убить Ленина.

— Ленина сберегут,— ответил Орел.— Там есть верные товарищи.

По дороге промчался разъезд. Товарищи затушили огонек и насторожились...

— За нами...

Одинокие, затерянные среди лесов и полей, стояли три товарища. Орел коротко сказал:

— Ну, куда дальше?

Соломон Боер произнес:

— Орел, у тебя ребра перебиты, тебе лечиться надо.

— Давай к делу!

— Поедем в Петроград или ко мне в Одессу... Переждем... Будем на море рыбалить.

— Вот что, Боер, у меня ребра поломаны, а у тебя хуже.

— Поясните.

— У тебя, видно, разум уже не кипит? Покипел и выкипел? Теперь к тихой жизни потянуло?

Помолчали.

— Решать надо,— сказал Ермолай,— не стоять же нам одиноко середь мира.

Орел подумал и ответил:

— Нам помогли освободиться. Значит, мы нужны, мы вернемся в полк, Соломон.

Соломон криво улыбнулся:

— Мм, какая радость!..

Ермолай спросил Орла:

— Чего ж там делать будем?

Орел посмотрел на одного, на другого:

— А вот отвечать на разгром большевиков. Армию делать будем...

Боер заметил:

— Хорошо. Для начала три человека есть. Остается подыскать миллиона три остальных.

Орел хлопнул его по плечу.

— Пойдем, пойдем, усталый,— и он ткнул его в могучую грудь.— Ну так что ж, друзья, скажу я вам так: известный начальный стаж и испытание вы прошли... Считаю ячейку Российской социал-демократической рабочей партии большевиков нашего полка основанной... Пошли.

Соломон Боер улыбнулся:

— Ты не замечаешь, Орел, мы уже идем.

Три боевых солдата шли по полям хорошим широким шагом. Они дышали прохладным ночным воздухом. Орел тихо запел: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная... — Он запнулся, поправился: — Бродяга, судьбу принимая, тащится с сумой на плечах...»

Товарищи подпевали. Орел шутил:

— «Бродяга к Байкалу подходит, он утлую лодку берет и заявляет...» — Орел бросил песнь и сказал сильно, жестко: — Мы вам дадим «разгром большевиков»... — И запел снова.

И трое упорных, настоящих людей шли к фронту, к армии, к окопам, навстречу новым мучениям и испытаниям. Навстречу своей судьбе. Песнь постепенно затихала...

IV

Рассветало. Над далекими темными лесами поднималось солнце. Утренние туманы таяли над реками. Свет начинал заливать всю Россию. Встренулись ранние

птицы. Они вились над полями. Воистину земля была сказанно прекрасна. Вернувшие себе свободу солдаты шли, дыша широко. На плотине шумела вода. В полях уже работали крестьяне. Ермолай приветствовал их по обычаю: «Бог помочь!» Один из крестьян ответил: «И вам помогай бог...»

Уже была близка стоянка полка. Солдаты увидели давно знакомые картины: селенье, где полк в июне встретился с народом, а дальше — погорелые места. Была слышна гармошка. Навстречу, с винтовкой за спиной, с фуражкой на самом затылке и с чубом у глаза, шел Алешка. Он увидел Орла и товарищей его. Гармонь выскользнула у него и повисла на одной руке. Он испуганно посмотрел на Орла... Губы парня побелели.

— За головой моей пришли?..

Соломон Боев спросил:

— Разве это какая-нибудь ценность?.. Странно.

Парень обратился к Орлу:

— Ну, лютой виной я виноват... Ну, я весь этот базар с вином и фейерверком устроил... Ну, и берите меня... Берите вот, какой есть... Эх, погибаю!

Орел и товарищи его посмотрели на парня. Орел сказал:

— Дурила ты великомученик... Что с тебя взять?..

Алешка чуть улыбнулся, показал на простое свое одеяние:

— Взять действительно нечего.

Орел спросил:

— А что же ты тогда молчал, когда нас брали?

Парень, застеснявшись, ответил:

— А я в дымину был... Да и потом три дня не в себе был... Во хватанули, дай бог в пасху!.. Но чего наделал — поправлю... Ей-богу, — и парень улыбнулся с ясным-ясным простодушьем. Он встряхнулся, с души отлегло, он заиграл и запел, что-то выдумывая:

— Орла с приездом проздравляю, жалаю здравствовать с семьей, большевиков я замечаю и им симпатией отвечаю...

Орел улыбнулся, товарищи тоже. Орел спросил:

— Ну, что в полку?

Алешка живо ответил:

— За время вашей отсидки, товарищ ссыльный, происшествий в полку не случилось, но усиленно готовим смерть буржуазии... Лозунгом у нас: «Штык против немца, приклад по своим домашним гадам».

Орел спросил:

— Кстати, разъезды тут не шарят?

— Не...

Солдаты шли уже по селению. Навстречу попадались знакомые лица крестьян и беженцев. У колодца брала воду девушка. Орел узнал ее.

— Боевая...

Он подошел к ней:

— Дозволь напиться.

Девушка наклонила ведро. Соломон и Алешка не сводили глаз с девушки. Орел спросил ее:

— Ну, что слышно, дорогая?

— А ничего... Вы большевиков не видали?

— А что?

— За них деньги дают... за беглых...

Соломон Боер заметил:

— Это интересно...

Послышался стремительный кавалерийский топот. Орел крикнул:

— Разъезд! — и, спасаясь, перемахнул через высокий забор. За ним — Боер. Ермолая подтянули и перебросили на руках. К колодцу нарысях подходил разъезд. Алешка, балуясь, заиграл на гармошке.

— Я конных замечаю и им симпатией отвечаю...

Драгунский унтер-офицер крикнул:

— Стой! Что делаешь, кто таков?

Алешка рывкнул:

— Петровского полка не различаешь, ну?! Я вас с приездом проздравляю...

— Большевиков тут не видели?

Алешка спросил:

— Чего?

— Трех беглых...

— Ну — беглые? Чего ж не караулили?

Унтер-офицер махнул рукой, обратился к девушке:

— Эй, Марусенька, или как тебя, троих тут не видела?

— Каких?

— Один с усами, другой еврей, третий бородатый... Алешка примолк, он метнул взгляд на девушку. Девушка молчала, потом сказала:

— Нет, не было таких...

Разъезд двинулся дальше. Алешка подождал, потом позвал:

— Эй, вылазь, один с усами, другой еврей, третий бородатый.

Орел и его товарищи вышли. Орел протянул руку:

— Ну, спасибо, боевая-дорогая!

Девушка вдруг вспыхнула:

— Ой, это вы!

Он ласково улыбнулся ей, вынул из грудного кармана простое колечко.

— Вот ношу-ношу, а я одинокий, не к чему мне. Возьми, дорогая...

Девушка еще пуще зарделась, застеснялась. Ермолай сказал ей:

— Возьми, дочка, он парень ладный.

Девушка потупилась.

— Мама заругает,— но взяла колечко, надела его и прошептала:— Благодарствую.

Солдаты пошли дальше. Они оборачивались. Девушка глядела им вслед. Орел улыбался светло и ясно.

Боев сказал:

— Может, нужно тут работать, у колодца?..— И он вздохнул полусмутья-полусерьезно.

Орел улыбнулся.

— Узнала...— и покрутил ус и потрогал свои бледные, ввалившиеся щеки.

Ермолай поглядел на товарищей своих.

— Эх, ребята, ребята, много вы горя приняли и еще примете, и долго вам женской заботы и ласки не знать, но за все, за все воздастся вам...

Орел помолчал, потом спросил:

— Ну, бомбардир, рассказывай, что в полку?

— Перебиваемся с хлеба на воду...— ответил Алешка.— Вятский заелся, спасу нет. Сами увидите...

Ермолай прищурился.

— Дураков нет — сразу в полк соваться... Мы из-за камушка посматривать будем.

Алешка оживился:

— Потайно проживать будете?

Орел ответил, усмехнувшись:

— Береженого и бог бережет. Пойди-ка погляди, послушай — в комитете, у штаба, а к нам двух-трех наших направь.

Полковник был у себя один. К нему вошел адъютант, закрыл дверь и начал без предисловий:

— Армейская прокуратура настаивает, что беглые в полку или где-то поблизости.

— Заставы были? Разведчиков посылали?..

— Так точно, господин полковник, Медведев ходил.

Полковник спросил:

— Как он?

— Обещал вину загладить.

— Лихой солдат... Прошу глядеть в оба, чтобы никаких беглых... И чтобы духу их не было. У меня этот новый председатель комитета отличный малый. Полк наладил... В этом парне какие-то силы проснулись... Хочет быть социалистом, пусть, помогу, но пусть будет армия...

Адъютант заметил:

— Неуместно, что он именуется главой.

— А пусть именуется себя, как хочет, была бы армия.

Раздался стук в дверь.

— Войдите.

И неожиданно для собеседников вошел изгнанный из полка поручик Долгоруков. Он поклонился. Ему сухо ответили. Поручик счел необходимым объяснить свое посещение:

— От судебной части армии... Прошу разрешения на короткую беседу, доверительно.

Полковник секунду-другую подумал и ответил:

— Прошу, беседа может идти и при данном составе.

Поручик начал:

— Бежало трое ваших людей.

Полковник улыбнулся:

— По-моему, они ваши. Так и условимся: у вас бежало трое ваших людей... Выражаем живейшее соболезнование...

Поручик угрюмо помолчал, затем сказал:

— Необходимо принять меры!

— Ну, какие исключительные советы! Приняты меры — здесь службу знают, поручик.

Полковник вдруг пытливо спросил:

— Вот для этих двух незначительных сообщений вы и прибыли? Странно...

— Могут быть и иные дела.

— Не скажете ли прямо?

Поручик кивнул головой, оглянувшись и сказал:

— Штаб фронта предполагает отвести некоторые полки в северном направлении.

Полковник был весь внимание. Он коротко потребовал:

— Прямее, прямее, поручик.

Поручик продолжал:

— Эти полки с надежным офицерским составом должны подойти возможно ближе к Петрограду.

Полковник, подумав, ответил:

— Предполагают, будут, должны... Я человек строевой. Говорите, чорт дери, ясно. Цель похода?

Поручик чуть помедлил и сказал:

— Наш верховный, генерал-лейтенант Корнилов, готовится спасти страну и армию. Пора кончать всю эту скандальную свободу. Мы интересуемся: с кем пойдете вы, полковник Бутурлин?

Все трое встали. Полковник пристально посмотрел сначала на одного, потом на другого. Потом он сказал:

— Итти с фронта? А немцы?

Поручик ответил:

— Нам они мешать не будут. Ваше решение?

Полковник:

— Приглашение к участию в государственном перевороте сделано в присутствии свидетеля.

Он взвешивал. Поручик иронически ответил:

— Вы боитесь при свидетеле сказать «да», а нам не хотите сказать «нет»?

Полковник ответил:

— В таких делах нужны не скороспелые слова, а обдуманые действия. Нужно опираться на решение офицеров. — раз, на повиновение солдат — два... К чему привели некогда ваши неосмотрительные действия, здесь помнят все. Честь имею кланяться. Мой ответ будет дан через двадцать четыре часа. Желательно, чтобы вас не видели солдаты.

Поручик молча поклонился и вышел.

Полковник и адъютант поглядели друг на друга. Каждый ждал, что скажет или сделает другой. Полковник спросил:

— Ну, что же скажете, голубчик?

— Жду приказаний.

— Попросим-ка сюда Варварина.

Тот явился с фельдфебельской быстротой. Полковник обратился к нему:

— Варварин...

— Я, вашсокродь!

Полковник продолжал:

— Большую службу сослужить можешь...

— Прикажете, вашсокродь!

— Полк три года в окопах, люди усталые...

— Так точно, вашсокродь.

— Есть возможность пойти на отдых в столицу...

— Слава те господи...

— Нужно согласие комитета... Что думаешь?

— Я, вашсокродь, солдата скрозь вижу и еще под ним на три аршина вижу. Ежели дозволите, доложу: тут главное — с Вятским надо...

— Ну, ну, что именно?

— Ежели дозволите — выясню и оборудую. Не впервой, вашсокродь. Объясню я ему, что и полку польза будет и ему... Коснусь, мол — первый ты солдат русской революции, тебя на руках носить будут, — а у него все: «я глава», — тебя военачальником произведут.

Полковник и адъютант переглянулись. Полковник сказал:

— Одним словом — надо итти на отдых, хорошо расположиться...

— Понимаю. Дозволите итти, вашсокродь?

— Иди.

Фельдфебель лихо повернулся и пошел. Адъютант посмотрел на полковника:

— Вы и Варварину ничего не сообщите?

— Не его ума дело.

Адъютант позволил себе заметить:

— Но это... это провокация.

Полковник отрезал:

— А мне плевать, как это в словарях называется. Нам нужно сохранить армию, взять столицу и уничтожить большевиков, иначе они у нас отнимут армию.

И он резко крикнул:

— Понятно?

Адъютант вытянулся:

— Так точно, понятно, господин полковник.

Полк был в резерве. Люди отдыхали. Шла бивуачная жизнь — в землянках, в палатках. Вели обозных коней. Солдаты стирали белье. Подымался дым костров. Была слышна гармоника.

Фельдфебель постучал в дверь землянки Вятского.

— Разрешите, господин председатель.

— Входи.

Председатель был важен и строг. Фельдфебель стоял и глядел искательно:

— Хотел, господин председатель, разрешения поговорить...

— А этот титул «господин» — не к месту, пожалуй, а?

Фельдфебель не согласился:

— Да нет уж, так и господа офицера вас называют, склоняются.

— Значит, склоняются?

— Склоняются, господин председатель, очень высоко оценивают...

— Ну, садись.

— Да я постою.

— Так что хотел сказать?

Фельдфебель начал интимно:

— Народ у нас истомленный, дело к осени — лист опадает, — выходит, холодать четвертый год?..

— К сути ближе, Варварин.

— Слух есть, господин председатель, будут на отдых отправлять... На отдых и в столицу.

Вятский с интересом поглядел на Варварина. Тот поймал его взгляд и продолжал:

— И подумал я: сами вы себя не понимаете...

— В каких смыслах?

— Первый вы, можно сказать, солдат, начавший революцию в России, и большая у вас дорога должна быть в будущем...

У землянки тихо, скромно присел Алешка Медвед. Он весь наострился и затих. Варварин продолжал:

— Пошли бы мы на отдых, и полку и людям было б по заслугам. Но нам что, мы люди маленькие, а вот вас бы на руках понесли. В столице объявили б: вот кто вам свободу-то грудью отвоевал.

Вятский слушал, он подперся рукой в бок и уронил:

— Что мог, сделал, придется — и побольше сделаем.

— Именно, только начали делать, председатель дорогой. В столицу вам, на народ... Вот так вы у меня перед глазами и стоите, когда путь нам показывали зимой: грудь открыта за други своя... Раненый ходите, истину проповедуете — «в борьбе обречем право свое...» Можно сказать, у нас многие об этом говорят, великий вы социалист и революционер. И обидно, потеря для России будет, если безвестно здесь в лесах останетесь...

— И тут можно пользу принести. Пекусь о вас...

— А вам бы пошире и повыше... Вот, многоуважаемый наш, — фельдфебель встал, — вот душа, вот голова, вот руки, повсегда я только о пользе свободы думаю, страдал за нее и скажу — поддержим мы вас всей своей силой... Может, тогда и меня, малого, вспомнят...

И фельдфебель, сам расчувствовавшись от своих слов, прослезился:

— Ну, я пойду...

Алешка тихо скользнул в сторону. Фельдфебель

вздыхнул, поклонился и вышел. Вятский поглядел ему вслед, встал, расправил грудь, плечи и произнес вслух:

— И верно... пойти?.. Первым буду...— И лицо деревенского парня стало жадным. Сверкнули его глаза: — Столица...

Был вечер. Орел и его товарищи сидели в лесу. В укрытии горел маленький костер. Послышался треск сучьев. Товарищи насторожились.

— Стой, кто идет?

Из тьмы к огню подошел Илюхин.

— Ну вот и опять встретились.

Орел вскочил.

— Илюхин! — и поцеловал его.

Ермолай подошел.

— И мы премного благодарны! — и поклонился в пояс.

Боер спросил:

— Слушайте! Что вы были в тюрьме, так я тоже был, но что вы — часовой... Откуда это сделано? А?

— Партия скажет — сделаешь и не то.

Ермолай спросил:

— Свои люди кое-где понаставлены?

— Понаставлены, товарищ Ермолай...

Ермолай обрадовался:

— Я самый — Ермолай...

Илюхин улыбнулся:

— И к вам дорогу указали... один, говорит, уса-
тый, другой еврей, третий бородатый...

Где-то неподалеку раздался свист.

— Свои.

Из тьмы подошла группа солдат. Впереди шел Иван Чортомлык. Он увидел Орла.

— Братэ, ридный!.. — Увидел Соломона Боера:—
И вам, здоровеньки булы, кумэ!

Боер встал, ответил:

— Здорово, здорово, кумэ.

И люди обнимались и целовались и крепко, до хруста сжимали друг другу руки.

Илюхин — это был делегат Петроградского комитета в прифронтовом районе — сказал:

— Так, пожалуй, надо товарищам кое с чем ознакомиться... Газет давно не читали?

Чортомлык ответил:

— А нэ пускают газет до нас. Суют якись, но воны не тэ, шо надо. Так мы их курино.

Илюхин сказал:

— Может, свою почитаем?

— А чего ж, давай.

— Вот из статьи... «...народ не получит мира, крестьяне не получают земли, рабочие не получают 8-ми часового рабочего дня, голодные не получают хлеба без полной ликвидации контрреволюции...»¹ Все понятно?

Ермолай кивнул головой:

— Понятно.

Орел добавил:

— Узнаю руку Старика.

— Якого старыка? — спросил Иван Чортомлык.

— Ленина...

— Шо ж вин — старый?

— За ум так зовут...

Ермолай бережным жестом взял газету.

— Значит, его рука? Поди ж ты... А сам-то он где, дорогой?..

Орел задумчиво сказал:

— Так же, как мы, может быть, у костра где-нибудь сидит...

У Ермолая глаза засветились.

— Сидит, а пишет, заботится... Ты посмотри, — он показал на газету, — первое слово про мир пишет, второе слово — про землю, про нас, значит... Спасибо тебе, Володимир Ильич, постоим за тебя...

Чортомлык спросил Орла:

— А шо б воны з ним зробыли, с товарищем Лениным, если б взяли его?..

— Не достанут... — ответил Орел. — Руки коротки.

Раздался свист, и сквозь сучья, с шумом и треском, запыхавшись, продрался Алешка:

¹ Речь идет о статье В. И. Ленина «Начало бонапартизма», опубликованной в газете «Рабочий и Солдат». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 25, стр. 202.)

— Собираются итти на Петроград!..

Товарищи вскочили. Орел спросил:

— Кто собирается?

Алешка едва переводил дух.

— По ротам только одно: давай в Петроград...

— Для чего?

— Говорят — отдых... фельдфебель Вятскому накручивает...

Илюхин махнул рукой:

— Тут другое!

С бивуака полка донесли шум, ржанье, сигнал сбора... Орел как-то весь выпрямился, обвел людей взглядом и сказал:

— Товарищи, партийная организация постановляет образовать Военно-революционный комитет. Делегировать в него товарища Соломона Боера, товарища Ермолая и товарища Орла.

Илюхин кивнул:

— Правильно!

Боер начал:

— Я же никогда...

Орел перебил его:

— Будем спорить?

— Уже иду.

— Вот теперь погоди. Ты отправишься...

Алешка крикнул:

— Ну, мне некогда, мне на пост...

Орел остановил его:

— Где стоишь?

— У штаба.

Орел быстро соображал:

— Так... Тогда, товарищ Боер, ты идешь прямо в штаб, берешь контроль над связью...

— Хорошо.

— Не пропускать ни одной контрреволюционной телеграммы...

— Хорошо... — Соломон Боер отвечал флегматично и веско.

Делегат ПК дал ему наган. Боер поднял брови:

— Соломон уже с револьвером... Что бы сказала мать?!

Орел продолжал:

— Стоящий у штаба товарищ Медведев окажет полное содействие, вплоть до применения оружия, если понадобится.

Алешка улыбнулся:

— Это я могу с удовольствием, хоть с орудия...

Орел сказал:

— Все остальные товарищи идут прямо в полк. Эту сволочь в штабе надо брать натиском, давить!

Илюхин заключил:

— Умные речи приятно и слушать.

Товарищи двинулись.

Полковник и адъютант ходили, поджидая фельдфебеля. Тот, наконец, подошел.

— Разрешите доложить, вашсокродь?

— Докладывай, Варварин.

— Так что у него глаза разгорелись, вашсокродь, пойдет в столицу, вашсокродь. Было б приказик написать, вашсокродь, и Вятскому на подпись... Случай чего — с него спрос будет...

— Можешь быть свободен, Варварин.

Фельдфебель повернулся и пошел. Полковник и адъютант переглянулись. Полковник сказал:

— Ух, дошлый... Пишите приказ. Во главе пойдет первый батальон... Ну, на Петроград!.. Господи благослови...

У штаба сменялись часовые. Отчетливо произносил формулу приемки поста Алексей Медведев. Разводящий и смена ушли. Алексей Медведев замер, потом сделал знак головой. В штаб, в аппаратную, прошел Соломон Боер. В аппаратной забеспокоились. Боер вынул наган и сказал:

— Пожалуйста, продолжайте, как будто меня нет. Один из телеграфистов встал и спросил:

— В чем дело? Вы откуда?..

Боер ответил:

— Вы работайте... как будто меня нет, я сказал. Телеграфист сел. Стучали аппараты, связывая

полки, бригады, дивизии, армии с городами страны. Неожиданно тот же телеграфист вновь поднялся.

— Не подчиняюсь!

Соломон улыбнулся:

— Напрасно. Вы уже окружены, тут кругом везде наши часовые. Их — масса...

Телеграфисты подошли к окну. На них сердито поглядел Алешка Медведев и молчаливо, выразительно показал им на оружие. Телеграфисты сели к аппаратам. Соломон Боер сказал им:

— Вот так, спокойно. Дайте мне эту телеграмму. Так, работайте себе, мы вас будем охранять, и ни один волос не упадет с ваших трудолюбивых голов. Дайте мне и эту телеграмму. Мерси.

Полковник пересекал расположение полка. Он был собранный, решительный. У дверей штаба полка перед ним вытянулся лихой часовой. Полковник козырнул:

— Здорово, Медведев!

Тот рявкнул ответ.

Полковник довольно бросил:

— Отлично служат! Люблю первый батальон!

Полковник пошел к себе. За его столом сидел Соломон Боер. Полковник чуть изменился в лице. Боер прищурился и спросил:

— Так как насчет генерала Корнилова?

Полковник спокойно ответил:

— Вопрос неясен.

— Что бы вы сказали, если б этот всадник двинулся на наш Петроград? А какие-нибудь его холуи побежали бы вместе с ним, а?

Полковник:

— Мне не до шуток в позднее время, пошутим завтра.

Соломон Боер встал.

— Полковник, слушайте, теперь шутят все серьезнее. Я — от Военно-революционного комитета. Прочтите эту телеграмму.

Полковник пробежал телеграмму о корниловском мятеже и о начале пролетарского отпора. Едва он кончил читать, Боер в упор спросил его:

— Ваше решение? Решение офицеров? И быстро — без игры туды-сюды и в третью сторону. Наши уже в полку. Тут и Орел и другие...

Полковник был спокоен. Он соображал секунду-другую. Затем ответил:

— Серьезные дела... А что касается меня — верен революции. Я в душе давно большевик. Вы были еще мальчишкой, когда я защищал революционеров в пятом году. Только строевые привычки как-то мешали участию в партии...

Боер ответил:

— Ну, в пятом году я не участвовал и ничего о вас сказать не могу. Мы будем расценивать ваши сегодняшние дела. Я жду.

Полковник сказал:

— Пишите. Петроград. Точка. Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Точка. Петровский полк, запятая, единый, как никогда, запятая, в своих рядах, запятая, стоит на страже революции, запятая, готовый жизнью своею пресградить дорогу изменникам. Точка. Делегат Военно-революционного комитета Боер. Точка. Командир полка полковник Бутурлин. Точка.

Соломон Боер подошел к полковнику:

— А кто же полк хотел двинуть?

Полковник пожал плечами:

— У нас есть комитет...

— Побеседуем и с ним...

Боер вышел. Полковник сел... Он помолчал минуту, потом сказал:

— Промах, полковник, старесте.

Вятский шел к выстроившимся батальонам. Варварин сопровождал его:

— Извольте с полком здороваться или как?

Вятский улыбнулся.

— А чего ж, и поздороваемся... — И он попробовал: — Здорово, молодцы!..

И тут он в упор столкнулся с Орлом и Ермолаем. Орел резко спросил:

— Куда?

— Может, поздороваетесь?

— Куда полк выступает?

Орел говорил злобно.

— В Петроград...

— Зачем?..

Вятский перед людьми не желал повиноваться и сдавать:

— Ты что — допросчиком нанялся?

Орел посмотрел ему в глаза и приказал:

— Отставить поход.

— Ты не командуй, тут сами командовать могут.

Подошел Боер и подал Орлу взятые в штабе документы.

— Вот оно как... Вот мы и покажем товарищам...

Вятский уже не мог остановиться:

— Здесь меня слушают!

— Послушают теперь и других. Боер, давай.

Вятский побледнел.

— На этом и будешь стоять?

Орел усмехнулся.

— А ты не знаешь?.. Пусти-ка, «командир». — И он, отстранив Вятского, двинулся с Боером к полку.

Вятский стоял бледный.

Полковник подошел к нему:

— Хотел с вами, голубчик, поговорить на прощанье.

Вятский посмотрел:

— Как?

— Так, знаете, привык к вам, а тут, вероятно, придется отвыкать, чорт его знает...

Вятский удивился:

— Отвыкать?

Полковник поглядел на Вятского грустным и ласковым взором.

— А что же, не понятно? Вернулись эти товарищи, и вас уже отстраняют. Вместо вас — уже еврей.

У Вятского лицо перекосилось, он нагнулся к полковнику:

— Еврея ставит? Я Орлу жизнь спасал, а он — такое?..

Полковник печально пожал плечами:

— Да что жизнь... И разве такие ценят храбрость и честность? Вон, слышите, шумят? (Полк встречал Орла.) Он там им наговорит. У них не честность, а хорошо подвешенный язык нужен, наглость.

У Вятского от злобы все переворачивалось внутри. Он проговорил:

— Да-к что же это? Я же — глава... Я — социалист-революционер!..

Полковник холодно, с прищуром, наблюдал за действием своих слов. Он продолжал:

— Не огорчайтесь, голубчик, вот вам моя рука, моя вам помощь. Много я отдал революции. Идеи наши близки. Уверен, все поправим...

Вятский трясся от приступа злобы:

— Меня... Мне Орел наперекор? Ну, посчитаемся...

Полковник метнул взгляд сбоку и усмехнулся.

Шли осенние дожди. Становилось все холоднее, облетала листва. Обозы и батареи глубоко увязали в грязи. Войска делали обычные небольшие марши, передвигаясь на дивизионных и корпусных участках. Полк стоял среди печального осеннего леса. Низкие землянки и палатки, казалось, от сырости совсем ушли в землю.

В одну из ночей — наступил уже октябрь — Вятский пришел в Особый батальон. Парень похудел, его глодала злоба. Он встретился с поручиком Долгоруковым. Поздоровался:

— Велено кланяться. От полковника... — и подал записку.

Поручик пробежал ее.

— Слышал о вас... Ждал, — рассказывайте.

— Не до разговоров, итти надо, брать их.

— У вас подготовлено?

— Время не тратили... Вот ваши-то готовы ли? Это не с погрому троих уволочь, их поболе теперь.

— Не уйдут.

Вятский наклонился к самому лицу поручика.

— А Орла и еврея мне отдайте.

Поручик спросил:

— Как офицеры?

— Для безопасности полковник их задержит в штабе... Все обделаем — подчинятся.

— Часовые в эту ночь ваши?

— Наши.

Особый батальон выступал тихо, молча. Люди шли с полным запасом патронов, без ранцев и сумок. Время от времени слышался шопот. Проводником был Вятский.

В ту ночь офицеры Петровского полка сидели в штабной избе. Было накурено. Шел разговор:

— Что ж, господа, дальше?.. К чему ж мы идем?

Прапорщик недоуменно и раздраженно сказал:

— Корнилов, старый боевой генерал, и не сумел справиться.

Адъютант бросил:

— Найдутся другие, сумеют.

— Думаю, что это и будет Ленин.

Богатырский штабс-капитан, посасывая трубку, спросил:

— А кто он, этот Ленин?

Прапорщик ответил:

— Не знаю... не видел... Но посмотрите, как их настроил... Вот был тихий мужичонка в третьей роте, Ермолай. Вы послушайте, что он говорит теперь...

И прапорщик начал, копируя говор солдата:

— «Вы подумайте сами — у нас дома жены и дети, а дети — не щенята. Нам буржуазию слушать нечего, раз навсегда мы поставим идею дорогого товарища Ленина, как закон...»

Адъютант резко обернулся:

— Мне эти лохмачи будут законы предписывать?! Тогда лучше открыть фронт немцам... Те их придавят.

Командир первого батальона, богатырский штабс-капитан, ответил густым голосом:

— А этого мы вам не позволим. Россией торговать не дадим! — И он ударил кулаком по столу.

Прапорщик спросил:

— А что думает по всем сим поводам наш полковник?

Полковник, похудевший и ставший еще более седым, ответил:

— Неотделим от однополчан,— и замкнулся.

Стоянка полка была погружена в ночную тишину. Стояли редкие часовые. Особый батальон подходил почти беззвучно. Подошли к часовому — веснушчатому солдату... Часовой посмотрел на Вятского, кивнул ему: «Все в порядке». Батальон цепью стал втягиваться в лес, в глубину стоянки полка. Лес высился мрачный, угрюмый. Тяжелый храп и бормотанье поднимались над жалкими палатками и шалашами. Солдаты спали, скрючившись на осеннем холоде. Веяло беспомощностью.

К часовому, который пропустил предателя и его батальон, тихо подошли Орел и Ермолай. Орел спросил:

— Ну, что слышно?

Часовой испуганно встряхнулся и ответил:

— А ничего, все тихо...

— А что ж тебе дали, что ж тебе за подлость твою пудину обещали? — спросил Ермолай.

Часовой обомлел. Орел взял его за воротник:

— С кем говорил, кто вел?

— Вятский и господин поручик...

Орел приказал:

— Беги, Ермолай! Буди людей, без шума... А я с дежурным батальоном возьму эту банду...

Особый батальон все углублялся в лес. Поручик Долгоруков иногда освещал спящих. Лица были усталые, худые, заросшие. Поручик бросал Вятскому:

— Не те. Где же этот?

Батальон двигался дальше. Следом из палаток, из-за деревьев начали выглядывать настороженные глаза. Полк не спал. Вслед за Особым батальоном, еще беззвучнее, чем он, шел дежурный первый батальон с Орлом. Молчаливое преследование и охват длились недолго. Орел тихо передал:

— Не стрелять в темноте...

Затем в ночной тишине леса внезапно раздалась
звичная строевая команда Орла:

— На руку!

Особый батальон был ошеломлен. Он кинулся куда-то вбок. Поручик искал выходов, тропинок. В луче его фонаря вырос Соломон Боер.

— А, симпатия?

В Особом батальоне кто-то заорал:

— Окружают!

Вятский заметался. Лес гудел и трещал. Старый опытный полк окружал предателей неумолимо. Метались огни фонариков, и отовсюду подымалась щетина четырехгранных наостренных штыков. В Особом батальоне началась паника. Кидались куда попало. Некоторые бросали оружие. Потом безумно понеслись во тьме, среди деревьев. Выкалывали глаза, натыкаясь на острые сучья, давили друг друга, ползли. Лес гулко отвечал на вопли. Кто-то кричал: «Спасите!» Эхо равнодушно повторяло: «...ите!» Не было никакой силы остановить эту орду. Паника перекинулась на обоз. Лошади сорвались с коновязей. Страшно заржал где-то во тьме жеребец. Лошади в бешеном карьере летели по всем направлениям, давя остатки Особого батальона. Раздавленный копытами, валялся поручик... Стоял треск, опрокидывались какие-то столбы, подводы. Люди летели в овраг. Кто-то искал спасения в низине. Беглецы попали в болото:

— Назад: трясина!

Вятский, задыхаясь, без шапки, пытался выбраться из темного и холодного болота. Оно засасывало его. Он что-то кричал, простирая руки:

— Братцы-ы...

Никто не отозвался. Трясина засосала его.

Офицеры в собрании насторожились.

— Что за шум?

— Тревога?

— Где дежурный по полку?

Адъютант встал и, ожидая прихода Особого батальона, сказал:

— Господа, пришли наши — вот они!

Раскрылась дверь — ворвались Орел, Алешка и другие большевики. Орел обвел офицеров взглядом:

— Кто все затеял?..

Полковник спокойно ответил:

— Это надо у людей спросить

Орел крикнул:

— Захваченных сюда!

Втащили нескольких захваченных.

— Кто вел?

Захваченные ответили:

— Ваш ходил — комитетский!

Полковник встал, шагнул к захваченному:

— Вятский?

— Он...

— Вот подлец!..

Из соседней комнаты вышел Ермолай. В руках он держал листок:

— Боев принял... с телеграфу...

Ермолай был тих и торжественен. Он велел:

— Ну, замолчите все.

Стало абсолютно тихо. Ермолай сказал:

— Слушайте сообщение из Петрограда. Вернулся Ленин, и власть взята съездом, народом...— Ермолай стал читать: — «К гражданам России!¹ Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона».

Прапорщик крикнул:

— Не согласен!

Ермолай сказал:

— Молчи, пыль...— И читал дальше: — «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира...»

Среди солдат прошел шелест: «Мир! Ленин мир дает...»

¹ Далее приводится воззвание «К гражданам России!», написанное В. И. Лениным 25 октября (7 ноября) 1917 года. (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 26, стр. 207.)

Ермолай продолжал:

— «...отмена помещичьей собственности на землю...» Земля нам, братцы, навечно, о господи... помоги, очам не верю... Прочти-ка ты...

Прочел другой:

— Земля, так и сказано...

— Чего дальше?

— «...рабочий контроль над производством...» Рабочие которые тут есть? «...создание Советского правительства, это дело обеспечено».

Прапорщик крикнул:

— Власть — это люди в Зимнем дворце или в сердце России, в Кремле!

Из телеграфной вышел Боер. Он подошел к Орлу:

— Передал съезду — армия поддерживает... Кстати, вы, прапорщик... читать умеете? Прочтите.

Прапорщик читал сообщение из Петрограда:

— «Зимний взят»?

Боер ответил:

— Именно... И берут Кремль...

Лицо прапорщика исказилось. Он закричал:

— По какому праву? Кто ваш Ленин?

Орел посмотрел на него.

— Кто Ленин? Вот кто...— И Орел подошел к окну и сказал дрогнувшим голосом в ночной простор, туда, где был полк, где были люди: — Товарищи, вернулся Ленин... Советами взята власть... Да здравствует народная власть! Да здравствует наш товарищ Владимир Ленин!

За окном во тьме раздалось «ура». Оно шло из самой глубины сердца. Люди срывали с себя шапки. «Ура» перекидывалось, и рос такой громовый клич, которого еще никто никогда не слышал. Это за все тысячелетия, за все свои боли и обиды, за все поражения и оскорбления, за всех своих замученных, утопленных, повешенных, сожженных, четвертованных и колесованных, за умерших в голоде и в кандалах, за все свои надежды, за все свои глухие ночные слезы, за свое великое терпение, за свою ни с чем не сравнимую стойкость, за себя, за Россию, за русский народ — гремел «ура» сам русский народ. Тысячи солдат с оружием шли, бежали

к штабу. Осенний сырой ветер разбёртывал новые знамена, бедные, своими руками сделанные. «Ура» гремело и ширилось минуту, другую, третью, четвертую... Орел и его товарищи смотрели на людей.

Вглядимся в их лица и запомним их на всю жизнь!

Шли русские рабочие и крестьяне — путники, исходившие полмира, люди, перевалившие через Урал, прошедшие Сибирь, люди, одолевшие Карпаты, Балканы и Альпы, пешком ходившие по льдам на край мира, люди, вынесшие столетия войн, осилившие иноземные ига, претерпевшие и преодолевшие чуму, голод, тиф, пожары. Шли люди с мужественными лицами, темными от загара, обвеянные всеми ветрами. Шли и стар и млад, разноплеменные, слитые в едином порыве. Глаза горели небывалым сиянием. Людям раскрывался в их порыве мир, неведомый еще никому. «Ура» гремело сильнее артиллерийского рева. Играли оркестры — их не было слышно...

Люди в штабной избе слушали стоя, с оружием в руках, взбудораженные. Иван Чортотмык вышел на середину и обратился к Орлу:

— Просим и наказываем вам, товарищи, брать эту власть крепко и никогда не отпускать из рук... Помните, что бились за эту власть веками, и упрочайте ее навсегда в России, и пойдет она и на другие страны...

Чортотмык говорил с небывалой силой... Он был ранен, и от его волнения кровь проступала сквозь перевязку. Ему кто-то сказал:

— У тебя кровь идет.

Он ответил:

— То не важно. Слушайте дале... А может быть, найдутся среди вас такие, которые скажут, что выны не способны к деятельности, может найдутся такие, которые отвернутся от народа. Так не давайте им пощады никогда...

Орел ответил товарищам:

— Не дадим.

Полковник и офицеры стояли молча.

Орел обвел взглядом всех людей и сказал:

— Так по праву, данному народом, берем и принимаем полк... Пишите акт, писарь... Бумагу получше... Знамя Петровское ветхое — одно... К нему чехол — один.

Береги, Иван Тимофеевич. (Знаменщик отдал честь.) Печать сюда... (Полковник сказал адъютанту: «Сдайте», тот сдал.) Так, печать полковая с бывшим государственным гербом — одна. Секретных бумаг... два дела. Верно?

— Совершенно верно...

— Касса — одна, ключей — три, наличности...

Заведующий полковым хозяйством сказал:

— Тут что-то около трехсот рублей с мелочью.

Орел поглядел на него:

— Не около, а считайте до копейки.

— Виноват. — Он сосчитал и доложил: — Триста два рубля тридцать три копейки с половиной.

— Бедно жили... России армия богаче нужна... Денежные документы сюда... Боер, разбери.

Люди затихли и пристально смотрели на акт сдачи и приема. Орел говорил сжато, ясно и властно:

— Оружия сколько?

— Винтовок четыре тысячи сто двадцать три...

— Дефектных из них?

— Две тысячи сорок.

— А дефект людьми затыкали?.. Списки полка сюда. Вятского и кто с ним со всех видов довольствия снять...

Адъютант ответил:

— Слушаюсь.

Ермолай глядел, глядел, потом протянул:

— Эва дело пошло... Была Расея с медяком, будет с золотом.

Народ все шел к штабу. Стучали, кричали:

— Читай еще — чего от Ленина-то!..

Ермолай обращался к ним:

— Милости просим, милости просим, заходи, заходи, хозяева... Ты только послушай, послушай: как народ-то привечает Володимира Ильича... Будто здесь он, в окопах, ходит промежду нас...

Какой-то солдат сказал:

— Да, говорят, был. Ей-богу... Поглядел, поглядел, все разузнал, и вот теперь пошло...

«Ура» за окнами вспыхнуло вновь и еще сильнее. Офицеры побледнели, иные сняли фуражки. Один из офицеров произнес:

— Нет, такого я никогда не слышал.

— Да, голосок у народа зычный,— ответил ему Ермолай.

Боер стоял у окна. Слезы лились по его лицу. Ермолай спросил его:

— Чего же не шутишь, милоч?

Соломон Боер ответил:

— У еврея душа светлеет.

«Ура» затихло, уносясь куда-то вдаль. Это гремела армия русская от Ледовитого океана до песков Азии, до вод Тихого океана. Где-то слышали этот клич последние беглецы Особого батальона, и, обуянные страхом, они опять кинулись бежать во тьму.

Акт сдачи и приемки был кончен. Орел встал:

— Подпишите.

Полковник подписал.

— А теперь мы подпишемся.

Он и товарищи тоже подписались.

Полковник встал:

— Граждане офицеры, наша старая служба кончена, мы закрываем собой последнюю страницу, последнюю главу истории армии российской...

Офицеры молчали. Полковник поднял руку к погонам.

Прапорщик закричал:

— Полковник!

— Не мешать!..

И он снял с себя погоны. Его примеру последовало еще несколько человек. Прапорщик подошел к стене. Он был бледен, он трясся.

— Это позор, бесчестье. — Он зарыдал. — Никогда, никогда... Это же нам дано навсегда.

Полковник его успокаивал и сам снимал ему погоны. Люди стояли сумрачные. Полковник обвел офицеров взглядом:

— Ну, возгласим здравицу новому правительству. Ура!

Офицеры молчали. Тогда вспыхнуло «ура» далеко на бивуаках полка. Штаб пустел. Адъютант произнес:

— Кончено.

Полковник посмотрел на него и сказал:

— Еще все впереди, подпоручик.

Офицеры переглянулись и стали выходить один

за другим. «Ура» все вспыхивало на бивуаках полка и в ближних селениях.

Полковник остался один. Он прошелся по комнате, послушал и заговорил сам с собой:

— Шумите, шумите, русские люди... Найдется человек, который возьмет вас жесткой рукой, и вы утихнете ..

Постучали.

— Войдите.

Вошел полковой адъютант:

— Жду ваших приказаний.

Полковник ответил:

— Наша старая служба продолжается. Не отступать. Говорить им «да», делать — наоборот. Чем ближе будем к ним, тем скорее свернем им шею.

— Без малейших «но»?

— Без.

V

Первый снег выпал рано. С Балтийского моря ползли холодные темные тучи. Они шли безразличные и равнодушные — над людским миром, в котором среди темного моря самых горьких мук и трудов зарождались, не в первый раз, какие-то новые надежды. Ветер свистел в оголенных лесах. Природа была смутной, мятущейся, как люди, или, может быть, мятущимся людям она казалась такой.

Становилось все холоднее и холоднее. Полковник Бутурлин и офицеры, посеребренные, иногда по два-три дня небритые, сидели в шинелях с сорванными погонами, как бесприютные люди. У них постепенно менялась манера двигаться и говорить, они делались настоящие, скрытнее. События, которые катились в стране — бурливые водовороты — вселяли страх, испуг перед неведомым будущим.

Солдаты покидали в одиночку, по-двое, по-трое позиции и брели на север и на юг. Полковой адъютант говорил полковнику:

— Тает полк, люди уходят по домам, в Россию, полковник.

Полковник ответил, печально шутя:

— Я не полковник, а «бывший», я просто некто, единица в серой шинели... Может быть, они отменяют имена и фамилии?

Офицер выслушал и заметил:

— Меняетесь вы, полковник... Я вам докладываю: полк тает, а остающиеся хотят начать переговоры с немцами...

— Им разрешено...

Подошел фельдфебель:

— Так что, вашсокродь, готовятся к братанью. Почью с немецкой стороны звали: «камрад — рус»... Наши и распалились.

Полковник вскинул голову:

— Переговоры! Алешки и Ермолайки в роли министров иностранных дел, да еще в поле? Хотят нести свое евангелие, интернационально-российскую свою ересь немцам? Одобрить их проповедь, одобрить братание, — пускай эти сопливые серяки стукнутся о немцев, об Европу.

Адъютант возразил:

— А если нет? Кричал же там кто-то ночью: «Solidarität»¹.

— Тогда придумаем другое, третье! — Полковник почти притянул к себе офицера. — Думать, каждую минуту думать. Если надо, стрелять им в спину. Пускай стреляют отсюда, оттуда, со всех сторон...

Полковник был бледен, вспышка бешенства сделала его неузнаваемым, он тяжело дышал. Седая щетина на его лице взъерошилась. Он сдержался, сурово поглядел на собеседников:

— Я сообщаю, как приказ, как закон: ни я с вами, ни вы со мной ни о чем этом не говорили. Никто из вас ничего не знает, мы простые военнослужащие, верные новому правительству.

— Так точно.

И трое разошлись. Полковник по привычке, как он это делал ежедневно тридцать пять лет подряд, со дня, когда он впервые пришел в полк, — производил осмотр расположения полка. Он шел, привычно, полумаши-

¹ «Солидарность» (нем.).

нально оглядывая людей и оружие, отдавал привычно честь, делал замечания: «Винтовки чистить надо... Пуговицы пришивать надо...»

Чортомлык угрюмо ответил:

— Нам нэ пуговицы, а домой...

Полковник мрачно поглядел и пошел молча.

Окопы бежали среди заснеженных полей. Стали реки. Снег покрывал следы боев, воронки, затерянные могилки, ржавую проволоку. Где-то валялись неподобранные кони. Вороны прыгали среди падали. Фронт казался полумертвым, забытым. Торчали обгорелые руины местечек.

Солдаты ежились от холода, кутались во что могли. Они понемногу теряли воинский вид.

В окопе шла беседа. Полковник прислушался. Он стоял тихо. Кучкой сидели Орел, Боер, Алешка и Ермолай. Говорил Ермолай:

— Я и говорю — напишем им: «Дорогие немецкие люди, ничего нам от вас не надо. Земли у нас, слава те господи, теперь — от окияна до окияна, и вся своя. Пойдем мы теперь заниматься ею, того на долгий век хватит. Пойдем на глазах ваших. И вы уходите, — покорнейшая такая наша просьба. Поклонимся друг другу, руки пожмем, подарочки можно на память дать — и разойдемся. В глаза друг другу поглядим, дорогие немцы-соседи, и только спросим: пошто мы четвертый год тут муку принимаем?.. Мы со своим Николаем и прочими управились, чаво ж вы медлите?»

Орел сказал:

— Им мир предложен... Совет Народных Комиссаров свое слово сказал. Делегация послана... А у немцев на уме не мир.

Чортомлык потемнел:

— Вот шо кажу я вам, председатели. Мы месяц жлали, другой, третий... Зима уходит... Землю дали, а хто ее пахать будэ? Голодные жинки? Доставайте мир, — шо вас за глотку брать?.. Нэ можем больше!..

Алешка стукнул себя по колену, потертую папаху свою шмякнул об землю:

— Пойду... Один к немцам пойду!.. Ничего не боюсь и скажу: «Многоуважаемые, мол, немцы, вот рука,

вот душа, давай кончать империализм, делать Интернационал, — настрелялись досыта, пора и делом заниматься, а?..» — И парень весело улыбнулся. Сверкали белые зубы, над глазом вихор болтался. Хорош был Лешка Медведев!

Солдаты загудели:

— Давай, Орел, пойдем к немцам!..

Орел ответил:

— Нужно ли?..

— А чего? С ихними солдатами поговорим, они же кричали!

Орел ответил:

— Одни кричат, другие молчат... Разные немцы бывают...

— А не хошь итти, мы сами пойдем.

Солдаты стали готовиться, обряжать делегатов. По окопам пронеслось: «Делегатов посылаем! Давай, у кого что почище». Солдаты давали Лешке Медведеву, Орлу, Боеру, Ермолаю и другим шинели и папахи получше, терли песком бляхи, суконками чистили сапоги, наводили немудреный солдатский лоск. Отбор вещей был строгий... Медведев скреб перочинным ножичком щетину, затягивал пояс доотказа, как в учебной команде. Было хорошо, оживленно, весело. Медведев любовался собой и видом своим:

— Государственные делегаты, а? Орел, глянь. Ай, Лешка, как шагаешь, как шагаешь!.. Посол, а? Перчатки подходящие есть у кого, а? — И парень стоял, широко разводя руки, глядел на себя и на товарищей своих. — С Европой говорить будешь!

Орел сказал:

— Значит, идете? Тогда сделаем официально... Достали белый флаг. Пришел трубач... Ермолай перекрестился.

— Господи благослови... Мы подневольную войну государеву вели, мы ее и кончим. Пошли!

Он начал вылезать из окопа.

— Думаю, у немцев совесть есть, стрелять не будут, а?

Солдаты русские вышли группой, подровнялись, лица их побледнели от радости и возбуждения; глаза

смотрели вдаль, на запад, на пока неведомый им Запад, которому эти простые и сильные люди доверчиво и раскрыто несли свои сердца. Горнист проиграл сигнал. Алешка Медведев нетерпеливо сказал:

— Чаво там формальности, давай пошли!

Он рванул душевный и прекрасный мотив на гармонике и широким шагом вместе с Орлом, Соломоном Боевым и другими пошел прямо на немецкую проволоку.

В русских окопах следили за делегатами с необычным напряжением. Из окопов вышли люди, и они несли надежды, идеалы, мир, человеческую простоту...

Полковник смотрел на удалявшихся делегатов. Он бросил:

— Апостолы!

Делегаты были уже между линиями русских и немецких окопов.

Алешка начал:

— Эй, Германия!.. Многоуважаемые немцы, во первых строках — поклон от России...

Из немецких окопов начали стрелять. Орел стоял вытянувшись:

— Убедились?

Его товарищи тоже вытянулись. Алешка рывкнул:

— А, гады!..

Боев заметил:

— Ты теперь видишь, Леша...

Ермолай крикнул немцам:

— Чаво ж делаете-то? Нехорошо!

Кто-то из делегатов наклонился. Свистели пули. Один бросился бежать. Орел властным голосом, в котором зазвенели ноты командира, бросил:

— Товарищи делегаты армии! Два государства наблюдают за нами, подравняться!

Свистели пули. Русская делегация подправилась. Глаза у людей сверкали гневом, вызовом и решимостью. Как кадровый солдат, Алексей Медведев сделал шаг вперед и крикнул немцам:

— Принимаем отказ к сведению! Сделаем свои выводы, — и поправился: — выводы.

Несколько пуль попало в его гармошку. Алешка обернулся:

— А инструмент зачем же портить?

Среди делегатов упал один, потом другой. Их подняли. Орел и Соломон Боер, не меняя шага, понесли к своим окопам первого убитого, а Алексей и Ермолай второго. И мертвецы повисли на мерно шагающих товарищах своих.

Делегаты сошли вниз в окопы. Трупы были положены. Люди сняли шапки. Еще повизгивали и щелкали немецкие пули. Полковник стоял молча, и только усмешка бродила в одном углу рта. Фельдфебель бросил делегатам:

— Ну, пролетарии всех стран, соединились?

Полковник улыбнулся и тут же спрятал улыбку и сказал Орлу дружески и прочувствованно:

— Да, идеалы и жизнь — вещи разные.

Орел стоял над трупами молча, скрестив опущенные руки, как на молитве, полный глубокой скорби. Он не отрывался от лиц убитых товарищей. Над трупами стояли и офицеры. Полковник сокрушенно качал головой. Это была молчаливая солдатская панихида. Снег падал на лица убитых. К окопам стали подходить люли, их было все больше. Кто-то крикнул:

— Чего ж, Орел, наделал?

Ермолай ответил:

— Виновны, немцев озлили, напутали, людей убили...

Иван Чортомлык закричал:

— Власть вам дали, а вы управиться не можете?

Загудели голоса:

— Месяца илут, зима идет, а все одно — сидим тут, как на каторге...

Боер бросил кричавшему:

— Слушайте вы, вы когда-нибудь реально сидели в тюрьме, чего вы так просто сравниваете?

Солдат отпихнул его:

— А иди ты...

Полковник внимательно смотрел на солдат, смотрел на Орла.

Еще громче закричали солдаты:

— Ждали-ждали и вот дождались. — И кто-то

показал на убитых. — Эдак будете править, они завтра нас всех перешарахают!

Один из солдат вытащил газету.

— Эвон, газета по совести называется «Правда», про землю пишет, про работу... Может, Ленин мир уже дал, а вы, сволочи, по канцеляриям да штабам скрываете? — И группа окопников навалилась на полковника и на Орла. Их прижимали к грязной окопной стенке.

Иван Чортомлык гремел:

— Поставили новый закон — воля наша... А ты як с народом говоришь, шапку скинь! — И здоровый обозленный солдат одним махом сбил шапки и у Орла и у полковника.

Орел глядел на напиравшую толпу...

— Отойдемте, неудобно, противник услышит, — сказал он.

И шествие направилось под скат холма. Впереди несли двух убитых, за ними без шапок шли полковник, Орел, рядом в спину подталкивали Боера, Алешку, Ермолая и других. Полк на снегу чернел и шумел, как вече, как мирской сход. Огромный здоровый Иван Чортомлык бушевал:

— Доверие було к вам?.. Було!.. Тебя старый режим расстреливал — мы спасли...

Кто-то рядом закричал:

— На нашем горбу вверх-от забрались, а теперь тянете — да подождем, да завтра... А люди истощенные... Водой питаемся...

Усталые, обтрепанные, заросшие солдаты напирали вплотную, дышали тяжело...

— Полком-от на пару завладели, компанию с Соломошкой да пьяницей, да с бородой этой вшивой водите... Поди, деньги казенные берете?..

Толпа лезла угрожающе. Гудело тысячи три человек. Подымалась ярость, внезапная, иногда необъяснимая. Иван Чортомлык ударил по лицу полковника... Полковник кротко улыбнулся. Разъяренный огромный солдат подхватил труп и приблизил мертвое лицо к Орлу:

— Твое дило?.. Кто за чоловіка, за сырот его ответит?..

Орел отбросил руку солдата:

— Большевики и советская власть свое слово держат. Ленин послал мирную делегацию, она в городе Бресте... Не наша вина, если мира нет сразу.

— А кто там затягивает? Наверно, подлец какой. Ермолай подошел к Орлу и обратился ко всем:

— Братя, людей к земле, к хозяйству тянет, измучены мы... Орел, подпиши бумагу — всех по домам...

Боец сказал Орлу:

— Это плохо, люди уйдут.

Орел ответил:

— Удержим. Товарищи, надо подождать исхода переговоров в Бресте!

Полк зашумел:

— Неча годить!

— Сколько лет уже годили!

Орел спокойно повторял бушевавшим людям:

— Товарищи, подождем исхода мирных переговоров.

Ему кричали:

— Декрет о мире был? Был! Давай домой!

Стоял рев.

— Загалдели!.. — крикнул Алешка. — На печку хочется? А фронт кто держать будет? Видели — немцев еще учить надо...

— Вот ты и учи! Сходи еще разок — схвати по лбу...

Алешка злобно заорал:

— А, будьте вы все прокляты!

Орел остановил его:

— Товарищ Медведев, Алеша...

Полковник, до этого молчавший, шагнул вперед:

— Позвольте и мне слово сказать... Решим, товарищи, так; желающие пусть уходят... Останется тот, кто понимает... Найдутся такие...

Орел хотел что-то сказать, Чортотмык его перебил:

— Вот так бы и объявляли сразу... А шо я тебе по морде вдарил, полковник, прости... И ты, мабуть, кого за тридцать лет вдарил... Вот и квыны... А нам до дому, Самь лет хожу в этой шкуре, как проклятый, живого места ни на теле, ни на душе не осталось... Хочу до жинки, до дитэй, до земли дойти...

Ермолай добавил:

— Верно, Орел... Не держи... Дай нам отпущение... По земле изныли... Облик потеряли... А мы во имя советской-то власти поработаем...

Солдаты загудели:

— Пиши, Орел, увольнение... Пушай на землю!

Орел поглядел и крикнул:

— А кто ее защищать будет? Об этом подумали?

Иван Чортмлык бешено взревел:

— А ну тебя к чертовой матери! Гэй, товарищи... кто до дому — ходи сюда; кто остается...

Орел перебил:

— Кто остается — сюда.

Люди смешались... Потом пошел один, другой, десятки...

— По домам!

— До дому!

— Братья, да кто ж останется? Немцы ж пойдут...

— Не пойдут к нам, далеча...

Полк бурлил. Солдаты копошились по мерзлым ямам и землянкам, перебирали свои пожитки.

— Иван, ты куды?..

— Куды народ...

— А куды народ?

— Ня знаю...

Сваливали в кучу патроны, винтовки, пулеметы, пулеметные ленты.

— А если кому надо, пушай берет, чего хочет.

Кто-то просил:

— Гранаток на дорогу можно?

— От герой, драться будешь?

Солдат скромно отвечал:

— Не, мне рыбку глушить...

Ермолай тоже собирался. Он хозяйственно осматривал оставшихся обозных лошадей.

— Добро казенное, значит — наше, делить будем всем поровну, чтоб было братство и равенство.

— Ты чего ж, коней-то осталось какой-нибудь десяток, полтора, что ж, их на три тысячи человек поровну разрежешь?

Ермолай задумался.

— Действительно, поровну оно не выходит... Тогда будем по жребию распределять.

Люди шумели и галдели. Лошадей осматривали жадно, щупали, смотрели зубы. Коня вздрагивали, фыркали. Солдаты тащили из грязной папахи жребий.

— Ну?

Вытащивший читал по складам:

— «Ко-бы... кобы... лу... кобылу на... двоих».

Солдаты весело зашумели:

— Во, подвезло — на двоих, дели ее!..

Кобылу дергали за уздцы. Вытащивший жребий стоял задумчиво:

— Это как же выходит: кобылу на двоих?

Алешка бросил:

— А вы ее ножичком, пополам... И поезжайте — один на передке, другой на задке!

Солдаты стояли, подсмеивались. Ермолай сказал им:

— Эх, головы, а вы вдвоем на нее садитесь... Тебе куда?

— Мы — самарские...

— Вот полегоньку она вас до Волги-то и допрет... Только чем вы ее кормить-то будете?

А Лешка бросил, уходя:

— Эх, хозяева, глаза завидующие, руки загребущие...

Солдаты тащили деревянные изгороди, колья, тащили все, что можно было. Полковой адъютант подошел к ним.

— Зачем же вы все тащите? Ведь это же нужно будет, это же государственное.

— Теперь все поровну: каждый должен свою долю забрать. Вот домой придем — и там все поделим и позабираем...

Офицер резко повернулся.

Он пришел к полковнику.

— Полковник, что же делается?

Полковник сказал офицеру:

— Делается то, что людей от Орла оторвали. А дальше нужно вот что делать: нужно пойти с ними. Пойдете вы.

— Слушаюсь.

— Ведите их не спеша. С главной дороги сверните... След сбейте... Оружие свалите в обоз... Думаю я, поручик, что скоро начнем мы новую войну.

— Понимаю, господин полковник.

Солдаты стояли, собранные в далекий путь — в глубину России, по губерниям, в снега. Стояли, обвешанные сумками, мешками, некоторые держали коней, у некоторых был запас дровишек, иные неведомо зачем тащили какое-то покалеченное барахло. Соломон Боер смотрел на это сборище.

— Мм, хозяева! О боже мой, люди...

Орел ответил ему:

— Хорошие, простые люди...

К сборищу вышли полковник Бутурлин, несколько офицеров, Орел и его товарищи. На снежной площадке стал и знаменщик со старым знаменем. От уходящих вышел Ермолай.

— Не поминайте лихом, за обиды еще раз простите... — Он продолжал: — Пойдут вот так вот теперь русские полки, шестьсот, а может, и более пехотных полков, домой...

Орел:

— А кто же останется?

Алешка крикнул:

— А кто это вас и все ваше драгоценное имущество охранять будет?

Люди молчали. Орел сказал:

— Останутся большевики.

Какой-то парень из первого ряда осклабился:

— Га, воявать нады, не навоявался?

Ермолай дал ему по шее.

— Сыми шапку, сопляк, поклонись им, они за нас до конца пострадать хотят, они отчаянные, упорные, а мы того не можем — нутро не то.

Парень снял шапку, поклонился Орлу и другим и сказал:

— Прости, дяденька.

Люди зашевелились, раздались крики:

— Ну, пошли, что ли?..

Полковник чуть дрогнул:

— Даже скомандовать не могут...

А солдаты кричали, уходя:

— Прощай, война! Прощайте, братцы!

— Товарищи, прощайте! Может, не свидимся никогда...

Иван Чортомлык поклонился низко:

— Лыхом не поминайтэ...

Адъютант отдал честь полковнику. Оркестр заиграл за сердце хватающий марш «Тоска по родине». Музыканты шли тоже закутанные, нагруженные, иные с посошками, иные тащили что-то на санках... Уходила опустившаяся армия... Полк брел, как огромное племя при переселении народов. Некоторые ехали верхами... Иные — по-двое, на одном коне. Из рядов оборачивались к молчаливой и малой группе, которая осталась у знамени.

— Вы фронт-от держите!

Орел смотрел на уходящих людей с понимающей грустной улыбкой и чуть покачивал головой. Свистел холодный ветер. Марш становился все тише и тише. Полковник стоял, думая свои думы. Иногда исподлобья он косился на Орла. В зимней пачали, в беззвучии таяла русская армия, кончалась великая война. У знамени стояли люди, которые оставались, чтобы драться. Осталось не больше роты. Печально прекрасна была фигура Орла. Выпрямившись, стоял Соломон Боер. Стоял богатырский штабс-капитан; ветер шевелил его ус. Свисал вихор на глаз Алешки Медведева. Стояли и другие товарищи. Соломон Боер сказал:

— Кончается армия.

Полковник ответил, поглядев испытующе на него:

— Она будет вновь.

Орел сказал:

— Знаем, будет вновь.

Прошли дни, стояла угрюмая тишина. Было уже сумеречно, когда к Орлу из штаба полбежал Боер, протянул ему пакет. Орел прочел и как-то поник, подавленный. Подошел полковник:

— Что там у вас?

Орел поднял голову:

— Несчастье, большое несчастье.

— Ну?

— Человек, посланный нами в Брест, изменил.

— Что?

— Отказался выполнить указания правительства...

Он предательски заявил: «Ни мир, ни война» — и все бросил.

Полковник спросил:

— Кто этот человек?

— Троцкий.

Полковник думал свое: «Так, так...»

— Значит, если он так сделал, немцы начнут наступать?..

— Ясно... Троцкий открыл им дорогу... — ответил Боер.

Полковник прикидывал:

— Осталась у нас какая-нибудь рота...

Орел отвечал, готовя винтовку:

— Ну, эти стоят сотен... Деловые... Кажется, подели их в работе? Готовы ли драться, полковник?

— Да, я давно готовился.

Орел крикнул Соломону:

— Тревогу, Боер! Действуй... Я подыму товарищей в ближних местностях!

Полковник усмехнулся и послал им вслед:

— Я мог бы уничтожить вас здесь, сейчас. Но я подожду... Я вас поймаю, возьму живьем, поставлю на колени перед людьми.

К нему подошел фельдфебель. Полковник был весь как собранная энергия.

— Ну как, Варварин?

— Ничего, вашсокродь, наблюдаю.

— Прекрасно. К делу готов?

— Так точно, вашсокродь.

— Знаешь, что немцы могут двинуться каждую минуту?

— Никак нет, вашсокродь.

— Скоро все изменится, Варварин, понимаешь?

Фельдфебель подумал и ответил с готовностью:

— Догадываюсь, вашсокродь.
— Скоро поздравлю офицером.
— Покорнейше благодарю, вашсокродь.
— Ну, у меня будут свои дела, а ты займешься этими...

Полковник сделал крутой жест.

— Слушаю, вашсокродь
— В затылок!
— Понимаю, вашсокродь.
— Иди.

Темнело. Места у бойниц передовой линии занимали большевики. С ними был оставшийся командир первого батальона — богатырский штабс-капитан Головачев. Соломон Боев устанавливал пулемет. Рядом лежал фельдфебель. Соломон бурчал:

— Вот новая забота...

Фельдфебель ответил:

— Забот хватит.

Люди всматривались в вечернюю мглу. Алешка заметил:

— Не идут чего-то, местные-то... На бал шли, а тут нет...

Одиноко бродил полковник. Он вышел из окопов в поле. Лежал сырой снег. Черпела кое-где земля. Полковник поглядел на землю, глухо спросил:

— Ну ты скажи, русская земля, как же быть? Ответь... Все сдвинулось, смешалось... Помощи-то я должен же ждать откуда-нибудь?.. Скажи... Молчишь? Молчишь, сволочь?.. И небеса молчат... Пусть. Ладно.

VI

Рассветало. Был тяжелый пронизывающий февральский туман. В тумане возникли какие-то темные пятна, они приближались беззвучно. Стали вырисовываться тяжелые, медленно и осторожно ступающие фигуры. Это шла немецкая цепь. Начиналось наступление германской армии на РСФСР. Цепи подходили выжида-

тельно. В цепи на одном из флангов, как проводник, шел полковник. Он делал только знаки рукой: «Тише!» Он вытянул шею вперед, глаза его были прищурены, и нижняя челюсть чуть выдавалась вперед. Раздался русский возглас:

— Стой! Кто идет?

Немцы залегли в снегу. Полковник им сделал знак — «сейчас, сейчас» — и двинулся вперед. Следя за каждым его движением, наготове, шел следом немец. Полковник ответил на оклик:

— Свои, свои.

Он из тумана подходил к дозорному. Тот протянул спокойно:

— А-а-а.

Полковник подошел к нему, вырвал винтовку, двумя ударами штыка свалил дозорного и пригвоздил его. Вглядываясь в туман, на всякий случай он еще зажал ему рот рукой. Рядом стоял немецкий офицер, высокий, в шинели с меховым воротником, в тяжелом стальном шлеме. Немец сказал коротко:

— So! — и тут же спросил: — Und andere?¹

Полковник ответил:

— Ja, ja...² Теперь мы пройдем, настигнем их иотрежем... А тут правее — остался какой-нибудь взвод, полурота. — И он пренебрежительно махнул рукой.

Немец коротко ответил:

— Он будет плен.

И немецкая цепь со своим проводником тихо, крадучись, проходила сквозь проволочные заграждения и покинутые окопы. В них валялись только какие-то обрывки — все, что оставалось от полка.

Почти скрытые этим же туманом, навстречу, в стороне подходили к остаткам полка местные большевики. Их вел Орел. Он торопил:

— Скорей, еще скорей!

Полузасыпанное снегом, стояло брошенное оружие с зарядным ящиком... Орел спросил:

¹ Так! А другие? (нем.)

² Да, да... (нем.)

— Кто может, кто умеет?

Никто не ответил. Орудие стояло бесполезно. Орел торопил. Люди бежали долго, они вспотели и тяжело дышали. У некоторых были берданки, у некоторых — трехлинейки.

Орел подвел товарищей к окопам. Он спросил Боева:

— Пока тихо?..

— Без перемен.

Орел показал на подкрепление:

— Вот помощь,

Соломон Боев прищурился и негромко сказал:

— Но это не армия, нет.

— Илюхин еще приведет.

Фельдфебель насмешливо смотрел на пришедших:

— Пролетария? А с какого конца винтовка стреляет, знают?

Орел оборвал:

— Довольно. Подойти ближе. Передаю обращение Совета Народных Комиссаров... Подойдите поближе... *«Социалистическое отечество в опасности!..¹ Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови...»*

Штабс-капитан спросил:

— Так и сказано?

— Так и сказано.

— Кем?

— Советом Народных Комиссаров.

Штабс-капитан кинул:

— Твердо сказано... Молодцы большевики...

Орел продолжал:

— *«Неприятельские агенты... германские шпионы расстреливаются на месте...»*

Фельдфебель заторопился:

— Понятно.

Орел продолжал:

¹ Далее приводятся выдержки из декрета Совета Народных Комиссаров, написанного В. И. Лениным 21 февраля 1918 года. (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 27, стр. 13—14.)

— Дано двалцать первого феврала тысяча девять-
сот восемнадцатого сего года... Я догоняю полк и
поворачиваю его...

Штабс-капитан сказал:

— Правильно.

Подошел Алешка:

— Продолжаю иностранную деятельность.

И Алешка развернул перед товарищами неуклю-
жую надпись на обрывке тряпки:

«Чего вы лезете? Все равно попадет по роже...»

Алешка добавил:

— Ужо туман порассеется, пуцай полупочтенные
прочтут...

И он укрепил надпись у оконного бруствера. В эту
минуту прокатилась команда штабс-капитана:

— По места-ам!

Штабс-капитан подошел к знамени. Огромный,
бородатый знаменщик стоял в окопе спокойно, выжи-
дательно. Штабс-капитан сказал:

— Поступим, дорогой Иван Тимофеевич, по уставу
и по старым заветам... Спрячем, сбережем знамя...
С древка придется снять его...

Знаменщик сказал:

— Дозвольте, святыню на груди схороню...

— Позволь мне, Иван Тимофеевич. И отец мой и
дед мой под этим знаменем служили.

И воины молча срезали знамя с древка. Старый зна-
менщик поцеловал ветхую материю. Штабс-капитан
спрятал ее у себя на груди.

Стрелки залегли. Было совсем светло, и туман стал
спадать. Он оседал еще по низинам. И там, в этих ни-
зинах, показались немцы. Алешка крикнул:

— Гости едут!

Соломон Боев приготовил пулемет и ответил:

— А кто их звал? Мы? Нет...

Орел пробежал по цепи:

— Держитесь. Полк верну... Все выполните?

Фельдфебель жестко ответил:

— Как нам велено, так все и выполним.

Туман совсем проходил. Немцы молча шли из ни-
зины. Залегшая русская цепь открыла огонь,

Немцы шли, ступая через своих убитых и раненых. Алешка подлетел к Соломону Боеру. Волоча за собой пулеметные ящики, Алешка кричал ему в ухо, перекрывая стрельбу:

— Задерживай их!.. Тут недалеко, оказывается, орудие есть... Начну шаракать...

Соломон понял. Одной рукой он нажимал на спусковую тягу, другую руку подал Алешке. На секунду в глазах мелькнула нечеловеческая тоска. Товарищи простились. Фельдфебель кинул вслед Алешке:

— Врет, утекает.

Соломон Боер уже вел огонь левой рукой, а правой швырял ручные гранаты. Фельдфебель кинулся на него сзади:

— Н-на!

Боер на секунду отпустил рукоять у пулемета. Огонь затих. Боер сжался и перекинул фельдфебеля через голову. Тот упал, ударившись у самого дула пулемета. Боер спросил:

— «Расстреливаются на месте» — слышал? — И он прошил предателя насквозь в упор: брызнуло десять сернистых вспышек. — Совещание продолжается.

Он работал молча и вдохновенно... Он изредка только бросал отдельные реплики:

— Нет, я думаю, что они с этого дела не заработают...

Соломон Боер и его пулемет были окутаны дымом и паром. Немцы кричали этому человеку-вулкану:

— Hände auf! ¹

Боер отвечал:

— И не приставайте! У меня партийное поручение! — И он смаху и правой и левой еще рванул шагов за полста две-три ручные гранаты.

Боера обходили. Он оглядывался.

— Вот это мне уже не нравится, когда человека пачинают окружать.

Он поставил, под углом, второй пулемет, навел и нажал спуски обоих пулеметов сразу. Немцы приближались. Он отдал болт, сорвал пулемет со

¹ Руки вверх! (нем.)

станины, выпрямился во весь свой рост и начал поливать подходивших, с руки, в круговую. Тело пулемета билось на могучей руке Соломона Боера. Он был без шапки. Ему делалось жарко — он сбросил с себя лишнее.

— Какая жара! Это же Одесса в июле!

И он стрелял, лихорадочно заправляя ленты. Немцы еще что-то кричали, некоторые из-за бугорков и прикрытий глядели на человека, который отбивался один от целой роты, от подходившего батальона... Шипя, упала немецкая ручная граната с длинной деревянной ручкой. Боер швырнул ее обратно.

— Полезная вещичка, а? — Заправил новую ленту и крикнул: — Перехожу в наступление!.. — И он рванулся вперед с криком: — Вот теперь вы поговорите с евреем!

Он был весь мокр. Лицо, шея и грудь сверкали от пота. Черные волосы его вились. Пулемет дрожал в его руках, как живое взбешенное существо. Несколько пуль пронзили бойца. Он упал. Пулемет затих. Боер подполз к нему, стал на колени и снова стал стрелять. Еще одна пуля опрокинула его. Пулемет снова умолк. Соломон Боер дотянулся рукой до спуска, нажал его, и пулемет снова заработал. Боер собрал все силы...

— Еще ленту! — Он шептал, шарил вокруг. Текла кровь. Все патроны были расстреляны. Он подтянул к себе тело пулемета, вытащил замок, потом вынул части из второго пулемета и прошептал:

— Но вы из них стрелять не будете, это говорю вам я.

Где-то близко кричали:

— Hände auf! Kaput! ¹ Сдавайся!

Соломон Боер слабо и насмешливо улыбнулся:

— Этого не будет...

Он вынул ручную гранату, посмотрел на приближающихся. Слабо щелкнул капсюль, граната зашипела, Соломон Боер притиснул к себе тело пулемета. В глазах бойца показались слезы — человек шагнул уже за пределы простого земного. Взрыв сотряс все. Едкий дым стлался по земле. Стало совсем тихо. Из-за высту-

¹ Руки вверх! Капут! (нем.)

пов окопов стали подходить немецкие пехотинцы.... Они остановились в трех-четырех шагах от места взрыва, от того, что там осталось. Первый немец — голубоглазый парень — смотрел испуганно и задумчиво... Он снял свой шлем,

Орел летел по дороге, догоняя полк. Конь Орла был мокр. Орел спросил одного встречного:

— Солдаты проходили? Полк?..

Путник покачал головой и ответил:

— Не видал.

— Другая дорога тут есть?

— Есть...

И Орел гнал полями, напрямик... Куда ушли?

Алешка пытался вывезти единственное оставшееся оружие. Под огнем он, штабс-капитан, знаменщик и остальные стрелки завели построшки, впряглись в оружие сами и начали вытаскивать его по снегу и грязи. Товарищи волокли зарядный ящик, несли снаряды в руках, в полах своих жидких пальто и шинелей.

— С передков долой!

Останавливались, обирачивались, ошетикивались и били по подходившим немцам. Вихор свисал над Алешкиным глазом. Фейерверкер был распален, он наводил и орал:

— Дистанции в упор! Прицелы к чертям!.. Картечь!.. (Лязгал замок.) Огонь!

Картечный шквал опалял и сметал первую цепь немцев. Горячий воздух вздымал воду, ветви, снег и грязь. Орудийные номера работали, как звери...

Алешка сам себе кричал:

— Спасибо за службу, Алеша!.. Ладно уж...

Замочным был богатырский штабс-капитан. Гильзы дымились и звенели, пули щелкали о щит оружия.

Алешка кричал:

— Так! Держись, товарищи!..

Штабс-капитан спросил:

— Орла там не видно?..

— Нету!

Люди стреляли из всего, что у них было. Подносики подавали патроны. Падали сраженные. Подскакивали другие. Орудие прыгало и рывкало.

— На новую позицию!

И люди, сбрасывая с себя лишнее, волокли, с силой коней, орудие и зарядный ящик. Товарищи налегали на лямки, на построжки, как бурлаки,— они летели по снегу, по дорогам, по грязи. Алешка оборачивался в сторону немцев:

— Давай, валяй!.. Прикуривай, пока огонь!..

И орудие, как будто ставшее легким в руках разъяренных людей, с ходу развернулось и стало на новую позицию...

— Н-на! — И сверкал выстрел.

Людей оставалось уже немного.

Алешка орал:

— Подавай!

Снаряды кончались.

— Последний!..

Алешка снял замок с орудия.

— Все одно не сдадимся...

Орел смаху слетел с коня. Конь споткнулся, тяжело рухнул и не мог уже встать. Орел попробовал его поднять, увидел, что это безнадежно, понял, что надо идти назад, искать на другой дороге. Он повернулся и пошел. «Где они, завели их куда-нибудь?»

Полк со своим скарбом проходил сквозь деревню. В голове полка шли полковой адъютант и Иван Чортмык. Рядом с ними шагал Ермолай. Оружие полка было свалено в обозе. Какой-то гармонист тихо играл марш «Тоска по родине». Вдали слышались орудийные выстрелы. Ермолай насторожился:

— Стреляют?

Адъютант спокойно, безразлично ответил:

— Спьяна кто-нибудь.

Солдаты вдруг стали вглядываться вдаль.

— Стой, чего это?

Остановились... Показалась цепь. По широкой дороге, охватывая их, приближался противник. Впереди шли полковник и несколько немцев.

Ермолай шепнул, охнув:

— Попали, кум...

Ряды полка расстроились. Иван Чортомлык дал команду:

— В ружье!

— Назад!

Адъютант стоял у подвода с наганом в руке. Солдаты сгрудились, смотрели на приближавшихся. Подошел полковник. Он едва сдерживал злобу. Он видел людей, которые били его по лицу. Адъютант доложил:

— Господин полковник, полк в ваше распоряжение прибыл.

Полковник так посмотрел на Ивана Чортомлыка, что тот съежился, взял под козырек, пряча бегавшие глаза. Полковник крикнул привычно:

— Что за стадо? Построиться! Забыли?

Жители деревни из-за углов смотрели на то, что происходит. Немецкая цепь стояла невдалеке. Немцы стояли властные, молчаливые, опершись на винтовки. У их ног стояли четырехлапые тяжелые пулеметы. Солдаты, озираясь, перешептываясь, подравнялись. Полковник обратился к ним:

— Ну? Может, возьметесь за ум?..

В поле, без дорог, брели уцелевшие товарищи: Алешка, знаменщик, несколько солдат. С ними шел и штабс-капитан.

— До живых людей дойдем, все одно продолжать будем... Чем попало драться буду... Мне бы патронов! — кричал Алешка.

В поле они увидели Орла. Он брел, выбиваясь из сил. Алешка закричал:

— Полк где? Нам бы люду малость, так мы ба... Орел шагал.

— Завели их, догоним, повернем. Илюхин не подходил?

— Нету.

Они шли, бежали. И вот они увидели вдали оставившийся полк и чужие цепи...

— Отрезали!

Орел упрямо ответил:

— Пошли к ним, выручать надо. Эх, кум, Чортотмык!

Полк стоял угрюмо. Чортотмык и Ермолай издали увидели Орла и опустили головы. К полковнику подошел немецкий офицер и сказал ему несколько слов. Полковник заторопился. Он посмотрел на строй.

— Кто будет служить?

Полк молчал.

— Ну?.. Желаящие получают по двадцать пять рублей и сапоги.

Сквозь ряды пробился подошедший Алешка и кинул:

— Набавить надо!

Полковник крикнул:

— Ну, тридцать рублей!

Алешка бросил:

— Вот дурак, ваше благородие... Тебя разыгрывают... Тридцать рублей — по себе меряешь?.. Тебе чем дали, мелкими?

Немец спросил, о чем говорит солдат:

— Was meint er? Что говориль?

Полковник не ответил. Немецкая цепь подошла чуть ближе. Полковник заорал:

— Обращаюсь к старослужащим! Пусть говорят.

Орел шагнул... Ободранный и окровавленный штабс-капитан остановил его, вышел вперед и сказал:

— Вы подлец, Бутурлин.

Полковник еще раз крикнул:

— Так не идете?

Ермолай ответил:

— Нам домой.

Дышать становилось все труднее. Тревога росла в людях. Обезоруженным солдатам стали бросать лопаты. Немцы покрикивали и поторапливали. Ермолай сокрушенно сказал:

— Во, на работы попали.

Людей вывели к окраине села. Немецкие офицеры и унтер-офицеры коротко разметили, где рыть; и зна-

ками показали: «Копайте» Люди брались за лопаты, поплевав на ладони. Ивану Чортомлыку, который копал, подошедший Алешка кинул:

— Что, кумэ, накомандовал?..

Солдат только подавлено поник головой.

Рыли быстро, сильно. Большая канава — окоп — все углублялась. Люди утирали пот. Ермолай, увидев пришедших, заговорил:

— Ну, урок-от сделали, теперь чего ж будет, а? Орел?

Орел молчал.

— Чего молчишь? — спросил Ермолай тревожно.

Люди, кончив работу, стали огромным длинным рядом. Расстилались голые поля. Несколько деревьев стояло не遠деке. Было как-то трудно, и люди чувствовали это. К людям подошел полковник. Посмотрел на Орла:

— Становись на колени!

Некоторые солдаты испуганно переглянулись.

— Запевай себе отходную...

Лица у людей исказились, кто-то ахнул, несколько человек с испуга встали на колени и стали креститься. Становилось холодно. Дрожь и озноб пробирали людей. Полковник кричал:

— На колени!

Кто-то запел дрожащим голосом отходную, кто-то зарыдал. Тогда над полком загредел голос Орла:

— Встать!

Полковник:

— На колени!

Орел:

— Встать!

Полк вставал. Многие схватывали друг друга за руки, лица побледнели. В строю были и раненые. Алешка стоял рядом с Орлом и Ермолаем. Вытянувшись, стояли штабс-капитан и знаменщик. Орел кричал:

— Не покоряться!..

Алешка подхватил:

— Эх, и пропадать, так с треском!

В ту же секунду Орел крикнул:

— Бей подлецов!..

Солдаты хватали лопаты, камни, найденные в земле, иные с ног срывали сапоги, чтоб драться коваными каблуками; барабанщик с испугу забил поход, и полк кинулся вперед. В ту же секунду немецкие офицеры скомандовали своим людям:

— Feuer! ¹

У одного пулемета сидел немец — тот голубоглазый, который видел бой, видел оборону Соломона Боера. Он смотрел на русских пристально. Офицер двумя пальцами ударил его по плечу:

— Feuer, du!²

Солдат закрыл глаза и нажал спуск. Пулеметы били в людскую безоружную массу. Ермолай в исступлении и отчаянии закричал:

— Товарищ Ленин... Родимой!.. Прости!..

Пулеметы продолжали бить в людскую массу. Люди падали, вставали, ползли, закрывались руками, швыряли в противника лопаты, камни, все, что было можно. Иные зажмуривались, иные крестились. Орел стоял, к нему тесно прижался Алешка. К ним еще в последнюю минуту тянулись другие. Многие падали в вырытую яму. Упал штабс-капитан, унося на груди старое знамя. Пулеметы все били. Орел запел, глянув на Алешку: «Вставай, проклятьем заклейменный!» Песнь вспыхнула, взвилась, но ее быстро стали ссекать пулеметы. Люди еще шевелились в яме. На коленях полз какой-то раненый, он протягивал из ямы руки:

— Братцы, братцы, за что?..

Стрельба стихала. К яме подошли полковник и немцы. Полковник увидел раненого с протянутыми руками и сказал ему:

— На, на... землю! — и стал лопатой забрасывать шевелящихся.

— Да что же ты делаешь?! — Орел хотел вырвать у него лопату. Орла столкнули живым и тоже стали забрасывать землей. Раскинувшись, лежал убитый Алешка. Подняв лицо и глядя вверх, лежал опрокинутый Орел. Полковник посмотрел на него. Комья

¹ Огонь! (нем.)

² Огонь, ты! (нем.)

земли засыпали еще шевелившийся людей. Орел закрыл, потом раскрыл глаза. Земля засыпала его почти всего... Он глядел на полковника. Сбросили еще земли,— засыпали и его лицо... Поднялась рука Орла, пошевелились пальцы, сжались в кулак, и рука сделала несколько судорожных, неукротимых, страшных движений.

Было совсем тихо. Валялся скарб погибшего полка... Пемцы двинулись дальше. Впереди шел грузный немецкий офицер в шинели с меховым воротником. Все исчезало перед пришельцами. Полковник шел сзади, стараясь поспеть и указать путь:

— Извольте прямо, прямо.

Им попался навстречу древний севастополец-ветеран. Он стоял, опираясь на палку, и смотрел на проходивших. На старике был ветхий полушубок, его украшали потемневшие военный орден и несколько медалей. Немецкий офицер на минуту остановился и спросил:

— Wie weit ligt Petersburg? ¹

Полковник бросил старику:

— Спрашивает — сколько верст до Петрограда?

Старик смотрел спокойно, невозмутимо. Он ответил:

— А сходите, смеряйте.

Немец повернул голову, спросил:

— Was? ²

Полковник молчал. Старик сказал ему:

— А ты, сынок, видно, русской? Заведи-ка их в болото... заведи.

Полковник дернулся, посмотрел на старика и отошел прочь.

Крестьяне, озираясь, стали вылезать из изб и погребов. Они начали лихорадочно раскапывать едва заброшенную братскую могилу. Каркали вороны. Псы принялись к мертвым. Крестьяне и беженцы отогнали псов. Стали сбегаться дети. Они смотрели на непонятные дела взрослых. Крестьяне и беженцы рыли чем попало, молча вытаскивая тела, щупая их и осматривая.

— Есть живые!

¹ Как далеко находится Петербург? (нем.)

² Что? (нем.)

Из могилы сквозь пласт земли, которая шуршала и осыпалась, поднимался человек. Некоторые попятись. Это поднялся Орел. Он был бел, как мертвец. Его подхватили под руки... Девушка что-то говорила Орлу. Он склонился и опустился на землю. Рядом лежали мертвые тела. Старый еврей, не отрываясь, смотрел на мертвого Алешку. Он узнал солдата. Лицо смельчака было прекрасно. Великое спокойствие было на нем. Слезы катились по лицу старика... Кто-то стонал. Перевязывали Чортомлыка. Раненых поили. Орел опять открыл глаза. Он увидел склонившееся над ним лицо девушки, как в тумане, сквозь хаос... Орла и еще нескольких товарищей подняли и повели, поддерживая, среди мертвых тел. Девушка говорила:

— Товарищ... Это мы... я...

Орел отстранил ее.

— Противник где?

Крестьянин ответил:

— погоди ты, батюшка. Эх тебя придавило...

— Отойдет, здоровый...

Сходились мужики и бабы. Смотрели на оставшихся в живых и на убитых.

— Этак-то всех позакопают...

Крестьянин, ведший Орла, оглядел толпу и крикнул:

— А ну, зови на сход!

Орел как-то встрепнулся:

— Зовите, зовите!

Орел собирал все силы. Он спросил:

— Кого ж собрать можно?.. Участники пятого года есть?

— Есть кое-кто.

— Бывшие ссыльные есть?

— Илюхин вот, так он уже за городскими подался...

— Значит, людей мало?

— Ужо посмотрим, батюшка... Эй, давай, давай, мужики-и!

Крестьяне сбегались. При мертвых старались быть тише. Искрился снег на солнце. Сход начался.

— Так чего ж, домохозяева? В разор пойдем, што ли? Землю только получили и отдай? Немец, эвон, как глушит!..

— Немцу мир, а он с ножом!

— Чего ж делать-то?

— Одно остается... Мобилизовать возраста с восемнадцати до сорока пяти!

— Эй, ты, а кому сорок шесть, так уж и калека? — И, рассталкивая всех, вышел бородач.

— А кому сорок семь? — И здоровая баба отпихнула мужика...

Сход засмеялся.

— Ай, Агафья!

Орел, не отрываясь, глядел на крестьян. Баба крикнула:

— Без начальника-то куда мы? Кто может?

Молчали.

Крестьянин, поддерживавший Орла, спросил:

— Солдат, командовать сможешь?

Орел ответил:

— Смогу.

Тот же крестьянин крикнул:

— Сымай шапки!.. — И начал: — Мы всем народом... заверяем единодушно... в том, что стоять нам за истинную правду, за родную землю, за свои души и головы... за советскую власть и товарища Ленина, стоять сын за отца, брат за брата, русский за инородца... инородец за русского и умирать заодно...

Люди повторяли... На снегу недвижно лежали убитые.

Народ подходил с винтовками, с дробовиками, с какими-то старыми самопалами. У иных были топоры, у иных косы или вилы.

Крестьянин крикнул:

— Ванька!

— Я, тятя,— и парнишка лет пятнадцати подскочил к отцу.

— Гони по соседним деревням!.. Говори — поднимаемся...

В деревнях ударили в набат. Начинали бить в одной деревне, подхватывали далеко в другой, в третьей. Ванька погнал. Звон перекатывался повсюду. Люди, ведомые Орлом, спешили.

— Остановим, солдат, немца?

— Была б охота.

— А городские, питерские, подмогу дадут?

— За ними послано...

Люди спешили. На этой земле они знали каждую пядь ее и каждую травиночку. Народ этот жил на этой земле тысячи лет. Его тяжело и обидно оскорбили, его затронули... И народ начинал подниматься. Люди шли молча. Им встретился ветеран-севастополец. Он коротко сказал людям:

— Туда пошли,— и ткнул палкой в сторону, куда двигались немцы.

Иван Чортомлык, шедший рядом с Орлом, спросил тяжко:

— Полковника, дед, не видел?

— Там.

Орел и Иван Чортомлык обменялись взглядами. Крестьяне прибавили шаг. Шли ложбинами, кустарником. Преграждая немцам дорогу, крестьяне ближнего села открыли плотину. Холодная весенняя вода затопляла дорогу и поля. Немцы метнулись в сторону. Вода их настигала... Она поднималась все выше. Немцы задерживались упорно... Они спешили выйти к незалимым местам. Тут их настиг Орел. На немцев ударили внезапно, с тыла. Немцы успели повернуть пулемет — он забил, заклокотал. Орел распоряжался:

— Чортомлык, примешь влево, заляжешь с людьми и шуми «ура», лёжа... А я его с другой стороны ахну...

Чортомлык повел отряд.

— Эй, давай влево... пригинайся!..

Крестьяне залегали в цепь. Орел пробирался кустами... Пулеметчик был уже виден. Голубоглазый немец строчил. Послышалось «ура» — он повернул пулемет... Орел прыгнул.

— Не в ту сторону бьешь, камрад! — И рванул немца страшным рывком. Пулемет развернулся на снегу. Орел наложил кузнецкие свои лапы на руки немца и нажал на гашетки:

— Бей в эту сторону...

Атакующая крестьянская цепь ринулась вперед. Немцы отбивались с невероятным упорством. Их теснили. И тогда иные из них подняли руки. Наши схватили нескольких пленных, сгребли пулеметчика. Злоба

и удар крестьян были стремительны. Надо было на ком-то сорвать гнев поднявшейся страны. Пальцы бойцов впились в ворота пленных. Отлетели пуговицы, затрещало и лопнуло мокрое сукно. Почти огоренные, на холоде, дрожа стояли пленные немцы. Кто-то кричал:

— Руби их!

Топоры взлетели вверх. Орел заслонил пленных от толпы:

— Пленных щадить!

Кто-то еще закричал:

— А с нашими что делали?

Орел ответил:

— Это пленные, подневольные... Что с них, темных европейцев, взять?

Пленные стояли, ничего не понимая. Впереди стоял голубоглазый немецкий пулеметчик, который видел год назад атаку русских, видел и расстрел делегации, и гибель еврея, и гибель полка. Он смотрел на русских, потрясенный и смятенный. Орел поправил на пленных одежду, похлопал их по плечам: «Эх, камрады!..»

Иван Чортомлык допытывался у пленных:

— Полковника, русского, видели? — И он пытался жестами объяснить про полковника.

Голубоглазый немец растерянно и виновато улыбался.

— Ich verstehe nicht...¹

К Орлу подбежал какой-то парнишка.

— Эвон опять немцы идут... Во жмут!

Орел посмотрел на парнишку, усмехнулся:

— На то и враг, чтоб жать... А мы держаться будем. Повтори, малец!

— Держаться будем...

— Ты чей?

— Тяткин.

— А тятка где?

— Тута воует.— Парнишка показал на отца.

Стало слышно приближающееся немецкое «ура». Орел хлопнул паренька по плечу:

¹ Я не понимаю... (нем.)

— Ложись, малец... — И подал команду: — Стрелять не торопясь, пленных в тыл...

Крестьяне лежали в цепи. Отец обучал сына, как заряжать винтовку.

— Эвон раз — открыл затвор, обойму разом утопил — два... вот так... затвор послал — три, прицелился не торопясь... Эвон вон бежит... — Отец прицелился и шагов за четыреста снял немца. — Понятно?

— Понятно, тятя...

— Да ты не торопись, ну...

Немцы наступали все упорнее. Крестьяне лежали, отстреливаясь и не отходя ни на шаг. Только временами было слышно: «Держись, мужики!» Немцы шли остервенело. Цепь держалась едва-едва...

Лощиной, проваливаясь в снег, укрыто подходил к месту боя Илюхин. Он вел новую часть, подоспевшую из города. Пришли отчаянные петроградцы.

— Кто начальник боевого участка?

Подошел Орел:

— Илюхин, здравствуй.

— Держитесь?

— Вашими молитвами.

Орел усмехнулся. Один молодой командир заторопился:

— Ну, мы сейчас двинем.

Орел посмотрел и сказал:

— Никуда вы не двинете, а будете в моем резерве.

— Ты тише. Нас послал...

— Вот он вас и посылал дело делать... Товарищ Илюхин, план есть...

И Орел крикнул Чортотмыку:

— Пускай наши помалу отступают, якобы не могут, понятно?

— Понятно.

— И пускай на нас, на нас навлекают. Понятно?

И Орел, усмехнувшись, обернулся к молодому командиру:

— А теперь приготовимся.

Крестьянская цепь отходила медленно, огрызаясь. Чортотмык командовал:

— Не торопясь, дядьки, не торопясь...

Какой-то озорной парень кричал:

— Ух, немцы, ух, боюсь! Ух, страхи!..—и стрелял весело, не торопясь.

Немцы поднялись еще раз...

Резерв стоял, скрытый лесом. Немцы обрушили огневой вал. Кто-то охнул, раненный. Орел зашипел:

— Стоянки не выдавать. Мри молча...

Снаряды кромсали людей. Люди умирали на месте без стонов... Раненых закрывали с головой, в снег... Шквал прошел. Стало еще сильнее слышно немецкое «ура». Люди требовали от Орла:

— Товарищ, пора!

Орел ответил:

— Тихо...

Люди стояли наготове, трясаясь от возбуждения. Один из петроградцев еще раз сдавленно захрипел Орлу:

— Товарищ, пора!

Ответил Илюхин:

— Когда придет пора, будет подана команда... А нервных — к фельдшеру.

Клич немцев нарастал. Мимо резерва стали пробегать крестьяне. С ними шел и озорной парень. Он подмигнул Орлу:

— Стараемся!..

И в нужный момент, внезапно и стремительно ударяя противника во фланг, кинулись петроградцы — коммунистическая пехота. Она атаковала молча. Железо блистало. Немцы были опрокинуты. Их гнали к селению. Они пытались задержаться в канавах, у заборов. Петроградцы перемахивали через канавы. Целыми отделениями и взводами опрокидывали заборы и сшибали ворота. Кипело все селение. Люди выбивали оттуда немцев. Женщины выплескивали на них кипяток. Псы срывались с цепей и кидались на преследуемых. Стоял грохот и дым. Петроградцы ползли по крышам, швыряя гранаты. Немцы подожгли селение. Они думали укрыться за дымом и огнем. Кто-то закричал:

— За огнем уйти хотят!

Орел крикнул:

— Не уйдут! За мной!

За Орлом ринулись добровольцы. На бегу Иван Чортомлык кричал Орлу:

— Полковника не видел?

Орел отрицательно мотнул головой. Селение пылало. Черный дым стлался по снежной земле. В пламени отстреливались последние немецкие пулеметчики: Горели их шинели, волосы, лопалась кожа, они еще продолжали стрелять.

Покрывая грохот, Иван Чортомлык вдруг страшно закричал:

— Полковник!.. Бэрыть его!..

Кто-то вскинул винтовку. Иван Чортомлык отбросил его:

— Та шо ты! Живьем заберэм!

Полковник отстреливался мрачно и спокойно. Его окружали со всех сторон. Он свалил несколько человек. Рядом с ним еще держались два немца. Их оглушили. Полковник был взят. Перестрелка кипела, но люди собирались, не обращая ни на что внимания. Стояли пленные. Среди них был седой, небритый, всклоченный, усталый и похудевший полковник. С него сорвали погоны. Полковник молчал. Крестьянин сказал:

— Русскую-то форму сними, негоже тебе.

Полковник стал раздеваться. Он стоял уже без шапки, рубаха была расстегнута на груди. Крестьянин сказал:

— И крест-от сыми...

Полковник отдал нательный крест.

Орел обвел людей взглядом:

— Ну, что ж, говорить не о чем, пускай сам говорит.

Полковник поглядел на людей, на бойцов-большевиков, на крестьянское ополчение.

— Нечего мне вам говорить.

— А ты все-таки скажи, кто ж ты под конец получаешься?

Полковник помолчал, потом сказал:

— Повторять вам? Нечего мне вам говорить.

Орел спросил у людей:

— Кто желает что-либо сказать?

Люди молчали.

Иван Чортомлык сказал:

— Тогда от невинно погибшего полка прошу у мира — разрешите мне совершить справедливость...

Крестьяне и бойцы переглянулись. Один из старейших крестьян ответил:

— Дозволяем, иди.

Иван Чортомлык сказал изменнику:

— Пойдем, пожалуйста.

И солдат пошел с изменником в сторону. Солдат на ходу вязал петлю и говорил:

— Был полк, и будут полки... И народ был, и будет вечно, а вас уберем...

Подходили все новые и новые части. Пленные немцы стояли на обочине. Мимо них шла людская лавина необозримой, подымающейся России. Русские бросали на ходу немцам: «Жарко? А?» Конвойные спрашивали идущие части: «Откель?» — «Новгородские...» Наши давали немцам закуривать: «Не бойсь, камрад!.. Валяй, крути, махорка называется. Вас ист дас махорка, а?» Пленные немецкие солдаты брали табак, закуривали. Пленный немецкий офицер что-то коротко вполголоса сказал своим солдатам. Голубоглазый пулеметчик крикнул на добром берлинском диалекте:

— Убирайся к чертям! Что вы нам о них врили! Это же хорошие парни! — и ударил офицера по лицу, сбив с него фуражку.

Новгородцы заорали:

— Давай, паря, крой!..

И группа пленных немцев кинулась вместе с русскими.

Лавина нарастала. Движение ее ускорялось. Еще никогда вооруженные силы страны не двигались с такой стремительностью и быстротой. Идущие кричали:

— Прибавь шаг!.. Немцы за реку уходят!

— Уходят? Это плохо, если уходят, надо, чтобы никто не ушел!

И движение становилось вихревым. Преследовали яростно. Шли сквозь западный, сырой ветер... Впереди всех — отряд Орла... Оттепель размывала поля и дороги. Не обращали внимания ни на какие препятствия. Спускались с берега тысячами. На потемневшей, вздувшейся реке уже начинал ломаться лед,

— Э, уйдут!..

Орел поглядел вдаль на уходящего противника.

— Не уйдут, вперед!

— Куда ты?..

Орел упрямо спускался на лед. За ним пошли другие. И новые полки, рожденные страной в несколько страшных часов и дней, пошли по шипящим и движущимся льдинам. Вода бурлила. Спускались в реку бесстрашно. Россия принимала вызов... «Социалистическое отечество в опасности!» Немецкие пленные; влившиеся в русские ряды, добежали до реки, поглядели одобрительно, кивнули головами и кинулись тоже на лед и в воду.

— Vorwärts, Genossen! ¹

Голубоглазый немец показывал рукой вперед и спрашивал:

— Nach Deutschland? ² На Германия?

— Давай, давай, камрад!

И шла тяжелым шагом своим русская пехота, в крови и истории своей хранившая битвы и победы на Неве и Чудском озере, победы Куликова поля, битвы в Ливонии, на Волге и на Днепре, битвы Урала и Сибири; пехота, хранившая победы Москвы над панами, победы Петра — Лесную, Гангут и Полтаву, суворовский Измаил и Треббю; пехота, дважды бравшая Берлин, знавшая Бородино и Севастополь... Шла пехота народа, который веками мятежно гремел, добывая себе и другим свободу и не отрекаясь от нее ни на плахе, ни на костре. Шли праправнуки Степана Разина и Пугачева, шли потомки декабристов, шли братья Коммуны, шли люди, которые в огромной истории своей пережили и поражения, для того чтобы больше их не знать. Шел здоровый народ, народ-страстотерпец, народ-победитель, великий и гениальный.

Действующая армия, 1917 г. — Москва, 1937 г.

¹ Вперед, товарищи! (нем.)

² В Германию? (нем.)

ВОСПОМИНАНИЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

(1914—1921 гг.)

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА

(1914—1917 гг.)

Берусь за воспоминания спустя тринадцать лет после начала войны. Я трижды задумался бы и, может быть, не стал бы их писать, если б не счастливая находка 11 сентября 1927 года. В мои руки случайно попали все мои дневники, записки, письма и т. п. периода 1914—1915 годов. Я думал, что они погибли. По ним, тщательно выделяя, без «корректур», все, что заслуживает внимания, я буду писать свои воспоминания. Для себя и для тех, кто, может быть, интересуется материалами эпохи, событиями, настроениями 1914—1917 годов, я каждый раз буду выделять подлинные тексты того времени.

Что было, то было. Здесь важна подлинная война, ее фотографии, документы, подлинные наши тогдашние настроения, быт.

Поэтому я сохраняю в неприкосновенности старые записи, сделанные мною в пору ранней юности. Я ведь начал военную службу четырнадцати лет.

* * *

От детских увлечений «солдатиками» я в период отрочества перешел к более серьезному ознакомлению с военным делом. Массу читал, перемежая истории войн с фантастикой Жюль Верна, Фенимора Купера, А. Жаколио, Буссенара и др. Я отлично знал историю фран-

пузских юных добровольцев, дравшихся против англичан во время бурской войны (прочел я ее примерно в 1911—1912 годах); севастопольская эпопея волновала и восхищала меня,— я закрепил ее в памяти батальным представлением в театре Народного дома и панорамой «Оборона Севастополя» (Невский, 100) — Нахимов, Лазарев, Корнилов, матрос Кошка!

Помню Суворовский музей, у стенных мозаик которого я подолгу простаивал, впившись в тонкое лицо полководца; помню церковную тишину музея, реликвии древних походов.

Тщательно, с охотой копировал я батальные картины, портреты полководцев.

Как упивался я красотой Петровского времени!.. Портрет Петра! Я не мог оторваться от лика ужасного и прекрасного. История России, которую мы изучали в гимназии, иллюстрировалась замечательными наглядными пособиями — экспонатами музеев, художественными изданиями. Мальчишеский взор останавливался на всем военном — Ермаковской пищали, пушках, выписанных с исключительной точностью Верещагиным, прелестных рисунков, виньеток и заставок Самокиша... А живопись Детайля! В слабых детских копиях я изощрял глаз на распознавании деталей форм и оружия. В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, погоны, значков, узоры муаровых лент, особенно моих любимых — Георгиевских...

Вполне понятно, что постоянное сосредоточение на военных сюжетах отражалось на складе мышления, на характере занятий, игр.

Помню, как первый или один из первых русских воздушных кораблей пролетел однажды над нашим домом. Мы, ребята, до хрипоты кричали «ура» и неистово махали платками, шапками. Мы блаженно приобщались к военным диковинкам.

Однако у меня хватало желания и времени отдаваться и другим делам. Я вдруг мог пережить пейзажистскую лихорадку: копировать Шишкина (я рисовал с детства), простаивать часами перед Левитаном, Борисовым, Крачковским... Ходил рисовать к художнику

Эберлингу. Многие рисунки той поры уцелели. Я любил магазины гравюр и эстампов на Владимирской и на Литейном, на Морской.

Много и без разбора жадно читал; увлекался роликами, борьбой; делал какие-то раскопки, составлял гербарии, играл в футбол, собирал марки, монеты и т. д. Узким военным фанатиком я не был; «кадетской» ограниченностью не страдал.

Мне удалось до войны несколько раз побывать в гвардейских егерских казармах, но я не пристрастился к муштре. Я жил в мире литературно-историческом. Военная «проза» отталкивала меня. Казармы не увлекали. Я не заявлял о желании итти в корпус. Напротив, если бы я попал в корпус, должно быть я сбежал бы. Режим нашей гимназии (1-й Санкт-Петербургской) и тот тяготил меня. Я постоянно был в опале. Директор фон Вотнек, холодный немец с двумя парами очков, не выносил меня и постоянно делал мне замечания. В гимназии дисциплина была суровая. Отклонений не позволяли даже в мелочах; форма блюлась строго. Ясно и просто внедрялась история государства Российского, которую я принимал без тени недоверия.

Но я читал больше, гораздо больше, чем требовал курс. Выкапывал где-то старинные хрестоматии (Галахова и др.), с выцветшими, пожелтевшими страницами и чьими-то давними пометками. Помимо хрестоматии Галахова, с карамзинскими выдержками, «Юрием Милославским»¹ и т. д., помню Иловайского, которого я читал, не удовлетворяясь рекомендованным учебником.

Мне нравились преображенцы и саперы — громадные стриженные люди в круглых, набекрень, бескозырках; часовые у полосатых будок в чудовищных шубах и папах. Я часто ходил в Таврический сад, мимо казарм, и всегда поглядывал на солдат... Первая военная песнь, которую я услышал, была «Солдатушки, бравы ребятушки...» Пели ее с крепкими ударами: «Сабли востры, вот где наши сестры...»

¹ Роман М. Н. Загоскина.

Встречал на Таврической отменно бравых, увешанных медалями усатых унтеров, фельдфебелей и завидовал их боевым наградам.

Часовые у Аничкова дворца — бесстрастные и замечательные своей выправкой — поражали меня.

Помню открытие памятника Александру III... Войска, войска... К нам во двор забежали солдаты и весело кричали «рямо — риво» (прямо — криво). Солдаты были в ловко подвернутых башлыках, туго подпоясанные, одинаковые.

Постепенно расширялся и район моих «обследований». Я попадал на набережную. У Александровской колонны мое внимание, конечно, привлекал гренادر Золотой роты — роты седых ветеранов.

Гимназия — почтенная, старейшая, с чинностью строжайшей, классическая — пропитывала нас русским «патриотическим» духом. Ежеутренняя молитва в громадном великолепном актовом зале, со стен которого глядели на нас императоры, собирала до девятисот человек, замиравших в ровных шеренгах. Строги и застегнуты на все пуговицы педагоги. Когда пели гимн — все торжественно замирали.

В актовом зале гимназии меня тянуло к «римской фаланге», к портретам героев 1812 года; в Эрмитаже — к вещам того же военного типа. В музее Александра III я упивался картинами Верещагина. Во время летних каникул на взморье я вдыхал аромат средневековья в Рижском музее при Дом-кирхе. Рыцари в латах и бесконечные витрины с оружием останавливали меня. На Литейном я шел к пушкам у неведомого мне здания, впоследствии оказавшегося Главным артиллерийским управлением. Словом, я военизировался непрерывно и длительно.

Сколько воспоминаний всплывает! И пережитое лично и «истории седые». Я думаю, что только столица могла дать эту интенсивность моих восприятий в области военной истории и вообще всего военного.

Мой мир становился миром боевой романтики, подвигов, славы.

Мой интерес к морю был связан с частыми поездками на побережье; с увлечением прекрасными картинами художника-мариниста Бегрова (я просиживал вечера над рисунками на морские темы); с чтением морской литературы.

Не помню точно, когда я прочел «Фрегат «Паллада». Вещь заинтересовала меня; потом читал запоем Станюковича. Я не собирал книги, но, прочтя Станюковича, отправился в магазин на Александровский рынок и купил полное собрание его сочинений. Галерея типов русских моряков, дореформенный флот — оставили глубокое впечатление. Вероятно, это и был период максимального интереса к морскому (до войны).

Бывал я и в Морском музее. Раз ухитрился попасть на итальянский военный корабль «Этна», пришедший в Санкт-Петербург и стоявший у Николаевского моста. (Кто мог знать, что в 1920 году я буду встречать этот корабль в Новороссийске как красный командир!) Я любил носить военную морскую форму. Помню свою ленточку «Россия» и кокарду.

Можно с усмешкой смотреть на все это. Но нужно ли? Все было тогда серьезно по-детски и повело по серьезным путям. В 1914 году я уже был во многом взрослым.

Я думаю, что этих вступительных страниц уже достаточно для того, чтобы были понятны пути, приведшие меня на фронт.

* * *

Лето 1914 года мы проводили на Рижском побережье, в Карлсбаде¹. Отличная, здоровая местность посещалась главным образом петербуржцами, москвичами и рижанами — людьми среднего достатка, без особых претензий. Было по-дачному просто. В соседних курортах — Майоренгофе, Эдинбурге — жил «бомонд»; там царили чопорность, светскость, давил этикет... Бывая там, я

¹ Ныне — Мелуж.

замечал все это, но еще сильнее я чувствовал национальные расслоения: русские, немцы и латыши были в значительной мере изолированы друг от друга.

Война для нас была полной неожиданностью. Телеграммы, приказы о мобилизации — оглушали. Началось паническое бегство дачников. С моря ждали немецкий десант. Устраивали патриотические манифестации. Молодежь кипела. Как будто были стычки с местными немцами. Пляж пустел. А море было все такое же — ласковое, теплое.

Явилась пехота (Ржевский полк) и заняла берег. На пляже, в жару, начались занятия с запасными — крепкими большими прибалтийцами. Они неуклюже, в новых сапогах и суконном обмундировании, делали перебежки, рыли окопы на дюнах. Пустое занятие, так как песок засыпал эти окопы очень быстро. Покрикивали офицеры и унтера. Мы, мальчишки, ходили за ними следом, всем своим существом заявляя о готовности к услугам. У курзала мы задержали какую-то даму, приняв ее за шпионку.

Мы дневали у солдат. Я познакомился с пулеметчиками. Было много разговоров, посвященных войне.

Из Риги доставляли газеты. Боже, как рвали их из рук газетчиков! Какой неистовый восторг вызывала заметка о «победе» какого-нибудь казачьего разъезда на границе! Как внимательно изучали географические карты...

Нарушение обычных порядков для нас, мальчишек, было необычайно интересно. Мы безнаказанно посещали чужие сады и дачи, покинутые их обитателями. Мы делали набеги на местные немецкие огороды и фруктовые сады, находя это нужным и оправдывая себя.

Мы, мальчишки, уже нарушали нормы дозволенного — топтали в садах клумбы, к чему-то ломали заборы. Распорядок дня был сбит, хотя некоторая видимость его еще соблюдалась.

С дюн мы глядели на море. Хотелось увидеть немец-

кий флот. Ну, пусть же придет он, пусть будет бой, высадка десанта. Мы будем помогать солдатам... Мы можем подносить патроны, ходить в разведку, доставлять рапорты. Я, например, без труда бегаю в Ассери и обратно, а это несколько верст. Но немецкий флот не приходил. Ночами по морю скользили лучи прожекторов Усть-Двинской крепости. Было дано распоряжение о затемнении окон с наступлением сумерек. Я уверял своих товарищей, что я — моряк и обязан явиться на свой корабль. Вымысел сплетался с нарождавшимся желанием быть участником войны. Вскоре, несмотря на протесты родных, я убежал на маленькое посыльное судно, где и прослужил юнгой около месяца.

Но флот бездействовал, и мне было скучно.

Пустынный берег, тьма, шум прибоя. Курортники бежали с побережья, но моя семья из-за меня еще оставалась. На дюнах продолжали рыть окопы. Всюду лихорадка войны...

Рига была взбудоражена, на вокзале скоплялись потоки людей. Всюду военные... Разные слухи... Эшелоны, идущие к передовым позициям...

В конце августа приехал отец и настоял на моем возвращении в гимназию. Мы покинули Рижское взморье и вернулись в Петербург.

* * *

Возобновление занятий в гимназии заставило вновь подчиниться дисциплине. Однако ничто уже не могло направить ход моей жизни по прежним путям. Война!

Я бегал на Варшавский вокзал смотреть на первые прибывающие партии раненых из состава армии генерала Самсонова. Мы еще не знали о том, что произошло с этой армией, но слухи о поражении под Сольдау ползли. У вокзала, в солнечный день — толпы встречающих. Выходили раненые. Вид их заставлял впервые почувствовать подлинную сущность войны... Пятна крови на бинтах; грязные, мятые шинели... Вот солдаты из

3-й гвардейской дивизии. Нет и следа прежнего блеска — они запылены и устали.

В лазарете на Фонтанке работала моя мать. Я часто бывал там, перезнакомился с ранеными, слушал их рассказы — незатейливые, но интересные. И мне так хотелось самому пережить то, что пережили они.

Вот передо мной самодельная моя тетрадка-дневник на 1914—1915 годы. На первой страницекороткая запись: «18 декабря, четверг, удрал». Ниже: «19-го, пятница, вернулся».

Я решил удрать с эшелоном 7-й автомобильной роты, — мобилизованный шофер, живший в нашем доме, обещал меня спрятать в машине. Но в последнюю минуту он отказал мне. Я проклял шофера и пошел пешком по шпалам. Была ночь. Я шел упорно и шел бы, пока хватило сил. Но у первого же моста — силуэт часового. Ничего не выйдет!.. Вынужден был вернуться.

Сколько планов было в моей голове! Как всепоглощающая была мысль о побеге! Вот наброски в дневнике, свидетельствующие о подготовке к побегу:

«В час — три-четыре версты. С 6-ти до 1 часу — 7 часов; с 6-ти до 1 часу — 23 версты; с 2-х до 9-10 — 23 версты; 46 минус 5 равно 41 максимум, 30 минимум. В общем — 38—40 верст в день сначала, затем — 35 верст и 30».

Это подсчет: сколько верст можно пройти в день, — но я увлекался, так как делать в день по 30—40 верст без подготовки, без *тренировки* было для четырнадцатилетнего многовато.

Вот еще записи: как связывать веревки, как устроить походный подсвечник, как готовить кашу, щи, как печь хлеб и т. д. (Каждая запись сопровождается в дневнике соответствующим точным рисунком.)

«Спечь хлеб. Мука плюс вода плюс дрожжи — получить тесто. Надеть кусок на палку и поджаривать».

Изображена палка с куском теста и костер.

Тщательно выписаны меры длины — версты, сажени, аршины, километры, метры и сантиметры и т. д.

Вот графа — «Мои сбережения»:

«19 сентября 13 копеек, 21 — 16 к., 22—2 к., 23—4 к., 24—1 к., 25—2 к.»

Упрямое собирание копеек: сэкономлено на тетрадке, газете, булке, чае — для побега.

Вот список нужного снаряжения:

«Ранец—сошью (зачеркнуто)¹ — есть. Ремень — есть, свитер — есть, солдатская рубаша — есть, фуфайка — есть (зачеркнуто)² — не надо, нож финский — куплю. Солдатские походные брюки — есть».

Рядом с записью — черновой набросок предполагаемого маршрута Петербург — Сувалки. Как будто я намеревался пробраться именно в Сувалки. Вторая карта (тщательно мною нарисованная) дает параллельный железнодорожный путь на русский Западный фронт.

Дальше — аккуратнейший подсчет расстояния от Петербурга до Двинска — 497 верст. Вычислено расстояние между всеми станциями; затем — расстояние до Вильно, Гродно, Сувалок. Подчеркнуто: «Петербург — Сувалки — 331 верста»; намечены варианты: Вильно — Варшава. «До Варшавы — 1073 версты по железной дороге, по шоссе и дорогам — 1150 (приблизительно)». Ниже вариант: «Петроград — Ревель — Полоцк — Молодечно — Мосты — Гродно». Предусмотрен расход: «По 60—70 копеек за перегон Дно — Ревель» и т. д.

Записаны примитивные метеорологические примеры, приметы для ориентировки (алтари на восток) и т. д.

Встречаются бюджетные выкладки:

¹ Так в рукописи «Мои воспоминаний».

² То же.

«Нива» прилож. 1911 года, 50 к. в кассе, 5 к.
Жорж, брюки старые, книги разные... карты
Боре по 5 к.»

Насколько помню, это подсчет от реализации
брюк и т. д. — для побега.

Первая неудача не останавливала меня. Ждать я
не мог. Вот запись из дневника:

«5 ноября. Как много за последнее время пе-
ременилось у меня чувств и желаний. Но одно,
как яркий свет, стоит у меня весь день и ночь
у меня (повторение)¹ перед глазами: итти на
войну. Да! Как легко сказать — итти на войну!
Итти — а вот пойдн.

Борька П. скрылся в воскресенье в послед-
них числах октября. Неделю его не было. В среду
или во вторник, 3—4 числа, вернулся из-под Су-
валок. Не мог попасть! Надо бумаги.

Эх! Пустил бы отец меня, да-к без Георгия не
вернулся бы. Война! Война! Может быть, мне
хочется страшно туда — испробовать войны, но
если попаду на войну, то захочу попасть домой!
Все может быть. Бабушка правильно говорит
мне о войне. Но все-таки мне хочется, хочется
туда. Все, кажется, бы отдал, чтобы попасть туда...

6 ноября: решение вопроса — итти на войну
или нет — явилось скоро. Кончу 5-й класс и вес-
ной, после экзаменов, уйду на войну или, если она
кончится, пойду на лето путешествовать...

27 ноября. Войска наши очистили Лодзь?
Сербы одержали здоровую победу!»

Сколько проектов, какая борьба «здравого смысла»
с замыслами о побеге. А не сфальшивил ли я, говоря
о справедливости бабушкиных слов. Пожалуй, сфаль-
шивил. Подготовку вел, нужные вещи уже имел и пря-
тал их, жадно следил за событиями на фронте, изучал
карты, знакомился с военной терминологией. Вот

¹ Так в рукописи «Моих воспоминаний».

закладываю

вещи.



Всем закладываю-будет впереди.

Влад. Писит - дрозды.

Роса и тумане рано утром - кь лесам.

покажу. Давид даю - дрозды будения или вьш.

свободь.

задание

заказ

свободь

Нико прилет. 1911 года

50 к. вь камен

5 п. Жертов

брюки отары

линии разны

пушки

ада нады

Карта Горь по 5 п.

69 п

Петроград разномасный

отъ нем. дым до ур. Лат. в Невском

135-40 сажен.

отъ нем. дым до ур. Невский и

Куров

500 саж.

отъ нем. дым до Глав. Штаба

Верхот 165 сажен.

отъ нем. дым до нем.

16. 293 сажен

у Вара вокзал 4 верста 73 сажен.

по дороге т. рива.

Мой дневникъ.

5^{ое} ноябрѣ. Какъ много за послѣднее
время переживаю у меня
чувствъ и желаній. Но одно
какъ яркій свѣтъ стоитъ
у меня вѣсѣ дней и нѣтъ у
меня передъ глазами: идти
на войну. Да! какъ легко
сказать: идти на войну!
идти - а вѣтъ побѣды.

Горька Н. сарылся въ воскр.
въ посты. шелехъ октябрѣ.
недолго со небо. Въ среду
или во втора. 3-4 шеле
вернулся изъ подъ Субалокъ.
не мой понаемъ! не
бураси.

Же! Пусть же отецъ мой
да же братъ Георгій не вернулся
да. Война! Война! Можесть
боже мой хочется стремно
туда испробовать война

несколько записанных немецких фраз: «Abendbrod» — «ужин», «Kopfab schlagen» — «отрубить голову» (?) и т. д.

К началу декабря мои средства были довольно ограниченными — что-то около десяти — пятнадцати рублей. В дневнике записано:

«10 рублей в кассе, 3 рубля — у бабушки и 1 рубль на книжке кассовой лежит».

Больше в этом дневнике записей нет.

В декабре я сосредоточенно и конспиративно готовил второй побег. Созрел четкий и обдуманный план: на праздники взять в гимназии, без ведома родителей, отпускной билет в Польшу, к мифической тете, которая проживает под Варшавой. Заручившись документом, открывавшим путь к самой полосе фронта, бежать, никого не предупреждая.

Занятия шли своим чередом. Я не манкировал. Передо мной лежит работа по французскому языку от 10 декабря 1914 года.

Все было сделано по плану, расчетливо и спокойно. Отпускной билет я получил, ничем не выдав в канцелярии обмана. А могло все сорваться — достаточно было в гимназии кому-нибудь из учителей для проверки позвонить отцу по телефону.

* * *

Вот запись о побеге, сделанная по воспоминаниям, уже в тетради 1915—1916 годов.

1) «...Настал сочельник, я решил уйти на вокзал и уехать... Куда? Конечно, в Варшаву, а там уже доберусь и до позиций. Ладно. Решено. Я взял легкое одеяло и ранец и второпях не захватил белья. (Примечание: мое снаряжение было незаметно изъято из моего «тайника» родителями.) Было поздно, когда я приехал на Варшавский вокзал. Билета не достал и решил ночевать тут

же. Забравшись в укромный уголок, положил под голову вещи, заснул. Утром, проснувшись, стал в очередь к кассе и после долгого ожидания купил билет до Ивангорода. Поезд отходил в двенадцать часов.

Пройдя с решительным видом мимо жандарма, я вышел на платформу. Публики было много. Масса солдат, ехавших также на позиции, толпилась в ожидании поезда на перроне. Наконец поезд подали, и я, забравшись в вагон, отыскал себе место и расположился. Раздался второй звонок. Вагон был набит битком. Публика разместилась в проходах и на полках. Дали третий звонок, и поезд тронулся. Я огляделся и заметил, что моим соседом был один довольно молодой чиновник, читавший какой-то журнал. Остальные — почти все солдаты. Прошел контроль, и, к моему счастью, меня никто не спросил, зачем и куда я еду.

Вечером поезд подошел к Пскову. Я вышел из вагона. Было темно, снег падал хлопьями. Солдаты бежали с чайниками (в руках) за кипятком. На вокзале стояли часовые с винтовками. Всюду сновали носильщики с багажом в руках. Несколько сестер милосердия стояли у дверей и о чем-то громко и возбужденно спорили. Все говорило о войне.

Я вернулся в вагон, купив по дороге булок. Поезд тронулся, и под мерный стук колес я заснул. Когда я проснулся — мы подъезжали к Вильно. Та же картина: всюду солдаты, офицеры, сестры милосердия и охрана с винтовками. Чувствовалось, что уже теплее, и снегу было меньше. С песнями прошел эшелон сибирских стрелков. В косматых папах и теплых полушубках они производили приятное впечатление силы. Везли артиллерию; орудия, закрытые брезентами, стояли на платформах. Наконец тронулись. К утру или к ночи мы должны были приехать в Варшаву.

В вагоне стало свободнее, часть пассажиров высадилась в Двинске и Вильно.

Проехали Гродно и Белосток. Там пришлось долго ждать, пропуская воинские поезда. Веселые солдаты махали шапками и кричали «ура», и не верилось, что они едут умирать.

Пассажиры собирали свои вещи. Поезд подходил к Варшаве. Яркое освещенный вокзал был полон публики. С трудом протискавшись, я вышел на улицу. Было шумно, и я растерялся в незнакомом мне городе. Куда идти? Бродить по улицам ночью опасно: заберет патруль, и я пошел, куда глаза глядели: Проходя мимо какого-то сарая, я увидел надпись: «Этапный пункт». Я решил зайти. В дверях, сидя, дремал солдат, и мне удалось пройти внутрь. Огромный манеж был пуст, на полу валялась солома, и тускло светила лампа. Расположившись на соломе, я уснул крепким сном.

Проснувшись, я увидел массу солдат, пришедших, очевидно, ночью; одни спали вповалку на соломе, другие сидели и пили чай. Не замеченный никем, я улизнул из сарая на улицу. Рядом был православный собор. Я помолился и пошел по улице. Голод давал себя знать, и мне надо было чего-нибудь поесть. Я зашел в «цукерню». Несмотря на ранний час, все было открыто. Выпив стакан кофе и съев пару пончиков, превосходных сладких пышек, я купил папирос и вышел из кофейни. Денег у меня оставалось полтора рубля. Дней на десять хватит.

Веселый и сытый, я решил ехать в Ивангород. Но как попасть на вокзал? Вежливо спросил одного прохожего. «Идите прямо через Вислу и садитесь на трамвай». Такой ответ меня не удовлетворил: где искать Вислу и в какой сесть трамвай — я не знал. Но, не унывая, я пошел прямо и дошел до какой-то площади. Там снова осведомился у городского и, узнав, что мост недалеко, пошел дальше.

Вот и мост. Широкая Висла была покрыта льдом. На мосту стояли часовые и подозрительно осматривали публику: опасались шпионов.

Напустив на себя вид спешащего по делу человека, я прошел с важной физиономией мимо часовых.

По городу шли с песнями солдаты, мерно и гулко отдавались их шаги по мостовой. Был солнечный день. Наконец я добрался до Ковельского вокзала, который находится на окраине города. Пообедав сытно двумя пирожками в буфете, я вышел на платформу. Мой вид не возбуждал подозрений. Были праздники, и немало гимназистов ехало из Варшавы на каникулы».

С Ковельского вокзала я послал домой первое после побега письмо.

«26 дек. 1914 г. Поздравляю всех с праздником. Я сейчас на Ковельском вокзале в Варшаве. Приехал в Варшаву в 11 часов 25 декабря. Уехал из Петрограда в 1 час 24 декабря. В Варшаве 0 градусов, тепло. В 4 часа поеду на Ивангород.

Воля».

Мать сохранила часть моих писем с фронтов империалистической войны. Но вернемся к рассказу.

«Поезд до Люблина отходит в час дня. Пришлось немного подождать. Наконец поехали. Мы едем по мосту через Вислу и быстро несемся к Ивангороду. Станции мелькают одна за другой. Несмотря на декабрь, было тепло, солнце ярко светило, снег стоял и прошлогодняя травка зеленела на полях. Совсем весенняя картина. В поезде ехали солдаты, возвращавшиеся с родины к своим частям.

Тут в дело вмешался случай, могущественнейший случай. Разговорившись с одним из солдат, я узнал, что он из Егерского полка. Я вспомнил, что в этом полку служит мой знакомый, капитан Василий Иванович Бутенко. Из рассказа моего спутника я узнал, что капитан произведен в полковники (в гвардии не было чина подполковника) и за все бои он ни разу не был ранен. В моей

голове мелькнула мысль, что недурно было бы отправиться к полковнику, — авось примет. И с невозмутимым видом я врал солдату, что еду к полковнику в гости. Солдат проникся уважением ко мне и сказал, что нам по пути. Отлично! Но полк стоял за Радомом, а билет у меня был лишь до Ивангорода. Я, не долго думая, при пересадке на другой поезд залез под лавку. Солдат был удивлен, но молчал и даже содействовал. Хотя под лавкой и было неудобно, но ведь еще неудобнее и неприятнее было бы иметь дело с контролем и с жандармами, — и я решил терпеть. Прошел контроль. Видя, что в вагоне почти одни военные, не стал спрашивать билеты. Я вылез из-под скамейки и сел к окну.

Мы ехали холмистой местностью. Были хорошо видны следы осенних боев (фраза зачеркнута)¹. Окопы, размытые дождями, воронки от чемоданов и гранат, проволочные заграждения, сожженные деревни, разрушенные телеграфные столбы... Деревянные мосты из шпал, взамен взорванных австрийцами железных, были построены на всем протяжении дороги.

Станции были разрушены, и служащие жили в вагонах. Развороченные водокачки и депо ясно говорили о происшедшем отступлении неприятеля. Вокзал в Радоме уцелел, но все мастерские были взорваны, и груды кирпича и железа лежали на их месте.

На вокзале не было той оживленности и толчеи, как в Вильно и Варшаве. Стоял часовой и несколько жандармов. На платформу выгружали снаряды. У решетки сидели пленные австрийцы и благодушно посасывали трубки. Где-то играла гармоника. Оторвавшись от созерцания этой картины, я обратился к моему спутнику и сказал, что пора идти. Путь предстоял небольшой — через город и затем всего пятнадцать верст по хорошему шоссе».

¹ Так в рукописи «Моиx воспоминаний».

Вспоминаю один случай перед уходом. Я собрал выписавшихся из лазарета выздоровевших гвардейцев и объяснял им путь на Едлинск. Кто и когда уполномочил меня на это — не знаю. Может быть, собственная переполненность энергией, возбуждением от близости фронта...

«Мы с солдатом прошли через город. Небольшие улицы с двух- и трехэтажными домами, сады, тротуары, обсаженные деревьями, скамейки — все это производило иное впечатление, чем Варшава.

Выйдя на шоссе, мы пошли быстрее. Нескончаемые обозы тянулись по дороге. Ехала, громадная, польская фурманка с фуражом. Я снял шинель (зимнее гимназическое пальто) и, подвязав ее поудобнее, зашагал по краю дороги. Встречались в пути деревни, по улицам шныряли собаки, валялись в грязи свиньи. Мальчишки бегали и звонко кричали. Какая-то баба брала воду из колодца...

Пройдя деревню, мы остановились и прилегли у канавы. Отдохнув минут десять, мы поднялись и пошли дальше. Навстречу попался казак, смешно размахивавший пикой на ходу. Мы его спросили, не знает ли он, где наш полк. (Я пишу уже «наш полк».) «А бог его ведае», — ответил казак и, ударив нагайкой лошадь, поехал дальше.

Уже темнело, когда мы подходили к другой деревне. Красный закат освещал избы и деревья. Направо от деревни шла проселочная дорога. Мы пошли по ней дальше. Быстро спустилась ночь. Стало темно, и мы, часто спотыкаясь, падали в дорожную грязь.

Вдали мелькали огни какой-то деревни и слышно было, как, заливаясь, лаяла собака. Мы прибавили ходу, зашагали к деревне. У околицы стоял часовой (дневальный). Мы бросились к нему и спросили, какой полк расположен в деревне. Невозможно передать мою радость, когда я узнал,

что это и есть Егерский полк. Но где искать полковника? Пойду дальше! Мимо ехал пан на фурманке. Лошадь быстрой рысцей бежала по грязи по краю дороги. Я вскочил на повозку; возница, не видя меня в темноте, спросил: «Кто тутай?» Я ответил ему по-польски: «Ходь, пан, ходь, — сòлдат». И мы поехали дальше».

У меня сразу появилась «непринужденность», солдатская беззастенчивость — с первого дня пребывания в фронтовой полосе...

«В каждой деревне я спрашивал, где находится полковник Бутенко. Никто из солдат не мог мне ответить, и только один часовой сказал: «Так что дальше они, в другой деревне». Я поехал туда. Из деревни неслись песни. У костров сидели егеря и пили чай из котелков. Их фигуры слабо освещались огнем. Неожиданно меня ослепил яркий сноп лучей электрического фонаря. «Кто идет?» — раздался вопрос. Я ответил, что еду к полковнику Бутенко из Петрограда. Тогда мне обещали выслать навстречу солдата, который укажет дорогу. Я поблагодарил.

В деревне меня остановили и, указав дорогу, проводили к полковнику.

В небольшой избе сидели офицеры. Трое играли в карты. Один брился, а остальные пили чай и читали газеты. Полковник Бутенко сидел у окна и медленно прихлебывал чай. Я поздоровался с ним. Он меня узнал. Я ему рассказал все, и он отнесся ко мне сочувственно. Наевшись и напившись, я после ухода офицеров, радостный, заснул на полу.

На следующий день, 28 декабря, я был представлен генералу, командиру полка, и он обещал оставить меня в полку. Через два часа полк выступал в поход.

Поход этот должен был произойти вследствие передвижения гвардейского корпуса на тридцать верст на северо-запад, в район Бялобжег.

Вдруг в избу вошел священник, отец Добровольский, преподававший в мирное время у нас в гимназии. Я поклонился ему, он меня не сразу узнал. Батюшка был против того, чтобы я остался в полку. Мы прошли до ночи тридцать две версты. Я сильно устал, но все-таки весь переход шел пешком».

На этом записи моего дневника кончаются. Я мог бы сделать еще некоторые вставки и добавления к этим незатейливым записям, но не нахожу это нужным. Скажу только, что обыденность обстановки не вскрыла сразу обыденность войны и походной жизни. Я еще свято верил в ее романтику.

Пишу дальше о том, что сохранилось в памяти.

Батальон к двенадцати часам был выстроен на дороге. Офицеры выходили к ротам, стоявшим серыми плотными колоннами. Раздавалось: «Здорово, унтер-офицеры!», «Здорово, братцы!» (или «молодцы»). Крепко рывкали в ответ роты, отрубая слоги,

Я разглядывал егерей. Тогда полк еще сохранил много кадровых, вымуштрованных недавней предвоенной службой запасных и новобранцев. Все это были довольно рослые и крепкие люди, особенно в 1-м батальоне. Солдат первой государевой роты звали «дуболомами».

28-го утром полковник назначил меня в 14-ю роту, отличившуюся в боях против австрийцев на Краковском направлении. Ротой командовал Карл Карлович фон Герих, полушвед-полурусский, бритый, средних лет офицер, вечно посасывающий трубку с английским табаком. Был он храбр и несколько грубоват. Николай Николаевич Неславицкий — субалтерн¹ — был молод и холоден; позже я узнал его получше и многое от него вытерпел.

Полк двинулся к Едлинску в назначенное время. Батальоны подтягивались к шоссе. Я бодро шагал рядом со строем в своей гимназической шинели и с гим-

¹ Младший офицер в роте.

назическим ранцем. Егеря посматривали на меня с любопытством.

Покрывали версту за верстой. Я чувствовал, что начинаю понемногу замерзать, однако бодрился и попросил у одного егеря разрешения понести его винтовку. Я нес ее с удовольствием, но постепенно усталость чувствовалась все больше и больше.

Шоссе было прямое, подмерзшее, обсаженное крупными деревьями. Я шел рядом с потоком людей. Все было ново, свежо, воспринималось с любопытством и не особенно глубоко. Какие я мог сделать особенно ценные наблюдения в четырнадцать лет? Я просто смотрел на людей, старался подметить в них следы участия в боях, о которых столько читал: «особый взгляд», «нечто от смерти» и пр. Что же я видел? Обыкновенных солдат и офицеров, шедших то молча, то перебрасывавшихся словами, сосавших цыгарки и на ходу жевавших хлеб.

Я не замечал ничего необыкновенного. Может быть, оно таилось внутри людей, в их психике. До нее еще надо было добраться. Усиливавшаяся усталость заставляла напрягать силы. Итти гвардейским походным маршем мне было с непривычки трудно. Я отставал и должен был бегом догонять батальон.

В происходившем и долженствующем произойти я еще не разбирался. У меня были смутные представления о ком-то свыше, кто дает какие-то приказы, а эти приказы влекут за собой какие-то действия. Но я не имел представления об организации военного аппарата, о штабах и т. п. Я знал о них, но функции их мне были неведомы. Совершались какие-то передвижения, абсолютно для меня неуяснимые. А дело было в том, что гвардейский корпус отводился в резерв. Ставка приказала, фронт и армия передали, и корпус двинулся. Все просто.

Итак, я впитывал впечатления первого похода. Я не думал о том, что по этим же дорогам Радомской губернии ходили до нас, в прошлые века, такие же покорные солдаты, что так же месили здесь грязь польские и русские войска. В XVII и XVIII веках здесь жестоко бились шведы. Дотла был razорен Радом, основанный в XIV веке... Я не имел точных представлений о дейст-

виях в этой же Радомской губернии — Костюшко, Чаховского, Крука... Никому из егерей об этом никто не рассказывал. Мы шли по чужому краю, ничего о нем не зная.

Было темно и холодно. Мысли вертелись вокруг марша, — выдержать бы. Вспомнился дом; думалось о будущих боях. Рисовал себе боевые подвиги, фантазировал... А было все житейски серо и трудно... Коченели ноги, руки...

Труден был этот поход для меня. Блекли краски Верещагина...

Распространенный вид показного строя русской пехоты — строй по отделениям. По фронту отделение занимает семь шагов; батальон в глубину занимает триста двадцать — триста пятьдесят шагов. Норма эта находится в прямой зависимости от качества дороги и сил солдат. Часто бывало, что батальоны растягивались; тяжело волочились по грязи; образовывались большие интервалы. Резко подхлестывала команда: «Подтянись!» Стуча котелками и подпрыгивая, бежали солдаты, выравнивая строй.

В силу взятых на себя обязательств и я всячески старался не сдавать.

Мы шли, шли... (три-четыре версты в час). Шли, как ходили бесчисленные воины всех времен. Сознать это мне было приятно.

Наш полк двигался колонной по отделениям, с положенными интервалами между батальонами и ротами. Сзади тянулись обозы первого и второго разрядов с громадным хозяйством полка. Тут и боевой запас, и хлебопеки, и кузнецы, и фураж... Привалы по десять минут делались через каждые пятьдесят минут. «В холодное ветреное время располагаться укрыто» — рекомендует теория. А мы валились там, где останавливались: на подмерзшей корке грязи под деревьями, в канавах. Иначе не могло и быть. Сладка возможность отдохнуть — тут уже не разбираешь, где сесть или лечь.

Я участвовал в походе, но не представлял себе всей картины движения корпуса. А это была внушительная картина. По разным дорогам страны шли преображенцы,

семеновцы, измайловцы, егеря, гренадеры, павловцы и т. д. Десятки тысяч. Были учтены их пути, места стоянок, время движения. Вперед высылались квартирьеры от каждой роты.

Где-то у границы Радомской губернии, одной из десяти губерний царства Польского, на реке Пилице были указаны «квартиры» и для нас. Размещали людей по всем подходящим и неподходящим избам и стодам (сараям), по десять человек в избу. Теория называет такое размещение «тесным районом квартирования». Как ни плохо «тесное» размещение, все же оно лучше бивуачного, когда приходится жить под открытым небом, ютись в маленьких палатках.

В темноте мы колесили по деревне, свернув с шоссе, перекликались с квартирьерами, ругались. В избах кипятили чай, солдаты тащили сучья и солому для костров. Протесты хозяев не действовали на нас, были бесполезны — война!

Я временно, по неизвестным мне причинам, был оставлен при штабе. Мой батальон расположился в деревне, верстах в двух-трех от него. Позже я узнал, что штаб запросил моего отца об его согласии на мою службу.

Для меня началась довольно бездельная жизнь. Полк отдыхал и подучивался. Мне отдых не был нужен, а учения я не проходил, так как не был зачислен в батальон.

Я бродил по району полка, обследовал окрестности, наблюдал за жизнью штаба, который жил неорганизованно, бивуачно. Офицеры пили, играли в карты, болтали и изредка занимались служебными делами. Передавали всякие новости и сплетни, ловили слухи, читали газеты.

Помню новогоднее богослужение. В большом помещении плотно стояли егеря, впереди — офицеры. Пахло солдатским запахом, густым и кисловатым. Полковые певчие пели молитвы и все, что полагается, а мы истово крестились, переминаясь с ноги на ногу, молчали и тихо дышали. Колебались огоньки свечек. Кто-то с тарелкой собирал по рядам на церковь. Падали солдатские, может быть последние, медяки.

В этот день я послал матери второе, уже более подробное письмо:

«Из действующей армии. 31 декабря.

Дорогая мама!

Я попал в Лейб-Гвардии Егеровский полк. Стоим в Радомской губернии в районе городка Бялобжеги, недалеко от передовых позиций.

...Слышна канонада, очень сильная. Я представлялся генералу, командиру полка, зачислен в полк ординарцем 4-го батальона 14-й роты. Ординарец — это который ездит с донесениями из части в часть.

Погода теплая, я хожу без пальто... Скоро пойдем на немцев. Мне хорошо.

...Надо мне полотенце (у тебя найдется), 3 пары носков, перчатки вязаные (60 к.), ваксу (10—15 к.), перочинный нож (30—50 к.) и новую клетчатую тетрадь с 2 листами синей переводной бумаги, *вот и все*. Это необходимо. Еще 10 пуговиц и 10 французских булавок, 1 катушку защитного цвета, ниток и наушники. Все это страшно надо! Был в воскресенье 28-го поход в 30 верст по слякоти на ветру... Завтра Новый год, и я вперед тебя поздравляю. Извини, что удрал раньше весны, но было удобно. Даст бог, скоро немцев разобьем.

...Посылку заверни в коробку или деревянный ящик, общей полотном или холстом, напиши четко адрес.

Воля.

31 дек. 9 часов вечера.

Л. Г. Егеровский полк, 4-й батальон».

Встречу Нового года не помню. Наверное — спал. А штаб веселился во-всю. Шла пьяная офицерская пирушка. Гвардейские офицеры имели много привилегий. Они таскали за собой «Гвардейское экономическое общество», большие обозы и т. п. Комфорт офицеры любили. Жили сладко, пили, в офицерском собрании имела рулетка.

Описываемый период был периодом затишья на фронте. Левобережные войска (по Висле) стягивались и реорганизовывались. Фронт шел по линии: Сохачев — Рава — Оночно — Мологош — река Нида. Обе стороны, достаточно усталые (бои под Лодзью), опасливо выжидали, наблюдая друг за другом.

В военной среде ждали весенних боев и победной развязки к лету.

Я был проникнут одним желанием: итти в строй и поскорее, поскорее попасть на передовые позиции.

Пробыл я при штабе недолго. Отец, наконец, дал согласие, и я дождался отправки в строй.

Забрав свой ранец, в котором сиротливо лежала одна рубашка и какие-то мелочи, я пошел через поле в деревню Гуры. Я был зачислен в 3-й взвод 14-й роты. Взводом командовал кадровый унтер-офицер Гнидкин. 3-й взвод занимал один двор. Солдаты помещались в избе, на чердаке и в стодоле, набитом соломой. Рядом была канцелярия, где осела ротная «аристократия» — подпрапорщики, писарь и т. д. Тут же была и кухня. Шутливо ее называли «мортиркой», вероятно за громяющую езду и торчащую в небо трубу.

Во взводе меня приняли в общем хорошо. Я старался войти в роль рядового егеря. Конечно, мне это было очень трудно. Надо было изучить нравы, военный язык, правила службы и т. п. Очень трудно было заставить солдат считать меня таким же, как все. «Молод паренек, пошел сам, присяги не принимал...» Некоторые старые солдаты без стеснения высказывали свое неодобрительное отношение к моему побегу на войну: «Сидел бы дома у батьки с маткой, учился бы да жил в чистоте... Чего таскаться да вшей кормить?» Но смутить меня никому не удалось. Я отчаянно защищался.

Моя фигурка маячила на занятиях на левом фланге взвода, в 4-м отделении. Вертел винтовкой, постигая искусство ружейных приемов, с наслаждением щелкал затвором, прицеливался...

Занятия были преимущественно строевые. Гоняли по полю, крепко трамбовали мерзлую землю и снег, бесконечно перестраивались и т. д. Занятий тактических было мало, а ведь мы готовились к боям. Очевидно, сила

привычки к муштре, к «ножке», идеальному равнению и тому подобным вещам были выше сознания необходимости подлинной боевой подготовки. Только иногда, после маршировок, роту рассыпали в цепь, распределяли взводные резервы и атаковали воображаемого противника. Лихо летали егеря и воодушевленно кричали «ура!» Меня тогда охватывали восторг и опьянение. Я ведь еще не был под огнем...

За деревней, на ровном поле, было устроено стрельбище. Мишени (головные и поясные) стояли у подножья холма, так что пули не могли далеко залетать. Стреляли мы на дистанцию в триста — четыреста шагов, лежа. Я давал приличное число попаданий. После стрельбы унтер-офицеры проверяли винтовки, засовывая пальцы в открытые затворы винтовок.

В памяти всплывает смотр полка командиром корпуса. Готовились старательно, подгоняли обмундирование, чистились, скреблись. Однако больше для «внешности». Вши ели всех немилосердно. Одному из егерей вошь попала в котелок с супом. Егерь молча вышел на крыльцо и с ожесточением швырнул котелок на землю. Он был вне себя от отвращения.

Смотр состоялся в поле, против штаба полка. Я был одет уже по форме, то есть в шинели и папаче. Гимнастерки и шаровар еще не имел, ходил в гимназическом. По фронту, здороваясь, прошел толстый генерал, сопровождаемый группой офицеров. Играла музыка. Ряд егерей был построен идеально. Они награждались Георгиевскими крестами и медалями за отличия в боях. Мой отделенный — Семен Кабанов, бывший павловец, донской крестьянин, получил одновременно крест и медаль. Он был счастлив, блестели глаза, усы были расправлены, а подбородок старательно выбрит. Новых Георгиевских кавалеров мы поздравляли от души. Я завидовал им. Ну, я буду не я, если не получу крест!

Пришло время выдачи жалованья. Мне не выписали. Я был огорчен самим фактом, а не тем, что не получил денег. Я чувствовал, что еще не уравнен с другими. Было обидно. Оставалось ждать оформления — появления приказа о моем зачислении.

Я сдружился с молодым егерем, бывшим народным

учителем Емельяном Козловым. Был он высокого роста, мягок и застенчив. Мы беседовали о предстоящих боях. В лунные ночи на берегу Палицы нас с ним охватывало какое-то волнующее ожидание, мы чувствовали приближение больших испытаний.

Я жил на чердаке. Устроился под какими-то стропилами в соломе, но она не спасала от холода, и мы замерзали по ночам.

Трудно было соблюдать чистоту. Вши одолели меня. Вдобавок я заразился чесоткой. Мучила она меня отчаянно. Мазь не помогала. Я все терпел и не помышлял уходить из строя.

Этот период был достаточно однообразен.

Жизнь польских крестьян шла рядом, но мимо нас. Относились мы к полякам свысока. Все недостатки их «поддевались», высмеивались. Их бедность и забитость скорее осуждалась, чем вызывала сочувствие.

Для крепких зажиточных украинцев и сибиряков польское крестьянское хозяйство не представляло интереса. Надменно глядели они на «панов», ковырявших свои несколько «моргов» и питавшихся главным образом картошкой.

Не вызывали жалости и все лишения и все потери поляков. Я имею в виду действительную жалость, а не лицемерные и официальные соболезнования, укладывавшиеся в один ряд с безбожным вредом, причинявшимся польским крестьянам царской армией.

В Бялобжегах, местечке весьма захудалого вида, нас водили раз в месяц в баню. Мы шли строем, с бельем подмышкой. Баня была отвратительная, холодная и грязная. Я поливал водой и тер свое изъеденное чесоточным клещом и вшами тело, но облегчения не было.

Как-то на занятиях в морозный день я очень утомился. В минуту отдыха закурил махорку — у меня перед глазами поплыли круги. Я был близок к обмороку, но превозмог себя и вскоре оправился.

Дни проходили обычно. В свободное время писали письма с поклонами, чинили свои вещи, пели песни. Писал письма и я.

Гвардия простояла в Радомской и Варшавской губерниях около месяца. Примерно в двадцатых числах января (а может быть, несколько раньше) она тронулась походным порядком в Варшаву. Обстановка к тому времени складывалась следующим образом: обе враждующие стороны начали готовиться к новым операциям. Состояние русской армии в январе 1915 года было мало пригодно для немедленной зимней кампании... Полное восстановление боеспособности могло начаться лишь в апреле 1915 года, но уже с февраля можно было предпринять ряд второстепенных действий, которые улучшили бы исходное положение для начала общей летней кампании.

Ставка приняла компромиссное решение: с русской стороны ближайшие операции должны были развиваться в двух направлениях — в Восточной Пруссии и на Карпатах.

Мы, конечно, не знали о подготовке этих операций. Мы только строили предположения частного свойства — куда нас «погонят», куда поведут?

Где-то в Ставке, в штабах фронтов, армий и корпусов решались крупнейшие вопросы. Девяносто русских дивизий на громадном фронте должны были начать бои против усиливавшегося противника, получавшего подкрепления.

Неожиданно ночью нас подняли. Собрали мы свое «имущество», осмотрелись. Ежась от холода и зевая, шарили по своим углам, доставая снаряжение, проверяя — не забыто ли что.

Построились, подошли офицеры... «Справа по отделениям, шагом марш!» Егеря стали креститься. Что нас ждет — неизвестно! К рассвету мы уже были в общей колонне, направлявшейся на северо-запад. «На Варшаву, стало быть».

Шли по шоссе. Вот тут, уже несколько более наметанным глазом, я как следует присмотрелся к егерям. Как ловко сидело на них снаряжение, надежно и образцово пригнанное. Надо сказать, что гвардейское снаряжение было действительно удачно и добротное. Отличные

черные, из плотной непромокаемой материи ранцы не резали плечи. Тяжесть равномерно распределялась благодаря системе широких ремней и широкого ранцевого пояса. Патроны были в черном непромокаемом патроннике и кожаных подсумках. Сбоку висели сухарный мешок, фляга и лопата (у некоторых кирко-мотыги или топоры). Винтовку в походах носили на ремне, на левом плече. Изредка, по команде, переносили ремень на правое плечо. К ранцу ремешками вертикально прихватывали скатанные палатки и соломенные подстилки. Последние были не у всех, мы их не любили. Брели ведь везде свежую солому.

У пополнения обмундирование было выделки военного времени, гораздо худшего качества: вещевые мешки — неуклюжие и промокавшие, холщовые подсумки и т. п.

Шли мы обычным, нефорсированным маршем. Поход настроил меня бодро, я старался идти не отставая.

Мы шли по району, где осенью 1914 года уже побывал противник и местами были видны следы боев. Они вызывали во мне какое-то нетерпение: я хотел как можно скорее участвовать в бою. Этого чувства у большинства егерей не было. Они относились к войне без ажитации; они делали положенное покорно, на совесть, но если б могли — то не делали бы. Горения у солдат я не видал. Некоторые, правда, были задорны, удалы, но это от ухарства, а не от патриотического энтузиазма.

В походе мы пели песни, большей частью тягучие, вроде: «Пишет, пишет царь германский, пишет русскому царю: разорю я всю Расею, сам в Расею жить пойду...», «Не журися, царь наш белый, мы Расеи не сдадим», разухабистую «Дуню» или тоскливую: «Что ты, ворон, что ты, черный, что ты вьешься надо мной». Любили и походную песнь: «Горы-вершины, вас я вижу вновь, карпатские долины, кладбища удалцов». Думается мне, что эту песнь певали и во время кавказских войн («Кавказские долины»), и в Балканскую войну («Балканские долины») и т. д. Пели и свою песнь, гвардейскую: «Колонна за колонной полями, лесом, вброд могуче, неуклонно гвардия идет. Зеленые рубахи, зеленые штаны. Штыков стальные взмахи, моторы, как слоны».

Пели ее с настроением, вкладывая грозные ноты в эти, несомненно, неудачные слова. Кстати, «моторы, как слоны» — это для рифмы. Я видел лишь двуколки или пароконные повозки. Автотранспорт в русской армии был очень слаб.

Мы пересекали разные шоссе и поселки — чужие корпусные дороги, вдоль которых маячили столбы с дощечками, обозначающими направления. Встречались армейские обозники, одиночные солдаты, конные и пешие группы.

Вот и предместья Варшавы. Полк подобрался, вступая в город. Подсчитывали ногу, шли ритмичным шагом. Мне казалось, что каждый житель Варшавы смотрит на меня ласково, одобрительно, с уважением, и на душе было хорошо от наивной веры в общее внимание ко мне, к роте, к полку, к гвардии, шедшей в бой. Как будто каждый из нас брат или сын любого прохожего, и это важно, очень важно для него — прохожего.

Мы прошли город насквозь и вышли на северную его окраину к товарным путям какого-то вокзала. Этот район населен еврейской беднотой. Какая грязь, какая нищета! Повсюду лавчонки, запасы которых можно втиснуть в наши ранцы и сумки.

Расположились мы на пустыре у товарных путей. Ждали погрузки. День был солнечный. Грузились ночью. Товарные вагоны с надписями: «40 человек, 8 лошадей». Нары в два ряда с каждой стороны, печурка. Взводный и «приближенные» заняли лучшие места на верхних нарах у окна. Так уж всегда...

...Тронулись. Куда? Не наше дело. Солдатам положено лишь гадать и предполагать.

Нет сомнения, что сибирские стрелки, своими трупами преградившие немцам путь на Варшаву, ничего не знали об этом городе, так же как мы ничего не знали о Ново-Минске, Седлеце, Черемхе, Бельске, Белостоке, Ломже, о Червоном Боре, то есть о тех местах, где нам предстояло держать фронт.

Стучали колеса, дрожало на стенах отражение пламени печурки; егеря храпели; молча сидел дневальный.

А в это время, неведомо для нас, немцы готовились, получив резервы, нанести нам сокрушительный внезапный удар, «разгромить русских в Восточной Пруссии» и охватить фланги 10-й армии (Неманской), пользуясь тем, что они (фланги) были необеспечены: правый открыт, а левый защищен слабо.

По железным дорогам Германии перебрасывались войска в тот же район, куда торопились и мы. В частности, против нас усиливалась Наревская группа Гельвица. Русское командование не имело никаких сведений о сосредоточении германских войск...

Мы прибыли в Червоный Бор ночью. Спешно, при свете электрических станционных фонарей, выгрузились и, построившись, пошли на Ломжу.

Этот район сулил нам мало радостей. Жили здесь убого, грязно. Местность между Наревом и прусской границей отличалась бездорожьем. Почва песчаная, леса хвойные. Одна только шоссе́нная дорога Ломжа — Изучин пересекала этот край. По этому шоссе, перейдя Наревский мост и оставив Ломжу позади, мы пошли к границе Восточной Пруссии.

До прусской границы (напрямик) было верст сорок. Один долгий переход. Так мы, кажется, и готовились махнуть, чтобы ступить на землю Германии и начать второй поход на Восточную Пруссию. Заманчивые картины рисовались мне и, может быть, многим егерям.

Мы шли по заснеженным проселочным дорогам, не сворачивая с шоссе; в снегу застревали повозки... Встречались бедные деревушки, где, кроме воды, почти нечего было достать. «Ниц нема, ниц, впи́стко забрали» («Ничего нет, ничего, все забрали») — был обычный ответ крестьян на просьбы о продаже нам каких-нибудь продуктов — молока, сала, яиц.

Я вдыхал морозный лесной воздух и трепетно, нетерпеливо ждал врага. Вот-вот начнется стрельба, атака.

Почему я не вел записей в то время? Возможно, что это объясняется моей тогдашней слабой ориентировкой

в событиях, усталостью от непривычной походной жизни. Временами я плелся с трудом, волоча ноги, и мучился от нестерпимого чесоточного зуда.

Мы вышли на шоссе. Командир объявил: «Возможно появление немецких бронев автомобилей; при их появлении держаться твердо, ложиться и стрелять бронебойными патронами».

До границы оставалось что-то около четырех-пяти верст. Мы готовы были уже «завоевывать Германию», хотя знали, что немцы дерутся стойко. Это не «австрияк», который легко сдается или бежит «до лесу».

Мы заночевали у границы. Наш взвод занял большую избу. Утомленные, все сразу заснули...

В это время на полк 1-й гвардейской дивизии, тоже стоявший у границы, наскочили немецкие авангарды. Начало немецкого наступления было совершенно неожиданным.

Судьба избавила нас от тех бед, которые выпали на долю измайловцев в эту ночь. Как нам передавали, немцы чуть было не захватили штаб Измайловского полка, столь неожиданно было нападение. Нас подняли среди ночи. Мы торопливо собрались... Чувствовалось что-то неладное... Построились и пошли, куда вели нас командиры. А командиров вели наспех найденные и случайные проводники. Молчаливая тревога была у каждого. Часть пути прошли прямо по полям... Мы поняли, что отступаем.

Гинденбург опередил гвардию. Но ему предстояло еще и разбить ее.

Ночь... Чудится, что противник за плечами. Мы шли то цепочкой по одному, то обычным строем. Молчали, и каждый думал свои думы. Я спрашивал себя: мы отступаем, а как же поход на Германию? Я начинал постигать изменчивую природу войны.

Хотелось выйти из этой полосы нервирующей невидимой опасности...

Приходилось следить за идущим впереди, чтобы в темноте не натолкнуться на него Дул в замерзшие кулаки; раздражали вши... Отступление казалось катастро-

фическим... Жалко. жалко было себя и других: пропадаем зря на ломжинских полях... Потом ход мысли менялся, возвращалась бодрость, быстро придумывал себе утешение: обойдется все... как-нибудь удержимся...

Утро разрядило ночное нервное напряжение. К тому же краюха хлеба и кружка кипятка с куском сахара восстановили силы. Лица светлели. Вновь чувствовался привычный порядок.

Вскоре мы подошли к позициям, где уже шли стычки с немцами. Впереди нас были другие полки нашей же дивизии, быстро занявшей после отступления новые рубежи.

Впервые услышал я близкую оружейную стрельбу. Справа от нас была мортирная батарея, не часто, но увесисто. Снаряды пролетали с особым шипением, постепенно затихавшим

Мы остановились у какого-то леса в резерве и стали рыть окопы. Настроение у меня было на редкость бодрое. Вот она — война! Пока совсем не страшно...

Окопы были вырыты наспех. Привезли нам почту, я получил посылку.

Мне страшно хотелось, чтобы нас двинули вперед, в дело. Между тем положение не было устойчивым. Ночью вновь пришлось отступать. С этим отступлением и с ночевкой в деревне был связан незначительный, но неприятный для меня инцидент. У меня на ночлеге пропала папаха. Скорей всего ее украли — все поиски в халупе (избе), где ночевал взвод, не привели ни к чему. Я страшно досадовал. Достал где-то крестьянскую черную шапку, сильно поношенную и грязную, но пришлось ее одеть. Нехорошо быть одетым не по форме!

Утром где-то у шоссе на Ломжу остановились на привал. Утомленные, повалились прямо в снег и спали, равнодушные ко всему. Если просыпались, то думали только о том, чтобы нас не тревожили. Ну еще несколько минут так полежать, в этой снежной яме. Замерзали ноги — это опасно, но ничего, я еще полежу, потом встану... Да, да, встану, а сейчас хочется спать... Подняла нас зычная команда: «Станови-ись!»

Ноги как будто чужие, в самом деле это может кончиться скверно... Гангрена, операция, ампутация... Ну, вот еще — этого со мной не будет...

Пошли. Саперы быстро спиливали телеграфные столбы и вековые деревья, валили их на шоссе, заграждая путь немецким бронемашинам. Я ушел с разведчиками вперед.

Уже ощущалась близость столкновения с противником. Мы жадно высматривали — не виден ли он. Когда справа показался конный разъезд, я был готов начать перестрелку, но разведчики удержали меня. Они, не торопясь, присмотрелись попристальнее и определили, что разъезд наш.

Было приказано движение немцев на Ломжу остановить. Полк наш развернулся к западу от шоссе. Правее были преображенцы и семеновцы.

Днем рыли окопы, таскали солому, шарили по халупам. Мы были уже на передовой линии. Я неминуемо должен был пережить бой, получить долгожданное боевое крещение. Оно состоялось вечером в обстановке достаточно серьезной. Впереди пылала какая-то деревня. В отблесках огня носилась немецкая кавалерия. В темном небе непрерывно сверкали разрывы немецкой шрапнели. Из наших окопов по немцам был открыт винтовочный огонь. Мы стреляли с откинутыми прицельными рамками, но вряд ли кто-либо из нас целился так, как полагается. Постепенно стрельба затихла.

Как часто в литературе — пространно и обстоятельно — описывается крушение воображаемых идеалов, переворот в представлениях о сущности войны после первого боя. Мечты о блестящих батальных сценах начисто вытесняются малопривлекательной реальностью войны.

Я не могу сказать, чтобы со мной произошел такой же процесс. Я сразу принял, ощутил войну как-то проще, примитивнее; без потрясений были вытеснены ложные представления. Замечу, что их, этих ложных пред-

ставлений, уже оставалось не так много. «Механика» войны была мной до некоторой степени усвоена.

Я не испытал отвращения и страха, познав войну. Были, конечно, разочарования, но они сводились к недовольству отступлением, позиционной войной. Я сохранял в себе эту готовность к войне все годы, вплоть до 1921-го, но чувство патриотизма обогатилось жаждой борьбы за идеи революции.

Я неизменно рвался из одного боя в другой, как только проходила реакция от переутомления, а для этого было достаточно одного-двух дней.

Бывали и периоды, когда нервы, мозг не выдерживали, — и я сдавал, мучился, клеймил себя, но не был в силах некоторое время войти в норму. В свое оправдание должен сказать, что в первую очередь сдавали офицеры, не выдерживавшие силы немецкого артиллерийского огня.

Я видел сотни людей, в чьих глазах ясно читалась боязнь войны. Не только смерти, но вообще опасностей и лишений. А это были здоровые, сильные, зрелые люди — настоящие мужчины.

Окопы были вырыты в поле, очень близко от деревни. Туда и обратно — из окопов в деревню — все время циркулировали егеря за водой, за соломой или просто так — «разжиться чем-нибудь», сварить картошку... В любую минуту деревня и окопы могли быть засыпаны снарядами, а мы забывали об этом. До опушки леса, занятого немцами, было шагов четыреста — пятьсот. Постоянная опасность для всякого, идущего по полю, была налицо. Тем не менее мы ходили, не считаясь с ней, пренебрегая ею. Ходил и я, ибо стыдился показывать какие бы то ни было страхи или опасения. Да и не было еще у меня до жути ясного сознания, что меня могут убить. Наверное, я не постигал еще всей сути происходящего.

Доносились стрельба, то близкая, то далекая. Я не престанно прислушивался, учился отличать выстрелы от разрывов, учился определять звуки и шумы войны.

По команде: «Три патрона, часто, начинай!» — мы открывали стрельбу по немцам. Целились в желтую полосу их бруствера. Немцы в свою очередь обстреливали нас. Я постоянно высовывался из окопа. Страстно хотелось увидеть настоящих немцев, но ни черта не видел.

Мы ютились под передней стенкой окопа. За шиворот сыпался песок. Многие сидели нахохлившись. Равнодушно покуривали, сосали сахар или жевали хлеб. Переговаривались о значительных и незначительных вещах. Ходов сообщения в тыл не было. Чтобы «оправиться», приходилось вылезать из окопа в поле; некоторым это стоило жизни.

Немцы и мы не особенно тревожили друг друга, если не считать sporadических перестрелок, часто возникавших без особой надобности.

В деревне еще чувствовалось некоторое тепло неразоренного гнезда. Она еще не была окончательно покалечена. И мы к ней тянулись, чтобы согреться ее теплом.

Так мы и жили, не зная того, что правее нас немцы крошат 10-ю армию. Бывало, слышишь — гудит земля, где-то сильный бой идет.

У нас было свое задание: мы «заступили» на позицию и держали ее. Это и требовалось от нас. Здесь я обязан вспомнить военные произведения Толстого. В них простота, будни войны показаны лучше всего. Но в 1914—1915 годах я еще мало знал Толстого. Над вопросами формы в литературе я стал задумываться несколько позже. Но стремление к непосредственной передаче простых батальных картин уже бессознательно сквозило в моих записках 1915 года, особенно в дневнике. Я вел свои записи лаконично и элементарно просто. В них нет ничего фальшивого, приподнятого, приукрашенного. Повидимому, это было отражением моих боевых восприятий, не испорченных «литературой». А ведь можно было поддаться влиянию фальсифицированной «батальной литературы», которая хлынула тогда со страниц журналов и газет...

Окопная жизнь текла без особых перемен, только все становилось привычнее. В одной халупе помещалась ротная канцелярия. Там сидел черный, с большим изрытым оспой лицом санитар Манаков. Он дразнил меня, издевался над моим добровольчеством, отпускал тупые остроты и шуточки, когда я, страдая от чесоточного зудя, приходил к нему за мазью.

В один из дней — начала февраля — перестрелка была особенно горячей. Мне пришлось все время бегать с донесениями из окопов в деревню к батальонному командиру и обратно. Бегал я с донесениями охотно, крепко зажимал бумажку в руке, но, впервые, все время думал: вот убьют, вот убьют, вот сейчас, вот сейчас... Над головой ежесекундно визжали пули, рвалась шрапнель... Один снаряд попал в наш окоп, но все сошло благополучно, убитых не было. Некоторых, в том числе и меня, засыпало землей.

Я считал, что держался не хуже и не лучше других... Хотелось распознать, кто о чем думает под огнем? Самые слабые явно теряются, перестают отдавать себе отчет в поступках, прячутся.

Написал это и задумался, — трудно делать обобщения и заключения. Много есть противоречивого в боях, — видел я, как прятались и смельчаки, и сам прятался, хотя в общем был достаточно смел.

Я получил боевое крещение и с полным правом мог носить звание егеря. Кстати, я еще ни разу не объяснял этого названия.

Егерь — дословно охотник (с немецкого «Jäger»). В иностранных войсках им соответствуют зуавы, берсальеры, *chasseurs à pied* — легкая пехота из отборных солдат. В русской армии егеря впервые появились в 1763 году в Финляндской дивизии. Особенность егерей заключалась в их подвижности. Егерям дали рассыпной строй, комбинированные быстрые действия с конницей. Значительно позднее егеря по назначению не отличались от прочих гвардейских полков. Наш лейб-гвардейский

Егерский полк (вначале — батальон из трех рот) был образован в 1792 году (при Павле) и входил в состав Гатчинских войск. В 1796 году полк получил права старой гвардии и стал шестым полком по старшинству.

Первое боевое крещение полк получил в Аустерлицком сражении. В кампаниях 1806—1807 годов «Лейб-Гвардейский Егерский полк действовал столь отлично, что обратил на себя внимание всей армии» — так доносил Беннигсен Александру I (дело при Лолшттене). В 1808—1809 годах полк участвовал в Шведском походе. В 1812 году — в героической обороне Смоленска и в сражении под селом Бородино. 17 августа 1813 года участвовал в бою под Кульмом (Богемия). Егеря здесь были в первой линии, и им выпала честь сдерживать напор французов. Все егеря получили за бой под Кульмом железные кресты от прусского (союзного) короля. Полк также получил Георгиевские трубы.

В память боя под Кульмом установлен постоянный полковой нагрудный знак — железный крест (прусская орден за храбрость).

История полка изучалась егерями, но во время войны на это не обращалось особого внимания. Кульмские (железные) кресты носили все, но многие не знали об их происхождении.

Примерно 8—10 февраля я зашел в халупу, где собралось несколько офицеров. Командир батальона обратил внимание на мой истощенный вид, который, при всем желании, нельзя было скрыть. Сказывалась общая усталость, а главное — непрерывное раздражение, вызываемое чесоткой, распространившейся по всему телу. Мне предложили уехать на поправку. Я отказывался, но советы офицеров подействовали. Все равно пришлось бы через неделю-другую отправляться в госпиталь.

В Петроград ехал мой ротный командир, и он взял меня с собой. При прощании командир батальона ска-

зал мне, что я буду представлен к двум Георгиевским медалям за доставку донесений.

Я простился с ближайшими друзьями-солдатами: «До скорой встречи вновь на позициях».

Отправился с ротным командиром в тыл. Снова знакомое шоссе, батареи, где жизнь казалась почти безопасной; затем — перевязочные и питательные пункты, деревни, занятые обозами. После окопов тут уже совсем мирно. Издалека только доносится грохот орудий. Те, кто квартируют здесь, балуются самоварчиками, не плохо едят и не плохо спят. Упрекать их не в чем; должен же кто-то работать в тылу.

В Ломжу мы попали ночью, а днем уже приехали в Червоный Бор. Я, как полагается, козырял всем офицерам, но был недоволен собой — одет не по форме: шапка уж очень у меня препротивная. А где достать папаху? Денег нет... На станции много военных: шинели, полушубки, папахи всех видов; гвардейцы, армейцы — здоровые и раненые... Солдаты тащат кипяток из кубов, сидят, лежат; расположились на самой станции и вокруг нее.

В вагоне я перебирал в памяти впечатления последних дней и недель. Как-то сейчас на позиции? Сидит в окопе друг мой Семен Кабанов, молится богу, тихо поет псалмы, смотрит на образок, потом на немецкие окопы, стреляет, если надо, аккуратно очищает котелок, бьет вошь... Сутулится высокий Дядин, бывший гвардейский стрелок с черными усами. Никогда не теряют начальственного вида унтера, привычно смотрят за порядком, покрикивают... По спискам, в которых много орфографических ошибок, смешных сокращений и множество значков, ведут очередь: кому в секреты на ночь, кому за другим делом... Привозят по ночам в деревню «мортирку». Егеря идут — по одному, по два с отделения — за супом и порциями мяса, насаженными на тонкие обструганные палочки. Получают хлеб, не всегда свежий. Ловят новости: «Сказывали, будто...» Сдают письма, в которых много поклонов и вопросов и мало сведений о себе («Жив, здоров, чего

и вам желаю от Господа бога»). По ночам стреляют; хлебают остывший суп; смотрят из бойниц в немецкую сторону; смотрят на падающие звезды, на сияющие голубым светом ракеты; ловят всякие шорохи... Иногда беспричинно открывают беспорядочную стрельбу — «сосед стрельнул, и я стрельнул, ну и пошло...» Когда такая стрельба начинается, лежащие впереди окопов секреты влипают в землю, буравят ее головами, молятся и ругаются...

Посвистывают и пощелкивают пули. Кто-нибудь бывает убит или ранен. С убитых хозяйственно снимают снаряжение и «подходящие» вещи — сапоги, шинели... Хоронят где-нибудь поблизости; на кресте химическим карандашом выводят простую надпись... Впереди секретов, на животах, ползают разведчики. (Вспоминаю, как ползал и я.) В предрассветные часы слабо борются со сном, засыпают, встряхиваются, курят, вяло переговариваются, почесываются...

В сводках Ставки о такой ночи сообщается: «Ружейная перестрелка и поиски разведчиков в Н-ском направлении» или что-нибудь в этом роде.

Я вспоминал недавнюю полковую жизнь. Восстанавливал черты людей, с которыми пришлось бок о бок жить и воевать, которых помню и сейчас. Вот наш знаменщик — массивный человек, важный. Такие швейцары бывают в столице. Я бы сравнил его с римским аквилифером, да тип не тот — «расейский».

* * *

Доехали мы до Петрограда быстро. Помню, переночевал у ротного на Звенигородской улице.

Дома встреча была «так себе»: пугливо косились на грязный походный костюм и сразу отправили в баню.

Купил я себе Кульмский крест, папаху и ремень, приобрел нужный «форменный» вид. В гимназии ко мне был интерес большой, расспрашивали обо всем. Мне льстило это внимание. Помнится, как один из старшекласников, увидев у меня на груди Кульмский крест, поздравил меня. Я понял, что он считает этот крест заслуженным мною отличием, смутился, но поблагодарил.

Чесотка стала проходить — в домашних условиях с ней легко было справиться. Все мое походное обмундирование бабушка запрятала на чердак. Я снова одел гимназическую форму. Взялся за занятия. Переход к ним от окопов произошел как-то быстро и странно. Я временами недоумевал — я ли это ходил по польским дорогам, я ли был в боях у германской границы, бегал с донесениями?..

Заходил к ротному. Он однажды отправил меня к журналисту, который писал в «Петроградском листке». Нехорошее впечатление осталось у меня от этого интервью. Я кратко отвечал на вопросы, рассказывал сам... Потом почувствовал, что то, что я рассказываю, — ужасно бледно и просто. Но ведь так и было. А меня спрашивали о «немецких зверствах», о «героях-солдатах» и т. п. Я был еще мальчиком, и журналисту нетрудно было сбить меня и заставить плести правдоподобные небылицы, которые он тут же записывал. Потом я прочитал в газете о «Володике В.», который побывал в «огненных вихрях войны» и т. п. Чорт бы побрал и журналиста и меня!

17 февраля в гимназии я писал диктовку на французском языке: «Il faut que je parte»¹.

Фраза случайная, а смысл ее был мне близок. Да, мне нужно было скорее сдать экзамены за 5-й класс и вновь ехать в мой полк. Перед пасхой я организовал в классе сбор подарков для своей роты и отправил ящик с мылом, табаком, бумагой и т. п. Послал и от себя посылку.

Занятия шли регулярно. Я был целиком в рамках гимназической дисциплины. Читал, учился. Я сохранил мое классное сочинение того периода «Образ русского летописца».

Образ Пимена был мне дорог, так как с юношества я считал летопись, дневники — точную запись событий — крайне важным и нужным делом.

¹ «Надо, чтоб я уехал» (франц.)

После пасхи я получил первое письмо от своих егерей. Волнуясь, я вскрыл конверт и прочел следующее (привожу с некоторыми сокращениями):

«Приветствую Вас, дорогой мой Воля. От лица своего взвода приношу искреннюю благодарность. Спасибо! за подарочки Ваши к Пасхе.

Письмо и подарки получили 21 марта в 5 ч. веч., даю ответ на Ваши вопросы: все мы, адресаторы, которых вы поставили на конверте Вашем,— нет, лишь я только милостью Божией и Царя, Отечества и Св. Веры, я жив и здоров и мне было вручено Ваше письмо.

В 3-м взводе есть убитые и раненные и без вести пропавшие; извиняйте, что я не стал перечислять, их много, взводного Гнидкина нет вероятно в числе пропавших, которые часть есть и в плену.

...Я очень рад Вашим успехам в учении и даже слышал, Вы представлены к награде Георгиевской медалью, что и нахожу это весьма культурно со стороны начальников; дай Бог, Вам преуспевать в учении на пользу дорогой Нам Родины и утешение Ваших Родителей. Вы спрашиваете, где мы стоим: там же, откуда и Вы от нас уехали, т. е. на тех же путях и месте. Да! мой друг Воля: Семеновцы все дело испортили, дрогнули, бежали, и мы через них пострадали: нам во фланг ударил противник, жив буду, устно объясню все происшедшее.

Любящий друг *Семен Кабанов*
1915 год, 23-е марта
Жду ответ».

Итак, наша рота сильно пострадала. Неудача обрушилась на егерей, как я узнал позже, 19 февраля. Из письма Кабанова видно, как протекал бой,— семеновцы бежали, немцы обошли фланг и потрепали егерей, отеснив их на несколько сот шагов.

Это было в период местных боев на Ломжинском направлении. К марту фронт здесь стабилизировался и бои постепенно заглохли. На границе Восточной Прус-

сии война опять приняла позиционный характер. Мы удержали свои позиции, но немцы сорвали задуманную русским Северо-западным фронтом операцию по овладению Восточной Пруссией. Этим и ограничился весь их успех. Мы отвлекли в этой операции на себя немецкие силы, облегчив положение французов.

Я остался жив, уехав случайно на несколько дней раньше 19 февраля. Мне было стыдно, что так случилось. Хотя и по болезни, но я уехал, а все остались, бились и умирали... Ну что же, происшедшего никак не изменить... Я твердо решил весной вновь ехать на позиции.

Несколько раз я заходил к ротному, беседовал, но чувствовалось, что вне походной жизни у нас ничего общего нет. Что я ему — «нижний чин» в отпуску?

Я внимательно следил за положением на фронте, ежедневно читая сообщения Ставки и военные обзоры, ловил вести с Ломжинского направления. Их было, однако, очень мало. «Апрель месяц прошел на русском фронте в частных, не имевших стратегического значения, боях».

Между тем стороны снова готовились к возобновлению активных действий. Русская Ставка разработала план похода на Венгрию в обход германского фронта. Немцы же намеревались ударить по нашему фронту и вывести Россию из войны.

Ясно было, что лето принесет жаркие схватки. Русскую армию окрыляли победы в Австрии и Турции (падение Перемышля, саракамышский разгром турок и др.). Очень немногие понимали слабость русской армии, истощившей свои запасы и не имевшей прочной военно-промышленной базы. Я в то время совсем не разбирался в обстановке и надеялся, что весной будем наступать.

С приближением весны я стал деятельно готовиться к отъезду на позиции. Собирал необходимые вещи, запасаюсь картами Польши, акварельными красками (военные мои рисунки той поры сохранились).

Во второй половине апреля наш фронт на Дунайце был прорван. Размеры прорыва скрывались.

Дома меня пытались удержать от поездки, но безуспешно. Я чистил и подправлял свою походную форму. Она была неказиста, но вполне могла еще служить. Приобретать новую у меня не было средств.

Выслушав добрые напутствия: «Ну, Воля, раз ты едешь, так всего лучшего, вернись живой...» — я в мае уехал. В гимназии все было закончено: я перешел в 6-й класс, наверстав пропущенное зимой.

* * *

В весенний день я приехал в Червоный Бор. Какой-то толстый полковник хлопотал около привезенных перископов. Масса солдат — все движется, шумит. У Ломжи остановился в обозе второго разряда и на другой день прибыл на позиции. Зелень преобразила знакомый мне пейзаж. Тишина, — а во мне подымалось жадное ожидание боя. Разве может быть на войне тихо? Это противоречит самой сути ее, думал я.

Было жарко, белье липло к телу. Поблизости оказался пруд с темнокоричневой водой. Я выкупался и отправился в окопы. Доносившиеся звуки выстрелов как будто звали и торопили меня. Хотелось скорее увидеть друзей и порадовать их тем, что я им привез какие-то незатейливые «гостинцы».

Вот, наконец, на склоне холма окопы. Вот наша рота. Резервная лихая, 4-го батальона. Под деревом сидят офицеры. Я поздоровался с ними, что-то отрапортовал.

В окопе меня встретили тепло. Беспорядочно-торопливо и возбужденно говорил я с друзьями. Присутствие новых егерей, не бывших в полку в 1914 году и у Восточной Пруссии, приподнимало меня в собственных глазах. Я уже мог вспоминать о прошлом, говорить «а помнишь?» и чувствовать превосходство над теми, кто не знал того, в чем участвовал я. Мне приятно было чувствовать на себе взгляды новичков. Мне было весело: «Да, вот и я с вами вместе — здесь, в окопах».

Позиция была интересная. Окопы первой линии находились очень близко от мертвого леса, похожего

на сборище обгоревших и покалеченных столбов. Туда вел ход сообщения — зигзагообразный окоп.

Вечером мы двинулись сменять очередную роту: «Справа по одному!» И рота втянулась в ход сообщения, стараясь не шуметь. Было еще светло. Сама смена должна была произойти позже, в темноте. Я впитывал в себя новые впечатления, и все мое существо уже было там, где между нашими окопами и немецкими оставалось лишь сорок шагов. «Подумать только — всего сорок шагов!» Я теребил окружающих: как немцы, что они и т. д.

Спускалась ночь. Мы, наконец, вошли в первую линию окопов. Разместились по блиндажам.

Вспыхивали ракеты. Все держались настороженно, тихо: действовали темнота и близость противника.

Я высматривал немцев, но их не было видно; старался ориентироваться в этом мертвом лесу, где в хаотическом беспорядке переплетались поваленные деревья, рогатки и проволока. Иногда ракеты взлетали над головой, и в их мертвенном свете я различал изуродованные снарядами силуэты деревьев.

В Галиции уже шли бои, а на нашем участке еще было относительно тихо: короткие артиллерийские дуэли и поиски разведчиков.

Наиболее любопытным и исторически интересным фактом я считаю наше братание с немцами в мертвом лесу. Мы не имели ни малейшего понятия о призыве к братанию, исходившем от РСДРП (большевиков). Братание произошло самовольно, внезапно. Я не встретил возражения со стороны солдат, когда заговорил о том, что хорошо бы поговорить с немцами, разведать, что у них, какие они... На заре, в один из последних дней мая, когда офицеры ушли в блиндаж, я после предупреждения немцам: «Nicht schiessen!» — «Не стрелять!» — вылез из окопа и, преодолевая робость, пошел к ним, вернее стал пробираться в хаосе сучьев и проволоки. Я подошел к самому брустверу немцев. За ним я увидел круглые шапочки с красными околышками, удивленные лица. Вот немцы! Вот они наконец! Я отдал немцам честь, они ответили. Я заговорил, как

умел, по-немецки, и осторожно косил взглядом вправо, вниз,— где, как мы подозревали, у немцев находилась минная галлерей. Но ничего не смог рассмотреть. Я узнал, что передо мной баварцы. Узнал и номер их полка. Не зная южного диалекта баварцев, я едва понимал, что они говорят. Часто меня охватывали порывы сомнений и боязни, и тогда я начинал плести какую-то сентиментальную ерунду.

Мое возвращение было медленным, я часто оборачивался и все повторял: «Nicht schiessen! Nicht schiessen!» — басили в ответ и они, эти здоровяки, совсем не похожие на тех тщедушных немцев в очках, которых изображали в наших журналах. Уходя, я обещал принести им сахара и хлеба.

Егеря быстро накидали в шапку куски хлеба и сахара, и я уже смелее пошел обратно. Баварцы дали мне в обмен сигарет и небольшую фляжку с вином.

Мой последний «рейс» чуть не закончился печально. Пулеметчики слева уже приготовились открыть огонь, увидев над немецким бруствером ряд голов. К счастью, кто-то их остановил.

Больше я к немцам не ходил. Был издан строгий приказ, запрещающий это. Братание оставило в душе глубокий след — не понятный тогда мне самому.

При моем исключительном интересе к войне я не мог ограничиться окопной жизнью: я подбирал газеты и журналы, валявшиеся в офицерском блиндаже, изучал карты и всячески старался разобраться в обстановке.

Однажды готовился поиск разведчиков. Мы выследили немецкий секрет — маленький окоп, вынесенный в сторону от их позиции и окруженный редким проволочным заграждением. Нам надо было подобраться к секрету, забросать его гранатами и, если удастся, взять «языка». Сборы были недолгие. Мы выслушали инструкции и поползли вперед, в темноту... Вдруг разведчик Галета, украинец, говоривший на малопонятной галицийской «мове», остановил нас. Оказалось, он забыл зарядить гранату. Присели. И вдруг граната зашипела в руках Галеты. «Тикайति!» — закричал он. Мы ки-

нулись в стороны. Грохнул взрыв. Я упал, потом поднялся и почувствовал на левой руке что-то липкое: оказалось — ранен в указательный палец. Дешево отделался!

После взрыва из наших окопов открыли огонь. Ну и попали мы в переделку! Обидно быть под пулями своих. Кое-как мы выбрались обратно. Было конфузно и вместе с тем радостно — уцелели!

Ночь. Новая линия окопов тянется среди колосящихся хлебов. Немолчно гудит артиллерия.

Светит прожектор. Я разложил свои патроны, как мне казалось удобным: аккуратно, открыто — у бойницы. Если немцы пойдут в атаку, я буду стрелять, легко доставая патроны, они ведь тут же у бойницы, под рукой. Полковник Дитрихс, проходя по окопам, увидел мои патроны и сделал мне выговор. Патроны пришлось убрать и держать их в патронташе и подсумках, при себе, а не у бойницы, так как при перебежке я бы задержался, собирая свои «удобно расположенные патроны».

Я часто удираю днем из окопов «гулять». Я бродил по пустынному полю и собирал осколки снарядов. Дело пустое, но я почему-то думал, что это нужно. По шрапнельным головкам, по дистанционным снарядным трубкам я пытался определить расстояние до немецких батарей. Но эти трубки валялись тут давно, и батареи за это время могли двадцать раз переменить свои места. Все было мне ясно, но я упорно продолжал собирать под пулями осколки и трубки. Видимо, на пятнадцатом году своей жизни я еще оставался во власти детских фантазий, которые бывают... так серьезны.

Вскоре нас отвели в резерв дивизии. Мы разместились в пятнадцати — двадцати верстах от позиций, в одной из деревень. Наводили порядок, чистились, но меня отдых еще не прельщал, усталости я не чувствовал.

Те, у кого были деньги, ездили в Ломжу. Получив деньги, и я помчался в город, чтобы улучшить свою экипировку. У портного я требовал, чтобы все было

отлично и полковые нашивки были именно такие, какие нужно: на груди темнозеленая и на обшлагах белоснежные. Затем обежал все кондитерские. Я насытился кофе с пирожными и бродил довольный по городу...

Подошел конец отдыху, и мы снова двинулись на новую позицию. Был вечер, мы шли по обочине шоссе — гуськом или по два. На этот раз позиция наша была справа от шоссе. Мертвый лес оставался далеко влево.

Снова на передовой. Мы, разведчики, с вечера выходили в ночной поиск в сторону немецких окопов и начинали выслеживать: что у «него» — у немцев. В ночной тишине иногда был слышен их кашель, какие-то стуки — «работают, видно». Было интересно и жутко. Бесконечные, пугающие мысли лезли в голову, перед глазами плавали какие-то пятна и круги (от темноты), порой принимаемые за приближающихся немцев. Однако у нас уже был опыт, и никогда попусту разведчики тревог не устраивали.

Днем я стрелял по немецким щитам над их окопами. Выпустив пулю, слушал — раздастся ли треск щита.

Мы совершенно не представляли себе, что в действительности происходит на других участках. Мы не знали о размерах неудач в Галиции и продолжали удерживать свой участок.

Мы были на стыке с армейской частью, но как и чем они жили, рядом с нами, тут же, — никого из егерей не интересовало.

В расположении резервов у нас были свои кладбища. Много преображенцев, семеновцев, измайловцев и егерей осталось под деревянными крестами в ломжинских деревнях. Кладбища содержались прилично, на крестах — дощечки, были даже палисаднички. Но как эти кладбища не похожи на немецкие и австрийские, которые я увидел позже, в 1916 году, под Луцком. У них все было фундаментально: камень и металл, симметрия рядов, идеальная чистота. У нас же просто, как на погосте: кресты, холмики... Хотя не все ли равно тем, кто лежит под этими холмиками?..

Убитых офицеров отвозили в Петроград и хоронили в склепе полковой церкви св. Мирония, на Обводном канале. В некоторых случаях поиски убитых офицеров обходились нам, солдатам, очень дорого.

Обстановка на Юго-западном фронте весьма ухудшилась. После макензеновского прорыва у Горлицы армия, находившаяся в Галиции, требовала резервов. Началась переброска сил с Северо-западного фронта, в том числе и гвардии. Смена произошла 7 июня старого стиля. Рассказывали, что, когда Измайловский полк сменялся армейцами, немцы кричали: «До свиданья, измайловцы! Вы идете в Белосток!» Может быть, это из области вымыслов «солдатского вестника», а может быть, и правда. Но мы не знали, куда и зачем идем. С позиции ушли в деревню Цыдзын. Там стояли два дня. Вот почему записано в моем дневнике 1915 года:

«Два дня были в Цыдзыне. Направление было неизвестно. Пройдя ночью Ломжу, пошли по дороге на Червоный Бор, а затем свернули от дороги налево и пошли по шоссе на Белосток.

Шли три дня, на третий переход пришли к деревне Барцево, от Белостока в семи верстах. Наш полк шел из Ломжи первый, и пришлось ожидать корпус...»

Часть похода я перенес легко, потом стер себе ноги. Было тяжело идти, было жарко. В походе один из егерей выбежал из строя напиться. За это подпрапорщик отхлестал егеря.

Мы расположились в деревне Барцево. Здесь я приобрел полевую книжку, вот первая запись в ней:

«14, 15, 16, 17 июня 3-й и 4-й батальоны в Барцево, Гродненской губернии».

Воскресла прифронтовая жизнь. Нас стали подтягивать. Возросла требовательность, начались дисциплинарные зажимы. Следили за показной красотой —

желтый песочек у расположения рот и т. д. Рота стояла, как обычно на таких стоянках, во дворах и садах — в палатках. Избы (халупы) занимались взводными, фельдфебелями и пр. Начала торговать ротная лавочка, где орудовал один разжиревший кадровик, Георгиевский кавалер, хороший типаж для изображения кулака.

У офицеров начались кутежи. По вечерам, под яблонями, много пили, вызывали песенников; вестовые допивали остатки из стаканов и бутылок.

Егеря вечерами шатались по деревне и заводили, кому удавалось, быстротечные романы. Выдали жалование, как обычно, с церемонией, с выносом канцелярского стола и т. п. Получив рубль-другой, каждый громко произносил: «Покорнейше благодарю, ваше высокородие!» — и шел к себе, соображая, что можно сделать на полученные деньги. Купить несколько булок, сала, молока?.. Я накупил, сколько мог, сладостей и угощал свое отделение. Купил в городе шаровары, гимнастерку и пояс (прибавив присланные мне из дома деньги)¹.

Полковой священник собирал егерей и вел с ними «духовно-патриотические» беседы.

По вечерам на поверках, как всегда, раздавались возгласы: «Я», «Я-о», «Я-у»; пели молитвы и гимн.

Железные дороги готовили эшелоны...

Через несколько дней мы грузились как будто одновременно с кирасирами. Я помню этих высоких парней с черными погонами.

Тронулись на Брест-Литовск. Долго стояли в Черемхе. Свернули на Холм.

Привожу отрывок, сохранившийся с 1915 года. Он не окончен:

«Подъезжаем к Холму. Поезд идет тихо. Впереди видны церкви города... Вокруг открытая равнина. Яркий солнечный день. Часто останав-

¹ Добровольцы покупали обмундирование за свой счет. (Прим. автора.)

ливаемся по пути. На одной из остановок слезаю и бегу к домику, стоящему близ полотна. Вокруг дома несколько вишневых деревьев, ягоды красными точками висят на ветвях. Жителей выселяют. По всему полю ходят наши. Нарвавши вишен, иду к эшелону. Впереди нас разгружаются другие полки. Навстречу идут пустые поезда. Попадают пленные австрийцы. Наконец подъезжаем тихо к станции. Быстро разгружаемся. Раздается команда: «Справа по отделениям, шагом марш». Проходим по городу, направление на запад. Затем сворачиваем на юг. Город красивый, лежит на возвышенности...»

Были мы в Холме, я полагаю, в двадцатых числах июня (старого стиля).

Мы двинулись через Холм в район, где предстояло сменить истрепанный 3-й кавказский корпус (об этом мы узнали уже при смене). Было душно. Иссушенная почва под ногами тысяч солдат превращалась в плотную тучу пыли. Все стало серым. Усы, бороды, брови, виски, затылки — как-то странно поседели. Лица изменились до неузнаваемости. Белели только зубы и белки глаз. Шли в молчании, избегая открывать рты, чтобы не попала пыль. Шли в порядке, который я бы назвал образцовым. Могло ли быть тогда иначе? Внутренняя дисциплина еще не была подорвана. Далеко еще было до анемии осенних дней, до виленского отступления и всеобщей усталости, до сознания бесполезности наших жертв.

Итак, мы шли, окутанные пылью, по которой мягко ступали. Мы проходили через равнодушные деревни, где, кроме воды, трудно было что-либо достать. Традиционное «нищ нема» было на устах у всех крестьян.

Полоса, которую мы проходили, — украинско-польская, католико-униатская. Но после Польши пахло чем-то более близким. Церкви вместо костелов... Маленькие деревянные церковки, на которые истохо, по привычке, крестились солдаты. Одну из них я зарисовал.

Пятьдесят минут шли мы в пыли, неся на себе тяже-

лую амуницию. Но после тяжких пятидесяти минут — десять минут привал. Как сладки всегда эти десять минут! И как быстротечны! Трудно подняться и вновь шагать, словно заведенные машины.

У колодцев кучи жаждущих, гул и звон котелков. Скрипят ворота, кланяются «журавли». Мы пьем, сколько возможно, и наполняем баклажки, но этого хватает ненадолго.

Опять команда нас поднимает и движет вперед. Я иду, передо мной ритмично раскачивается ранец на чьей-то мокрой от пота спине. Все погружены в молчание, в свои думы.

Если б можно было свернуть в сторону, в поле, где воздух чист и нет пыли! Если б можно было оторваться от этого понурого тяжелого марша! Но чувствуешь, что ты прикован к другим, ко всем. Нельзя отставать, неудобно, нехорошо; идешь, едва дыша, так как нос и рот забиты пылью. Ощущение пыли уже раздражает, она проникла всюду. Ремни давят и режут тело, и движениями плеч и рук хочешь хоть на секунду ослабить боль. Вскинешь винтовку, и вновь она опускается, вновь давит.

Смотрю — как идут другие? Каждый по-своему: один — легко, другой — тяжело, третий — как автомат. Колышутся штыки, постукивают котелки, лопаты.

Иногда слышится говор; солдаты сами себя взбадривают, то над чем-нибудь смеясь, то просто перебросятся парой слов. Иногда по рядам передается приказание, повторяемое десятками голосов, с однообразной командной интонацией. Тлеют огоньки цыгарок. Пахнет потом, хлебом...

Мы идем и идем... Где будет стоянка? Какая? Неизвестно.

В дневнике запись:

«Идем 26 верст в день, где-то у границы с Люблинской губернией, у шоссе на Краснотав».

Идем лесами, становится совершенно темно. Люди спотыкаются, слышны тихая ругань, окрики. Падающий может насадить на штык другого. Бывает...

В лесу стоит ка́кая-то часть. Мы ей завидуем: уже стоят, уже отдыхают, пьют чай. Это артиллеристы или обоз, так как мы видим лошадей. Что такое стертые ноги — им неизвестно. Ну, пусть посмотрят на нас. Я почему-то наивно думаю, что они должны проникнуться к нам уважением.

Мы идем все дальше. Неожиданно послышался далекий знакомый гул канонады. Встрепенулись: фронт, позиции дают весть! Мысли мгновенно изменяют свое течение, и меня снова трясет предбоевая лихорадка. Только бы и на нашу долю досталось! Скоро ли, где?..

Но мы ошиблись. Глухой топот ног проходящих по мосту солдат мы приняли за канонаду. Как изумительно похож этот топот на далекий гул орудий...

Слышна команда: «Можно расстегнуть воротники!» Сдавленные шеи освобождаются. Дарована маленькая милость. Слегка нарушена форма. Почему бы ее не нарушить в начале перехода? Дисциплина! Да, она, она — выше всего и прежде всего, — пусть в ущерб всему состоянию полка, самочувствию людей, их удобствам, целесообразности...

Это разрешение — расстегнуть две пуговицы — воспринимается нами как редчайшее исключение из правил.

Есть еще правило — не затыкать дула винтовок. Пусть туда набивается пыль, но не затыкать. Пусть от пыли портится канал ствола, пусть потом ее свирепо чистят, портя нарезы и шлифовку, — но «не затыкать!» Много было таких «правил»...

Мы идем и идем в ожидании зари. Будет день, будет солнце, увидим что-то новое, ясное. Будет, наконец, наша стоянка. Существует же она где-то, стоянка, назначенная именно для нас! И на заре, в ее прохладе, опять ощущаешь прилив бодрости. Мы понимаем, что прошли большую часть пути, остались «гаки», кусочки. Приказ «петь песни» встречается хорошо. Запевала с нежными лирическими нюансами затягивает «Накинув плащ, с гитарой под полою...» И сотни здоровых русских мужиков сладостно, с воодушевлением гудят романс, стараясь петь как можно нежнее и трогатель-

нее в особенно чувствительных местах. Я тоже стараюсь петь нежно и трогательно. И мне приятно, хорошо, остро хорошо!.. Песня, полк, *наш полк*, поход, позиция!..

Пыль побеждена... Усталости нет... У каждого находятся какие-то «резервные» силы...

Проходим мимо древних руин. Далекое средневековье. Речь Посполита, поросшая мхом. Вероятно, тут бродят легенды. Но нам не до них. Мы ждем конца перехода и музыку команды: «Влево, во взводную колонну!» — которая возвестит о том, что мы на месте. И быстро мы скинем с себя грязные рубахи, затрешат костры, раскинем палатки. На бивуаке все будет отлично, по крайней мере в первые часы, когда мы будем наслаждаться отдыхом.

Сворачиваем в сосновый лес.

«Влево во взводную колонну...» Стоянка! Какое счастье! Тело освобождается от тяжести. Со стертых вспотевших ног снимаются сапоги и грязные портянки с темнокоричневыми пятнами — ржавыми следами гвоздей. Егеря шевелят пальцами ног, растирают их. Палатки уже поставлены, выровнены. Вступает в свои права бивуачный распорядок. Дымятся костры, и на перекладинах висят котелки над огнем.

По записи в моей сохранившейся полевой книжке я восстанавливаю некоторые подробности об этой стоянке.

Наш полк и Семеновский расположились у дороги в деревне Жулин. Мы стояли южнее семеновцев, у лесного озера, в котором позже нещадно истребляли рыбу, ловя ее руками, сачками, рубахами и т. д.

Вот текст из моей полевой книжки:

«Донесение. Его Высокоблагородию командиру пеших разведчиков 4-го батальона подпоручику Гапонову. Разведка № 3.

Лес у дороги в деревне Жулин с западной стороны занят семеновцами; на юг, за озерком, находятся егеря 2, 3, 4-го батальонов. Лес сосновый, строевой, несчастый, пехота и кавалерия пройдут...

Противник замечен на сев.-западе от Жулин — в лесу. На юго-восток на горе замечен противник, окопавшийся по склону возвышенности.

Разведчик-доброволец 14-й роты

Вишневский».

Параллельно лесу тянулась дорога на восток, обсаженная вишневыми деревьями. Ягоды были уже зрелые, и мы не раз ими лакомились в свободное время.

Дни стояли жаркие, тихие. Была знойная тишина, которую я любил. Хорошо бродить по полям, среди тучных хлебов и грушевых деревьев.

28 и 29 июня (старого стиля) разведчикам пришлось выйти на первые учебные занятия. Это занятие и отмечено у меня как «разведка № 3». Я набросал планы (сохранившиеся в книжке) и отметил удобные пути для прохода — с фланга через Жулин и по невысокой ржи через дорогу — в лоб.

Мы занимались с интересом. Был простор инициативе, не давила тяжелая дисциплина. Нас было мало, и мы часто действовали по два-три человека. В большинстве это были наиболее brave и молодые егеря.

Мы позволяли себе и вольности: лежали в хлебах, болтали, курили...

Роты в это время занимались более скучным делом — то строем, то элементарной тактикой, то стрельбой. Взводные монотонно покрикивали: «Противник замечен на три пальца влево от трех деревьев, прицел 8...» Пылало солнце, и вспотевшие егеря щелкали затворами, делая вид, что стреляют по направлению трех деревьев. Потом с песнями шли в лес, в палатки.

30 июня была разведка № 5. Вот мое донесение о ней:

«Выслав из леса три дозора по два человека, разведчики походным порядком, по одному, пошли на восток. Выйдя на бугор, начали делать перебежки по одному с обоих флангов. Подойдя шагов на 50 к лесу, бросились по команде старшего в атаку на окопы противника, которые были расположены по опушке мелкого соснового леса.

Противник, будучи приведен в замешательство быстрыми ударами с фланга 1 и 3 отрядов, отступил, открыв огонь по наступающему противнику. Мы завязали ружейный бой».

Последнее — для красоты, ибо ведь все это было учением.

Приведенное донесение я быстро разработал и дополнил, дав новые данные. Указал пути движения обходных отрядов и пути отступления противника. Подписал: «С. Р. дв. 14 р. Вишневский» — старший разведчик, доброволец 14-й роты. Это была моя первая официальная командная должность.

Вспоминаю «атаку». Мы, задыхаясь, летели. Я был опьянен — настоящих атак ведь я еще не знал и утолял свою жажду их суррогатом — учениями. Мы побывали в атаках позже.

Вот еще одно донесение, вернее запись:

«Ночная разведка № 6.

14-я рота заняла сторожевое охранение. Три заставы; у 3-го взвода — три караула и три поста.

Гапонов ходил в атаку на 4-й взвод. 3-й отряд с Косаревым: двое из шести попали (в плен), но удрали, Косарев, я и Алпатов ползли на юг к деревне по меже, проползли мимо 4-го взвода и пришли в деревню к лощине, где и явились к Мунтянову (к-ру 14-й роты)».

Я припоминаю эту темную ночь и острое волнение, когда мы, как змеи, ползли осторожно, но упрямо, к цели. Минутами мне казалось, что все это — совершенно всерьез, и я замирал от опасений попасть в плен, нарваться на заставу.

* * *

Мы опять начали войну всерьез. Гвардия сменила 3-й кавказский корпус и приняла на себя удары немецких частей. Мы снова двинулись на позиции. Я без грусти попрощался с лесом, полями и пашнями. Я рвался в бой с молодым безразличием к опасности. И когда

полк остановился, заняв место в резерве дивизии, я немедленно пошел вперед, на линию огня. Со мной не обращались еще так строго, как это было позже, к осени. В дневнике запись:

«Я пошел на 6-ю батарею (Лейб-Гвардии Артиллерийской Бригады), которая стояла близко от нас, и попал под обстрел. Но германские снаряды давали перелет. Идут раненные измайловцы...»

Я помню эту батарею и свой наивный оптимизм. На лотках у орудий я увидел ничтожное количество снарядов, мне хотелось думать, что их много. Приятно блестели желтые гильзы, гудели выстрелы, и я уверял себя, что все в порядке. На другой день, 6 июля 1915 года, я записал в дневнике:

«Отступаем к Ваньковщизне. Становимся в лесу. К вечеру видны разрывы снарядов...»

Мы не смогли удержать напора немцев. У них тоже шла гвардия. Мне было смертельно досадно, что мы отступаем.

Макензен атаковал в Люблинском и Холмском направлениях и потеснил нас... Нам была тяжела потеря каждой деревни — всех этих Бзите, Жулин и т. п. Как будто надо было держаться за каждую халупу. Мы совершенно не понимали общего положения на фронте. А оно складывалось так, что командованию, во избежание разгрома, надо было осаживать Юго-западный фронт, ибо немцы стремились выйти ему во фланг и в тыл с Наревского направления. Мы могли попасть в ловушку, если бы оставались на месте.

И отход продолжался. Истребительный отход! Мы разоряли страну, изгоняли население... Беженцы заполнили своим скарбом тыловые пути. Скрипели «фурманки», ревел скот, пищали дети. Горизонт был в дыму сжигаемых деревень и полей.

У Ваньковщизны мы меняли места, колесили по полям, лесам и дорогам. Наконец мы вышли к позициям на стыке гвардейских стрелков и стоявшего слева

армейского корпуса. Мы шли взводными колоннами по мокрому, вязкому полю. Интервалы между взводами были большие, так как каждую минуту мы могли попасть под артиллерийский огонь. Вдали был лес, лиственный старый лес с могучими деревьями. В нем мы остановились, усталые и подавленные постоянными переходами, какими-то путанными приказами — первыми признаками неудач. Было сыро, было трудно развести в лесу костры, чтобы немного просушить одежду и согреться кипятком. И тут, в этой раздражающей сырости и пахучей полутьме леса, мы попали под огонь немецкой тяжелой артиллерии. Бесполезно было прятаться. Затаив дыхание, мы ждали разрыва снарядов, которые вызывали ужасающий грохот в лесу. Резонанс был чудовищный, и нам казалось, что у немцев какие-то невиданные калибры. Скверно было. Деревья выворачивало с корнями и разносило в щепки. Немцы, однако, не могли корректировать стрельбу и скоро перенесли огонь. Если бы они знали, что в лесу гвардия, они искрошили бы нас...

Тяжелые воспоминания связаны с этими днями блужданий по ближним резервам. Мы были совершенно не в курсе происходящего и жили слухами, сбивавшими нас с толку.

Наконец полк выдвинулся на очередные позиции. В резерве мы были, я полагаю, около пяти дней. Записей того времени у меня не сохранилось.

Погода улучшилась. Определенность назначения ободрила нас, стало казаться, что все лучше, чем оно было на самом деле. Мы заняли позиции в лесу — слева от лейб-гвардии Гренадерского полка. Часть окопов выходила и в поле. Район — к югу от Райовца. За нами на окраине деревни открыто, на пригорке стояла 5-я батарея гвардии артиллерийской бригады. Ее выстрелы нас оглушали.

Войдя ночью в лес, мы легли, не раздеваясь, — кто где. Я завернулся с кем-то в палатку. С утра мы, разведчики, вошли в окопы, занятые одной из рот 4-го батальона. Я ориентировался быстро. Прилип к биноклю и жадно высматривал окопы немцев, находившиеся на расстоянии каких-нибудь трехсот — четырехсот

шагов от нас. Немцы занимали развалины одной деревушки и картофельное поле. Я видел мелькающие круглые шапочки немцев и начал стрельбу из-под козырька окопа — свое старое занятие.

Днем вылез и под обстрелом осмотрел немецкие трупы. У опушки до нашего прихода шел бой; немцев отбили. У вырытой могилы лежал огромный вздувшийся труп, который не успели похоронить, весь почерневший... Немец... По найденной у него открытке мне удалось узнать его воинскую часть. У меня было острое любопытство к немцу. Вот, пусть мертвый, но, несомненно, реальный враг. Я рад был этой реальности, так как меня тяготило общее отвлеченное представление о противнике. Меня возмущало то, что противник этот почти не виден. Это было странно и раздражало.

Ночью разведчикам пришлось пойти в лес, чтобы точно определить расположение гвардейского полка. Нас чуть не срезал пулемет. Как-то мгновенно все бросились ниц, скатились обратно в окоп, и пули прошипели прямо над головами. Возьми, пожалуйста, немец пониже — и нас бы изрешетило. Отдыхались, что-то радостное сказали друг другу и пошли дальше по окопам. Снова выбрались наверх и скрылись во мраке. Вот кончились окопы егерей. Где же гренадеры? Прошли дальше, повернули и, наконец, нашли окопы гренадеров. Определили их линию и вышли к семеновцам. Поговорили с молодым офицером, несколько выяснили положение дел и вернулись.

В одну из ночей пришел приказ об атаке. Я приведу запись об этой ночи, сделанную в 1915 году:

«Стояла тихая июльская ночь. Луна еще не взошла. Мерцали звездочки. Далеко на юге вспыхивали выстрелы и доносилась канонада. Наш батальон стоял за лесом, верстах в двух от окопов. Завтра атака, не слышно шуток и веселого смеха. Все тихо. Лишь часто взлетают ракеты и освещают голубым светом лес. Раздают патроны и консервы. Все старательно укладываются. Раздалась коман-

да, быстро построился батальон. У опушки леса к нам подошел наш командир. Он поглядел на нас, пожелал успеха и, тяжело вздохнув, отошел. По рядам пронеслось: «Постараемся». Наконец пошли. Нам сменять 3-й батальон. Тихо в лесу. В одном месте тлел еще костер. Мы молча идем по лесной дороге...»

Батальон хотели бросить в ночную атаку на разрушенную деревеньку и картофельное поле. Настроение было мрачное. Пришел священник. Кое-кто, в том числе и я, передали ему письма родным. Построились и пошли. И на дороге, когда мы уже готовились к атаке, нас остановили. Атака была отставлена. Говорили, что это было делом командира полка, который горячо сопротивлялся ненужной, по его мнению, затее. Я помню, что мы все командира одобрили. Что дала бы атака? Большие потери и кусок картофельного поля. К чему? В то, что это поле тактически ценно, — никто не верил. Мы понимали, чуяли ненужность боя и потому были мрачны.

16 июля (старого стиля) начался отход на Реповец. Запись из дневника:

«16-го во время отхода на Реповец — Павлово оставался для отстреливания».

К ночи все тихо приготовились и бесшумно, с наступлением темноты, стали уходить из окопов. А мы, разведчики, двинулись вперед — имитировать роты. Кажется, я еще до сих пор не рассказал об этой обязанности разведчиков.

Мы рассредоточивались редкой цепью, теряя друг друга из виду, и постреливали, чтобы обмануть противника, подражая редкой и шалой стрельбе, которая обычно ведется солдатами в окопах по ночам. Мы пускали также ракеты, и они взвивались и падали, сияя голубым светом над землей, которую через несколько часов нужно было оставить.

И на этот раз мы заняли окопы в поле густой и тяжелой пшеницы, которой не суждено было дожидаться жатвы.

На душе была тревога... Пустые окопы были неприятны. Мы чувствовали себя как-то сиротливо: привычка «ощущать соседа» заставляла нервно кого-то искать слева или справа.

Нас было так мало, — а впереди целая армия, тысячи немцев, готовых двинуться на нас.

После кампании 1915 года я кое-что записал об этом отступлении 16 июля:

«На заре мы стали уходить. Изредка раздавались выстрелы. Мы стягивались к пустым окопам резервов. Я влез на громадное дерево, где был наблюдательный пункт, но что мог я увидеть в предутренней дымке? Свежие следы говорили о недавней стоянке наших войск. Валялись банки от консервов, бумага, солома, тлел костер.

Вышли к деревне за лесом, где стояла раньше пятая батарея. Пустая деревня: население уводилось при отступлении. У одной из халуп сапер поджигал солому. Пламя взвивалось быстро, и дымные факелы могли обнаружить наше отступление. Просвистел снаряд — это, вероятно, наугад стреляли немцы или, может быть, по дыму.

Мы медленно шли цепью. Встретился казачий разъезд, указали им дорогу.

Вокруг на много верст уже пылали деревни и усадьбы. Горизонт был затянут дымом. В воздухе летали обгоревшие соломинки, легчайшие черные стебельки.

Все чаще и чаще стреляли немцы. Бесцельно, с гулом рвались в пустом лесу снаряды, кроша деревья.

Плелись беженцы, подавленные и покорные. Мы двигались к Реповцу».

Выход из сферы огня обрадовал нас. Мы снова на что-то надеялись. На одной из улиц Реповца была открыта лавка. Я купил немного сладкого — кажется, коробку мармелада. Как быстро может воскреснуть человек!

Верстах в двух за местечком солдаты рыли окопы, варили чай и благодумствовали, радуясь тем коротким минутам, которые им оставались до скорой встречи с немцами. Вскоре мы нагнали наш полк: он расположился в полуверсте от линии железной дороги. Наш батальон уже рыл окопы. В глубоком овраге стояла резервная рота; там же в землянке был и Бутенко — батальонный командир. Очень скоро разведчиков отправили вперед. Мы не успели даже передохнуть. Мы шли бодро, охотно, направляясь к железной дороге. И вновь мне все рисовалось таким приятным — хорошим, простым. С гордостью говорил себе: «Мы ведь чаще других впереди». Хотелось что-то совершить смелое, рискованное.

Быстро дошли до линии железной дороги, где были переезд и будка. Несколько левее — какой-то сад, строения.

Мы не обнаружили немцев, но они сами дали о себе знать, послав несколько снарядов. Я помню, как мы удивлялись оперативности немцев: сразу успели нас обнаружить! Не обращая внимания на выстрелы, мы по пути забрались в чужой сад, в надежде найти что-нибудь съестное. Может быть, попадетсЯ свинья, гусь или курица? Лазили в какой-то погреб. Один из егерей — громадный бородатый молдаванин — разыскал денатурированный спирт и напился. Я, не чувствуя потребности в этом, смотрел на него с внутренним неодобрением. Солдаты тоже корили его, а ему было все равно, — он дорвался до редкой улады и, может быть, впервые за долгие месяцы чувствовал себя превосходно.

Никаких смелых и рискованных дел нам на этот раз не удалось совершить, и мы вернулись обратно.

Пришлось взяться за рытье окопов. Я удивительно четко помню, как я делал свою «ячейку», так же как когда-то, играя на пляже. Моя детская фортификация, вероятно, была смешна. Я обложил бруствер кирпичом, кусками земли, дерном. Было бы гораздо лучше этого не делать. Пули, попадая в кирпич, только бы повредили мне. Понимал ли я это, или нет? Понимал, но продолжал свою нелепую постройку. Бывает так, и объяснить причину — невозможно.

17 июля 1915 года завязался бой, о котором я скупо записал в своей полевой книжке:

«Во время боя 17 июля участвовал в наступлении и отступлении. 18-го ночью ходил в разведку брошенных окопов и принес раненого Ветродубова и убитого, и 10 винтовок, и снаряжение и в ту же ночь оставался для отстреливания».

Я был 17 июля в *первой* своей настоящей атаке, правда быстро захлебнувшейся. Я видел вещи, случающиеся страшно редко... Но — по порядку.

Наши окопы были в примитивных рвах, канавах, часто изолированных друг от друга, то есть ходы сообщений вырыты не были. Путь в резерв к оврагу шел по открытому полю.

Внезапно начался сосредоточенный расстрел батальона теми тяжелыми снарядами, которые всегда подавляли нас, вызывали моральную депрессию. Эти снаряды рвались с непереносимым жутким криканием. Черные клубы дыма и специфический запах тянулись вместе с пылью по полю. Окопы часто содрогались от разрывов снарядов, сыпался песок, отваливались целые пласты земли. Мы с каждой минутой становились молчаливей и подавленней. Мы старались забиться в любую щель, чтобы почувствовать какую-то защиту, понимая все же, что и в этой щели нас может придавить или разорвать, если попадание будет прямо в окоп или в бруствер. Нарастающее шипение снарядов погружало в самые глубины страха, отчаяния и безнадежности. Это шипение, эти приближающиеся звуки — пожалуй, самое страшное. Всегда ждешь — вот-вот сейчас, через несколько секунд этот снаряд грохнет туда, где ты находишься, и все кончено. Каким невыразимо страшным может быть ожидание смерти, если оно повторяется во всей остроте каждую минуту. Как бороться со страхом? Скрываешь его, но это в сущности ничего не дает. Только тогда, когда видишь страх не владеющего собой человека, жалкие и некрасивые внешние его проявления, тогда становится чуть легче от сознания: а я держусь лучше.

Втиснутый в какую-то ямку, щель, укрывшись под передней стенкой окопа,— ищешь хоть какой-нибудь возможности чем-то отвлечься, защититься. Нам помогало курение. Мы затягивались толстыми махорочными цыгарками. Хотелось курить, курить... Выторговываешь в тайной молитве жизнь, стыдишься этого, потом забываешь стыд, тянешь цыгарку, думаешь о возможностях спасения: «Вот если бы только ранило...»

Слушаешь свист и шипение снарядов и осколков. Хочется их не слушать. Боишься движений — вдруг попадет как раз в то место, куда передвинешься, куда пересядешь, прислонишь голову. И в то же время хочешь двигаться, чтобы окончательно не оцепенеть.

В начале боя ряд пулеметных пуль яростно прошипел над моей головой, над моей забавной фортификацией.

Постепенно батальон приходил в состояние какого-то разгрома. В окопах было все больше и больше убитых и раненых. Я ничего, кроме окопа, не видел, но я понимал суть происходящего.

Над окопом, согнувшись, пробежал в тыл один егерь. Многие ему позавидовали. Через несколько секунд он был разорван снарядом.

Так проходили часы, полные непрерывных похорон. Неожиданно справа, на участке соседней роты нашего же батальона, послышалось «ура». Сразу мысль о немецкой атаке, потом о нашей, и, несмотря на внутреннее сопротивление, каждый всё же готовился выйти наверх, выкарабкаться на бруствер и, встав, тоже идти в атаку.

«Ура» замерло. Беспорядочная стрельба... Мы не понимали — что же происходит справа от нас...

Как потом выяснилось, это была частная атака, не давшая никаких результатов. Потеряв своих офицеров, атакующая рота отошла. Нас не подымали. Мы продолжали сидеть в окопе. Опять текли беспросветные минуты, может быть часы. Казалось, мы совсем оторваны от других, брошены на произвол судьбы. Бездействие было уже нестерпимо.

Вечерело... По окопам раздалась команда, передаваемая от одного к другому, по привычке, бодрым,

повелительным тоном: «Выходи!» Мы заторопились и, замирая от ожидания атаки, полезли наверх.

В сумерках впереди нас появились цепи немцев. Мы вышли им навстречу и... остановились. Не было команды «вперед!» Никто нас не звал в атаку, никто не кричал «ура». Столпившись, мы глядели на немцев, на сереющую даль, на насыпь железной дороги, на вечернее небо и не знали, что нам делать.

Кое-кто стрелял, не считаясь с тем, что легко можно было подстрелить своих же. Выстрелы эти, раздававшиеся вокруг, сбоку, сзади, страшно нервировали. Быть подстреленным своими — это нелепо.

Раздавались возгласы: «Вон, вон немцы!», «Не стреляй!», «Вперед!» Но все были недвижны, вернее суетились на месте, возбуждаясь криками, видом немцев, ожиданием атаки, негодуя на отсутствие дальнейших распоряжений.

Я сказал бы, судя по себе и вспоминая других, что страх наш уменьшился. Подавленность, вызванная тяжелым обстрелом, проходила, так как обстрел стих. Подготовка немцев к атаке, видимо, закончилась. Было легче и оттого, что борьба становилась равной: один на один, в чистом поле. Вероятно, каждый из нас все это мгновенно усвоил.

Во всяком случае лично я воспрял духом, забурила моя обычная активность.

Не помню, по своей ли инициативе, или по приказанию, я бросился вернуть отходивших справа егерей.

Я разглядел ряд раненых и убитых. Один раненый молча сидел, скорбный и сосредоточенный. Солдат, видимо, ждал решения своей участи. Он понимал, что помощи не будет. Я пробежал мимо. Что я мог ему сказать, обещать? Я на лету что-то кричал встречным солдатам, указывая им путь влево, горячился и возбуждался все больше, счастливый тем, что я жив, что прошел омерзительный страх, подавленность, что я двигаюсь и выполняю, видимо, важное поручение. Вокруг беспрерывно свистели пули. Я мчался дальше, продолжая созывать егерей.

Тут-то, на поле, я услышал крик Гапонова: «Разведчики, ко мне!» Я завопил тоже: «Разведчики,

сюда!» — и кинулся к Гапонову. Был начальник! Ощущение нормы успокаивало. Был свой, близкий. К нему!

Нас собралось немного. Гапонов, с обнаженной шашкой, крутя ею над головой, кричал что-то. Так началась наша атака.

Мы кинулись навстречу немцам, почти ничего уже толком не видя, не понимая того, что происходит. Нас повел наш начальник, и этого было достаточно.

Атака продолжалась несколько секунд. Пуля попала Гапонову в горло, он упал и захрипел, булькая кровью. Мы остановились. Все было кончено. Сами мы не сумели продолжать атаку.

Я склонился над Гапоновым — с жалостью, с испугом. Он был мертв.

Началось общее отступление: кто-то не выдержал, побежал к оврагу, за ним другой, третий... Я в отчаянии спрашивал себя: «Что же это? Как же можно? Надо остановиться...» — но ноги как бы сами несли и меня. Я не был в состоянии отстать от других, попав в поток бегущих солдат. У оврага перед нами появился незнакомый офицер из другого батальона. Он был молод. В руке у него был револьвер. Офицер грубо и смело накинудся на бегущих и в несколько секунд остановил нас. Он выругался и зычно скомандовал, как на плацу, как на ученье, как после привала: «Станови-и-ись!»

Одно это слово заставило всех повиноваться. Под пулями, на поле, на виду у немцев, мы построились. «На-право, равняй-сь!»

Головы повернулись направо. Я стоял со своим карабином на фланге 4-го отделения крайним и горько думал: «Гапонов убит... Гапонов убит...»

— От середины — в цепь!

Мы рассыпались в цепь и стали рыть новый окоп, от которого до брошенного нами было не более трехсот шагов.

Незаметно настала ночь. Тихая июльская ночь. И снова взлетали голубые ракеты, снова трещал где-то пулемет. Уставшие солдаты спали, и только разведчики, неутомимые герои, подбирали раненых и убитых в поле. Быстро вырыли братскую могилу, и вскоре простой деревянный крест уже белел в темноте. Доносился

грохот артиллерийской стрельбы, и изредка жужжали над ухом шальные пули, взрывая песок то здесь, то там.

Вот один из эпизодов войны 1914—1917 годов.

Комментарии, как говорится, излишни.

Кажется, в эти дни (письмо без даты) я писал домой:

«Здравствуй, дорогая мама!

Я жив и здоров... Потери в нашей роте — 5 человек. Легко ранен — меня оглушило бомбой на левое ухо, теперь ничего — все слышу.купаюсь в ручье, читаю газеты. Вообще все хорошо.

...Пришли подштанники, у меня только на себе, и еще мыло и шоколадки 2—3, если хочешь, а если нет, то не надо.

Целую тебя.

Воля».

Мы снова на позиции.

Я рыл окоп со всеми, но делал это, как всегда, неумело. Егеря быстро углубляли окоп. Земля взлетала с лопаток вверх и глухо рассыпалась по жниву.

Окоп был уже в «рост», намечались бойницы. «Позиция» всегда успокаивала, но следы паники и неудачи еще были остры.

Тишина.

«Разведчиков вперед!» Знакомый приказ. Надо расставаться с уютом окопа; нельзя поспать, нельзя прикурнуть с цыгаркой, надо итти...

Было приказано разведать покинутые нами окопы. В них уже могли быть немцы, но могли и не быть...

Мы поползли, выполняя приказ, с чувством любопытства и сдерживаемым страхом. В ночи столько неожиданностей и опасностей и так просто быть подстреленным соседом, который, отстав на десяток шагов, вдруг с испуга спустит курок.

Между окопами триста — четыреста шагов, — мы между ними. Из наших окопов, несмотря на предупреждение: «Вышли разведчики», — может начаться без причины, просто от обалдения, стрельба (нам в затылок).

Окопы, к которым мы направлялись, могут быть заняты немцами.

Мы проползли нейтральную зону, натыкаясь кое-где на брошенное снаряжение.

Достигнув окопов, мы, готовые ко всему, нырнули в них. Немцев там не было. Мы увидели брошенных нами при отступлении раненых и трупы своих солдат.

Ползти еще дальше мы не могли, не хватало сил, да никто и не приказал нам этого, — мы неизбежно наткнулись бы на немцев.

От раненых узнали, что немцы были в окопах и даже кого-то из раненых напоили водой. Странно... Почему они не приколотили раненых? Ведь про немцев пишут, что они изверги. Возник ряд мыслей, впервые поколебавших эти внушаемые нам представления.

В окопах страх прошел. Слава богу — немцев пока здесь нет и мы целы. Можно собрать забытое снаряжение, забрать раненых... Мы приступили к делу...

Когда мы возвращались обратно, нас чуть не расстреляли в упор свои. Успели закричать — уцелели. Не зря мы этого так боялись. Несколько раз пришлось нам проделать путь из окопов в окопы.

Часа через два началось наше новое отступление. «Разведчикам оставаться в окопах!»

Довольные, солдаты гуськом уходили, а мы, прижавшись к стенке окопа, давали им дорогу.

Пустота, тишина, мрак. Позиции больше нет. Кусок земли, за который дрались, почему-то брошен. Опять «прорыв»? Мы не знали ни замыслов Ставки, ни планов Гинденбурга. Мы были обыкновенной разменной монетой. Впрочем, я был готов на все и знал, куда и на что иду, убегая на фронт.

«Ставка стремилась выпрямить и сократить фронт, отводя войска, а Гинденбург хотел срезать выступающий клин русских войск, уничтожить наш фронт и нажимал с Наревского и Южного направлений».

Мы, разведчики, кончили имитацию и ждали разрешения покинуть окопы. Дождавшись, бросились, счастливые, во мрак леса. Сутки-другие в нашем распоряжении! Жизнь обеспечена!

Мы шли деревнями, нагоняя арьергард...

Чудесно было шагать под солнцем, вне строя. Только в ушах все еще стоял треск выстрелов — последствие отгремевшего боя. Минутами я забывал, что это слуховые галлюцинации, и, втягивая голову в плечи, замирал от смертного шелканья пуль. К утру мы нагнали своих.

С 19 по 27 июля мы шли на север; временами отдыхали, стояли в резерве.

Путь наш лежал вдоль железнодорожной линии на Влодаву, к северу, в сторону от нее. Мы миновали Цыцов и Босово, пройдя между ними, и шли к Ганску.

Во время этого похода нам было хорошо от сознания безопасности, так остро ощутимой после длительного пребывания на передовой линии огня.

Ощущению относительного благополучия мешало то, что полк был в отчаянном положении: обозы ушли далеко (унося ноги!), и мы остались без продовольствия.

Нас ожидали приготовленные позиции — глубокие окопы, блиндажи, проволочные заграждения, засеки (из отструганных срубленных деревьев, обращенных остриями к противнику и перепутанных проволокой). Поработали тыловые команды — саперы и, вероятно, население. Ну, здесь-то продержимся!

В этих великолепных, по сравнению с самодельными ровиками и «ячейками», окопах я впервые познал чувство голода. Я готов был, как зверь, искать пищу. Что-то нашли. Варили зеленые кислые сливы и тряслись над картофелем, которого было очень мало.

После смерти Гапонова на одном из переходов нам дали нового начальника разведчиков — прапорщика Ниротморцева. Был это молодой господин из вольноопределяющихся, несколько правоведческого типа. Он старался казаться строже и опытнее, чем был. Войну видел лишь мельком осенью 1914 года, а до сих пор проходил в Питере офицерский курс.

Он вызвал меня, как старшего разведчика 14-й роты. Я в ответ на его вопросы охарактеризовал наших людей и разведочную практику. Помню, был польщен вызовом и оказанным мне доверием.

Итак, мы голодали в окопах у Ганска. Утешала меня наивная вера в мощь данной позиции и некоторый комфорт окопов: были козырьки от дождя, может быть они спасут и от шрапнели.

«Разведчики, вперед!»

С нами дебютирует Ниротморцев.

Я постараюсь с наибольшей тщательностью описать эту разведку в день 27 июля 1915 года, так как в ней я заслужил по статуту Георгиевский крест, который вышел мне в октябре 1915 года.

Рассыпавшись цепью, мы двинулись вперед и прошли большое расстояние. (Противник был уже замечен и до разведки.) По мере продвижения наш порыв слабел. Ниротморцев опыта еще не имел, и я рискнул «почтительно» подать совет:

— Ваше высокоблагородие, на поле-то нас видно, лучше бы к кустам взять, влево, да заодно узнать, что на опушке леса.

— Да, да...

Так и сделали. Разведчик Журавлев, молодой, хороший, смысленный парень, пошел со мной в лес. Мы совершенно отделились от команды и углубились в чащу, подаваясь глубже и ближе к противнику. Вышли на лесную дорогу. Журавлев, обладавший более острым зрением, заметил впереди — где дорога выходила к полю — немцев. Вероятно, это была застава. Напасть на нее нам вдвоем было явно не под силу. Мы посоветовались и решили сообщить своим. Мелькнул план обхода по лесу: «Можно немцев трахнуть с фланга, из лесу». Мы пошли обратно. Неожиданно слышали конский топот. Чьи, кто? Ах, если бы наша конная разведка!

Сразу стало как-то одиноко. Смотрим друг на друга — страшно. Отошли от дороги на два шага и стали

у деревьев. Почему не спрятались? Чорт его знает! Стали — стоим и ждем. Немцы, не замечая нас, подъехали вплотную. В первый раз за всю войну я столкнулся лицом к лицу с реальным врагом (ломжинские братанья тут, конечно, в счет не идут). Вот они! Впереди — офицер на здоровенном коне. За офицером — в касках два солдата. Увидев нас, они растерялись от неожиданности и остановились! Мы сразу нацелили наше оружие на немцев. Журавлев взял наизготовку. Немцы-солдаты возились с притороченными к седлам винтовками; офицер вытаскивал из кобуры револьвер. Мы стояли перед германским кирасирским разъездом. Хорошая встреча! Все длилось несколько секунд. Я первый направил на офицера свой карабин и увидел его испуг, мольбу. Офицер что-то сказал. Я не разобрал его слов.

Надо было так или иначе кончить с этой «живой тактикой», в которой участвовали двое русских гвардейских егерей и три германских кирасира. Если бы растерявшиеся кирасиры первыми нас взяли на мушку, то были бы мы изрублены, расстреляны или взяты в плен. Но три здоровяка на конях упустили минуту. Может быть, от самостоятельного удара их удерживала дисциплина? Не знаю. Я целился в офицера, Журавлев — в ближнего кирасира, и вдруг мы завопили «ура». Это был непроизвольно вырвавшийся бодрый клич атаки. Грянули два наших выстрела. Кирасирский разъезд перестал существовать. Я видел тяжелое тело, летевшее в кусты, топот, мелькание... Двое убиты или ранены. Лошади без седоков летели к немецкой заставе. Одного кирасира мы взяли в плен и немедленно доставили в окопы. Его металлическая с орлом каска, к большому моему огорчению, досталась не мне, а командиру батальона. Мне *не был положен по чину* мой трофей.

Пленного срочно потащили по штабам... Прощай, кирасир! Поедешь куда-нибудь в Сибирь. Судьба! Нам не улыбалось попасть под твой палаш или в немецкий лагерь для пленных.

Кончив бой с кирасирами и сдав «языка», мы кинулись опрометью к своей группе разведчиков, чтобы предупредить их о немецкой заставе. Я доложил Нирот-

морцеву о происшедшем. Оказалось, что и они с другой стороны налетели на заставу. Мы не успели их предупредить во-время.

Немцы открыли стрельбу, и нам пришлось уходить. Ниротморцев струсил, отходили мы плохо. Немцы стреляли нам вслед. Один из разведчиков был ранен в живот. Он молил пристрелить его, но мы вынесли его под пулями — спасли.

Вернувшись в окопы, мы с Журавлевым рассказали друзьям о нашей удаче с кирасирами. Я был очень доволен.

В походной книжке запись:

«27-го ходил в разведку, узнал, где неприятель, зашел с Журавлевым к самому их караулу, наткнулся на разъезд из 1 офицера и 2 солдат, имел с ними стычку, после чего 1 лошадь, офицер и 1 солдат были ранены и рассеяны, а мы вернулись с пленным... Затем обратно в команду».

Георгиевский статут рассматривал такие дела, как достойные награждения крестом. Ниротморцев сам написал представление, упомянув некоторые мои прежние дела. Журавлев был представлен к медали.

Поздно вечером 27-го опять: «Разведчики, вперед!»

Пришлось идти в выдвинутый вперед караул и охранять работы по уничтожению каких-то руин перед окопами, где немцы могли посадить наблюдателей.

Совершенно неожиданно, несколько позже: «Разведчикам остаться на позиции».

Как, опять отступление? Покидать и эти окопы? Опять где-то прорван фронт?

Мы печально сидели в окопах — отстреливались. Выжидали положенное время. Перед уходом подожгли солому и плетни окопных оград (у стенок). Окопы загорелись. Мы совершили ошибку — непродуманно зажгли окопы из чувства досады и нежелания отдать врагу прекрасные сооружения в нетронutom виде. Этим мы обнаружили наш отход.

Мы отступили сравнительно недалеко и остановились у какого-то заводика.

Роты расположились в дрянных «самодельных» окопах. Я пошел к землянке батальонного командира разведать новости. Телефонист надрывался, поддерживая связь по четырем-пяти направлениям. «Немцы накапливаются перед нашим участком» — сообщили из передовых окопов. Батальонный озлился: «Опять это — «накапливаются»... Вечно они накапливаются. Пусть там не празднуют труса!..» Но наши окопы уже были под обстрелом, песок осыпался со стенок землянки. Видимо, немцами готовилась атака. Их артиллерийский огонь, несомненно, был подготовкой к ней.

День был очень тревожный, и думалось, что удар немцев может причинить нам много бед. Отступления, потери, нехватка офицеров — бодрости не придавали.

Но атаки не последовало. Несмотря на это, ночью окопы были снова покинуты. Мы, разведчики, как правило, оставались имитировать.

Если б мы промедлили тогда с отступлением, цепляясь за местность, немцы с Наревского участка вышли бы во фланг и тыл наших армий центра и левого фланга.

Итак, мы отступали.

Запись из полевой книжки:

«От Ганска мы прошли у Влодавы, на Погорельцы — Мосты — Грубешов».

29 июля наши части начали занимать позиции на болотистой местности у Грубешова. Мы, разведчики, подоспели тогда, когда части уже расквартировали. В деревне была толчея: искали солому, сено, доски, дрова, покупали молоко, овощи...

Опять нам пришлось, не отдохнув, идти в разведку — в лес, что против окопов. Я, понятно, ждал снова встречи с немцами, прикидывал план действий, но одновременно как-то суеверно думал: «А вот на этот раз удачи может и не быть... Носит тебя, носит, где-то и положит...»

Лес был чудесный. Очаровывали шипшинские пейзажи, но я замечал это лишь минутами. Было не до них.

Мы вернулись без особых результатов, немцев не встретили. Но они, как всегда, дали знать о себе артиллерийским огнем. Тяжелые снаряды рвались на болотистой почве, поднимая на воздух комья черной сырой земли. Они шлепались вокруг нас часто, как черный град. Хотелось пить — и мы пили выступавшую из-под ног болотную воду. У опушки леса показались немцы. Началась охота за ними.

Когда усиливался артиллерийский обстрел, все влипали в сырую землю. Мы провели два дня на этой позиции. Вечером 30 июля снова отступили. Разведчики, как всегда, оставались, отстреливались и отступали позже своей группой, не стесняемые строем. В какой-то избе мы весело жарили блины. В чужой печке на чужой сковородке шипело чужое сало, и вкусны были комки горячего теста. Должен заметить, к чести разведчиков, мы никогда не грабили, не насильничали, а подкормиться за чужой счет солдату тогда полагалось и в вину не ставилось.

Под Тучной был последний боевой участок егерей на Юго-западном фронте в 1915 году. Снявшись с него, шли к Копытову и оттуда к Брест-Литовску. Мы сразу почувствовали, что переходим с отрывом от фронта на другое положение.

«Подтянись!»

Прибыло пополнение маршевиков — рослые новобранцы. Запомнился мне среди них один, с огромной бородой, по фамилии Ольхов. Ротный командир плохо встретил маршевиков: кто-то из новобранцев был им крепко избит...

Итак, мы у крепости Брест-Литовск.
В записной книжке:

«На шоссе у усадьбы около вокзала остановились. Видна пороховая башня. Выдали жалование 5 августа. Грузимся на север...»

Куда, зачем?

Гинденбург решил сильно нажать со стороны Немана и охватить правый фланг русских армий. Но Ставка предупредила этот маневр, сосредоточив в Вильно сильную армейскую группу. Нас — гвардию — направили в эту группу. В Брест-Литовске было непрочное, беспокойное.

Погрузившись, мы двинулись через Барановичи, Минск, Полоцк, Двинск — в Вильно.

В Барановичах, где была Ставка, я пошел в буфет. Была невероятная давка — генералитет и офицерство кутили. Я увидел у стойки одного из петербургских знакомых в «земгусарской» форме с погонами большого чина. Подойти?.. Ну его! Что он мне и что я ему? Здесь не сад на даче в Петергофе, здесь я — «нижний чин».

Несли эшелоны гвардии на север. Куда же нас направят? Слухи ходили разные.

Хорошо по ночам сидеть и глядеть в приоткрытую дверь теплушки... Что-то думается свое, важное...

В Вильно выгрузились быстро. Долго ли ранец накинуть, взять патроны и винтовку?

Сто три года тому назад здесь стояла перед началом войны с Наполеоном русская гвардия с Александром I. В 1915 году Вильно вновь принимало русскую гвардию. Мы шли под взглядами десятков тысяч жителей, шли в погожий день, со щегольством. И не бои за этот город, походы, грязь и слякоть рисовались нам, а отдых в Вильно и потом удар по армии Эйхгорна. На Восточную Пруссию! Это была наша последняя общая надежда.

Стоянка — на обрывистом берегу Вилии, за городом, у монастыря. Помыслы у всех — гульнуть. Я пошел в город с Копытовым — лихим унтером, разведчиком. Чудачили мы в эту ночь здорово. Были какие-то случайные встречи на каких-то чужих лестницах с увертывавшимися польскими девчонками, поиски водки в домах, где были шинки. Я во всем этом участ-

вовал, делая вид, что мне все интересно: я ведь взрослый. Но не понимал ни себя, ни Копытова. Вот это и есть гулянка на войне? Странно, я рисовал ее себе иначе: гусарские мужские попойки, веселье, удалство. Я забывал при этом, что у нас нет денег, что мы всего-навсего нижние чины, что Копытов — не пушкинский гусар и не сможет меня научить их повадкам...

Мы вернулись, как блудные сыны. Я был за опоздание поставлен Ниротморцевым под ружье. Противно! Бессмысленное утомительное стояние, рука затекает от тяжести винтовки. Ловчу ее чуть опустить и дать руке опору на поясе. На меня смотрят. Противно, хотя по-мальчишески и приятно — какой, мол, я гуляка отчаянный. Позже не любивший меня Ниротморцев не раз ставил меня под ружье на бруствере окопа.

В дни сосредоточения виленской гвардейской группы немцы взяли крепость Ковно (9 августа). Маневр нашей группы был сорван: немцы начали заходить к нам во фланг с юга — на Гродно и 20 августа заняли Гродно.

Мы в эти же дни уже вели фронтальные встречные бои с другими немецкими частями.

До этого, 16 августа вечером, в канун полкового праздника (в честь победы под Кульмом 17 августа 1813 года) я был в числе нескольких человек вызван к батальонному командиру. Он объявил нам, что мы награждаемся за боевые отличия Георгиевскими медалями и тут же приколот медаль каждому из нас — соответственно ее номеру, обозначенному в приказе по полку. Он упомянул и о моем Георгиевском кресте.

Происходило это в саду, в походной скромной обстановке. Я сиял, как моя новенькая медаль на черно-оранжевой шелковой муаровой ленточке.

Эйхгорн и его соседи замыслили охватить нас с флангов: от Гродно и с севера.

Мечты наши о Восточной Пруссии, до которой было не так уж и далеко, разлетелись впрах. Надо было думать об обороне.

Нас скоро двинули по шоссе на юго-запад. Мы занимали шоссе, находясь уже на линии огня. С левого фланга привели пленных — человек до двухсот. Я отстегивал крышки патронных немецких подсумков и смотрел — сколько осталось патронов. «Много ли по русским выпустил?» Ретив я был очень: зная немецкий язык, на ходу допрашивал пленных, чтобы самому узнать, как у них дела. К немцам мы относились злобно, так как прошел слух, что они поймали нескольких гвардейцев и повесили их.

Передовые части 2-й гвардейской дивизии потеснили немцев. Я ходил в разведку. В пути были видны следы боя, тонкий немецкий черный телефонный провод, патронные гильзы. Вот тут они были, так недавно. Хотелось настичь, гнать их!..

Опять отступаем... Шли утомленные и удрученные... 3-я гвардейская дивизия дралась где-то в стороне от нас.

Начались наши скитания по сильно пересеченной местности: леса, возвышенности.

Наконец 3 сентября разведчиков послали вперед к фольварку Казимиров, что у озера Корве. Здесь находилась готовая, оборудованная позиция: окопы, блиндажи и прочее. Мы уходим вперед — в поиск вдоль берега.

Часть разведчиков налетела на немцев, но они удрали. Мы страшно досадовали, что их упустили. Я выбрал высокое дерево, взобрался на него и в бинокль стал высматривать местность. Так весь и загорелся — впереди у деревни немцы устраивали свою позицию. Я точно определил направление на нее и численность людей. Доложил ротному командиру, указывая на то, что наша артиллерия могла бы их крепко потрепать. Но у нас не было снарядов, и мои открытия были напрасны.

Впереди показались немецкие разведчики. Мы обстреляли их. Завязался бой. Немцы близко выдвинули артиллерийских наблюдателей. Мы их видели: они засели в ямке и корректировали огонь. Как только мы высовывались — летели шрапнели. Это был длитель-

ный расстрел наших окопов. Я сидел с разведчиками у самого озера. Пыль стояла столбом от разрывов немецких снарядов.

В сущности мы были из-за отсутствия снарядов почти беспомощны. Все сидели в окопах и ждали приказов.

В записной книжке лаконичная записка:

«У измайловцев плохо — садят с тяжелой (артиллерии), прорыв, и немцы с озера (со стороны измайловцев) нам заходят в тыл...»

Измайловский полк дрогнул, обнажил фланг и тыл нашего полка. Нас даже не предупредили о прорыве — не прислали связного. Впрочем, там была паника... Мы не подозревали, что с тыла к нам уже заходят немцы.

Это было обнаружено слишком поздно. Мы честно сидели под снарядами и ждали удара в лоб, а не в затылок. Оставалось уходить, прорываться. Началось бегство.

Немцы — к счастью их было немного, только передовые, — выстроились вдоль нашего пути цепью и, стоя, навскидку, как в тире, начали расстреливать нас с довольно близкого расстояния. Защелкали пули. Ужасно кричал один раненый: «Братцы, возьмите... Братцы, не бросайте...»

Проклятые немецкие наблюдатели дали новые цели, и над нами загрохотали шрапнели. Почему-то я больше боялся стрелков.

Темнело. В лесу гудели разрывы снарядов, но лес был спасением. Сюда немцы сразу не сунутся — не видно им, а мы, может быть, тут их и встретим. Утешаясь этим, мы продолжали отступать. Перево-дили дух, нервно и весело переговаривались, потому что спаслись. Радостно выйти целым из такой переделки. «Да, чорт бы побрал измайловцев, а еще именуются нашими кормовыми...»

К ночи пришли в порядок, люди собрались, подстроились. Повели куда-то обратно.

В неудобном сыром лесу нам был зачитан приказ о том, что царь принял на себя верховное главнокомандование. Энтузиазма это сообщение не вызвало.

Вскоре мы ушли к Вильно по корпусной дороге. Полагаю, что все происшедшее было следствием неожиданного прорыва немецкой кавалерийской группы в тыл нашей армии у Вилькомира. Возвращение в Вильно было невеселое. Навстречу шли сменявшие нас финляндские стрелки — 5-й и 6-й полки. Немцы, усилившись с фронта, продолжали жать с флангов. Тут уж дело пахло не кавалерией и ландштурмистами! Как стало известно, Эйхгорн послал в наступление свои главные силы.

Покидали Вильно ночью. Шел дождь, грязь невообразимая. Дороги забиты пехотой, артиллерией, сбоями... Отступали в направлении станции Солы. Мы не знали всей обстановки, но понимали, что попали в кольцо. Говорили, что «Вильгельм дал приказ окружить и взять в плен русскую гвардию». Это мог приказать и не Вильгельм, это вытекало из оперативных планов Гинденбурга и его генералов. Но Гинденбург был нам неизвестен... Реальным лицом для солдат был Вильгельм — кровожадный, усатый... Это он и хотел нас забрать. Все было ясно, печально ясно,

Наш глубокий тыл был в руках немцев. Связь с соседней (5-й) армией, к северу, была потеряна.

Нам встретились по дороге пленные. Мы с позиций, а пленных ведут навстречу, значит тоже с позиций. Отсюда вывод: и там и там позиция. Ясное дело — окружили. Но я, обычно хорошо ориентировавшийся, не хотел верить в неопровержимость того, что мы окружены.

Осень, сыро, холодно... Ноги утопали в грязи. Нас привели на новую позицию у фольварка Солы. Мы заняли у тихого озера холмы, поросшие хвоей. Вправо — лес, в нем 3-я гвардейская дивизия. Это варшавская гвардия: лейб-гвардейский Литовский, лейб-гвардейский Кексгольмский, лейб-гвардейский Петросградский и лейб-гвардейский Волинский полки.

Тихо на песчаных холмиках в окопах. Эта тишина мне исключительно памятна. От костров вились дымки. Меня с разведчиком Козловым (народный учитель из Могилевской губернии призыва 1914 года) послали раз-

ведать фланг соседей — 3-й гвардейской дивизии. Фланг был в лесу, а до него был пустой интервал, относительно небольшой.

В разведке мы говорили об общей обстановке и пришли к довольно печальным выводам. Прошли болотистую поляну и, выйдя в лес, натолкнулись на людей: под деревьями в одиночку лежали солдаты. «Земляки, какой полк?» — «Петроградский.» — «А где ротный?» — «В резерве, в блиндаже». Пошли дальше. Я думал о том, как жалок здесь наш фронт: разбросанные поодиночке новобранцы... Их ротный где-то в резерве...

Надо было вернуться и доложить о найденном фланге 3-й гвардейской дивизии, то есть о нескольких десятках разбросанных по лесу людей. От разведки осталось очень тяжелое впечатление. Где противник — солдаты не могли нам точно объяснить. Говорили, что очень близко, где-то тут, в лесу. Но пока все было тихо. Пошли обратно. Разрешили себе небольшой отдых: полежали в поле с созревшей гречихой, поглядели на небо, поболтали, если можно так назвать разговор о том, что по ночам вокруг нас кольцо артиллерийских вспышек и пожаров, что придется пробиваться.

В лесу что-то затрещало — конский топот, говор... Немцы? Винтовки наизготовку... Ну?! Свои! Выхала преображенская конная разведка. Я был доволен, что мог офицеру-преображенцу разъяснить обстановку: знай егерей! Вернувшись, я доложил о результатах разведки.

В дневнике запись:

«Обстреливают нас. Отступаем за Солы».

Ночью опять отступали. Сыро. Приходилось делать большие переходы. Мы все время идем, направляясь к Сморгони. Немцы нас преследуют по пятам, и как только полк стал у Сморгони, 2-й батальон принял и отбил их атаку.

Привожу запись из дневника:

«Город горит, население идет по шоссе на Молодечно».

В Сморгони мне повелось познать, что происходит в оставленном жителями городе, в полосе боя, где каждый солдат чувствует себя домовладельцем любого дома, хозяином любой вещи. «Чего же смотреть — добро пропадает, горит...» Ночью с несколькими разведчиками пошел и я в город. Мы входили в какие-то москательные и галантерейные магазины и в оправдание доказывали себе, что надо искать спрятанное оружие и продовольствие.

Пустынный город, залитый луной, рядом окопы, и в городе — чего душа желает. Но чего она желала? Не знаю. Я взял в Сморгони только пару заготовок для сапог. Так я потом и таскал с собой этот «трофей», завязанный в какую-то тряпку. Позже я эти заготовки привез домой в Петроград, как печальную память о Сморгони.

Я вполне наслаждался ночным обладанием города. Я всегда буду помнить ночь в Сморгони.

Позже другие города бывали в наших руках, но это уже было не то. Я был старше, меньше было новизны, таинственности. В свое время я расскажу, как мы вели себя в годы гражданской войны в освобожденных нами от белых Казани, камских городах, украинских местечках, Екатеринославе, Мелитополе, Симферополе, Бердичеве... То было уже другое, дорогое время.

Мы пробыли в Сморгони неделю. Нас сменила 3-я гвардейская дивизия, а мы пошли сменять сибирских стрелков в восьми верстах от Сморгони.

В дневнике сохранились зарисовки немецких окопов на новом месте. До немцев была одна верста. Разведчики часто выходили вперед, подбирались к немцам, и мне удалось набросать схему их окопов. Нам приказывали поймать «контрольных» пленных, но это было не так просто. Немцы сидели у себя, по ночам часто пускали ракеты, а мы без особых результатов ползали вокруг да около.

Я изучил в бинокль немецкие позиции, знал тропинку, по которой ходят немцы, лощину, над которой иногда вился дымок (кухни там были, что ли?). Было ясно по всему, что здесь фронт стабилизируется. И у нас подзанились улучшением окопов, а кой-какие «фор-

тификации» стали выносить вперед. Я бродил по окрестным местам в поисках новых ощущений. Зачем, как чурбану, сутками сидеть в окопах? Эти прогулки не нравились командиру роты Неславицкому, и он запретил мне уходить из роты. Но я упорно продолжал свои прогулки, а потом стоял в наказание под ружьем.

Наконец сказалось утомление от целых месяцев походов, разведок, боев. Я погрузился в ленивое оцепенение, почти в спячку. Я потерял, как сейчас помню, представление о числах и времени дня и не понимал, глядя на солнце, закатное оно или восходящее. Лежал, меня не тревожили, в изголовье спрятал завернутые в тряпку сапожные заготовки.

Когда я отлежался и ожил, я снова вернулся к моим прогулкам по осеннему лесу, по берегу ручья, любовался красотой ландшафта и как-то временами почти не ощущал, что я на фронте. Стирал белье, чистился, мылся. Мой командир страдал от вшей. Ему не помогало даже его шелковое белье. Командир соседней роты, некрасивый офицер в очках, от бездействия стрелял из нагана по консервным банкам.

Ждали смены, отдыха. Шутка ли — почитай с февраля полк был в почти непрерывных походах!

Была середина сентября, когда нас пришла сменить одна из дивизий 26-го корпуса.

Я видел армейского офицера, изучавшего наши окопы перед тем, как привести свою часть. Он выглядел почти как солдат — был простоват, в грубых сапогах и курил папиросы, доставая их из коробки-мыльницы. Наши офицеры на него смотрели несколько свысока. Я помню, что и я глядел на армейца с усмешкой: «Второочередная, мол, ты пехота с мыльной коробочкой... То ли дело мы — гвардейцы...»

Пехота, наконец, сменила нас.

Снявшись с позиций, мы с первыми заморозками пошли параллельно фронту в сторону Двинска. На пути к Дуниловичам мне понравилась одна деревня, и я ее зарисовал.

Вскоре по всему фронту началась прочная, позиционная жизнь, рассчитанная на всю зиму.

У солдат была перспектива отдыха, может быть спокойной зимы. Я не имел никакого желания прожить в резерве всю зиму. Надо было ехать в Петроград и пройти курс 6-го класса, — о чем я доложил начальству и получил разрешение. Штаб полка выписал мне отпускные бумаги. Ночью в холодном стоделе я тихо, с большой грустью, простился с ближайшими друзьями-солдатами и уехал на станцию с одним из офицеров-попутчиков.

Домой!

Я мог это сделать, ибо «стабилизацией фронта собственно кончились операции на русском фронте в 1915 году». Гвардия была поставлена в стратегический резерв верховного главнокомандующего.

* * *

В Питер я приехал поздней осенью 1915 года. Иду домой по правой стороне Невского. Рука к фуражке так и летала, — приветствую встречающих офицеров. Сейчас буду дома — Невский 90/92. Вошел во двор и задумался: пожалуй, по парадной лестнице неудобно. Пошел с черного хода, присел на лестнице отдохнуть...

Ну, бегом... Позвонил... «Воля вернулся, цел! А ты вшей не привез? Ты лучше сбрось все на чердаке...» Так же было и в прошлый мой приезд...

Я пошел на чердак и подумал: «Любимая родина встречает своего солдата».

Возвращение домой дало мне мало радостей. Иные интересы были дома, в столице, в гимназии, чем те, которые стали дороги мне. Не принимал я ни домашний, ни гимназический режим, ни отношение ко мне, как к мальчику — неполноправному гимназисту. Я не был таким и не мог им быть. Старший разведчик, уничтоживший кирасирский германский разъезд, участник многих боев и разведок, — я уже не мог подчиняться прежним, домашним правилам. Тяжело было. Кто мог понять мои фронтовые переживания? Кто знал их? Только оставленные в Виленщине солдаты-друзья.

Кому и как я мог объяснить мое состояние после фронта? Я уходил в себя. Воспитанные в разведках чувства дерзости и риска сказывались в моем поведении. Среди этих «мирных тылови́ков» надо было пошуметь, чтобы отстоять свое право на независимость. В четвертных гимназических ведомостях мне ставили за поведение тройки. Родина же за поведение (дерзость, риск) давала Георгиевский крест! В моем сознании происходила путаница. Но я учился и успевал в том, что мне было любо.

Итак, шел учебный год.

В начале зимы мне вручили Георгиевский крест. Приехавший в Петроград офицер прочел в полковой церкви бумагу. Я стоял перед царскими вратами, как пленник.

Числа 20 ноября пришел к нам старший дворник: «Завтра в восемь часов утра вам надо явиться в участок». В чем дело? В восемь часов утра, как из пушки, я — в участке. Принял меня пристав:

— Здравствуй! (Ах, фараон, на «ты»!)

— Здравия желаю, васокродь!

— Ты Всеволод Вишневский?

— Так точно.

— Георгиевский кавалер?

— Так точно, васокродь.

— Так вот, юноша, двадцать шестого — на Георгиевский праздник, в числе достойных.

Я рад — оказана честь. Пристав встал, ласково потрепал меня по плечу и попутно перевернул мой Георгиевский крестик, проверяя номер, так как случалось, что кресты покупались за три рубля.

— Собираться будем двадцать шестого в восемь часов утра.

26 ноября повели нас из участка с провожатым в Народный дом. За Троицким мостом — наряды гороховых; чем ближе к Народному дому — тем их больше.

Пришли! Сколько Георгиевцев! Черно у здания. Всюду полиция. Недоумеваю: о чем забота? Вошли в зал Народного дома.

Полицейские покрикивают:

— По столам, по столам.

Вошла рота гвардейцев-матросов. Полиция ходит, смотрит на них. Выдали нам обед:

«Мясо тушеное с брюквой, полкурицы с огурцом и пирожное. Пить — мед и виноградное вино».

Я сохранил меню этого обеда.

И на этом спасибо, все это стоило меньше целкового, но... внимание! Для пятнадцатилетнего мальчика это кое-что значило.

В залах тихо. Раздалась команда: «На молитву — шапки долой!» После молебна сели за столы, навалились на еду. Вдруг я увидел, что из зала человек десять городских волокут гвардейца-матроса, — видимо, перепил парень на радостях. Матрос сопротивлялся:

— Георгиевского кавалера? С японской войны служу...

Ему заткнули рот; один из городских дал матросу под ложечку. Я вскочил с места, меня затрясло... В ту же минуту ко мне подошел офицер:

— Почему не обедаешь? Садись, кушай.

— Я... я... есть... кушать...

Офицер отошел, а у меня слезы на глазах. Какой там обед... обидно за гвардейца-матроса, за Георгиевского кавалера... Как же так? Подлецы!

Сосед мой — пожилой солдат — поглядел на меня и, горько вздохнув, сказал:

— Эх ты, дурашка-кавалерик!..

* * *

Кончался 1915 год.

Готовилась новая кампания, а пока зимой в армиях шло обучение гораздо более плац-парадное, чем годное для будущих атак.

К рождеству я, как и в прошлый мой приезд, собрал для своих разведчиков подарки. Подарки были полу-

чены и розданы. Мне были присланы благодарственные письма. Среди них наиболее интересно письмо егеря 4-го отделения 4-го взвода Снегирева:

«Всеволод Витальевич, спешим отблагодарить за ваши гостинцы. Спасибо, что вы еще не забыли нас.

Не слышны разрывы
Ружейная замолкла стрельба
Осенние длинные темные ночи
Лихие былые дела.
На время забыта война
На отдыхе стоим уже месяца два
Занятия, показы большие
Рождественские праздники вот подошли
Ваши дарственные вещи нам принесли
Папиросы, перчатки, носки
Все поровну поделили
И вот напоследок и мы закурили
Хоть не курящи.
Закурил папиросу и Я
О, чудо свершилось!
Голова приятно так закружилась!
Не верю глазам, будто дома я
Вся в сборе семья
Погляди, брат, на божий ты мир.
Посмотрел я в окно на восток
Качая головой
Смеется мне василек
Природа уже ожила
И по всем правилам земля уросла
Малина рябина цветет
Вон в полянке цветы расцвели
Вокруг них кружатся, летят мотыльки.
Вон видна река
И бурные волны катит она.
Спасибо тем, кто нас не забывал!
Такими чудными
И душистыми папиросами
Нас угощал...

Спасибо за чудные папиросы.
Командир 4-го отделения 4-го взвода
Мл. ун.-оф. *Снегирев.*
Л.-Гв. Егерск. полк. 14-я рота».

Мой друг разведчик Козлов писал 8 января:

«Здравствуй дорогой Воля.

Кажется, целые годы прошли уже, как от тебя я не слыхал известий и стал было только изредка вспоминать, что был Воля. Но сегодня во сне вижу, ты подбегаешь ко мне и говоришь: «вставай, я рассмотрел местоположение неприятельского секрета, идем в обход». На другой день после этого мы получаем от тебя письмо. Уж не знаю имеет ли мой сон какую-нибудь связь с получением письма. Но интересно, что оно так было.

Наше местоположение ты, наверное, знаешь. Мы на отдыхе, но занимаемся. Мы, разведчики, занимаемся отдельно. Живется хорошо, только я немного болен, ну это ничего... Пиши ответ, иначе мне будет *обидно*.

От павловца старого поклон.

Емельян Козлов».

Фамилия старого павловца Антипкин, это был старый гренадер лейб-гвардейского Павловского полка. С начала войны он попал в наш полк. Был ранен в грудь на вылет в боях против австрийцев. Выздоровев, вернулся в строй. Хороший служака, чернявый, курносый дядя — настоящий павловец. В их полк отбирались почти все курносые¹. Он много мне рассказывал про свой полк, про знаменитый церемониальный марш полка с винтовками на руку на традиционном параде. Этот традиционный парад бывал в честь боя при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, когда павловцы с ружьями на руку приняли, стоя на месте, стремительный удар французской кавалерии и отбили его.

¹ Так как Павел I был курносым. (*Прим. автора.*)

Семен Кабанов писал 12 января 1916 года:

«С нами Бог, любезный друг Воля!

Я, слава Богу, жив, здоров, сего блага и Вам желаю. Преискренне благодарю за любовь истинную к нам. Письмо твое получил я 9 января, а также и подарки, упомянутые в письме.

Все кланяются. Передайте мою благодарность ученику Пете Литвинову, я ему в сем письме пишу ответ: с радостью и чувством братской любви Вашего участия мы вспоминали вас одним словом добрым именем, что вы можете понимать нашу военную жизнь русских воинов защитников дорогой Родины.

Воля, мы все благополучны, проводим приятно время на спокойе с тех пор, как вы уехали мы еще не были на позиции. Особенно нового не слышно. Все для нас пока без перемен. Ну, словом, живет сравнительно хорошо, и только паразиты докучают благодаря тесноте, о чем буду просить тебя, две пары белья пришли да журналов. И право, Воля, прости за излишнюю докучливость. Я знаю, что ты на сие не откажешь и всегда для меня был искренним другом. Я советую до весенних, теплых дней не ехать, здесь делать пока нечего, а там Вам преподается учение, и я рад за Вас, что вы имеете успех в науке. Вы знаете, Воля, как я жалею о проходящих годах, что не достигал цели именно образования на службу дорогому отечеству. Пожелаю я всем учащимся самого лучшего, самого дорогого, милого. Быть великими людьми, годящимися родине. Пиши, Воля, письма, буду ждать. Желаю Вам быть здоровыми и любви вашей сильной господь вам хранитель.

Ваш друг любящий Сема, 19 января, вторник.

Семен Дмитриевич Кабанов».

Сема был и в жизни такой верующий и патриот. Письмо не фальшивит. В Виленской губернии жестоко

обстреливали снарядами наши окопы. Сема и Чумаченко, сидя в окопчике, все время пели псалмы и молитвы — пели страстно, глядя на образок. Я несколько неодобрительно смотрел на это и думал: «Сиди тихо, а уж если веришь — молись про себя». Я уже в то время перестал верить в бога и загробный мир, о чем свидетельствует следующая запись из дневника периода зимы 1915—1916 года в Петрограде:

«За последнее время я стал много размышлять обо всем, даже об очень серьезных вещах. Больше о жизни. Этот вопрос вечный, интересный. Я думаю, что если жизнь дана (если она *кем-нибудь* дана) человеку, то нужно использовать ее. А к чему она? Жизнь для борьбы, для развития, для того, чтобы сделать ее лучшей. А живут по установившимся в обществе правилам, условностям, часто глупым предрассудкам. Живут (часто) почти все как скоты.

...На войне я часто сталкивался с лицом смерти. Думаешь все-таки о ней, ждешь ее: вот-вот... Глядя на убитых, как-то думаешь о смерти и о жизни. Сейчас шел рядом, боялся, не боялся, стремился, как и все, вперед и... сразу убит. Жил и нет его. Задавал себе вопрос, что будет после смерти, и думаю, что ничего. Другие говорят: тело умерло, а душа жива. Что такое душа? Это опять я не могу объяснить, но думаю, что души нет, есть сознание, чувства, рассудок, понятия и раз человек мертв, прекращаются в мозгу понятия и чувства, следовательно прекращается и существование души.

...Религия, возьмем языческую — *есть создание* человека. Благодаря религии... (Что-то сознаю, но записать не сумею.)

...Многое мне еще непонятно, но путем чтения, путем расспросов и бесед я стану понимать непонятное и знать неведомое (для меня, конечно).

К чему я пишу, для чего? Напишу, прочитаю, и, может быть, другие прочтут...»

Начиналась весна 1916 года, и все было опять «отменно чудесно» в этом мире. Скоро май, сдам экзамены и опять в полк. Только бы поспеть к наступлению гвардии.

На пасху я гулял по Невскому. Навстречу — сердце стукнуло — в блестящей «столичной» форме мой ротный командир и мой «враг» — начальник разведки Ниротморцев.

Я стал по всем правилам во фронт, хоть и был в гимназической шинели.

Ниротморцев, Ниротморцев, много я от тебя претерпел. Память о тебе я сохранил навсегда. Ты был убит осенью 1916 года — «пал смертью храбрых». Сколько раз мы были так близки от этой смерти, сколько раз со страхом ожидали ее. А нас считают храбрыми. Храбрых нет — есть те, которые могут перебороть страх.

Перед пасхой опять собрал в классе деньги и послал посылку в роту. В тетради есть запись, кто сколько дал: Шапиро — пятьдесят копеек, Кравецкий — пятьдесят копеек и т. д. И снова пришли в ответ трогательные солдатские письма.

Полк жил «пока приятно и хорошо», писал Кабанов. В сравнении с окопной жизнью это было именно так. Холодные сараи были егерям приятнее сырых окопов. А я пока долбил латынь.

Привожу еще одну выдержку из дневника этого периода:

«Я сознаю — учиться надо!

...В жизни нужно больше практики. Нужна география для того, чтобы иметь представление о мире; нужно естествоведение, объясняющее окружающую природу; нужны иностранные языки. Особенно нужна психология. Это замечательный предмет. Благодаря знанию психологии, можно разобраться в других людях, а это так важно

в жизни! Достал книжку — читаю... История — предмет интересный, но ведь все предметы так плохо преподаются и в такой *ненужной форме* заучиваются, что если станешь размышлять — то действительно наука в гимназии противна. Уж если учиться чему-нибудь, то серьезно, а не для аттестата. Я люблю историю, в ней видна борьба за жизнь, за существование; в ней беспристрастно (бывает, что пристрастно...) обрисовывается все, что было и что происходило до нас. По-моему, учение гимназическое чересчур сухо, неинтересно, формально... Система гимназического образования очень нуждается в коренном изменении. Преподавать нужно науки, которые потребуются человеку в его жизни. И преподавать не так, как у нас сейчас, а более наглядно, более живо.

Я высказываю только свои мысли. Может быть, они неправильны, но, по-моему, это так.

...Я учусь для себя, это я осознал, то есть не для себя, а для своей жизни, так как без учения очень трудно будет в жизни».

Передо мной лежат пожелтевшие листки моего сочинения: «6-й класс, Вишневский». «День в боярской семье по Домострою».

«В доме (бояр) царило ханжество и лицемерная набожность...

Бояре жили по-скотски...» и т. д.

Внизу красными чернилами подпись учителя:

«Не следует допускать непродуманных суждений и резких выражений... (Три с минусом.)»

Я сблизился со своим одноклассником Осипом Фридманом. Фира, как мы прозвали моего товарища, был очень способный, крепкий малый, начитанный, музыкальный, «ищущий» и пессимист. С ним мы решили писать военный рассказ. Из этого коллективного опыта

вышла странная смесь. Я внес в рассказ обыкновенные мотивы войны, не усложняя их решительно ничем: взял разведку на фланге 3-й гвардейской дивизии, встречу с Петроградским полком и преображенской разведкой. К моим точным впечатлениям Фиры приклеил «зияющую пустоту», «предчувствия неизбежного», «близость сумасшествия» и т. п. Все это относилось к добровольцу В., то есть ко мне. Это было, вероятно, представление Фиры о самом себе в условиях войны.

Весной 1916 года я кончил 6-й класс. Как всегда отлично и хорошо по гуманитарным предметам и очень средне по физико-математическим дисциплинам. Зимой я выступал в литературном кружке, читая воспоминания об июле 1915 года.

Весна, весна!.. Мне пятнадцать с половиной лет!

Я рвался в полк, понимая безошибочно, что вот-вот начнутся бои. Я еще считал немцев врагами и верил в необходимость победы. Но уже и тогда встречи с пленными вызвали во мне сомнения и тревогу: ведь в сущности они такие же подневольные солдаты, как и мы, такие же обыкновенные ни в чем не повинные люди. Но я гнал от себя эти мысли и стыдился их.

Наш запасный батальон в Питере вышел в лагерь — в Красное Село. Поэтому пришлось поехать туда за бумагами. Вот они, Красносельские лагерь — свидетели летних дней гвардии, пышных смотров и военных забав. Я оделся как можно лучше и чище — уже в егерской форме. На обшлагах белизна нашивок 1-й гвардейской дивизии, на груди егерская темнозеленая тесьма, Георгиевский крест, медаль и полковой крест. Погоны с ефрейторской нашивкой (за крест производство давалось автоматически) и с черно-белым егерским жгутом.

Фуражка чуть-чуть на бровь сдвинута, сапоги блестят. Встречные солдаты отдают честь, я польщен и отвечаю, пряча конфуз. Чорт возьми, а? Честь отдают!.. Офицер запасного батальона со мной ласков:

— В полк? Отличное дело...

Я же думаю про себя: «Вот вас бы в окопы. Места в окопах для вас хватит, когда убьют нас в новых боях. Ну, полно, обязательно и убьют?.. Я вовсе не собираюсь умирать, я еду воевать, хочу остаться в живых...»

* * *

Я прочел написанное... Стоит ли, нужно ли отделять эти записи, придавая им литературно-художественный характер? Боюсь, что это приведет к фальши и, может быть, к рисовке.

Местами можно было бы дать не только протокольные записи, но и ряд углубленных образов. Я постараюсь это дать позже, в прозе. Кое-что уже мною сделано...

* * *

Поезд идет на Молодечно. Где-то у местечка Глубокого стоит наш полк.

Мой приезд в роту ознаменовался обычными начальными радостями — общим вниманием, расспросами, оживлением. Постепенно это выветрилось. Осталась служба, тяжелая, с муштрой.

Рота наша стояла на краю деревни. Всю деревню занимали 4-й и 2-й батальоны. Деревню подчистили, грязь на улочке присыпали песочком и обсадили ее срубленными березками — получилась аллея. Очень поверхностное «украшение» плохо содержимой стоянки. Паразиты, грязь. Зловоние из отхожих ровиков. Отвратительная баня, где можно только на сквозняке испачкаться в саже и копоту. Нары в сараях. Все как полагается! «Живем приятно!» Но офицеры требуют «блеска», и потому ребята тянутся, чистятся, «дают ножку».

Жалкая «словесность» и маршировка... Сидят все чинно и тихо. Какой-нибудь отделенный спрашивает: «А кто у нас командир корпуса — скажи, такой-то!» «Такой-то» вскакивает, руки по швам и гаркает: «Его превосходительство генерал от инфантерии, имя-рек». Бывает длинный титул, путаются.

Обучались строю за околицей, где был устроен гимнастический уголок и площадка. «Аж пыль с-под ног» — так твердо ставили ногу на маршировке. Винтовки летали, как игрушечные...

«Р-равнение налево!». «Р-равнение направо!»

Делали все построения на ходу и на месте, то втягиваясь во взводные колонны, то маршируя отделениями и т. д. «Штык выше, не заваливать! Шаг тверже, ноги не слышу!» И земля в ответ под ударами двухсот — двухсот пятидесяти пар сапог — гудела. Глаза косили влево, вправо, держа равнение. Густо несся запах пота.

Ружейные приемы. «Для встречи справа ш-шай (слушай), на кра-ул!». «Для встречи от середины...». «На руку!». «От кавалерии закройсь!»: Интересно, где это от кавалерии придется закрыться, то есть держать винтовку над головой, чтобы принять на нее сабельный удар? В 1915 году в лесу перед немецкими кирасирами мы этого не сделали. Убили бы они нас — ниже поднятой винтовки, как милых!..

Мне лень проделывать все эти штуки. Меня за это берут в оборот. Начинают учить отдельно. «Чище! Отставить! Делай по разделениям. Делай ать, делай два!..» Винтовка от ноги идет к плечу, застывая на полпути на весу. Это — «делай ать». Потом она пролетает на плечо с отрывом правой руки. Это — «делай два...»

Из меня хотят сделать, вероятно, смотрового кадровика. Делаю «ать», и «два», и «три»... Хоть бы скорее «вольно» или «оправиться».

Эх, служба!

Рота ходит, стучит сапогами («бей подметку, казенная»), машет руками «вперед без приклада, назад до отказа». Машина!

— Хорошо, молодцы!

— Рра-стра,ва-с-кродь! (Рады стараться, ваше высокородие.)

Ритм, ритм, ритм... Как зыбь колышутся головы, плечи, штыки.

— Запевалы!

Горы-вершины,
Вас я вижу вновь,
Карпатские долины,

Кладбища удальцов.
Го-о-ры—вершины...

Или «Дуню»:

Пайдем, Дун-ня, пайдем, Дуня, ва лесок!..

Шагают ребятушки!

Слава, братцы, нам,
Слава егерям!..

Наконец — обед! Как жеребцы, несемся мы с котелками к «мортирке» — походной кухне. А всего-то суп «рататуй»¹, «порция»² или без нее да каши немного. Хлеба хватает.

Отвинчивают крышку котла. «Чумичка» крутит варево, идет пар и вечно одинаковый запах. Голодные солдаты тянутся заглянуть, есть ли мясо?

Запах — от перца, крупы, картошки, лука.

С кашеваром норовят быть в дружбе. Но на всех не напасешься проявлений дружбы.

Едим. Мяса почти не бывало. Если попадетя кость, обсасываем ее со свистом и шумом — нет ли мозга чуточку? Работают ложки, вытащенные из-за голенищ. Иные прибауточки пускают: «Никто не видал, как бог наплат, а кто и увидел, тот не обидел». Иные крепятся: «Благодаримтя, Христе боже наш, яко насытил еси нас, темных, твоих благ».

Жизнь у всех была разная. Особая жизнь была у офицерства; особая у ротной «аристократии»: фельдфебеля, писаря, ротного лавочника и их «штаба» — прихлебателей; и, наконец, своя у нас — рядовых. Неумолимая естественная дифференциация влекла меня в сарай — во взвод. Я честно был полон презрения к тыловикам-«аристократам»: к писарю Красицкому — с пышными усами, незаслуженной Георгиевской медалью, дорогими папиросами, перешитыми «по фасону» сапогами; к кухонному завсегдатаю, рябому уроду, прислуживавшему у фельдфебеля; к заживевшему лавочнику

¹ Сохранившееся в полку с войны 1812 года французское название супа — Ratatouille. (Прим. автора.)

² Кусочки мяса. (Прим. автора.)

с двумя Георгиевскими крестами. Не любил я и фельдфебеля Лапу, «форменного» фельдфебеля — грубого, заносчивого, спуска не дававшего. Он вошел во вкус маленьких привилегий своего положения: имел «холоуя» — денщика (которых полулегально держали все фельдфебеля и часть взводных командиров и унтеров), научился есть особо жирную пищу, присылаемую из кухни, спать в отдельном чистом помещении, ходить в поход без ранца и патронов, устраивать свои маленькие делишки при хозяйственных ротных оборотах. Полуофицерский, полусолдатский «шик» стал для него неотъемлемым — пашка, сапоги «с фасоном», фуражка почти как у офицера, карманчики у гимнастерки, часы-браслет... И походка у Лапы — всегда медлительная и с покачиванием — стала еще важнее.

В халупе (избе) у «аристократов» приятно пахло папиросами и мылом. Было убрано, полки застелены палатками, которые доставали вне нормы. Были, словом, следы благополучия, но я знал, что не к лицу мне водить с ними компанию — надо быть во взводе, в своем 4-м отделении. У меня ведь есть место — в походе на левом фланге отделения (приходится всегда идти по краю дороги и из-за этого сбивать обувь), а на бивуаке в палатке (человек пять-шесть) или на нарах в сарае. Я еще крепче вошел в жизнь отделения.

* * *

14 февраля (нового стиля) союзная конференция в Шантийи постановила, что летом 1916 года должно начаться общее наступление против Германии и Австрии.

1 апреля русское главное командование созвало совещание командующих фронтами (Северного, Западного и Юго-западного), военного министра и т. п. На совещании в Могилеве, в царской Ставке, генералы Куропаткин (командующий Северным фронтом) и Эверт (командующий Западным фронтом) заявили, что в успех они не верят. Но все же Ставка приняла решение наступать. Наметили быть в готовности к маю.

На Юго-западном фронте, после подготовки, удар был нанесен 22 мая (старого стиля).

Я помню, как у нас расклеивалась газетка «Вестник войск гвардии» и как будоражили нас сводки с Юго-западного фронта. Командир батальона зачитывал сводки перед строем, и громкое «ура» несло в честь победных войск Юго-западного фронта. На улице, у собрания, была вывешена для общего обозрения карта фронта, где отмечались продвижения наступающих войск.

Что делали мы в это время, как готовились?

Теперь, когда я так отчетливо знаю по опыту и по массе прочитанных книг, уставов и т. п. значение и ценность полевой подготовки, — мне грустно вспоминать нашу тактическую подготовку перед июльским походом. Мы продолжали утрамбовывать учебную площадку за деревней, делали ружейные приемы и с песнями шли домой. Это были занятия, совсем почти не отличавшиеся от довоенных красносельских перебежек.

Громадный опыт позиционной войны, которая велась у нас с осени 1915 года, оставался малоизвестным или почти неизвестным для свежих пополнений. Я помню, как пробовали на занятиях условно выводить из строя унтер-офицеров (такой-то «ранен» или «убит») и смотрели, как командуют их заместители. Но это ученье! Все браво двигались, выкрикивали прицельные цифры, перебежали с места на место...

Нам преподали новые тактические приемы — за день-два до наступления на Стоход, да и то бегло. Только ротный получил книжку с инструкцией, на которой стоял штамп: «Секретно».

Пополнения не умели уверенно действовать под огнем: в атаках, при прорыве многорядных окопных полос, перевитых проволокой со всех сторон, и т. д... Эти навыки как-то создавались на ходу, но их не умели передавать пополнениям.

Зато мы утрамбовывали землю и идеально равнялись, не хуже, чем кадровики на юбилейных парадах в 1912 и 1913 годах.

Так мы, идеально равняясь, и пошли в смертельную для роты — да, пожалуй, и для всей гвардии — атаку на Стоходе в июле 1916 года.

К 10 июня число пленных немцев доходило до двухсот тысяч человек. Ждали удара Эверта. Если бы он был готов к наступлению, то противник не успел бы подвезти резервы и выдохся бы. Но Эверт не наступал. Он боялся неудачи, боялся «осрамиться». Даже удача на юго-западе не укрепила в нем веры в успех.

Мы ждали с нетерпением, — когда нас пошлют в дело. Успех увлекал всех, однообразие угнетало, все как-то хотели событий, перемен... Это так понятно. Опасность была где-то далеко и не страшила...

Наконец пришел приказ о выступлении. Собрались быстро. Деревня, прощай!

В полевой книжке наш маршрут:

«Станули — Варгуны — Б. Ситцы — Пузыри — Куренцы — Баранцы — Березовцы — Видевщица — Молодечно».

Мы стягивались к Молодечно и другим железнодорожным узлам всем гвардейским отрядом: 1-й и 2-й гвардейские корпуса и гвардейский кавалерийский корпус.

Путь до Молодечно прошли с трудом, так как несколько отвыкли от походов. Я шел строго в строю, на своем обычном месте — по левому краю дороги, щеголяя крестом, медалью и сосредоточенно независимым видом.

* * *

Из записной книжки:

«27 июня 1916 года. Есть слух, что едем на юг и завтра будем грузиться.

28-го. Измайловцы прошли перед зарей с песнями и музыкой. Мы уходим в 8 часов утра.

29-го. Еще стоим. Неизвестно, когда уходить, наверное завтра.

1, 2, 3... Ехали через Минск, Коростень, Шепетовку на Рожище, где и выгрузились. Стояли у Рожище на шоссе два-три дня. Ушли на позиции,



Всеволод Вишневский.
(Автопортрет. 21 марта 1917 года.)

через Рожище по шоссе в деревню. Позиция у фольварка, от Колонии Романова — три версты. Батареи стоят очень часто, будем наступать».

Наступления ждали напряженно. 10 июля 1916 года я писал домой:

«...Я жив, здоров, слава Богу! *Что дальше будет*, не знаю. Не мог долго вам писать. Карты¹ не получил. Пишите чаще и шлите газеты».

18 июля я записал:

«Наступали у Колонии Переходы (у Стохода). Взяли пятьсот пленных, 100 000 патронов, один миномет, 3 двуколки, 3 линии окопов. Контужен сильно. В госпиталь. В Киев.

Разведчики 14-й роты
Унтер-офицер Козлов Емельян — ранен.
Ефрейтор Вишневский Всеволод — контужен.
Егерь Николаев Михаил — ранен.
Егерь Гриневиц — ранен.
Егерь Рыжаков — контужен.
Егерь Картошкин — контужен.
Егерь Журавлев — ранен.

Итого 100%».

Видимо, запись эта сделана мною позже, в киевском госпитале. Быть лаконичнее — трудно.

Вернувшись в строй, я поподробнее описал бой у Стохода, пытаюсь, очевидно, найти форму рассказа, и даже напечатал его в ротной канцелярии на машинке. В 1917 году я пытался улучшить текст, но это мне не удалось. Привожу его так, как писал в 1916 году:

«15 июля 1916 года с раннего утра наша артиллерия открыла сильный огонь по расположению противника на участке от железной дороги Коваль — Рожище, до правого фланга армии гене-

¹ Географические карты.

рала С—ова. К полудню огонь достиг необычайной силы, несколько орудий на полевой батарее лейб-гвардии артиллерийской бригады взорвались. Противник на наш ураганный огонь отвечал одиночными выстрелами тяжелой батареи, стрелявшей по нашей артиллерии. В половине первого 4-й железный батальон лейб-гвардейского Егерского полка в составе 13-й, 14-й, 15-й и 16-й рот со 2-м батальоном того же полка бросились в атаку.

В первой цепи шли 13-я и моя 14-я роты. Наша артиллерия ослабила огонь и перенесла его на неприятельские резервы.

Лейб-егеря цепь за цепью наступали на противника, деморализованного ураганным шестичасовым огнем. Подоспевшие резервы противника открыли сильный ружейный и пулеметный огонь. Но цепи 14-й роты уже дорвались до проволочного заграждения и бомбометчики начали забрасывать противника гранатами. Тут к неприятельским окопам сразу же подоспела вторая цепь и вместе с сильно поредевшей первой цепью заняли первую линию австрийских окопов у деревни Колония Переходы. Наши подходившие резервы (2-го и 4-го батальонов) очищали окопы от сдавшихся немцев и австрийцев. Между тем передовые цепи батальонов под сильным фланговым огнем неприятеля продолжали наступать и в восемь минут взяли вторую и третью линии окопов противника, который, в беспорядке, отступал в болото, по направлению реки Стоход. Неприятельская артиллерия, быстро пристрелявшись по занятым нами окопам, открыла сильный огонь по нашим резервам и устроила огневую завесу, стараясь помешать подходу резервов. Наши раненые, потерявшие массу крови и промокшие от сильного дождя, хлынувшего несколько минут спустя после начала атаки, ползли и перебежали под сильным огнем. Тут же бежали егеря с группами пленных немцев. Как раненые, так и взятые в плен все время справа, из-за болота, обстреливались противником.

В занятых нами глубоких окопах противника, особенно во второй и третьей линиях, немислимо было бы оказать сильное сопротивление противнику, если бы он перешел в контратаку. Усталые, промокшие, оставшиеся в живых егеря устраивались кто как мог в широких окопах врага. Во второй и третьей линии люди перемещались: егеря 2-го и 4-го батальонов стояли рядом.

Противник с прежней силой обстреливал все места боя. Масса трупов австрийцев и наших осталась в окопах первой линии. Огромные ямы были вырыты нашими мортирными снарядами, всюду валялись разбросанные колья и проволока, по полуразрушенным окопам перебежали раненые немцы и австрийцы в серых шинелях. Все ходы сообщения были усеяны патронами, сумками, ружьями, ранцами, залиты кровью. Вот лежат пятеро егерей, все убиты, очевидно взрывом снаряда; стенки окопов забрызганы кровью, и после дождя образовались огромные лужи воды, смешанной с кровью. Слабо вздрагивает в агонии младший унтер-офицер 14-й роты. Дальше, по окопу — блиндаж, в нем находятся раненые. Вот, прислонившись к стенке окопа, с винтовкой сидит наш разведчик 15-й роты. Он убит, и лицо бледное, как воск. Я веду по окопу взятого мною в плен офицера, молодого немца с маленькими усиками, в пенсне; он идет и вздрагивает от выстрелов. Он весь в грязи, но он не ранен. Моя фуражка сбилась на затылок, мокрые волосы прилипли ко лбу, в руках карабин, на груди противогазная маска и бинокль, брюки и гимнастерка в грязи. Я рад победе, но тяжело думать об убитых товарищах, о том, что и меня, может быть, тоже сейчас убьют, но я отгоняю эту мысль. Нащупал флягу и жадно припал к ней пересохшими губами. Пленный офицер останавливается и просит воды. Я даю ему флягу, и он быстро выпивает оставшуюся воду.

— Стой!

Перед нами вырастают фигуры офицеров. Это наш батальонный командир, с ним начальник команды разведчиков. Я подхожу к батальонному командиру и, прикладывая к козырьку пораненную о проволоку руку, докладываю о пленном офицере. «Молодец...» — говорит батальонный командир, взрывы шрапнели заглушают его слова...

Мы идем дальше по окопам. Розовые разрывы шрапнели стоят неподвижно в воздухе. Разрывы тяжелых снарядов потрясают землю. Я быстро вскочил из окопа, но офицер в страхе остался там. «За мной!» — приказываю я, но офицер не откликается. Что-то черное взметнулось перед моими глазами, зазвенело в ушах, стало тяжело дышать. Застрочил немецкий пулемет, заметили мою фигуру над окопом. Я спрыгнул в окоп за офицером, а он лежит убитый. «Пойду к своим обратно...» Сразу стало ясно, что пройти назад нельзя. «Пойду все равно...» Снаряды с визгом рвались у самого бруствера. «Ну, скорей, вот...» Я бросился бегом на передовую. Вдруг что-то оглушительно ухнуло, и четыре столба черного дыма и песка высоко поднялись надо мной. Я упал и потерял сознание.

Настала ночь. Ночь после боя — отдых бойцам, радость. Стрельба прекратилась. Разведчики ходили по полю, нагибались, подбирали раненых и убитых.

По полю шло несколько егерей. Я слышал, как один из них вскрикнул: «Еще один, гляди-тко, и сколько их набито!» — но от слабости я говорить не мог. Они нагнулись надо мной. «Чуешь, так это же наш хлопчик, маленький, у, жалко, и его убили, собаки!» — грустно проговорил второй. «Не служи, батька, панихиды, вин еще жив. Бери его, понесем в резерв». Оба егеря склонились, подняли меня и понесли на перевязочный пункт, где под прикрытием ночи кипела работа.

...Так спасли два егеря жизнь молодому разведчику 14-й роты».

Из госпиталя я кратко сообщил матери о пережитом:

«Дорогая мама, давно вам не писал и от вас не получал. 15 июля мы наступали и на 2-й линии австрийских окопов я был тяжело контужен. Теперь в Киеве. Завтра 27-го уезжаю снова на позицию. Купи «Новое время» за 23 июля и почитай про нас, про *егерей*».

Вернувшись из госпиталя, я записал в полевую книжку:

«3 августа. Вернулся в строй, опять слышно, что наступаем. 1-го числа пришли две дивизии и тяжелые орудия. На этот раз будет опять тяжелый бой. Взять надо лес.

5 августа. Наступали, но не вышло, хотя забрали три линии и дошли до орудий.

12 августа. Выдавали жалование».

На этом запись в полевой книжке кончается.

Пошла полоса неудач, начиналась трудная осень 1916 года.

После контузии здоровье мое восстанавливалось очень медленно, но я упорно оставался в строю и участвовал в страшных сентябрьских боях у Свинюх. Истребление гвардии! Атаки 3 и 7 сентября! Никакой артиллерийской подготовки не было. Перед нами густые ряды немецких проволочных заграждений, сквозь которые немисливо пройти. На проволоке повисли сотни трупов егерей. Под ураганным орудийным и пулеметным огнем мы несколько раз выходили из окопов и с криком «ура» бросались на проволоку. Пали убитые и раненые, утопая в жидкой осенней грязи... «Пали смертью храбрых»... Окопы засыпало шрапнелью... Блиндаж затрясся и осел... Потянуло гарью...

Подоспевший резерв, ввалившись в полуразрушенные окопы, смял раненых. Страшная свалка!

Более жестокой, более бессмысленной битвы я не видел ни до, ни после боев у Свинюх. Что может быть ужаснее армии без руководства.

* * *

Опять жив!

Отец требовал моего возвращения в гимназию для прохождения курса 7-го класса. В конце сентября, не помню точно дату, по настоянию моего ротного командира и полкового врача я вернулся в Петроград. Возврат к гимназии и «мирной жизни» на этот раз был еще сложнее.

Мысли о войне не оставляли меня.

Горькая солдатская жизнь многому меня научила, на многое открыла глаза. Рождалось острое ощущение неравенства, несправедливости. Рождалась не вполне осознанная, но горячая мечта о каких-то переменах, об ином, лучшем будущем. В беседах с солдатами мною познавались новые, неизвестные мне прежде, стороны жизни, — я приобрел новых друзей. Круг моих интересов расширился и углубился.

Вернувшись в Петроград, я с головой ушел в чтение, впервые познакомился с брошюрами о марксизме, изучал географию, историю, жадно просматривал все попадавшиеся мне газеты.

Среди полевых книжек и писем, среди тетрадей с сочинениями, историческими конспектами, французскими и немецкими диктовками — в гимназической общей тетради (зима 1916—1917 гг., 7-й класс) я нашел статью, над которой, помню отчетливо, много и долго работал.

В то время я уже писал для себя и для гимназического литературного кружка военные рассказы и придумал себе смешной псевдоним: «Тривэ» (Всеволод Витальевич Вишнеvский). Повидимому, работа над статьей помогала мне разбираться в тех вопросах, которые целиком и полностью занимали тогда мое воображение. Я писал ее, когда мне только что исполнилось шестнадцать лет.

В этой, еще такой неумелой, статье, написанной для себя, я впервые высказываю свою убежденность в том, что в царской России «нет единой воли». Я уже сокрушаюсь о трудности *перерождения* России и уничтожения «режима», всю тяжесть, бесполезность и уродство которого я познал за годы войны.

В дневнике 1916—1917 годов в дни 24 и 25 февраля 1917 года я писал:

«24-го. Утром спокойно. В час дня пошел на Невский. Возбуждение, много народу. Ездят казак.

...Толпа идет нам навстречу, идут к мосту и поют «Вставай, подымайся, рабочий народ». Флагов нет.

Казак поехали по панели... Толпа шарахнулась... Нас здорово прижали...

Идем дальше. У Знаменской — митинг, говорят речи, а казак и патруль Гвардейского запасного батальона слушают. Я все время с моим другом Ш. Он говорит о русском пролетариате, о социалистах, о труде, о республике...

Я пошел к Знаменской церкви. У решетки масса народу. Впечатление такое, что толпа не знает точно, что ей надо. Одни кричат: «Хлеба», другие: «Долой войну», рабочие — про республику. Больше бы порядка!

...Вечером довольно тихо.

25-го. Утром встретился с Ш. Поехали в гимназию. В гимназии оживленно. Рассказывают там многое. Вчера лейб-гвардии Финляндский запасный батальон стрелял на Васильевском острове в воздух.

...Пели в гимназии «Вставай, подымайся, рабочий народ...»

Я против беспорядка во время войны. Если что будет серьезное, то пойду в свой запасный батальон. *У нас (в батальоне) все за рабочих, вместе и будем.* У Михайловской встретил толпу с красными флагами...

...У Знаменской площади отколотили городского, отняли пашку. Кричали: «Товарищи, не отвлекайтесь!» Я все бегал вокруг и внутри толпы. Потом появились конные городовые, послышались выстрелы. Толпа побежала, и я тоже. «Стой!» Остановились, побежали назад. Конных городских уже нет. Говорят, убили пристава. Я иду смотреть к левым воротам Николаевского вокзала. Крики: «Собирайтесь к памятнику».

Я посмотрел на труп пристава — лежит в крови, смешавшейся со снегом, уткнувшись лицом в грязь. Полковничьи погоны, полный, блондин... Толпа все прибывает, прошли к Литейному проспекту. Карьером едут во всю ширину Невского казаки, в руках пики, нагайки. Потом услышал: «ура» — с Литейного. Все туда побежали.

Я пошел в батальон...»

На этом дневник обрывается.

Прошли февральские дни... До весны времени оставалось мало. Я весь ушел в учебу. Учителя меня недолюбливали, побаивались.

В гимназическом сочинении (27 января 1917 года) я позволил себе написать:

«В гимназиях и университетах царил дух шпионства, царила система подавления всякой индивидуальности».

Учитель жирным синим карандашом вычеркнул эти строчки и поставил мне двойку.

В начале мая я перешел в 8-й класс и немедленно уехал в свой полк. Но на этот раз я ехал не из чувства детского горячего желания защищать «веру, царя и отечество», а из-за неодолимой потребности до конца разделить участь своих окопных друзей, из-за не менее сильного желания защищать наши, солдатские, народные права. В войне я познал и полюбил глубоко свой народ.

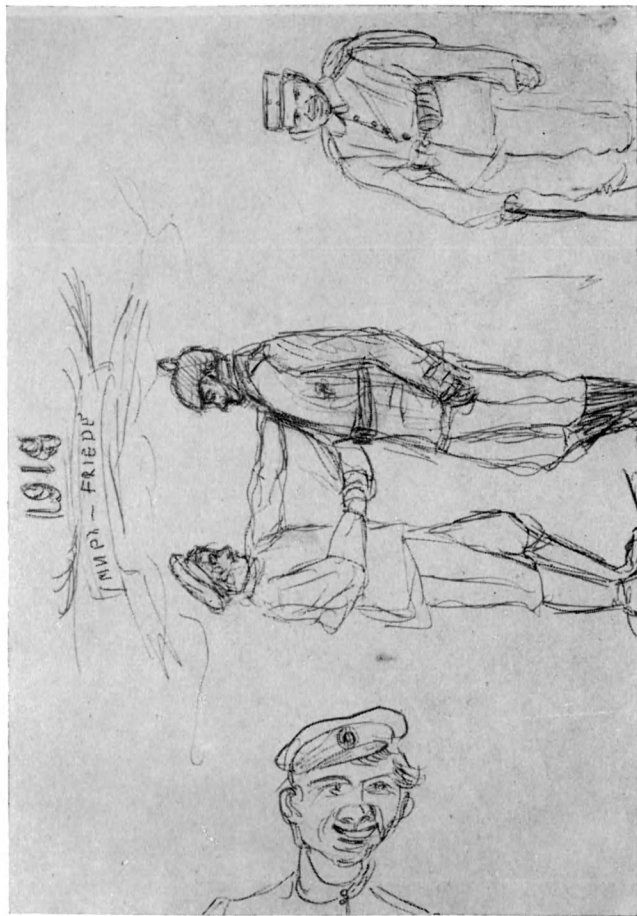
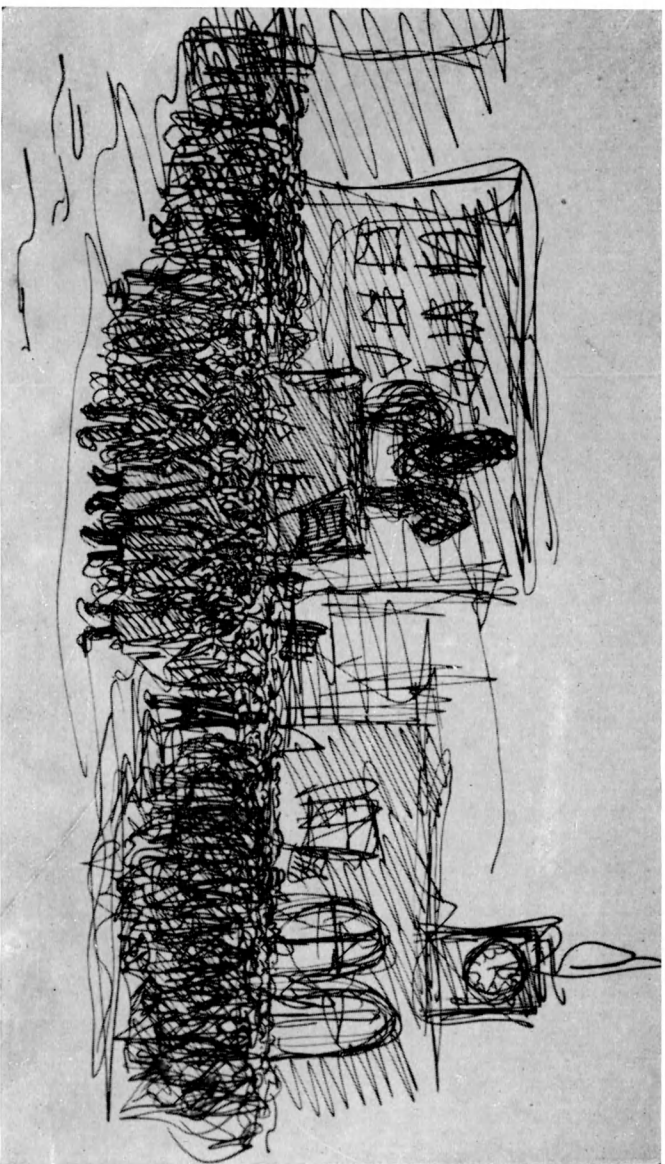


Рисунок пером Вс. Вишневого (дата неразборчива).



Демонстрация в Петрограде на площади против быв. Николаевского вокзала
у памятника Александру III. Зарисовка В. Вишневого из его Дневника,
сделанная 25 февраля 1917 года.

С каждым годом муштры было все больше и больше. Особенно весной 1917-го, когда среди солдат одна за другой подымались волны протеста. Обстановка на фронтах была напряженная, снабжали фронт все хуже и хуже. Было голодно. Сказывалась крайняя усталость...

Впервые на первой странице моей полевой книжки под печатным заголовком: «Настоящая книжка принадлежит» — я сделал следующую надпись:

«Ефрейтору гвардии Егоровского полка (14-й роты) командиру пешей разведки Всеволоду Вишневскому. Адрес: г. Петроград, Невский 90, кв. 29. *Вит. Петров. Вишневский*¹ (в случае моей смерти)».

Видимо, не верилось, что и на этот раз я вернусь домой.

Не буду подробно, как в начале моих воспоминаний, описывать все день за днем. Солдатская жизнь однообразна, и, право, предыдущие страницы дают достаточное представление о ней. Мне хочется рассказать о главном, а главным было брожение умов, беседы с солдатами-большевиками. Я крепко сдружился с одним из них — товарищем Генераловым. Он настойчиво, упорно объяснял мне азбуку коммунизма, доказывал беспечность, преступность этой войны, уговорил меня написать солдатское письмо в «Правду». Помню, как жадно солдаты читали «Окопную Правду», изредка попадавшуюся нам. Мы, солдаты, не могли, не хотели четвертый год участвовать в кровавой бойне, мы отлично понимали всю ее бесполезность для нас.

Требование мира звучало в голосе солдатских масс все настойчивее и настойчивее.

Мои записи того времени скупы, их немного, так как время то было горячее, трудное и я не успевал много писать.

¹ Виталий Петрович Вишневский — отец писателя.

Из полевой книжки 1917 года:

«21 июня 1917 г. Юзефовка. Первая линия австрийских окопов. Против нас 144-й Эльзасский полк. Сдаются, кажется, охотно.

23 июня. Годов. Неудачное наше наступление на 338-й, 404-й. До 500 человек потери».

Вот черновик моего донесения из той же полевой книжки (без числа).

«Командиру 1-го батальона гв. Егер. полка.
2 часа дня, с шоссе на Тарнополь.

Карта 2

Честь имею донести, что разведчики расположились у шоссе на Тарнополь. Жел. дор. вправо. Виден Тарнополь в 2—3 верстах. Позиции занимают гвардейцы-измайловцы, 7-я дивизия. Утром была атака немцев, удачно отбитая. Сильный артиллерийский огонь по окопам».

Далее следуют мои подробнейшие зарисовки-донесения, с указанием расположения немецких и наших окопов и всех деталей на местности в районах Годова, Конюхова и Юзефовки. Рисунки сделаны в масштабе, и по существу это ряд маленьких подробных, точных карт.

На одном из этих рисунков-карт отмечена и высота 388 — Годов, где произошел кровопролитный бой, положивший начало нашему отступлению на Тарнополь. Бой, который я, по обыкновению, описал несколько позже. Очевидно, мне была необходима хоть какая-то дистанция во времени. Непосредственные ощущения боя были столь интенсивны, что именно в силу необыкновенной их остроты я писал в своих полевых книжках крайне скупое — одну, две строки.

Привожу описание боя 23 июня 1917 года у Годова:

«Устало шагали тридцатую версту солдаты. Слышались голоса, раздавались ругательства, вспыхивали огоньки цыгарок.



Зарисовки с натуры, сделанные Вс. Вишневским на фронте во время первой мировой войны.

Перескакивая с кочки на кочку, спотыкаясь в темноте, мы шли, перебрасывая винтовки с плеча на плечо.

Рядом проходила артиллерия. Стучали колеса, артиллеристы шли рядом с орудиями и громко переговаривались.

Я с Емелей Козловым свернули в сторону. Положили на землю винтовки, усталые растянулись на мокрой траве.

Мы говорили о пропаганде большевиков и наших ссорах с офицерами, о жизни в команде.

— А смерти ты боишься? — неожиданно спросил меня Емеля.

— Смерти? Да я заговоренный, ей-богу! — ответил я и засмеялся.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Повоюем еще! Теперь за свободу!..

Мы поднялись и пошли догонять свою роту. По сторонам дороги — безмолвный темный лес; луна освещала двух ровно шагавших солдат.

Прошла неделя. Полк наш стоял в Галиции, недалеко от Тарнополя. Жаркие июньские дни. По ночам слышен был гул орудий с ближних позиций, небо озарялось вспышками и освещало нашу деревню.

Мы устраивали митинги, спорили, требовали конца войны.

Ночами я отдыхал, тихо бродил по парку фольварка и беседовал сам с собой.

Неожиданно пришла весть о наступлении 18 июня. Везли раненых; они, волнуясь, рассказывали нам о тяжести двухсуточных боев, сообщали о наших потерях.

Настроение у нас менялось. Стали говорить о необходимости поддержки товарищей, никто не кричал «долой войну».

Солдаты были готовы идти в бой, все чувствовали, что надо выручать своих.

Всю ночь я не спал, ходил по деревне. Длинные транспорты с ранеными тянулись по шоссе, проносились грузовики, бросая ослепительный свет.

Везли зарядные ящики. Мчались мотоциклетки. Война началась снова!

Быстро проехали казаки. Скоро и нам. Я ходил до рассвета. По небу скользили лучи прожекторов, со стороны позиций доносился непрерывный гул, сверкали вспышки. Шел бой!

Пробежал посыльный и крикнул мне на ходу: «Сейчас выступать!» Я бросился бегом в команду. Уже весть разнеслась по полку и все готовились. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Идем!

Стали одеваться. Я осмотрел еще раз винтовку, маску, патроны. Подтянул ремень, половчей надел скатку.

Шли быстро. Полк еще только строился. На дорогу выходили роты, выезжали патронные двуколки.

— Эй, вторая! Прихвати-ка «Правду» для немцев!

— Ладно, вали, разведчики! — слышались в ответ голоса.

Впереди команды на своем «Таракане» едет наш начальник, штабс-капитан Г. От дождя дорогу размыло, идти трудно. Мы шлепали в ногу по грязи... Стрельба утихала...

— Видно, «он» утекает.

Нам пришлось сменить финляндских стрелков. Они заняли три линии окопов и стали укрепляться.

Ночью мы подошли к резервным окопам и тихо по-ротню входили в глубокие ходы сообщения.

Окопы австрийцев поражали нас своим устройством: очень глубокие, прочные, бетонные блиндажи... Попадались убитые немцы и австрийцы.

Здесь мы простояли два дня. Пришлось ходить в разведку.

На заре 23-го началась подготовка. Я спал, завернувшись в шинель, на ступеньках окопа, проснулся от оглушительных залпов полевых батарей. Скоро все заволокло дымом.

Мы долго сидели в окопах. На лицах егерей ничего нельзя прочесть. Многие вылезли из око-

пов и стоят наверху. Солнышко стало пригревать. Наша артиллерия быстро умолкла...

Слева с красными знаменами поднимаются цепи семеновцев и быстро, ровно идут вперед.

Впервые с красными знаменами пошли и мы... Зловещая минута тишины... Застучали немецкие пулеметы, защелкали пули. Было как-то необыкновенно страшно. Кто-то крикнул: «Ура!» Мы подхватили... Бежим все вперед, на проволоку. Пулеметы немцев стучат беспрерывно... Пули свистят, уже много убитых, раненых. Дрогнули наши ряды. Противник обрушил на нас оружейный ураганный огонь, а наша артиллерия молчит...

Пули щелкают. Разрываются с визгом шрапнели...

— Вперед!

Никто не идет...

Началось отступление. В беспорядке бежим все назад. Пулеметы немцев строчат бесперебойно нам вдогонку.

Атака не удалась. Много солдат наших полегло... Вечная им память...»

* * *

Я долго не слал писем домой. Тяжкие потери в боях, отступление, все прогрессирующая болезнь и острое переутомление — все сказывалось на психике. Настроение было мрачное, писать не хотелось.

Это молчание тревожило отца, мать и моего друга — разведчика С. Кабанова, ушедшего после ранения в резерв.

Привожу полностью его письмо:

«Петроград вторник 1 августа 1917 года. Здравствуй Воля! Сообщаю вам, 27 июля я прибыл благополучно на место. Я здоров, слава богу, сего блага и тебе дорогой друг желаю. Шлю искренний привет и целую тебя. Воля! Вчера был

у Вашего родителя, имел непродолжительную беседу. Расспрашивал о вас, он ответил, что уже с месяц не получает от тебя известий и сокрушается о Вашем благополучии. Меня это побудило немедленно написать тебе письмо и прошу тебя, Воля, поспеши дать нам ответы. На родине я гостил приятно провел время в радости и любви в кругу родной милой семьи.

Преисполненный глубокой скорби о совершившихся наших неудачах на фронте. Я разделял эту грусть вместе с моей дорогой супругой Ниной и вспоминали тебя. Воля как ты там жив. Нашу область посетил страшный скудный урожай. Положительно ничего почти и лишь с 8 июля пошли обильные дожди. Но может только поправиться подножный корм, а посев уже снят. Нового ничего существенного нет. В Петрограде успокоение, а мира по моему нет. На фронте сам знаешь из телеграмм, что где совершается. Моя служба пока нет определенного места, а переменят сообщу. Итак любезный дружок Воля я и Ваш Папаша в ожидании вашего письма. При сем: читателя сего письма мы просим обратить внимание на нашу просьбу в случае ненахождения на месте службы в вашей команде Всеволода Витальевича Вишневого то о таковом сообщить куда он выбыл ибо его родные много беспокоятся.

Будь же здоров Воля. Твой искренний друг любящий *Семен Кабанов*.

Адрес мой: Петроград Гвардейский Егерский Запасн. Полк в 5-ю роту 3-й взвод.

Семену Дмитриевичу Кабанову.

Адрес родных Вишневого: Петроград Невский 90 кв. 29 Виталию Петровичу Вишневному».

Чудесный друг мой, трогательный, храбрый спокойный Семен. Три года мы рядом переносили все тяготы походов и солдатской жизни. И немолодой крестьянин и пятнадцатилетний гимназист — мы нашли друг в друге то, что каждому из нас было нужно. Многим я обязан ему, многое в жизни открыл мне Семен,

Я немедленно ответил ему и послал свое последнее с фронта письмо матери (датировано 15 августа):

«...Пришлось много пережить. Я был на позиции правее Конюхова у высоты «388». 6 июля началось отступление на Тарнополь. По газетам ты, наверное, знаешь, что было. Но много в газетах и неправды. На наш корпус взвалили вину. Теперь с этим разбираются. Сейчас я нахожусь на том же направлении. У нас с 13-го все совершенно тихо. Стрельбы нет. Ходят слухи о революции в Германии, о согласии на мир Франции и Англии.

Что делается на фронтах, не знаем. Читал газету от 11 июля. Говорят, что мир в августе. Стоим в окопах уже с десятого или одиннадцатого числа. Приходится ходить в караул и заставы, раз в двое суток на 12 часов. Раньше ходили гораздо больше и чаще.

Получил в начале июля газеты.

Что было у вас 5 и 4 июля? Спешу кончить письмо, т. к. сейчас будут уезжать...»

Кончаю описание своей военной жизни 1914—1917 годов записью из дневника:

«У Збаража. Большевизация, давление командования. Генералов пишет второе солдатское письмо в «Правду».

У Вишневеца. Заболеваю истощением. 26 августа отъезд в Петроград — через Киев (в резерв полка)».

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

(1917—1921 гг.)

Осенью 1917 года я вернулся в гимназию. Необходимость окончить последний класс, получить аттестат зрелости и крайнее истощение — результат трехлетней солдатской окопной жизни — разлучили меня с моими фронтовыми друзьями. Война на данном этапе для меня окончилась. Да и сам я вполне сознательно стремился к иным боям. Со свойственным мне упорством я взялся за учение. Передо мной моя записная книжка — «Осень, начало зимы 1917/18 гг.», — которая отражает весь круг моих тогдашних интересов.

На первой странице тщательный рисунок французской ручной гранаты образца 1915 года, дана нумерация, чертежи отдельных частей. Тут же заметки по алгебре. Дальше — список заданных уроков и среди них: «О нравственности и совести» (Закон божий).

После трех лет войны, пропитанный отрицанием старых «преподаваемых» законов нравственности и совести, я, скрепя сердце, долбил положенное. Может быть (дата в книжке не указана), это было незадолго до Октябрьского восстания, когда я дрался за революцию с оружием в руках...

Здесь же, в этой книжке, очень торопливые записи о Грановском, Хомякове, Аксакове, об эпохе Николая I.

«Кружки, средоточие мысли, общественно-политические течения...». «Эпоха Николая I — тяж-

кий ужас для русской мысли: третье отделение, канцелярия Его Величества, охранное отделение...»

Дальше записи о народовольцах и декабристах; критика Гегеля; «проблема смерти у Толстого — «Великая и Неведомая» («Нива»). Затем записи по химии и физике. Здесь же заметка о получении в резерве полка солдатского жалования — десяти рублей и: «В полковой канцелярии узнать, сколько стоит сшить одну пару». Будучи гимназистом, я попрежнему, до Октябрьского восстания, оставался ефрейтором гвардейского Егерского полка, получал там жалование, деньги за отличия и обмундирование.

Остальная часть записной книжки почти вся заполнена подробным конспектом и анализом французской революции: «...14 июля взятие Бастилии — гражданская война» и т. д. Запись сухая, я сказал бы учебническая. А в это время у нас уже начиналась гражданская война и я всем существом предчувствовал ее и рвался к ней.

В этой же книжке наброски будущих рассказов — «Атака» и других; запись — «Реферат на тему: «Великая французская революция и русская революция» (дать исторические параллели)». Как бы мне хотелось вспомнить, как я проводил тогда эти параллели! Здесь же мои заметки о войне.

В этой книжке есть и мои рисунки: то это матрос со «Славы», то это идущие в атаку англичанин и француз, а на одной из последних страниц — во всю страничку плакат: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и красногвардеец с винтовкой, взятой наизготовку. Дальше ряд рисунков красногвардейцев, матросов и т. п.

* * *

В письме от 19 октября 1917 года к одному из моих однополчан я писал:

«Дорогой друг и товарищ Коля!

...20-го числа все ожидают выступления большевиков на улице. 6-я рота резервного Егерского

полка вынесла резолюцию, что готова выступить.

...Хлеба дают полфунта, солдатам — полтора фунта, рабочим один с четвертью фунта. Трамвай стал 20 копеек, для солдат — 5 копеек. Все платят. Погода ничего себе. Ждут цеппелинов. Ночью темно, фонарей мало.

...Как поживает касторка-Ваня, Поздняков, Андреев и все наше пятое отделение?

Я учусь с 15 сентября, учим много интересного, много трудного. Работал я тут по письменной части — за десять дней 85 рублей. А раз за два дня — 25 рублей. Плата большая, а цены еще больше.

...Хлеба мало! Да ну, перебьемся как-нибудь.

Что у вас? Никого не ранило и не убило? Что такое у вас Украинский комитет и т. д.? Кто начальник команды? Где вы сейчас? Позднякову, Андрееву, Белоусову, Генералову, Запевалову, Корпею и всем остальным товарищам-разведчикам привет и поклон.

Ваш *Всев. Вишневский*».

В дни Октябрьского восстания я бросил дом и занятия и нес службу в 6-й резервной роте своего полка, то есть делал все, что делали в те памятные дни все восставшие в Петрограде солдаты и матросы. 28 октября Керенский двинул на Петроград собранные им казачьи части под командованием генерала Краснова. Именно в этот день я взял отпуск, чтобы забежать на несколько часов к своим, домой. Выступление казаков было внезапным. Вернувшись, я узнал, что моя рота выступила в составе сводного отряда. Я тут же побежал в штаб роты, потребовал снаряжение, винтовку и патроны и помчался на Балтийский вокзал.

Доехали до Лигова. Больше поездов на Красное не было. Я пошел пешком, шагал ночью по шпалам и по тропинке, разыскал свою часть у Дудергофа и приступил к исполнению служебных обязанностей — бойца и разведчика. Помню наспех вырытые окопы,

костры и впервые познаваемое ощущение войны новой, гражданской: против нас русские казаки; мы — бунтари, мы голосовали за большевиков, мы участники восстания, мы за социалистическую революцию и деремся с русскими казаками, потому что они против отвоєванной нами революции. Мы не знали, какова численность контрреволюционно настроенных войск, в частности, сколько их засело в Гатчине. Говорили, что часть Действующей армии настроена враждебно. Дело было серьезное...

Привожу мою запись этих дней:

«Сутки были в окопах, ходили в разведку, вели огонь по казакам... На другое утро пошли наступать на Гатчину. Итти надо было верст пятнадцать. Дошли мы до реки Ижоры в трех верстах от Гатчины. Там были уже казаки-донцы двадцатого полка. Комиссара, командира батальона и меня послали к ним в качестве парламентаров. Жутко было итти парламентаром к казакам.

Мы отбивали старый русский шаг, сияя пуговицами, оружием и глазами. На нас смотрели, так сказать, две армии.

Шли по шоссе, как на параде. На штыке у меня был носовой платок. Мы должны были выяснить настроения казаков... Вот мостик через Ижору. Мы идем, все так же отбивая шаг. Я вспоминал строевые занятия и нес винтовку с шиком, не заваливая штыка. Пусть казаки смотрят! Подошли вплотную. Настороженность и любопытство с обеих сторон. Потом разговорились. Казаки ругались, но в общем были апатичны. Договорились, что драться не будут, — вот главное. Мы пошли обратно. Офицер — командир батальона — был с нами. Мы оказали ему доверие, и он его оправдал.

Несмотря на переговоры с казаками, мы решили расположить свой фронт на реке, поставить орудия и пулеметы. В это время (уже к вечеру) нас сменил первый батальон. Подошли мы к Дудергофу, стали ждать поезда. Сначала из

нашего сводного отряда уехали матросы, потом нам подали эшелон. С Балтийского вокзала на трамваях вернулись на Рузовскую».

Запись слишком скупа. В те дни драка была жестокая. Мы крепко побили казаков, и лишь после этого они вступили с нами в переговоры...

* * *

После штурмовых октябрьских дней я снова вернулся к занятиям. В это время я писал своему другу на фронт:

«Дорогой Николай Федорович!

27 ноября получил ваше письмо с конноразведчиком В. Смирновым.

...15 сентября начались занятия. Но как жизнь теперь такая беспокойная, то занятия идти не могут.

...В полку живет хорошо... У измайловцев есть кинематограф. К Рождеству будет и у нас. В манеже устраивают театр.

...Когда голосовали, и я получил голос и в Семеновском клубе опустил в урну — № 5 за Р. С. Д. Р. П. (больш.).

В школе у нас есть и кадеты и социалисты. Все ругаемся, спорим. Очень они на солдат нападают. Я против них. До кулаков дело доходит.

...99-й год отпустили. Еще семь годов будут отпускать, но гарнизон не уменьшится: пришли латышские стрелки, есть красная гвардия.

Буржуи составляют свою белую гвардию. Вот на днях (двадцать восьмого) буржуи под красными знаменами устроили манифестацию. Но рабочие и солдаты не участвовали.

Теперь за пьянство на шесть месяцев сядят. Порядок вводят.

Сегодня, наверно, откроется Учредительное

Собрание. Тоже, наверно, что-нибудь будет. Поехала второй раз мирная делегация в Брест-Литовск. Союзники не желают... (мириться).

Миллионы воззваний на немецком языке передаются теперь немцам и австрийцам.

Движение рабочих на Западе сильно. Во Франции, Швейцарии, в Германии и Австрии были манифестации и митинги за мир. Дело дошло до стрельбы в Лионе, во Франции и в Швейцарии. Но военный режим и цензура не пропускают известий оттуда и туда.

Если рабочие узнают о тайных договорах, узнают все, что в России, узнают о перемирии и о воззваниях, то там тоже будет революция.

С юга — Каледин и Корнилов с казаками и юнкерами. Но Черноморский флот в тыл высадил десант. Бои в Харьковской губернии уже были. Украинцы от нас поехали на Украину. Юнкера разоружены.

Ну, что у вас новенького? Как наши все?

...Как это вы «догадались» и выбрали Керенского? Наверно, кадетов из Учредительного Собрания выгонят. Наше новое правительство работает живо. Частная собственность на дома в городе отменена. Долги Россия объявит недействительными. Народ долгов не делал. Землю крестьянам, рабочий контроль.

Мир будет и мир честный. Конечно, правители Австрии и Германии не согласны на всеобщий мир народов, но они пока *боятся* своих народов. Если народы узнают все и как следует, то правители полетят с треском. Против России никто не пойдет. Это означает революцию.

Я думаю, что когда многомиллионная армия будет возвращаться домой, когда солдаты вернутся домой и не будет работы, когда два миллиона немцев и австрийцев пленных вернутся домой, узнав, как революцию делать, — тогда по всей Европе вспыхнет пожар.

Может быть, это наступит весной, когда запасы продовольствия будут истощены, когда сол-

даты после четвертой зимы возмутятся. Но я не думаю, что война будет еще зиму. Мир будет.

Весть о том, что на русских фронтах заключено перемирие после сорока месяцев войны, заставит солдат еще более думать о мире. И стоит в одной стране начать, как это перекинется и на другие.

...И тогда настанет расчет с правительствами. Пока до свидания, дорогой Коля

Вс. Вишневский»¹.

3/16 февраля 1918 года я получил свой аттестат² об окончании гимназии и тут же пошел добровольцем на службу в Красный Флот — тяга к морю у меня была всегда, а беззаветная храбрость матросов и их преданность революции окончательно решили мой выбор.

* * *

Итак — я матрос и служу в 1-м береговом отряде. Вскоре я уехал в Москву. Мы сопровождали поезд Советского правительства при переезде из Петрограда в Москву и несли охрану Советского правительства в Москве³. В марте — апреле в составе отряда при Нар. ком. по морским делам мы усмиряли анархистов. Весной я был направлен с морским отрядом в Нижний-Новгород, где участвовал в ликвидации контрреволюционного выступления кавалерийского полка, после чего наш матросский отряд был переброшен на Оку в поход против муромских мятежников, действовавших на ее притоках. Там был ранен в ногу.

¹ Мне удалось спустя несколько лет получить мои письма к Коле обратно. Я всегда кропотливо и тщательно собирал все свои письма и документы. Этим и объясняется то, что у меня они сохранились почти за всю мою жизнь.

² В аттестате моем есть следующее примечание: «Отметку по Закону Божьему, согласно просьбе ученика В. Вишневского, педагогический совет постановил не обозначать».

³ Помещались мы в Москве на Остоженке, в бывшем коммерческом училище.

По призыву Советского правительства к морякам в июле 1918 года я пошел добровольцем в Волжскую военную флотилию. Меня принял организатор флотилии — легендарный комиссар товарищ Маркин и назначил пулеметчиком на военный корабль «Ваня». Вскоре произошло важнейшее в моей жизни событие: я был принят в члены РКП(б). О делах Волжской флотилии я неоднократно писал и поэтому ограничусь здесь хронологическим кратким изложением событий.

21 августа 1918 года я был в зоне военных действий под Казанью (в составе военных кораблей «Ваня», «Добрый», «Сережа»). До прихода подкрепления с Балтики участвовал в ряде боев с белогвардейско-чешской флотилией. В бою с белыми (после того как нами был израсходован весь запас снарядов) мы, пулеметчики, с мостика на корабле «Ваня» вели пулеметный огонь в упор по кораблю «Ливадия». «Ливадия» не выдержала и повернула. В момент отхода от села Маркваша к повороту у реки Свияги при опросе, нет ли желающих уйти с корабля перед рискованным и серьезным наступлением, — все матросы, и я в том числе, остались на корабле. Меня, как опытного (еще со времен царской войны) разведчика, неоднократно посылали на разведку правого и левого берега для определения расположения противника, главным образом его батарей. О расположении батареи на высоте у Верхнего Услона я доложил товарищу Маркину. В одной разведке у В. Услона мы вдвоем с товарищем Сагурой (сигнальщиком с «Вани») приняли бой с охранением белых. Мы расстреляли почти все патроны; товарищ Сагура был тяжело ранен в бедро. Я не мог его бросить и с помощью подоспевших красноармейцев доставил на корабль.

27 августа на «Ване» участвовали в бою против батарей противника, которые были вынуждены к молчанию.

28 августа вторично были в деле против батарей. Наш корабль вместе с «Добрым» заставил замолчать батарею правого берега. Ночью на 28 августа участ-

вовали (на «Ване») в ликвидации прорыва белых, начавших рейд по нашим тылам. Мы задержали бегущих дезертиров на транспортном судне и разоружили их.

30 августа стояли на охране Свияжска.

1 сентября были в бою против батарей у Верхнего Услона и против четырех белых судов. Бой с ними продолжался два часа.

5 сентября были в деле против батарей правого и левого берега, под огнем орудий вплоть до шестидюймовых. Потеряны нами «Ташкент» и «Дельфин».

6 сентября снова бой с батареей у Верхнего Услона. Участвовал в береговой разведке у В. Услона, определяя позиции противника.

7-го нами был взят Верхний Услон.

8-го участвовал в штурме Казанских пристаней.

9-го участвовал в налете на береговые позиции противника. Пулеметным огнем сбили прислугу восьмiorудийной шестидюймовой батареи. Захватили все замки. Противник был отброшен. Когда резервы противника, укрывшись в казанском кремле, потеснили и обстреляли наш десант, я открыл завесный огонь из пулемета *через головы* десанта, чем прикрыл обратную посадку десанта (60 человек) и удержал противника, перешедшего в контратаку.

В семь часов вечера в течение двадцати минут сбили батарею и броневую автомашину белых. Наша пехота смогла продвинуться вперед к реке Казанке.

10 сентября участвовал во взятии Казани, был в числе матросов-охотников, вызвавшихся в атакующую десантную партию. Мы шли впереди красноармейских цепей. В предместьях Казани завязали бой с белыми, засевшими в церкви, окружили и взяли их. Вошли в город, захватили штаб белых.

11, 12 и 13 сентября — участвовал в разведках левого берега, ниже Казани, для выяснения местонахождения отступившей флотилии белых.

Участвовал в боях с флотилией белых (12 сентября).

Выясняли места батарей противника. Наш корабль демонстративно, без выстрела, вышел на плес под расстрел белых. В это же время вылетел наш самолет-разведчик. На палубе граммофон играл «Марсельезу», но

белые, заметив наш самолет, не открыли огня, чтобы себя не обнаружить.

На несколько дней ушли в Нижний-Новгород, на Сормовский завод, для ремонта и перевооружения. Корабль переименовали в «Ваню-Коммуниста» № 5.

Вернулись на фронт 23 сентября — на Каму.

В тот же день были в бою с одним из судов противника, затем со всей его флотилией у Тихих Гор. Мы опрокинули и преследовали белых.

В береговой разведке мы захватили двух офицеров, которых передали в наш штаб. Ночью заняли Иксское-Устье.

24-го преследовали противника, отступившего к Пьяному Бору.

До 1 октября были в авангардных стычках с судами белых.

В ночь на 1 октября я отправился с десантом в качестве наводчика со скорострельным орудием Маклона (37 мм). Задание десанту — внезапным огнем атаковать белые суда на левом берегу Камы.

Скрытно переправив две скорострелки и два пулемета на берег, мы открыли беглый огонь по судам белых, заставив их спешно сняться с якоря. Флотилия, потерпев неудачу в бою, отступила, сбросив десант. На берегу показалась цепь противника. Мы были поглощены одной мыслью: как спасти орудия? К ночи, отбившись от противника, мы спрятали орудия в кустах. У нас не было никаких директив. По предложению матроса, товарища Егорова, поддержанному мною, мы начали поиски шлюпок, чтобы вывезти орудия и снаряды и вернуться на свой корабль. Мы нашли в кустах рыбачьи шлюпки, на виду у противника наспех нагрузили их до предела людьми и орудиями. Было решено идти вниз по Каме и в случае встречи с противником принять бой. Наши пулеметы были наготове.

Утром мы быстро уходили на веслах, маневрируя под выстрелами противника. Благодаря спокойствию и находчивости десант спасся. Нигде не обнаружив «Ваню-Коммуниста», мы прибыли на флагманский корабль и там узнали, что в эту ночь наш славный корабль «Ваня-Коммунист» № 5 погиб в неравном бою. Команда

героически сражалась до последней минуты. Большая ее часть и товарищ Маркин — погибли. В знак уважения к нашему кораблю все оставшиеся в живых матросы были определены на новый, спешно вооружавшийся в Сормове, корабль, получивший имя «Ваня-Коммунист» № 9.

2 ноября наш корабль был в строю.

3-го участвовали в бою с противником, укрепившимся в деревне Мерзляки. Противник заставил нас отойти. Вскоре началась атака противника на Гальяны, отбитая нами.

5-го участвовал в бою против второй атаки противника на Гальяны.

6 ноября ввиду начинавшегося ледостава наш корабль вместе с рядом других был отправлен на базу — в Нижний-Новгород.

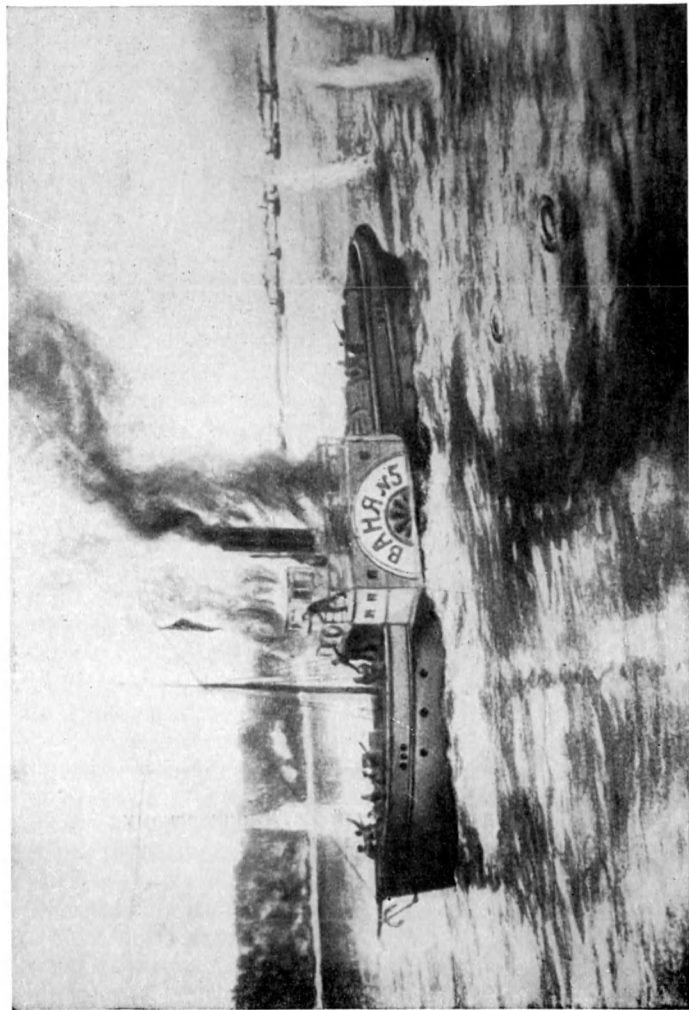
В итоге всей кампании наш корабль получил почетное боевое знамя и благодарность командования за взятие Казани. Лично я получил одобрение и благодарность за выручку десанта и за разведку.

К сожалению, ряд записей и документов, относящихся к 1918 году, погибли со всеми моими вещами на «Ване-Коммунисте» № 5.

ПОХОД НА УКРАИНУ

В конце 1918 года, с разрешения центра, в Нижнем Новгороде из личного состава кораблей Волжской военной флотилии было начато формирование отряда моряков для переброски их на Украинский фронт для борьбы против гетманщины, петлюровщины и т. п. Я немедленно записался в отряд и был назначен пулеметчиком на бронепоезд № 8, вооружавшийся в Нижнем-Новгороде. Пошел служить рядовым матросом-пулеметчиком, как и во флотилии.

По прибытии на Украину наш бронепоезд принял первый бой под станцией Мерефа. Вдвоем с товарищем Бессарабовым пошли в разведку. Прошли через селение и обстреляли показавшуюся цепь гайдамаков. Позже они были опрокинуты общим нашим наступлением.



Гибель флагманского корабля Волжской военной флотилии «Вани-Коммуниста» № 5.
(Зарисовка неизвестного художника.)

У. С. С. Р.
Ш Т А Б
ВАДНЕПРОВСКОЙ
Бригады

БРОНЕПОЕЗДОВ

19 апреля 1919 г.

№ 1221

М А Н Д А Т .

Предъявитель сего военный моряк
Всеволод ВИШНЕВСКИЙ есть действительно
председатель Следственной Комиссии при
Ваднепровской Бригаде Бронепоездов.

Все учреждения и организации просят
оказывать всяческое содействие тов.
ВИШНЕВСКОМУ при исполнении своих обяза-
ностей.



Наштабрий

Н. Р. Ратанов

Политком

Мандат, выданный Вс. Вишневному
в 1919 году.

Вскоре мы взяли станцию Мерефу, и я был послан делегатом для переговоров с нейтральным местным гарнизоном.

Затем участвовал в наступлении на станцию Лозовая: был в ночной атаке на Лозовую, шел в цепи перед нашим бронепоездом, захватил в плен гайдака. Ночью мы разоружали полицию белых и обследовали главные пункты, важные в военном отношении.

На станции оборудовали броне-пульман из пульманского вагона для угля.

Участвовал в дальнейшем наступлении — на станцию Синельниково. Соединились с украинскими повстанцами.

Был в разведке в направлении Екатеринослава: вызвался, вооруженный пулеметом, проехать на паровозе в сторону противника. Попал и в перестрелку с ним. Обнаружил трупы наших пеших разведчиков, пойманных и зарубленных гайдаками. Мы их подобрали.

С железнодорожного моста и с левого берега Днепра мы обстреливали пулеметным огнем гайдаков и Екатеринославский вокзал.

Январский Днепр... Узкий высокий мост у Екатеринослава. В конце моста (длиною в одну с четвертью версту) еще держались гайдаки. Город очень близко.

Наконец мы, первая партия разведчиков, перешли мост. Участвовали во взятии Екатеринослава. Там мы сформировали новый бронепоезд «Грозный» — частично из трофейных площадок, частично из оборудованных в железнодорожных мастерских, — и я перевелся на «Грозный». Нас перебросили против Добровольческой белой армии в сторону города Александровска (к станциям Гокрак — Пришиб).

«Грозный» нес охранную службу на станции Гокрак. Ночью мы налетели на немецкую колонию к востоку от Гокрака. Оставались в колонии на пулеметной позиции, пока не сменили.

Как-то «Грозный» стоял на затерянном полустанке Приднепровской степи — Бурчацке. Махновская прокламация еще висела на заборе какого-то дворика...

Вечером мы бродили по окрестным усадьбам — по заброшенным садам и опустевшим комнатам. Я вспомнил журнал «Столица и усадьба (Журнал красивой жизни)», в котором были фотографии имений, домов и парков, чаще всего парков в французском и английском стилях. Журнал претендовал на то, чтобы ознакомить нас с усадьбами и парками по этим снимкам. Смешно! Нам удалось с ними познакомиться, когда никто не брал на себя обязанностей хозяина или гида; когда никто не хлопотал о приеме; когда каждая комната была открыта и казалось, что все в ней отдавалось нашему любопытству. Все в этих усадьбах, фольварках — все, вплоть до писем — было в наших руках. По количеству колец на стволах деревьев, спиленных нами для накатов блиндажей, можно было узнать их возраст; по разрушениям от взрыва снарядов можно было определить грунт парков и прочность стен домов...

Полустанок Бурчацк был фронтом... Два бронепоезда — красный «Грозный» и белый «Сокол» — остановили здесь движение на долгие дни. У обитателей полустанка было отнято единственное развлечение — ожидание севастопольского курьерского поезда.

Ночь, холодно, тихо... Вокруг нашего бронепоезда — все совершенно недвижно. Мы обрадовались передышке и сели погреться у огня...

В печурке — раскаленный беспламенный антрацит. Очень сладостно ночью у тепла. Только бы не потревожили. Всем в эту ночь хочется бездействовать: иным — спокойно спать, иным — думать. Когда не спишь — все думаешь, думаешь. Все время чего-то тревожно ждешь: каждая секунда угрожает опасностью. Так не хочется расстаться с печкой, оторваться от созерцания раскаленного пятна на ее чугунной стенке, встать, стрелять... Пятно на стенке такое красивое, его так и хочется тронуть рукой. Я приложил щепку к пятну — щепка обуглилась и тлела...

Рядом — никого. Приднепровская степь в снежных пятнах... Впереди, в нескольких верстах от станции

Пришиб, на тех же рельсах, на которых стоим и мы, — белый бронепоезд «Сокол». На нем — белые моряки, черноморцы. На нашем — красные моряки, тоже черноморцы... Это и есть фронт!

От железной дороги вправо и влево — огромные пространства и маленькие разбросанные отряды. Я никак не мог привыкнуть к тому, что это фронт. Фронт у меня ассоциируется со сложными линиями... Фронт — это люди, плечо к плечу, шеренги, цепи... А все-таки и здесь фронт. Ну, а если один из бронепоездов будет уничтожен? Что же будет дальше? Все равно будет фронт. Даже если пятьдесят бойцов будут сидеть в хатах за версты от своего противника! Надо отказаться от понятий той, «империалистической» войны. Здесь своя, иная военная тактика...

На все эти соображения уходят секунды.

На передней совсем открытой пулеметной и легкоорудийной площадке под просыревшими шинелями, брезентом и кожухами лежат, спят, дремлют пулеметики и комендор Самус (у меня сохранилась его фотография).

На площадке — палуба пропитана смазкой, грязна от нанесенных сапогами глины и песка, покрыта копотью, летящей из паровозной трубы. За невысокими железными бортами, у прорезей-бойниц стоят два пулемета, а над бортами торчат две маклоновские скорострелки. Лежат снаряды и патронные ящики, ящики с запасными частями, метелка, котелки, чайник и какие-то вещи. Чего только не подхватишь иной раз в пути! Все сыро, железо и сталь ржавеют, медь зеленеет. Мы по утрам тряпками или полой шинели, а то и рукавицами стираем ржавчину и зелень.

Мой пулемет — старый «максим» Тульского завода — стоит у правого борта. На нем больше меди, чем на новых, поэтому он тяжелее. Я его люблю. Он хорошо стреляет. Время от времени я его проверяю: разряжаю, смотрю — не замерзла ли вода в кожухе, исправны ли замок и пружина; протираю и смазываю отдельные части; осматриваю приемник; пальцами и щеточкой вычищаю грязь. Когда все проверено, я вновь заряжаю пулемет. Два быстрых движения рукоятки вперед,

левая рука продергивает ленту с патронами. Все в порядке. Изредка выпускаю для пробы в степь несколько очередей: «Та-та-та-та...»

Бронепоезд свой я тоже люблю. Вспоминаю, как дежурил в Екатеринославе при его оборудовании в мастерской, наблюдая за работой в цехе. Стоял треск пневматиков, резали листы железа, летели огненные брызги.

Мы тихо разговариваем. Ощущение опасности, я уверен, у всех. Ведь «Сокол» рядом. Но ни в чем — ни в позах людей, ни на их лицах — этого не заметишь. стыдно, нехорошо и непривычно показывать беспокойство, страх. Наплевать на опасность! Лучше погреться, поговорить, поспать...

Когда стоишь на посту — поглядываешь в сторону Пришиба, Михайловки, в сторону немецкой колонии, посматриваешь на небо, покуливаешь и думаешь свои глубокие думы... Иногда хочется спать, ждешь смену, соображаешь, сколько осталось стоять. В темноте, понятно временами, мерещатся, чудятся подкрадывающиеся фигуры, какие-то темные пятна. Становится страшно, но успокаиваешь себя, зная, что это все чудится от сонливости. Ну, кто внезапно полезет на бронепоезд? Ерунда!.. А в другой раз не отгоняешь страшные мысли, а сам выдумываешь ужасы: видишь белый бронепоезд, слышишь щелканье капсулей брошенных кем-то ручных гранат, тяжелые взрывы, стрельбу... Враги обязательно жестоколики, беспощадны... Сердце сжимается и наполняется жалостью, когда видишь возможность своей гибели. Пропал человек! Ах, как грустно! Как грустно и обидно... Но мысль делает поворот: а наше замечательное геройство? При всех случаях выйдем из положения! Не взять «Соколу» наш бронепоезд!

Тихая жизнь в Бурчацке длилась недолго. Вскоре меня послали в Екатеринослав за запасными пулеметными частями. После этого я участвовал в наступлении по Южной железной дороге и во взятии Пришиба. «Сокола» мы прогнали!..

Под Мелитополем неоднократно ходили в разведку. При наступлении на город шел в цепи, вооруженный револьвером и с отнятой у захваченного пленного французской винтовкой.

После боя Мелитополь был нами взят.

У станции Акимовка встретились с упорно сопротивлявшимся бронепоездом белых «Соколом». И снова мы его отогнали.

Когда «Грозный» дошел до Ново-Алексеевки, его спешно перебросили на запад, на другой фронт.

Бои на Украине оставили неизгладимый след: острейшие схватки, быстрая смена событий, своеобразие службы на бронепоездах, просторы украинских степей и полей, Днепр — все это осталось в памяти навсегда...

1919 год! Какая череда встреч! Какие лица!

* * *

Мы проследовали через Киев, к месту боев Щорса с петлюровцами и бандами зеленых.

Фронт находился в районе Бердичева, часть которого была в наших руках, а часть — у противника. На фронте бились таращанцы, богунцы и еврейская дружина. Мы оттеснили противника на запад и ушли на железнодорожную ветку по направлению к Житомиру. У станции Кодня участвовали в упорном бою с петлюровцами. Снарядом пробило броню артиллерийской площадки на «Грозном».

Противник теснил нас, и мы отступали к Бердичеву. Вблизи вокзала пныряла петлюровская кавалерия. Мы медленно отходили.

Ночью на станции Попельня подверглись нападению. На «Грозный» внезапно напала банда зеленых: перекрестный обстрел. Я был вахтенным на пулеметной площадке и немедленно открыл огонь, но сразу был ранен в щеку ниже глаза. Стрельбу не прекращал, пока не подоспели товарищи из эшелона.

После перевязки я вернулся в строй. Рана рваная, болит!..

Ночью выезжал с пулеметом к нашему второму бронепоезду, который также подвергся нападению. Он опро-

кинулся на разобранном железнодорожном полотне. После жестокого боя мы рассеяли банду зеленых и организовали карательную экспедицию вдоль полотна железной дороги. Мы были сильно озлоблены на зеленых: с огнем и мечом прошли по бандитскому району.

Я попеременно участвовал во всех операциях. С товарищем Букой и другими обрушились на группу зеленых и нескольких взяли в плен, поймали и петлюровцев, переодетых военнопленными немцами.

Весь прикиевский район кишел зелеными. Мы были постоянно на-чеку.

Наш отряд уже развернулся в бригаду. Снаряжение было главным образом трофейное.

Рана гноилась и болела, но я, как всегда, не уходил из строя. Но так как рану необходимо было лечить, меня, против моего желания, перевели в штаб и назначили председателем следственной комиссии бригады бронепоездов. Задание, полученное мною, заключалось в борьбе с контрреволюцией, саботажем, должностными и воинскими преступлениями. На мое заявление, что мне, пожалуй, не справиться с этим поручением, что я никогда не был на такой работе,— был дан лаконичный и мудрый совет: «Доглядай и поспевай! Достань бухгалтерскую книгу и записывай: арестованных — в приход, а наказанных — в расход...»

Я приступил к совершенно новой для меня работе. Миловать не приходилось, действовал я сурово. Изредка выезжал на фронт. К этому времени бригада бронепоездов находилась снова на юге: в районе Екатеринослава и Александровска.

С 1 мая мы находились в Александровске. Действовали в Полочах, Волновахе, Мариуполе, у Иловайской.

Пришлось побывать и в Крыму, где я вербовал моряков в нашу бригаду; выступал в Севастополе на Приморском бульваре; отыскивал для бронепоездов снаряды (нашел на линейном крейсере «Ростислав»); осматривал суда; связался с моряками. С этих пор я начал выступать как оратор-пропагандист. Слушавшим импонировал мой боевой вид, перевязанная голова, рассказы о делах 1918 и 1919 годов.

Рана снова загноилась, лицо опухало. Когда штаб бригады прибыл в Джанкой, пришлось уйти в госпиталь. Меня оперировали и вынули пулю, засевшую в щеке. Я сразу вернулся в штаб бригады.

Работа все время была сложная: следственная и политическая. Политотдел Крымской армии дал мне назначение на фронт. Произошел конфликт с начальником бригады. Он не отпускал, а я не хотел работать в штабе, когда кругом кипели бои с деникинцами.

К нам шли новые добровольцы-севастопольцы. Я замечал, что они не дисциплинированы, подмечал в них налет авантюризма и, пожалуй, анархизма. Но отдельные ребята были хороши! Особенно один — бывший кондуктор-артиллерист! Железо!

Опять нас теснили белые. Шла эвакуация. Кругом — подавленное настроение, слухи... Приходилось особенно стойко держаться, «доглядывать и поспевать», так как чувствовалась агентурная работа белых.

Мне удалось поймать агента белых, переодетого матросом. Агент рассказал все, надеясь этим спастись, раскрыл десятки явок, шифр и пароли белых. Я связался с Особым отделом 14-й армии, сделал доклад товарищу Ворошилову и тут же получил мандат и большие полномочия. Мандат этот храню до сих пор.

У нас образовалась группа особистов; или, как нас называли, — контрразведчиков. Я давал много шифрованных телеграмм по всем выясненным адресам. Ветви белой организации были широки и глубоки, докопался до ВСНХ!

Потом узнал о раскрытии организации белых — Всероссийском национальном центре.

Примерно 9—15 мая нам изменили Григорьев и Махно. Измена не была неожиданностью, так как цену им мы знали всегда, но это ослабило фронт. Нашу бригаду перебрасывали с места на место.

Наконец меня перевели в строй. Я снова на «Грозном», но положение мое теперь иное: есть авторитет и

сила сохраняемых полномочий, — я продолжаю работать как контрразведчик.

Снова упорные бои. Мне пришлось схватиться с кавалеристами, которые не хотели идти на фронт, — не то овса у них не было, не то еще чего-то им нехватало. Ребята крупные, мрачные, а я один. Долго я их убеждал и в конце концов уговорил: пошли на фронт. Бронепоезда с орудиями и белая конница наседали на нас. Снаряды рвались вокруг. Но и мы в долгу не оставались. Наш комендор — курский толстяк — бил превосходно.

В город ворвалась кавалерия белых. Пришлось «Грозному» уходить... Я писал мелом на железнодорожных строениях краткие агитационные обращения к казакам. В тылу у них неблагополучно, пусть читают! Железнодорожников предупредил: «Не стирать! Вернемся, узнаем — крышка вам будет!»

С болью отдали Александровск.

Белые взяли Екатеринослав...

Наша бригада таяла, многие были убиты. Погиб Миша Донцов с бронепоезда «Спартак» — один отстреливался от группы казаков. Тело его мы отбили у белых, похоронили, сделали ограду...

Идем в Кременчуг за подкреплением и снова на фронт, кажется к Пятихатке.

Голодно. На одной из станций с трудом достаем неспелые арбузы и молоко (денег не берут)... Внезапно свист снарядов: нас обстреливает бронепоезд белых и засевшие в пшенице казаки. Бой! Строчу из своего пулемета по казакам — они как черные точки в пшенице...

Мы вынуждены медленно отходить... Приходят дурные вести. Новые потери, новые неудачи. Мрачно на душе, обидно... Фронт трещит. Мы, как дьяволы, бьемся с белыми, но сыпятся удары с тыла, с флангов...

На наши эшелоны напали белые; штаб бригады едва прорвался через Знаменку. Уходим в глубь Украины,

Кулаки-крестьяне враждебны... Еще ряд боев... Пал Елисаветград.

Мы уходим все дальше и дальше. В тылу — петлюровцы и какие-то «атаманы». Кругом враги!

«Товарищи! Мы в огненном кольце!»

Но непоколебимость партии и матросская хватка придают нам силы... Мы существуем и готовы драться со всеми, кто против нас!

Оторвавшись от противника, по какой-то железнодорожной ветке мы повернули на Киев; отчетливо помню Белую Церковь.

В Киеве эвакуация, город сумбурен, на улицах толпы матросов, бойцов... Стали в Дарнице, пока в резерве. Один из наших бронепоездов пошел на выручку к уже отрезанной одесской группе войск.

Бригада крошилась на глазах... Потери, потери! Скольких уж не было в живых!

Белые и петлюровцы наседали... Наша бригада столько потеряла в боях, что ее могли использовать только для прикрытия эшелонов.

Идем по Коростенской железнодорожной ветке. Всюду. грабежи, деревни деморализованы петлюровцами.

30 августа пал Киев. Остатки нашей бригады пришли в Гомель. От «Грозного» осталась лишь одна, да и та искалеченная, бронеплощадка. Бездействие нестерпимо... Шли сложные переговоры со штабом, решалась наша судьба...

«Грозный» кончил свою боевую жизнь. Некоторые из нас уходили в армию. Я верил в морские бригады и надеялся, что останусь в боевых флотских рядах.

НИЖНИЙ-НОВГОРОД

Мы отправились по сложным маршрутам из Гомеля в Москву, в распоряжение Главного управления личного состава флота. Ехали через Брянск.

Москва! Я получил назначение в Волжскую военную флотилию, к прежним боевым друзьям, которые пошли на Колчака из Александровска еще весной, когда мы дрались на юге.

Нижний-Новгород! Встречи! У нас усталый, потрепанный вид. Направились в Саратов. Я опять на «Ване-Коммунисте». Но он уже не тот: старые друзья полегли в боях, а вместо них мобилизованные — много волжан и мало настоящих матросов.

Вскоре корабль вернулся в Нижний-Новгород. В Нижнем пустынно и неуютно, холодно... У вокзала в какой-то столовой продавали котлеты из конины — брр!.. Сумрачно в Канавино. Ярмарка — это какой-то Хара-Хото, занесенный снегом. Хожу по знакомым местам, но повсюду чуждо. Наглухо закрыты лавки, магазины, склады... Поблекшие вывески с ятями и твердыми знаками. Шныряют, чем-то промышляя, закутанные фигуры. Разгёворы о муке, картошке, соли.

Зашел к портному, который весной 1918 года обшивал наш отряд. Открыл дверь в небольшую квартир-ку первого этажа. Ударил в нос запах бедного жилья.

— Портной дома?

С грустью и раздражением какая-то женщина, может быть жена портного, ответила:

— Мобилизован, нет его.

Ушел куда-то маленький, худенький еврей-портной...

В Сорокинском подворье мало мужчин, — ушли в Красную Армию, а в их домах остались одинокие, может быть навсегда потерявшие мужей женщины...

Зашел к знакомым. Пьем чай, горячий, с сахарином или, может быть, с сахаром. Есть стараюсь поменьше. Мне неловко, хотя потчуют радушно. Я говорю о том, что снова пойду на фронт, надо итти... Мне сочувствуют: «Бьют народ, ох, бьют... Свои своих, русских... И когда это кончится?»

Объясняю как можно понятнее и проще. Прошу сохранить мои вещи — чемодан, в нем немного сукна (два отреза — черный и синий, выданных на Украине), белье, письма, какие-то сувениры.

— Вернусь — возьму, не вернусь — возьмите себе.

— Ну, даст бог, живы останетесь, Володя.

Меня здесь зовут Володей, — Всеволод для них имя непривычное...

Вечером иду по городу... Мрачный флигель, перспектива улиц, клин неба, как густосерая римская пятерка; сад под снегом, где осенью — проездом на Низовье — я искал приюта. Аптека на углу. Это Московская улица, где бегал раньше маленький синий трамвайчик. Вон там была лавочка, где я в 1918 году брал по утрам жирное молоко, а в денежные дни какую-нибудь «гастрономию». Ряды с навесом напоминают мне питерский Гостиный двор, Апраксин и Александровский рынки...

Питер, родной!.. Я мысленно гуляю по Невскому, купаясь в воображаемом свете электрических ламп... А над Волгой тускло мерцают огни Нижнего-Новгорода. Холодно, дрожь ползет по спине. Одиноко... Это и плохо и хорошо! Плохо, что негде, хоть недолго, пожить домашними интересами, быть ласковым-ласковым с родными... И в то же время хорошо — один, независим, ничем не связан! Я никому не причиняю забот, у меня нет жены, которая ждала бы меня, что-то чинила, готовила... Мне была чужда иллюзия семейной жизни, к которой многие наши моряки так настойчиво тянулись. Вот там, на высоком берегу, в городе осталось столько вдов... Год тому назад они провожали на фронт своих мужей... Зачем и мне кого-то печалить? Я шагаю вольными путями, и моя жизнь не отдана близким. Меня не тревожит сознание, что кто-то обо мне тоскует, я никуда не должен торопиться. Есть служба и моя частная жизнь. Но иногда мне грустно оттого, что никто трепетно не всматривается в берег, поджидая меня, что некому позаботиться обо мне...

На территории ярмарки обглоданные дома, склады. Ни души. В каком-то флигеле с пустынными комнатами и коридорами разместились моряки. Обстановка подавляюще действует на них: холод, мрачность дома, странные, непрочные наружные галлерейки, скрип железа, пятна выбитых окон. Отменная трущоба! Снег, ветер, тьма... Началась берложная жизнь матросов по зато-нам. Флотилия зазимовала...

Еще недавно я, усталый от походов, думал об отдыхе, об отпуске, о поездке в Питер. Ничего не надо! Тянет на фронт! Тянет прочь от холодной жути тыла, от мертвых кварталов, от зимы... Каждый день волновала, ах, как волновала газета «Нижегородская коммуна» — желтая бумага, оперативные сводки... Бои на юге!

Сидеть здесь?! Да никогда! Охватывает знакомое ощущение удара, наступления. Как сейчас хорошо на юге, там сейчас оттепель, запах талых полей...

На фронт, на фронт! В дело!

Я буду на фронте! Там кипят бои: Юденич грозит Питеру, напирает Деникин.

В эти дни мы слышали призыв партии:

«Пролетарий, на коня!»

В Первую Конную! Я не кавалерист и поэтому иду на бронепоезд «Коммунар» № 56 в качестве пулеметчика. Берут охотно, там уже есть матросы, но их мало. Нас, ушедших с корабля, трое. Едем на фронт...

В эти дни я писал отцу:

«Москва, 9-го ноября 1919 г.

... Я в Москве проездом на Южфронт с бронепоездом № 56 «Коммунар». Да, побывал я и в Крыму, и на Дону, всю Украину исколесил. Теперь идем туда же, но отдавать ее снова не намерены.

Дух прекрасный, спл много, техника удивляет. И потрепанные казаки и офицеры, те, которые привыкли к грабегам и пьянству, не оставят дисциплинированные корпуса Красной Армии. Скоро услышите о нас.

...Тысячи кавалеристов и казаков-донцов, кубанцев и оренбуржцев на фронте. Многие из наших ушли на курсы, но мы решили не уходить, так как все равно: начали и кончим. Мне везет, то есть — я жив уже пять лет, но ведь неизвестно, что может случиться — война жестокая, в плен матросы не пойдут.

Буду ждать письма с нетерпением. Пока адрес: Южфронт, бронепоезд «Коммунар» № 56».

ПЕРВАЯ КОННАЯ

Судьбе было угодно, чтобы мы попали в Первую Конную почти в начале удара Буденного на Деникина. Двадцатые числа октября 1919 года... Мы ринулись с воодушевлением в бои. На бронепоезде моряков раз-два и обчелся, но и армейцы brave — с Восточного фронта.

* * *

Зима... Наступаем и снова на юг, к морю. Надо расквитаться за летние неудачи!

Начались бои за Воронежем в направлении Валук. 9 декабря взяты Валуйки. Штаб Первой Конной армии в Валуйках, в доме на базарной площади. Я организую местных железнодорожных рабочих: собрание на вокзале, митинг.

Преследуем белых, продвигаемся на юг. Белые сосредоточиваются в районе Купянск — Сватово. Там шкуровцы, мамонтовцы.

12 декабря взят Харьков, 13-го — Полтава...

Мы идем с 4-й кавалерийской дивизией на Уразовку. Главная задача: разгром лучших сил Добровольческой армии, овладение Донбассом — выход к Северному Кавказу.

14 декабря 4-я и 11-я кавалерийские дивизии пошли на Сватово для удара по флангу белых. Мы наступали на линию железной дороги с 9-й стрелковой дивизией (придана Первой Конной, как и 12-я) — на Пески, Тополи, Двуречную...

Мы — буденновцы! Но я не снимал матросской фуражки!

Налетаем на казаков. Помню, не выдержал и победил прямо на разъезд. Смешно — догнать ли мне конных?! Кричал, стрелял, а через голову — страшный поток пуль с нашего бронепоезда, он бил по казакам.

Бой у Сватово! Ходили под обстрелом в разведку.

16 декабря 4-я кавдивизия взяла Сватово. В этот же день войска Красной Армии взяли Киев.

17-го мы вместе с 9-й дивизией заняли Купянск. Преследовали белых по направлению к Лисичанску. Белые прорвались через расположение 4-й кавдивизии (у Сватово).

Пришла директива: «Ударной группе Буденного с 9-й и 12-й дивизиями выдвинуться в Донбасс и отрезать путь наступления Добровольческой армии в Донецкую область». 4-я кавдивизия и мы получили задание: «Стремительным натиском выдвинуться к Северному Донцу и занять мост у станции Несветичи».

Ждем безустали, неистово! Идем и идем вперед! Наступление на Донбасс, бои на разных станциях. (Не помню точно названий.) Мы наседаем на арьергарды противника. Подходим к реке Донец.

Я поймал в лесу казачью лошадь и езжу верхом, что мне нравится, но не особенно. За рекой — казаки. Мы рыщем кругом, нападаем на противника.

20 декабря развиваем бои — удар у Меловатки — Кабанье. Блестящая работа наших бронепоездов. Бронепоезд белых не выдерживает. Бои 4-й кавдивизии. Шкуровцы бегут на Кременное. 21-го к вечеру оно нами занято. Налет 6-й кавдивизии у Рубежной. Часть эшелонов белых ушла.

Мы подошли к Несветевичам. Ночь... Разведки... Слабая перестрелка. С помощью шахтеров ремонтируем мост; форсируем Северный Донец. Мы идем одновременно и параллельно с конницей. Курсируем до Лоскутовки.

24-го взяты Лозовая, Казатин. На 25 декабря новое задание: взять Попасную, выйти на фронт Бахмут. — Попасная — Ирмино... Все время идут упорные бои. Белые вводят резервы. Успех 4-й кавдивизии. Взята Попасная.

26 декабря взяты Славяносербск, Миллерово, Луганск. Наш поиск к Бахмуту.

27-го взят 11-й кавдивизией Бахмут. Стычка с белыми казаками — остатками банд Шкуро, Улагая и др. Я беру в плен одного белого солдата из состава 2-й стрелковой дивизии, сформированной из русских солдат, бывших во Франции.

Преследуем противника на Дебальцево. Однажды нехватило топлива. Рядом кладбище. Собрали кресты... и в топку. Мимо шла кавалерийская дивизия — регулярная, в шинелях. Новые кавалеристы похожи на драгун или улан.

Взято Дебальцево. Ближе и ближе к цели — Таганрогу, Ростову. Где-то под Иловайской, в разведке, с товарищем берем в плен дроздовцев, отставших от полка. Отправляем их с захваченной двуколкой. На путях стоят брошенные вагоны, эшелоны. Масса имущества. С деревень уже жадно потянулись к нам крестьяне. Это очень помогает. Берем Иловайскую. Смешно читать лозунги белых: «На Москву!» Наш клич: «Даешь Ростов!» — звучит убедительней!

Масса сыпнотифозных. Уберечься трудно. Что делать — будет так будет...

У нас новые добровольцы-железнодорожники. Вообще в Первой Конной много добровольцев. Их увлекает вихрь наших побед. Но те добровольцы, которые пришли в «критический» момент, — лучше.

Нас перебрасывают на Звереву. Значит — к Новочеркаску. Подошла пехота. Святая пехота! Сам служил в ней с 1914-го — три с половиною года. Досыта исколесил в походах всю Западную Россию.

Сулин. Белые ушли, взорвав мост. Пути бронепоезду нет. Какая досада! Сулинский завод еле дышит, много брошенных бронеплощадок. Но мы беремся за ремонт...

Я заболел, свернуло. Организм сдает — много отдано сил, но из строя не ухожу, отлеживаюсь, ковыляю, надеюсь на поправку.

Идем на Ростов. Взят 8 января. Но мне не пришлось участвовать в этом бою. Болен я... Пути забиты деникинским добром: много бронепоездов, танков — все наше! Войск — масса! Фронт у Батайска...

В Ростове пошел в Политотдел Первой Конной. Возобновил организационные связи. Может быть, поправлюсь и снова буду в строю? Борюсь с болезнью.

После взятия Ростова наш бронепоезд перебросили в Харьков, а затем еще дальше, на Западный фронт. В Харькове сдал совсем. Не могу,—пришлось идти в госпиталь и расстаться с «Коммунаром» № 56.

Один. Нет ни одной близкой души...

* * *

Жуткая палата на эвакуационном пункте у вокзала. Грязь, смрад, холод. Трупы и полутрупы. Предпочитаю лежать на полу, в коридоре. Утром добился направления в военный госпиталь. Слаб я очень. Кто-то за табак везет на саночках мои вещи.

Госпиталь. Все чуждое, нет никого из моряков. Свое оружие — маузер — держу при себе. Я с ним никогда не расстаюсь. В Симферополе, в госпитале, на время операции пытались забрать его, но я не отдал.

У меня какое-то желудочное заболевание. Ничем не лечат, только лежишь; питаюсь средне. Рядом умирает красноармеец от горловой чахотки... Хрипит...

Со мной в палате — пожилой латыш, стрелок. Сдружились, строим планы на будущее: в Таганрог думаем ехать, на море. Он тоже имеет отношение к морю — рижанин.

Докторский осмотр — у меня сыпняк. В довершение всего — сыпняк! Жутко! Меня перевели в изолятор. Я долго лежал без сознания. Очнулся только после кризиса. Выжил. Кривая температуры идет вниз. Слабость полнейшая. Держусь бодро, яростно ем, продаю часть вещей, которые, к счастью, уцелели в камере хранения. Револьвер цел, мой милый маузер.

Читаю, читаю газеты...

Первая Конная уже на Кавказе. Черное море снова будет нашим!

Весна идет! Новый подъем! Силы мои восстанавливаются. От смерти опять — в который раз? — ушел! Я еще жив! О, как хорошо! Разрешили пойти в город. Бреду по солнышку. Ноги как будто подменили: не

гнуется — как протезы. Читаю фронтовые сводки, расклеенные на стенах домов и на заборах. Улицы живут, шумит южная толпа, идет торговля, люди заняты привычными делами.

Трудно... Никого я здесь не знаю, нет никого близкого, нужного... Идут дни... Такой, как сейчас, я в дело еще не гожусь.

Наконец подходит срок выписки. Прочел телеграмму Роста: «Взят Новороссийск!» Документ мне выдан на юг, в Черноморский флот. Еду в Новороссийск, к морю, к солнцу, к Кавказскому фронту. До свиданья, бронепоезд № 56! Денег — на фунт-два хлеба. Вперед, на новую работу!

В НОВОРОССИЙСК!

На вокзале меня потряс вид измученных и злых людей. Стоят, сидят, лежат... в ожидании билетов...

Я добился места в вагоне поезда, шедшего на Ростов. С трудом втащил корзинку, устроился. Вскоре вагон был доотказа набит людьми. Долго-долго ехали по путям, где прошла недавно война. Пересадки, бесконечные поиски попутных поездов. Однако у меня хватило внутренней энергии преодолеть все препятствия. Я не хотел погибнуть от слабости на какой-нибудь заброшенной станции. Меня обязывали устоять — мой партийный билет, мое сознание, моя матросская форма.

Пересекаю Донбасс. Мчусь на паровозе в холодную почь на станцию Попасная. Увидел там железнодорожника, который встречал нас, когда мы брали эту станцию. У него в доме сыпняк и нищета. Ему нужна помощь. Я что-то загоняю из оставшихся вещей и даю ему. Неприкосновенна только моя новенькая флотская форма. Может быть, она будет нужна для первого дня полной победы. Неприкосновенны мои дневники, кое-какие книжки и письма.

В Ростове. Пробираюсь дальше. Навстречу, с фронта, — потоки пленных. Вздуродное людское море. Кубань, степь весенняя...

В Екатеринодаре взорван мост. Надо перейти через реку Кубань по временному пешеходному мосту. На путях снова пленные: офицеры в английских шинелях. Я сурово и вызывающе шагаю, глядя им в глаза: мы победители, и если вы еще целы — это наша милость!

В Новороссийск, к морю, возвращаются моряки. Чем дальше мы продвигаемся к морю, тем острее и неистовее мое желание увидеть его поскорей.

Поезд несет меня к горам. Великолепны весенние горы и небо. Жду моря! Вот оно наконец! Здравствуй, Понт Эвксинский! Мы, видно, расстались ненадолго. Новороссийск подковой охватывает Суджукскую бухту. Вокзал цел, но кругом пожарища. Пути забиты поездами, следы разгрома. Здесь пришел конец Добровольческой армии.

В городе никого не знаю... В столовой на остатки денег что-то съел... Надо найти здесь нужную работу.

Автомобиль, в нем моряки! Эй, стой! Я получаю от командира порта нужный мне адрес: гостиница «Франция».

Иду по набережной. Бетон, немного гнилой запах воды, пристани. Порт мертв. На чем же плавать?

Меня назначают в матросский отряд в порту. Надо осмотреться. А когда осмотрелся — увидел, что кругом матросы белой формации. Странные типы... Есть явно уголовные, говорят на жаргоне — на манер южно-русских босяков — золоторотцы. Тощий высокий матрос с голой грудью, шинель внакидку, уверяет меня, что вернулся из Англии, что когда-то служил в Гвардейском экипаже. Не возражаю ему, оставив при себе все свои сомнения. Другой явно врет, неудачно и путано. Это матрос с «Аскольда». Как он сюда попал? Вот Жабоедов, маленький коренастый босяк. Вот какой-то матрос с татуировкой на руке «Боже, царя храни» и двуглавым орлом во всю грудь... Какой-то армянин тоже уверяет,

что он моряк. Вот водолазы, жующие английские консервы, доставаемые ими со дна бухты. Кого тут только не было, в этой компании?!

Я попал в непривычное для меня общество, в чуждую мне среду. Ко мне тоже настороженно присматривались: красный, с фронта!

Пришлось спать на голом полу... Было тоскливо и убого. Но служба есть служба. Я ходил с винтовкой на маяк, нес караулы. Это для меня не работа... Но дело придет, я его найду! И я его нашел: добился назначения на моторные катера.

Вскоре у меня уже был целый дивизион. Я командую флотилией, взятой у частных владельцев. Кустарное вооружение. Сам себе организатор, тактик, начальник. В городе тревожно: масса не опознанных еще офицеров; в горах — сигнализация; в море показываются суда белых; ходят в Крым турецкие шхуны с грузом для Врангеля. Вот и «дело» есть — ходить за шхунами, брать недавних корниловцев... и глядеть в оба.

Хожу в море... Пока на скорлупках...

Приходит итальянский военный корабль «Этна». Он шпионит. Мы приводим «Этну» в бегство и устраиваем ей артиллерийские и пулеметные «проводы».

Переехал в город на Цемесскую улицу. Поселился сначала в одном месте по ордеру, который вызвал молчаливую ненависть хозяев. Потом устроился без ордера у простых, хороших людей — в семье одного грека.

Я наладил катер «Гаджи-бей» и хожу на нем. Изловил турецкую шхуну «Тижарети-Багри». Моторист на ней русский. Он производит хорошее впечатление, я доверяю ему и отправляю с ним в Константинополь агит-литературу для моряков союзной эскадры. Воззвания пишу сам, переводят спец-ы из местного отдела народного образования. Тексты воззваний с готовностью и страхом набирает и печатает один грек, а я просматриваю и распределяю. Выступаю на митингах, читаю лекции в партшколе, инсценирую суды над врагами, играю в самодеятельном театре.

Чего, чего я только не делал! Организовал секцию национальных меньшинств, оборудовал агиткатер, ездил в горы в разведку и для агитации.

В этот период моей жизни я писал отцу:

«25 июня 1920 года,
Новороссийск.

...Работы много, с утра до вечера, на суше и на море.

...Интернационал полный — все нации и языки, морское дело, внешняя торговля. Чека, агитация и пропаганда и т. д. Интересная работа... Живу ни худо, ни хорошо. Как птичка: ем, где попало, живу тоже весьма неопределенно... Лето, море, солнце... А как у вас?

...Буду ждать письма: хотя бы одно за полтора года. Ведь я столько вам писал в далекий Питер из всех уголков России, а ответа или хоть весточки какой-то не получал.

...Ну, пока довольно. Письмо это до Москвы отвезет член делегации 3-го Интернационала от турецкой компартии т. Н. Дальше — по почте, авось дойдет как-нибудь эти 609 верст».

Война с Польшей вызвала с моей стороны немедленный рапорт об отправке меня в Первую Конную на Польский фронт. Туда уходили части, кажется, 22-й дивизии. Мне коротко отказали. Самовольно уехать я не решился...

Приезжали делегаты на съезд народов Востока и Конгресс Коминтерна. Шли с моря, проскакивая опасные зоны.

Пришли французские корабли, доставлявшие в Россию солдат экспедиционного корпуса¹. Мы вышли встретить первый авизо², спокойно поднялись на па-

¹ Русских солдат, служивших в первую мировую войну за границей.

² Небольшое посыльное судно военного флота.

лубу «Бар-ле-Дюк» к чужим и враждебным нам людям. Великолепию офицеров мы противопоставили невозмутимость и уверенность «красных». Глядя им в глаза, мы с представителем морского Особого отдела чеканили слова и шагали по палубе авизо, наслаждаясь их удивлением. У трапа урчал мой «Гаджи-бей». Французы косились на катерок и думали, что на нем спрятааны мины.

На следующий день, с нашего разрешения, подошел французский транспорт с солдатами, давно не бывшими в России. Мы прибыли на транспорт и поднялись на палубу. Я взмахнул приветственно фуражкой. Рев тысячи голосов ответил нам. «Да, это свои», — подумал я. Черные солдаты в красных фесках — конвоиры-сенегальцы — встревожились и посерели от страха. Рев продолжался. Перекатывалось громовое «ура». Я дал лоцмана. Громадный транспорт вошел в ворота и направился к пирсу.

Солдаты сходили по трапам. Конвой сенегальцев в последний раз пропускал русских солдат.

Принимавший нас офицер с «Бар-ле-Дюк» отлично говорил по-русски. Белый! Мы дали ему «Правду» и «Известия».

Несколько позже на «Решид-Паша» пришли раскаявшиеся казаки-врангелевцы. Ревел норд-ост... Судно остановилось у мола.

— Здравствуйте у нас, казаки!

«Ура» 3-му Интернационалу и истовые крестные знамения были нам ответом. А что сделали бы эти бородачи с нами, ну, с год тому назад на Украине? Меняются, здорово меняются времена!

В таком калейдоскопе я жил, ежедневно воспринимая все новое и новое. Море, берег, охота за шхунами, поездки в горы, агитация... Был в ряде черноморских селений, был в колонии толстовцев, был в станицах Кубани. Осенью, в середине августа, белые высадили между Новороссийском и Анапой десант. Паника! Эвакуация! Я вступил в местный боевой отряд. Нас послали в помощь Пензенскому полку.

Вслед за пехотой, уже выступившей, идем на фронт к мысу Сукко. Марш через Абрау-Дюрсо — тяжелый горный путь в летний зной. Горные кручи, дали. Утоляем жажду виноградом, руки липнут от сока. Ухают пушки... Вспышки выстрелов...

Нас приняла 22-я дивизия. Ночью мы спускались к берегу в лощину, где засели белые. С нами шла «Чортова сотня» Пензенского полка — лихие ребята всех наций, действительно «красные черти», на хороших конях... Пропылили мимо с красным штандартом.

Я вновь был в боевой привычной обстановке. Близко — в кустах, в лощине — белые. На море их суда. Пошли в атаку красноармейцы и новороссийский отряд моряков! С кручи, не задерживая бега, спотыкаясь и до крови расшибаясь о камни, летела лавина людей.

— А-а-а!

— О-о-о!

Это сливалось «ура» — пехоты и «даешь» — моряков. Жестокий короткий бой. Мы опрокинули белых, загнали их в море. Всюду валялись австрийские гильзы. Выкинутая на берег баржа — вот все, что осталось от белого десанта. Нашел пачку белых газет, какой-то бланк... Вышибли! Выкупали!

Я остался служить в «Чортовой сотне», но скоро меня, по приказу, отозвали обратно в Новороссийск, в нашу морскую базу.

Вновь тяготило отсутствие боевой работы. Узнал об отправке десанта в тыл Врангеля. Руководителем десанта был назначен Папанин — наш матрос из отряда бронепоездов. Я настоял на своем переводе в отряд охотников и сумел побороть сопротивление начальства.

* * *

Идем на Врангеля. Я на истребителе «МИ» № 17. Опять я на корабле, правда очень маленьком, но он достаточен для нашего дела. Скрытая торопливая под-

готовка, лихорадочно быстрый ремонт... Темная ветреная ночь... Мы вырываемся на простор моря. Курс — норд-вест, на Крым...

В декабре я писал об этой поездке отцу:

«12 декабря 1920 года, Новороссийск.

...Снова я в Новороссийске. Снова среди друзей, снова на старом месте. Напишу все по порядку.

Месяц тому назад я списался на истребитель № 17, и в ночь на 13 ноября мы вышли с десантом к крымским берегам, в тыл противника. Шторм и некоторые другие обстоятельства заставили нас отбиться от наших судов, кроме того, застопорились моторы. Восемь часов нас трепало в море, потом, соединив пять аккумуляторов, пошли полным ходом, курс — на Феодосию. Ночью высадились.

...В поход по крымским горам! Соединились с «зелеными»¹, с нашими войсками. Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосия и т. д. Крым наш!

На маленькой парусной моторной турецкой шхуне — обратно в Новороссийск... Наконец кавказский берег, знакомые места! Проходим минные поля, батареи, проходим маяк и вот у пристани, снова на твердой земле.

...Армия Врангеля сейчас в Красной Армии. Немного парадоксально, но это так. Лучшие его части были уничтожены в боях, кавалерия потрепана, лишена всякого воинского вида и спешена. Авиация, танки, спецвойска — остались целиком у нас.

Штурм крымского Вердена, взятие Сиваша это нечто из фантазии. Все это сделали красноармейцы или, как говорят англичане, «сброд», не имевший тяжелой артиллерии, авиации и т. д. Три четверти дела зависело от духа. Если бы ты,

¹ Так в Крыму назывались красные повстанцы.

папа, видел, как шел наш десант, все как один! Добровольцы-моряки, побывавшие в сотнях переделок, перераненные... Да, с такими бойцами можно разбить не только белых, но и все на свете.

В Крыму закипела работа. В Новороссийске жизнь идет нормальным темпом.

...Как-то чувствуется новое, конец гражданской войны. Уже нет лозунгов военных, спешных подготовок, газет, полных только сводками о фронте, но все-таки, пока еще существует хоть одно буржуазное государство, мы не гарантированы от нападений. Гражданская война кончена, или, вернее, пока кончена. Начинается новое строительство.

У нас споры, дебаты, прения по поводу концессий и торговых договоров, страстные горячие споры. Обсуждаются планы новой жизни, новой жизни, за которую бились три года...

Итак, мы вернулись в Новороссийск. Шли на скорлупке по зимнему бурному морю. Я описал наш поход в газете «Красное Черноморье». Это был один из моих первых газетных очерков, которые я тогда подписывал разными псевдонимами: «Неугомонный В.», «Норд-ост» и др. Позже я неоднократно возвращался к этой теме.

Мое участие в войне было почти кончено, ибо кончалась война. Пришлось еще раза два выходить против белых, шнырявших под Новороссийском.

Работы было по горло, новой, созидательной... И об этом, как обычно, я писал отцу:

«28 марта 1921 года, Новороссийск.

...Положение становится яснее, определеннее и лучше. Идет весна, перестали дуть норд-осты, солнышко греет сильнее, и жизнь становится лучше. Последнее радио приносит нам добрые вести,

и к великой радости начали появляться наши военные суда.

...Мы начали разворачивать свою работу, дело идет великолепно, но все-таки сил нехватает: все одни и те же. Создалось активное хорошее ядро из боевых опытных товарищей, но они устали.

...Приходится создавать, будить массу, увлекать ее и главным образом — примером. Воскресники у нас все ударные! По 15, по 27 вагонов — то уголь, то дрова, то еще что-нибудь.

...Пишу в газету. «Продерну» кое-кого, и, глядишь, начинают оживать, шевелиться... А особенно теперь, когда мы сконтактовались с парткомом.

...Ты обещал мне прислать программу Увмуз'а. Это мне нужно! Я достал бы пособия и с помощью некоторых товарищей подзаялся бы. Если бы ты видел — у нас «эпидемия» учения. Все ликвидируют малограмотность, учатся, учатся, учатся... Этаким дядька-кочегар лет тридцати — тридцати пяти старательно зубрит историю литературы или со словарем разбирает исторический материализм.

Да! У нас углем на деревянной доске братва извлекает кубические и квадратные корни и скоро примется за логарифмы. От брошюр «Как тульский мужик уму-разуму научился» переходим к «Кризису капитализма» и т. д. Два-три года тому назад это, наверное, показалось бы нам китайской грамотой или египетскими иероглифами. Ничего! Помаленьку одолеваем. Так не спеша из «внутренних» коммунистов делаются люди с довольно серьезной подготовкой.

...Масса выросла, и мы, соответственно с ней, предъявляем к себе более серьезные требования. Уже не выходишь с готовой пламенной, но трескучей речью, а делаешь доклад, и его разбирают по косточкам и без аплодисментов...

Твой политработник
Воля».

В марте 1921 года весть о Кронштадтском мятеже вызвала в нас, матросах-черноморцах, бурю возмущения. Мы требовали немедленной отправки в Кронштадт для «успокоения» балтийцев и деятельно готовились к отъезду. Но это не удалось — мы еще нужны были на юге.

Лишь осенью 1921 года, после отбора матросов, я попал в число шестисот красных моряков, посылавшихся с Черного моря на Балтийский флот, где работаю и по сей день.

Кончилась моя вторая война — Гражданская, но я вновь и вновь переживаю ее в творчестве, ибо тема эта для меня неисчерпаема.

*Ленинград — Москва
1927—1936 гг.*

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК СОЗДАВАЛСЯ ФИЛЬМ «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

В апреле 1933 года ко мне обратился режиссер Е. Дзиган с предложением экранизировать «Оптимистическую трагедию». Пьеса эта только начинала тогда свой путь. До премьеры в Камерном театре было еще семь месяцев. Вокруг пьесы разыгрывались критические споры и столкновения. Прямое и непосредственное обращение Дзигана, его слова: «Хочу с вами работать» — вызвали во мне творческий интерес. Обдумывая предложение, я выдвинул новый вариант. Кино — искусство нового типа. Его возможности, его выразительные средства грандиозны. Я сказал Дзигану и Мосфильму, который он представлял, что я готов начать работу в кинематографии и напишу новый, самостоятельный сценарий.

Знание кино у меня было. Мой отец является одним из первых деятелей русской кинематографии. На моей памяти в Петербурге были открыты первые кинематографы. Я жадно следил за всеми программами. Навсегда запомнились и Аста Нильсен, и Гаррисон, и Макс Линдер, и ранний Чаплин. Я помню свои детские ощущения, когда я выскакивал из кино с неистовым стремлением к какой-то борьбе, к действию. Мне приходилось перед войной наблюдать постановку одного из фильмов в предприятии Дранкова (снимался, кажется, фильм «Красавица Ванда» с Валентиной Лин в главной роли). Из интереса к делу я участвовал в массовке в Зоологическом саду.

Затем последовали годы войны. В памяти остались обрывки из патриотических фильмов Скобелевского комитета и с совершенной отчетливостью итальянский фильм «Мацист на войне». Этот рослый богатырский парень проделывал разные трюки в Альпах. Я по своему опыту знал, что война совсем не похожа на то, что показывали на экране, но веселая мощь Мациста как-то действовала.

Помню отдельные киносеансы во время гражданской войны. Но с наибольшей силой вошло кино в мое культурное и политическое формирование после гражданской войны. Я помню, как реагировал Балтийский флот на появление «Броненосца Потемкина». В журнале «Красный Флот» появилась статья штурмана Н. Рыбакова, который сухо критиковал этот изумительный фильм с военно-морской и технической стороны. Автор требовал натуралистического уставного режима в фильме. Я помню, как раздваивались во мне чувства начинавшего художника и профессионала-морьяка.

Кино все властнее входило в сознание, в быт, завязывались первые знакомства. Я наблюдал за десятками киновузовцев, которые проходили курс у отца. Я помню впечатления от появления ряда боевиков. До нутра доходили фильмы Эйзенштейна, хотя мне, участнику Октября в Петрограде, эйзенштейновский «Октябрь» *не понравился*. Я намеренно здесь употребил это слово. Определять свою оценку я мог тогда лишь как *зритель*, как один из командиров РККА, время от времени посещающий кино, правда с несколько повышенным к нему интересом. Навсегда, как событие необычайной остроты, вошел в память фильм Эсфири Шуб «Падение династии». Я был ошеломлен. Я ходил и смотрел его три раза подряд. Этот фильм приблизил меня к сокровенному, к тайнам истории.

Доходили до меня и фильмы Пудовкина и Довженко. Я не следил за дискуссиями, которые происходили вокруг этих фильмов, но я понимал ясно и «Звенигору», и «Мать», и «Конец Санкт-Петербурга», и «Арсенал». В эту пору я сознательно и бессознательно накапливал силы. Мне хотелось отвечать авторам этих фильмов

и говорить им *свое*. Известные права и возможности у меня уже были: я уже пробовал себя как писатель.

Наибольшей остроты потребность писать, творить достигла у меня в 1927—1929 годах. Ничто не бывает случайно. Именно в эту пору высшее партийное военное руководство учло мои возможности и стремления.

Я затронул прошлое для того, чтобы объяснить, откуда вырастала поэма «Мы из Кронштадта». Путь к ней был, однако, не так прост, как это может показаться. Он лежал через пятилетку, через новые упорные искания и работы, через ряд проб: «Первая Конная», «Последний решительный», «Матросы из Каттаро» (перевод и вариант), «Оптимистическая трагедия». Эта творческая пятилетка, встречи с режиссерами Таировым, Диким, Поповым, Шлепяновым и другими дали многие полезные приобретения, равно как и позволили освободиться от ряда бесполезных вещей.

В 1931 году ко мне обратился Фридрих Эрмлер с предложением совместно работать над сценарием для большого патетико-романтического фильма по гражданской войне (условное название «Песня»). Эта работа была первым шагом, который раскрывал передо мной некоторые стороны кинотворчества. Тогдашнее кинематографическое руководство не дало возможности нам осуществить этот фильм. Следующее предложение было в мае 1933 года сделано режиссером Е. Дзиганом.

Предложение было принято и осуществлено. На это ушло почти три года. О деталях реализации сценария поэмы и фильма здесь и будет рассказано.

Я буду пользоваться преимущественно своим дневником, черновыми записями и вариантами, письмами и другими документами.

Первые же беседы с Дзиганом наметили известное единство творческих взглядов. Но это пока устанавливалось лишь в отдельных разговорах, касавшихся различных явлений нашего искусства. Необходимо было переходить к действиям конкретным. Я предложил отправиться на море для того, чтобы в подходящей обстановке продумать направление нашей работы.

Я приступил к работе тринадцатого июня. Первая запись в дневнике: «О фильме. Дать новое освещение гражданской войны, реалистически-укрупненно. Читаю книгу за книгой. Прочел сборник «Балтфлот в Октябре». Прочел «Орел в бою» Новикова-Прибоя. Крепко, но натуралистично. Я ищу самостоятельных решений. Надо дать тип здорового, веселого, крепкого бойца. Дать собирательный тип моряка и красноармейца. Флот надо дать в динамике. Вещь должна быть пронизана неукротимостью, волей, ясным пониманием цели. На фоне голода и истощения зимы 1919 года эти человеческие чувства будут особенно выразительны».

Первые наброски и задания у меня неотрывно связывались с образным рядом. Вот первый набросок тринадцатого июня:

«Кронштадт. Панорама (рыбаки...). Матросы на берегу. Парк. Тема вальса или старой песни. Гул орудий вдали. Наступает двадцать одна держава. Корабельная жизнь 1918—1919 годов. Угольная погрузка. Голод. Отчисление пайка голодающему Питеру. Часовые. На холоду смена часовых. Один стоит босой, но поворот делает по всем правилам устава. Обращение к морякам. Комиссар: «Граждане!» С кораблей уходит часть людей. Комиссар перед боем, ячейка. Фронт. Бой. Полк. Оркестр. Раненые тоже идут в бой. Отстреливается пулеметчик. Крестьяне, их участие. Состояние голода. Пленный белый солдат. Моряки в плену. Диалоги. «Ты кто?» — «Герой, скиталец морей, орлиное племя, альбатрос». Расстрел. Холодно. Пар изо ртов. Моряки идут обнявшись. Как держатся матросы и как белые. Выброшенная волной фуражка. Параллельно бою полка — в море три эсминца. Весть в базе. Бешенство. Двойной подъем. Эскадра готовится. Десант. Финал. Один встречает другого. «Постой, как тебя?» — «Мы из Кронштадта».

Эта запись уже успела пожелтеть. Я вглядываюсь в нее и задаю себе вопрос: почему общие образные очертания были намечены, уловлены почти сразу? Я думаю, что на это сможет ответить ряд разработок, которые я вел для своих статей и исследований.

Из обилия материала, которым я располагал, отжи-

мались наиболее существенные факты, детали. Понятно, оперировать этим материалом я мог уверенно: этому помогало все мое прошлое.

Работу над сценарием я вел непрерывно и систематически. Темпы были довольно быстрыми. Шестнадцатого июня запись в дневнике: «Пришли решения. Опасность. Уход на фронт. Питер и республика. Фронт. Бой. Тяжелая ситуация. Ждут выручки на берегу. Гибель трех эсминцев. «Спокойно, товарищи». Письмо Ленина. Республика ждет. Питер готовится. Помощь флоту. И, наконец, единый общий слитный удар. Идущий флот, шторм. Движение десантных отрядов. Летят стекла города. Огромные воздушные волны. Разгром противника. Лавина бегущих. (Ставшая классической тема сбросов интервентов в море: в Нарве, в Белое море, в Черное море, в Тихий океан...).

Общие масштабы, исторические очертания сценария-поэмы постепенно делались для меня все более отчетливыми. Я восстанавливал для себя эпоху, слушал ее голоса, прежде чем начать разбираться в голосах отдельных людей. Попробуйте проверить себя, восстановите в памяти крупные исторические события. У вас возникнут сложные ассоциации. Из какого-то хорового могучего звучания лишь постепенно выделятся отдельные голоса.

Я набрасывал сценарий, уточняя и детализируя. Вот как выглядели эти детализации: на общем холодном суровом фоне Балтики я начинал различать людей. Стал набрасывать первые диалоги: «Где хлеб?» — «Голодным детям отделял?» — «Отделял», — «Шаляпина за выступление отделял?» — «Отделял». Я вспоминал свою жизнь, жизнь своих товарищей — мертвых и живых, иногда часами воспроизводил тогдашние беседы и споры вслух и про себя. Я вспоминал отдельные встречи, эпизоды. Так я записал похороны: жалкая клячонка тянет погребальные дроги, на гробу фуражка с ленточкой, за гробом ковыляют дети. Я видел холодный, отошавший Кронштадт — кладбище людей и кораблей. Слышал пронзительные, хватающие за сердце всхлипы сирен. Видел свой родимый Питер. Иногда материал давил с невообразимой силой. Я записывал и чисто быто-

вой материал: о чаепитиях, о сахарине, о людях с мешками, об очередях у Дома ученых. Все это шло в заготовки, в варианты. Однако я уточнял работу непрерывно, разрабатывая для себя вопросы формы. В дневнике сохранилась следующая разработка:

«1) Фильм в отношении света. Фильм надо начать сумрачно. Дело вечером. Все застыло. В финале я бы хотел соединить солнце и шторм. 2) Фильм в отношении темпа. Надо начать замедленно и задумчиво. Гранит, застывший воздух. Балтийская петровская старина. Финал на сокрушающей динамике. 3) Фильм в отношении эмоционального воздействия. Надо начать с давящего настроения, высвободиться от него, высвободиться от старины, голода, врагов, идти к предельному взлету чувств и настроений».

Я уточнял для себя задание: «Дать некоторое усиление масштабов, продумать смены ощущений, вызываемых людьми и явлениями жизни: то крупно, то смешно. Брать людей с разных точек зрения. Необходимо также снятие лживой батальности, мелкого судорожного монтажа. Я полагаю, этот монтаж пытается маскировать непонимание процессов боя и поведения человека в бою. Мой опыт, мои наблюдения говорят мне, что активные бойцы Красной Армии вели себя в бою логично, последовательно. Перенос в советскую кинематографию судорожной дробности (Пудовкин и др.), как я это мог установить тогда (1933), — это продукт незнания вооруженной борьбы, незнание социальной природы нашего бойца. В фильме о Балтике я от начала до конца проведу подлинную линию поведения высшего мирового исторического типа бойца — бойца-коммуниста».

Параллельно я разрабатывал для себя в тесном взаимодействии с Дзиганом вопросы звуковой кинематографии. Мы жили оба с Дзиганом на берегу Черного моря. Мы пользовались одними и теми же книгами и одновременно вели свои разработки. Пока я делал свои наброски и эскизы, Дзиган готовил свои разработки: «О зрителе», «О монтаже», «О звуке» и др. У нас установился интересный и сложный обмен мыслями, образами, знаниями. Я особенно напирал на необхо-

димось для Дзигана детальнейшего изучения морской литературы.

Семнадцатого июня я записал в дневнике: «Набросал черновик вещи. Поэма конкретизируется. Все отчетливее основные идеи: воля выше всего. Организующее начало партии. Вот лейтмотив. Вторая идея: единство армии и флота, боевая дружба. Затем вопросы партийно-боевой этики, поведения в плену, перед лицом смерти. Вопросы поведения раненых. Надо глубочайше разрабатывать эти проблемы в предвидении войны. Фильм должен дать большие понятия для огромных пластов молодежи: гражданская война и интервенция, партия, армия и флот, крепость, бойцы разных типов. Надо найти соотношение всех этих элементов и дать людей в массе».

По вопросу о сюжете я сформулировал свои мысли так: «Сюжет идет от столкновения масс. Для меня сюжет — сама история. Я считаю мелким и пошлым подменять фабульными штучками гигантское течение самой жизни. Для меня, например, столкновение политико-экономических мотивов в «Турксибе» дороже, умнее, новее самых изощренных фабульных решений у европейцев и американцев. В поисках трагедийной пьесы я давал новое решение сюжета и считаю, что положения, которые я защищаю год за годом от нападков со многих сторон, являются правильными».

Итак, первый черновик сценария-поэмы был написан. Я сообщил его режиссеру, развив еще целый ряд образов общего плана. Полностью принимая масштаб и замыслы, но и несколько боясь их, режиссер стал просить «конкретных людей», героев. Я гарантировал, что события без людей не произойдут. «Но пока ни их имен, ни фамилий, ни обычных режиссерско-актерских черт (приметы, характерные привычки, жесты и т. д.) я сообщить не могу». Я пока слушал шум, движение самих событий. В черновике материал излагался так:

«Величественные образы Балтики. Статика колоссальных форм. Гранит. Кладка старинных фортов. Парк. Арсеналы. Ряды старых голландских лавок. Петр I — «Сие место держать свято». Звуки, как вздохи огромного существа. Тяжкие остоны громад: линейные

корабли. Люди в холоде. Угрюмый разговор о хлебе. Глаза истощенных людей, обращенные к этому хлебу. Пар изо ртов. Холод и ветер пронизывают корабли. Сумеречные воспоминания и сожаления. На берегу полузамерзающие парочки. Клячонка. Гроб. Фуражка. Жестокая ссора моряков и пехотинцев...»

В начале июля я отложил черпковик, для того чтобы обратиться к внутренней проработке образов людей. Начался новый этап работы. Эту приостановку самого процесса писания я заполнил рядом дел: я выступал среди начсостава местного гарнизона и командиров запаса. В выступлениях я то так, то иначе подавал аудитории некоторые из эпизодов, которые я намеревался дать в фильме. Я следил за реакциями. Параллельно я анализировал, изучал материалы, накопившиеся в процессе реализации моих прежних работ. Я старался отобрать наиболее ценное, годное, прочное. Для меня работа над сценарием была большим обобщением пятнадцатилетнего военного, журналистского и литературного пути. Если в «Оптимистической трагедии» сюжетные рамки ограничивались историей создания Морского полка, то в сценарий я вкладывал неизмеримо большие сюжетные масштабы. Я вновь и вновь проверил возможность одухотворения таких сюжетных компонентов, как город, крепость, форт, полк. Я убежден, что новые исторические масштабы дают возможность как-то по-новому увидеть взаимоотношение коллективов, масс. Образный, игровой потенциал этих коллективов, этих объектов и субъектов истории, я убежден, может давать огромное эмоциональное и идейное воздействие. Я предвижу появление поэтических сценариев о взаимоотношениях стран, о взаимоотношениях городов. Это будут сценарии и фильмы неизмеримо более богатые, чем фильмы Гриффитса, — идейно ограниченные. Наша кинематография уже делала ряд поисков и разведок на этом пути, и я уверен, она будет продолжать их с крайней энергией.

Я заново продумал композиционное строение ряда своих пьес и ряда пьес советских и иностранных драматургов, ища наличия подлинно новых идейных и формальных компонентов.

Пауза — теоретические разработки перевели работу в новую фазу. В один из дней я прочел Дзигану первые черновые варианты уже с рядом детализаций. Я тут же четко сформулировал Дзигану методологию своего сюжетосложения. Вот записи из дневника: «Сюжет строится на наивысших и наибольших явлениях истории. За пределами видимого сюжета должна мощно разворачиваться тема эпохи. Итак, фильм должен быть памятником эпохи. Конкретизация сюжета: Питер — колыбель пролетарской революции. Флот и армия, как слепок нашего государства, нашего строя. Следующая детализация: взаимоотношения флота и армии — боевая дружба. Особый вид коллективных чувств в рядах социалистических вооруженных сил. Всю вещь должно пронизывать волевое жизнеутверждающее начало. Трагедия, неудачи порождают подъем».

Нужно сказать, что эти формулировки все-таки недостаточно легко доходили до режиссера. Тогда я начинал догадываться, что он ждет фабулы, интриги. Вот здесь у меня зарождалось желание сделать такое драматургическое построение, которое было бы пропитано иронией по отношению к привычным, штампованным, фабульно-интрижным приемам нашей кинематографии. По мнению привычных заказчиков, судьба революции, судьба города не является достаточно драматичной. Им необходимы различные комбинации — «он», «она» и т. д.

Вот так постепенно зарождался внутренний иллюзорный фабульный ход сценария. Я начинал видеть людей, героически обороняющих Петроград. Я им придавал некие привычные, встречающиеся в быту черты. Так постепенно завязывались некие осложнения из-за женщины, появлялись черты соперничества двух мужчин. Но по сути своей во всем этом заключались лишь третьестепенные ходы. При разворачивании подлинного сюжета все эти индивидуально-фабульные линии пропадали, становились едва видимыми. Их оттесняли общие движения, столкновения, борьба. Я подчеркивал этим примат концентрированной воли, напоминал о том, какова бывает борьба в кризисные дни. Я решил отказаться от привычных комбинаций: батальные картины,

потом немножко лирики, любви, пейзажей... Беря кризисные дни 1919 года, я решил дать беспрецедентное напряжение физических и интеллектуальных сил наших бойцов того времени. И чем больше я разрабатывал эти вопросы партийного и боевого поведения, тем яснее проступали очертания героев.

Они определялись постепенно. Я извлекал их из памяти, знал, что чем ярче сохранился тот или иной образ, тем прочнее он был в жизни. Для типизации матросской массы я взял несколько коренных моряков, разногодков. От потемкинской и кронштадтской традиции я повел линию политкаторжанина Антона Карабаша (вначале он был едва намечен, разработан лишь в последних вариантах). С наибольшим вниманием вначале я разрабатывал фигуры матросов: низкорослого, гитариста и фигуру пехотинца. Легко, естественно, органически родилась фигура латыша. Я годами наблюдал латышей, видел их в боях. Образ латышского стрелка в революции стоит рядом с образами матросов, чекистов, курсантов.

Так постепенно театр военных действий заполнялся людьми, бойцами. Я знал, кто, на каких участках, как дрался. Название того или иного корабля или номер того или иного полка вызывали в памяти тех или иных людей. Я знал их вкусы, привычки, повадки, мысли, язык.

Появление того или иного персонажа немедленно давало комплексную характеристику, разработку. Я воскрешал любимые характерные словечки и выражения того времени, любимые песни, мотивы. Все эти разработки были излишне насыщенными. Приходилось отбирать лишь самое нужное.

Все начало июля я вел разработку сюжетных центров, непрерывно выверяя круги и следя за соотношением элементов индивидуальных и массовых.

Именно в эту пору пришла полезная мысль дать детей в гуще всего этого исторического и военного водоворота. Дети становились во всем развороте событий элементом светлым, наиболее человечным. Они как-то расширяли круг мыслей и ассоциаций. Глядя на какого-нибудь карапузика, который впервые видел

наган и, уставившись, серьезно и удивленно спрашивал: «А это что?» — я думал обо всем дальнейшем течении жизни этого человечка, о том, что он, рожденный в годы войны, доживет, возможно, до самого конца XX века и увидит бесклассовое общество.

Сценарий, мысли о нем, образы, сцепления, взаимодействия наполнялись с каждым днем. Пятого июля я написал первый вариант, который я и прочел ряду товарищей в Москве двадцатого июля.

Началась новая фаза работы. Вместе с Дзиганом мы выехали на Балтийский флот. Шестого августа мы были в Ленинграде. В течение недели я знакомил режиссера с Центральным военно-морским музеем, с рядом моряков, постепенно вводил режиссера в незнакомую ему флотскую среду. В музее особенно подробно были осмотрены все экспонаты, относящиеся к периоду борьбы за Петроград в 1919 году. Тринадцатого августа мы были в Кронштадте.

Мы много времени отдали на подробный осмотр города. Я показывал Дзигану ряд исторических мест — Якорную площадь, флотские казармы, пехотные казармы, рассказывал о взаимоотношениях моряков и пехотинцев в старом Кронштадте. Мы бродили по бульварам и по парку, и режиссер тут же наблюдал новые варианты краснофлотского бытия: современные прогулки, шутки, встречи с девушками и т. д. Мы жили с Дзиганом в здании бывшего Николаевского инженерного училища, обращенном ныне в ДКА. За окнами была Военная гавань. В ней стоял флот. Мы проводили беседы с балтийскими литкружковцами. Проверили и реорганизовали архив газеты «Красный Балтийский флот», собрав и систематизировав все комплекты этой газеты с 1919 по 1933 год. Рабочее время у нас было уплотнено. Мы провели большую беседу с военкорами и литкружковцами подводного плавания. Участвовали в выпуске «Литературной вахты», осмотрели Кронштадтский морской музей, осмотрели порт и морской завод. Специально для того, чтобы наблюдать Кронштадт и Финский залив вечером, мы сделали рейс в Ленинград. Девятнадцатого августа я провел Дзигана по южному берегу Финского залива, по старым маршру-

там матросских отрядов. Шли по шоссе, по лесу, по болотам, ночевали в деревне. Я много рассказывал о действиях матросских отрядов на этом участке, о ликвидации красногорского мятежа, об октябрьских боях против Юденича. Вернувшись в Кронштадт, мы отдались изучению комплекта флотской газеты за 1919—1920 годы. Встречались редкостные заметки, статейки, письма. Одно из них дало мне толчок к созданию эпизода чистки моряков перед отправкой на фронт. Чтение этих подлинных материалов, пребывание в самом сердце Балтики, походы по берегу, вся атмосфера осеннего Кронштадта давали режиссеру многое для решения задачи, в первую очередь — пейзаж.

Двадцать первого августа Дзиган отправился на эскадру, которая находилась в море. Я продолжал работать над сценарием, делая различные наброски и т. д. Бродил по Кронштадту. Город прекрасный, своеобразный, стал чище. Ряд встреч со старыми друзьями. Рад, что Дзиган изучает Кронштадт и флот. Я много читал: о трагедиях Софокла, читал французов. Просмотрел «Правду» за 1917 год. Штудировал старые флотские газеты.

В один из дней я пошел в ночную учебно-боевую операцию на торпедных катерах. Она восстановила атмосферу, обстановку ночного августовского налета английских торпедных катеров на Кронштадт.

Мы побыли с Дзиганом в Кронштадте почти месяц. Двадцать седьмого августа пошли с Дзиганом в море на подводной лодке. Лодка сделала пять погружений. На память Дзигану командир дал справку — удостоверение об этом «крещении». Двадцать восьмого августа я показал Дзигану старинный форт «Павел», на котором некогда произошли катастрофические взрывы мин (1919—1923 гг.). Мы также посетили один современный форт. Я видел, как у Дзигана все прочнее складывается понимание моих образов Балтики. В день МЮД'а мы провели беседу в помещении кронштадтской библиотеки. Выступая перед молодежью, я вновь проверял ряд исторических и боевых эпизодов, которые входили или могли войти в фильм. В течение всего времени нашего пребывания в Кронштадте флотская печать внима-

тельно относилась к работе, которая шла уже полным ходом.

Месяц в Кронштадте крепко двинул работу. Мы вели записи. У меня сохранились некоторые выписки из флотских газет и писем 1919 года. Вот некоторые из них: «Грамоте я учился по вывескам: «Казенная винная лавка». «Вошь, граждане, в течение двух месяцев дает потомство в пять тысяч вшей. Надо, кроме белых, победить и вшей». «Кто, товарищи, желает записаться в студию ораторского искусства?» (а матросы все голодные, тощие). «Ну, ты, бывший сочувствующий!». «Мы тут стараемся, а они там: вот, пишут, — в Сарагосе произошел мятеж в бараках 9-го артполка... Тоже братки действуют».

Таких записей, штрихов, деталей я заносил много.

Работа с Дзиганом носила необычный характер. У нас одновременно шли и постановочно-режиссерские и актерские (на предполагаемых и ожидаемых актеров) разработки. Иногда мы касались самых разнообразных сторон киноискусства. Вот еще одна моя запись из дневника: «О звуке. Изучение фильмов показывает, что немое кино давало интим. Звуковое кино в массе нарушает это. Оно дает вторжение звука в лоб — форте. Надо найти теплоту, игру звука, от интима, пианиссимо до форте. Надо дать два-три-четыре плана звуков, добиваться полифонии, а не долбить примитив: либо говорят герои, либо им произвольно подыгрывает музыка. Звук должен быть органическим игровым компонентом. Он должен по-особому окрашивать действие, вторгаться, как драматический элемент...»

Я уточнял для себя стиливые вопросы: «Хочу видеть так свой фильм: планы укрупненные, соотношение вещей подчеркнутое. Убрать «петербургский» эстетизм, «пейзажи». Дать пустынность, холод 1919 года. Дать перспективы: камень, море, песок и тоскливые деревья. В пейзаже, игре, мизансценах давать движение от мрака к нарастанию мажора, света. Пластически, звуково и прочее дать кристаллизацию победы».

В сентябре я вернулся в Москву. Я то возвращался к рукописи, то ее откладывал, смотрел наши и заграничные фильмы: «Конвейер смерти», «Западня», «Поручик

Киже» и т. д. Следил за некоторыми полярными фильмами. Прислушивался и присматривался к ходу партийной чистки на Мосфильме. Я хотел быть целиком в большом русле нашей кинематографии.

Время сдачи сценария приближалось. Я продиктовал его по дополненному и разработанному варианту, который в июле проверял на первой читке в среде кинематографистов и писателей. Соединение рукописного текста с дополнениями и с проверкой текста на слух мне кажется приемом правильным.

Вот в каком виде появился этот вариант сценария, который я предназначал уже для более широкой проверки в литературных и кинематографических аудиториях.

Москва
1936 г.

БОРЬБА ЗА СЦЕНАРИЙ И ФИЛЬМ

После первых чток сценария я много занимался с Дзиганом. Для меня было ясно, что вещь можно сделать еще прозрачнее и яснее. Некоторые линии можно откинуть, усилив этим главные линии. Я разбил для себя сценарий примерно на тридцать восемь — сорок эпизодов, и мы начали вместе с Дзиганом продумывать и многосторонне проверять эпизод за эпизодом, их связи, сцепления. Эта режиссерская фаза работы над «Мы из Кронштадта» началась 14 октября 1933 года.

Вот детали и записи о работе этого дня: «Конкретизировать тревогу в Кронштадте. Экономнее решить прогулку матросов. Острее развить преследование женщины. Пленение «пскапского» — развить неизвестность: кто он? Острее реакцию на «Мы пскапские».

Во время этой беседы я напомнил Дзигану: «Помните, что у меня за сюжет! Любовную линию я дал ложную. Вражда матроса и пехотинца — она иллюзорна, я ведь ее постепенно снимаю».

Предстояло, однако, проверить сценарий на большой кинематографической аудитории. Читка на Мосфильме была проведена вечером 23 октября 1933 года.

Общественные читки позволили многое проверить, наметить пути дальнейшего развития вещи. Я подчеркивал режиссеру, что принципиально не принимаю так называемого «железного сценария». Работа движется,

приходят новые люди, актеры, определяется натура. Все это вносит живые дополнения, обогащает материал. И считать, что сценарий к моменту, когда первый раз двинулась ручка съемочного аппарата, не подлежит исправлению, было бы странно.

В беседах с режиссером были намечены некоторые уточнения материала. В первую очередь я обратил свое внимание на образ комиссара. Постепенно возникали различные варианты этого образа: старый раненый матрос; глубоко «штатский» большевик, впервые попадающий во флот; старый партийный работник, имевший связь с флотом еще до революции.

Общий отзыв кинематографического руководства (тогда Треста) был таков: «Сценарий представляет собой новое слово. Чувствуется свежесть, полнокровие. Постановка вопросов смелая. К недостаткам вещи относится нажим на физиологическое начало. Недостаточна связь Кронштадта с рабочей массой».

В ответ на эти отзывы и отдельные высказывания, помещенные в газете «Кино», я и режиссер 15 декабря 1933 года написали в ГУКФ следующее письмо:

«Сценарий «Мы из Кронштадта» должен рассматриваться как материал, отталкиваясь от которого весь постановочный коллектив, режиссер, автор-консультант, художник, оператор, актеры и т. д. создают углубленное произведение искусства. В своей работе режиссер и автор-консультант ставят себе целью, переходя уже ко второй фазе работы,— к написанию режиссерского сценария, особо четко развернуть идейно-политическую сторону сценария.

Наибольшее внимание будет отдано выявлению и раскрытию линии партийного руководства, партийного начала. В первую очередь будут углубленно решаться образы комиссара, образы латыша-командира, женщины, старого матроса на линкоре и др.

Углубление партийно-организующей линии будет проведено и путем режиссерско-актерской подачи целого ряда типичных образов фоновой природы: команда линкора, моряки и рабочие Кронштадта, участники субботников, проходивших под английским огнем, бойцы ЧОН'а и т. д. В пластической игровой подаче этих обра-

зов будет четко решена задача показа пролетарского начала — связь моряков с рабочей массой.

Все решение фильма от начала до конца будет нести в себе задачу показа того, как из старого, хаотического мира, из мира, в котором люди бродят «по колено в грязи», волей партии и рабочего класса кристаллизуются новые, целеустремленные и здоровые силы. Эта задача будет решена применением ряда новых приемов: постепенное становление каждого образа через звук, голос, интонацию, игру, освещение. Автор хочет показать не ограниченный кусок — только 1919 год, — а большое поступательное движение эпохи.

Те моменты, которые могут казаться несколько усиленными в первой части сценария (ряд биологических штрихов), даны автором для того, чтобы путем отталкивания от них, преодоления их показать исторический путь людей, вырывающих из самих себя корни прошлого. Процесс формирования нового человека не может быть показан во всем его размахе, если не будут показаны те элементы, которые подлежат преодолению, ликвидации. Эти элементы совершенно необходимы также и в плане драматургической композиции: люди должны бороться, преодолевать, должны возникать трагические коллизии. Один лобовой показ крепких, сознательных и здоровых бойцов, идущих на белых, совершенно не вскрывает сложнейших процессов периода первых лет революции.

Фильм вырастает как результат огромной, каждодневной, каждочасной работы автора, режиссера, художников, оператора, актеров и т. д. Ведется форсированно работа по созданию режиссерского сценария. В нем уже будут новые, еще более глубокие качества, чем в литературном сценарии. Смысловое и идейное обогащение вещи, уточнение трактовок идет в нашей творческой группе непрерывно. Этот процесс служит гарантией того, что, совершенствуя работу, мы выполним стоящие перед нами задачи».

20 декабря 1933 года состоялось Всесоюзное производственное киносовещание.

Характеристика сценария, которая дана была на этом совещании, вносила ряд существенных изменений

в вопрос об осуществлении фильма. Мне пришлось снять с учета ряд положительных высказываний, сделанных в ГУКФ'е и Мосфильме.

На тематическом совещании сценарий подвергся обстрелу.

На этом совещании я выступил с таким ответом: «Я пишу то, что знаю, что видел, сам делал и продумал. У нас в кинематографии много стандарта. Я беру материал жизни просто и грубо. Вы этого испугались. Я показываю то, что имело место в жизни, то, что является исторически верным и типичным. Вы комиссара хотите видеть центральным героем, а у меня замысел иной. Вы хотите, чтобы матросы целовались с пехотинцами сплошь, а я знаю, как было в жизни. Мои матросы есть матросы. У них кровь была черна от угольной пыли. Было много тяжелого в нашей службе, в нашей жизни, в наших душах до 1917 года. Менять это в угоду критике не буду. Нам нужно точно, средствами нашего искусства, сказать правду о нашей жизни, правду о нас самих. Корни старого очень сильны в людях. И когда я говорю о жизни, я говорю так, как я ее вижу, чувствую, знаю. Смешно от меня требовать этаким энтузиастический Кронштадт. Разве вы не понимаете, что я даю Кронштадт с его глубочайшими старыми корнями. Разве вы не понимаете, что я говорю людям: смотрите, какой темной и страшной была раньше жизнь, как трудно было, дерясь с врагом, еще драться с самим собой. Вы подходите сейчас ко многому с позднейшими мерками. Меня многие обвиняли в тех же грехах, о которых говорилось здесь, и за «Оптимистическую трагедию». Но я не уступлю.

Меня интересует самый первичный процесс, хочу видеть, как зерно падает в землю и как пробивается первый росток. И я слежу непрерывно за душами, за сознанием своего низкорослого матроса и его друзей. Это и есть замечательнейший процесс перерождения людей. Забыли вы разве те годы? Вы требуете, в сущности говоря, какого-то другого сценария о Питере, о политотделах и т. д. Разве вам непонятно название сценария «Мы из Кронштадта», а не «Мы из Петрограда»? Я пришел в кинематографию, чтобы работать по-крупному

и по-серьезному. Мне важно знать, смогу ли я работать. Вносить на бумагу доделки, поправки, вставки я сейчас не могу. Работа в такой фазе, что мне ее надо двигать дальше вместе с режиссером, с актерами. В кинематографии все эти бесконечные бумажные доделки и переделки загубили много хороших вещей. Сценарий требует сейчас выхода на воздух; мне, режиссеру, актерам надо идти на корабли. Уверяю вас, что это будет значительно лучше, чем согласование и споры насчет комиссара, латыша и т. д. Мне кажется, что двинуться за рамки сценария, внутренне по-режиссерски и актерски решить ряд образов вы не хотите или не можете».

Дискуссия была, как это видно, весьма серьезной и острой. От драматурга требовали переделок, вставок. Вопрос поставили так, что если эти переделки не будут сделаны, сценарий будет снят с работы. Я вынужден был пойти на формальные поправки и переделки. Сидеть над бумагой я больше не мог. Вещь требовала перехода в новую фазу, живого обмена мыслями с режиссером, актерами, художником, операторами. Вещь надо было проверять среди участников боев за Петроград...

Доделки были сделаны. Поступил ответ от военного сектора ГУКФ'а. Привожу этот документ от 10 марта 1934 года:

«Указания по доработке сценария, данные ГУКФ'ом, выполнены автором неудовлетворительно...» и т. д.

Сценарий явно пускали на дно. Взамен настоящей творческой работы из ГУКФ'а присылались канцелярские бумаги и канцелярские заключения. Со счетов были сброшены высказывания кинематографической и писательской общественности. Единственное, что я мог противопоставить,— это печатный экземпляр сценария. Он был помещен в № 12 журнала «Знамя» (1933) и существовал как литературное произведение, как требование, как прообраз фильма.

Отказывался ли я от работы над сценарием? Нет. Но я предлагал эту работу не сводить к вклейкам и доделкам, а сказать четко, принципиально: согласна ли

кинематография начинать постановочную работу или нет. Дело клонилось явно к отрицательному ответу. Режиссеру Дзигану поручили новую работу. Весной 1934 года я уехал на юг для проведения подготовительной работы перед 1-м Съездом советских писателей. Мысли о необходимости создания фильма меня не покидали. Но вся работа стояла.

В июле 1934 года народный комиссар обороны маршал Советского Союза товарищ К. Е. Ворошилов, прочтя сценарий, дал указание о немедленной его реализации. ГУКФ сразу проявил активность. Завязалась моя оживленнейшая переписка с Дзиганом. Начался подбор актеров, составление генплана. Мне называли фамилии актеров. Я увидел их фото. Образы начали конкретизироваться в зависимости от внешности, от данных актера, от его пластики (ряд актеров я знал по другим работам). Я стал двигать сценарий. Это и была та работа, те подлинные творческие улучшения, на которые я шел, которые мне были ясны. Вот, например, из письма режиссеру: «О гитаристе. Намечаемый актер, уверен, создаст острейший новый тип. Это гражданин, полуинтеллигент и боец исключительной силы». В фильме эти замыслы и воплотились в блестящем образе, который создал артист Кириллов.

Девятнадцатого июля я начал драматургическую и авторско-режиссерскую разработку сценария. Я поставил себе целью дать развернутый материал для режиссера, операторов, актеров. Это самозадание я выполнил. На протяжении более чем года я дал Е. Дзигану восемьдесят восемь авторских писем-разработок, касающихся сценария, персонажей, вопросов морской истории, вопросов стиля и т. д. Сохранившаяся переписка с режиссером Дзиганом представляет по сути дневник постановки и книгу по боевым вопросам кинематографии. Ряд выдержек из этих разработок, пожалуй, следует привести.

«...Рад вестям. Над вещью думаю все время. Буду вам писать. Я вижу такие образы, решения: местность — дать обесплощенное голое поле... Пустынность 1919 года... Важен волевой момент. Матрос возвращается на шлюпочке. Гигантское море и микроскопи-

ческий упорный человечек в шлюпочке. Стихию моря надо вести все время, весь фильм. От штилевого залива до открытой штормовой Балтики. Пришла мысль в сцене паники попробовать смещение фокуса: «у страха глаза велики». В панике надо дать лавинность, стадность и потом постепенное отрезвление. Все время работаю над комиссаром. Вижу его так: комиссар из бывших политэмигрантов. Этот вариант дает расширение образа, темы. Вижу фактуру: мягкая шляпа, отложной воротник, галстук, хорошее лицо. Очень много думаю о юморе в фильме. Надо хорошо, трогательно сделать проводы матросов. Стоят старики-дружинники, чоновцы. Спешат женщины. И когда матросы пошли, один старикашка: «Давай, давай, сынки», — и один из матросов: «Даем, даем, папаша». Очень важно выверить всю фактуру. Пехоте дать папахи и шлемы.

«...Непрерывно работаю. В фильме не должно быть никакой старо-романтической петрушки. Упрекали в отсутствии рабочих. Надо сделать комиссара, латыша, матроса, пехотинцев такими рабочими бойцами, чтобы и мысли о других не было. В фильме должен быть вооруженный народ. В бою у латыша артиллерийский хаос, а латыш спокойно ведет записи и бросает свои короткие реплики. Некоторые требовали показать Питер, тыл, а я думаю сделать так: детей, женщину надо бросить в самое пекло. Фильм должен идти вверх математически точно в отношении эмоции, звука, света, игры».

«...Думаю о том, что комиссар должен быть уполномоченным от ЦК партии. Это серьезная тема партийного руководства в кризисные дни на решающих фронтах. Думаю о начале фильма. Оно должно быть замедленное, мрачное. О проводках матросов. Рабочий оркестр должен быть небогатый. Несколько смешных типов. Два-три музыканта. В проводках свой трагизм. Толпа — как она редет; упорно идет старушка одна за отрядом (там ее сын). Тишина, и музыки уже нет. Очень важно сочетать в боевых сценах романтику и прозу боя. Надо найти и осечку в бравате матросов. В сцене танка: найти звук и давать его до предела. Матросы бегут перед танком, сбрасывают бушлаты, перепрыгивают через обрывы. Сообщите, как с организационной стороной, когда

будет генплан, как с лимитами пленки? Назначен ли военный администратор? О звуке. Надо найти все фактуры. Работать звуком органически. Пользоваться звуком от микроскопического до рева. Надо искать и звуки воды, и свист пули и снарядов, и храп спящих, и топот ног по граниту. А звук захлебывающегося человека? О работе оператора: советую ему ознакомиться с маринистами — Бегров (его балтийские пейзажи), отчасти Тернер и др.».

«...Надо хорошо найти существенные стилевые элементы: ветер, вода, холодное пространство. Все это надо изучать на месте, в Кронштадте. Очень важно решить человеческие голоса: от шопота и бормотания, через неорганизованные крики, шум и галдеж, к организованному началу команд, ритма в бою до ясных и совершенно четких слов в финале. Эта линия даст становление людей, преодоление стихийного. Кто у вас художник, знает ли он натуру, был ли на Балтике? Пусть помнит задание: от мглы и сырости хаоса — к организации и свету. А хаос переносится к противнику. Их метание, распад. Нужно рассчитать и световую шкалу. Мгла, ночь в первой части и залитое солнцем пространство в шестой части. Пишите больше, я буду откликаться, «детонировать».

«...Как дела с актерами? Берите первоклассных актеров. Надо подбирать людей и для массовок. Типаж у нас должен быть стилизованный, выверенный, тренированный. Это должны быть отборные моряки. Если делать фильм, то чтобы он был событием, этапом. Это же первый фильм о Красной Армии и Красном Флоте. Спрашивать с нас будут серьезно. Очень важно решение пространства: перспективные съемки вдаль. Ощущение глубины в сцене казни. Ощущение высоты. Все три измерения надо давать сильно, рельефно. А у нас в кино фильм за фильмом загоняют в павильоны. Выдвигаемые мной предложения, замечания, мысли требуют разбора. Я сейчас анализирую сценарий и весь материал, связанный с 1919 годом, с Балтикой. Люди, слушавшие или прочитавшие сценарий, чувствуют в нем своеобразие. Возьмите, например, роль женщины. Она у меня задумана вся на пассиве, на лиризме, разлитом вокруг нее,

на молчаливой скромности. Три дня подряд я изучал на водной станции, как люди падают в воду. Нам нужно поймать естественное свободное падение, затем падение произвольное, врасплох. Падение со связанными руками и т. д.».

«...Вам надо сейчас ехать в Кронштадт. Дышать Балтикой, ее поэзией, ее историей. Именно сейчас, когда вы начинаете режиссерскую разработку. Когда начнутся съемки, будет мало времени. Начать фильм вы должны в полном морском состоянии. Ходите, бродите по берегу Балтики, поезжайте до эстонской границы».

Двадцать первого июля в Севастополь приехал главный оператор товарищ Наумов-Страж. У меня с ним была большая беседа о стиле операторской работы. Знакомя оператора с флотом, я показал ему всю Севастопольскую бухту, портовое строение, корабли. Мы наметили до десяти объектов, которые можно было использовать на съемках при переносе съемок из Балтики на юг. Эти объекты и были использованы.

Дзиган вел в это время очень большую работу. Он писал цикл подготовительных работ: «О звуке», «О зрителе», «Организация творчества». Эти работы (они будут опубликованы в книге, издаваемой ГИК'ом) строились, как неотъемлемая часть режиссерской экспликации.

Режиссер четко ставил вопрос об изучении зрителя. Режиссер четко ставил вопрос о причинах успеха или провала тех или иных фильмов. Режиссер брал установку на абсолютную ясность и доходчивость задуманного фильма.

В эту же пору шел подбор актеров. Я писал режиссеру по этому поводу: «Если актеры все заняты, то согласен отказаться от выбора мастеров-первачей и смело идти на выбор актеров, еще никому не известных». В этом вопросе наши взгляды совпадали. И наш выбор дал нам Бушуева.

Наша параллельная работа — один в Севастополе, другой в Москве — шла каждодневно. Вот из очередного письма режиссеру: «Сон бойцов. Надо выбрать необходимый тонус. Спят, обнимая винтовки. Это сон воору-

женных, готовых к бою. Кто-то проснулся на несколько секунд, к чему-то прислушался и опять заснул. Советую понаблюдать сон в казарме и на линкоре. Относительно комиссара. Образ все время уточняется, это профессиональный революционер, волевой товарищ, опытный в обращении с людьми... Относительно вида бойцов в фильме: покончить раз и навсегда с оборванцами с пулеметными лентами и т. д. Надо дать образ кадровой Красной Армии. Покажите актерам и костюмерам серию фотографий из музея РККА».

«...Наблюдаю четвертый день прыжки в воду. Ясно решение казни. Вести людей надо просто, а сброс людей дать с высоты, примерно со скалы. Летит человек несколько секунд один, в темную воду, летит, все уменьшаясь. Всплеск, круг... Так второй, третий. Смерть надо показать глубоко».

«...В фильме всюду надо найти решение пропорций, масштабы вещей. Надо дать глубины каналов, соотношение людей и орудий на батарее. Надо дать выразительно корабли. Особенно важны боевые сцены. Перспективная съемка идущих в рост людей. Черные фигуры на песке — это будет выразительно, пластично. В сцене с танком эти соотношения: машина — человек будут особенно выразительны. Соотношение надо искать и через звук. Например, после падения в воду всплеск донесен с задержкой в секунду, две. Это подчеркнет глубину, вертикаль».

«...Все думаю о звуке. Звуковой образ моря, звуковой образ ветра должны иметь сплетение со звуковыми образами людей. Натуралистические звуки надо выкидывать, должны быть звуковые подтексты. Думаю о вводе актеров. Каждому из них нужны: поездка в Кронштадт, беседа о флоте, специальная литература, письменная характеристика роли, рисунки, фото. Нужно использовать фильмотеку. Просмотрите с группой различные куски хроники о флоте, фильм «Морские силы СССР», морские инструктивные фильмы и т. д. Опять возвращаюсь к звуку. Очень важны звуковые паузы. Например — в атаке вот-вот затихнет «Интернационал»; пауза при броске связки гранат, пауза при убийстве фельдфебеля матросом и т. д.».

Режиссерский сценарий был закончен. Раскадровка, метраж, сочетание кадра и звука стали гораздо яснее. Ряд вещей был решен режиссером весьма интересно. Вещь как-то любопытно росла и трансформировалась на глазах. Рабочий кабинет режиссера был весь увешан фотографиями — это были копии редких снимков из Морского музея, а также различные актерские пробы и эскизы художника Егорова.

В ночь на пятое сентября вся съемочная группа Дзигана и я тронулись в Балтику. По прибытии в Ленинград группа осмотрела Адмиралтейство и ознакомилась с рядом нужных материалов. Поездка в Кронштадт была намеренно совершена по береговой дороге. Осенний день давал полнейшее представление о необходимой для фильма фактуре. Командование Балтфлота встретило группу радушно и деловито. Были сразу же проведены беседы в штабе. Группа перебралась на линейный корабль «Октябрьская революция». Вся группа вплотную входила в жизнь Балтийского флота. Перед ней развertyвалась панорама огромной крепости, исторические места боев. К закату седьмого сентября, по знаку режиссера, «начали» — был снят первый кадр фильма «Мы из Кронштадта». Снимали движение вражеских кораблей (съемка шла в районе Даго — Эзель).

В двадцатых числах начались съемки в самом Кронштадте. Была снята сцена тревоги и выбега к орудиям. На съемке работало несколько сот краснофлотцев электро-минной школы.

Работа, таким образом, началась! Первыми же пробами, которые были быстро проявлены в Кронштадте, мы остались довольны. Суровый колорит Балтики оператор товарищ Наумов-Страж схватил отлично.

Примерно в октябре я писал режиссеру: «Балтика, стиливые линии — начало фильма — уловлены, но дальше пойдет укрупнение и развитие образов, будут сложнейшие съемки. Жалею, что ни разу ни фабрика, ни ГУКФ не поговорили о работе. А провести хорошую беседу всем нашим коллективом было бы полезно».

21 ноября 1934 года: «Итак, просмотр кадров фильма закончился резкой стычкой с ГУКФ, киностудией. Не будем поддаваться их напору и неверным требова-

ниям. Замысел у нас правильный. В первых частях фильма суровая, мрачная и холодная Балтика. И пусть сколько угодно кричат о том, что «снято темно» и т. д.

Я углубляюсь в сценарий. Что нового мы дадим, обязаны дать в фильме? Образы масс. Революция дала впервые в мире образ идейно направленной массы. Это не толпы. И вот образ этой массы одухотворенных людей, образ культурнейшей армии, армии храбрецов мы и должны дать. Весь фильм должен быть как крупнейшее сражение день и ночь с врагами, нападающими отовсюду. Мы даем высшую точку кризисной поры 1919 года. Из кадра в кадр повышение трудностей. Голод, враги, шторм. Людям приходится преодолевать труднейшие вещи. В образе матроса надо сконцентрировать максимум человеческого упорства. В фильме не должно быть частных бытовых решений. Прошу и убеждаю, бегите прочь от вкусных, «красивых» кадров».

В феврале 1935 года начали готовиться к натуре. Я рекомендовал найти пески побережья где-либо на юге.

Вместе со штабом флота был согласован план работ на весь период 1935 года. Командованию был вручен сценарий. Семнадцатого мая Дзиган и представитель штаба обследовали севастопольское побережье. В Учкеевке, в нескольких минутах хода от Севастополя, был найден подходящий хуторок, обрыв над морем, песчаный берег и пустынные поля. Выбор оказался исключительно удачным. Натура сочеталась с близостью флота, крепости, города. Рядом были батареи, шоссе, дороги, санаторий со столовой и т. д.

Автор и режиссер предъявляли к директору весьма трудные требования. Так были даны задания: насадить сосновый лес; построить шоссе протяжением около километра; провести телеграфную линию; построить три линии настоящих окопов с блиндажами; построить танк; построить деревянные рельсы для съемок с движения; построить кусок деревни; устроить фугасное поле; организовать флотилию, десятки баркасов для высадки десанта; обеспечить стрельбу нескольких батарей и, наконец, обеспечить вывод в море целой эскадры. Масштаб этих заданий исключителен.

Связь между мной, Дзиганом и постановочным коллективом была непрерывная. Продолжался интенсивный обмен письмами. Любой эпизод сценария подвергался двух-трех, а иногда и четырехкратной проверке.

Самостоятельную отличную разработку вел режиссер. Параллельно вел разработки автор. Варианты сверялись, сличались. Такая интенсивная работа и объясняет, почему было восемьдесят восемь писем от автора и примерно до тридцати писем от режиссера. Уверен, что они будут опубликованы.

Группа жила дружно. Жизнь вместе с моряками вводила весь коллектив в сущность сценария и фильма. Актеры вживались в изображаемые им образы. Это облегчалось в значительной степени тем, что основной состав исполнителей был подобран нами из участников гражданской войны. Таковы Бушуев, Кириллов и др.

К началу решающих съемок я приехал в Севастополь. Общение со всеми творческими работниками было полное и непрерывное. Установилась такая практика, что накануне съемки того или иного эпизода Дзиган дает мне режиссерскую экспликацию эпизода. Я ее перерабатываю, литературно и драматургически выверяю, шлифую и в тот же день или на следующий день с утра передаю режиссеру, который и делает мизанкадр. В ряде случаев к таким совместным разработкам прибавлялись мои отдельные варианты, объяснения и т. д.

Именно в этот период я написал атаку с «Интернационалом», сцены пехотной обороны, окопы, дал эпизод с ранеными, похороны комиссара и некоторые другие эпизоды. Писал я буквально рядом с актерами, с камерой, — увлеченно. Так вот я написал и панораму Петрограда для пролога и другие новые эпизоды. Застывать на решениях 1933 года было бы странно.

Одиннадцатого августа: «Дни напряженные, съемки, встречи, просмотр материала, разработки очередных эпизодов. В группе настроение бодрое».

Дело шло постепенно к финалу. Связь с режиссером становилась все органичнее и прочнее. Внутренняя уверенность в фильме росла из кадра в кадр. Актеры работали с полным напряжением сил. Некоторые из

них буквально рисковали жизнью. Так, Зайчиков в сцене гибели комиссара, захлебываясь, лежал связанный под водой, а когда его вытаскивали, идеально изображал мертвого, не шевеля ни одним мускулом и не позволяя себе даже легкого дыхания.

Наконец был отснят последний кадр в Севастополе. Группу провожали десятки моряков и командиров, сжившихся и сдружившихся с кинематографистами. Работа в Москве сохраняла тот же темп и ритм.

Исключительно живо прошла моя беседа со звуковиками. Они знали о фильме, ждали его. Предложенные мной приемы работы их увлекли. Композитор товарищ Крюков показывал образцы в работе, он обогащал звуковиков своей музыкальной культурой. Первые звуковые пробы, когда заговорило, зашумело, задышало немое изображение, были для нас праздником. Материал обогащался, становился совершенно рельефным.

В десятых числах февраля 1936 года фильм был закончен. Три года непрерывной работы привели меня, Дзигана и весь наш коллектив к определенным творческим результатам. Я могу сказать, что эти три года были боевыми, рабочими. Эти три года дали мне практическое освоение кинематографического искусства, раскрыли ряд его секретов, ввели в самую суть производственного процесса. Это был превосходный практический киноуз. Я уверен, что эти накопления реализуются в дальнейшем в ряде новых произведений. Кинематография — искусство прекрасное, могучее и притягательное.

*Москва
1936 г.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том собрания сочинений вошла основная часть художественной прозы Всеволода Вишневского, в большинстве своем ранее не публиковавшаяся, за исключением нескольких отрывков из эпопеи «Война», цикла рассказов «Матросы» и литературных сценариев «Мы из Кронштадта» и «Мы, русский народ».

В литературном наследии Вишневского художественная проза занимает весьма значительное место. Рассказы и очерки, появлявшиеся на протяжении 1920—1924 годов во флотской печати, и затем два небольших сборника «За власть Советов» (Л. 1924) и «Между смертями» (Л. 1925) явились первыми литературными опытами писателя-моряка. В последующие годы, когда читатели и зрители знакомились преимущественно с драматургией и публицистикой Вишневского, писатель никогда не оставлял работы над художественной прозой; на протяжении целого ряда лет он обдумывал книгу прозы, которая должна была объединить плоды его многолетнего литературного труда.

В архиве писателя сохранилось много относящихся к разным годам набросков плана, по которому намеревался он построить книгу своей прозы. К окончательной подготовке этой книги Вишневский хотел приступить в 1950 году, после завершения работы над пьесой «Незабываемый 1919-й». Об этом свидетельствуют записи в дневнике и многие письма, относящиеся к этому периоду. Осуществлению этих планов воспрепятствовали болезнь и смерть писателя.

Несмотря на то, что книга художественной прозы не была собрана и окончательно подготовлена самим автором при жизни, редакция собрания сочинений Всеволода Вишневского сочла необходимым посвятить один из томов публикации прозаических

произведений писателя. В состав настоящего тома включены произведения, которые не только являются вполне законченными, но и несомненно обладают значительными художественными достоинствами. Отбирая для публикации те или иные произведения из неизданного литературного наследия Всеволода Вишневского, редакция руководствовалась в каждом отдельном случае не только своей собственной оценкой их идейно-художественных достоинств, но и сохранившимися в архиве прямыми указаниями самого автора на степень готовности произведения, а также на предназначенное ему место в подготавливаемой писателем книге его художественной прозы.

ВОЙНА

Эпопея

В день 14-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции «Литературная газета» опубликовала ответы большой группы советских писателей на вопрос, заданный редакцией: «Что вы дадите к 15-й годовщине Октября?» Среди ответов, напечатанных 7 ноября 1931 года, был и ответ Всеволода Витальевича Вишневского.

«Дам «Войну», — писал Вишневский. — ...Отзывы Максима Горького и Теодора Драйзера о «Первой Конной» и их совет взяться за новую большую тему — подвинули меня.

...Каждый понимает, что в двух-трех десятках строк, да еще автору, трудно что-нибудь сказать о произведении в 35—40 печатных листов, являющемся результатом двадцатилетних военных и политических наблюдений. Книга покажет Россию 1912—1917 годов...

Форма? Не установленная критикой. Форму устанавливают художники (в форме: война — борьба — полемика с нашими противниками в области искусства, философии...).

Объем указан. Готовность на 3 ноября 1931 года — 75 процентов. Работаю два года. Заготовки дальние...

Однако через год работа над «Войной», начатая Всеволодом Вишневским осенью 1929 года, не была завершена. Планы книги изменились, расширились. В огромном количестве сохранившихся в архиве писателя планов, черновиков, выписок из множества исторических и статистических трудов отразилось напряженное обдумывание содержания и формы книги, которая, по

замыслу автора; должна была духовно вооружить советских людей в преддверии надвигающейся новой войны.

В январе 1933 года он записал на отдельном листе:

«Сейчас, работая над «Войной» — неровно, внутренне, «подплечно», — я все время опасаюсь: успею ли? Опасность войны прокатывается шквалами: 1923, 1927, 1930, 1932. Наиболее близка, вероятно, война сейчас».

Это ощущение непосредственной военной угрозы возникало у Вишневского в связи с активизацией германского фашизма.

В бумагах 1935 года мы находим такую запись:

«Война» — поэма истории. Надо драться... Я должен. Должен!.. Если осталось полгода, год до новой войны, надо успеть!»

Но стремление закончить книгу скорее не должно было, не могло ослабить требовательности к качеству книги. Взыскательное чувство ответственности за свой литературный труд было присуще Всеволоду Вишневскому в чрезвычайно высокой степени. Писатель вновь и вновь возвращался к рукописи «Войны», отделявая, оттачивая главы, вводя новые линии и углубляя первоначальный замысел. «Сколько за шесть лет упорных исканий! — писал он в октябре 1935 года. — Дотронулся до «Войны», и все беспредельно развилось... Это суть моей работы, мой «жизненный подвиг» — проза...»

В 1936—1937 годах Вишневский много ездил по Европе. Он был в сражающейся Испании, принимал участие в работе Второго международного конгресса писателей. С трибуны конгресса он говорил:

«Опасность войны надвигается все ближе... Судьба может сделать так, что всем нам придется вновь встретиться на фронтах. Еще более укрепим себя идейно, профессионально, технически и физически для грядущей борьбы. Поставим себе целью влить в наши ряды новые сотни новых друзей, писателей мира. Двинем в ход наши новые книги, поэмы, фильмы... Не будем терять ни одного дня!»¹

Возвратившись из этой поездки, писатель с особым рвением принялся за окончательную доработку «Войны». Но сосредоточиться целиком на этой работе ему не удалось: нужно было заканчивать роман-фильм «Мы, русский народ», а кроме того

¹ Журнал «Интернациональная литература», 1937, кн. 9, стр. 27.

Вишневскому было поручено создание сценария для фильма о Первой Конной — «В 1920-м году».

«Все время о «Войне» думаю...» — записывал он, работая над сценарием.

Десятилетний труд над книгой завершен был почти целиком только в 1939 году. Однако писателя, по всей вероятности, не удовлетворял финал книги, и он продолжал искать заключительную главу, которая должна была, видимо, последовать за главой «Возвращение каторжан». Вскоре он записал:

«Финал «Войны» найден! Ура! Идет вал: штурм Зимнего. (Силы неизмеримые.) Убитый (матрос) улыбается. Это улыбка в века — Архимеду. Точка опоры найдена!..»

Такой финал связывал роман с «Оптимистической трагедией», с «Мы из Кронштадта» — со всей творческой линией писателя; он вырастал из той же идеи торжества новой жизни, осознанной людьми, не щадившими себя во имя победы.

В новой главе должны были также получить развитие и завершение те сюжетные линии, которые позволили бы еще шире показать читателю роль партии большевиков в канун Великой Октябрьской социалистической революции. «Руководство Ленина. Роль «Правды», — записано в одном из последних планов, в котором писатель намечал направление работы над новым финалом. Однако он не успел написать задуманный им эпилог «Войны», Ему пришлось оставить рукопись в столе, отправившись на боевые корабли Балтийского флота, когда началась кампания, вызванная фашистской провокацией финской военщины. Не удалось писателю осуществить свой замысел и после возвращения в Москву весной 1940 года: отвлекли новые командировки, работа в области кинематографии, большая общественная работа в Союзе советских писателей, в редакции журнала «Знамя». Затем началась Великая Отечественная война.

Рукопись, которую уже в 1939 году автор считал в основном завершенной (за исключением оставшейся ненаписанной финальной главы), не была опубликована и в последующие годы. Это произошло по причине строгой творческой требовательности писателя к себе, а также по причине столь органически присущему Вишневскому постоянному стремлению — ответить читателю на самые насущные его сегодняшние вопросы, поспеть за стремительным течением жизни.

Работая над «Войной» и ограничив вначале всю тему событиями одного пятилетия, писатель всегда помнил, что он обра-

щается к современникам и к будущим поколениям; он стремился показать прошлое так, чтобы в нем были очевидны истоки и корни грядущих событий, и поэтому непрерывно ставил перед собой новые задачи. В дневниках, которые вел Вишневский во время Великой Отечественной войны, есть ряд записей, свидетельствующих не только о том, как много места занимала работа над «Войной» в творческих раздумьях и рабочих планах писателя, но и о том, что он намеревался продолжить свою эпопею вторым томом, посвященным героической обороне Ленинграда.

5 апреля 1942 года Вишневский записал:

«Как мы пропитаны темой Ленинграда — вчера, сегодня, и завтра, и снова и снова!.. Мысли, ассоциации, сны — все связано с городом... Тема этого города владела мною с такой силой только в тридцатых годах, когда я писал «Войну» (я ее еще не опубликовал) и «Мы из Кронштадта».

Еще запись, сделанная 28 августа того же года:

«Вспомнился старый Петербург — его запахи, места прогулок. И увидел я мысленно рукописи своей «Войны».

Через три с половиной месяца он вносит в свой дневник активный творческий план, родившийся из этих раздумий. 13 декабря 1942 года Вишневский пишет:

«Хлынул поток мыслей о будущих литературных работах. О книге «Ленинград». Может быть, это и будет завершением долгих поисков «Войны»?

...Мне представляется год работы, а может быть, и больше... Все написанное, все черновики, архивы — и моя большая первая, настоящая книга прозы «Война».

Надо дожить, дойти...

Но найти время, чтобы вернуться к работе над прозой, Вишневскому не удалось и после войны. Пошатнувшееся здоровье, обилие работы, связанной с редактированием журнала «Знамя», а главное — напряженный, целиком поглотивший писателя труд над пьесой и сценарием «Незабываемый 1919-й» помешали этому. Только в октябре 1950 года, будучи уже тяжело больным, он записывает как бы краткую, обращенную к самому себе команду: «Вперед! За прозу!» Но на этот раз ответить на команду обычным флотским «есть!» писателю помешали болезнь и смерть.

В 1931 году Всеволод Вишневский начал набрасывать краткое предисловие к «Войне», определяя поставленные перед собой творческие задачи. Он писал:

«Эта книга не роман... Это эпический документ. Это опыт (художественно-пролетарской энциклопедии о войне) ¹. Старые формы рушатся на наших глазах,— сколь бы великолепны ни были отдельные из них. Беря и критически перерабатывая пласты старых культур, форм, пролетариат творит новые, высшие.

Форма энциклопедической насыщенности наиболее отвечает многогранности, глубине, научной точности марксистского метода...»

Об энциклопедичности своей будущей книги Вишневский говорит во многих планах и разработках, относящихся к первому периоду работы над «Войной». Бесчисленные выписки, сделанные в тот же период из различных печатных изданий и архивных материалов, раскрывают широту и разносторонность его замысла. Мы находим тут и анализ годовых отчетов акционерного общества Путиловских заводов, и списки придворных чинов, помещавшиеся в ежегодных суворовинских календарях, и цифру грузооборота российских железных дорог за 1913 год, и рекламные объявления, выписанные из комплектов предвоенной «Нивы», и ссылки на журнальные статьи, из которых можно установить численность автомобилей в русской армии летом 1914 года или стоимость артиллерийских стрельб, произведенных в том же году на маневрах кораблей Балтийского флота. Многие из этих выписок нашли место на страницах «Войны», создавая действительно энциклопедическую по широте картину последнего периода существования Российской империи. Цифры, лаконически изложенные факты, даже перечни имен и должностей использованы Вишневским необыкновенно умело: входя в ткань повествования, они приобретают точную целеустремленность.

«...Опыт соединения драмы, прозы и научных материалов»,— так говорил о своей работе автор «Войны» в газете «Советское искусство» 9 февраля 1932 года. И это определение наиболее точно.

Черновики «Войны» показывают, как последовательно и настойчиво добивался Всеволод Вишневский чистоты, ясности и строгости стиля. Он записал в мае 1933 года:

¹ После слов, заключенных Вишневским в скобки, видимо с тем, чтобы найти впоследствии более точную формулировку, сделана позднейшая вставка другими чернилами, датированная 14 октября 1935 года: «Это поэма (охватывающего типа!). Отдельные главы ее будут превращены в самостоятельные поэмы...»

«Все время ищу решений, приемов для «Войны»... Несомненно то, что я постепенно отказываюсь от крайностей. Дело в том, что лучшие места «Войны» строги, просты. Хуже «затеи»... Надо все проверить, сделать ясным...»

Борьба за простоту стиля была неразрывно связана с укрупнением идейного замысла вещи. Многочисленные планы, сохранившиеся в архиве писателя и относящиеся к различным периодам работы, показывают, как раздвигались первоначальные сюжетные рамки.

Вот, например, запись, сделанная 27 октября 1930 года:

«Возобновил работу над «Войной».

...В «Im Westen nichts neues»¹ Ремарка дана *личная* (с биологически-психологической перегрузкой) трагедия группы окопников. Надо идти выше: дать *социальную* трагедию. В «Войне» я должен показать историю группы окопников с 1914 по 1918. Их нивелировку в окопах, их социальную дифференциацию...»

В этой записи нетрудно ощутить литературно-полемиические истоки замысла «Войны»: автор намеревался противопоставить ее индивидуалистическим, упадочным «окопным» романам, созданным на Западе обширной группой буржуазных писателей, вошедших в литературу после первой мировой войны и именовавших себя «потерянным поколением».

Однако первоначальные планы построения книги в процессе работы существенно изменились. В раннем варианте «Война» должна была иметь семерых главных героев, сведенных стечением обстоятельств военного времени в одном воинском подразделении, в одном фронтовом окопе. Именно так и строилось большинство традиционных военных романов 20-х годов. И свою борьбу против мелкобуржуазного пацифизма, против упадочничества реакционной западной литературы, разоружавшей пролетарские массы и уводившей своих читателей от активной революционной борьбы, Вишневский предполагал сперва вести в границах того же литературного жанра, которым пользовались и его идейные противники. У семи задуманных им героев должны были быть лишь обострены, ярче подчеркнуты социальные приметы. Характерно, что самые имена некоторых персонажей, включенных в ранние планы «Войны» (например, Турбин, Берсенов), выбраны с намерением подчеркнуть существующую за ними литературную традицию. Но вскоре писатель отказывается от этого. Список

¹ «На Западе без перемен» (нем.).

героев изменяется, дополняется новыми именами. И это не просто количественное изменение: «Война» постепенно расширяется и выходит за пределы первоначально задуманного жанра.

«По-старому опять вошел в «Войну», — записывает Вишневский 30 сентября 1933 года. — Читаю циклами: Германия, русская армия XIX в. и т. д. Думаю, что заново пересмотрю материал. Все больше тянет к деталям, редким, неизвестным, документальным. Стиль энциклопедический — монументальный...»

Стремление показать «примат социального над личным», о котором писал Вишневский в плане, составленном за три года до этого, и которое определило главный тезис в его идейной борьбе с буржуазной литературой о войне, вывело героев книги за пределы одного окопа и превратило повествование в широкую картину народной жизни.

В 1933, 1935 и 1936 годах появлялись новые планы, ставились новые задачи, все более и более углубленные, направленные к тому, чтобы расширить масштабы повествования и как можно более полно показать панораму исторических событий.

В записи, датированной 30 июня 1935 года, сказано:

«Направление мыслей о «Войне» — необходимость общего масштаба фронтов, взаимосвязанность операций (русских, французских и других)...»

26 февраля 1936 года новый дополнительный план развивал уже не столько военно-стратегические задачи, которым Вишневский уделял прежде большое внимание, сколько задачи историко-политические, направленные к тому, чтобы с возможной точностью и полнотой отразить картину революционного подъема масс — показать, как в самых глубинах народа назревал революционный взрыв и как затем революция вовлекала все более и более широкие массы пролетариата и крестьянства России.

Стремление показать руководящую роль партии большевиков на фронте и в тылу, в пролетарском Питере и в среде деревенской бедноты является главным в этом плане и подчиняет себе все дальнейшие дополнения и доработки, которым подвергалась рукопись, вплоть до последней ее доработки в 1939 году.

Как уже было сказано выше, эпопея «Война» при жизни писателя не публиковалась. Из этого так и не завершеного окончательно произведения были напечатаны лишь немногие отрывки.

Так, 30 июля 1930 года в «Литературной газете» был помещен отрывок из третьей главы: уход преображенцев на фронт.

Отрывок из второй главы, рассказывающий о пловучей флотской каторге, опубликован под названием «Либава» в журнале «Красноармеец и краснофлотец» (1932, август, № 15—16). Под тем же названием этот отрывок неоднократно перепечатывался впоследствии в других изданиях.

Отрывок из первой главы, озаглавленный «За свои права», был напечатан в «Литературной газете» 30 июля 1953 года.

Отрывок из шестой главы — «Возвращение каторжан» — включен в книгу Всеволода Вишневского «Избранное», выпущенную Воениздатом (М. 1954).

В настоящем томе эпопея «Война» впервые полностью публикуется по рукописи, подготовлявшейся автором для печати в 1939 году.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

МАТРОСЫ

(Цикл рассказов)

Рассказы, включенные в цикл «Матросы», написаны в 1929—1930 годах и публиковались при жизни писателя в разные годы в периодической печати. Некоторые из них представляют собою переработку более ранних рассказов, помещенных в первых сборниках Всеволода Вишневского «За власть Советов» (1924) и «Между смертями» (1925).

В предисловии к сборнику «За власть Советов» Вишневский писал:

«Во время гражданской войны многочисленные морские отряды, бронепоезда, флотилии вели свою напряженную боевую работу во всех концах Республики в таких условиях, которые совсем не способствовали писанию мемуаров. Горячее время, тысячеверстные переброски, непрерывные бои, громадные потери — все это заслоняло боевое «вчера». Жили исключительно «сегодня» и «завтра». Так пронеслись шквалом годы борьбы. К началу мирного строительства моряков-фронтовиков уцелело немного. Оставшиеся частью с головой окунулись в работу по возрождению флота. Частью ушли на заслуженный отдых. Боевая история моряков рискует быть забытой. Большая часть подвигов может остаться неизвестной.

Чтобы сохранить хотя бы частицу их, я пишу эти рассказы. Я излагаю только те события, участником или близким свидетелем которых был сам».

Так от свидетельства очевидца, от живой летописи событий гражданской войны шел Всеволод Вишневский к художественному рассказу. К ряду ранних своих рассказов писатель затем не возвращался; другие впоследствии неоднократно совершенствовались и переделывались; некоторые послужили материалом для крупных драматических произведений или легли в основу отдельных сцен пьес и сценариев. Так, например, рассказ «Бронепоезд «Грозный», напечатанный в сборнике «За власть Советов», развит позднее в эпизоде «Захват офицера» (третий цикл «Первой Конной»). Над рассказом «Вместе с буденновцами» в авторском экземпляре того же сборника «За власть Советов» рукой Вишневого написано: «Использовано «Видишь кладбище?»»¹ Рассказ «В кольце произвола», включенный в сборник «Между смертями» и публиковавшийся впоследствии под названием «В тисках произвола», использован в финале «Первой Конной» (мотив ареста белого офицера). Рассказ «Как дрались балтийцы» явился не только первым вариантом включенного в цикл «Матросы» и напечатанного в настоящем томе собрания сочинений рассказа «Гибель кронштадтского полка» — он лег также в основу замысла «Оптимистической трагедии» и сценария «Мы из Кронштадта»². В рассказах «К белым с подпольными» и «Красные моряки в тылу у Врангеля» (сборник «За власть Советов») мы узнаем ранние эскизы к рассказу «Песнь братьям моим, матросам-коммунарам» (цикл «Матросы»). Рассказ «Бушлат матроса Семененко» (сборник «Между смертями»), значительно переработанный, получил затем название «Бушлат матроса Коцуры» и был также включен в цикл «Матросы».

Не включая в состав настоящего тома ранние рассказы Всеволода Вишневого, ибо они и не были включены самим писателем ни в один из планов подготавливавшегося им сборника прозы, редакция собрания сочинений публикует здесь лишь восемь рассказов, составляющих цикл «Матросы». Этот цикл по замыслу автора должен был образовать особый раздел в книге прозы, которую Вишневский обдумывал и готовил с 1934 года, намереваясь составить ее из дневников, воспоминаний, рассказов, эпо-

¹ «Видишь кладбище?» — 9-й эпизод третьего цикла пьесы «Первая Конная».

² Об этом также свидетельствует надпись Вишневого на полях принадлежавшего ему экземпляра книги «За власть Советов».

пей «Война» и некоторых публицистических выступлений на общественно-политические и литературные темы.

Цикл рассказов «Матросы» Вишневский в записях своих обычно делил на три группы, особо выделяя из него «Украинский» цикл, включающий «Бушлат матроса Коцуры», «Взятие Акимовки», «Дела былые», «Бронепоезд «Спартак» и «Похороны». Писатель намеревался — добавляя новые рассказы — развить и обособить три цикла: «Балтийский», «Украинский» (моряки на степных фронтах) и «Черноморский». К последнему циклу относится «Песнь братьям моим, матросам-коммунарам». В свете этих намерений автора особенно интересно проследить те стилистические различия, которые внутри цикла «Матросы» существуют между рассказами о кронштадтцах и «южными» рассказами. В первых — суровая, несколько приподнятая патетика; во вторых — теплый юмор, обилие солнечного света. Неукротимое жизнелюбие, вообще свойственное героям Вишневского, особенно очевидно в рассказах о гражданской войне, даже в таких, как «Похороны» и «Болезнь». В «Матросах» сказалась также и постоянная забота писателя о точности словесных характеристик. Речь его героев никогда не бывает нивелированной, обезличенной. Поэтому моряка-балтийца от черноморца мы безошибочно отличаем в обширной галерее «Матросов» прежде всего по их речи, по лексике и даже по особому речевому ритму.

В книге прозы Всеволода Вишневского по последним планам цикл «Матросы» должен был составить второй раздел. В 1940 году автор собрал и заново отредактировал все рассказы, составляющие этот цикл, намереваясь включить его в подготовлявшийся им для Военно-морского издательства сборник «Русские моряки». Многие рассказы подвергались значительной доработке. Закончить книгу помешал писателю срочный отъезд на фронт Великой Отечественной войны.

В настоящем томе цикл рассказов «Матросы» публикуется в последней авторской редакции 1940 года.

Гибель кронштадтского полка.—Первым вариантом этого рассказа является напечатанный в сборнике «За власть Советов» (Л. 1924) рассказ «Как дрались балтийцы». Во второй редакции рассказ был опубликован в 1933 году в 1-й книге выпущенного «Московским товариществом писателей» литературно-художественного альманаха писателей-красногвардейцев и красных партизан «Боевые годы».

Бушлат матроса Копуры.—В раннем варианте (очерк «Бушлат матроса Семененко») был включен в сборник очерков «Между смертями» (Л. 1925). Во второй редакции (под названием «Матросы») напечатан в газете «Ленинградская правда» в 1930 году (№ 215, 6 августа).

Взятие Акимовки.—Впервые рассказ опубликован в литературно-художественном и критическом ежемесячнике «Залп», выпускавшемся Ленинградско-балтийским литературным объединением Красной Армии и Флота (№ 2, февраль 1931 г.).

Дела были е...—Рассказ печатался в однодневной газете «Красногвардеец» (18 февраля 1935 г.), выпущенной Московской областной и городской комиссией по делам бывших дружинников 1905 года, красногвардейцев и красных партизан.

Бронепоезд «Спартак».—Рассказ впервые напечатан в журнале «Красная новь» (кн. 9—10, 1930 г.).

Похороны.—Под названием «Журба и Чигон» рассказ был опубликован в ленинградской газете «Смена» (№ 137, 15 июня 1930 г.), а затем под нынешним своим названием в ежемесячнике «Залп» (№ 2, февраль 1931 г.).

Песнь братьям моим, матросам-коммунарам.—Ранними эскизами к этому рассказу являются рассказы «К белым с подпольными» и «Красные моряки в тылу у Врангеля», включенные в сборник «За власть Советов» (Л. 1924). Эти рассказы в свою очередь выросли из очерков, написанных Вишневским по возвращении из десантной операции, предпринятой моряками-новороссийцами в 1920 году против врангелевских войск. Очерки печатались в 1921 году во флотских газетах Черноморья и Балтики. Переработанный и включенный в цикл «Матросы», этот рассказ открывал собою ту часть цикла, которая (впервые под названием «Песнь братьям моим, матросам-коммунарам») публиковалась Вишневским в 1930 году в журнале «Красная новь» (кн. 7, 1930 г.).

Болезнь.—Рассказ был напечатан впервые в журнале «Красная новь» (кн. 11, 1930 г.) и завершал публикацию первого варианта цикла «Матросы».

В архиве писателя сохранилась подробная запись его беседы с одним из командиров Красной Армии. Чрезвычайно тщательно, детально записал Вишневский биографические факты, сообщенные ему собеседником. Писатель задавал ряд вопросов, стремясь всесторонне выяснить все этапы пройденного командиром жизненного пути, процесс формирования характера и накопления воинского мастерства, круг его интересов, взгляды на искусство и т. д. и т. п. Эта кропотливая работа была проделана Вишневским, чтобы выполнить задание «Правды» и написать очерк, рисующий типический портрет советского командира.

Беседа состоялась в начале осени 1935 года.

Обдумывая свой будущий очерк, Вишневский решил писать роман, в котором читатель смог бы увидеть командира армии нового типа — армии, созданной свободным народом для защиты своего социалистического государства. Этот замысел захватил писателя. Он сразу принялся за планы романа-поэмы, как сам автор первоначально определил жанр задуманного им нового произведения. Позже, в процессе работы, он назвал «Песнь человеческую» повестью.

Писатель намеревался провести своего героя от самого рождения, от первых детских лет, прожитых им в сибирской деревне, до столичной академии, где получает он высшее военное образование. Биография человека тесно связывалась с биографией класса, со всей биографией страны.

Как это всегда бывало у Вишневского, планы нового произведения объединялись у него со множеством тем, над которыми он размышлял как боевой партийный публицист, как военный историк, как общественный деятель. И главной темой, подчинившей себе все остальные, явилось раскрытие сущности Советской Армии — ее исторической роли, ее неразрывной связи с народом. Работая над главами о детстве Петра (так назвал он своего героя, вкладывая в это имя его древнее значение опоры и силы, ибо «Петр» происходит от латинского «petra» — камень, скала), писатель продолжал расширять и обогащать первоначальный план книги. «Как всегда, рамки начальные ломаю, — записывал он 9 декабря 1935 года. — История современной РККА, воинов — без истории страны, ее армии в прошлом, революционной истории — немыслима». В этой связи Вишневским был написан ряд

отдельных фрагментов, в том числе посвященных жизнеописанию прадеда Петра и биографии его отца, связанной с обороной Порт-Артура. Автор показывал беззаветный патриотизм русского крестьянства, его огромную роль в военной истории страны, раскрывал черты русского национального характера с присущими ему искони стойкостью и героизмом, столь ярко проявлявшимися в обороне отчизны.

Из подробного плана, записанного Вишневским, явствует, что он намеревался уделить особое внимание духовному миру своего героя, хотел показать широту его кругозора, его взгляды на политику и историю, его литературные вкусы. Глубочайшая органическая партийность советского командира, как неисчерпаемый источник духовной силы, целеустремленности, моральной стойкости и чистоты,— эта главная идея проходит через весь детально разработанный план произведения.

Завершенные фрагменты из «Песни человеческой» занимают особое место в творчестве писателя, показывая его как необычайно тонкого художника, умеющего совместить публицистическую широту обобщения с любовно выписанной деталью, с поэтическим изображением жизни.

Работа над книгой продолжалась три последних месяца 1935 года. За это время Вишневский успел закончить лишь часть повести: его отвлекли съемки фильма «Мы из Кронштадта», а затем работа над романом-фильмом «Мы, русский народ» и сценарием «В 1920-м году». Писатель впоследствии так и не смог вернуться к начатой книге. «Песнь человеческая» осталась неоконченной.

Из всех материалов по этому произведению редакция сочла целесообразным опубликовать одну главу, имеющую самостоятельное значение.

В настоящем томе глава из «Песни человеческой» публикуется впервые по рукописи, подготовленной автором в 1935—1936 годах.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА

История создания сценария и фильма о подвиге моряков-балтийцев в боях гражданской войны рассказана Всеволодом Вишневским в статье «Как создавался фильм «Мы из Кронштад-

та», опубликованной в книге «Мы из Кронштадта» (изд. «Искусство», М.—Л. 1936) и помещенной в приложениях к настоящему тому. Вишневский пишет, что первым толчком к этой работе явилось предложение киностудии «Мосфильм» об экранизации «Оптимистической трагедии». Экранизировать пьесу он отказался, но широкие возможности кинодраматургии, дающие писателю средство общения с миллионами зрителей, не могли не увлечь Вишневого; он решил писать «новый, самостоятельный сценарий».

Сценарий фильма «Мы из Кронштадта» был первым опытом работы писателя для кино. К работе над сценарием он приступил в июне 1933 года, находясь под Батуми, в небольшом курортном поселке Цихис-Дзири. Работал Вишневский, как и над первыми своими пьесами, целиком отдавшись новому замыслу. Первый вариант был сделан за несколько недель. Пятого июля рукопись сценария была вчерне завершена, и вскоре, по возвращении в Москву, Вишневский читал ее у себя дома группе режиссеров и писателей.

Впоследствии сценарий неоднократно дорабатывался. В конце 1934 года начались съемки фильма.

Ставил кинофильм режиссер Е. Дзиган совместно с режиссером Г. Березко. Музыку написал композитор Н. Крюков. Художник — В. Егоров. Первый оператор — Н. Наумов-Страж. Впоследствии, в марте 1941 года, кинофильм «Мы из Кронштадта» был удостоен Сталинской премии второй степени.

Вишневский принимал самое деятельное участие во всех процессах работы над фильмом. Он писал режиссеру подробные письма, обсуждая с ним все детали постановки, методы работы с актерами и т. п.

«...Учитесь делать бой по Толстому», — советовал он в одном из писем. «Консультируйте 1000 раз, — писал он в другом письме, — но не подражайте слепо уставу и показу консультантов. Преломляйте, ищите выразительные жесты, действия».

Вишневский стремился перенести в работу над фильмом принципы своего писательского труда: тщательное изучение материалов, предельную точность, кропотливые поиски жизненной правды.

Он писал Е. Дзигану:

«...Напишите себе *военную партитуру на 100 бойцов*. Что делают в бою эти 100 человек? Кто как ранен? Кто где сидит, лежит, бежит? Чьи, когда реплики? Чьи, когда, какие взгляды, жесты, реакции (на огонь, на стон, на взрыв и т. д.)?»

Он подсказывал далее в том же письме:

«1) У красноармейца расщепило винтовку (осколком), взял у убитого хорошую.

2) Оглушило, засыпало песком, лицо черное, *человек почти ослеп*. Как он промывает, прочищает глаза и снова бьется.

3) *Как раненый рассматривает свою кровь*. Течет из головы (из носа, рта...) — капает на ладонь. Боец смотрит... и вновь стреляет.

4) Убитый упал с папироской. В передышке боец... просто берет изо рта убитого эту папироску: «Подымим, что ли?»

5) Идут раненые... Один боец-коротышка: «Пишите!» (Потом и его ранило!)

6) Один боец бросил винтовку, в испуге согнулся, крестится. Другой ему по роже... Тот снова за винтовку, — оба стреляют (и другие рядом)».

Таких возможных решений секундных эпизодов, складывающихся в общую картину боя, Вишневский подсказывал режиссеру очень много.

Особенно занимал его звук в фильме. Звуковое кино было еще молодым, и многое в нем приходилось искать на ощупь.

«Надо сделать *новое*, — обращался к режиссеру Вишневский. — Надо искать и звуки воды, и свисты снарядов (каждый по-своему, в зависимости от веса, температуры, атмосферы), храп спящих (каждый по-своему), топот ног по граниту, чугуну, земле (каждый по-своему)... Где вы достанете эти *подлинные* звуки? Кто художник звука, где его (звук) составляют?... Вдумайтесь во все это. Необходима творческая партитура звуков, изучение их на месте. Записи, пробные съемки... Ибо «озвучивание на Потылихе» — это преступление, фальсификат. Это не наука, не искусство, а «электро-очковительство».

В другом письме он разъясняет режиссеру: «Я не имел в виду натурализма, а только подлинность, *сущность*». И еще в одном из писем: «Подчеркиваю, что натуралистические звуки (лай, свистки, гудки и прочее) надо выкидывать вон».

Вишневский добивался от фильма предельной правдивости и убедительности, он искал их во всем — в актерской игре, в музыке, в звуке, в работе режиссера, художника и оператора.

«Ищите *типического* в непрерывной борьбе и в борении трудностей...» — писал он Е. Дзигану.

Фильм был закончен в феврале 1936 года и сразу же завоевал широкое признание зрителя.

3 марта 1936 года «Правда» писала: «Мы из Кронштадта» — фильм о моряках. Но в нем с замечательным умением, с большой любовью показана вся Красная Армия, ее рабочие полки, в особенности ее командиры... Этот фильм является блестящей, живой иллюстрацией к словам товарища Сталина о красных моряках в дни борьбы за Петроград: «...балтийские матросы вновь нашли себя, оживив в своих подвигах лучшие традиции русского революционного флота»¹. Никакими беглыми замечками нельзя исчерпать художественную силу и непередаваемое впечатление фильма. Советская кинематография, все наше искусство по праву гордятся «Чапаевым». Они могут с таким же правом гордиться новой своей победой... Во всем фильме ясно чувствуется стиль, темперамент и масштаб Вишневского...

Новый советский фильм был горячо встречен трудящимися и прогрессивными деятелями культуры за рубежом. Он совершил триумфальное шествие по экранам всего мира.

Немецкий писатель коммунист Фридрих Вольф писал в газете «Кино» 6 марта 1936 года: «Фильм «Мы из Кронштадта» мог родиться только в Советском Союзе, только в советской кинематографии. Голливуд мог бы собрать у себя всех знаменитостей, мог бы зафрахтовать несколько эскадр американского флота, затратить несколько миллионов долларов — и тем не менее ему никогда бы не удалось создать фильм, проникнутый тем величественным пафосом, которым дышит фильм «Мы из Кронштадта».

Всеволод Вишневский присутствовал на премьере фильма в Праге. Оттуда он поехал в Париж. Французская цензура, выпуская фильм на экран, всячески пыталась ослабить его революционную силу; она намеревалась изъять ряд эпизодов, в том числе и тот эпизод, где бойцы из состава матросского полка поднимаются в атаку с пением «Интернационала». Вишневский решительно запротестовал. Передовая французская общественность поддержала его. Цензура вынуждена была отступить. Фашисты и русские белоэмигранты предпринимали неоднократные попытки сорвать демонстрацию фильма. Несмотря на все происки реакции, многие тысячи французов смотрели «Мы из Кронштадта», оказывая фильму восторженный прием.

Фильм пересек океан и демонстрировался на экранах Соединенных Штатов Америки. Даже враждебная американская

¹ И. В. Сталин, Сочинения, том 4, стр. 270.

пресса вынуждена была признать исключительные достоинства нового советского фильма. А рабочий зритель Америки встретил его так же горячо, как встречали его простые люди Европы.

С большим энтузиазмом был принят в ту пору фильм в республиканской Испании, где народ с оружием в руках боролся против фашизма.

Осенью 1936 года фильм «Мы из Кронштадта» демонстрировался в революционном Мадриде. 22 октября ТАСС сообщало из Мадрида: «...в кино «Монументаль», вмещающем до семи тысяч зрителей, состоялась премьера фильма «Мы из Кронштадта»... Премьера прошла с исключительным подъемом. Финал фильма был встречен «Интернационалом».

Испанские фронтовики смотрели фильм «Мы из Кронштадта» с особым чувством. Этот фильм был для них не только ярким, воодушевляющим зрелищем, но и живым учебником: он учил их тому, *как* надо сражаться против врагов народа. В хронике героической борьбы испанского народа многие факты свидетельствуют о том, какую активную боевую роль сыграл фильм; поставленный по сценарию Всеволода Вишневского.

Миллионы людей во всем мире смотрели и смотрят «Мы из Кронштадта» — фильм, активно сражающийся за торжество революционного духа, испытанный временем, по праву получивший долгую жизнь.

Сценарий «Мы из Кронштадта» в первом литературном варианте был опубликован в журнале «Знамя» (№ 12 за 1933 г.). В 1936 году издательство «Искусство» выпустило литературный сценарий «Мы из Кронштадта» и режиссерский сценарий фильма отдельной книгой. В книгу были также включены статьи Вишневского «Как создавался фильм «Мы из Кронштадта» и «Борьба за сценарий и фильм».

В настоящем томе литературный сценарий «Мы из Кронштадта» публикуется по тексту последнего прижизненного издания («Избранное», изд. «Советский писатель», М. 1950), сверенному с рукописью.

МЫ, РУССКИЙ НАРОД

Роман-фильм

Работу над сценарием «Мы, русский народ» Всеволод Вишневский начал в январе 1937 года и закончил осенью того же года.

Газета «Краснознаменный Балтийский флот» 15 января

1937 года опубликовала отрывок из письма Вишневского в редакцию. Писатель сообщал:

«...Пишу сценарий «Мы, русский народ». Он покажет страну, старую армию за период 1 января 1917 года — 23 февраля 1918 года. Сценарий должен раскрыть процессы превращения войны империалистической в войну гражданскую. Взяты типичные представители народных солдатских слоев, показаны их судьбы, удары врагов...

Путь многих из армейских большевиков был доблестным и трагичным. Летом 1917 года старая армия имела до 27 000 организованных большевиков. Этот отряд должен был повернуть 16-миллионную старую армию (в ней было до 300 000 офицеров) на путь восстания, на путь Октября. По этому пути шел я сам.

Рассказываю о многих трудных делах той поры. Рисую образы крепких большевиков-солдат, которые в процессе борьбы забирали волей народа, волей партии целые полки, дивизии. Рисую первые битвы за РСФСР, первые бои с немецкими оккупантами, рисую рождение первых полков РККА».

Восемь месяцев спустя, 25 августа 1937 года, Вишневский писал режиссеру Е. Дзигану, раскрывая уже не только содержание, но и ведущую идею своего произведения.

«Это тронулся в страшные битвы передовой отряд человечества. Он идет *по льду* среди опасностей, среди черных вод.

...За Советы, за революцию, за мир, за землю!

Все тянулись к своим идеям, понятиям: земля, хлеб, труд, 8-часовой рабочий день, семья!.. Народ знал, что в этом *все* решения, в том числе и решение *внешней* обороны... А потом, когда враг двинулся, народ, озлившись, обернулся: «Ах, так? Мира и дружбы не хочешь? На!»

Писатель указывал на два лейтмотива:

«А. Революция, народ — за мир, за труд, за семью, за вечные начала: плодоносные, от живой природы идущие!

Б. Контрреволюция (в данном историческом случае немецко-российская) — за кровь, за террор, за уничтожение».

Так определил Вишневский замысел своего нового произведения, жанр которого он обозначил подзаголовком «роман-фильм». Он писал Е. Дзигану о сложности подготовки к работе.

«С января 1936 года я перешел вплотную на историко-филологический материал. Всю историю России стал вновь и вновь перечитывать, выверять... Смотрел русскую живопись. Помню: думал об эпизоде — народный праздник 1-го мая в поле...

Эпизоды набрасывал все новые, безотносительно к сюжету. Просто как исторические заготовки. Разговоры солдат, заметки о старом знамени какого-то полка и пр.

...22 августа в один прием написал черновой план «Мы, русский народ».

...Дал в «Правду» несколько художественных очерков о народе. Понял, что *сквозь всю вещь надо вести именно стремление к миру, к жизни*. Это вековой порыв народа, искание правды.

15 июля он говорил в письме:

«...Может быть, фильм появится в канун столкновения с фашизмом. Или — в период самого столкновения. Надо вложить *всю силу!*»

Вишневский опубликовал «Мы, русский народ» в ноябрьской книге журнала «Знамя» за 1937 год. Вскоре появились переводы романа-фильма в английском, французском и других изданиях журнала «Интернациональная литература». В Чехословакии роман-фильм вышел в 1938 году отдельной книгой в переводе Юлиуса Фучика. Во французском переводе роман-фильм «Мы, русский народ» был прочитан Ромен Ролланом. Своими впечатлениями выдающийся французский писатель поделился в письме, присланном им в редакцию «Интернациональной литературы».

«Я с радостью отметил, — пишет Ромен Роллан, — ... новый тон в современной советской литературе — тон радостного героизма, непобедимого оптимизма. Это искусство еще несколько молодое, еще немного незрелое, не без некоторой угловатости. Но ценность его в радостном порыве мужественной молодости»¹.

В том же номере опубликован обзор писем, свидетельствующий о большом интересе западных писателей к творчеству Всеволода Вишневского и, в частности, к его роману-фильму «Мы, русский народ».

Теплая встреча, оказанная роману-фильму советским читателем, особенно радовала писателя, ибо на страницах некоторых журналов и газет его новое произведение подверглось ожесточенным атакам со стороны космополитической критики.

Нападки на его книгу не только принесли Вишневскому немало горьких и трудных минут, — они создали вокруг хорошего, нужного произведения атмосферу «творческой неудачи». Сценарий был исключен из плана киностудии Мосфильм, и его экрани-

¹ Журнал «Интернациональная литература», 1938, кн. 2—3, стр. 393.

зация не состоялась. «Как бы работал такой фильм в дни Отечественной войны!» — справедливо замечал Вишневский в письме 25 февраля 1950 года, вспоминая свой роман-фильм.

В 1938 году, готовя «Мы, русский народ» для Мосфильма (уже после издания его отдельной книгой в «Роман-газете» и в Гослитиздате), автор внес в текст некоторые изменения стилистического порядка, а также ряд поправок, которые главным образом усиливали и углубляли линию развития солдатского вожака, большевика Орла. Писатель убрал, например, неудачную сцену выступления Орла на солдатском митинге. Вместо нее был написан новый, более сильный и впечатляющий эпизод: арестованный Орел, которого под конвоем ведут в тюрьму, обращается к товарищам, призывая их к революционным действиям.

Устраняя в новой редакции ряд натуралистических подробностей, автор значительно изменил эпизод разгрома винокуренного завода и некоторые другие эпизоды.

Вишневский датировал роман-фильм двойной датой: 1917 — 1937 гг., имея, очевидно, в виду свои фронтовые записи 1917 года, использованные им в сценарии.

В настоящем томе текст романа-фильма «Мы, русский народ» публикуется по последнему прижизненному изданию (ГИХЛ, М. 1938), сверенному с рукописью и с учетом поправок, сделанных автором в последней редакции сценария для «Мосфильма».

ВОСПОМИНАНИЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

(1914—1921 гг.)

Автобиографических записей — беглых, конспективных и более подробных, развернутых, — сохранилось в архиве Всеволода Витальевича Вишневского очень много. Писатель в 30-е годы не расставался с мыслью о том, чтобы приняться за работу над автобиографической книгой, рассказать читателю о своей так рано начатой и так бурно развивавшейся жизни. «Мы живем так стремительно, что записать мои прожитые жизни (в сущности их две-три, по ощущению эпох) — невозможно. Для этого нужна старческая остановка. А я весь в движении — и лучше всего не останавливаться». Так записывал он в заключении одного из наиболее развернутых автобиографических конспектов, озагла-

ленного: «1900—1937. Моя жизнь». Этот конспект дополнен позднее краткой записью событий 1938 и 1939 годов и заканчивается словами: «30 ноября на Финляндский фронт. Война! (4-я, в которой я участвую). Интенсивнейшая работа в Балт-флоте».

Живая и притом всегда «интенсивнейшая» работа, которой постоянно поглощен был Вишневский, отвлекала его от записи воспоминаний, хотя в дневниках и планах писателя мы нередко встречаем раздумья по поводу давно пережитого. Из широко задуманной «Моей жизни» были осуществлены только «Мои воспоминания», охватывающие период с 1914 по 1921 год. Книга написана очень скупой, с щепетильной точностью в деталях, подкрепленных отрывками из дневников, писем и документов, бережно сохраненных в архиве писателя. Даже солдатская бирка, с которой контуженного Вишневого эвакуировали в 1916 году с фронта в киевский госпиталь,— и та сохранилась в архиве.

С горечью записал Вишневский о своих дневниках периода гражданской войны: «Дневники 1918—1920 гг. сожжены паническими обывателями в Новороссийске, когда я ушел на фронт против Улагая».

Несомненно, писатель не оставлял мысли о том, чтобы возвратиться к материалам своей автобиографии и написать о пережитом более широко и подробно.

Есть в «Моих воспоминаниях» несколько слов о статье, над которой шестнадцатилетний Вишневский работал зимою 1916 года, пытаясь «разобраться в тех вопросах, которые целиком и полностью занимали тогда» его воображение. Эта статья также сохранилась в архиве. Она подписана псевдонимом «Тривэ» (происшедшим из инициалов Всеволода Витальевича Вишневого, т. е. из «трех В», составляющих эти инициалы) и представляет большой интерес, показывая широту кругозора юноши, его раннюю тягу к серьезному историческому и экономическому анализу. В этой статье уже проглядывает будущий Вишневский — военный историк, исследователь, писатель.

«Мои воспоминания» тем и ценны, что они показывают раннее формирование взглядов писателя, стремительное накопление жизненного опыта, становление его творческого мировоззрения.

Работу над «Моими воспоминаниями» Вишневский начал 12 сентября 1927 года, продолжал урывками в 1928 и 1929 годах, затем прервал. В 1936 году он снова возвратился к рукописи и на этот раз закончил ее. Однако публикацию «Моих воспоми-

наний» писатель откладывал, намереваясь, видимо, включить их в книгу прозы.

В настоящем томе «Мои воспоминания» публикуются впервые по рукописи, подготовленной автором в 1936 году.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК СОЗДАВАЛСЯ ФИЛЬМ «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

Статья была написана Вишневским в виде предисловия к книге «Мы из Кронштадта», в которую вошел литературный и режиссерский сценарий этого фильма.

В статье «Как создавался фильм «Мы из Кронштадта», а также в статье «Борьба за сценарий и фильм» писатель широко использовал отрывки из своих писем к режиссеру Е. Дзигану. Эти отрывки Вишневский монтировал из разных писем и подвергал их стилистической правке.

Статья печатается по тексту книги «Мы из Кронштадта» (изд. «Искусство», М.—Л. 1936) с исправлениями и сокращениями, сделанными автором при подготовке книги к переизданию.

БОРЬБА ЗА СЦЕНАРИЙ И ФИЛЬМ

Статья написана Вишневским как заключительный комментарий к книге «Мы из Кронштадта».

Печатается по тексту книги «Мы из Кронштадта» (изд. «Искусство», М.—Л. 1936) с исправлениями и сокращениями, сделанными автором при подготовке книги к переизданию.

А. М а р ь я м о в

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА

Эпопея

Год 1912-й. Глава первая	
I. Санкт-Петербург	7
II. Павловск	70
III. Усадьбы империи Российской	84
Год 1913-й. Глава вторая	
I. Новобранцы	104
II. Кронштадт — эскадра	141
Год 1914-й. Глава третья	
I. Убий!	188
II. Объявление войны	193
Год 1915-й. Глава четвертая	
I. Тысяча девятьсот пятнадцатый год .	220
II. В Галиции	222
III. Галицийская битва	236
IV. Отступление	243
V. Окопы	246
VI. Маршевые роты	260
VII. Бунт	271
Год 1916-й. Глава пятая	
I. Стоход	284
II. Госпиталь	318

Год 1917-й. Глава шестая

I. Мертвый лес	328
II. Весна 1917 года	338
III. Возвращение каторжан	360
IV.	365

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Матросы (*Цикл рассказов*)

Гибель кронштадтского полка.	369
Бушлат матроса Коцуры	378
Взятие Акимовки	383
Дела бывшие...	387
Бронепоезд «Спартак»	390
Похороны	408
Песнь братьям моим, матросам-коммунарам .	413
Болезнь	432

Песнь человеческая (<i>Глава из неоконченной повести</i>)	446

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ

Мы из Кронштадта	487
Мы, русский народ. <i>Роман-фильм</i>	530

ВОСПОМИНАНИЯ

Мои воспоминания (1914—1921 гг.)

Империалистическая война (1914—1917 гг.) .	647
Гражданская война (1917—1921 гг.) . . .	758

ПРИЛОЖЕНИЯ

Как создавался фильм «Мы из Кронштадта» . . .	797
Борьба за сценарий и фильм	811
Примечания	827

Редактор Н. Крюков

Оформление художника Н. Ильина

Художественный редактор Н. Мухин

Технический редактор Г. Каурина

Корректоры Р. Голденберг и В. Туманская

*Подписано к печати с матриц 7/IX 1954 г.
А-05940. Бумага 84×108¹/₃₂.— 53,25 печ. л.=
43,67 усл. печ. л. 39,6 уч.-изд. л. + 8 вклеек=
40,35 л. Тираж 30 000. Заказ № 1649.*

Цена 11 р.

Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.

*Главное управление полиграфической
промышленности.*

Набрано и сматрицировано 3-й типографией

«Красный пролетарий». Москва,

Краснопролетарская, 16.

Отпечатано 2-й типографией «Печатный Двор»

имени А. М. Горького,

Ленинград, Гатчинская, 26.

